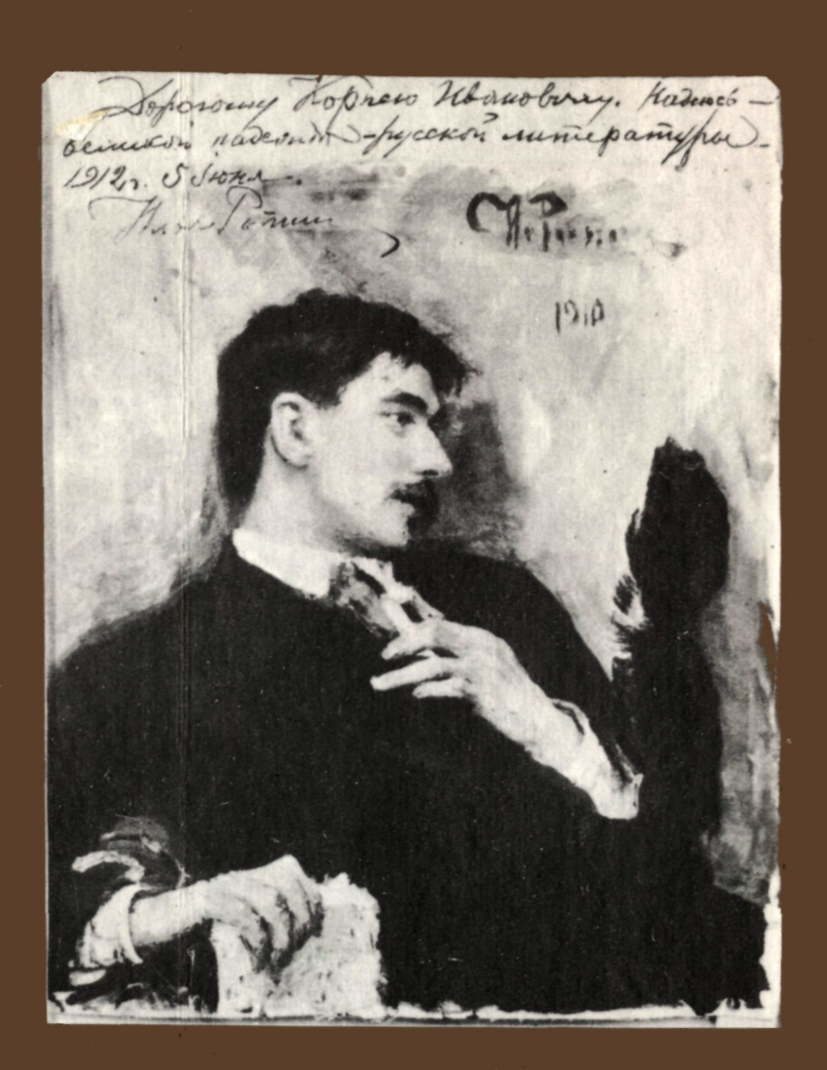
К. ЧУКОВСКИЙ

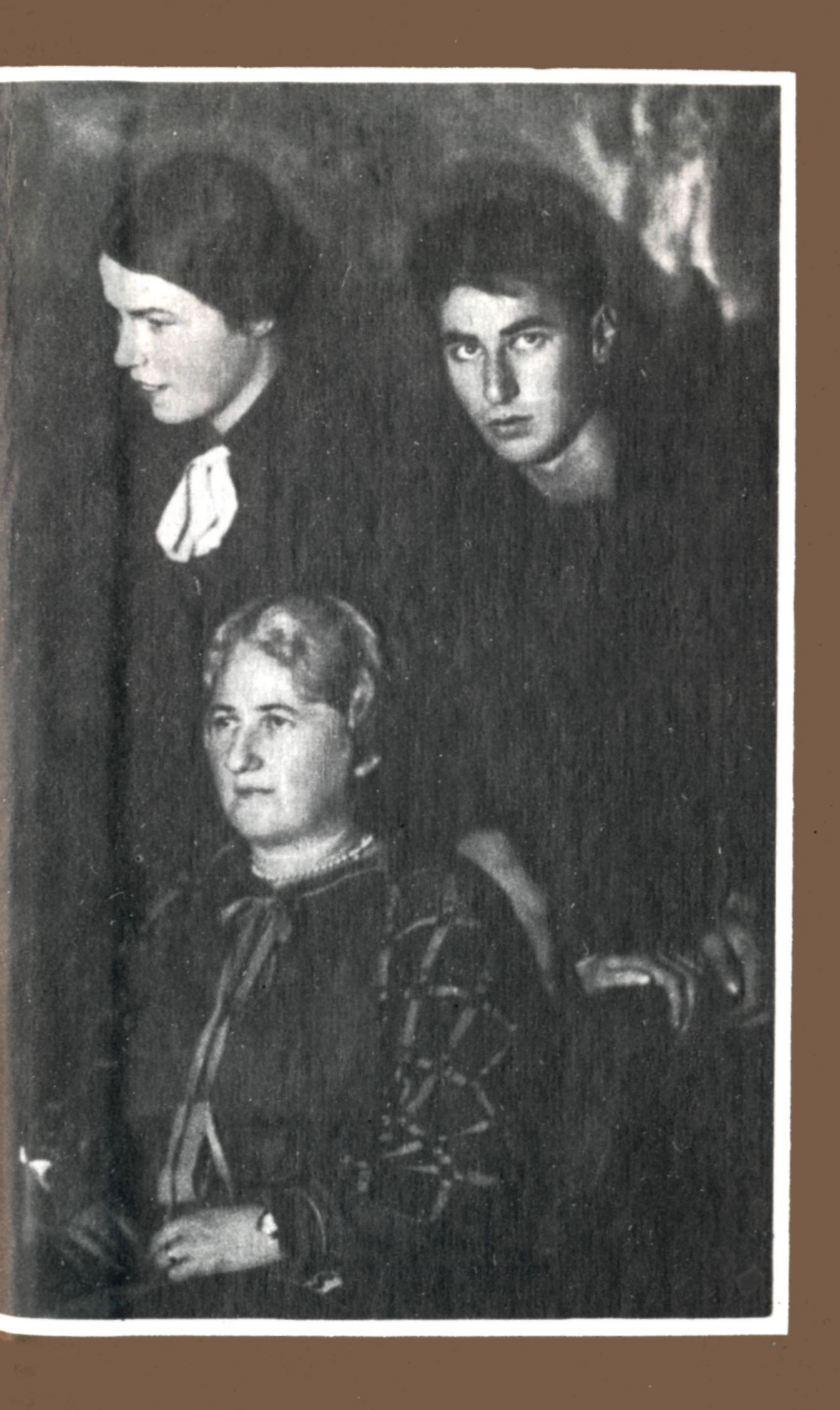
ДНЕВНИК 1901–1929

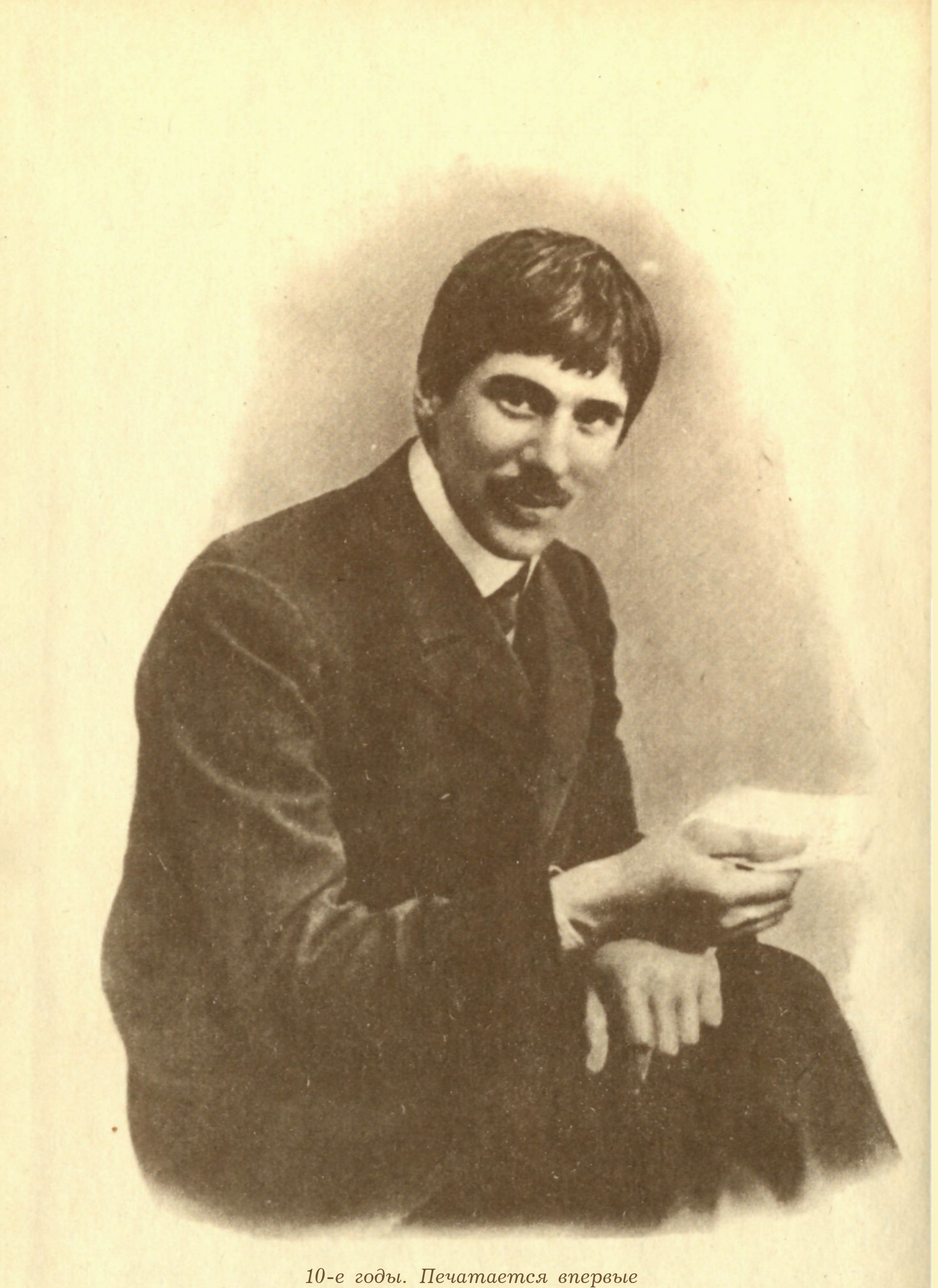



Дорогому Корнею Ивановичу. Надежде —
великой надежде — русской литературы —
1912 г. 5 июня.
Илья Репин
И. Репин
1910









10-е годы. Печатается впервые

К. ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК
1901–1929

Москва
Советский писатель
1991

ББК 83 3Р7
Ч 88

Подготовка текста и комментарии
Е. Ц. ЧУКОВСКОЙ

Вступительная статья
В. А. КАВЕРИНА

Художник
КЛАРА ВЫСОЦКАЯ

На первом форзаце
портреты К. И. Чуковского и М. Б. Чуковской работы И. Е. Репина. Куоккала 1909 и 1910 годы

На втором форзаце
семья Чуковских. Сидят: К. Чуковский с внучкой Татой (Натальей) на коленях, М. Б. Чуковская. В центре стоит Мура. Стоят сзади: Лида, Коля, Марина (жена Н. Чуковского), Борис. Ленинград. 1927. Снимал М. С. Наппельбаум. Печатается впервые.

Ч $\frac{4603020101—177}{083(02)—91}$ 461—90

ISBN 5—265—01523—X

ДНЕВНИК К. И. ЧУКОВСКОГО

Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя — это — в конечном счете — все-таки дневник для других.

Я знал Корнея Ивановича Чуковского, любил и ценил его, восхищался его разносторонним дарованием, был от души благодарен ему за то, что он с вниманием относился к моей работе. Более того. Он помогал мне советами и поддержкой. Знакомство, правда, долго было поверхностным и углубилось, лишь когда после войны я поселился в Переделкине и стал его соседом.

Могу ли я сказать, что, прочитав его дневник, я встретился с человеком, которого я впервые увидел в 1920 году, когда я был студентом? Нет. Передо мной возникла личность бесконечно более сложная. Переломанная юность. Поразительная воля. Беспримерное стремление к заранее намеченной цели. Искусство жить в сложнейших обстоятельствах, в удушающей общественной атмосфере. Вот каким предстал передо мною этот человек, подобного которому я не встречал в моей долгой жизни. И любая из этих черт обладала удивительной способностью превращения, маскировки, умением меняться, оставаясь самой собой.

Он — не Корней Чуковский. Он Николай Корнейчуков, сын человека, которого он никогда не знал и который никогда не интересовался его существованием. Вот что он пишет о своей юности в дневнике:

«...А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не *читал*. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, — и это

пронзило меня стыдом. «Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие» — и, когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было — я вижу: это письмо незаконнорожденного, «байструка». Все мои письма (за исключением некот[орых] писем к жене), все письма ко всем — фальшивы, фальцетны, неискренни — именно от этого. Раздребежжилась моя «честность с собою» еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16—17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — «зовите меня просто Колей», «а я Коля» и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».

Что же представляют собой эти дневники, которые будущий К. Чуковский вел всю жизнь, начиная с 13 лет? Это не воспоминания. Горькие признания, подобные приведенному выше, почти не встречаются в этих записях, то небрежно кратких, то подробных, когда Чуковский встречался с поразившим его явлением или человеком. Корней Иванович написал две мемуарно-художественные книги, в которых рассказал об И. Е. Репине, В. Г. Короленко, Л. Н. Андрееве, А. Н. Толстом, А. И. Куприне, А. М. Горьком, В. Я. Брюсове, В. В. Маяковском. В дневнике часто встречаются эти — и множество других — имен, но это не воспоминания, а встречи. И каждая встреча написана по живым следам, каждая сохранила свежесть впечатления. Может быть, именно это слово больше всего подходит к жанру книги, если вообще осмелиться воспользоваться этим термином по отношению к дневнику Корнея Ивановича, который бесконечно далек от любого жанра. Читаешь его, и перед глазами встает беспокойная, беспорядочная, необычайно плодотворная жизнь нашей литературы первой трети двадцатого века. Характерно, что она оживает как бы сама по себе, без того общественного фона, который трагически изменился к концу двадцатых годов. Но, может быть, тем и ценнее (я бы даже сказал бесценнее) этот дневник, что он состоит из бесчисленного множества фактов, которые говорят сами за себя. Эти факты — вспомним Герцена — борьба лица с государством. Революция широко распахнула ворота свободной инициативе в развитии культуры, открытости мнений, но распахнула ненадолго, лишь на несколько лет.

Примеров бесчисленное множество, но я приведу лишь один. Еще в 1912 году граф Зубов отдал свой дворец на Исаакиевской площади организованному им институту искусств. После революции по его инициативе были созданы курсы искусствоведения, и вся организация в целом (которой руководили и из которой вышли ученые мирового значения) процветала до 1929 года. «Лицо», отражая бесчисленные атаки всяких РАППов и ЛАППов, «боролось против государства» самым фактом своего существования. Но долго ли могла сопротивляться воскрешенная революцией мысль

против набиравшей силу «черни», которую заклеймил в предсмертной пушкинской речи Блок.

Дневник пестрит упоминаниями об отчаянной борьбе с цензурой, которая время от времени запрещала — трудно поверить — «Крокодила», «Муху-цокотуху», и теперь только в страшном сне могут присниться доводы, по которым ошалевшие от самовластия чиновники их запрещали. «Запретили в «Мойдодыре» слова «Боже, боже» — ездил объясняться в цензуре». Таких примеров — сотни. Это продолжалось долго, годами. Уже давно Корней Иванович был признан классиком детской литературы, уже давно его сказки украшали жизнь миллионов и миллионов детей, уже давно иные «афоризмы» стали пословицами, вошли в разговорный язык, а преследование продолжалось. Когда — уже в сороковых годах — был написан «Бибигон», его немедленно запретили, и Корней Иванович попросил меня поехать к некой Мишаковой, первому секретарю ЦК комсомола, и румяная девица (или дама), способная, кажется, только танцевать с платочком в каком-нибудь провинциальном ансамбле, благосклонно выслушала нас — и не разрешила.

Впрочем, запрещались не только сказки. Выбрасывались целые страницы из статей и книг.

Всю жизнь он работал, не пропускал ни одного дня. Первооткрыватель новой детской литературы, оригинальный поэт, создатель учения о детском языке, критик, обладавший тонким, «безусловным» вкусом, он был живым воплощением развивающейся литературы. Он оценивал каждый день: что сделано? Мало, мало! Он писал: «О, какой труд — ничего не делать». И в его долгой жизни светлым видением встает не молодость, а старость. Ему всегда мешали. Не только цензура. «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я — без гнезда, без друзей, без своих и чужих. Вначале эта позиция казалась мне победной, а сейчас она означает только сиротство и тоску. В журналах и газетах — везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что чужой».

Бессонница преследует его с детства. «Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница». Кто не знает пушкинских стихов о бессоннице:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

Этот смысл годами пытался найти Чуковский.

«В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе — и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения этого я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь. Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: «сплю я или не сплю? засну или не засну?», шпионишь за вот этим маленьким кусочком, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаком по черепу! Бил до синяков — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о!..»

Легко рассказать об этой книге, как о портретной галерее. Читатель

встретит в ней портреты Горького, Блока, Сологуба, Замятина, А. Толстого, Репина, Маяковского — я не перечислил и пятой части портретов. Одни выписаны подробно — Репин, Горький, — другие бегло. Но и те и другие с безошибочной меткостью. И эта меткость — не визуальная, хотя внешность, походка, манера говорить, манера держаться — ничего не упущено в любом оживающем перед вами портрете. Это — меткость психологическая, таинственно связанная с оценкой положения в литературном кругу. Впрочем, почему таинственная?

Чуковский умел соединять свой абсолютный литературный вкус с умением взглянуть на весь литературный круг одним взглядом — и за этим соединением вставал психологический портрет любого художника или писателя, тесно связанный с его жизненной задачей.

Но все это лишь один, и, в сущности, поверхностный, взгляд, который возможен, чтобы представить читателю эту книгу. Сложнее и результативнее другой. Не портреты, сколько бы они ни поражали своей свежестью и новизной, интересны и характерны для этого дневника. Все они представляют лишь фрагменты портрета самого автора — его надежд, его «болей и обид», его на первый взгляд счастливой, а на деле трагической жизни.

Я уже упоминал, что ему мешали. Это сказано приблизительно, бледно, неточно. Евг. Шварц написал о нем осуждающую статью «Белый волк» — Чуковский рано поседел. Но для того, чтобы действовать в литературе, и надо было стать волком. Но что-то я не слышал, чтобы волки плакали. А Корней Иванович часто плачет — и наедине и на людях. Что-то я не слышал, чтобы волки бросались на помощь беспомощным больным старушкам или делились последней пятеркой с голодающим литератором. И чтобы волки постоянно о ком-то заботились, кому-то помогали.

Уезжая из Кисловодска, он записывает: «...Тоска. Здоровья не поправил. Отбился от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе (смерть маленькой дочки Мурочки. — *В. К.)* не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы — я без гроша денег, без имени, «начинающий автор». Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке — единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, а мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого». Последняя фраза знаменательна. Чувство двойственности сопровождало его всю жизнь. Он находит его не только у себя, но и у других. Недаром из многочисленных разговоров с Горьким он выделяет его ошеломляющее признание: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с новой властью приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя».

Проходит немного лет, и эту вынужденную двойственность он находит в поведении и в произведениях Михаила Слонимского: «Вчера был у меня Слонимский. Его «Средний проспект» разрешен. Но рассказывает страшные вещи». Слонимский рассказал о том, как цензура задержала, а потом разрешила «Записки поэта» Сельвинского и книгу Грабаря. «В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько измотают нервов, пока выпус-

тят. А задерживают немного, потому что мы все так развратились, так «приспособились», что уже не способны написать что-нибудь не казенное, искреннее. Я, — говорил Миша, — сейчас пишу одну вещь — нецензурную, которая так и пролежит в столе, а другую для печати — преплохую». На других страницах своих записок Корней Иванович рассказывает о множестве других бессмысленных решений ужесточающейся с каждым годом цензуры.

Но дальше этого профессионального недовольства одним из институтов Советской власти он не идет. И даже этот разговор кончается сентенцией, рассчитанной на то, что ее прочтут чужие глаза: «Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, так как мы легко можем представить себе такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть».

Только страх мог продиктовать в тридцатых годах такую верноподданническую фразу. Она объясняет многое. Она объясняет, например, тот поразительный факт, что в дневнике, который писался для себя (и, кажется, только для себя), нет ни одного упоминания об арестах, о процессах, о неслыханных насилиях, которым подвергалась страна. Кажется, что все интересы Корнея Ивановича ограничивались только литературными делами. В этом есть известное достоинство: перед нами возникает огромный, сложный, противоречивый мир, в котором действуют многочисленные развивающиеся, сталкивающиеся таланты. Но общественный фон, на котором они действуют, отсутствует. Литература — зеркало общества. Десятилетиями она была в Советском Союзе кривым зеркалом, а о том, что сделало ее кривым зеркалом, упоминать было не просто опасно, но смертельно опасно. Невозможно предположить, что Корнея Ивановича, с его проницательностью, с его талантом мгновенно «постигать» собеседника, с его фантастической преданностью делу литературы, не интересовало то, что происходило за пределами ее существования. Без сомнения, это была притворная слепота, вынужденная террором.

И кто знает, может быть, не так часто терзала бы его бессонница, если бы он не боялся увидеть во сне то, что окружало его наяву.

Я не надеюсь, что мне удалось рассказать об этой книге так, чтобы читатель мог оценить ее уникальность. Но, заранее сознаваясь в своей неудаче, я считаю своим долгом хоть кратко перечислить то, что ему предстоит узнать.

Он увидит Репина, в котором великий художник соединялся с суетливым, мелкочестолюбивым и, в сущности, незначительным человеком. Он увидит Бродского, который торговал портретами Ленина, подписывая своим именем холсты своих учеников. Он увидит трагическую фигуру Блока, написанную с поражающей силой, точностью и любовью, — история символизма заполнена теперь новыми неизвестными фактами, спор между символистами и акмеистами представлен «весомо и зримо».

Он познакомится с малоизвестным периодом жизни Горького в начале двадцатых годов, когда большевиков он называл «они», когда казалось, что его беспримерная по светлому разуму и поражающей энергии деятельность направлена против «них».

Меткий портрет Кони сменяется не менее метким портретом Ахматовой — и все это отнюдь не «одномоментно», а на протяжении лет.

Я знал Тынянова, казалось бы, как самого себя, но даже мне никогда не приходило в голову, что он «поднимает нравственную атмосферу всюду, где он находится».

Я был близким другом Зощенко, но никогда не слышал, чтобы он так много и с такой охотой говорил о себе. Напротив, он всегда казался мне молчаливым.

О Маяковском обычно писали остро, и это естественно: он сам был человеком режущим, острым. Чуковский написал о нем с отцовской любовью.

Ни малейшего пристрастия не чувствуется в его отношении к собственным детям. «Коля — недумающий эгоист. Лида — врожденная гуманистка».

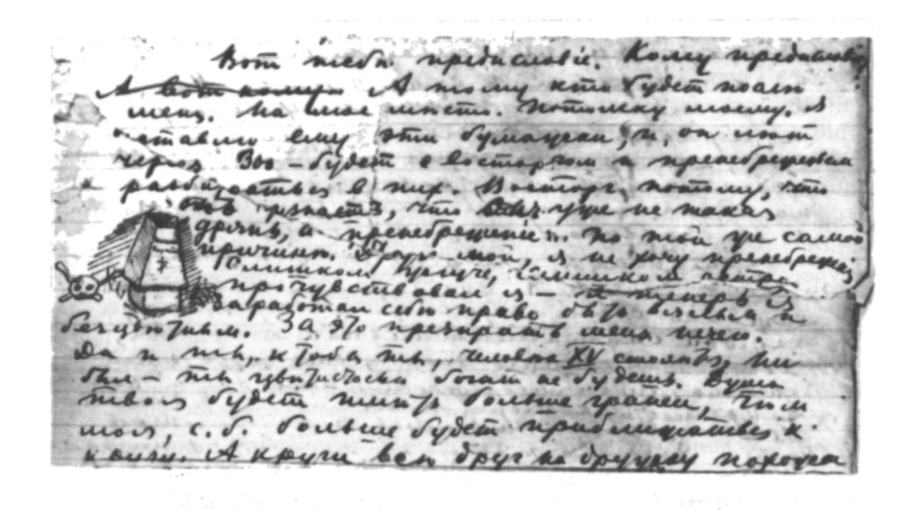
Не пропускающий ни одной мелочи, беспощадный и беспристрастный взгляд устремлен на фигуры А. Толстого, Айхенвальда, Волошина, Замятина, Гумилева, Мережковского, Лернера. Но самый острый и беспристрастный, без сомнения, — на самого себя. Диккенсовский герой? «Сидящий во мне авантюрист», «Мутная жизнь», «Я и сам стараюсь понравиться себе, а не публике». О притворстве: «Это я умею», «Жажда любить себя».

Дневник публикуется с того времени, когда Чуковскому было 18 лет, но, судя по первой странице, он был начат, по-видимому, значительно раньше. И тогда же начинается этот суровый самоанализ.

Еще одна черта должна быть отмечена на этих страницах. Я сравнительно поздний современник Чуковского — я только что взял в руки перо, когда он был уже заметным критиком и основателем новой детской поэзии. В огромности тогдашней литературы я был слепым самовлюбленным мальчиком, а он — писателем с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений. Нигде я не встречал записанных им, поражающих своей неожиданностью воспоминаний Горького о Толстом. Нигде не встречал таких трогательных, хватающих за сердце строк — панихида по Блоку. Такой тонкой характеристики Ахматовой. Такого меткого, уничтожающего удара по Мережковскому — «бойкий богоносец». Такой бесстрастной и презрительной оценки А. Толстого — впрочем, его далеко опередил в этом отношении Бунин. А Сологуб с его доведенным до культа эгоцентризмом! А П. Е. Щеголев с его цинизмом, перед которым у любого порядочного человека опускались руки!

Еще одно — последнее — замечание. Дневники Чуковского — глубоко поучительная книга. Многое в ней показано в отраженном свете — совесть и страх встают перед нами в неожиданном сочетании. Но, кажется, невозможно быть более тесно, чем она, связанной с историей нашей литературной жизни. Подобные книги в этой истории — не новость. Вспомним Ф. Вигеля, Никитенко. Но в сравнении с записками Чуковского, от которых трудно оторваться, это вялые, растянутые, интересные только для историков литературы книги. Дневники Корнея Ивановича одиноко и решительно и открыто направляют русскую мемуарную прозу по новому пути.

26/VI 88 *В. КАВЕРИН*



1901 годъ

24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой).

Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, — не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятье, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я условливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня — моих настроений и дум — пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него, и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь... теперь я уже *заранее* стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сантиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, — стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что. <...>

Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нб. показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать

ее опять для себя понятной и близкой, а для другого — я это отлично понимаю <...> (Страница оторвана. — *Е. Ч.*).

25 февраля 1901 г. <...> Дневник — громадная сила, — только он сумеет удержать эти глыбы снегу, когда они уже растают, только он оставит нерастаянным этот туман, оставит меня в гимназич. шинели, смущенного, радостного, оскорбленного.

2 марта. Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко. Позанялся с ним, наведался к Надежде Кириановне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. Благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду — это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, кот. в церковь ходят, чтобы пошушукаться, показаться, а не — и т. д. Несколько раз, подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками.

И так дальше. Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви. Я не согласен ни с одной мыслью Толстого <...> и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-летнего юноши начинаю цицеронствовать.

40 лет, говорю я, великий и смелый духом человек на наших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, к[а]к праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова... Мы стояли, разинув рот, и говорили, позевывая: «Да, ничего себе. Его от скуки слушать можно»... и руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот... наконец, мы соблаговолили вытащить руки, чтобы... схватить его за горло и сказать ему: к[а]к ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать. В 74 года это не полагается...» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо...

Т. е. не глупо, говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас, но зачем? К[а]к хорошо я сделал, что не спросил себя: зачем? Какое это счастье! <...> Говорил я свою речь, говорил, и так мне жаль стало себя, Толстого, всех, — что я расплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши «в моей душе», присутствие, котор. делает меня таким глупым, бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая... Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? К[а]к повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную. К[а]к? Помоги мне...

Говорю я это и не верю себе ни в грош. М. б. мне свобода не нужна. М. б. нужно мне кончать гимназию. <...>

К июню научимся английские книги читать, лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-ниб. в глуби Кавказа, денег бы насобрать и марш *туда*! А чтобы денег насобрать — работать нужно. Как, где, что? Не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, к[а]к мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть... Мы хотим обмана, незнания, если обман и незнание дают счастье. <...> Как же достичь этого лучшим манером? 1) Не быть вместе. Т. е. занять большую часть дня отдельной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдельно <...> Обедов не устраивать. Домашний обед — фи! Совсем к[а]к Клюге с Геккер... Молоко, какао, яйца, колбаса — мало ли что? Лишь бы не было кастрюль, салфеток, солонок и др. дряни... Это первый путь к порабощенью. Я уверен, что какой-нб. кофейник — гораздо больше мешает двум людям порвать свою постылую жизнь, чем боязнь сплетен, сознание долга <...> Долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще, все лишнее и ненужное! Смешно! <...>

Только что кончил П. Бурже «Трагическую идиллию». Первый и, надеюсь, последний роман этого автора я читал. Читал я его с такими перерывами, [что] теперь, одолевая конец, вряд [ли] бы мог рассказать начало. Впечатление, однако, я получил цельное и очень определенное. Очень наблюдательный человек, умный, образованный — Бурже абсолютно не художник. Всякое лицо появляется у него на сцену готовым, известным нам досконально, и это знание мы получаем не из поступков героев, а из разглагольствований автора. Они, эти заранее приготовленные фигуры, дергаются потом автором за привешенные к ним ниточки, и ни одного их качества, ни одной стороны их характера мы из этих их движений не познаем. Художественного восприятия нет, а есть только холодное научное понимание. При том же Бурже нисколько не скрывает, почему он дернул именно эту веревочку, он считает своим долгом *объяснять* каждое свое «дерновение»... «Пьер, говорит он, поступил так-то и так-то, потому что все натуры такого рода, когда с ними случается то-то, делают так-то». Сколько измышления, сколько выдуманности и холодности в таких объяснениях, в таком выставлении напоказ своей художественно[й] лаборатории. Мыслить образами — да разве можно художнику без этого! Да будь ты хоть распреумный человек, но если ты не можешь познать вещь иначе, к[а]к через длинную логическую цепь доказательств, произведение твое никогда не заставит нас вздрогнуть и замирать от восторга, никогда не вызовет слезы на наших глазах... Сколько ума, наблюдатель-

ности вложил Бурже в свой роман... Каждое слово его — показывает необыкновенную вдумчивость, каждое лицо его — к[а]к живое стоит перед нами. Но жило оно по тех пор к[а]к Б[урже] ввел его в свой роман, чуть оно попало сюда, чуть он перестал говорить о своих героях, а пустил их на свободу жить — он не сумел стать в стороне от них да и смотреть, что из этого выйдет.

Нет, он стал справляться с рецептами учебников психологии и т. д. Поневоле вспоминается наша Анна Каренина, это дивное окно, открытое в жизнь. Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, котор. сталкивал их, к[а]к было ему угодно; забываешь. А когда вспомнишь, к[а]к громаден, безграничен кажется этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, к[а]к природа, загадочен, к[а]к жизнь!..

А здесь? Сколько пресных рассуждений потребовалось для того, чтобы оправдаться перед читателем за то, что баронесса Эли высморкала нос в четверг, а не в пятницу, сколько жалких слов требуется для него, чтобы заставить меня посочувствовать этой бедной, оскорбленной женщине... жалких слов, котор. так и не попадают мне в сердце, а вечно суют мне в глаза автора, который неумело пригнулся за ширму и дергает за веревочку своих персонажей, заботясь больше о том, чтобы была видна его белая артистическая рука, чем о движениях своих марионеток. И я, воздавая дань справедливости Полю Бурже, должен сказать, что рука у него гладкая, белая, *холеная*, — но и только. <...>

Прочитал Успенского: «Умерла за направление». Собственно — перечел. Лет 5 тому назад он уже попадался мне под руку.

Максим Иванович, от лица которого ведется рассказ, этот человечек, вечно помалкивающий в уголку, не умеющий связать двух слов, вечно *отвлекающийся*, — вот художник, громадный, стихийный; иначе, к[а]к образами, он и думать не умеет... Образы борются в нем, переливаются, сталкиваются, рвутся *наружу*, — и всем не художникам людям кажется, будто человек этот, раздираемый образами, отдающийся их власти, будто он просто-напросто не умеет правильно мыслить.

Рассказывает он про одного обстоятельного человека. Другой бы прямо сказал: так и так, обстоятельный был человек. Этот так говорить не умеет. Он приводит несколько эпизодов из жизни этого человека, заставляет его двигаться, говорить, жить — и мы из этих его движений да говорений выводим: обстоятельный человек. Меня, конечно, нисколько не соблазняет параллель между Бурже и Максимом Иванычем. Я это так, к слову. <...>

Март. 7-го, среда <...> Красота и больше ничего! Красиво сказать:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

(*Чаадаеву, 18 г.*)

Пушкин говорит. Но с другой стороны очень красив и такой возглас:

Зависеть от властей, зависеть от народа — не все ли нам равно?
(*36 г., Пиндемонте якобы*)

Он и возглашает.

И не в возгласе дело. А в настроении. Красиво и упоительно быть пророком отчизны своей — вот вам «Клеветники России», где Наполе[о]н назван наглецом, а вот вам в «Пиндемонте»: «не все ли мне равно, свободно ли печать морочит олухов иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура?»

Все равно! Ну а в послании к цензору (24 г.):

Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?[1]

Стыдно. Человек, которому все равно, пристыживает... Скажут, разница лет. Убеждения переменились. Под влиянием чего? Ерунда! Для таких людей, к[а]к о н , — убеждения не нужны. Пишет он Чаадаеву — думаешь, вот строгий ригорист, вот боец. Чуть не в тот же день он посылает Кривцову письмецо, о содержании которого отлично дает понятие такой конец: «люби недевственного брата, страдальца чувственной любви». Просмотреть письма — прелесть. В письме к каждому лицу он иной: к Вяземскому — пишет один человек, к Чаадаеву другой; и тип этот выдерживается на протяжении 30 писем. Выдерживается совершенно невольно, благодаря внутреннему чутью художественной правды, выдерживается невольно, я готов даже сказать: против воли. Он сам не понимал себя, этот бесконечный человек, он всячески толковал про какую-то особую свободу, про какие-то права, объяснял себе себя: хотел сделать себя типом каким-то, для себя хотел типом быть, в рамки себя заключить. Прочитать его письма к Керн. Это милый шалун, проказник, славный малый, рубаха-парень — и весь тут, кусочка нельзя предположить лишнего, вне этого определения. Вот образчик тона этого письма: «Вы пишете, что я не знаю вашего характера — да что мне за дело до вашего характера? Бог с ним! разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главная вещь — глаза, зубы, руки и ноги!.. Если б вы знали, какое отвращенье, смешанное с почтением, я питаю к вашему супругу. Божество мое! Ради Бога, устройте так, чтоб он страдал подагрой. Подагра! Подагра! Это моя единственная надежда!» Ну и вдруг:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась т ы , —

я не знаю лучшего стихотворенья.

Соединить и то и другое — вот он истинный, живой.

<...> Вот даю себе слово. Подтянуться в своем дневнике. Заставить его хоть сколько-нибудь отражать мою жизнь, К[а]к это сделать. Потом. <...> К[а]к это сделать? Во-первых, никогда не садиться за дневник, не имея, что сказать, а во-вторых, вносить сюда все заметки насчет читаемых книг.

8 марта <...> 8 часов. Открыл форточку — и взялся перед сном почитать письма Тургенева к Флоберу: («Русск. М[ысль]» 26 VII) вдруг шум. Я к окну. Дружный, весенний дождь. А утром сегодня было дивно хорошо. Восток красный, края туч золотые. <...>

У Тургенева была дочь, прижитая им от крепостной его матери. Он признался в этом г-же Виардо, та взяла ее к себе в Париж и воспитала там.

9 марта. Письма Тургенева к Флоберу — ничего интересного. Каминский в предисловии уверяет, что Т. и Ф. были ужасно дружны, просто влюблены друг в друга. Может быть! Но в письмах нет ничего сердечного, ничего задушевного... Советы, котор. давал Флоберу Т., им не исполнялись. Т. советовал переменить заглавие романа «Education sentimentale» — Фл. не переменил, Т. советовал скорее кончить «Antonis» — Фл. кончил его через 4 г[ода] после совета. Интересна лестница обращений Т. к Флоберу: «Cher Monsieur», «Cher Monsieur Flaubert», «Mon cher confrиre», «Mon cher ami», «Cher ami», «Mon bon vieux»... [2]

Все какие-то коротенькие записочки, с турген. несколько надоедливым, несколько бестактным сюсюканьем.

<...> Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей И. Иванова, Евг. Соловьева - Андреевича и проч. нынешних говорунов, которых я имею терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтешь 10, 15 стр., тр., тр., тр... говорит, говорит, говорит, кругло, цветисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет. Счастье этому писателю. Он и сам в письме к Анненкову сознается, что ему везет на друзей, а чуть он помер, стали его друзья вспоминать и, по свойству всех стариков, уверенных, что в «их время» было «куда лучше» — создали из него мифич. личность. Некрасов, написавший эпитаф. Белинскому, чуть только тот помер, называет его «приятелем», «наивной и страстной душой», а через несколько лет Бел. вырастает в его глазах в «учителя», перед памятью котор. Н. «преклоняет колени» [3]. Тургенев был недоволен Добролюбовым и противопоставил ему Белинского — здесь уж и говорить нечего об объективности [4]. (Правда, Достоевский через десятки лет все же осмелился назвать Б е л . — сволочью, но на него так загикали, что Боже ты мой!) [5]

14 марта 1901 года. Так сказать, предисловие. Нет, не 14, а пятнадцатое. Вечер. 20 м. 10-го. Отчего у меня дрожат руки? Боже мой, отчего она такая? Ну зачем она хочет торжественности, эффекта, треску? Ну зачем оттолкнула она меня? Что, она боится новой лжи или вымещает старую? Отчего я не музыкант? Я глупею, когда мне нужно говорить с ней. Я сыграл бы ей, она бы поняла.

Вот тебе предисловие. Кому предисловие? А тому, кто будет после меня. На мое место. Потомку моему. Я оставлю ему эти бумажки, и он лет через 300 будет с восторгом и пренебреженьем разбираться в них. Восторг потому, что он узнает, что он уже не такая дрянь, а пренебрежение по той же самой причине. Друг мой, я не хочу пренебрежения. Слишком жгуче, слишком остро прочувствовал я — и теперь я заработал себе право быть вялым и бесцветным. За это презирать меня нечего. Да и ты, кто бы ты, человек XX столетия, ни был — ты цветистостью богат не будешь. Душа твоя будет иметь больше граней, чем моя, с[тало] б[ыть] больше будет приближаться к кругу. *А круги все друг на дружку похожи.* Ты не за это будешь презирать меня. Друг мой, ты укажешь на противоречия. Я вижу их лучше, чем ты.

Как согласовать экономич. материализм с мистицизмом, — мою любовь с сознаньем ее низкого места в мировой борьбе, мои надежды с сознаньем невозможности их осуществления — я знаю, ты упрекнешь меня в непродуманности, в отсутствии критичности и т. д. Но подумай сам, если только ты хоть немного похож на нас, жалких и темных людишек порога XX века. <...> (Страница оторвана. — *Е. Ч.*)

19ᵉ. Именинник. 19 лет... Кругом 19. 1901 г. ...Впрочем, я к мистицизму не склонен и лотерейных билетов под 19 номером покупать не стану.

Лежу в постели. Свалился позавчера с чердака. Разбил спинн. хребет, и черт его знает, когда встану. А делать нужно так много. Нужно познакомиться с каким-нб. гимназистом 8-го класса и попросить его, чтобы достал разрешение из гимназии. Полцены. Хоть до Ялты или Феодосии. Потом нужно узнать у знакомых, нет ли у них кого-нб. в Севастополе, в Ялте, в Феодосии, в Керчи, в Новороссийске, в Батуме...

Ну, Коля, поздравляю. Дай Бог тебе всего... Вот на тебе на книгу или на что-нб. ... Не целую, бо насморк... говорит мамочка.

В руке у меня 3 рубля. Книга или «что-нибудь»?

Николаев. 27 [марта]. <...> Прочел «Крейцерову Сонату». Она меня, к[а]к доской, придавила. Ужас — и больше ничего. Ужас тихий (спокойный, сказал бы я). Возражать, конечно, можно, можно даже все произведение перечеркнуть, но ужас останется. Образная художественная сила.

Я плачу. Мне тяжело. Почему, к[а]к, я не умею сказать, — что

я понимаю? — но я чувствую, что все это не то, не так. что я обманут кем-то, чувствую — и мне хочется кричать, проклинать. <...>

27 ноября. В «Новостях» напечатан мой большой фельетон «К вечно-юному вопросу». Подпись: Корней Чуковский. Редакция в примечании назвала меня «молодым журналистом, мнение которого парадоксально, но очень интересно» [6].

Радости не испытываю ни малейшей. Душа опустела. Ни строчки выжать не могу.

10 декабря. <...> Прочел чеховских сестер. Не произвели того впечатления, какого ждал. Что это такое? Или я изменился, или он! Ведь год тому наз[ад] прочтешь чеховский рассказ — и неделю ходишь, как помешанный, — такая сила, простота, правда... А нынче мне показалось, что Чехов потерял свою объективность, — что из-под сестер выглядывает его рука, видна надуманность, рассчитанность (расчетливость?). Все эти настроения, кажется, получены у Чехова не интуитивным путем, — а теоретически; впрочем, черт меня знает, может, у меня, indeed *, уж такая бесталанность наступила, что «мечты поэзии, создания искусства восторгом сладостным уж не шевелят больше моего ума». <...>

Кстати: нужно писать рождественский рассказ. Назвать его: *Крокодил.* (Совсем не святочный рассказ.) <...>

1902

8-го января... Умираю от лени. Ни за что взяться не могу. Обыкновенно распространено мнение, что 60-е годы были что ни на есть народнические по направлению своему. Теперь это мнение особенно часто повторялось всуе, по причине 40 годовщины со дня смерти (старшего шестидесятника) Добролюбова. Мне кажется, именно такими чертами, к[а]к у меня, и характеризуются] 60-е годы. Тогда вообще не было какой-ниб. *отдельной* частной идеи, подчинившей себе все остальные, — тогда была одна общая — свобода личности. Человека не нужно наказывать, не нужно звать еврея жидом, не нужно смотреть на мужика, к[а]к на «быдло» — все это были вещи одного порядка, — и до «системы» народничества тут было далеко. И наконец, у тогдашних учителей — у Добр. и Черныш. вовсе не было таких уж особенных исключительных симпатий к народу, они, что довольно ярко подчеркивает] г. Подарск[ий] в 12 кн. «Р[усского] Б[огатства]» [1], — не боялись называть иногда народ «тупоумным», «невежественным», «косным», даже — horrible dictu ** — парламент они признавали вредным и т. д. Их рацио-

* В самом деле (*англ.*).
** Страшно сказать (*лат.*).

нализм — к[а]к верно замеч[ает] г. Подарский, не позволил им выдвинуть на передний план устроительства истории народные инстинкты.

14 января. <...> Книга *Шестова* «Добро в учении графа Толстого и Ницше» — плоха. Видно, что автор очень умный и чуткий человек, а написал такую глупую книгу. Мне кажется, это обстоятельство положительно фатально, если за писание публицистических статей возьмется человек, склонный к художественному восприятию. Он *сам для себя* схватил истину *интуитивным* путем, а нам должен внушать ее логическим.

Эти линии и сочетания умственного процесса для таких людей — сущая невозможность. Им красок, пятен подавай, а все эти «потому ч т о » , — которыми они должны оправдываться перед публикой, для них совершенно излишние, они им только мешают.

Вот и получается такая штука: Граф Толстой понимает про себя одно, а говорит публике другое. Есть у него такие в душе вещи, которых он публике не покажет. Это видно из того, что, из того что — и вот здесь г. Шестов, что называется: стоп машина и ни с места... Для Ницше — добро — есть Бог и для Толстого то же самое, а доказательства — какие-то рискованные. <...>

Шестов ясно чует, что Л. Толстой делает все для своего *я,* что ему в сущности наплевать на публику. Он всегда искал путей для себя. Но это вытекает из таких мелочей, что почти невозможно оправдать это. И получаются категорические заявления, вроде: у Толстого живет уверенность: «я — очень великий человек; остальные — пешки. Быть великим — самое главное, самое лучшее, что бывает в жизни. И это лучшее у меня есть, а у других нет. Главное — у других нет». Из-за этого сознания, по мнению Шест[ова], Достоевский душил своего Раскольникова, а гр. Толстой был так беспощаден ко всей интеллигенции.

Мне кажется, мысль его такова. Тому и другому нужна была точка опоры в их деятельности. Нужно было во что бы там ни стало оправдать нравственно деяния, будь они даже бесцельны. Поставить *«правило»* выше жизни. Пусть Раскольников убил ничтожную, ненужную старуху. Пусть он даже принес всем пользу своим у б и й с т в о м , — это все ерунда. Нравственность такая штука, что ее утилитарными соображениями не пригвоздишь. Самое важное — это для него, для его души — там что делаться будет. Толстой, благодаря ляпинской нищете — закричал, что так нельзя. Но для него ляпинцы были спасение. При ляпинцах ему стало весело и спокойно, и он, восхвалявший до тех пор левинское, мещанское настроение среднего человека, идущего в ногу с толпой, он, так уничтожающий всех других персонажей Анны Карениной, только потому, что они говорят: добро — это Бог, добро для добра, а [не] для жизни — теперь обрушивается на противоположное мнение, потому, что он решил это *для себя*... Себе. Он единый интересующий его человек. Вот что хотел сказать Шестов.

И мнения и страдания этого человека — принимаются им ближе всего к сердцу.

У Толстого проповедь довлеет себе. Его завлекает поэзия проповеди.

2 декабря 1902. <…> Думаю о докладе про индивидуализм, о рассказе к праздникам и о статейке про Бунина. Успею ли? Приняты решения: сидеть дома и только раз в неделю под воскресение уходить куда-ниб. по вечерам. Читать, писать и заниматься. Английские слова — повторить сегодня же, но дальше по-англ. не идти. Приняться за итальянский, ибо грудь моя к черту. Потом будет поздно. И приняться не самому, а с учителем. И в декабре не тратить ни одного часу понапрасну. Надо же — ей Богу — хоть один месяц в жизни провести талантливо, а то теперь «развлекаюсь словно крадучись и работаю в промежутках». <…>

Странная штука — репортер! Каждый день, встав с постели, бросается он в тухлую гладь жизни, выхватывает из нее все необычное, все уродливое, все кричащее, все, что так или иначе нарушило комфортабельную жизнь окружающих, выхватывает, тащит с собою в газету — и потом эта самая газета — это собрание всех чудес и необычайностей дня, — со всеми войнами, пожарами, убийствами], — делается необходимой принадлежностью комфорта нашего обывателя — как прирученный волк в железной клетке, как бурное море, оцепленное изящными сваями.

11 декабря. Среда. Сидел дома и все время занимался. Результатом чего явилась следующая безграмотная заметка:

> «В лит. артистическом обществе в четверг состоится очередное литературное собеседование. Г. Карнеем-Чуковским будет прочитан доклад «К вопросу об индивидуализме».
>
> Что-то будет!

12 декабря. Вчера А. М. Федоров преподнес мне книжку Своих стихов. Читал в библиотеке — прелесть.

Что я буду возражать оппонентам? Вот разве так:

В своем докладе я стремился примирить идеализм с утилитарной точкой зрения. Я хотел угодить и общественникам и индивидуалистам, и реалистам и мистикам — а в результате не угодил, конечно, ни тем, ни другим. <…>

Эпиграфом к стихам Федорова: Душой во всем ловлю намеки. Есть такие книги, которые будто созданы для того, чтобы писать на их обложке: дорогой кузине Оле от кузена Коли на вечную память... Я, по крайней мере, ни одной книжки Надсона не видел без такой надписи. П. Я. и Апухтин — тоже способствуют укреплению платонических отношений между кузенами. У Апухтина есть «разбитая ваза», и у П. Я. есть «разбитая ваза». А какой же кузен не деклама-

тор, и где видали вы кузину, которая не собиралась бы в консерваторию!

Прочтя книжку стихотворений г. Федорова, я убедился, что ей не суждено покровительствовать матримониальным видам кузенов — в ней нет ни единой «разбитой вазы» — в ней есть «степь, тройка, бубенчик, заря и дорога и слева и справа ковыль», в ней «море лишь да небо, да чайки белые, да лень»... И ежели бы Коля стал читать такие вещи Оле — ничего бы из этого не вышло... Но неужто же на свете нет других людей, кроме кузенов! Не для них же пишет поэт.

1903 г.

Лондон, 18[е] июля 1903

ПУСТЫНИНУ

Ваши мненья слишком грубы,
Представленья — слишком слабы.
Если б здесь коптели трубы,
Мы б чернели как арабы.

Здесь не плавают микробы,
Словно в Черном море рыбы.
Если б так — то наши гробы
Видеть вы теперь могли бы.

ЕМУ ЖЕ:

Мой друг, не ждите
    Прежней прыти
От музы пламенной моей.
    Поймите:
Лондонское Сити
    Весь дар похитило у ней.

18 июля 1903 г. Лондон. М[аша] — моя жена. Сегодня первый раз как я сумел оглянуться на себя — и вынырнуть из той шумихи слов, фактов, мыслей, событий, которая окружает меня, которая создана мною, которая, кажется, принадлежит мне — а на самом деле — совсем от меня в стороне. Страшно... Вот единственное слово. Страшно жить, страшнее умереть; страшно того, чем я был, страшно — чем я буду. Работа моя никудашная. Окончательно убедился, что во мне нет никакого художественного таланта. Я слишком большой ломака для этого. Непосредственности во мне нет. Скудный я человек. События жизни совсем не влияют на меня. Женитьба моя — совсем не моя. Она к[а]к будто чья-то

посторонняя. Уехал в Лондон заразиться здешним духом, да никак не умею. Успехов духовных не делаю никаких. Никого и ничего не вижу. Стыдно быть такой бездарностью — но не поддаюсь я Лондону. Котелок здешний купил — и больше ничего не сделалось в этом направлении. И скука душевная. Пустота. Куда я иду, зачем? Где я? Жена у меня чудная, лучше я и представить себе не могу. Но она знает, что любить, что ненавидеть, а я ничего не знаю. И потому я люблю ее, я завидую ей, я преклоняюсь перед нею — но единства у нас никакого. Духовного, конечно. От нее я так же прячусь, к[а]к и от других. Она радуется всякому другому *житейскому* единству. Пусть. Я люблю, когда она радуется.

1904 Англия

18 апр. 904. Вру и вру. Я в Лондоне — и мне очень хорошо. И влиянию я поддался, и единства с женой много — и новых чувств тьма. Легко.

2 июня. Четверг. Сегодняшний день — стоит того, чтобы с него начать дневник; он совсем особенный. Разобрал я вчера кровать, лег на полу. Читал на ночь Шекспира. И ни на секунду Маша у меня из головы не выходила. Утром встал, подарил оставшиеся вещи соседям, перенес сам корзину на Up[per] Bedf[ord] Place, условился с носильщиком, получил в board-h[ouse] * свой breakfast ** и вернулся на Gloucest. Str. за новыми вещами. Звонок. Mrs. Noble дает мне вот эту телеграмму [1].

Так у меня все и запело от радости. В пустой комнате, где осталась только свернутая клеенка да связанная кровать, я зашагал громадными шагами, совсем новой для меня походкой. О чем я думал, не знаю и знать не хочу. Мне и без этого было слишком хорошо. Потом стал думать, что он будет жить дольше меня, и увидит то, чего я не увижу, потом решил написать на эту тему стихи, потом вспомнил про Машины страдания, потом поймал себя на том, что у меня в голове вертится мотив:

Я здоров, и сына Яна
Мне хозяйка привела [2].

Потом ушел с корзиной. Потом пошел в Бр[итанский] Музей, купив по дороге эту тетрадь. <...> Сейчас я сделаю так: пойду и снимусь, чтобы сказать своему сыну: «смотри, вот какой я был в тот день, когда ты родился» и чтобы вздохнуть, что этот день так

* Пансион (*англ.*).
** Завтрак (*англ.*).

бесследно прошел за другими. Вот этот день, когда я вижу из окна трубы, слышу треск кэбов и крик разносчиков. <...>

16 июня. Окончил корреспонденцию «о партиях». Читал З. Венгерову о Браунинге. Взялся переводить его. Удивительно легко. Перевел почти начисто вот эти строки из его «Confession» *. <...>

18-го. <...> Получил деньги, — и подарок от дорогой своей сеструни — 5 карбованцев, так трудно ею заработанных. Купил Тэккерея «Снобы» и Браунинга «Plays» **. Читал великолепную «Прозерпину» Свинборна — несколько раз. <...>

20 июня. Слова заучиваю из Браунинга. Решил делать это каждый день. Жду газет и писем. Дождусь — иду в бесплатную читальню. Браунинг по мне, я с ним сойдусь и долго не расстанусь. Его всеоправдание, — его позитивистский мистицизм, даже его манера — нервного переговаривания с читателем — все это мне по душе. Но язык трудный, и на преодоление его много времени пойдет. <...>

2 **июля.** <...> Сегодня узнал о смерти Уотса. Написал о нем корреспонденцию. Перевел две строфы Свинборна. <...> Корреспонденций моих не печатают уже неделю.

10 июля. Читаю Ренана «Жизнь Иисуса». Решил выписывать все, что пригодится для моей фантастической книги о бесцельности. Мои положения таковы: бесцельность, а не цель притягательны. Только бесцельностью достигнешь целей. Отведу себе здесь несколько страниц для выписок. <...>

27 июля, среда. Сегодня утром Лазурский получил от В. Брюсова письмо, где очень холодно извещается, что моя статейка о Уотсе пойдет [3]. <...>

29 июля, пятница. Вечер. Писем от наших все нет. Вечер. Я перевожу Свинборна для своей статейки о нем [4]. <...>

1 августа, понедельник. Предисловие к Онегину [5]. Будь я рецензентом и попадись мне на глаза этот стихотворный роман — я дал бы о нем такой отзыв: Мы никак не ожидали от г. Чуковского столь несовершенной вещи. К чему она написана? Для шутки это слишком длинно, для серьезного — это коротко. Каждое действующее лицо — как из дерева. Движения нет. А что самое главное — отношение к описываемому поражает каким-то фельетонным, бульварно-легкомысленным тоном. Выбрать для такой вещи заглавие великого пушкинского творения — прямо-таки святотатственно.

---

* «Исповедь» (*англ.*).
** «Пьесы» (*англ.*).

Стих почти всюду легкий, ясный и сжатый... В общем для «железнодорожной литературы» — это хорошо, но не больше. <...>

23 августа. <...> Пробовал читать Свинборна — трудно. Не могу сосредоточиться. <...> Поэт гораздо больше может, чем сколько знает, не поэт гораздо больше знает, чем сколько может. А Свинборн и то и др. <...>

Понедельник 29-го авг. Ничего не делаю. Так-таки ровно ничего. Дней 20 книги в руках у меня не было. Статей не пишу ровно месяц. Что будет, не знаю, — но если долго протянется — околею. Сейчас уже 4 часа — а я до сих пор только и сделал, что написал Лазурскому important letter*. Хочу писать о Свинборне, и мысли есть интересные, да как-то все [нрзб] и неулежно выходит. Сесть негде, книжек нет подходящих и т. д. Кошмар моих последних дней — не шахматы, не лодка, не Kew Garden, — а фотография. Я достал камеру по оптовой цене за 15 р., ту, что стоит 23 р., — и снимаю запоем. Потом часами стою в темном погребке подле кухни и при копоти красной лампы идиотски покачиваю «ванночки», где лежат стеклышки. Снимаю я сцены обыденной англ. жизни и только теперь, испортив 2 дюжины пластинок, научился снимать порядочно. Из испорченных выберу более или менее сносные и вклею в эту тетрадь. Странно — я снимаю только то, что видела в Англии и жена. То, что мы вместе с ней пережили. Другое в моих глазах обесценивается. <...>

Продолжаю свое предисловие к Евгению Онегину: «Если бы такая заметка появилась в печати, я на нее ответил бы следующее. Вполне соглашаюсь со своим зоилом во всем, что ему угодно было высказать по поводу моей поэмы. Но с его замечанием относительно якобы святотатственного кощунства над именем Пушкина — согласиться никак не могу. Позволю себе напомнить моему зоилу такую сценку из пушкинской же пьесы: Моцарт приводит к Сальери уличного скрипача, который безобразно играет Моцартову арию. Сальери кричит о кощунственном святотатстве, возмущается, гонит скрипача взашей; Моцарт же дает скрипачу денег, — и весело хохочет...

Ах, почему это о «кощунственном святотатстве» всегда кричат — не Моцарты — а Сальери, эти вечные убийцы Моцартов?»

И больше ни слова. Предисловие *мне нравится больше самой поэмы*. <...>

Сегодня ужасный ветер. Какого мне морем будет ехаться? <...> Ехать мне нужно поскорее. Есть у меня рекомендательное письмо к Смиту, а отчего я не иду к нему — смешно сказать. Нет 2-х пенсов на бритье; я же сейчас так бородою оброс, что ужас. Написал сегодня Эхтеру записку с извинением, что не могу отдать денег. Как это нехорошо вышло. Он одолжил мне их на два дня,

* Важное письмо (*англ.*).

а я смогу отдать через 6, если смогу. <...> Незаметно для себя я снял подряд 3 снимка, касающихся газеты. А между тем я с каждым днем все больше ненавижу газету и меня охватывает ужас, когда я подумаю, что и у нас она скоро полонит всю литературу. Благословлю ту минуту, когда вырвусь из газетных столбцов. <...>

1 сентября. Четверг. Нахожусь в обычном своем ожидании. В кармане 2 пенса. Боже, пошли мне рубли. Что делать? Дождь — уже сутки не прекращается. <...>

Среда 7. Пишу это на пароходе «Гизела». Приключений у меня тысяча — все они самые обыкновенные и в порядке вещей, но вспомнить будет приятно, так что я постараюсь занести их сюда со всевозможной точностью. <...>

10-е, суббота. Никогда не думал, что море умеет быть таким голубым, пена такой белой, облачка такими легкими и воздух таким чистым. Качает, но я обвыкаюсь — и уверен, когда лягу дома в постель — голова у меня закружится оттого, что не качает. Сегодня примусь за Онегина. Глядишь на всю эту благодать и только теперь понимаешь, какая дрянь эта Англия. Еще несколько часов, и мы будем между Испанией и Африкой.

Вечер 10-го. Пробовал писать Онегина. Не пишется. Отчего? Обстановка самая обыкновенная. Ехали мы Бискайским заливом — и как я ни старался вызвать в себе удивление, чувство необычности — нет. К[а]к будто Бискайский] залив это Большая Арнаутская, к[а]к будто я каждый день по Бискайским заливам езжу. Сейчас опять к туману дело идет. <...> Странную вещь я в себе подметил. Все такие мелочи жизни — даже не характерные, даже бессвязные, даже ничего ничему кроме памяти не говорящие — я записываю с особым тщанием. И чем я здоровее, чем бодрее, тем более привязчив к таким мелочам. Отчего это? Значит ли это, что у меня нет «Бога живого человека»? Или это значит, что мой бог жизнь, все равно где, все равно какая — бессвязно плетущаяся — вне доктрин, вне наших систем, вне наших комментарий, вне нашего знания. Как бы то ни было — самые искренние и умные стихи, какие я когда-либо написал, — вот они —

И за прелесть речного изгиба,
Уходящего в яркую тьму,
Кому-то кричу я спасибо
И рад, что не знаю кому. <...>

11-го сентября, воскресение. Боже мой, за что мне все это счастье? Лучшего неба, лучшего моря, лучшего настроения — у меня никогда не было. Жарко. С утра принял морскую ванну. Снял капи-

тана, капитан снял меня и stewart'a. Сидел долго с капитаном на bridge'e *. <...>

12, понедельник. Мы идем прямо на солнце. Пароход не колыхнется. Раннее утро. Хочу приняться за Онегина. Вкус у меня страшно развился за последние 2 года — совсем несоразмерно с моими способностями: сегодня просмотрел первую тетрадку Онегина за 902—903 год и вычеркнул почти все. Самого себя стыдно. Заново писать — куда легче, чем переделывать, а мне теперь предстоит переделать характеристику Ольги. Посмотрю, что выйдет. Глупо это — в тысячный раз обличать девушек за то, что они, чтобы выйти замуж — в науку пускаются. Ну да уж это последний раз. Потом Татьяна — письмо ее, письмо Ленского к Онегину — и конец. Ах, если б удалось закончить на пароходе! <...>

16-го пятница. Знай, сын мой, что, выкинув одну скверную строфу из твоей поэмы, ты приобретаешь больше, чем если б ты написал 3 новых. Сегодня я в этом смысле сделал большое приобретение. Выкинул такую строфу, написанную вчера. <...> После брэкфеста до лэнча я сидел на bridge'e и читал Свинборна. Легко. Сегодня нашел у него много прозаизмов, ловко замаскированных фразой. Видно, образа не хватило, он выработал его умом и хочет выдать за истинный образ. Нужно признать — это ему удается. Впрочем, все кажется фальшивым и деланным — на фоне этого моря, пены, ветра и неба. А сегодня прибавилось нечто необычайное. Из-под нашего ship'a ** идет, идет волна и на некотором расстоянии встречается с боковой волной (мы теперь прямо против Генуи — так что волнам простор большой), они разбиваются в нежно-белую пену — от пены подымается водяная пыль — в которой всякий раз встает радуга. Так в сопровождении радуг мы плыли часа 3. Вряд ли я когда-нибудь вновь испытаю такое счастье. <...>

1905

18-го февраля. Вчера и третьего дня мои фельетоны [1]. Заработал 32 р. Сегодня и вчера ничего не делаю. Вечер уже. <...> С Эрмансом говорил о своем желании ехать в Питер. Послезавтра ответ. Читаю теперь философию литературы Евг. Соловьева [2]. <...>

9 апреля. Перевожу Байрона для Венгерова. Не знаю, удастся ли мне. Иногда нравится, иногда нет. <...> Я поместил в «Театральной] Рос[сии]» заметку о Сольнесе [3]. <...>

---

* Мостик (*англ.*).
** Корабль (*англ.*).

19-е [апреля], вторник. Кстати: у Тихонова есть шуточная автобиография Чехова: Переведен на все языки, кроме иностранных. Немцы и гишпанцы *одобряют*. — Я сижу и пишу рецензию о спектакле в Художественном Театре — об «Иванове» [4]. <...>

16-е июня. Ночью пришел на дачу Сладкопевцев с невестой. Они только что из города. Началась бомбардировка. Броненосец норовит в соборную площадь, где казаки. Бомбы летают около. В городе паника.

Я был самым близким свидетелем всего, что происходило 15-го. Опишу все поподробнее.

Утром часов около 10 пошел я к Шаевскому, на бульвар — пить пиво. Далеко в море, между маяком и концом волнореза, лежал трехтрубный броненосец. Толпа говорила, что он выкинул красный флаг, что в нем все офицеры убиты, что матросы взбунтовались, что в гавани лежит убитый офицером матрос, из-за которого произошел бунт, что этот броненосец может в час разрушить весь наш город и т. д.

Говорю я соседу, судейскому: пойдем в гавань, поглядим матроса *убитого*. — Не могу, говорит, у меня кокарда.

Пошел я один. Народу в гавань идет тьма. Все к Новому молу. Ни полицейских, ни солдат, никого. На конце мола — самодельная палатка. В ней — труп, вокруг трупа толпа, и один матрос, черненький такой, юркий, наизусть читает прокламацию, которая лежит на груди у покойного: «Товарищи! Матрос Григорий Колесниченко (?) был зверски убит офицером за то только, что заявил, что борщ плох... Отмстите тиранам. Осените себя крестным знамением (— а которые евреи — так по-своему). Да здравствует свобода!»

При последних словах народ в палатке орет ура! — это ура подхватывается сотнями голосов на пристани — и чтение прокламации возобновляется. Деньги сыплются дождем в кружку подле покойного; — они предназначены для похорон. В толпе шныряют юные эсде — и взывают к босякам: товарищи, товарищи!

Главное, на чем они настаивают: не расходиться, оставаться в гавани до распоряжений, могущих придти с броненосца [5].

5 августа. <...> Ночую у мамы, клопы... Колька мой вчера начал ходить. Уморительно.

Перевел новую басню Мура. «Маленький Великий Лама» [6]. <...>

1906

Кажется, 17 января. С удивлением застаю себя сидящим в Петербурге, в Акад[емическом] переулке и пишущим такие глупые фразы Куприну:

Ваше превосходительство ауктор Поединка.

> Как в учиненном Вами *Тосте* оказывается быть 191 линия, и как Вы, милостивец, 130 линий из оного *Тоста* на тройках прокатать изволили. То я, верный твоего превосходительства Корней, шлю вам дифференцию в 41 линию сия же суть 20 руб. с полтиною. В предвидении же последующих Тостов делаю тебе препозицию на пятьдесят рублей; пришли поскорея генеральского твоего ума размышления, касательно (в оригинале не дописано — *Е. Ч.*).

Да, господин дневник, многого Вы и не подозреваете. Я уже не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактор[ом]-издателем, сидел в тюрьме, познакомился с Мордуховичами, сейчас состою под судом, за дверью висит моя шуба — и обедаю я почти каждый день. <...>

27 января. Пишу статью «Бельтов и Брюсов» [1]. Мне она нравится очень. Чувствую себя превосходно. Мне почему-то кажется, что сегодня приедет моя Маша. Вчера проводил Брюсова на вокзал и познакомился с Вячеславом Ивановым. <...>

30 января, утро. Проснулся часа в 4. Читаю Teckeray's «Humorists» [2]. Маши еще нету. Покуда я попал в глупую переделку. Получил от Обух-Вощатынского повестку — с приглашением явиться к нему в 12 час. Это уже 3-е дело, воздвигающееся против меня [3]. <...> Недавно перечел сборник памяти Чехова [4] — и до сих пор не могу сбросить с себя безнадежной тоски, которую он нагнал на меня.

Этот месяц я занимался к[а]к никогда. Во-первых, по-английски я успел больше, чем за целый год, — я прочел 3 книги — из которых — одна добрых 600 страниц будет, — я выучил массу слов, я прочитал Короленку для своей о нем статьи, я написал статью о Бельтове и Брюсове, я возился с «Сигналами», — и т. д.

4 **февраля.** Скоро меня судят. Седьмого. Никаких чувств по этому случаю не испытываю. <...>

10-й час. Сейчас иду спать. Сегодня много работал в «Сигналах» и, встав в 4 час[а], переводил для них стихи Браунинга. Перевел песню Пиппы из «Pippa Passes», которую давно уже и тщетно хочу перевести всю [5].

Говорят, мне нужно бежать за границу. Чепуха. Я почему-то верю в свое счастье.

12 мая, пятница. Были у Чюминой — обедали. Сегодня она рассказывала свою биографию. Лет 19 она в Новгороде сочинила стихотворение «Памяти Скобелева», — которое попало в комаровский «Свет». Отец Чюминой обеспокоился: что скажет его начальство, если узнает, что дочь его пишет стихи. Второе стихотворение

(тоже о Скобелеве) в аксаковской «Руси». Потом она послала в «Нов[ое] Вр[емя]» поэму «Христианка». Буренин ответил ей ласково — и пригласил зайти в редакцию. Она познакомилась тогда с Сувориным, Полонским etc. Потом Буренин стал делать ей гнусные предложения; она их отвергла, и с тех пор ее стали травить в «Нов. Вр.». <...> Теперь ночь — белая, — и я хочу сочинять балладу для «Адской Почты». Только что получены «Весы». Там есть «Хамство во Христе». Статья сама по себе не *важная*, — но по отношению к Волжскому — верная и выпуклая [6]. <...>

29 мая. Эту неделю мы благодушествовали: я продал стихи в «Ниву» и в «Народный Вестник», отовсюду получил деньгу [7]. Теперь у Струве моя заметка о Горьком [8]. Если пойдет, я получаю рублей 30. В «В[естнике] Е[вропы]» моя заметка о Чюминой. Хочу продать издателю свою статью о Уоте Уитмене [9]. <...>

4 июня. Маша именинница. Я с Натальей Никитишной сложились и купили ей коробку шоколаду. Мой «Штрейкбрехер» не пошел в «Адской Почте». Зато в «Ниве» за этот месяц принято 5 моих стихотворений — и, благодаря им, мог работать над Уитменом. Спасибо им, дорогие! <...>

5 июня. Не могу ничего сочинить — даже таких скверных, кривых стихуль, как вышеприведенные. День совершенно пустой. Денег ни копейки. В голове ни одной мысли. Ни одной надежды. Никого не хочу знать. Остановка. Даже книжного дурмана не хочется. Нужно где-н[и]будь достать 10—15 р. и уехать к Луговому. Потом захочется возвратиться и... работать — без конца. Но где достать? Но к[а]к достать? Буду разве писать о Розанове.

Книжка Розанова очень талантливая. Чтобы написать такую талантливую книжку, Розанов должен был многого не знать, многого не понимать. Какая бы ценность была в стихах Лукреция, если бы он знал теорию Дарвина? «Солидные» революционеры, «революционных дел мастера», отвернутся от философских и психологических толкований Розанова — раньше всего потому, что солидные люди терпеть не могут философии, а во-вторых, потому что Розанов — посторонний. Человек подошел к кучке народа. Что здесь случилось? Убийство. Лежит убитая женщина, неподвижная в кровяном ручье, а подле нее убийца с *ножом*. — Тут нужно доктора — не спасет ли он убитую, тут нужно здоровых, смелых людей — связать убийцу, обезоружить, не убил бы еще кого? И вдруг является Розанов, суется в толпу, мешает всем и нашептывает:

— Погодите, я объясню вам психологию убийцы; погодите, вы ничего не понимаете, он заносит нож — по таким-то и таким мотивам, он убегает от нас по таким-то и таким-то причинам.

Объяснения, может быть, и хороши, но только зачем же мешать

ими доктору. — Каждая минута дорога. Доктора отвлечешь от работы и т. д. В участке разберут.

Розанов — посторонний. Разные посторонние бывают. Иной посторонний из окна глядел — сверху, все происшествие видел. Такому «со стороны видней» и понятней. А другой посторонний подошел к вам: а что здесь случилось, господа?

Г. Розанов несомненно именно такой посторонний. Он подошел к революции, когда она разыгралась уже вовсю (до тех пор он не замечал ее). Подошел к ней: что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он «мечтатель», «визионер», «самодум», человек из подполья. Недаром у него были статьи «В своем углу». Вся сила Р[озано]ва в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом (отчеркнутые страницы) — он и не знал этого, и отсюда та странная (вечная у Розанова) смесь хлестаковской поверхностности с глубинами Достоевского — не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского.

———

Отыскал 4 коп. Пойду за бумагой и сейчас же напишу.

6 июня. <...> Читал «Весы» со всеми этими Кречетовыми, Садовскими и т. д. Дрянь и пошлость невозможная. Геккер, Зак, Балабан в «Одес. Новостях» и те лучше. Быть «декадентом» можно только при первоклассном таланте; для людей маленьких — это позор и унижение. <...>

7 июня. <...> Задумал статью о Самоцели. Люди симметричной души. Великая тавтология жизни: любовь для любви. Искусство для искусства. Жизнь для жизни. Бытие для бытия.

Нужно это только заново перечувствовать, а я только вспоминаю то, что когда-то чувствовал. <...>

8 июня. Получил сегодня письмо от Ремизова. Странный человек. Он воспринимает очень много впечатлений, но душа у него, к[а]к закопченное стекло, пропускает их ужасно мало. И все это скупо, скудно, мучительно трудно. Вольного воздуха нет ни в чем, что он делает. Вот только что получил от него письмо. Все вымученно, все старательно.

(Вклеено письмо. — *Е. Ч.*)

Многоуважаемый Корней Иванович!
Вот Вам человек для «Плена».
Кланяюсь Марье Борисовне.
Ремизов

Вот что я решил: каждый день переводить (прозой) по сонету из Россетти.

Сонет — это памятник минуте, — памятник мертвому, бессмерт-

ному часу, созданный вечностью души. Блюди, чтобы он не кичился своим тяжелым совершенством, — создан ли он для очистительной молитвы или для грозных знамений. Отчекань его из слоновой кости или из черного дерева, — да будет он подобен дню или ночи. И пусть увидит время его украшенный цветами шлем — блестящим и в жемчугах. Сонет — монета. Ее лицо — душа. А на обороте сказано, кому она служит воздаянием: служит ли она царственной податью, которой требует жизнь, или данью при высоком дворе любви. Или среди подземных ветров, в темных верфях он служит, он кладется в руки харона, к[а]к пошлина смерти.

Прекрасно! Я начал хромыми стихами:

О памятник мгновения — сонет —
Умершего бессмертного мгновенья. <...>

18 июня. <...> Заинтересовал меня Чаттертон. Вот что пишет о нем Rossetti: «С шекспировской зрелостью в диком сердце мальчишки; сомнением Гамлета близко соединенный с Шекспиром и родной Мильтону гордыней Сатаны, — он склонился только у дверей Смерти — и ждал стрелы. И к новому бесценному цветнику английского искусства — даже к этому алтарю, который Время уже сделало божественным, к невысказанному сердцу, которое противоборствовало с ним — он направил ужасное острие, и сорвал печати жизни. Five English Poets. Sonnet First» *.

Кажется, у Китса есть о нем нечто подобное. Теперь ночь, но все же хочется справиться.

Начало сонета банально. Но конец хорош: «Ты погиб — полусвеянный цветочек, в который влюбились холодные ветры. Но это прошло. Ты между звезд теперь — на высочайших небесах. Твоим вращающимся мирам ты упоительно поешь теперь; ничто не портит твою песню — там, над бесчестным миром и над людскими страхами. На земле (этот) (добрый человек) заслоняет от низкой клеветы твое светлое имя — и орошает его слезами».

Нужно просмотреть переписку Байрона, да, кажется, у Шелли есть что-то. Какая-то вещь, посвященная Чаттертону. <...>

24 июля (или 23?). На новой квартире. «Нива» дала авансу. Маша купила мебель. Сняли 3 комнаты. А заплатить нечем. Взял подряд с «Нивы» написать об Омулевском, и теперь читаю этого идиота. Тоска. Перевожу Джэкобса, — а зачем, не знаю. Сегодня сдал в «Ниву» стишки. Маша дребезжит новой посудой, я заперся у себя в комнате — и вдруг почувствовал страшную жажду — любить себя, свою молодость, свое счастье, и любить не по мелочам, не ежедневно, — а обожать, боготворить. Это наделала новая квартира, которая двумя этажами выше той, в которой мы жили в начале прошлой зимы. До слез.

(Вклеено письмо. — *Е. Ч.)*

---

* Пять английских поэтов. Первый сонет (*англ.*).

Милый Чук!

Вы меня огорчили: во-первых, Вы меня взволновали Вашим письмом, во-вторых, я, вспоминая о Ваших словах, делаюсь серьезным, а я привык чудить и шалить при Вашем имени, в-третьих, я должен писать Вам, а письма я ненавижу так же, как своих кредиторов.

Вы — славный Чук, Вы — трижды славный, и как обидно, что Вы при этом так дьявольски талантливы. Хочешь любить Вас, а должен гордиться Вами. Это осложняет отношения. Ну, баста со всем этим.

Марье Борисовне сердечный поклон.

В меня прошу верить. Я, все же, лучше своей славы.

«Прохожий и Революция»[10] прилагаю. Не дадите ли ее для «Биржевых».

Засим обнимаю. *А. Руманов*

2—3/VI—906

У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Гос. Думе — и даже лень записать это в дневник. Что у Аладьина Чемберленовская орхидея — вот и все, что я запомнил и полюбил, к[а]к впечатление. Познакомился за зиму с Ясинским, Розановым, Вяч. Ивановым, Брюсовым, сблизился с Куприным, Дымовым, Ляцким, Чюминой, — а все-таки ничего записать не хочется. <...> Однако нужно приниматься за Омулевского. Про него я хочу сказать, что он художник, придавленный тенденцией. Любят в нем тенденцию, но теперь, когда для таких подпольных тенденций время прошло, — нужно проверить Омулевского со стороны искусства [11]. <...>

3 августа. <...> Спасаюсь от самого себя работой. <...>

1907

Июль 17. Самый несчастный изо всех проведенных мною дней. Утром получил письмо от ростовщика Саксаганского с оскорблениями, которых не заслужил. О Чехове Миролюбову не написал. В «Речи» нет моего фельетона о короткомыслии. Встретил Пильского, которого презираю. Был непонятно зачем у Леонида Андреева. С ним к Федоровым. Потом через болото ночью домой. Бессонница. Теперь один час ночи. Даже Чехов не радует меня. Что сказать о нем в журнале Миролюбова?

О Чехове говорят как о ненавистнике жизни, пессимисте, брюзге. Клевета. Самый мрачный из его рассказов гармоничен. Его мир изящен, закончен, женственно очарователен. «Гусев» закон-

ченнее всего, что писал Толстой. Чехов самый стройный, самый музыкальный изо всех. «Гусев» — ведь даже не верится, чтобы такой клочок бумаги мог вместить и т. д. Завтра пойду куплю или выпишу Томсона и Мережковского. Нужно посетить Аничкова: он заказывает мне статью о рус[ской] поэзии 80-х годов.

С послезавтрева решаю работать так: утром чтение до часу. С часу до обеда прогулки. После обеда работа до шести. Потом прогулка до 10 — и спать. Потом еще: нужно стараться видеть возможно меньше людей и читать возможно меньше разнообразных книг. Своими последними статьями в «Речи»[1] я более доволен: о Чехове, о короткомыслии, о Каменском. Дельные статьи. Но предыдущие были плохи, и нужно стараться их загладить. Сегодня я написал две рецензии о книге Шестова и о «Белых ночах»[2].

22 июля. Вчера Коленька долго смотрел из моего окна на сосну и сказал: «Шишки на дерево полезли как-то». Он привык видеть их на земле. Сегодня воскресение. Вчера напечатан мой фельетон в «Речи» — «О короткомыслии». Словно не мой, а чужой чей-то. Программу свою начинаю понемногу выполнять. <...>

9 сентября. Сейчас у меня был И. Е. Репин. Он очень вежлив, борода седоватая, и, чего не ожидал по портретам, борода переходит в усы. Прост. Чуть пришел, взобрался на диван, с ногами, взял портрет Брюсова работы Врубеля [3]. — Хорошо, хорошо, так это и есть Брюсов. — Сомова портрет Иванова. — Хорошо, хорошо, так это и есть Иванов. — Про Бакстов портрет Белого сказал: старательно. Смотрел гравюры Байроновых портретов: вот пошлость, шаблонно. Карикатуру Любимова на меня одобрил. Сел, и мы заговорили про Россетти (академичен), про Леонида Андреева: — «Красный смех» — это все безумие современной войны. Губернатор — это Толстой, Гоголь и Андреев сразу. — Про С. Маковского: — Стихи хорошие, а критика — с чужого голоса, слова неосязательны. — Я ему показал его работы Алексея Толстого. Он говорит: — Это после смерти поэта. Под впечатлением. Какой-то негодяй заретушевал — ужасно! — Потом внизу пили чай; груши, сливы, Тановы дети. Колька пищал. Я говорил о Уотсе: дожил до 90 лет. Видимо обрадовался. Я сказал, что Уотс работал до 90. Забыл пальто наверху — взбежал наверх — чтобы на него не смотрели к[а]к на старика. Я проводил его до калитки — ушел, старик, сгорбившись, в крылатке.

Был утром у Андреева. У него запой. Только приехал в СПб., — сейчас же запил. Сына своего не видит — ходит и на головную боль жалуется. Квартира большая, пуста, окна высокие, он кажется сам меньше обычного роста — и жалкий. Ходит, грудь вперед, не переставая. Я прочитал ему письмо Мошина — «Да, это патетично». Какая-то примиренность в нем, будто он старик: я, говорит, просту-

дился. Я в пальто графа Толстого, он помогал мне одеться и смеется: зато рукава короткие.

Октября 21. Сегодня проснулся — все бело. И настроение как о Рождестве в молодости. Вчера с Таном по обыкновению копал песок на речке; копаю затем, чтобы отвести русло, строю неимоверные плотины, кто-то их ломает, я опять строю. Уже больше месяца. Пришел, лег спать. Потом читал с М[ашей] Овсянико-Куликовского о Достоевском — пресно. После чтения долго лежал. Думал о своей книге про самоцель. Напишу ли я ее — эту единственную книгу моей жизни? Я задумал ее в 17 лет, и мне казалось, что чуть я ее напишу — и Дарвин, и Маркс, и Шопенгауэр, — все будут опровергнуты. Теперь я не верю в свою способность даже Чулкова опровергнуть и только притворяюсь, что высказываю мнение, а какие у меня мнения?

Репин за это время вышел из Академии [4], был у Толстого и в Крыму и возвратился. Я был у него в среду. Неприятно. Был у него какой-то генерал, говорил о жидах, разграбленных имениях, бедных помещиках. Репин поддакивал. Показывал снимки с Толстого: граф с графиней — жалкий. Она, как его импрессарио: «живой, говорящий Лев Толстой». Рассказывал Репин, как Толстой читал Куприна «Смена» и плакал при печальных эпизодах [5]. У Толстого мужики «экспроприировали» дубы. Графиня позвала стражников. Толстой взволновался, заплакал и сказал: я уйду. Этого не знает общество, и гнусные газетчики бранят Толстого. Узнал о смерти З[иновьевой]-Аннибал. Огорчился очень. Она была хорошая, нелепая, верблюдообразная женщина. В октябре я написал статьи о Репине, о Мережковском, о Зайцеве. Работал над ними целые дни и доволен ими больше, чем иным [6]. Мама моя скоро приезжает.

25 октября, четверг. *«А я печке делаю массаж»* — говорит Колька. Я только что возвратился из города. Вчера утром отвозил фельетон о Дымове [7]. Мороз, а я был в легком пальто. К отцу Петрову. Не застал. Человек писал каталог. Сытин ждал у окна. Я разговорился — не зная, что Сытин. В 2 ч. пошел к Андрееву, — в Москве. Пришел к Петрову опять, завтракал, сладких пирогов изобилие, его жена курсистка. <...> У Петрова масса книг — и все неразрезанные. От Петрова к Блоку: он в белом шиллеровском воротнике, порядок в квартире образцовейший. Я ему, видимо, не нравлюсь, но он дружествен. О Владимире Соловьеве, Пильском, Полонском, Андрееве. От Блока в «Биржевые». Из «Биржевых» к Василевскому — в электричке. <...>

Ночью у меня бессонница. Думал о смерти. Все мне кажется, что я в Куоккала этой зимой умру. <...>

На вечере в «Шиповнике». Долго говорил с Андреевым. «О семи повешенных». «Цыганок» — это я. Я тоже орловский. Если бы меня вешали, я бы совсем был, как Цыганок».

Я решил непременно уехать за границу. Для этого хочу овладеть

английским в совершенстве (разговором) и беру учителя. До сих пор я обходился сам.

Оказывается, я женил Андреева на Денисевич. Я познакомил Толю Денисевич с Андреевым, а Толя с Матильдой.

1908

28 **мая.** Только что вернулся от Тана. Катался в лодке. Читал ему перевод из Киплинга — по-моему, не важный. <...> Очень трудно идти такую даль. Иду я мимо дачи Репина, слышу, кто-то кричит: — Дрянь такая, пошла вон! — на всю улицу. Это Репина жена m-me Нордман. Увидела меня, устыдилась. Говорят, она чухонка. Похоже. Дура и с затеями — какой-то Манилов в юбке. На почтовой бумаге она печатает:

Настроение

Температура воды

и пр. отделы, и на каждом письме приписывает: настроение, мол, вялое, температура 7° и т. д. На зеркале, которое разбилось, она заставила Репина нарисовать канареек, чтобы скрыть трещину. Репин и канарейки! Это просто символ ее влияния на Репина. Собачья будка — и та разрисована Репиным сантиментально. Когда я сказал об этом Андрееву, он сказал: «Это что! Вы бы посмотрели, какие у них клозеты!» У них в столовой баночка с отверстием для монет, и надписано: штраф за тщеславие, скупость, вспыльчивость и т. д. Кто проштрафился, плати 2 к. Я посмотрел в баночку: 6 копеек. Говорю: «Мало же в этом доме тщеславятся, вспыливаются, скупятся», — это ей не понравилось. Она вообще в душе цирлих-манирлих, с желанием быть снаружи нараспашку. Это хорошо, когда наоборот. Она консерваторша, насквозь. <...>

Хочу писать о Короленке. Что меня в нем раздражает — его уравновешенность. Он все понимает. Он духовный кадет. Иначе он был бы гений.

1 июня. Ах, ты, папа, «дьяволенный» — говорит Коля. Я перевожу «Рикки-Тикки-Тави».

14 августа. <...> Рисовал (у Репина) много и без удовольствия. Прочитал всего Толстого и Короленку, написал о том и о другом. Сегодня нужно писать о Каменском в «Вечер»[1]. Дождь идет страшный. <...>

Татьяна Александровна Богданович — похожа на классную даму — я у нее бывал довольно часто, и ночью ворочался один. Хотим издавать вместе календарь писателя в пользу Красного Креста.

18 августа. Был **у** меня вчера Куприн и Щербов — и это было скучно. Потом я бегал вперегонки с Шурой и Соней Богданович —

и это было весело. Куприн ждал от меня чего-то веселого и освежающего — а я был уныл и ждал: скоро ли он уйдет. У Куприна ишиас в ноге. Когда мы шли к станции, он прихрамывал, и пот выступил у него на лбу от напряжения. Он стал как-то старчески-неуклюж. Сегодня ходил к Тану ночью, — править Уэльса. Провожала меня Т[атьяна] А[лександровна]; с нею мы пошли на море, бурное и осенний запах; слегка напоминает Черное море. Говорили о своем календаре. Приедут какие-то дамы — комитет, — все, как у людей. Сидящий где-то во мне авантюрист очень рад всему этому. У Тана сидим, занимаемся — мимо окна какая-то фигура — Ильюшок Василевский, редактор «Образования». Расцеловались, даже вдавились губами друг в дружку. Он просил Тана дать ему статью, просил меня, мы оба обещали, но оба вряд ли дадим. Я завтра же сажусь за Пинкертона [2]. Он ушел, — оказалось, что его ждала у калитки его метресса, жена сидящего в тюрьме Рахманова, и Борский. Я распрощался с ними и пошел босиком домой — за 7—8 верст. Иду «под осенними звездами» парком — перевожу в уме стихотворение Киплинга. Узенькая аллейка — в ней к[а]к будто шпоры. Прихожу на станцию — зарево. В Белоострове пожар. Почему-то зашел на вокзал: вижу стол, Рахманова, Василевский и Борский едят колбасу, шоколад, огурцы. Устроились на вокзале, как в трактире. Удивительное умение носить повсюду за собою трактир... Мы много посмеялись, мой вид (без шапки и босиком) вызвал общую веселость — но вот поезд — прощайте, кланяйтесь Марье Борисовне и т. д. Я пошел в дальнейший путь. <...>

19 авг. Надо писать о Пинкертоне. Вспомнил о Куприне. Он говорил: «Зная ваш бойкий стиль, я хочу вам предложить: давайте издавать всё о России». — Как всё? — Всё. — У Достоевского в «Бесах» (не в «Идиоте» ли?) сказано, что такая книга была бы прелесть [3]. Или давайте издавать газету. — Щербов мило картавил, и хотя я ему не понравился, он мне понравился очень. От Изг[оева] письмо: «Короленко» принят в «Рус. Мысль».

29 авг. Вчера был с Машей у Т[атьяны] А[лександровны]. Анненский привез рукопись Короленки о Толстом. Слабо. Даже в Толстом К[оroленк]о увидал мечтателя [4]. Если человек не мечтатель — Короленко не может полюбить его. Получил от Куприна из Гатчины книгу. <...> Нужно заниматься, но как? О кинематографе — надо посетить кинематограф. А где его возьмешь в Куоккала? Читаю Бердяева; вот его свойство: 12-ая страница у него всегда скучна и уныла. Это дурной знак. 10 страниц всякий легко напишет, а вот 11-ую и 12-ую труднее всего написать.

7 сентября. Видел сейчас Анненского. Он сказал, что в сапожнике Андрее Ив. в «За иконой» Короленко вывел Ангела Ив. Богдановича, — тот тоже был такой сердитый. Я почти этому не верю: невозможно такой тип не списать с натуры. <...>

Я пишу о Нате Пинкертоне. — Еще Анненский сказал мне, что Глеб Успенский говаривал Короленке: «Вы бы хоть раз изменили жене, Влад. Г., а то какой из вас романист!»

10 сентября. «Пинкертон» хоть вяло, но подвигается. Сейчас стоит праздничная, яркая, осенняя погода. У меня пред окном белые березки умилительные. Правил сегодня корректуру предисловия к 3-ему изд. «От Чехова до наших дней» [5]. <...>

11 сентября. <...> Сейчас мне вспомнился Арцыбашев: какой он хороший человек. Я ругал его дьявольски в статьях. Он в последний раз, когда я был у него в «Пале Рояле», так хорошо и просто отнесся к этому [6].

Из «Слова» письмо — боюсь перечесть. Я у них взял аванс в 100 р. и не дал ни строки. С «Натом» я мучаюсь страшно. 2 недели пишу первые сто строк, и впереди нет ни одной мысли.

Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во мне загорится что-нб. эмоциональное. Если б у меня была «идея», я был бы писатель. А когда нет «пафоса», я почти безграмотен, беспомощнее всех, и завидую репортерам, которые связно могут написать десять строк. <...>

5 ноября. Сажусь за работу над Ибсеном. Раннее утро. <...>
1) От сестры Влад. Соловьева, Allegro, слышал: Вл. Соловьев сказал ей однажды: «Ты моя жена!» Она изумилась: почему? — «Мы же на ты» (женаты). 2) Ночевал прошлую ночь у Анненских. Рылся в библиотеке. Вижу книжку Чулкова «Тайга». На ней рукою Вл. Короленки написано: «В коллекцию глупостей». Хочу записывать такие литературные мелочи, авось хоть на что-нб. пригодятся. Для них заведу в дневнике особую страницу. Книжка моя только что вышла.

ОСОБАЯ СТРАНИЦА

(не датировано, 1908—09 г. — *Е. Ч.*)

3) Пшибышевский рассказывал мне об Ибсене. Он познакомился с Ибс. в Христиании на каком-то балу (рауте?). Ибсен пожал ему руку и, не глядя на него, сказал: «Я никогда не слыхал вашего имени. Но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы». Пш. был счастлив. Через неделю он увидел Ибс. на улице и догнал его: «Я — Пшибышевский, здравствуйте».

Ибс. пожал ему руку и сказал: «Я никогда не слыхал вашего имени, но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы».
4) Гинцбург рассказывал о Репине: у него надпись: над вешалкой

«Надевайте пальто сами», в столовой табличка: «Обед в 5 час. вечера» и еще одна: «Если вы проголодались, ударьте в гонг». В гонг я ударил, — рассказывает Гинцбург, — но ничего не вышло, тогда я пошел на кухню и попросил кусок хлеба.

5) Репин рассказывал о последних днях Гаршина. Гаршин женился на Надежде Михайловне. У Надежды Михайловны была сестра Вера. И когда мать Гаршина познакомилась с Верой, та ей понравилась. — Непременно женись на ней! — сказала она Евгению Гаршину. Тот и сам не прочь, влюбился. Стал хлопотать в консистории, чтоб сестру жены брата отдали за него. Консистория разрешила. Женился. И тут-то мать Гаршина вдруг возненавидела Веру. Пошли семейные дрязги. Впутался в это Всеволод. А мать перевела всё на его жену, Надежду. Оклеветала ее и до такого дошла исступления, что вдруг стала проклинать Всеволода. Он был ужасно подавлен материнским проклятием — и при встрече с Репиным ему все это рассказал. Он пред смертью делал закупки в Гостином Дворе — собираясь на Кавказ к Ярошенкам. <…>

Кстати. Репин говорил мне, что Гаршин очень любил играть в винт и, когда бывал у жены в сухопутной таможне — то ежевечерне предавался этой игре.

От Репина: Гаршин тоже пробовал вегетарианствовать, но после 2—3 дней бросил: очень пучит горох.

У Нат. Борисовны в речи Трубецкого пропущено. Он сказал: «Меня упрекают, что я не кончаю. Я только не кончаю, а другие скульпторы даже не начинают» [7].

О. О. Грузенберг мне рассказывал, что Чехов через Елпатьевского вызвал его — и толковал о том, как бы разрушить договор с «Нивой». — Не понравился он мне: вертит и туда и сюда. И хочет и не хочет. — Что же вы хотите, начать это дело? — Нет, не надо. — Махнул рукой... («Зачем же тогда было вызывать меня?» — удивляется Грузенберг.)

1909

20 февраля. <…> Вечер месячный, снегу много, ветер. У нас мама. Маша поехала к Рукавишниковой. Я обложен хохлацкими книгами, читаю, и странно: начинаю думать по-хохлацки, и еще страннее: мне на хохлацком яз. (как целый день начитаюсь) сны снятся; и еще страннее: те хохлацкие стихи, которые я знал с детства и которые я теперь совсем, совсем забыл, заслонил Блоками и Брюсовыми, теперь выплывают в памяти, вспоминаются, и еду на лыжах и вдруг вспомню Гулака, или Квітку, или Кулиша. И еще страннее: в характере моем выступило — в виде настроения, оттенка — какое-то хохлацкое наивничанье, простодушничание и т. д. Вот: не только душа создает язык, но и язык (отчасти) создает душу. Лидочка сегодня надела коричневое Колино пальто и не

хотела даже в комнате снять его. Странно, как у нее речь развивается совсем не тем путем, что у Кольки.

Колька создавал свои слова, запоминал только некоторые, расширяя постепенно свой лексикон. Лидочка *все до одного* слова может выговорить *приблизительно,* у нее огромный лексикон, — но это не слова, а как бы *тени слов*. Это потому, что она не творит, а повторяет вслед за другими. <...>

25 февраля. Среда. <...> Вечером — от 8 до 10 сидел со своею умною, удивительною матерью — и она мне рассказывала (превосходно, с хохлацким юмором), как Маруся[1] и Липочка живут вместе. Липа, точь-в-точь к[а]к наша Лидочка за Колькой, повторяет все за Марусей. Все Липочкины мнения, вкусы, симпатии от Маруси. И когда они поселились вместе, оказалось, что у Липочки такой же самый портрет Шаляпина, такой же самый портрет Чехова, Достоевского, Коленьки и т. д. Даже два одинаковых календаря. И — что смешнее всего — рядом два шкапа с одинаковейшими книгами в одинаковых переплетах... <...>

26 февраля. Четверг. Сейчас еду в город проведать Машу. Очень некогда. О Шевченке расписался — и, кажется, много пустяковых слов. Это так больно: я долго готовился, изучил Ш[евченк]а, как Библию, и теперь мыслей не соберу. <...>

20 марта. У Блинова изумительные дети. Так страшно, что они вырастут и станут другими.

— Вы сочинитель? — Да. — А ну, сочините что-нб. сию минуту!

— Лидочку вы *либо* нашли, либо вам аист принес.

— Я именинник 23 июля. Приходите!

— А я 25 апреля. Очень хочу, чтобы вы пришли. Приходите!

Потом постояли у калитки, и 7-летний, словно вспомнил что-то важное:

— Кланяйтесь вашей жене!

Потом, когда я уже был далеко:

— Приходите завтра, пожалуйста!

Дождь, лужи, туман. Коля поехал с бабой и мамой в Зоологический сад. Изо всех газет сыплются на меня плевки. <...>

9 апреля. Копаю снег, читаю Гаршина. Третьего дня еще шел снег, а сегодня и вчера — гром, весна, весенний ветерок, лужи. В Гаршине покуда открыл одну только черту, никем не подмеченную: точность, отчетливость. Еду сегодня в Питер на реферат Тана.

15 апреля. Вчера забрал детишек Блинова и двух девочек Поповых и бегал с ними под солнцем весь день, к[а]к бешеный. Костер, ловитки, жмурки — кое-где сыро, кое-где снег, но хорошо удивительно. Коленька весь день со мною. Блиновы-мальчики в меня

влюблены. Я как-то при них сказал, что женился в 19 лет и тотчас же уехал в Англию.

Кука тотчас же сказал:

— Я тоже женюсь в 19 лет и тоже уеду в Англию.

Они пишут мне письма, дарят подарки, сегодня принесли Коле краски. Коленька даже побледнел от радости. Когда мне Марья Борисовна крикнула, чтобы я закрывал двери, Кука шепнул мне:

— А вы ее не любите. Зачем она на вас кричит? Вы ей говорите, будто любите, а на самом деле не любите.

Весна — шумят деревья, тучи округлились, укоротились.

Перечел Гаршина, составил гороскоп, есть интересные мысли, но писать не хочется. <...>

30 апреля. Ночь. Вернулся из города. У Мережковских: читал свою статью о Гаршине [2]: слезы. До чего я изнервничался. К Гессену: 100 р. *С Гумилевым* к Яблочкову; — с Яблочковым обедать, к Вольфу и в кинематограф. Был у Фидлера. — Кука считает слово черт неприличным.

— К. И., кого вы больше любите, Лермонтова или же бы Пушкина?

— Пушкина.

— Я тоже: у Лермонтова есть про чертей.

Весны все еще нет.

7 мая. Читаю впервые «Идиота» Достоевского. И для меня ясно, что Мышкин — Христос. Эпизод с Мари — есть рассказ о Марии Магдалине. Любит детей. Проповедует. Князь из захудалого, но древнего рода. Придерживается равенства (с швейцаром). Говорит о казнях: не убий.

8 мая. Сегодня шел снег, у меня на вышке (на новой даче) было изрядно холодно. Тем не менее я доволен. Вчера и сегодня я целые дни — с 7 час. утра до 11 ч. вечера работаю, — и как это чудно, что у меня есть вышка. Теперь я понял причину своей нерадивости у Анненкова. Там я был на одном уровне с Машей, детьми, прислугой, и вечно мелькали люди, — и я первый ассимилируюсь с окружающим. Здесь же меня осеняет такое «счастье работы», какого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина — свою о нем статью — и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать — и на ночь буду читать «Идиота». Есть ли кто счастливее меня. Слава Тебе, Боже мой! Слава Тебе!

9 мая. Тоже весь день работал. Ходил с Коленькой на море. Заблудился немного. <...>

2 июня. Были с М[ашей] третьего дня у Андреева. Интересно, как женился Андреев. Я познакомил его с Толей Денисевич. Он сде-

лал ей предложение. Она отказала. Тогда он сделал предложение ее сестре. Перед этим он предлагал Вере Евгеньевне Копельман бросить мужа. Вообще: у него раньше была дача, а потом для дачи он достал себе жену. Эту его новую жену никто терпеть не может, все бойкотируют. Прислуга сменяется феноменально часто.

Андреев говорил обо мне: — Вы нужны потому, что вы показываете у всякого стула его донышко. Мы и не подозревали, что у стула бывает дно, а вы показываете. Но с вами часто случается то, что случилось с одним героем у Эдг. По: он снимал человека с прыщиком, а вышел прыщик с человеком.

Читаю «Яму» Куприна[3] и Дарвина. <...>

1910

Январь 11. Чувствую себя хорошо. Вчера была луна — у И[льи] Е[фимовича] затевают Народный Дом — урра! — пили — я предложил вечер сатириконцев — урра! <...>

И. Е. говорил со мною о стихах К. Р. — прелесть, о Г. Г. Мясоедове — «дрянь», о Бодаревском, об Эберлинге: его ученик, panполяк, однажды искры, и т. д., и т. д. Сейчас буду править корректуру Сологуба[1].

23 января. Вас. Ив. Немирович-Данченко был у меня сегодня и рассказывал между прочим про Чехова; он встретился с Чеховым в Ницце: Чехов отвечал на все письма, какие только он получал. — Почему? — спросил Вас. Ив. — А видите ли, был у нас учитель, в Таганроге, которого я очень любил, и однажды я протянул ему руку, а он (не заметил) и не ответил на рукопожатье. И мне так больно было.

Вечером у Репиных. И. Е. говорил, что гений часто не понимает сам себя.

8 февраля. Ночь. Вчера болтался в городе: читал в Новом Театре о Чехове без успеха и без аппетита. Был у Розанова: меня зовут в «Новое Время». Не хочется даже думать об этом. С Розановым на прощание расцеловался. Говорили: о Шперне (?, нрзб), о том, что в книге Роз[ано]ва 27 мест выбрасывается цензором, о Михайловском (оказывается, Роз. не знает, что Мих. написал «Что такое прогресс?», «Борьба за индивидуальность» и т. д.) <...>

Утром вчера у Немиров.-Данченко: говорил, как Чехов боялся смерти и вечно твердил: когда я помру, вы... и т. д. Много водок, много книг, много японских картин, в ванной штук сорок бутылок от одеколону — *множественность* и пустопорожняя пышность — черта Нем[ировича]-Д[анченко]. Даже фамилья у него двойная. Странный темперамент: умножать все вокруг себя. От Немировича

в театр: там какие-то люди, котор. хотели меня видеть, и в том числе Розенфельд: нужно предисловие к книге его жены. Оттуда в «Мир», оттуда к Альбову. Взял Альбова в ресторан «Москва» — он задыхается. Очарование чистоты и литературного благородства... Он терзается уж который год, что не может написать ни строки. «Что так-то небо коптить?» Замыслил теперь вещь — деньги на исходе — больной старик скоро останется без копейки. Спрашивает, не могу ли я свести его с «Шиповником». Это патетично. У меня даже «слезы были на глазах», когда он говорил об этом. Он не ноет, не скулит, он не кокетничает тоскою, но выходит оттого ужаснее. Вспоминал: к[а]к студентом, уже автором «Дня итога» в день казни Кибальчича («я все их *рожи* близко видел») зашел к бляди и как она спрашивала, за что их казнили, и сочувствовала революционерам. Мне бы лет 20 назад написать «Яму», а теперь, после Куприна, его уже не тянет. Вспоминал о монастыре Валаам, куда ездил с отцом лет 11-ти, о молчальнике, с к-рым накануне молчания приехала поговорить в последний раз семья, о кающемся купце, к-рый для подвига — вымостил один дорогу от монастыря к морю и т. д. Отец его — дьякон. Здесь Чехов познакомился с Ив. Щегловым — сказал он, уходя из ресторана. Кстати, мне понравилось: Андреев меня называет Иуда из Териок — Иуда Истериок.

От Альбова опять в «Мир» — застал мать издателя старуху Богушевскую. Она мне сию же минуту с бацу рассказала, что ее сын издает журнал, т. к. его жена умерла, а ребенок родился идиотом, «вы не хотите ли денег, возьмите, пожалуйста, вы такой милый, сын мне доверил кассу, я и даю, кто ни попросит». Я отказался — но все мне казалось, как из романа какого-нб. <...>

10 февраля. Сейчас был у меня в гостях Григорий Петров. Приехал из Выборга. В кацавейке и синих каких-то жандармских штанах. Позавтракали вместе. Голова седая стала, к[а]к у Станиславского. Пошли к Репину. Там постылая Яворская, Майская, Семенов... <...> Я дурацки делал фокусы на лыжах. Вдруг приносят известие, что Комиссаржевская умерла. Толстый профессор Каль читает из «Биржевых». Я почему-то разревелся. Илья Еф. не заметил, что я р е в у , — и говорит:

— Не мудрено и умереть. Вот если так, к[а]к Чуковский сегодня на лыжах...

Потом заметил, сконфузился и вышел из комнаты.

Сейчас читаю «Ключи Счастья», Вербицкой. Жду, не придет ли от Репина Петров. <...>

20 апреля. Репин в 3 сеанса написал мой портрет. Он рассказывал мне много интересного. Напр., к[а]к Александр II посетил мастерскую Антокольского, где был «Иоанн Грозный». Пришел, взглянул на минуту, спросил:

— Какого вероисповедания?

— Еврей.

— Откуда?

— Из Вильны, В[аше] В[еличество].

— По месту и кличка.

И вышел из комнаты. Больше ни звука.

Рассказывал о Мусоргском. Стасов хлопотал, чтобы Мусоргского поместили в Военном Госпитале. Но ведь М[усоргский] — не военный. Назовите его денщиком. И когда И. Е. пришел в госпиталь писать портрет композитора — над ним была табличка: Денщик.

Вчера И. Е. был у нас. Какая у него стала память. Забывает, что было вчера. Гессен ему очевидно не понравился. И. Е. показывал нам свою картину «18 окт.», где он хочет представить *апофеоз* революции, а Гес[сен] посмотрел на картину и сказал: «Вот почему не удалась рус. революция» — ведь это же карикатура на рус. революцию.

24 апр. Весна ранняя — необыкновенно хороша. Уже береза вся в листьях, я третий день — босиком, детки вчера тоже щеголяли без обуви. На душе — хорошо, ни о чем не думаю. Вчера изнуряли меня: Лидия Николаевна, Анненкова, Иванова, Пуни, — отняли полдня. Нужно от них отгородиться. Решено: на почту не хожу, и вставши — сейчас за стол.

Кука рассказывает: Коля сказал: папа, купи мне зай... потом шлеп по колено в воду — и докончил:

— ца!

Ах, да. Когда И. Е. меня писал, он рассказал мне забавный анекдот об Аполлинарии Васнецове: тот, вятчанин, никогда не видал апельсинов. И вот в СПб. (или в Москве?), увидавши, как другие едят, он купил десяток с лотка; очистил один — видит, красный, подумал, что порченый, и выбросил прочь, другой — тоже, и в конце концов выбросил все. Потом обнаружилось, что то были «мандаринки». <...>

29 апреля. Коля лежит у меня в комнате и вдруг:

— Папа, я думаю, что из обезьян делается человек. Обезьяна страшно похожа на ч[еловека], только бороды у нее нету.

Коля сегодня за ужином с Егоркой об чем-то разговаривал. Егорка безбожно лгал. Я сказал: смотри, Егорка, не ври, Бог накажет.

Коля: — Но ведь же сам так и сделал, что человек врет... Сам делает и сам наказывает...

Детерминизм и свобода воли... Если б я сам не слыхал, не поверил бы. Егоркин папа — повар. Он с важностью говорит: 20 р. в месяц получает.

Конец апреля. Лида: — Сколько на свете есть Петербургов? — Один. — А Москвов? — Тоже одна. — Каждой станции по одной.

19 мая. Был у Репина: среда. Он зол, как черт. Бенуашка, Философошка! За столом так и говорит: «Но ведь он бездарен, эта *дрянь* Философошка!» Это по поводу письма Философова, где выражается сочувствие Бенуа (в «Речи»). Я возражал, он махал рукою. Художник Булатов играл на гитаре и гнусно пел. Дождь, туман. У меня ящерица и уж: привез к Колиным именинам. Работы гибель — и работа радостная. Писать о Уитмене и исправлять старые статьи. Продал книгу в «Шиповник». Маша не сегодня — завтра родит. Настроение бодрое: покончил с Ремизовым, возьмусь за Андреева. После Андреева Горький: по поводу «Городка Окурова» хочу статью подробную писать. После Горького — Ценский — и тогда за Уитмена и за Шевченка — в июле. Шевченко войдет в критическую книгу, а Уитмен отдельно [2]. Весь июль буду писать длинные статьи, а июнь писать фельетоны. 10 же дней мая, о, переделывать, подчищать — превосходно. И потом в литературном о-ве лекцию о Шевченко. Идеально! Сегодня читал псалтырь.

Июнь который-то. Должно быть, 20-й. Оля Ямпольская — таланты приживалки. Унылая скульпторша. Полипсковский вчера приехал с женою. Жена — демонстративно-прозаична. Все женщины прозаичны, но они это скрывают, а она даже и не знает, что нужно скрывать. Груба, громка, стара... <...> *Я познакомился с Короленкой:* очарование. Говорил об Александре III. Тот, оказывается, прощаясь с киевским губернатором, громко сказал:

— Смотри мне, очисти Киев от жидов.

По поводу «Бытового Явления». Издает его книжкой, показывал корректуру — вспомнил тут же *легенду *,* что Христос в Белоруссии посетил одного мужика, хотел переночевать, крыша текла, печь не топлена, лечь было негде:

— Почему ты крыши не починишь? Почему у тебя негде лечь?

— Господи! я сегодня умру! Мне это ни к чему.

(В то время люди еще знали наперед день своей смерти.) Христос тогда это отменил.

Земские начальники, отрубные участки, Баранов, финляндский законопроект, Бурцев и все это чуждое мне, конкретное — не сходит у него с языка. О Горьком он говорил: с запасом сведений, с умением изображать народную речь, он хочет построить либо тот, либо другой силлогизм. Теперь много таких писателей, — например, Дмитриева.

Я предложил ему дать несколько строк о смертной казни, у меня зародился план — напечатать в «Речи,» мнение о смертной казни Репина, Леонида Андреева, Короленки, Горького, Льва Толстого! [3]

Пошел с Татьяной Александровной меня провожать — прой-

---

* У меня в статье о нем указано, как он любит легенды. — *Примеч. автора.*

тись. Осторожный, умеренный, благожелательный, глуховатый. Увидел, что я босиком, предложил мне свои ботинки. *Штаны широкие обвисают.*

Фельетон об Андрееве у меня застопорился. Сижу за столом по 7, по 8 часов и слова грамотно не могу написать.

Татьяна Александровна тревожно, покраснев, следила за нашим разговором. Как будто я держал пред Короленкою экзамен — и если выдерживал, она кивала головою, как мать.

Конфеты были Жоржа Бормана, а море — очень бурное. Белые зайцы. У меня теперь азарт — полоть морковь.

20 июня. Анатолий Каменский и его товарищ у нас. Ехал в трамвае с господином, у которого ноги попахивали. Он вынул карточку и написал: «Вам необходимо вымыть ноги и переменить чулки. Анат. Каменский». Дурак! Вечером у Короленка — Редько — пошли-проводили на станцию. Говорили о спиритизме. Короленко на точке зрения Бюхнера-Молешотта. Рассказывал о проф. Тимирязеве — весельчак: проделывал тончайшие работы, напевая из оперетки. И его враг, другой профессор, живший в нижнем этаже, — всегда возмущался: к[а]к серьезный ученый может напевать. Идиллия! Склад ума у Короленка идиллический. Вчера он рассказывал о своих дочерях: как где в славянских землях их встретили тамошние крестьянки, разговорились и дали дочерям яиц и ягод:

— За то, что вы умеете по-нашему (по-хорватски?) говорить.

Идиллия!

24 июня. Маша уехала в город. Тайком пробралась. У меня в то время сидели Татьяна Александровна и Короленко. Короленке я чаю не дал, он говорил о Гаршине: «был похож в бобровой шапке на армянского священника». Рассказывал о Нотовиче. (Оказывается, Короленко начал в «Новостях»; был корректором, и там описал репортерски драку в Апраксином переулке.) Один корреспондент (Слово-Глаголь) прислал Нотовичу письмо: кровопийца, богатеете, денег не платите и т. д. Нотович озаглавил «Положение провинц[иальных] работников печати» и ругательное письмо тиснул в «Новостях» к[а]к статью. — Потом я пошел с ним к Т[атьяне] А[лександровне]. По дороге о Луговом, после о Бальмонте, о Врубеле, о передвижниках и т. д., о Мачтете и Гольцеве.

Репин об Андрееве: это жеребец — чистокровный.

О Розанове: это баба-сплетница.

7 июля. С Короленкою к Репину. Тюлина он так и назвал настоящей фамилией: «Тюлин» — тому потом прочитали рассказ, и он выразился так:

«А я ему дал-таки самую гнусную лодку! Только он врет: баба меня в другой раз била, не в этот». Тюлин жив, а вот «бедный Макар» скончался: его звали Захар, и он потом так и рекомендовался: «Я — сон Макара», за что ему давали пятиалтынный.

«Таким образом, если я сделал карьеру на нем, то и он сделал карьеру на мне».

У Репиных на летней террасе: m-me Федорова и Гржебин. К[оролен]ко был в ударе. Рассказал, как по Невскому его везли в ссылку четыре жандарма в карете, и люди, глядя на карету, крестились, а потом передавали его от сотского к десятскому, к заседателю и в конце концов — *к бабе Оприське*. У И. Е. в мастерской картина «Пушкин и Державин» сильно подвинулась вперед. Общий тон мягче: генерал (Барклай де Толли) заменен отцом, рядом с Паганини еще воспитатели, вольница заменена рыдающими запорожцами, в «Крестном Ходе» — переделки.

Неделю назад у меня родился сын.

10 июля. Бессонница. Лед к голове, ноги в горячую воду. Ходил на море. И все же не заснул ни на минуту. В отчаянии исковеркал статью об Андрееве — и, чтобы как-нб. ее закончить, прибег утром к кофеину. Что это за мерзость — писание «под» стакан кофею, под стакан крепкого чаю, и т. д. Свез в город — без галстуха — так торопился, в поезде дописывал карандашом. Гессен говорит: растянуто [4]. В редакции Клячко с неприличными анекдотами доминирует над всеми. О. Л. Д'Ор просил отвезти О. Л. Д'Орше деньги. Я взял извозчика, приехал — она у Поляковых. Там Аверченко, вялый и самодовольный. <...> Я с ним облобызался — и, под предлогом, удрал к Т[атьяне] А[лександровне].

Короленко встретил меня радостно. О Репине. О Мультановском деле: как страшно ему хотелось спать, тут дочь у него при смерти — тут это дело — и бессонница. Пять дней не сомкнул глаз [5].

«В 80-х гг. безвре[ме]нья — я увидел, что «общей идеи» у меня нет, и решил сделаться партизаном, всюду, где ч[елове]к обижен, вступаться и т. д. — сделался корреспондентом — удовлетворил своей потребности служения».

15 июля. Катался с Короленкою в лодке. Т[атьяна] Александров-на], Оля (Полякова), Ася и я. О Лескове: «Я был корректором в «Новостях» у Нотовича, как вдруг прошел слух, что в эту бесцензурную газету приглашен будет цензор. Я насторожился. У нас шли «Мелочи Архиерейской Жизни». Вдруг входит господин чиновничьего виду.

— Позвольте мне просмотреть Лескова «Мелочи».

— Нет, не дам.

— Но как же вы это сделаете?

— Очень просто. Скажу наборщикам: не выдавать вам оттиска.

— Но почему же?

— Потому что газета у нас бесцензурная, и цензор...

— Но ведь я не цензор, я Лесков!

Потом я встретился с ним в редакции «Рус. М[ысли]». Свел

нас Гольцев. (Я тогда был какого заодно с Мачтетом.) Я подошел к Лескову с искренней симпатией и начал:

— Я, правда, не согласен с вашими мнениями, но считаю Ваших «Соборян»...

Он не дослушал и сразу заершился: Фу! фу! Теперь... в такое время... Нельзя же так... Ничего не понимают...

Никакого разговору не вышло.

На перемену его взглядов в сторону радикализма имела влияние какая-то евреечка-курсистка. Я видел ее в «Новостях» — приносила статьи: самодовольная».

Т[атьяна] А[лександровна] еще раз подтвердила, что она не боится доверять мне детей, и Короленко:

— Только не усмотрите здесь аллюзии: нас, малышей, мама совершенно спокойно отпускала купаться с сумасшедшим. Сумасшедший сидел в Желтом доме, иногда его отпускали, и тогда он водил нас купаться.

20 июля. Был Андреев у К[оролен]ка: приехал часов около семи. Никакого исторического события не вышло. Нудный Елпатьевский был со своим сыном и племянником, Кулаков, — Андреев долгожданный с женою и с Никол. Никол. на террасе. Все смотрели на Андреева, хотели слушать Андреева, а Короленко стал рассказывать один свой рассказ за другим: о комете, о том, как он был в Сербии, и т. д. Андреев ни слова, но, очевидно, хмурый: он не любит рассказов о второстепенностях, он хотел говорить о «главном», хотел побыть с Короленкою наедине, но ничего не вышло. Рассказал А[ндрее]в анекдот, как он, подделавши голос, звонил к Ник. Дм. Телешову, якобы Боборыкин.

— Кто говорит?

— Боборыкин.

(А Телешов — он такой почтительный.)

— Что угодно, П[етр] Д[митриевич]?

— Хочу жениться, не пойдете ли ко мне в шафера?

Потом Короленко проводил меня с Т[атьяной] А[лександровной] домой. Говорил о том, что ему очень понравился последний мой фельетон об Андрееве, но главная ли здесь черта А[ндрее]ва, — он не знает.

Сегодня я был с Колей и Лидой в кинематографе; потом на Асиной лодке катался с Володей, Шурой, Асей, Олей, Соней и Таней [6]. К берегу выбросило утопленника.

5 октября. Был вчера у Розанова. Жену его 3 дня назад хватил удар «Она женщина простая, мы с нею теперь были за границей, и она обо многом впервые дошла своим умом — как же это Бог? — и вот приехала в СПб, ее хватил удар, и она с первого же слова:

— Это оттого, что я жила умом, а не сердцем». <...>

1911

Январь. Пишу о Шевченко. Т. е. не пишу, а примериваюсь. Сегодня приедет ко мне Гр. Петров. Он был очень мил с нами, когда мы с М[ашей] 3 дня назад отправились в Выборг. Мы покупали мебель, он — по всем мебельным магазинам, даже в тюрьму, где изделия арестантов, к немому финну — за телятиной, нес телятину за нами и т. д. Он немного пресен, банален, но он по-настоящему, совсем не банально д о б р , — без малейшей л я п и д а р н о с т и , — и к тому же без позы. Он мне предложил, малознакомому, 200 р., я взял у него 100 — и никаких изъявлений благодарности.

28 янв. Сейчас раздавал Мане и Нюне пряники, которые прислала им Нордман. Она всегда, когда гости (более близкие) уходят, говорит с милой и деловитой улыбкой «подождите» и выносит штук 25 пряников и раздает для передачи всем чл[енам] семейства и «сестрицам» (прислуге.) Точно так же после всякого обеда она говорит: — Надеюсь, что вы достаточно г о л о д н ы . — Был теперь бас-Державин, Ермаков, какой-то господин, котор. читал свою драму: о пауке, о Пытливости и Времени. И. Е. слушал-слушал и сбежал, я сбежал раньше, сидел внизу, читал. Разговор о Шаляпине — «Утро Рос[сии]» назвало Ш[аляпин]а х а м о м . — Браво, браво! — сказал И. Е. (Это его любимое слово: горловым голосом.)

30 янв. Сижу и жду И. Е. и Нат. Борисовну. Приедут ли они? Шкаф, наконец, привезли, и я не знаю, радоваться или печалиться. Вообще все мутно в моей жизни, и я не знаю, как к чему относиться. Резких, определительных линий нет в моих чувствах. Я сейчас занят Шевч[енк]ою, но, изучив его до конца — не знаю, как мне к нему отнестись. Я чувствую его до осязательности, голос его слышу, походку вижу и сегодня даже не спал, до того ясно чувствовал, как он в 30-х гг. ходит по Невскому, волочится за девочками и т. д. Удастся ли мне все это написать? Куоккала для меня гибель. Сейчас здесь ровная на всем пелена снегу — и я чувствую, к[а]к она на мне. Я человек конкретных идей, мне нужны образы — в уединении хорошо жить человеку логическому — а вместо образов снег. Общества у меня нет, я Репина жду, как манны небесной, но ведь Репину на все наплевать, он не гибок мыслями, и как бы он ни говорил своим горловым голосом: браво! браво! — это не помешает ему в половине 9-го сказать: — Ну, мне пора.

Получил я от Розанова письмо с требованием вернуть ему его книги. Значит, полный разрыв [1].

1 апреля. Только что с Т[атьяной] А[лександровной] приехал ко мне Короленко дачу искать. Борода рыжеватая от лекарства против экземы. Слышит он будто туже. Об Алекс. Н. Толстом, с кото-



Салон ее светлости русской литературы. Рис. Ре-Ми. 1914. Фрагмент шаржа. Изображены: 1. И. Потапенко, 2. Сергей Городецкий, 3. Ал. Рославлев, 4. Корней Чуковский, 5. Леонид Андреев, 6. Ал. Толстой

рым я его давеча познакомил: — Представлял его себе худощавым и клок волос торчком торчит. Думал, что похож на Алексея Константиновича. — Но где же у Ал. Конст-ча клок? — В молодости. — Про Петрова портрет: а вот и Чириков. — Детям дал апельсины. Сломались сани, наткнувшись на столбик. Он их умело чинил. Рассказал чудесный анекдот: было это в 1889 г. Он только что обвенчал студента и девицу. Студент поехал на облучке, а он с его женой рядом. Навстречу шла ватага студентов. Когда сошли у монастыря, стали молодожены целоваться. А К[ороленко] ищет камушков. Один студент с насмешкою: профессор, какой породы этот камушек? К[оролен]ко:

— Во-первых, я не профессор, а во-2-х, это не моя жена.

5 мая. На новой даче. <...>

Пишу заметку о воздухоплавании[2]. Сейчас сяду переводить Dogland[3]. Маша в Худ. Театр поехала вчера и не вернулась. Мой нынешний пафос — уехать куда-нб.

10 мая. Опять W[alt] W[hitman]. Вспомнил, к[а]к Короленко говорил о выражении Брюсова: «миги»: — Очень хорошо — напоминает фиги. <...>

16 июня, четв. Репин в воскресение рассказывал много интересного. Был у нас Философов (привез пирог, синий костюм, галстух заколотый), Редько, О. Л. Д'Ор и др. Репин говорил про Малороссию. С 15-летним Серовым он ездил там «на этюды». «Хохлы так изолгались, что и другим не верят. Я всегда являлся к попу, к духовенству, чтобы не было никаких сомнений. И никто не верил, что я на этюды, думали, что я ищу клад. Один священник слушал меня, слушал, а потом и говорит:

— Скажите, это у вас «щуп»?

Щуп для клада — про зонтик, который втыкается в землю.

На Волге не так:

— Ай трудная же у вас должность! Все по горам — все по горам — (Жигули) бедные вы, бедные — и много ли вы получаете?

Про Мусоргского — как Стасов вез его портрет из госпиталя, где М[усоргск]ий умер — и, чтобы не размазать, держал его над головою, и был даже рад, что все смотрят.

Я указал — как многие, кого напишет Р[еп]ин, тотчас же умирают: Мусоргский, Писемский и т. д. О. Л. Д'Ор сострил: а вот Столыпину не помогло. И. Е. (как будто оправдываясь): «Зато — Плеве, Игнатьев, Победоносцев — множество». <...>

24 июня. Пишу программу детского журнала. Дело идет очень вяло. Хочется махнуть рукой![4]

Среда 13 июля. Все еще пишу программу детского журнала. Ужас. Был у Репина. Там некто Печаткин прочитал неостроумный рассказ, где все слова начинались на з. «Знакомый закупил землю. Знакомого запоздравили». И. Е. говорил:

— Браво, браво!

Потом он же рассказал армянский и евр[ейский] анекдот, как арм. и евр. рассказывали басню о «лисеночке и m-me вороне». Потом одна седая, с короткими ногами, декламировала о каком-то кинжале. И. Е. говорил:

— Браво, браво.

Потом фотограф Глыбовский позорно прочитал о какой-[то] вакханке. Реп[ин]:

— Браво, браво!

Ужасное, однако, о[бществ]о у Репина. Эстетика телеграфистов и юнкеров.

1912

Май 15ое. Я уже давно совсем больной. 3-й день лежу в постели. 12-го Марг. Ф. уехала на голод. Я ее провожал. Виделся с Короленко. *Он замучен:* Пешехонов и Мякотин в тюрьме, Анненский за границей — больной, — он один читает рукописи, держит корректуры и т. д. — «А все же вот средство против бессонницы: поезжайте на велосипеде. Мне помогло. Я сломал себе ногу — меня уложили в кровать, и бессонницы прекратились». Ужасно весь захлопоченный. Телефон. — Что такое? — В. Г., у одной рабочей увечье; она затеяла процесс; выиграла; 600 р.; адвокат себе берет гонорару 400 — помогите! — Короленко, не допивши чаю, начинает звонить ко всем адвокатам, — хлопочет, суетится — и так каждый день! — Рассказывал, как он одного спас от повешения: бегал по судьям и в конце концов 31-го декабря обратился к Гучкову — тот сделал все возможное. — Состряпал с Т[атьяной] А[лександровной] Голодный номер, прилож. при «Совр. Слове» — и даже карту сам нарисовал. Когда Анненский был болен, он спал на полу — возле: — «Кто ни придет, наступит».

Был у Розанова. Впечатление гадкое. <...>

Жаловался, что жиды заедают в гимназии его детей. И главное чем: симпатичностью! Дети спрашивают: — Розенблюм — еврей? — Да! — Ах, какой милый. — А Набоков? — Набоков — русский. — Сволочь! — Вот чем евреи ужасны. <...> Библиотеку основывает в Костроме. Показывал домик, где родился: изба. На прощание целовал, благодарил — и в тот же день поехал ко мне — через час. <...>

Кстати, чтобы не забыть. Еду я на извозчике, а навстречу Короленко на велосипеде. Он мне сказал: я езжу всегда потихоньку, никогда не гоняюсь; в Полтаве еще некоторые поехали, поспешили, из последних сил, а я потихоньку, а я потихоньку, — и что же, приехал не позже других... Я подумал: то же и в литературе. Андреев и Горький надрывались, а Короленко потихоньку, потихоньку...

Познакомился с женой его. Ровный голос, без психологических интонаций. Душа большая, но грубая.

И. Е. Репин был у нас уже раз пять. Я у него — раз. Он пишет теперь портрет фон Битнера, Леонида Андреева и «Перед Закатом» — стилизованного Толстого. Толстой, осиянный заходящим солнцем, духовная экзальтация, таяние тела, одна душа. Но боюсь безвкусицы: ветка яблони — тенденциозна, сияние аляповато. Это к[а]к стихотворение в прозе — кажется легко, а доступно лишь немногим. И. Е. ждет, когда зацветет у него яблоня, чтобы с натуры написать. В воскресение он позвал меня развлекать Битнера: у того очень уж неподвижное лицо.

3 июня. С М. Б., И. Е-чем и Н. Б. ходили на станцию провожать кн. Гидройца. Илья Ефимович рассказывал, к[а]к он познакомился

с Л. Н. Толстым. В 70-х гг. жил он на Плющихе, а Толстые в Денежном переулке. Как-то вечером докладывают ему, что пришел кто-то. Он выходит: Лев Н-ч. Борода серая. «Я считал по портрету Крамского, что он высокий, а он приземистый: немного выше меня». Пришел познакомиться. И сейчас же заговорил, о — своем, он тогда очень мучился. Что говорил, не помню, — очень глубокое, замечательно (я только уши развесил!). Но помню, что выпил целый графин воды.

Стали мы считать, сколько портретов Толстого написал И. Е. Оказывается, десять. — Неужели я 10 портретов написал! — удивляется И. Е.[1].

Очень смешной эпизод вышел с И. Е. недавно: в трамвае он встретился с инспектором Царскосельского лицея. И. Е. сказал, что едет на собрание Толстовского Комитета.

— А вы были знакомы с самим «стариком»? — спрашивает невежда инспектор.

— Да, немного, — скромно отвечает И. Е.

И. Е. ходит купаться. Пошел в бурю и в грозу. Ветер купальную будку поднял на воздух, когда в ней находился И. Е., и разбил в щепки, а И. Е. цел и невредим оказался на коленях. — Совсем Борки[2], — говорит Н. Б.

— И за что мне слава такая? — говорит И. Е. — Вот уж скоро на том свете с меня за это много спросят.

4 июня. У Бобочки уже месяца три завелось ругательное слово: дяба (должно быть: дьявол, а м. б. бяка), и вот первая связная фраза, к-рую он недавно сказал:

— Боба — пай, няня — дяба.

Короленко о Верещагине: когда умер Михайловский, К[ороленк]о ехал на погребение в СПб. В одном поезде с ним — В. В. Верещагин. — Осиротело «Русское Богатство», — сказал Короленко. — Михайловский скончался.

— Дело поправимое! — сказал Верещагин. — Возьмите моего брата.

5 июня. Вчера опять был И. Е. — у Маши на именинах. Подарил ей свой старый фотографический] портрет. Говорили о литературе. И. Е., оказывается, очень обожает Чернышевского, о «Что делать» говорит, сверкая глазами. Тургеневск[ие] Стихотвор[ения] в прозе ненавидит.

11 июня. Вчера И. Е. рассказывал, к[а]к умер А. А. Иванов, художник. Он к[а]к пенсионер должен был явиться к Марии Николаевне, велик. княгине. Борода: сбрейте бороду. Нет, я не сбрею. Явился он к ней в 10 утра: а, борода! — его в задние ряды: только в 4 часа она его приняла. Он был голоден, угнетен (приняла сухо), измучен — поехал куда-то на дачу (в Павловск?) к Писемскому, там напился чаю, один стакан, другой, третий — и умер от холеры. — Вчера был Иванов день. Мы с Колей и Лидой в лодке — и с Бобой.

12 июня. Сегодня годовщина со дня смерти Альбова — и в «Речи» напечатано: годовщина смерти писателя Михаила *Николаевича* Альбова.

Отмечаю походку Ильи Ефимовича: ни за что не пройдет первым. Долго стоит у калитки: — Нет, вы первый, пожалуйста.

14 июня. Сегодня Лидочка первый раз сказала: я сама. До сих пор она говорила о себе в мужск. р[оде]: я пошел, я сказал, я сам. А сегодня я сижу и пишу о Чарской, Л[ида] под окном собирает колокольчики, и вдруг я слышу, она говорит девочке подруге: я сам, я сама сосчитаю.

Сейчас был Репин. Приглашает ехать в воскр. в Териоки — в театр. Хорошо! Рассказывал о композиторе Милии Балакиреве. Репин написал его в числе других русских композиторов для Славянского Базара. Милий позировал, но даже не заинтересовался взглянуть, когда портрет был готов.

16. Утонул 3-го дня Сапунов в Териоках. Коля сидит с Джимми у глобуса — и путешествует: тра-та-та-та-та! Он очень любит географию. — А тут уже начинается лед, лед, лед, лед...

17—18—19—20. События, события и события. Мы были с И. Е. и Н. Б. и Бродским в Териоках; были в общежитии актеров — у Мейерхольда. Илья Ефимович был весел и очарователен. Попался торговец итальянец. — А ну, И. Е., к[а]к вы по-итальянски говорите? — И. Е. пошел «козырять» и купил у итальянца ненужную цепочку. Потом купил за 10 р. для нас ложу. Потом повел нас пить кофе: — Я угощаю, я плачу́ за все! — Мы пошли в этот милый Териокский ресторанчик. Он стал говорить: почему я не куплю дачу, на к-рой живу. Я сказал: я беден, я болен. И. Е. подмигнул как-то мило и простодушно: — Я вам дам 5 или 10 тысяч, а вы мне отдадите. Я ведь кулак, вы знаете, — и всю дорогу он уговаривал меня купить эту дачу на его деньги.

— А если вы купите, — и она вам разонравится, то я... беру ее себе... видите, какой я кулак!

Н. Б. горячо убеждала нас согласиться на эту сделку. <...>

Чарская не пишется совсем. Я и так, я и сяк.

Пол наших детей определился в это лето очень ясно: Лидочка, несмотря на прекрасную погоду, прячется с девочкой Паней в душных комнатках — и пестует куклу Володечку; а Коля по глобусу ездит открывать Северный полюс. Древние наследия веков в таких новеньких экземплярах! У Бобы все новые и новые фокусы. Всем показывает нос, плюет, иба, иба, иба.

Вот он, репинский темперамент. — Вчера, **1-го июля,** был день «Колоса ржи». Мы собрались у Евгении Оскаровны Нордман — крюшон, пироги, земляника — все очень хорошо — О. Л. д'Ор беседовал с И. Е., и вдруг — я слышу, И. Е. кричит: дрянь, всякая ко-

зявка — и слушать не хочу! — не желаю — запыхтел, заволновался — слова не дал сказать О. Л. д'Ору и пошел прочь по тропинке — в сером новом сюртуке — с серыми волосами — с коричневым лицом к Мейерхольду. <...>

6 июля. Про Чарскую окончательно не пишется. Сегодня на лодке с девицами. Закончил с Колей «Товарищество Неболёт». Репин в прошлое воскресение читал лекцию, к-рую закончил: «И Бог, заканчивая каждый день творения, — говорил: это хорошо! Великий художник хвалил свое творение!» — Многие из «вестникознаньевцев» расспрашивали меня: к[а]к это Репин говорил о Боге? Я ответил им, что это только метафора. Но третьего дня И. Е. за столом говорит мне: «Нет, это не метафора. Я так и верю. Бог должен быть художником, п. ч. иначе — как объяснить ту радость и тот молитвенный восторг, к-рый испытываешь во время творчества, — и почему бы так дорого ценилось бесполезное искусство?» <...>

16 августа. Сейчас иду к И. Е., он будет писать Короленко. Это по моей инициативе. Я страшно почему-то хочу, чтоб И. Е. написал Короленку. Давно пристаю к нему. Теперь, когда умер Н. Ф. Анненский, на даче Терпан, где живет Короленко (и Марья Алекс, и Авд. Семен., и дочь Короленка, и Татьяна Алекс, и Маргарита Ф., и дети Т[атьяны] А[лександровны]), страшная скука. Вдова, которой уже 72 года, которая так старается «держаться», что возле открытого гроба Н Ф. спросила меня, как моя бессонница, — очень тоскует, К[ороленк]о осунулся, — я и придумал свести их с И. Репиным. К[ороленк]о был очень занят, но я с худ. Бродским за ним вторично. <...> Репин о Короленке: но все же он — скучный ч[елове]к! Рассказывает, к[а]к К[оролен]ко ехал на велосипеде — и налетел на ч[елове]ка. Чтобы не сбить того с ног — сознательно направил велосипед в канаву.

Ночью 20 августа я уже лег, как увидел, что мне не заснуть. Я оделся и пошел за 3 версты — чудной, сырой ночью, с мягкими светами вокруг каждой террасы — босиком и без шапки. Дети Богданович играли в карты. Александра Никитишна встретила меня приветливо. Вл. Галактионович и его жена были ласковы. Он даже провожал меня, тоже без шапки. Взял об руку, как делают глухие: «Скажу вам по секрету. Тетушка пишет мемуары о Н Ф.». Рассказывает, как Ник. Фед. ссорился с Александрой Никитишной:

— Открой мне дверь.

— Зачем?

— Я хочу тебе сказать, что я тебя презираю и ненавижу.

— Ну вот ты мне и так сказал.

И всегда из-за теоретических вопросов [3].

К[а]к Анненский на Финл. Вокзале, когда думал, что меня возьмут, сунулся вперед к жанд. оф[ицеру] — «вот, вот», — и совал свой паспорт.

Портрет Репина работы Бродского кажется Короленке отвратительным: замороженный таракан какой-то.

12 октября. М[аша] рассказывает Бобе сказку (Бобе 2 года) о петухе и лисе. Он расплакался:

— А я *ап* кнут и *ба* лису!

Чувство справедливости. Он говорит: лёладь (лошадь); пойдем мадонь (домой).

И. Е. был у меня, но я спал. Он расходится с Нат. Борисовной.

Суббота. Ночь. Не сплю. Четвертую неделю не могу найти вдохновения написать фельетон о самоубийцах [4]. Изумительная погода, великолепный кабинет, прекрасные условия для работы — и все кругом меня работают, а я ни с места. Сейчас опять буду принимать бром. Прошелся по берегу моря, истопил баню (сам наносил воду) — ничего не помогло, потому что имел глупость от 11 до 5 просидеть без перерыва за письменным столом. Ах, чудно подмерзает море. И луна.

В среду был у И. Е-ча. Н Борисовны нет. Приехали: Бродский, Ермаков, Шмаров; И. Е. не только не скрывает, что разошелся с Н Б., а как будто похваляется этим. Ермаков шутил, что нас с М. Б. нужно развести. И. Е. вмешался:

— Брак только тот хорош, где одна сторона — раба другой. Покуда Н Б. была моей рабой (буквально!), сидела себе в уголке, — все было хорошо. Теперь она тоже... Одним словом... и вот мы должны были разойтись. Впрочем, у нас был не брак, а просто — дружеское сожитие *. И с этих пор наши среды... Господа, это вас касается... Я потому и говорю... примут другой характер. Я старик, и того веселья, которое вносила в н[аши] обеды Н. Б., я внести не могу. Не будет уже тостов — терпеть их не могу — каждый сможет сесть где вздумается и есть что вздумается, и это уже не преступление — помочь своему соседу (у Н. Б. была Самопомощь, и всякая услуга за столом каралась штрафом: тостом). Можно хотя бы начать с орехов, со сладкого, — если таковое будет, — и кончить супом. Вот, кстати, и обед.

Заиграла шарманка. — Зачем завели шарманку? Больше не нужно заводить!

Потом И. Е. пошел меня проводить и рассказывал, к[а]к Н. Б. понесла на своей лекции 180 р. убытку — читала глупо — очень глупо! — но ей и сказать нельзя, — дурацкое самолюбие — вот болезнь: непременно хочет славу — и т. д. За столом читали статью О. Л. Д'Ора ругательную о Наталье Борисовне.

Читал длинную записку Леонтия Бенуа о введении в Академии церковной живописи. Не сомневается, что записку составил Беляев и что Бенуа проведет на это место Беляева. Говорили о том, что нужно иконы писать с молитвою. Подхватил: — Да, да! Вот Поле-

* Эти слова очень возмущают Машу. — *Примеч. автора.*

нов, когда писал Мадонну, так даже постился (я присутствовал), и вышла... такая дрянь!

7 ноября. Все мои дела обстоят великолепно. Послезавтра лекция, и я никогда не верил, что с моими бессонницами мне удастся ее закончить. А теперь я верю. Дело, кажется, идет недурно. Я уже дал характеристику Ц[енско]го, Зайцева, Сургучева, Бунина (нужно Сологуба) — и могу перейти к сам[оубийцам]. Там у меня много подготовлено. В самом худшем случае выйдет оч[ень] краткая лекция — так что ж такое. Во всяк[ом] случае будет 2 фельетона.

12 ноября. Бобины слова: Силокатка — лошадка. Лёлядь — лошадь. (Он только о лошадях и говорит. Дяба — плохое. Дуля — брань (дура).) Бом-бом — гулять. А уюую — не хочу. Как Боба долго начинает плакать. Сегодня говорит: это вкуное. Я говорю: не понимаю. У него сначала все в лице останавливается, потом начинает чуть-чуть (очень медленно) подгибаться губа — выражение все беспомощнее — и только потом плач. Очень обижается, когда не понимают его слов.

Лида про пятую заповедь — «Вот бы хорошо: чти детей своих!». Ее любимые книги: «Каштанка» и «Березкины именины». Allegro. Она читает их по 3 раза в день. <...>

1913.

18 янв. 1913 года. Репин о И. Е. Цветкове, московском собирателе: скучный и безвкусный; если, бывало, предложишь ему на выбор (за одну цену) две или три картины, непременно выберет худшую.

Я спросил его, как его встречали в Москве? Он: «Колокольного звону не было! » Рассказывал, как Николай II наследником посетил выставку картин. Сопровождал его художник Литовченко. Увидел картину с неразборчивой фамилией. — Кто написал? — Вржещ, В[аше] В[ысочество]! — выпалил Литовченко. Тот даже вздрогнул, и впоследствии с каким-то Вел. Князем забавлялись:

— Вржещ, В[аше] В[ысочество]! — кричали друг другу.

8 февраля. И. Е. Репин, узнав, что поэт А. Богданов, подготовляясь к амнистии, хочет сесть в тюрьму, дал ему (без отдачи, тайно) 100 рублей. Потом гулял со мною и с Богд. под луною (дивной!) по снегу — любовно смотрел на Богданова — к[а]к на сына. Рассказывал о своей маме: та, бывало, читает Библию, к ней придет соседка — и плачет: о чем же ты, Фимушка?

21 февраля 1913. Вчера в среду И. Е. Репин сказал мне и Ермакову по секрету: «только никому не говорите» — что он, исправляя,

«тронул» «Иоанна» кистью во многих других местах — «чуть-чуть»[1] — «не удержался».

О Волошине: «Возмутила бессовестность, приноравливается к валетам. Но я ему не говорил, что не принял бы билета, я сказал:

— Пожалуйста, ничего не меняйте. Не стесняйтесь. Говорите так, как будто меня нет.

Он: — Я, если бы знал, что вы пожалуете, прислал бы вам почетный билет.

Я: — Ну зачем же вам беспокоиться.

И вообще мы беседовали очень добродушно»[2].

— Был у Сытина — Ивана Дмитриевича. Ну и снимали же меня. И куда ни пойду — тррр — кинематограф.

Свирский прислал ему афоризмы — плоские.

22 февраля. Коленька в моей комнате пишет у меня чистописание «степь, пенье, век» и говорит: «Самое плохое во мне — это месть. Я, например, сегодня чуть не убил ломом Бобу. А за что?! Только за то, что он метелочку не так поставил. Когда я вчера ударил Лиду, ты думаешь, — мне не было жалко. Очень было жалко, я очень раскаивался». Буквально.

25 февраля — или 26-ое? — словом, понедельник. Был вчера у И. Е. — А у нас какой скандал на выставке. (Сидит с Васей и пьет в темноте чай.) — Что такое? — Этот дурак! (машет рукой). То есть он не дурак — он умнейшая голова — и . . . — Оказывается, третьего дня, когда выставку передвижную уже устроили, звонок от цензора: — Ничего нет сомнительного? Тогда открывайте. — Есть Репина картина. — Как называется? — «17 октября». — Как? — «17 октября». — А что изображено? — Манифестация. — С флагами? — С флагами. — Ни за что не открывать выставку. Я завтра утром приеду посмотрю. «А я, — рассказывает Репин, — сейчас же распорядился: повесить рядом с моей картиной этюдики В. Кн. Ольги А[ле]ксандровны и попросил Жуковского, к-рый купил у меня («за наличные») «Венчание Государя Императора», — тоже сюда, рядышком.

Великая Княгиня была, смотрела мое «17 октября», ничего не сказала, — улыбнулась на моего генерала (к-рый в картине фуражку снимает) — и назавтра, когда приехал цензор, ему все это рассказали, показали — разрешил.

— Слышали, адрес мне подносят — зачем? — дураки! — т. е. они не дураки, они умнейшие головы, но я... чувствую — я такое ничтожество...

— За вырезки газетные счет: 43 рубля в месяц. Скажу Наталье Борисовне: довольно. Надоело. И я — пройду мимо стола, где сложены вырезки — и целый час другой раз потеряю. Довольно!»

В 9½ час[а] вечера пришел с Васей к нам. Сел за еду. — Ах, маслины, чудо-маслины! Огурцы — где вы достали? Ешь, Вася, огурцы. Халва — с орехами, и, знаете, с ванилью, — прелесть. — У И. Е. два

отношения к еде: либо восторженное, либо злобное. Он либо ест, причмокивает, громко всех приглашает есть, либо ненавидит и еду, и того, кто ему предлагает; скушайте пранички! — искривился: очень сладкие, приторны, черт знает, что такое...

Как он не любит фаворитизма, свиты, приближенных. Изо всех великих людей он один спасся от этого ужаса. Если дать ему стул или поднять платок, — он тебя возненавидит, ногами затопает. Я эту среду — черт меня дернул сказать, когда он приблизился к столу: — Садитесь, И. Е. — и я встал с места. Он не расслышал и приветливо, с любопытством: — Что вы говорите, К. И.?

— Садитесь. — Его лицо исказилось, и он произнес такое, что потом пришел извиняться.

20 марта, среда. Приехал из «Рус. Молвы» сотрудник — расспросить Илью Ефимовича о Гаршине. Но И. Е. ему ничего не сказал, а когда сотрудника увлекла Наталья Борисовна и дала ему свою статейку, И. Е. за столом сказал: — Помните, К. И., я вас в первое время — в лавке фруктовой — все называл «Всеволод Мих.». Вы ужас как похожи на Гаршина. И голос такой мелодический. А знаете, к[а]к я с ним познакомился? Я был в театре — кажется, в опере — и заметил черного южанина — молодого — думаю: земляк (у нас много таких: мы ведь с ним из одной губернии, из Харьковской), и он на меня так умильно и восторженно взглянул; я подумал: должно быть, студент. Потом еще где-то встретились, и он опять пялит глаза. Потом я был в Дворянском Собрании (кажется), и целая группа подошла юношей: позвольте с вами познакомиться, и он с ними. — Как же ваша фамилия? — Гаршин.

— Вы Гаршин?!?

Так мы с ним и познакомились.

19 марта. И. Е. повел меня и М. Борисовну наверх и показал новую начатую картину «Дуэль». Мне показалась излишне театральной, нарочито эффектной. Я чуть-чуть намекнул. И что же? На след. день он говорит: — А я переделал все ошибки. Хорошо, что я вам тогда показал. Спасибо, что сказали правду — и т. д.

Я работаю много — и не знаю, что выходит, но эта квартира вдохновляет меня — очень удобно. Вчера работал 12 час. От 5 ч. утра до 6 ч. веч. с перерывом в 1 час, когда скалывал лед. Все не могу справиться с Джеком Лондоном для «Рус[ского] Слова» [3].

Вчера в воскресенье — апреле был И. Е. Пошел ко мне наверх — лег на диване — впервые за все вр[емя] нашего знакомства — а я ему читал письма И. С. Тургенева к Стасюлевичу. Прежде, чем я нач[ал] читать, он сказал: «Любезнейший» — что это за привычка б[ыла] у Тург. начинать письмо словом Любезнейший! Вас. Вас. Верещагин так обиделся, что разорвал все письма Тург-ва: какой я ему любезнейший!

— Эх, у меня б[ыло] прекрасное письмо от Тург: «Любезнейший

Репин!» Он писал мне о том, что m-me Viardot не нравится, к[а]к я начал его портрет, и я, дурак, замазал — и на том же холсте написал другой.

Оказывается, И. Е. дал слесарю Иванову денег для того, чтоб не брал он сына своего из гимназии.

Четверг 10 апреля. Сегодня в 1-й р[аз] ходил босиком. Вдруг наступило лето, и тянет от книги, от мыслей, от работы в сад. Это очень неприятно, и я хочу хоть привязать себя к столу, а не сдаться. Нужно же воспользоваться тем, что вдруг наступил просвет. Я каждую ночь сплю — в течение месяца — без опия, без веронала и брома. Ведь два года я б[ыл] полуидиотом, и только притворялся, что пишу и выражаю какие-то мысли, а на деле выжимал из вялого, сонного, бескровного мозга какие-то лживые мыслишки! Вчера я был у И. Е. — и, несмотря на шум и гам, прекрасно после этого спал, чего со мной никогда не бывает. Утром, позанявшись «по Некрасову», я пошел на станцию. Забрел к Брусянину, добыл книги «футуристов», иду назад. На станции говорят: «К вам поехали госп[один] и дама!» Бегу, а потом не торопясь и с прохладцей иду домой (вместе с Юрием Репиным, который вежлив со мною, к[а]к китаец); у наших ворот вижу даму и дрожки. Бегу к даме, уверенный, что это жена Вл. Абр. Полякова, — а это Женни Штембер, пианистка, к-рая меня ненавидит. Я с размаху дал ей руку по ошибке — и потом, чтобы выйти из положения, сказал неск. примирительных слов — и она посетила нас, а потом мы пошли к И. Е. Репину. Женни играла — Бетховена — к[а]к машина без выражения — и Репин, который любит музыку, — тонко ей это заметил. Она не поняла.

Были: Н. Д. Ермаков, к-рый буффонил за обедом и чаем и в саду — по-армейски, самодовольно, однообразно. Это ловкий малый, он приезжает к И. Е. «за покупочками». Пошушукается где-ниб. в уголку и великолепный рисуночек выцарапает за 15—20 рублей. Ухаживает за И. Е. очень, возит его в Мариинск. Театр, и хотя И. Е. говорит иногда, что Ермаков «такая посредственность, ничтожество», но искренно к нему привязан. Была m-me Розо — полька. <...> Потом б[ыл] художник И. И. Бродский. <...> Добр. Говорит только о себе и любит рассказывать, за сколько продал какую картину. Были за столом дворник, горничная и кухарка — но Наталье Борисовне не перед кем было вчера разыгрывать демократку — и они пребыли в тени. <...>

Вечер б[ыл] ничем не замечателен. Мне только понравилось, что И. Е. сказал о крупном *репинском* холсте: — Терпеть не могу! дрянь такая! вот мерзость! Я раз зашел в лавку, мне говорят: не угодно ли репинский холст, — я говорю: к черту!

Смешно он процитировал вчера Пушкина:

Ночной горшок тебе дороже.

Потом спохватился: — Марья Борисовна, простите.

25 апреля. Первый Бобочкин донос: — Мама, ты здесь? — Здесь. — (Помолчал.) Коля показывает нос Лиде... — Перед этим он плакал: — Я не Боба, я Бобочка.

Май. И. Е. когда-то на Зап. Двине (в Двинске) — написал картину восход солнца — «Знаете, к[а]к долго глядишь на солнце — то пред глазами пятачки: красный, зеленый — множество; — я так много и написал. Подарил С. И. Мамонтову. Как ему плохо пришлось, он и продал ее — кому?»

Июнь. Не сплю третью ночь, хотя скоро лекция. Именно потому и не сплю. Между тем лекция пустяшная — и будь здоровье, в два дня написал бы. Поэтому откладываю ее до здоровой головы. В интересах самой статьи — я должен отказаться от лекции. Не буду даже заглядывать в нее, покуда не высплюсь. С больной головой я только *гажу* и гажу лекцию. И притом нет вдохновения.

Июнь. Квартира Мих. Петровича Боткина превращена в миллионный Музей. Этого терпеть не мог его брат, доктор Сергей Петрович: «Нет у тебя ни одной *порядочной* комнаты, где бы выспаться. Даже негде переночевать, — говорил он брату. — Искусство в большом количестве — вещь нестерпимая! »

И. Е. со своим братом, с пейзажистом Васильевым и еще с кем-то четвертым в начале 70-х гг. поехал на Волгу. Денег не было. Васильев добыл для И. Е. в «Поощрении» 200 р. — Они все четверо выбрили головы, И. Е. купил револьвер и огромный сундук — и приехали в С. Извозчик говорит: «Повезу-ка я вас к Буянихе». Буяниха баба-разбойница, грудь к[а]к два (кувшина с молоком), и ее дочка тоже Буяниха — юноши приехали и оробели: «Разбойничье Гнездо». Как назло ни двери, ни окна не запираются. Они придвинули свои сундуки, всю мебель к окнам. И. Е. взял револьвер. Так переночевали. Наутро — Буяниха: — Провизия такая дорогая. Чем я вас кормить буду. Хотите — берите, хотите — нет: 11 коп. обед. — Прожили мы больше месяца, и оказывается, Буяниха так же в первое вр[емя] боялась нас, как мы ее.

Тогда же: — Старика написать, старик похож на святителя, отказался: — А ты, бают, пригоняешь. — Куда пригоняю? — К Антихристу.

Тогда же: — Васильев б[ыл] больше по хозяйственной части, мой брат — ему на дудке поиграть, а мы — в лодочке на ту сторону Волги — на Жигули — все выше, выше, куда не ступала нога: и бывало сверху захочешь зарисовать: все мало бумаги, чтобы передать эту даль и ширь.

Затеял я две картины, «Бурлаков» и «Буря (Шторм) на Волге», и, признаюсь, гораздо больше дорожил «Бурей», но Вел. Кн. Влад. Алекс. — когда в Академии ему показали оба этюда — сказал (б[ыл] тогда молодой): — Пусть Репин сделает для меня «Бурлаков». А вот и он. Послушайте, «Бурлаков» я у вас покупаю.

Тогда «Бурлаки» б[ыли] на фоне Жигулей. Я Жигули после замазал. Мне пейзажист N все не мог простить — и потом эти самые горы повторял на всех своих картинах.

К[а]к это ни странно, но другая народническая моя картина б[ыла] также по заказу Вел. Кн.: «Проводы Новобранца». Он приехал ко мне в Хамовники, в Теплый пер. — несмотря на то, что я отказался расписывать Храм Спасителя, к-рый б[ыл] под Его покровительством, — увидел этюды, ничего не сказал, но потом из Пб. телеграмма: Вел. Кн. оставляет В[ашу] картину за собой.

Когда в Хохландии писал «Запорожцев»:

— Вы що за людина? Та не дивиться, що я в латаной свитке, в мене й мундир е.

— Художник.

— Ну що ж що художник? В мене й зять художник. А по якому художеству?

— Живописец.

— Ну що ж що живописец? В мене й зять живописец.

А Крестный Ход? Тут И. Е. встал и образными ругательными словами стал отделывать эту сволочь, идущую за иконой. Все кретины, вырождающиеся уроды, хамье — вот по Ломброзо — страшно глядеть — насмешка над ч[еловече]ством. Жара, а мужики степенные с палками, как будто Богу служат, торжественно наотмашь палками: раз, два, раз, два, раз, два — иначе беда бы: все друг друга задавили бы, такой напор, только палками и можно. Не так страшно, когда урядники, но когда эти мужики, ужасно.

22 июля. Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым: — Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр.

— Бур шур Беляматокией —

не могу писать прозы. Нет настроения. — Пришел Репин. Я стал демонстрировать творения Крученых. И. Е. сказал ему:

— У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм.

— Значит, теперь я идиот.

— Конечно, если вы верите в этот вздор.

1914 г

(Страница оборвана. — *Е. Ч.*) с молоком!!! Пользуясь отсутствием Натальи Борисовны, старичок потихоньку разбавляет свой кофей жидковатым молочком, заимствуясь у кухарки Анны Александров-

ны. Очень хорошо б[ыло] потом: я лег на диван у него в кабинете, а он мне читал продолжение воспоминаний о пребывании на Волге, которые будут напечатаны в «Голосе Минувшего» [1]. Может быть, воспоминания и сумбурны, но читал он их так превосходно, что я с восторгом слушал 2 часа. Волжский говор, мужичью речь — он воспроизводит в совершенстве; каждая сцена умело драматизирована, и выпуклость у каждой огромная. Говорили: о Б. Шуйском, журналисте. «Бездарность, ординарность». О его жене: «Ей 17 лет, и вечно будет 17!» (глупа). Оказывается, И. Е. в 1885 г. у Калинкина моста написал свои воспоминания о юношеских годах, до приезда в СПб., о флирте со своими кузинами, но потом ему стыдно стало, и он сжег.

После этого, по настоянию Стасова, написал воспоминания о Крамском. Это было первое его литературное творение.

Ах, как он вспылил накануне. Я никогда не видал [его] в такой ярости. Приехал к нему Б. Шуйский с женой, евреечкой, манерной и кокетливой, с очень грубым непсихологическим смехом. Был Ермаков, Шмаров. Заговорил об иконке, которую Бенуа выдал за Леонардо да Винчи, а Государь купил за 150 000 р. Илья Еф. говорил: «Дрянь! пухлый младенец! Должно быть, писал ученик, а мастер только «тронул» лицо. Но если б была и подлинная, нельзя платить такие деньжища, ведь у нас еще нет выставочного здания, нет денег, чтоб отливать в бронзу лучшую скульптуру учеников Академии, куда же нам... И все это афера барышников. Вот хотите пари: через месяц, через полтора приедет из Берлина какой-нб. Боде и объявит на весь мир, что это «школа Леонардо да Винчи» и что красная цена ей 100 р.».

Барыня вмешалась: — За Леонардо да Винчи и миллиона не жалко... Вся Европа... Чем же мы хуже... Мы уже достаточно культурны. — Илья Еф. так покраснел, что даже лысина стала багровой, чуть не схватил самовар.

— Да как вы смеете. Что за щедрость. Что вы понимаете... Тоже болтает, лишь бы сказать... Ни души, ни совести.

4 февраля. Сейчас ехал с детьми от Кармена на подкукелке. «Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства, — говорит Коля. — Дача Максимова — первое замечательство. Дом, где жила Паня, второе замечательство. Пенаты — третье замечательство».

Вчера б[ыл] у нас И. Е. Рассказывал, к[а]к у него на родине мещане изготовляли пряники. — Чуть только женится сын, отойдет от родителей — в последний день масленицы невестка испечет для тещи и тестя огромный феноменальный пряник, величиной с дверь — медовый — и несут через город старикам. Старички весь пост жуют по крошке. Я, бывало, смотрю на них в окошко.

Теперь все пишут по впечатлениям, а в наше время — тенденция. Ужас! Непременно чтоб идея... Шишкин, бывало, напишет мост и подпишет: «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду».

Когда в 70-х гг. я на Волге изобразил «по впечатлению» плоты —

это такая прелесть: идут, идут плоты, огоньки на них, фигуры, река широкая — 7 недель идут — и вот я увлекся, писал — показываю Шишкину, а он: допишите, доделайте. Разве это плоты? Из какого дерева? Из березы или дубовые? (Сам Шишк., бывало, выберет себе рощу, лесок, залезет вверх, устроит помост на дереве, кое-где просеку вырубит — и начнет весною, когда зелень чуть-чуть, а кончит уж, когда все желто, заморозки.

А то однажды у него всю зелень коровы объели.) Ну я, известно: ничтожество! — а я, господа, ничтожество полное! — поддался Ш[иш]кину, возненавидел свою картину и написал сверх той — другую, пожалел холста. Ах, как это ужасно, что я на одной другую, — сколько погубил фигур...

О Витте: это гениальный ч[елове]к. Когда я его писал, он спрашивает: — Ну вот вы написали весь Совет, у кого, по-вашему, самое выдающееся лицо? — Я подумал: самое картинное у такого-то. Борода до пояса. Говорю. Витте только фыркнул — посмотрел презрительно и, видно, думает: ах ты ничтожество. — А об Игнатьеве что вы думаете? — Игнатьев, по-моему, это Фальстаф. — Какие у вас шаблонные понятия. Ну что за Фальстаф Игнатьев? Это — половой от Тестова, а не Фальстаф... — Я подумал: и действительно. <...>

Был на Маринетти: ординарный туповатый итальянец, с маловыразительными свиными глазками говорил с пафосом Аничкова элементарные вещи. Успех имел средний.

Был на выставке Ционглинского: черно, тускло, недоделанно, жидко, трепанно, «приблизительно». Какую скучную, должно быть, он прожил жизнь.

Детское слово: сухарики-кусарики. <...>

Около 10 февраля. «Как известно, Шаляпин гостит у И. Е. Репина; бегая на лыжах, артист сломал себе ногу и слег» — такая облыжная заметка была на днях напечатана в «Дне». Должно быть, она-то и вдохновила Шал. и вправду приехать к И. Е. Он на лиловой бумаге написал ему из Рауха письмо. «Приехал бы в понед. или в т. — м. б. пораскинете по полотну красочками». — Пасхально ликуем! — ответил телеграммой И. Е. И вот третьего дня в Пенатах горели весь вечер огни — все лампы — все окна освещены, но Ш[аляпин] запоздал, не приехал. И. Е. с досады сел писать воспоминания о пребывании в Ширяеве — и вечером же прочитал мне их. Ах, какой ужас его статья о Соловьеве Владимире. «Нива» попросила меня исправить ее, я исправил и заикнулся было, что то-то безграмотно, то-то изменить — он туповато, по-стариковски тыкался в мои исправления, — «Нет, К. И., так лучше» — и оставил свою галиматью[2].

На следующий день, т. е. — вчера в 12 ч. дня, приехал Шаляпин, с собачкой и с китайцем Василием. Илья Еф. взял огромный холст — и пишет его в лежачем виде. Смотрит на него Репин, как кошка на сало: умиленно, влюбленно. А он на Репина — как на добренького старикашку, целует его в лоб, гладит по головке, говорит ему баинь-

ки. Тон у него не из приятных: высказывает заурядные мысли очень значительным голосом. Например, о Финляндии:

— И *что же* из этого будет? — упирает многозначительно на подчеркнутом слове, как будто он всю жизнь думал только о положении Финляндии и вот в отчаянии спрашивает теперь у собеседника, с мольбой, в мучительном недоумении. Переигрывает. За блинами о Комиссаржевской. Теперь вылепил ее бюст Аронсон, и по этому случаю банкет... — Не понимаю, не понимаю. В. Ф. была милая женщина, но актриса посредственная — почему же это, скажите.

Я с ним согласился. Я тоже не люблю Комис. — Это все молодежь.

Ш[аляпин] изобразил на лице глупость, обкурносил свой нос, раззявил рот, «вот она, молодежь». Смотрит на вас влюбленно, самозабвенно, в трансе — и ничего не понимает. — Почему меня должен судить господин двадцати лет? — не по-ни-маю. Не понимаю.

— Ну, они пушечное мясо. Они всегда у нас застрельщики революции, борьбы, — сказал И. Е.

— Не по-ни-маю. Не понимаю.

Со своей собачкой очень смешно разговаривал по-турецки. Быстро, быстро. Перед блинами мы катались по заливу, я на подкукелке, он на коньках. Величественно, изящно, к[а]к лорд, к[а]к Гете на картине Каульбаха — без усилий, руки на груди — промахал он версты 2 в туманное темное море, садясь так же вельможно отдыхать. О Деловом Дворе взялся хлопотать у Танеева. Напишет для «Нивы» [3].

После обеда пошли наверх, в мастерскую. Показывал извозчика (чу́дно), к-рый дергает лошаденку, хватается ежесекундно за кнут и разговаривает с седоком. О портретах Головина: — Плохи. Федор Иоанныч — разве у меня такой. У меня ведь трагедия, а не просто так. И Олоферн тоже — внешний. Мне в костюме Олоферна много помогли Серов и Коровин. Мой портрет работы Серова — к[а]к будто сюртук длинен. Я ему сказал. Он взял половую щетку, смерил, говорит: верно.

Откуда я «Демона» взял своего? Вспомнил вдруг деревню, где мы жили, под Казанью; бедный отец был писец в городе и кажд. день шагал верст семь туда и верст семь обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на полатях, а мама придет и еще бабы. (Недавно я б[ыл] в той избе: «вот мельница, она уж развалилась», снял даже фотографию.) Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают:

— Был Сатанаил, ангел. И б[ыл] черт Миха. Миха — добродушный. Украл у Бога землю, насовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то и из ушей, и из носу, и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил б[ыл] красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками — и отняли у него окончание *ил,* и передали его *Михе.*

Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила — Сатана.

Ну и я вдруг, к[а]к ставить Демона в свой бенефис — вспомнил это, и костюм у меня б[ыл] готов. Нужно было черное прозрачное, —

но чтобы то там, то здесь просвечивало золото, поверх золота надеть сутану. И он должен б[ыть] красавец со следами былого величия, статный, как бывший король.

Так иногда бабий разговор ведет к художественному воплощению.

Говорит о себе упоенно — сам любуется на себя и наивно себе удивляется. «Как я благодарен природе. Ведь могла же он[а] создать меня ниже ростом или дать скверную память или впалую грудь — нет, все, все свои силы пригнала к тому, чтобы сделать из меня Шаляпина!» Привычка ежедневно ощущать на себе тысячи глаз и биноклей сделала его в жизни кокетом. Когда он гладит собаку и говорит: ах ты дуралей дуралеевич, когда он говорит, что рад лечь даже на голых досках, что ему нравится домик И. Е.: все он говорит театрально, но не столь же театрально, к[а]к другие актеры.

Хочет купить здесь дачу для своих Пб. детей. — У меня в Москве дети и в Пб. [4]. Не хочется, чтоб эти росли в гнили, в смраде. Показывал рисунок своего сына с надписью Б. Ш., т. е. Борис Шаляпин. И смотрел восторженно, к[а]к на сцене. И. Е. надел пенсне: браво, браво!

Книжку мою законфисковали. Заарестовали. Я очень волновался, теперь спокоен [5]. Сейчас сяду писать о Чехове. Я Чехова боготворю, таю в нем, исчезаю, и потому не могу писать о нем — или пишу пустяки.

16 февраля, воскресение. Утром зашел к И. Е. — попросить, чтобы Вася отвез меня на станцию. Он повел показывать портрет Шаляпина. Очень мажорная, страстная колоссальная вещь. Я так и крикнул: А!

— Когда Вы успели за три дня это сделать?

— А я всего его написал по памяти: потом с натуры только проверил.

Вблизи замечаешь кое-какую дряблость, форсированность. Жалок б[ыл] Шаляпин в эту среду. Все на него, к[а]к на идола. Он презрительно и тенденциозно молчал. С кем заговорит, тот чувствовал себя осчастливленным. Меня нарисовал карандашом, потом сделал свой автопортрет [6]. Рассказывал анекдоты — прекрасно, но как будто через силу и все время озирался: куда это я попал?

— Бедный И. Е., такой слабохарактерный! безвольный! — сказал он мне. — Кто только к нему не ездит в гости. Послушайте, кто такой этот Ермаков?

— Да ведь это же ваш знакомый; он говорил мне, что с вами знаком.

— Может быть, может быть.

Рассказал о своей собаке, той самой, которую Репин написал у него на коленях, что она одна в гостиную внесла ночной горшок. — И еще хвостом машет победоносно, каналья!

Говорил монолог из «Наталки Полтавки». Первое действие. На-

певал: «и шумить и гудить». — Одна артистка спросила меня: Ф. И., что такое ранняя урна — в «Евгении Онегине»?

— А это та урна, которая всякому нужна по утрам.

Показывал шаляпистку: — Ах, Ф. И., куда вы едете? — В Самару. — Я тоже поеду в Самару. <…>

2-го апреля. Шаляпин о Чехове. «Помню, мы по очереди читали Антону Павловичу его рассказы, — я, Бунин. Я читал «Дорогую Собаку». Ант. Павл. улыбался и все плевал в бумажку, в фунтик бумажный. Чахотка».

Вчера с Лидочкой по дороге (Лидочка плакала с утра: отчего рыбки умерли): — Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать бы богатыми — или нет, пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Какие есть люди безжалостные: как можно убивать животных, ловить рыбу. Если бы один ч[елове]к собрал побольше денег, а потом и роздал бы всем, кому надо. И много такого.

Этого она нигде не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым, — впервые. Я слушал, как ошеломленный. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо, а здесь, в натуре, волновало до дрожи.

5 апреля. Завтра пасха. И. Е.: — А ведь я когда-то красил яйца — и получал за это по $1\,^1/_2$ р. Возьмешь яйцо, выпустишь из него белок и желток, натрешь пемзой, чтоб краска лучше приставала, и пишешь акварелькой Христа, Жен Мироносиц. Потом — спиртным лаком. Приготовишь полдюжину — вот и 9 рублей. Я в магазин относил. Да для родственников — сколько бесплатно.

Сегодня Вера Ильинична за обедом заикнулась, что хочет ехать к Чистяковым. — Зачем. Чистякова — немка, скучища, одна дочь параличка, другая — Господи, старая дева и проч.

— Но ведь, папа, это мои друзья (и на глазах слезы), я ведь к ним привыкла.

И. Е.: — Ну знаешь, Вера, если тебе со мной скучно, то вот у нас крест. Кончено. Уезжай сейчас же. Уезжай, уезжай! А я, чтоб не быть одиноким, возьму себе секретаря — нет, чтоб веселее, секретаршу, а ты уезжай.

— Что я сказала, Господи.

И долго сдерживалась... но потом разревелась по-детски. После она в мастерской читала свою небольшую статейку, и И. Е. кричал на нее: вздор, пустяки, порви это к черту. Она по моей просьбе пишет для «Нивы» воспоминания о нем.

— Да и какие воспоминания? — говорит она. — Самые гнусные. Он покинул нашу мать, когда мне б[ыло] 11 лет, а как он ее обижал, как придирался к нам, сколько грубости, — и плачет опять...[7]

Я ушел. <…>

Мая 10. Очень приятно. Лидочка внизу, кричит мне:

Но коварный Меджикивис,
Бессердечный Меджикивис
Уж покинул дочь Нокомис [8].

Окна открыты. Пишу о романе Н[екрасо]ва. Очень приятно. 8 июня. Пришли Шкловские — племянники Дионео. Виктор похож на Лермонтова — по определению Репина. А брат — хоть и из евреев — страшно религиозен, преподает в духовной академии французский яз. — и весь склад имеет семинарский. Даже фразы семинарские: «Идеализация бывает отрицательная и положительная. У этого автора отрицательная идеализация». А фамилия: Шкловский! Был Шапиро: густой бас, толстоносый, потеющий. Все о кооперации, о трамваях в Париже. Б. А. Садовской очень симпатичен, архаичен, первого ч[елове]ка вижу, у к[оторо]го и *вправду* есть в душе старинный склад, поэзия дворянства. Но все это мелко, куцо, без философии. Была Нимфа и в первый раз Молчанова, незаконная дочь Савиной, кажется? Пришел Репин. Я стал читать стихи Городецкого — ярило — ярился, которые Репину нравились, вдруг он рассвирепел:

— Чепуха! это теперь мода, думают, что прежние ж[енщи]ны б[ыли] так же развратны, к[а]к они! Нет, древние ж[енщи]ны бы[ли] целомудреннее нас. Почему-то воображают их такими же проститутками.

И, уже уходя от нас, кричал Нимфе:

— Те ж[енщи]ны не б[ыли] так развратны, как вы.

— То есть, как это *вы*?

— Вы, вы...

Потом спохватился: — Не только вы, но и все мы.

Перед этим я читал Достоевского и «Крокодил», и Репин фыркал, прервал и стал браниться: бездарно, не смешно. Вы меня хоть щекочите, не засмеюсь, это ничтожно, отвратительно.

И перевернул к стене диван.

Завтра еду к Андрееву. Уложил чемодан.

15 июня. Сегодня И. Е. пришел к нам серый, без улыбок. Очень взволнованный, ждал телеграммы. Послал за телеграммой на станцию Кузьму — велел на лошади, а Кузьма сдуру пешком. Не мог усидеть, я предложил пойти навстречу. — Ну что... не нужно... еще разминемся, — но через минуту: — Хорошо, пойдем...

Мы пошли, — и И. Е., очень волнуясь, вглядывался в дорогу, не идет ли Кузьма. — Идет! Отчего так медленно? — Кузьма по-солдатски с бумажкой в руке. И. Е. взял бумагу: там написано Logarno (sic!) подана в 1 час дня. 28 june. Peintre Elias Repin. Nordman Mourante Suisse. Fornas *, б[ывший] учитель фр. яз. в рус. гимназии.

---

* 28 июня. Художнику Илье Репину. Нордман умирает в Швейцарии. Форнас (*франц.*).

Умирает? Ни одного слова печали, но лицо совсем потухло, стало мертвое. Так мы стояли у забора, молча. «Но что значит fornow? Пойдем, у вас есть словарь?» Рылись в словаре — «Какие у вас прекрасные яблоки. Прошлогодние, а к[а]к сохранились». Видимо, себя взбадривал. Кроме Бориса Садовского и Шкловского у нас не было никого. Дора. С паспортом у И. Е. странная канитель: он послал Васю в Териоки за благонадежностью, там сказали: не надо. Он послал в Куоккала: сказали: не надо. Но когда Крачковский, по поручению И. Е., явился в канцелярию градоначальника за паспортом, ему сказали: без бумаги из Куоккала не выдадим. Словом, уже вторая неделя, что Репин не может достать себе паспорта. Пошли наверх, я стал читать басни Крылова, Садовской сказал: вот великий поэт! А Репин вспомнил, что И. С. Тургенев отрицал в Крылове всякую поэзию. Потом мы с Садовским читали пьесу Садовского «Мальтийский Рыцарь», и Репину очень нравилась, особенно вторая часть. Я подсунул ему альбомчик, и он нарисовал пером и визитной карточкой, обмакиваемой в чернила, — Шкловского и Садовского [9]. Потом мы в театр, где Гибшман — о папе и султане, футбол в публике, и частушка, спетая хором, с припевом:

Я лимон рвала,
Лимонад пила,
В лимонадке я жила.

Певцы загримированы фабричными, очень хорошо. Жена Блока, дочь Менделеева, не пела, а кричала, по-бабьи, выходило очень хорошо, до ужаса. Вообще было что-то из Достоевского в этой ужасной лимонадке, похоже на мухоедство, — и какой лимон рвать она могла в России, где лимоны? Но неукоснительно, безжалостно, с голосом отчаяния и покорности Року эти бледные мастеровые и девки фабричные выкрикивали: — Я лимон рвала.

Погода — на обратном пути сверхъестественная, разные облака, всех сортов, каждое дерево торжественно и разумно, — все разные — и, придя домой, М[аша] писала странное, о Евг. Оскаровне, Наталье Борисовне, Розе Мордухович.

Жива ли Н. Б.?

Сегодня 15-го я был у И. Е., он уже уехал в Пб. в 8 час.

У Шкловского украли лодку, перекрасили, сломали весла. Он спал на берегу, наконец нашел лодку и уехал в Дюны.

Дети учат немецкие дни недели. — Обоим трудно. Mittwoch *.

19 июня. Вчера со Ст. П. Крачковским я пошел на Варш. Вокзал проводить И. Е. за границу. Он стоял в широкой черной шляпе у самой двери на сквозняке. Взял у Крачковского билет, поговорил о сдаче 3 р. 40 к. и потом сказал:

— А ведь она умерла.

Сказал очень печально. Потом перескочил на другое: — Я, К. И.,

---

* Среда (*нем.*).

два раза к вам посылал, искал вас повсюду: ведь я нашел фотографию для «Нивы» — и портрет матери! [для Репинского №][10].

Пришел Ф[едор] Борисович], брат Нат. Борисовны, циник, чиновник, пьянчужка. И. Е. дал ему много денег. Ф. Б. сказал, что получил от сестры милосердия извещение, написанное под диктовку Н. Б., что она желает быть погребенной в Suisse.

— Нет, нет, — сказал И. Е., — это она, чтоб дешевле. Нужно бальзамировать и в Россию, на мое место, в Невскую Лавру.

Я послал контр-депешу, но не знаю, к[а]к по-фр. — бальзамировать, сказал Ф. Б. Он, впрочем, быстро откланялся и уехал, к[а]к ни в чем не бывало, на дачу. И. Е. тоже как ни в чем не бывало заговорил о «Деловом Дворе» и, взяв меня за талию, повел угощать нарзаном. Нарзану не случилось. Мы чокнулись ессентуками. — Теперь в Ессентуках — Вера. — Он поручил мне напечатать объявление от его имени. Просил написать что-ниб. от лица писателей:

— Ее это очень обрадует.

Мы вошли в вагон, и т. к. Реп[ин] дрожал, что мы останемся, не успеем соскочить, мы скоро ушли и оставили его одного. Я уверен, что он спал лучше меня.

22-го [июня], вчера. Сплю отвратительно. Ничего не пишу. Томительные дни: не знаю, что с И. Е., вот уже неделя, как он уехал — а от него никаких вестей. Был вчера в осиротелых Пенатах. Там ходит Гильма и Анна Ал[ександровна] и собирают ягоды. А. А. вытирает — слезы ли, пот ли, не понять. Показала мне письмо Н. Б. — последнее, где умирающая обещает приехать и взять ее к себе в услужение. «Так как я совсем порвала с И. Е., — пишет она за неделю до смерти, — то до моего приезда сложите вместе в сундук все мое серебро, весь мой скарб. Венки уничтожьте, а ленты сложите. Не подавайте И. Е. моих чайных чашек» и т. д. Я искал в душе умиления, грусти — но не было ничего — как бесчувственный.

Третьего дня, в понедельник 15-го июля — И. Е. вернулся. Загорелый, пополневший, с красивой траурной лентой на шляпе. Первым делом — к нам. Привез меду, пошли на море. Странно, что в этот самый миг мы сидели с Беном Лившицем и говорили о нем, я показывал его письма и рукописи. Флюиды! О *ней* он говорит с сокрушением, но утверждает, что, по словам врачей, она умерла от алкоголизма. Последнее время почти ничего не ела, но пила, пила. Денег там растранжирила множество.

Война... Бена берут в солдаты. Очень жалко. Он по мне. Большая личность: находчив, силен, остроумен, сантиментален, в дружбе крепок, и теперь пишет хорошие стихи. Вчера в среду я повел его, Арнштама и *мраморную муху* [11], Мандельштама, в Пенаты, и Репину больше всех понравился Бен. Каков он будет, когда его коснется слава, не знаю; но сейчас он очень хорош. Прочитав в газетах о мобилизации, немедленно собрался — и весело зашагал. Я нашел ему

комнату в лавке — наверху, на чердаке, он ее принял с удовольствием. Поэт в нем есть, но и нигилист. Он — одесский.

У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка — о Чехове — почти бездарна, а я корпел над нею с января.

Характерно, что брат Н[атальи] Б[орисовны] — Федор Борисович — уже несколько раз справлялся о наследстве.

Был вчера, 26-го июля, в городе. За деньгами: отвозил статью в «Ниву». В «Ниве» плохо. За подписчиками еще дополучить 200 000 р. — сказал мне Панин. У них забрали 30 типографск. служащих, 12 — из конторы, 6 — из имения г-жи Маркс. У писателей безденежье. Как томился длинноволосый — и час и два — в прихожей с какой-то рукописью. Видел Сергея Городецкого. Он форсированно и демонстративно патриотичен: «К черту этого изменника Милюкова!» Пишет патриотические стихи, и когда мы проходили мимо германского посольства — выразил радость, что оно так разгромлено. «В деревне мобилизация — эпос! » — восхищается. Но за всем этим какое-то уныние: денег нет ничего, а Нимфа, должно быть, не придумала, какую позу принять.

Был у А. Ф. Кони. Он только что из Зимнего Дворца, где Государь говорил речь народным представителям. Кони рассказал странное: будто когда государю Германия уже объявила войну и государь, поработав, пошел в 1 ч. ночи пить к государыне чай, принесли телеграмму от Вильгельма II: прошу отложить мобилизацию. Но Кони, к[а]к и Репин, не оглушен этой войной. Репин во вр[емя] всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом (снаружи) и до азарта занят насыпанием в Пенатах холма на том месте, где было болото: «потому что Н. Б-не болото б[ыло] вредно». Кони с увлечением рассказывает о письмах Некрасова, к-рые ему подарила наследница Ераковых — Данилова [12]. Салтыкова письма: грубые. «Салтыков вообще б[ыл] двуличный, грубый, неискренний ч[елове]к». Неподражаемо подражая голосу Салтыкова, лающему и отрывисто буркающему, он живо восстановил несколько сцен. Напр., когда была дуэль Утина и Утин сидел под арестом, Кони встретился на улице с Салтыковым (мы жили с ним в одном доме):

— Бедный У т и н , — говорю я.

— Бедный, бедный (передразнивает Салтыков). А кто виноват? Друзья виноваты.

— Почему?

— Это не друзья, а мерзавцы...

— Позвольте... ведь вы его друг... вы с ним в карты играете...

— В карты играю!.. Мало ли что в карты играю... Играю в карты... а не друг... В карты, а вовсе не друг.

— Но ведь и я к нему отношусь дружески...

— О вас не говорят...

— Но вот Арсеньев...

— Арсеньев... Арсеньев... А вы знаете, кто такой Арсеньев...

— ?

— Арсеньев — *василиск!*

Назвать Арсеньева *василиском!* Это б[ыл] василек, а не василиск. Мало даровитый, узкий, но — благороднейший [13].

Потом пошли разговоры о Суворине: оказывается, у Суворина в 1873 г. (или в 74) жена отправилась в гостиницу с каким-то уродом-офицером военным, и там он[и] оба найдены б[ыли] убитыми. Кони как прокурор вел это дело, и Суворин приходил к нему с просьбой рассказать всю правду. Кони, понятно, скрывал. Сув. б[ыл] близок к самоубийству. Бывало, сидит в гостиной у Кони и изливает свои муки Щедрину, тот слушает с участием, но чуть Сув. уйдет, издевается над ним и ругает его. Некр. б[ыл] не таков: он б[ыл] порочный, но не дурной ч[елове]к.

О Зиночке. Бывало, говорит: — Зиночка, выдь, я сейчас нехорошее слово скажу. — Зиночка выходила.

Опять о государе: побледнел, помолодел, похорошел, прежде б[ыл] обрюзгший и неуверенный. — Я снова на улице. Извозчики заламывают страшные цены. В «Вене» снята вывеска. У Лейнера тоже: заменены белыми полотняными: «Ресторан о-ва официантов», «Ресторан И. С. Соколова». Вместо St. Petersburger Zeitung вывеска: Немецкая Газета. По улицам солдаты с котелками, с лопатами. Страшно, что такую тяжесть носит один ч[елове]к. У «Веч. Времени» толпа. Многие жертвуют на флот — сидит даже военный у кружки и дама, напропалую с ним кокетничающая. Какого-то зеленого чертежника, чахоточного, громко (со скандалом) бранят: к[а]к вы смели усумниться? к[а]к вы смели такое высказать... Он громко кричит «Это ложь!» (яростно). Дама оч. добродушная — хохлушка? — читает в окне «Веч. Времени»: «У Льежа погибло 15 000 немцев» и говорит: «Ну, слава Богу... я счастлива».

После долгих мытарств в «Ниве» иду в «Речь». Там встречаю Ярцева, театрального критика. Говорю: к[а]к будем мы снискивать хлеб свой, если единственный театр теперь — это театр военных действий, а единственная книга — это Оранжевая Книга! [14] В «Совр. Сл.» Ганфман и Т[атьяна] А[лександровна] рассказывают о Зимнем Дворце и о Думе [15]. В Думе: они находят декларацию поляков очень хитрой, тонкой, речь Керенского умной, речь Хаустова глупой, а во вр[емя] речи Милюкова — плакал почему-то Бирилев... Говорят, что г-жа Милюкова, у к[ото]рой дача в Финляндии, где до 6000 книг, заперла их на ключ и ключ вручила коменданту: пожалуйста, размещайте здесь офицеров, но солдат не надо. <...>

1916

21 июля. Вчера именины Репина. Руманов решил милостиво прислать ему добавочные 500 рублей при таком письме: «Глубокоува[жаемый] И. Е. Правление Т-ва А. Ф. Маркса в новом составе в лице

И. Д. Сытина, В. П. Фролова и *А. В. Руманова,* ознакомившись с вашим прекрасным трудом и желанием получить дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей, не предусмотренное договором, считает своим приятным долгом препроводить В[ам] эту сумму. С истинным уважением В. Фролов».

Я вошел в кабинет И. Е., поздравил и прочел письмо. Он изменился в лице, затопал ногами: — Вон, вон; мерзавец, хочет купить меня [за] 500 рублей, сволочь, сапоги бутылками (Сытин), отдайте ему назад эти 500 и вот еще тысяча (он полез в задний карман брюк)... отдайте... под суд! под суд, и т. д. — Я был очень огорчен, что эта чепуха доставила ему столько страдания. Сегодня снова хочу попытать свое счастье.

На именинах вчера — обедали в саду, великолепные фрукты, компот и т. д. Шкилондзь пела Репину чарочку. Бобочка с Женечкой Соколовым в пруду на веслах. Ермаков меня травил и дразнил: через месяц призыв ратников, и моя участь зависит от Ермакова, он (в шутку) этим пользуется.

Сегодня — после двухлетнего перерыва — я впервые взялся за стихи Блока — и словно ожил: вот мое, подлинное, а не Вильтон, не Кушинниковы — не Киселева — не Г ё ц , — не все это мещанство, ликующее, праздно болтающее, к-рое вокруг. Последние дни мое безделье — подлое — дошло до апогея, и я вдруг опомнился и сегодня весь день сижу за столом: все 4 тысячи, что дала мне книжка, да две тысячи, что дали мне статьи, ушли в полгода, не дав мне ни минуты радости. <...>

Сентябрь 22. Вчера познакомился с Горьким. Гржебин сказал, что едем к Репину в 1 ч. 15 м. Я на вокзал. Не нашел. Но глянув в окно купе 1-го класса — увидел оттуда шершавое нелепое лицо — понял: это он. Вошел. Он очень угрюм: сконфузился. Не глядя на меня, заговаривал с Гржебиным: — Чем торгует этот бритый, на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири — пари! Не верите, я пойду, с п р о ш у . — Я видел, что он от застенчивости, и решил деловитыми словами устранить неловкость: заговорил о том, почему Розинеру до сих пор не сказали, что Сытин уже купил Репина. Горький присоединился: конечно, пора напомнить Роз[ине]ру, что он не редактор, а приказчик.

Заговорили о Венгрове, Маяковском — лицо его стало нежным, голос мягким — п р е у в е л и ч е н н о , — он заговорил в манере Миролюбова: «Им надо Библию читать... Библию... Да, Библию. В Маяковском что-то происходит в душе... да, в душе».

Но, видно, худо разбирается, ибо Венгров — нейрастенический, растрепанный, еще не существует, а Маяк[овский] — однообразен и беден. Когда городская жизнь и то и другое...

Приехали на станцию — одна таратайка, да и ту заняли какие-то двое: седой муж и молодая жена. А у Горьк. больная нога, и ходить он не может. Те милостиво согласились посадить его на облу-

чок — приняв его за бедного какого-то. У Репина Г[орький] чувствовал себя связанным. Уныло толкался из угла в угол. Р[епин] посадил его в профиль и стал писать. Но он позировал дико — болтал головою, смотрел на Репина — когда надо б[ыло] смотреть на меня и на Гржебина. Рассказал несколько любопытных вещей. Как он ходил объясняться в цензуру.

Горьк. — Ваш цензор неинтеллигентный ч[елове]к.

Главн. Ценз. — Да как вы смеете так говорить!

— Потому что это правда, сударь.

— Как вы смеете звать меня сударем. Я не сударь, я «ваше превосходительство».

— Идите, ваше превосх., к черту.

Оказывается, ц[ензор] не знал, что это Горький... — А потом мы оказались земляками (и Г[орький] показал, к[а]к жмут руки). О Баранове нижегородском — все боялись, вор, сволочь — и вдруг оказывается, по утрам в 8 час. в переулке назначает свидание какой-то очень красивой даме, жене пивовара — сам высокий, она низенькая 40-летняя — так вдоль забора и гуляют... Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он — сверху вниз, а я из-за забора — очень мило, задушевно.

А то еще смотритель тюрьмы — мордобоец — знаменитый в Нижнем ч[елове]к, так он поднимал воротничок и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме жила. Он — к ней тайком — и (тихо, почти шепотом) Лермонтова ей читал... «Печальный демон, дух изгнанья».

Тут Юрий Репин робко: «Я очень сочувствую, как вы о войне пишете». Горький заговорил о войне: — Ни к чему... столько полезнейших мозгов по земле зря... французских, немецких, английских... да и наших, не дурацких. Англичане покуда на Урале (столько-то) десятин захватили. Был у нас в Нижнем купец — ах, странные русские люди! — так он недавно пришел из тех мест и из одного кармана вынимает золото, из другого вольфрам, из третьего серебро и т. д., вот, вот, вот все это на моей земле — неужто достанется англичанам — нет, нет! — ругает англичан. Вдруг видит карточку фотографич. на столе. — Кто это? — Англичанин. — Чем занимается? — Да вот этими делами... Покупает... — Голубчик, нельзя ли познакомить? Я бы ему за миллион продал.

Пошли обедать, и к концу обеда офицера, сидевшего весь обед спокойно, прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что мы победим, что наши французские союзники — доблестны, и англ. союзники тоже доблестны... тра-та-та... и Россия, которая дала миру Петра Великого, Пушкина и Репина, должна быть грудью защищена против нем[ецкого] милитаризма.

— Съели! — сказал я Горькому.

— Этот ч[елове]к, кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией... — сказал он.

Я пошел домой и не спал всю ночь.

ОБЩЕСТВО ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ.
Александровскій Залъ Городской Думы.

Въ Воскресенье, 8 Января 1917 года, въ 3 часа дня
состоится лекція
КОРНѢЯ ИВАНОВИЧА
ЧУКОВСКАГО
на тему
ПОЭЗІЯ ГРЯДУЩЕЙ ДЕМОКРАТІИ
(Жизнь и творчество Уотъ Уитмэнъ)

Билеты отъ 30 коп. до 1 руб. продаются въ книжномъ магазинѣ М. Яснаго (Невскій пр., 60) и въ день лекціи при входѣ въ залъ.

Афиша выступления К. Чуковского. 1917 г.

17 октября. Вчера б[ыл] у меня И. Е. Я вздумал читать ему «Бесы» (при Сухраварди). Он сдерживал себя к[а]к мог, только приговаривал: дрянь, негодная, мелкая душа и т. д. — и в конце концов не мог даже дослушать о Кармазинове. — И какой банальный язык, и сколько пустословия! Несчастный, он воображал, будто он остроумен... Нет, я как 40 лет назад швырнул эту книгу (а Поленов поднял), так и сейчас не могу.

1917 г.

1 января. Лида, Коля и Боба больны. Служанки нет. Я вчера вечером вернулся из города, Лида читает вслух:

— Клянусь Богом, — сказал евнуху султан, — я владею роскошнейшей женщиной в мире, и все одалиски гарема...

Я ушел из комнаты в ужасе: ай да редактор детского журнала [1], у к-рого в собств. семье так.

1917

28 января.

Яростно Боба на Колю накинулся,
Онъ не жалѣлъ кулаковъ.
Словно кабанъ разозленный онъ ринулся,
Словно нашъ пёсъ на волковъ.

Бой закипѣлъ. Нѣтъ ужъ силы держаться:
Боба бѣжитъ, онъ вспотѣлъ.
Коля стоитъ и на мѣстѣ смѣется:
„Куда удираешь, пострѣлъ?"

Боба вскричалъ: „Дурачье, негодяи,
Богъ тебѣ рожу послалъ!"
Крикнулъ затѣмъ онъ три раза: „ай, ай!"
Лишь показалъ и удралъ.

10 марта. [illegible]

Страница дневника. Вписано стихотворение старшего сына — десятилетнего Коли. Сбоку рукой К. Чуковского указан стихотворный размер. 1917 г.

21 февраля. Сейчас от Мережковских. Не могу забыть их собачьи голодные лица. У них план: взять в свои руки «Ниву». Я ничего этого не знал. Я просто приехал к ним, потому что болен Философов, а Философова я нежно люблю, и мне хотелось его навестить. Справился по телефону, можно ли. Гиппиус ответила неожиданно ласково: будем рады, пожалуйста, ждем. Я приехал. Милый Дм. Влад. пополнел, кажется здоровым, но усталым. Чаепитие. Стали спрашивать обо мне и, конечно, о моих делах. Меня изумило: что за такой внезапный ко мне интерес? Я заговорил о «Ниве». Они встрепенулись. Выслушали «Крокодила» с большим вниманием. Гиппиус похвалила первую часть за то, что она глупая, — «вторая с планом, не так первобытна». Вошел Мережковский и тоже о «Ниве». В чем дело, отчего «Нива» такая плохая. Я сказал им все, что знаю: надо Эйзена вон, надо Далькевича вон. — Ну, а кого бы вы назначили (все это с огромным интересом). Я, не понимая, почему их заботит «Нива», ответил: — Ну хотя бы Ильюшку Василевского. — Они ухмыльнулись загадочно. «Ну а вы сами пошли бы?» Я ответил, что об этом уже б[ыл] разговор, но я один боюсь. И вот после долгих нащупываний, переглядываний, очень хитрых умолчаний — они поставили дело так, что «Ниву» должна вести Зинаида. — Ну вот Зина, например. — Я ответил, не подумав: — Еще бы! Зинаида Н. отличный ред[актор]. — Или я, — невинно сказал Мережк., и я увидел, что разыграл дурака, что это давно лелеемый план, что затем меня и звали, что на меня и на «Крокодила» им плевать, что все это у них прорепетировано заранее, — и меня просто затошнило от отвращения, как будто я присутствую при чем-то неприличном. Вот тут-то у них и сделались собачьи, голодные лица, словно им показали кость:

— Мы бы верхние комнаты под Рел[игиозно]-Фил[ософское] О-во, — сказал он.

— И мои сочинения дать в приложении, — сказала она.

— И Андрея Белого, и Сологуба, и Брюсова дать на будущий год в приложении!

Словом, посыпались планы, словно специально рассчитанные на то, чтобы погубить «Ниву». Но какие жадные голодные лица.

4 марта. Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккала в Питер. Тянет на улицу, ног нет. У Набокова: его пригласили писать амнистию. <...>

10 марта. Вчера в поезде — домой. Какой-то круглолицый самодовольный жирный: «Бога нету! (на весь вагон) смею уверить вас честным словом, что на свет я родился от матери, не без помощи отца, и бог меня не делал. — Бог жулик, вы почитайте науки». А другой — седой, истовый, почти шепотом: «А я на себе испытал, есть Господь Бог вседержитель» — и елейно глядит в потолок. Я стал его расспрашивать (когда стоеросовый атеист ушел), и он рассказал мне, какое чудо уверило его в бытии божьем.

— Я сиделец монопольной лавки. Сижу и гляжу на образ — казенный — Божьей Матери. Вдруг экспроприаторы]. Стреляют, один раз возле уха, а другой раз в упор, в живот. И что же — пуля скользнула по животу и отскочила. И я понял, что это чудо.

30 апреля. Сейчас к Репину ходили по воду: я, Боба, Коля, Лида, Маня и Казик. Мы взяли пустое ведро, надели на длинную палку и запели сочиненную детьми песню:

Два пня
Два корня (к-рые могут встретиться по пути)
Чтобы не было разбито (ведро)
Чтобы не было пролито
Блямс!

Илья Еф. повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдился своей «сестры, ведущей солдат в атаку», и говорит:

— Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать. Про какой-то портрет: «Это знаете, как футурист Хлебников говорил: мой портрет писал один Бурлюк *в виде треугольника,* но вышло непохоже». Про «Крестный Ход»: «Теперь уже цензура разрешит». О своем новом портрете Толстого: «Я делал всегда Толстого — слишком мягкого, кроткого, а он б[ыл] злой, у него глаза б[ыли] злые — вот я теперь хочу сделать правдивее» [2].

Показывал с удовольствием — сам — охотно. Я сказал про бандуриста, к-рый с ребенком, что ребенок как у Уотса, он: «Верно, верно, жалко, что выходит на кого-нб. похоже».

Вынес детям по бубличку. Проводит новый водопровод в дом, чтоб зимою не з а м е р з а л о. — А то умру, и дом останется не в порядке. Сказал он, не позируя. <...>

Осенью И. Е. *упал на куоккальской дороге* и повредил себе правую руку. Теперь он пишет почти исключительно левой — 73-хлетний старик!

— Я только портрет (г-жи Лемерсье) правой рукою пишу!

1 мая. Ничего не могу писать. Не спал всю ночь оттого, что «засиделся» до 10 часов с И. Е. Репиным. Дела по горло: нужно кончать сказку, писать «Крокодила», Уота Уитмэна, а я сижу ослом — и хоть бы слово. Такова вся моя литературная карьера. Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница.

12 мая. Боба каждый день традиционно пугает Евген. Владиславну — учительницу. Ежеутренно становится за дверью и — бах: Она традиционно пугается. <...>

Коля и Лида признались мне в лодке, что они начали бояться смерти. Я успокоил их, что это пройдет. <...>

Дети играют с Соколовым Женей в крокет, и мне приятно слышать их смех. Теперь я понял блаженство отцовства — только теперь, когда мне исполнилось 35 лет. Очевидно, раньше — дети ненормальность, обуза, и нужно начать рожать в 35 лет. Потому-то большинство и женится в 33 года.

Читаю Уитмэна — новый писатель. До сих пор я не заботился о том, нравится ли он мне или нет, а только о том, понравится ли он публике, если я о нем напишу. Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только с е б е , — и поэтому я впервые стал мерить Уитмэна собою — и диво! Уитмэн для меня оказался нужный, жизненно-спасительный писатель. Я уезжаю в лодке — и читаю упиваясь.

Did we think victory great?
So it is — but now it seems to
me, when it cannot
be help'd, that
defeat is great,
And that death and dismay are great [3].

Это мне раньше казалось только словами и wanton * формулой, а теперь это для меня — полно человечного смысла.

Июнь. Ходил с детьми к Гржебину в Канерву. Гржебин, заведующий конторой «Новой Жизни» — из партии социал-прохвостов. Должен мне 200 р., у Чехонина похитил рисунки (о чем говорил мне сам Чехонин); у Кардовского похитил рисунок (о чем говорил мне Ре-Ми); у Кустодиева похитил рисунок (о чем говорил мне Кустодиев); подписался на квитанции фамилией Сомова (о чем, со слов Сомова, говорил мне Гюг Вальполь); подделал подпись Леонида Андреева (о чем говорил мне Леонид Андреев). Словом, человек вполне ясный, и все же он мне ужасно симпатичен. Он такой неуклюжий, патриархальный, покладистый. У него чудные три дочери — Капа, Ляля, Буба — милая семья. Говоря с ним, я ни минуты не ощущаю в нем мазурика. Он кажется мне солидным и надежным.

Здесь у нас целая колония. <...>

Ре-Ми, карикатурист. Хотя я в письмах пишу ему дорогой, но втайне думаю *глубокоуважаемый*. Это человек твердый, работяга, сильной воли, знает, чего хочет. Его дарование стало теперь механическим, он чуть-чуть превратился в ремесленника, «Сатирикон» сделал его вульгарным, но я люблю его и его рисунки и всю вокруг него атмосферу чистоты, труда, незлобивости, ясности. <...>

Потапенко, Игнатий Ник. Относится к себе иронически. Мил. Прост. Самый законченный обыватель, какого я когда-либо видал.

Среда. Июнь. Были у Репина. Скучно. Но к вечеру, когда остались

* Ненужной (*англ.*).



К. Чуковский, С. Городецкий и И. Е. Репин на спектакле в дачном театре. Шарж Ю. Анненкова. Куоккала. 1914 г.

только я, Бродский, Зильберштейн и П. Шмаров — все с в о и , — Илья Еф. стал рассказывать. Рассказывал о Р о п е т е . — Ах, это б[ыл] чудный архитектор. В то время фотографий не было, и архитекторы так рисовали! Он, Ропет, б[ыл] очень похож на меня, лицом, фигурой — (помнишь, Вера?) — *но* он чудно, чудно рисовал. И вот с ним случился случай. Он поехал в заграничную поездку... от Академии... я тогда отказался, остался в России. Он окончил почти в одно время со мной... поехал в Италию... всюду... и все рисует... церкви, здания... мотивы... И все в чемоданчик... рисует, рисует... и чемоданчик для него дороже всего на свете... Ну, едет в Вену... и так много рисовал, что сомлел — ехал, должно б[ыть], 3-им классом — сомлел, о б м о р о к , — носильщики его вынесли... и он очнулся только в номере гостиницы.

— А где мой чемоданчик? Где рисунки? Туда, сюда... нету. Ай-

ай-ай, ищут, ищут, нету... А Ропет, он вдруг вот так (скрючился) — да так и остался шесть лет... И с тех пор он не мог оправиться. Потом он рисовал, но уже не то... Так и погибла карьера. (Лицо И. Е. изображает страдание.)

Вот Куинджи, тот не так.. Тому нужно б[ыло] 35 тысяч перевезти в Крым, в Симеиз, за имение... Так он взял корзинку от земляники, уложил туда деньги, зашил, и конец.

— Носильщик!

И все морщится, когда носильщик несет к нему в вагон «земляничную» корзинку:

— А, и эта дрянь тоже здесь.

Так и доехал. А Орловский (художники, слушайте!), когда ему нужно б[ыло] везти деньги, брал порожние тюбики и набивал их. червонцами. Казалось, что краски.

Все стали рассказывать случаи, как кого обокрали. И. Е. рассказал:

— Ехал я в Одессу из Киева. В Киеве получил 1500 р., положил их в конверт, и в карман. Бумажник в левом, а конверт в правом. Хорошо. Еду. Только входит в купе красавец, брюнет, выше среднего росту. Я как глянул на него, так сейчас за карман и схватился. Он острым глазом подметил этот жест и отвел глаза. И вот я заснул — на меня нашел столбняк, сплю и чувствую, как кто-то шарит у меня в карманах, и ничего... а потом проснулся: Одесса. Беру извозчика, еду в гостиницу... и вдруг на дороге, ай-ай-ай, нет конверта... назад! — искали, публикацию делали, ничего не помогло. А брюнет со мной в одной гостинице остановился — я его встретил и говорю:

— Знаете, меня обокрали.

Он вежливо, но не очень горячо выразил сочувствие... Полиция нашла у него много денег. Но я заметил, что далеко зашел(?), и в конце концов сказал полиции, что никаких претензий ни против кого не имею. Ну вот и все.

Заговорили о купании.

— У нас в Чугуеве б[ыл] мальчик Вася Кузьмин... Так он, бывало, возьмет камень, положит его себе на голову и идет через Донец под водой. Две минуты кажутся получасом, и все думаешь: нет, не вынырнет. Но Вася всегда вынырял.

Я, бывало, хорошо плавал. В Петергофе там один остров был — так я до него доплывал. Многие удивлялись.

(Заметив, что здесь тень хвастовства.) — Но потом, через 25 лет, попробовал с Матэ и Ропетом у Стасова, в Парголове — и черт знает что вышло!

16 июня. Вчера я тонул. Прыгнул с лодки в воду, на глубину, поплавал, и тянет меня в воду. А Коле крикнуть не могу, все слова забыл, только глазами показываю. (Я с детства б[ыл] уверен, что умру в воде. Как русские критики: Писарев, Валерьян Майков.) Наконец-то, К[оля] догадался.

Играю по вечерам с детьми в шарады. Вчера они представляли —



На террасе у самовара. В центре — К. Чуковский, в руках у него «Чукоккала», из книги выглядывает И. Е. Репин. Н. Н. Евреинов жонглирует рюмками со стола. В левом углу рисунка еле заметен автопортрет Юрия Анненкова.
Шарж Ю. Анненкова. Куоккала. 1914 г.

линолеум, я с Лидой и Гретой — карниз и светелка. Коля играет плохо, суетится, кричит, ненаходчив. Я вчера читал ему о Robert Owen'e.

19 июня. Совсем не сплю. И вторую ночь читаю «Красное и Черное» Стендаля, толстый 2-томный роман, упоительный. Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. Иначе нельзя оторваться — нужен героический жест; через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петр [ограде] вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена, бывшие в 1830 г.

Я сочинил пьеску для детей. Вернее, первый акт. Лида сказала мне: — Папа, у тебя бывает *бесписное* время (когда не пишется); пиши тогда для детей.

Был с Репиным вчера у Ре-Ми. Он какой-то вялый. Не оживился ни разу. У Ре-Ми Буховы и Богуславская, которая вчера рассказывала о Бурцеве, а я сдуру смеялся над нею и, кажется, обидел. Зря.

20-го июня 1917. Пишу пьесу про царя Пузана [4]. Дети заставили. Им была нужна какая-нб. пьеска, чтобы разыграть, вот я в два дня и катаю. Пишу с азартом, а что выйдет... Черт его знает. Потуги на остроумие. Места, не смешные для взрослых, смешат детей до слез. <...>

24 июня 1917. Делаем детский спектакль. У нас есть конкуренты. Катя говорит: у них будет оркестр кронштадтского горизонта (гарнизона). Коля в восторге. О, с каким пылом я писал эту пьесёнку, и какая вышла дрянь. 3-го дня у Репина б[ыли] скандалы: явился Миша Вербов, всюду объявляющий себя учеником Репина и т. д. Репин его выгнал при всех и взволновался. И. Е. пишет Ре-Ми. Утомляется, не имеет времени поспать после обеда, и оттого злится. Шмаров прочитал невинные стишки — об измене России союзникам, И. Е. не разобрал, в чем дело — и давай кричать на Шмарова:

— Черносотенные стишки! — Адель Львовна вступилась, он набросился и на нее, как будто она автор стишков. Гости были терроризованы.

28 [июня]. <...> Забастовали кондукторы Финляндской ж. д., и бедная Марья Б. застряла в городе. Бобочкино рождение. По Куоккале расклеены объявления, будто Межуев (лавочник) выдает конину за говядину. Значит, мы ели конину и сами того не знали. Меня укусила бешеная собака. <...>

10 июля. Маша утром: «Знаешь, в России диктататура!» От волнения. Еще месяц назад я недоумевал, каким образом буржуазия получит на свою сторону войска, и казну, и власть; казалось, вопреки всем законам истории, Россия после векового самодержавия вдруг сразу становится государством социалистическим. Но нет-с, история своего никому не подарит. Вот, одним мановением руки, она отняла у передовых кучек крайнего социализма власть и дала ее умеренным социалистам; у социалистов отнимет и передаст кадетам — не позднее, чем через 3 недели. Теперь это быстро. Ускорили исторический процесс.

15 июля. <...> Руманов говорил мне о Лебедеве, зяте Кропоткина: — Это незаметный человечек, в т е н и , — а между тем, не будь его, Кропоткину и всей семье нечего было бы есть! Кроп. анархист, как же! — он не может брать за свои сочинения деньги, и вот незамет-

ный безымянный человечек — содержит для него прислугу, кормит его и т. д.

В последний раз, когда я видел Кроп., он говорил о несомненном перерождении рабочего класса после войны. — Рабочие уже созревают для другого быта! — говорил он американцу. — Вот мистер Томсон из Клориона говорил мне, что транспортные рабочие, ткачи и железоделательные уже могли бы получить производство в свои руки and control it *. <...>

23 июля. Итак, я сегодня у Кропоткина. Он живет на Каменном Острове, 45. Дом Нидерландского Консула. Комфортабельный, большой, двухэтажный. Я запоздал к нему — и все из-за бритья. Нет в Питере ни одного парикмахера — в воскресение. Я был в «Палэ Рояле», в «Северной», в «Селенте» — нет нигде. Взял извозчика в «Европейскую», забегал с заднего крыльца в парикмахерские, и все же поехал к Кропоткину небритый. Сад у Кропоткина сыроватый, комильфотный. Голландцы играют лаун теннис. В розовой длинной кофте — сидит на террасе усталая Александра Петровна — силится улыбнуться и не может. — «О! я так устала... Зимний дворец... телефоны... О! я четыре часа звонила, искала Савинкова — нет нигде... Папа сейчас будет... У него Бурцев». Мы пошли пить чай. Племянница Кропоткина, Катерина Николаевна, женщина лет 45, наливает чай — сладким старичкам с фальшивыми зубами и военно-морскому агенту Брит. Посольства, фамилии коего не знаю. Она рассказывает, как недели две назад солдаты делали у них на даче обыск — нет ли запасов продовольствия. Она говорила им: — Да вы знаете, кто здесь живет? — Кто? — Кропоткин, революционер! — А нам плевать... — И давай ломать дверь на чердак. Кропоткины позвонили комиссару Неведомскому (Миклашевскому), и солдаты поджали хвосты. В это время в боковых комнатах проходит плечистый, массивный с пикквикским цветом лица Кропоткин, вслед за ним Бурцев... Я раскланялся с Бурцевым издали, а Кропоткин через минуту радушно и бодро подошел ко мне: — Как же! как же! Я вас всегда читаю. Здравствуйте, здравствуйте... — и сел рядом со мною и с аппетитом принялся болтать, обнаруживая светскую привычку заинтересовываться любой темой, которую затронет собеседник. Мы заговорили о Некрасове. Он: — Да, да, потерял рукопись Чернышевского «Что делать», потерял [5]. Ему князь Суворов (тогдашний генерал-губернатор) — добыл ее из Петропавл. Крепости, а он потерял. Я вам сейчас скажу стих. Некрасова, к-рое нигде не б[ыло] напечатано. — И стал декламировать (по-стариковски подмигивая) известное стихотворение:

Было года мне четыре,
Мне отец сказал:
Все пустое в этом мире,
Дело капитал!

---

* И контролировать его (*англ.*).

Декламацию сопровождал жестами. Когда шла речь о кармане — хлопнул себя по карману. «Я ведь много стихов знаю» — вот, напр., «Курдюкову», и процитировал из «Курдюковой» то место, где говорится о городе Бонне. Я почувствовал себя в знакомой атмосфере Короленко, — атмосфере благодушия, самовара, стишков, анекдотов. Я бывал у Короленки каждый вечер, в то время, когда он писал о смертной казни, — и это всегда была семейная благодушная идиллия. — Стишкам Некрасова научил меня мой учитель Смирнов, — сказал Кропоткин. Тут подошла княгиня. — Как вам не стыдно, что не заехали к нам в Англии! — сказала она равнодушно-радушно. Тут я сразу почувствовал, что они устали, что я им в тягость, но что они покорно подчиняются уже сорок лет этой участи: принимать гостей — и выслушивать их внимательно, любезно, дружески и равнодушно. Он спросил меня, где я живу. Я подробно описал ему нашу коммуну — и сказал, что это совершенно новая для меня среда, да и вообще еще не учтенная нашей беллетристикой — рабочие, интеллигентные девушки. Я сказал ему, как мало они зарабатывают. Как скромно, достойно они живут. И, знаете, ничего двусмысленного... — Ну, а односмысленного много? — спросил он и, по-стариковски хихикая, сказал: — Смотрите, не влюбитесь!

Если бы я не знал, что передо [мною] сидит один из величайших пророков, гениальный борец за высший идеал человечества, я бы подумал, что это просто добродушный папаша. Чувство домашности, простоты. — Вот вы из этих ваших барышен найдите мне секретаршу. У меня была одна бельгийка в Англии — и хорошо справлялась — да приехал рус. балет, и она увлеклась.

Он опять по-стариковски подмигнул.

— Вот вы опишите-ка то, что рассказывали.

— Увы, я к[а]к беллетрист бездарен.

— Вовсе нет. Ваши крит. статьи — ведь та же беллетристика.

— П. А. всегда читал вас в «Рус. Сл.», — вставил зять.

— Нет, в «Речи». Главным образом, в «Речи». — Он опять заговорил о секретаршах. — Странно, в России никто не знает стенографии. Меня на Финл. вокзале встретили репортеры; я стал с ними беседовать, и *ни один из них не записал беседы точно*. Все переврали. Потому что не стенографы!

Заговорили о Достоевском, у которого жена — стенографистка. — Ренегат! — сказал Кропоткин. — Вернулся из Сибири и восстал против Фурье, против социализма. И замечательно, что все ренегаты после ренегатства становятся бездарны, теряют талант.

Меня изумило это мнение, ибо Достоевский после каторги — и окрылился, но я почувствовал, что на огромном черепе князя Кропоткина нет эстетической шишки. Я сказал ему, как мне нравится стиль Михайловского... Он говорит: — Да, но я никогда не мог ему простить его политической трусости. Я виделся с ним в 1867 г. Он показался мне красной девицей. Как он боялся меня и брата!.. Это он поправлял Льву Тихомирову статьи.

Княгиня спросила, есть ли в Куоккала провизия. Я сказал: — Не знаю.— Ну, значит, есть,— сказал Кропоткин. — А вот сегодня я был

в Зимнем Дворце у Керенского — и на нас, 4-х ч[елове]к, дали на огромной тарелке с царскими вензелями, с коронами — четыре вот таких ломтика хлеба... И вода! (Он поморщился.) Мы с Сашей переломили один ломтик — а остальное оставили Керенскому.

Разговор перескочил на пишущие машины. Он стал расхваливать их, с восторгом. Ну, зато ж и дорого! Простая 20 ф., а с усовершенствованиями и все 30 отдай!! То же машины Зингера — длиннейший панегирик машинам Зингера: они и чулки штопают и петли метают. (Он указал рукой на воротник.) Вообще страшное гостеприимство чужим темам, чужим мыслям, чужой душе. Он готов приспособиться к любому уровню, и я уверен, что приди к нему клоун, кокотка, гимназист, он с каждым нашел бы его тему — и был бы с каждым на равной ноге, по-товарищески. Заговорили о Репине:

— Давайте, Корней Ив., поедем к нему. — Я сказал Кропоткину, что в Куоккала меня уверяли, будто он живет там.

— Вот напишите, К. Ив., как создаются легенды. Я ехал с Элизе Реклю, и тот в поезде упомянул мое имя. Вдруг южанин француз:

— О! prince Kropotkine убит... Да, да! — и рассказал ему целую историю о кн. Кропоткине. Или вот мой брат: в 1861 г. он участвовал в студенческих беспорядках, т. е. просто пошел вместе с компанией других в генер.-губернат. дом и заявил там какую-то претензию. Он б[ыл] впереди всех и взошел с товарищем на верхнюю ступеньку, и его избили жандармы и поволокли в тюрьму... Проходит 3 дня, я получаю от него бисерным почерком написанную записку — все благополучно. Вдруг вбегает ко мне дядя Сулима и говорит:

— А знаешь, Петя, наш-то Саша... о!

— Что такое?

— Неужто не знаешь?

— Казацкая лошадь ударила его копытом в глаз, пенснэ разбилось, и осколки застряли в глазу.

— Чепуха! Брат не носит пенснэ! Я сегодня получил от него записку.

Но молва ходила по Москве и ширилась, и я слышал через год ту же историю.

— Кланяйтесь Илье Ефимовичу. Я чту его. Я знаю все его картины (увы!) по снимкам.

Мне почудилось, что Кропоткину не нравилось то, что Репин писал портреты самодержцев, вел. княгинь, и я еще раз почувствовал, что искусству он чужд совершенно.

— «Записки революционера» я диктовал по-английски. Потом Дионео переводил их. Переведет лист-полтора и приедет ко мне в Бромли, я исправляю — целый день. Он даже обижался. Я совершенно переделывал, писал заново. Но иначе было нельзя. А «Mutual Aid» я написал по-английски для «Nineteenth century» *.

Рассказал он о Г. З. Елисееве. Суровый б[ыл] человек. Я б[ыл]

---

* «Взаимная помощь», «Девятнадцатый век» (*англ.*). Полное название книги Кропоткина «Взаимная помощь, как фактор эволюции».

в «Отеч. Записках», в редакции. Там обсуждал письмо Суворина к одной шансонетной певице. Она снялась в непристойной позе, на коленях у Париса из Белой Лены (Belle Helene) — и Суворин выругал ее.

— Стыдно вам, талантливой, позорить себя!

Так вот по этому поводу Минаев написал стишки, высмеивающие Суворина, — и все: Курочкин, Пятковский и др. — эти стишки одобряли. Вдруг вошел Г. З. Елисеев, угрюмо взял стихи, прочитал, отложил в сторону, сказав лениво:

— Дрянь.

Тут я почувствовал, что Кр. очень устал, и стал прощаться. Он и княгиня ушли спать. Остался я и Ал. Петровна.

— О, как я устала... Устроить министерство удалось ровно на 10 дней — и потом опять все будет сначала.

— Советы депутатов мешают? — спросил кто-то.

— Нет, Некрасов — вот кто. Интриган, мелкий... Подлизался к совету, натравливает всех на Керенского. Поддерживает Чернова. Я так прямо и сказала Керенскому: у вас есть враг... Но Керенский и слышать не хочет. Папа дернул меня за рукав: молчи! — но я сказала: этот враг Некрасов.

Керенский поморщился: это у вас домашнее. (У Лебедева ссора с Некрасовым.)

И всё эта баба — Малаховская. Она ведь спит рядом со спальней Керенского в Зимнем Дворце — а сама глазами так и ест Савинкова.

— А как вам показался Савинков?

— Хулиган.

Я запротестовал. Савинков мне показался могучим, кряжистым человеком, с сильной волей. Недаром он был столько во Фр[анции], он истинный тип франц. революционера.

И начался разговор, столь обычный во всех гостиных нынче. Потом пришли 2 француза — анархического вида, лысый и седой — богема, такие к Герцену часто ходили, и я ушел.

Шел по улице с военн.-морск. агентом, который просидел у Кр. полдня — и все же не читал ни одной его строчки. <...>

24 [июня]. <...> мы пошли в Интимный театр и видели там Виктора Шкловского, к-рый был комиссаром 8-й армии. Он рассказывает ужасы. Он вел себя к[а]к герой и получил новенький Георгиевский крестик. Замечательно, что его дв[оюродный] брат Жоржик ранен на западном фронте — в тот же день. Когда Шкл. рассказывает о чем-ниб. страшном, он улыбается и даже смеется. Это выходит особенно привлекательно. — «Счастье мое, что я б[ыл] ранен, не то застрелился бы!» Он ранен в живот — пуля навылет — а он к[а]к ни в чем не бывало.

31 [июля], воскресение. Опять у Кропоткина. Он сидел с высоким американцем и беседовал о тракторах. Американец оказался инже-

нер, который привез сюда ж.-д. вагоны для Сибирской ж. д. Кропоткин говорит: незачем доставлять сюда военные снаряды, нам нужны тракторы, рельсовые перекрестки (crossing & switches). Он пальцами показал перекрещивающиеся рельсы. «Мне все говорят, что нам нужны тракторы и рельсовые перекрестки. Я хотел бы повидаться с американским послом и сказать ему об этом.

— О, это легко устроить! — сказал инженер. — И я очень хотел бы, чтобы Вы поехали в Америку...

— К сожалению, Ам[ерика] для меня закрыта.

— Закрыта?!

— Да, как для анархиста...

— Are you really anarchist?!..* — воскликнул американец.

Я посмотрел на учтивого старикана и в кажд. его черточке увидел дворянина, князя, придворного.

— Да, да! я анархист, — сказал он, словно извиняясь за свой анархизм.

Мы заговорили о проф. Гарпере, который изучает Россию, проводя здесь каждое лето.

— О, я знал его отца... — сказал Кроп., — он пригласил меня читать лекции в Гарв. университете. Лекции о рус. литер. Он был ректором у[ниверсите]та. Я приехал в Америку, прочитал (в оригинале пропуск. — *Е. Ч.*) лекции и собрался в университет к Гарперу. Но за это вр[емя] Гарпер б[ыл] принят в Петрогр[аде] царем, царь очаровал его — и Гарпер нашел неудобным, чтобы я читал лекции у него в университете, и мне б[ыло] отказано. Тогда студенты из протеста против Гарпера устроили мне дружественную манифестацию». Американец б[ыл] очень величествен.

До революции американцы стремились познакомиться с возможно большим количеством великих князей. Теперь они собирают коллекцию анархистов.

У Кропоткина собралось самое разнообразное о-во, замучивающее всю его семью. На каждого новоприбывшего смотрят как на несчастье, с которым нужно терпеливо бороться до конца.

Я заговорил о Уолте Уитмэне.

— Никакого, к сожалению, не питаю к нему интереса. Что это за поэзия, которая выражается прозой. К тому же он б[ыл] педераст! Я говорил Карпентеру... я прямо кричал на него. Помилуйте, как это можно! На Кавказе — кто соблазнит мальчика — сейчас в него кинжалом! Я знаю, у нас в корпусе — это разврат! Приучает детей [к] онанизму!

Рикошетом он сердился на меня, словно я виноват в гомосексуализме Уитмэна.

— И Оскар Уайльд... У него б[ыла] такая милая жена. Двое детей. Моя жена давала им уроки. И он б[ыл] талантливый ч[елове]к: Элизе Реклю говорил, что написанное им об анархизме (?) нужно высечь на медных досках, к[а]к делали римляне. Каждое изрече-

* Неужели вы и вправду анархист? (*англ.*)

ние — шедевр. Но сам он был — пухлый, гнусный, фи! Я видел его раз — ужас!

— В «De Profundis» он назвал Вас «белым Христом из России»...[6]

— Да, да... Чепуха. «De Profundis» — неискренняя книга.

Мы расстались, и хотя я согласен с его мнением о De Profundis, я ушел с чувством недоумения и обиды. То же чувство я испытывал, когда читал его бескрылую книгу о русской литературе [7]. Словно выкопали из могилы Писарева — и заставили писать о Чехове. Туповатым и ограниченным шестидесятником пахнуло на меня. В Кропоткине есть и это.

14 августа. Получил вчера тысячу рублей. Был у Буренина вечером. Старикашка. Один. Желтоватый костюмчик — серые туфли, лиловый галстук. Обстановка безвкусная. В прихожей — бюст в мерзейшем стиле модерн: он показывал мне, восхищаясь — смотрите, веками как будто шевелит. Все стены в картинах — дешевка. «Куплено в Венеции», — говорил он, показывая какую-то грошовую, фальшивую дрянь.

— Ну, это вещь неважная! — сказал я.

— Зато рамка хороша.

Когда я пришел, он читал книгу — о крысах. — «Представьте, у крыс бывает такая болезнь: сцепятся хвостами в кучу штук десять, и не расцепить. Так и подыхают. Совсем, к[а]к наше правительство теперь».

О Судейкине: — Я отца Судейкина помню, полковника. Видел его за неделю до смерти. Он был полковник, начальник охранки. Охранка находилась на Морской, при градоначальстве. Я был тогда редактором какого-то журнальца, выходившего при «Новом Времени». И вот меня пригласили в Охранку. Я пошел. Ждал долго. Вышел ко мне, — ну совсем Иисус Христос. Такая же прическа, к[а]к у тициановского Христа (я всегда удивлялся, у какого парикмахера Христос причесывался). Такая же борода. Только глаза нехороши: сыщицкие.

— Тут к вам есть письмо от одного политического преступника.

— Политического преступника?! Ко мне?

— Да. Балакина. Вы его знаете.

— Знаю. Он сотрудничал в нашей газете. И когда его однажды посадили в тюрьму и приговорили к ссылке черт знает куда — я похлопотал (через Скальковского) перед Лорис-Меликовым, и его сослали всего только в Пермь.

— Да, да! он и теперь просит вашего заступничества.

— Но увы, Лорис-Меликова уже нет. У меня нет теперь сановных знакомых. — А между тем Балакин достоин всякого участия. Не поможете ли ему вы?

— Ах, что вы? Балакин серьезный преступник.

Так мы разошлись. А через неделю Дегаев заманул Судейкина в конспиративную квартиру и укокошил. Ровно через неделю. До-

жидаясь Судейкина, я увидел на подоконнике карточку, — среди них портрет кн. Кропоткина с надписью:

И на чело его легла
Печать высоких размышлений.

Я рассказывал сыну Судейкина всю эту историю.

О Некрасове: — Н. называл свою редакцию: Наша консистория. Я принес ему переводы из Мюссе. Через неделю он вернул их мне назад. — «Вот, отец. Наша консистория не желает печатать». Конечно, он не б[ыл] добряк. Но умница, и писателям делал немало добра. И однажды читал мне стихи — вот эти самые. «Рыцарь на час» — и разревелся. Я удивился. Мне даже невозможно б[ыло] вообразить себе, чтобы Н. мог плакать.

Был как-то я у Ивана Аксакова... девственника... Тот был редактором «Дня». Когда он женился на дочери Тютчева, Тютчев сказал о нем:

— У него был скверный «День», а теперь будет скверная ночь.

О Всеволоде Крестовском: — Вызывал меня на дуэль.

Много говорил о своем архитекторстве: — Мой отец штук 30 церквей в Москве построил. Я от 11 лет до 18 учился этому делу. И вот посмотрите: как симметрически у меня в комнате картины развешены. Я и стихи пишу симметрически. Беспорядка не люблю. Никакой разбросанности. Куплеты. Вот мои рисунки, — и показал мне акварель: «Три Грации». Кто бы мог подумать, что Буренин рисовал «Три Грации»! Это все равно как если бы Джэк Потрошитель вышивал шелками незабудки! Три грации действительно нарисованы очень отчетливо — по-архитекторски. <...>

4 октября. Среда. Или 3-е? Нет календаря. Вчера сдуру я поехал в Куоккала после 3-х месяцев отсутствия. Симфония осенних деревьев в парке. Рябина. Море, новый изгиб реки, в которую я уложил столько себя. Но ключа мне М. Б. не дала, и я проехал напрасно. Зашел к Репину, спросить его, что он хочет за портрет Бьюкенена: 10 000 р. или золотую тарелку. Ре[пин] (мертвецки бледный, с тенями трупа под носом и глазами, но все такой же обаятельный): — Знаете, конечно, тарелка оч. хороша, но... я не достоин... не в коня корм... да и как ее продать. На ней гербы, неловко» — из чего я понял, что ему хочется денег. Я дал ему 500 р. долга за дачу — он очень повеселел, пошел показывать перемены в парке в *озере Глинки,* к-рое он высушил, провел дренаж, вырубил деревья — всюду устроил свет и сквозняк. Потом показывал картины. Бурлаки: «Ой как пожухло... Теперь я вижу, что я сделаю... я этому сифилитику (впереди всех) дам кумачовую (не яркую, а стираную) рубаху (вместо синей), а красную у заднего уберу — дам ему синюю — а то задний план чересчур кричит... Кушинников говорил: разве Волга бывает зеленой? Посмотрел бы он в Жигулях. Но я, кажется, перезеленил. Это место я написал неподалеку от заказчика — Шаталова (?) — он там в Самаре».

Посидели, помолчали… — А вы знаете другую… которая «делается» (не сказал пишется) — и прескверно делается, к[а]к луна в Гамбурге. Вот… — И он вытащил несуразную голую женщину, с освещенным животом и закрытым сверху туловищем. У нее странная рука — и у руки собачка. — Ах, да ведь это шаляпинская собачка! — воскликнул я. — Да, да… это был портрет Шаляпина… Не удавался… Я вертел и так и сяк… И вот сделал женщину. Надо проверить по натуре. Пуп велик.

— Ай, ай! Илья Ефимович! Вы замазали дивный автопортрет, который Вы сбоку делали на этом же холсте!! — Да, да, долой его, — и как вы его увидали!

Шаляпин, переделанный в женщину, огромный холст — поверхность которого испещрена прежними густыми мазками.

Про женщину я не сказал ничего, и И. Е. показал мне третью картину «Освящение ножей» с масками вместо лиц, но — с интересной светотенью. В каждом мазке чувствуется, что Репин умер и не воскреснет, хотя портрет Ре-Ми (даже два портрета) похож и портрет Керенского смел, Керенский тускло глядит с тускло написанного зализанного коричневого портрета, но на волосах у него безвкуснейший и претенциознейший зайчик. — Так и нужно! — объясняет Репин. — Тут не монументальный портрет, а случайный — случайного человека… Правда, гениального человека — у меня есть фантазия, — и обывательски стал комментировать дело Корнилова. Перед Керенским он преклоняется, а Корнилов — «нет, недалекий, солдафон».

10 октября. Целые дни трачу на организацию американского и английского подарка русскому народу: 2 000 000 экземпляров учебников — бесплатных, — изнемог — не сплю от переутомления все ночи — старею — голова седеет. Скоро издохну. А зима только еще начинается, а отдыха впереди никакого. Так и пропадет Корней ни за что. Семья? Но Колька растет — недумающий эгоист, а Лида хилая, зеленая, замученная.

Лида: «Я не люблю тратить сказки попусту на неспящего человека». <…>

Когда Андреев приезжал в гости к Короленке (который жил в Куоккале, у Богданович, племянницы Анненских), Н. Ф. Анненский приготовил ему тарелку карамели — красной и черной. Андреев не приезжал, и мы угощались без него. — Кушайте эту, — говорил Ник. Ф. Это *Черные* маски. А потом эту — это *Красный* Смех. — А что же ему? — спросил я. — А ему «Царь Голод» [8]. <…>

Я как-то прочитал Ник. Ф-у Анненскому стихи Бунина: «И сказал проводник — господин, я еврей! и б[ыть] м[ожет], потомок царей. Посмотри на цветы, что растут по стенам…» [9] Велико б[ыло] мое удивление, когда этот редактор «Рус. Бог.» — на следующий день — на перроне поезда в Куоккала пел: «И шказал прроводник: гашпа-

дин, я еврей». У него это выходило изящно и не пошло. Он б[ыл] из тех, которые помнят все смешные стишки, эпиграммы, чужие забавные ошибки — какие они когда-либо в жизни читали. Он б[ыл] немного Туркин из Чеховского «Ионыча»: «Здравствуйте, пожалуйста». — «А ну, Пава, изобрази». — «И машет платком». Он б[ыл] благороднейший обществ. деятель, столп народовольческой веры, окончил два факультета, редактор «Рус. Бог.», но всегда говорил чепуху, почти автоматически. Сейчас вижу его — среди внуков: «Шел грек через реку, видит грек в реке рак...» Дети его очень любили. Он ходил среди них колесом, все подтягивая штаны.

Розанов как-то в поезде распек П. Берлина за то, что у того фамилия совпадает с названием города. — А то есть еще Дж. Лондон! Что за мода! Ведь я не называю себя — Петербург. Чуковск. не зовется Москва. Мы скромные люди. А то вот еще Анатоль Франс. Ведь Франс это Франция. Хорошо бы я был Василий Россия. Да я стыдился бы нос показать.

1918

14 февраля 1918. У Луначарского. Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нб., сделать одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо — источающее на всех благодать: — Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, — и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно — и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота — в паршивенькой квартирке — наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага (роскошная, английская): «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве Просвещения и т. д.». Но публика на бумажку никакого внимания, — так и прет к нему в двери, — и артисты Имп. Театров, и бывш. эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты — все — к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при кажд. новом звонке. «Ведь написано». И тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который — ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно-простая мадам Луначарская — все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле. При мне пришел фотограф — и принес Лунач[ар]скому образцы своих изделий — «Гениально!» — залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непремен-

но приеду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне раньше, и, когда он приедет, — я поднесу ему В/портрет... Приезжайте с ребеночком, — уй, какое цацеле». <...>

В Министерстве Просвещения Лунач. запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете — из либерализма — не завешен. Вызывает он посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственною мудростью Анатолия Васильевича... Кокетство наивное и безобидное. Я попросил его написать письмо Комиссару Почт и Телеграфов Прошиану. Он с удовольствием нащелкал на машинке, что я такой и сякой, что он будет в восторге, если «Космос» будет Прошианом открыт. Я к Прошиану — в Комиссариат Почт и Телеграфов. Секретарь Прошиана — сейчас выложил мне всю свою биографию: я б[ывший] анархист, писал стихи в «Буревестнике», а теперь у меня ревматизм и сердце больное. Относится к себе самому подобострастно. На почте все разнузданно. Ходят белобрысые девицы, горнично-кондукторского типа, щелкают каблучками и щебечут, поглядывая на себя в каждое оконное стекло (вместо зеркала). Никто не работает, кроме самого Прошиана. Прошиан добродушно-угрюм: «Я третий день не мылся, не чесался». Улыбка у него армянская: грустно-замученная. «Зайдите завтра». Я ходил к нему с неделю без толку, наконец, мне сказали, что дано распоряжение товарищу Цареву, коменданту Почт и Телеграфов, распечатать «Космос». Я туда. Там огромная очередь, к[а]к на конину. Комендант оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в вицмундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного. У стола, за которым помещался этот детина, — огромная очередь. Он должен был выдать чиновникам какие-то особые бланки — о непривлечении их к общественным работам — это было канительно и долго. Я сидел на диванчике, и вдруг меня осенило: — Товарищ Царев, едем сию минуту, вам будет знатная выпивка! — А машинка есть? — спросил он. Я вначале не понял. — Автомобиль, — пояснил он. — Нет, мы дадим вам на обратного извозчика. — Идем! — сказал он, надел кацавейку и распечатал «Космос», ухаживая напропалую за нашими служанками — козыряя перед ними по-матросски.

Но о Луначарском: жена его, проходя в капоте через прихожую, говорит: — Анатоль, Анатоль... Вы к Анатолию? — спрашивает она у членов всевозможных депутаций...

Июнь. 10. <...> Дня два назад у Анатолия Ф. Кони. Бодр. Глаза васильковые. Очень разговорились. Он рассказал, как его отец приучил его курить. Когда Кони б[ыл] маленьким мальчиком, отец взял с него слово, что он до 16 лет не будет курить. — Я дал слово и



Афиша выступлений К. Чуковского. Рис. Ре-Ми. 1918 г.

сдержал его. Ну, чуть мне наступило 16, отец подарил мне портсигар и все принадлежности. — Ну не пропадать же портсигару! — и я пристрастился. <...>

Бывая у Леонида Андреева, я неизменно страдал бессонницами: потому что Андреев спал (после обеда) всегда до 8 час. вечера, в 8 вставал и заводил разговор до 4—5 часов ночи. После такого разговора — я не мог заснуть и, обыкновенно, к 10 час. сходил вниз — зеленый, несчастный. Там внизу копошились дети — (помню, как Савва на руках у няни тянется к медному гонгу) — на террасе чай, кофе, хлеб с маслом — мама Леонида Николаевича — милая, с хриплым голосом — с пробором посреди седой головы — Анастасья Николаевна. Она рассказывала мне про «Леонида» множество историй, я записал их, но не в дневник, а куда-то — и пропало. Помню, она рассказывала про своего мужа Николай Ивановича: — Силач был — первый на всю слободу. Когда мы только что повенчались,

накинула я шаль, иду по мосту, а я была недурненькая, ко мне и пристали двое каких-то... в военном. Николай Иванович увидел это, подошел неспешно, взял одного за шиворот, перекинул через мост и держит над водою... Тот барахтается, Н. И. никакого внимания. А я стою и апельцыны кушаю. Он знал, что я люблю бублики. Купит для меня целую сотню, наденет на шею — вязка чуть не до полу — идет, и все говорят: вот как Н. Ив. любит свою жену!

А то купит два-три воза игрушек — привезет в слободу (кажется, на Немецкую улицу) и раздает всем детям.

Андреев очень любил читать свои вещи Гржебину. — Но ведь Грж. ничего не понимает? — говорили ему. «Очень хорошо понимает. Гастрономически. Брюхом. Когда Гржебину что нравится, он начинает нюхать воздух, как будто где пахнет бифштексом жареным. И гладит себя по животу...»

Андреев однажды увлекся лечением при помощи мороза. И вот помню — в валенках и в чесучовом пиджачке — с палкой шагает быстро-быстро по оврагам и сугробам, а мы за ним еле-еле, как на картине Серова за Петром Великим — я, Гржебин, Копельман, Осип Дымов, а он идет и говорит заиндевевшими губами о великом значении мороза.

15 октября, вторн. 1918. Вчера повестка от Луначарского — придти в три часа в Комиссариат Просвещения на совещание: взял Кольку и Лидку — айда! В Комиссариате — в той самой комнате, где заседали Кассо, Боголепов, гр. Д. Толстой, — сидят тов. Безсалько, тов. Кириллов (поэты Пролеткульта), Лунач. нет. Коля и Лида садятся с ними. Некий Оцуп, тут же прочитавший мне плохие свои стихи о Марате и предложивший (очень дешево!) крупу. Ждем. Явился Лунач., и сейчас же к нему депутация профессоров — очень мямлящая. Лунач. с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего. Любопытно, как ехидствовали на их счет Пролеткультцы. По-хамски: «Эге, хлопочут о своей шкуре». — «Смотри, тот закрывает форточку — боится гишпанской болезни». Они ходят по кабинету Луначарского, как по собственному, выпивают десятки стаканов чаю — с огромными кусками карамели — вообще ведут себя вызывающе-спокойно (в стиле Маяковского)... Добро бы они б[ыли] талантливы, но Колька подошел ко мне в ужасе: — Папа, если б ты знал, какие бездарные стихи у Кириллова! — я смутно вспомнил что-то бальмонтовское. Отпустив профессоров, Лунач. пригласил всех нас к общему большому столу — и сказал речь — очень остроумную и мило-легкомысленную. Он сказал, что тов. Горький должен был пожаловать на заседание, но произошло недоразумение, тов. Горький думал, что за ним пришлют автомобиль, и, прождав целый час зря, теперь уже занят и приехать не может. (Перед этим Лунач. при нас говорил с Горьким — заискивающе, но не очень.) Лунач. сказал, что тов. Горький

обратил его внимание на ненормальность того обстоятельства, что в Москве издаются книги Полянским, в Питере Ионовым — черт знает какие, без системы, и что все это надо объединить в одних руках — в горьковских. Горький собрал группу писателей — он хочет образовать из них комитет. А то теперь до меня дошли глухие слухи, что тов. Лебедев-Полянский затеял издавать «несколько социальных романов». Я думал, что это утопии, пять или шесть томов. Оказывается, под социальными романами тов. Лебедев-Полянский понимает романы Золя, Гюго, Теккерея — и вообще все романы. Тов. Ионов издает Жан Кристофа, в то время к[а]к все эти книги должен бы издавать Горький в иностр. библиотеке. И не то жалко, что эти малокомпетентные люди тратят народные деньги на бездарных писак — жалко, что они тратят бумагу, *на к-рой можно было бы напечатать деньги.* (Острота, очень оцененная Колей, который ел Л[уначарск]ого глазами.)

Говоря все эти вещи, Л. источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше — его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая — делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него большое сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду.

Зин. Гиппиус написала мне милое письмо — приглашая придти — недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич — согнутый дугою, неискреннее участие во мне — и просьба: свести его с Лунач.! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкепанидзе? Не могу ли я достать им бумагу — охрану от уплотнения квартир? Не могу ли я устроить, чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его «Павла», «Александра» и т. д.? Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит — Мережк. первые будут клеветать на меня.

Тов. Ионов: маленький, бездарный, молниеносный, как холера, крикливый, грубый.

28 октября. Тихонов пригласил меня недели две назад редактировать английскую и америк. литературу для «Издательства Всемирной Литературы при Комиссариате Народного Просвещения», во главе которого стоит Горький. Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колоссальным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, О'Генри, Сэмюэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с утра до ночи — а иногда и ночи напролет. Самое мучительное это заседания под председательством Горького. Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его

сторону — и нравится мне он очень, хотя мне и кажется, что его манера наигранная. Он приезжает на заседания в черных лайковых перчатках, чисто выбритый, угрюмый, прибавляет при каждой фразе: «Я позволю себе сказать», «Я позволю себе предложить» и т. д. (Один раз его отозвали в другую комнату перекусить, он вынул после еды из кармана коробочку, из коробочки зубочистку — и возился с нею целый час.) Обсуждали вопрос о Гюго: сколько томов давать? Горький требует поменьше. Я позволю себе предложить изъять «Несчастных»... да, изъять, не надо «Несчастных» (он любит повторять одно и то же слово несколько раз, с разными оттенками, — эту черту я заметил у Шаляпина и Андреева). Я спросил, почему он против «Несчастных», Горький заволновался и сказал:

— Теперь, когда за катушку ниток (вот такую катушку... маленькую...) в Самарской губернии дают два пуда муки... два пуда (*он показал руками, как это много: два пуда*) вот за такую маленькую катушку...

Он закашлялся, но и кашляя показывал руками, какая маленькая катушка.

— Не люблю Гюго.

Он не любит «Мизераблей» за проповедь терпения, смирения и т. д.

Я сказал:

— А «Труженики моря»?..

— Не люблю...

— Но ведь там проповедь энергии, человеческой победы над стихиями, это мажорная вещь...

(Я хотел поддеть его на его удочку.)

— Ну если так, — то хорошо. Вот вы и напишите предисловие. Если кто напишет такое предисловие — отлично будет.

Он заботится только о *народной* библиотеке. Та основная, к-рую мы затеваем параллельно, — к ней он равнодушен. Сведения его поразительны. Кроме нас участвуют в заседании: проф. Ф. Д. Батюшков (полный рамоли, пришибленный), проф. Ф. А. Браун, поэт Гумилев (моя креатура), прив.-доц. А. Я. Левинсон — и Горький обнаруживает больше *сведений,* чем все они. Называют имя франц. второстепенного писателя, которого я никогда не слыхал, профессора, как школьники, не выучившие урока, опускают глаза, а Горький говорит:

— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи... Эта вещь слабоватая, а вот эта (тут он просияивает) отличная... хорошая вещь...

Собрания происходят в помещении бывшей Конторы «Новая Жизнь» (Невский, 64). Прислуга новая, Горького не знает. Один мальчишка разогнался к Горькому:

— Где стаканы? Не видали вы, где тут стаканы? (Он принял Горького за служителя.)

— Я этим делом не заведую.

Воскресенье, 27 октября. Был у Эйхвальд — покупать англ. книги. Живут на Сергиевской, в богатой квартире — вдова и дочь знаменитого хирурга или вообще врача — но бедность непокрытая. Даже картошки нету. Таковы, кажется, все обитатели Кирочной, Шпалерной, Сергиевской и всего этого района.

Оттуда к Мережковским.

Зинаида Николаевна раскрашенная, в парике, оглохшая от болезни, но милая. Сидит за самоваром — и в течение года ругает с утра до ночи большевиков, ничего кроме самовара не видя и не слыша. Сразу накинулась на Колю: «В зеленое кольцо!» Рассказывала о встрече с Блоком: «Я встретилась с ним в трамвае: он вялый, сконфуженный.

— Вы подадите мне руку, З. Н.?

— К[а]к знакомому подам, но как Блоку нет.

Весь трамвай слышал. Думали, уж не возлюбленный ли он мой!»[1]

Ноябрь 12. Вчера Коля читал нам свой дневник. Очень хорошо. Стихи он пишет совсем недурные — дюжинами! Но какой невозможный: забывает потушить электричество, треплет книги, портит, теряет вещи.

Вчера заседание — с Горьким. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту, — и вдруг потупился, заулыбался вкось, заиграл пальцами.

— *Я скажу,* что вот, мол, только при Рабоче-Крестьянском Правительстве возможны такие великолепные издания. Надо же задобрить. Да, задобрить. Чтобы, понимаете, не придирались. А то ведь они черти — интриганы. Нужно, понимаете ли, задобрить...

На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник — вздумал составлять *Правила для переводчиков*. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один переводчик сочиняет, и выходит отлично, а другой и ритм дает и все, — а нет, не шевелит. Какие же правила? А он — рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю.

Как по-стариковски напяливает Горький свои серебряные простоватые очки — когда ему надо что-нибудь прочитать. Он получает кучу писем и брошюр (даже теперь — из Америки) — и быстро просматривает их — с ухватками хозяина москательной лавки, истово перебирающего счета.

Коля, может быть, и не поэт, но он — сама поэзия!

22 ноября. Заседания нашей «Всемирной Литературы» идут полным ходом. Я сижу рядом с Горьким. Он ко мне благоволит. Вчера рассказал анекдот: еду я, понимаете, на извозчике — трамваи стали — извозчик клячу кнутом. «Нно, большевичка проклятая! все равно скоро упадешь». А мимо, понимаете ли, забранные, арестованные под конвоем идут. (И он показывает пальцами — пальцы у него при рассказе всегда в движении.) Вчера я впервые видел на глазах у

Горького его знаменитые слезы. Он стал рассказывать мне о предисловии к книгам «Всемирной Литературы» — вот сколько икон люди создали, и каких великих — черт возьми (и посмотрел вверх, будто на небо — и глаза у него стали мокрыми, и он, разжигая в себе экстаз и умиление) — дураки, они и сами не знают, какие они превосходные, и все, даже негры... у всех одни и те же божества — есть, есть... Я видел, был в Америке... видел Букера Вашингтона... да, да, да...

Меня это как-то не зажгло; это в нем волжское, сектантское; тут есть что-то отвлеченное, догматическое. Я говорил ему, что мне приятнее писать о писателе не sub specie * человечества, не как о деятеле планетарного искусства, а как о самом по себе, стоящем вне школ, направлений — как о единственной, не повторяющейся в мире душе — не о том, чем он похож на других, а о том, чем он не похож. Но Горький теперь весь — в «коллективной работе людей». <...>

23 ноября. Был с Бобой во «Всем. Лит.». Мы с Бобой по дороге считаем людей: он мужчин, я женщин. Это очень увлекает его, он не замечает дороги. Женщин гораздо меньше. За каждого лишнего мужчину я плачу ему по копейке.

Во «Всем. Лит.» видел Сологуба. Он фыркает. Зовет это учреждение «ВсеЛит» — т. е. вселить пролетариев в квартиру, и говорит, что это грабиловка. Там же был Блок. Он служит в Комиссариате просвещения по Театральной части. Жалуется, что нет времени не только для стихов, но даже для снов порядочных. Все снится служба, телефоны, казенные бумаги и т. д. «Придет Гнедич и расскажет анекдот. Потом придет другой и расскажет анекдот наоборот. Вот и день прошел». Гумилев отозвал меня в сторону и по секрету сообщил мне, что Горький обо мне «хорошо отзывался». В Гумилеве много гимназического, милого.

Третьего дня я написал о Райдере Хаггарде. Вчера о Твэне. Сегодня об Уайльде. Фабрика![2]

24 ноября. Вчера во «ВсеЛите» должны были собраться переводчики и Гумилев должен был прочитать им свою *Декларацию* [3]. Но вчера б[ыло] воскресение, «ВсеЛит» заперт, переводчики столпились на лестнице, и решено было всем гурьбой ехать к Горькому. Все в трамвай! Гумилев прочел им программу максимум и минимум — великолепную, но неисполнимую — и потом выступил Горький.

Скуксив физиономию в застенчиво-умиленно-восторженную гримасу (которая при желании всегда к его услугам), он стал просить-умолять переводчиков переводить честно и талантливо. «Потому что мы держим экзамен... да, да, экзамен... Наша программа будет послана в Италию, во Францию знаменитым писателям, в

* С точки зрения (*лат.*).

Страница дневника. 24 ноября 1918 г.

журналы — и надо, чтобы все было хорошо...* Именно потому, что теперь эпоха разрушения, развала, — мы должны созидать... Я именно потому и взял это дело в свои руки, хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, если я скажу, что я знаю его меньше, чем каждый из вас...» Все это очень мне не понравилось — почему-то. Может быть, потому, что я увидел, как *по заказу* он вызывает в себе умиление. Переводчики тоже не растрогались. Горький ушел. Они загалдели.

У меня Ив. Пуни с женой и Замятин. Был сегодня у меня Потапенко. Я поручаю ему Вальтер Скотта.

4 декабря. Я запутываюсь. Нужно хорошенько обдумать положение вещей. Дело в том, что я сейчас нахожусь в самом удобном денежном положении: у меня есть денег на *три месяца жизни вперед*. Еще никогда я не был так обеспечен. Теперь, казалось бы, надо было бы посвятить все силы Некрасову, и вообще писательству, а я гублю день за днем — тратя себя на редактирование иностранных писателей, чтобы выработать еще денег. Это — нелепость, о которой я потом пожалею. Даю себе торжественное слово, что чуть я сдам срочные работы — предисловие к «Tale of two Cities», предисловие к «Саломее», — доклад о принципах прозаич. перевода и введение в историю англ. литературы [4] — взяться вплотную за русскую литературу, за наибольшую меру доступного мне творчества.

Мне нужно обратиться к доктору по поводу моих болезней, купить себе калоши и шапку — и вплотную взяться за Некрасова.

Вот уже 1919 годъ.

5 января, воскр. Хочу записать две вещи. Первая: в эту пятницу у нас было во «Всемирной Лит.» заседание, — без Тихонова. Все вели себя, как школьники без учителя. Горький вольнее всех. Сидел, сидел — и вдруг засмеялся. — Прошу прощения... ради Бога извините... господа... (и опять засмеялся)... я ни об ком из вас... это не имеет никакого отношения... Просто Федор Шаляпин вчера вечером рассказал анекдот... ха-ха-ха... Так я весь день смеюсь... Ночью вспомнил и ночью смеялся... Как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: извините, пожалуйста, не сердитесь... я сейчас заржу... и заржала, а за нею другие... Кто гневно, кто робко... Удивительно это у Шаляпина, черт его возьми, вышло...

Так велось все заседание. Бросили дела и стали рассказывать анекдоты.

Это раз. А второе — о Луначарском. <...>

---

* Хотя как знаменитые писатели Франции и Англии узнают, хороши ли переводы или плохи, — это тайна Горького. — *Примеч. автора.*

Сейчас ездил с Лунач. на военный транспорт на Неву, он говорил речь пленным — о социализме, о том, что Горький теперь с ними, что победы Красной Армии огромны; те угрюмо слушали, и нельзя было понять, что они думают. Корабль весь обтянут красным, даже электрич. лампочки на нем — красные, но все грязно, всюду кишат грудастые девицы, лица тупые, равнодушные.

Лунач. рассказал мне, что Ленин прислал в Комис. Внутр. Дел такую депешу: «С Новым Годом! Желаю, чтобы в Новом Году делали меньше глупостей, чем в прошлом».

12 января. Воскресение. Читал в О-ве профессион. переводчиков доклад «Принципы художественного перевода». Сологуб председательствовал. Камин. Боба. М. Б. Самовар. Чай — по рублю стакан. Евг. Ив. Замятин. <...>

У Горького был в четверг. Он ел яичницу — не хотите ли? Стакан молока? Хлеба с маслом. Множество шкафов с книгами стоят не плашмя к стене, а боком... На шкафах — вазы голубые, редкие. Маска Пушкина, стилизованный (гнусный) портрет Ницше — чуть ли не поляка Стыка, — сам Горький — весь доброта, деликатность, желание помочь. Я говорил ему о бессонницах, он вынул визитную карточку и тут же, не прекращая беседы, написал рекомендацию к Манухину. «Я позвоню ему по телефону, вот». <...>

Горький хлопотал об Изгоеве, чтобы Изгоева вернули из ссылки. Теперь хлопочет о сыне К. Иванова — Александре Константиновиче — прапорщике.

20 января. Читаю Бобе былины. Ему очень нравятся. Особенно ему по душе строчка «Уж я Киев-град во полон возьму». Он воспринял ее так: Уж я Киев-град в «Аполлон» возьму. «Аполлон» — редакция журнала, куда я брал его много раз. Сегодня я с Лозинским ходили по скользким улицам.

Был сейчас у Елены Мих. Юст., той самой Е. М., которой Чехов писал столько писем. Это раскрашенная, слезливая, льстивая дама, — очень жалкая. Я дал ей перевести Thurston'a «City of Beautiful Nonsence» *. Она разжалобила меня своими слезами и причитаньями. Я дал ей 250 р. — взаймы. Встретясь со мной вновь, она прошептала: вы так любите Чехова, он моя первая любовь — ах, ах — я дам Вам его письма, у меня есть ненапечатанные, и портрет, приходите ко мне. Я сдуру пошел на Коломенскую, 7, кв. 21. И о ужас — пошлейшая, раззолоченная трактирная мебель, безвкуснейшие, подлые олеографии, зеркала, у нее расслабленно грандамистый тон, — «ах голубчик, не знаю куда дела ключи!» — словом, никакого Чехова я не видал, а было все анти-чеховское. Я сорвался с места и сейчас же ушел. Она врала мне про нищету, а у самой бриллианты, горничная и пр. Какие ужасные статуэтки, — гипсовые. Все —

---

* «Город прекрасной чепухи» (*англ.*).

фальшь, ложь, вздор, пошлость. Лепетала какую-то сплетню о Тэффи. <...>

13 февраля. Вчера было заседание редакц. коллегии «Союза Деятелей Худож. Слова». На Вас. Остр. в 2 часа собрались Кони, Гумилев, Слезкин, Нем[ирович]-Данченко, Эйзен, Евг. Замятин и я. Впечатление гнусное. Обратно трамваем с Кони и Нем.-Данч. Кони забыл, что уже четыре раза рассказывал мне содержание своих лекций об этике, — и рассказал опять с теми же интонациями, той же вибрацией голоса и т. д. Он — против врачебной тайны. Представьте себе, что вы отец, и у вас есть дочь — вся ваша отрада, и сватается к ней молодой человек, вы идете к доктору и говорите: «Я знаю, что к моей дочери скоро посватается такой-то, мне также известно, что он ходит к вам. Скажите, пожалуйста, от какой болезни вы его лечите. Хорошо, если от экземы. Экзема незаразительна. Но что если от вторичного сифилиса?!» А доктор отвечает: «Извините, это врачебная тайна». Или например... и он в хорошо обработанных фразах буква в букву повторял старое. Он на *двух* палочках, идет скрюченный. Когда мы сели в трамвай, он со смехом рассказал, как впервые лет пятнадцать [назад] его назвали старичком. Он остановился за нуждой перед домом Стасюлевича, а городовой ему говорил: «Шел бы ты, старичок, в ворота. Тут неудобно!» А недавно двое красноармейцев (веселые) сказали ему: «Ах ты дедушка. Ползешь на четырех! Ну ползи, ползи, бог с тобой!»

22 или 24 февраля 1919. У Горького. Я совершил безумный поступок и нажил себе вечного врага. По поручению коллегии *Деятелей Художеств. Слова* я взялся прочитать «Год» Муйжеля, который состоит председателем этой коллегии, — и сказать о нем мнение. «Год» оказался нудной канителью, я так и написал в моем довольно длинном отчете — и имел мужество прочитать это вслух Муйжелю, в присутствии Гумилева, Горького, Замятина, Слезкина, Эйзена. Во время этой экзекуции у Муйжеля б[ыло] выражение сложное, но преобладала темная и тусклая злоба. Муйжель говорит столь же скучно, как пишет: «виндите», «виндите». А какие длинные он пишет письма!

Мы в коллегию «Деятелей Худож. Сл.» избрали Мережковского, по моему настоянию. Тут-то и начались мои муки. Ежеминутно звонит по телефону. — «Нужно ли мне баллотироваться?» Вчера мы решили вместе идти к Горькому. Он зашел ко мне. Сколько градусов? Не холодно ли? Ходят ли трамваи? Что надеть? и т. д. и т. д. Идти или не идти? В конце концов мы пошли. Он, к[а]к старая баба, забегал во все лавчонки, нет ли дешевого кофею, в конце концов сел у Летнего сада на какие-[то] доски — и заявил, что дальше не идет.

5 марта 1919. Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей: М. Горький, А. Куприн, Д. С. Мережковский, В. Муй-

жель, А. Блок, Слезкин, Гумилев и Эйзен. Это нужно описать подробно. У меня болит нога. Поэтому решено устроить заседание у меня — заседание Деятелей Худож. Слова. Раньше всех пришел Куприн. Он с некоторых пор усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и т. д. Он пришел со свертком рукописей, — без галстуха — в линялой русской грязно-лиловой рубахе, с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как года два назад, и сел играть с нами в «пять в ряд» — игра, которой мы теперь увлекаемся. Побил я его два раза, — входит Горький. «Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта». У Горького есть два выражения на лице: либо умиление и ласка, либо угрюмая отчужденность. Начинает он большей часть[ю] с угрюмого. Куприн кинулся к нему, любовно и кротко: «Ну как здоровье, А. М.? Все после Москвы поправляетесь?» — Да, если бы не Манухин, я подох бы. Опять надо освещаться, да все времени нет. Сейчас я из *Главбума* — потеха! Вот официальный документ — (пошел и вынул из кармана пальто) — черти! (и читает, что бумаги нет никакой, что «из 70 000 пудов 140 000 нужно Комиссариату» и т. д.). Безграмотные ослы, даже сосчитать не умеют. На днях едем мы с Шаляпиным на Кронверкский — видим, солдаты везут орудия. — Куда? — Да на Финский вокзал. — А что там? — Да сражение. — С восторгом: — Бьют, колют, колотят... здорово! — Кого колотят? — Да нас! — Шаляпин всю дорогу смеялся.

Тут пришел Блок. За ним Муйжель. За Муйжелем Слезкин и т. д. Интересна была встреча Блока с Мережковским. Мережковские объявили Блоку бойкот, у них всю зиму только и было разговоров, что «долой Блока», он звонил мне: — Как же я встречусь с Блоком! — и вот встретились и оказались даже рядом. Блок молчалив, медлителен, а Мережковский... С утра он тормошил меня по телефону:

— Корней Ив., вы не знаете, что делать, если у теленка собачий хвост? — А что? — Купили мы телятину, а кухарка говорит, что это собачина. Мы отказались, а Грж[ебин] купил. И т. д.

Он ведет себя демонстративно-обывательски. Уходя, взволновался, что у него украли калоши, и даже присел от волнения. — Что будет? Что будет? У меня 20 000 рублей ушло в этот месяц, а у вас? Ах, ах...

Я читал доклад о «Старике» Горького и зря пустился в философию. Доклад глуповат. *Горький* сказал: Не люблю я русских старичков. *Мережк.:* То есть каких старичков? — Да всяких... вот этаких (и он великолепно состроил стариковскую рожу). *Куприн:* Вы молодцом... Вот мне 49 лет. *Горьк.*: Вы передо мной мальчишка и щенок: мне пятьдесят!! *Куприн:* И смотрите: ни одного седого волоса!

Вообще заседание ведется раскидисто. *Куприн* стал вдруг рассказывать, как у него делали обыск. «Я сегодня не мог приехать в Петербург. Нужно разрешение, стой два часа в очереди. Вдруг вижу солдата, к-рый у меня обыск делал. Говорю: — Голубчик,

ведь вы меня знаете... Вы у меня в гостях были! — Да, да! (И в миг добыл мне разрешение)»...

Куприн сделал доклад об Айзмане, неторопливо, матово, солидно, хорошо. Ругают большевиков все — особенно большевик Горький. Черти! бюрократы! Чтобы добиться чего-нб., нужно пятьдесят неграмотных подписей... Шкловскому (который преподает в школе шоферов) понадобились для учебных целей поломанные автомобильные части, — он обратился в Комиссариат. Целый день ходил от стола к столу — понадобилась тысяча бумаг, удостоверений, прошений — а автомобильных частей он так и не достал.

— Приехал ко мне американец, К. И., — говорит Горький, — я направил его к вам. Высокий, с переводчицей. И так застенчиво говорит: у вас еще будет крестьянский террор. Непременно будет. Извините, но будет. И это факт!

Гумилев с Блоком стали ворковать. Они оба поэты — ведают у нас стихи. Блок Гумилеву любезности, Гумилев Блоку: *Вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные.* (Были и еще — я забыл — Евг. Ив. Замятин в зеленом английск. костюмчике — и Шишков, автор «Тайги».)

Боба был привратником. Лида, чтобы добыть ноты — чуть не прорыла подземный ход. Аннушка смотрела в щелку: каков Горький.

Сегодня была М. И. Бенкендорф. Она приведет ко мне этого американца.

Мы долго решали вопрос, что делать с Сологубом. Союз Деятелей Х[удожественного] С[лова] хотел купить у него «Мелкого Беса». Сологуб отказался. А сам подал тайком Луначарскому бумагу, что следовало бы издать 27 томов *«Полного* Собрания Сочинений Сологуба».

— Так как, — говорит Горький, — Лунач. считает меня уж не знаю чем, — он послал мне Сологубово прошение для резолюции. Я и заявил, что теперь нет бумаги, издавать полные собрания сочинений нельзя. Сологуб, очевидно, ужасно на меня обиделся, а я нисколько не виноват. Издавать полные собрания сочинений нельзя. У Сологуба следовало бы купить «Мелкий Бес», «Заклинат. змей» и «Стихи». — «Нет, — говорит *Мережк.* — «Заклинательницу» издавать не следует. Она написана не без Анастасии».

И все стали бранить Анастасию (Чеботаревск.), испортившую жизнь и творчество Сологуба.

10 марта 1919. <...> Я все еще болен. Был у меня Гумилев вчера. Говорили о Горьком. — «Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал: ого!» (Это мнение Гумилева выразило то, что думал и я.) Потом Гумилев рассказал, что к 7 час. он должен ехать на В. О. чествовать ужином Муйжеля. С персоны — 200 рублей, но можно привести с собою даму. Гумилев истратил 200 рублей, но дамы у него нет. Требуется голодный женский желудок! Стали

мы по телефону искать дам — и наконец нашли некую совершенно незнакомую Гумилеву девицу, которую Гумилев и взялся отвезти на извозчике (50—60 р.) на В. О., накормить ужином и доставить на извозчике обратно (50—60 р.). И все за то, что она дама!

Очень мало в городе керосину. Почти нет меду. Должно быть, потому Кооператив Журналистов выдает нам *мед* с *примесью керосина.* Была вечером М. В. Ватсон. <...>

12 марта. Вчера во Всемирной Лит. заседание. Впервые присутствовал Блок, не произнесший ни единого слова. У меня все еще болит нога, Маша довезла меня на извозчике. Когда я вошел, Горький поднялся ко мне навстречу, пожал обеими руками руку, спросил о здоровье. Потом сел. Потом опять подошел ко мне и дал мне «Чукоккалу». Потом опять сел. Потом опять встал, отвел меня к печке и стал убеждать лечиться у Манухина. <...> В Чукоккалу он написал мне отличные строки, которые меня страшно обрадовали, — не рассуждения, а краски и образы. Заседание кончилось очень скоро. Тихонов пригласил меня к себе — меня и Гумилева — посмотреть Джорджоне и персидские миниатюры.

Сегодня я весь день писал. К вечеру взял Бобу и Колю — и мы пошли пройтись. Погода великопостная: каплет. Пошли по Надеждинской — к Кони. По дороге я рассказывал Коле план своей работы о Некрасове. Он, слава Богу, одобрил. Кони, кажется, дремал, когда мы пришли. Он в халатике, скрюченный. Засуетился: дать Бобе угощенье. Я отговорил. Мы сели и заговорили о «Всем. Литературе». Он сказал, что рекомендует для издания книгу Кокне «Истинное Богатство» — и тут же подробно рассказал ее содержание. Мастерство рассказа и отличная память произвели впечатление на Бобу и на Колю. Когда мы вышли, Коля сказал: как жаль, что такой человек, как Кони, должен скоро умереть. Ах, какой человек! Нам, после революции, уже таких людей не видать!

Кони показывал нам стихи, которые ему посвятил один молодой человек по случаю его 75-летия. Оказывается, на днях ему исполнилось 75 лет, институт «Живого Слова» поднес ему адрес и хлеб-соль, а студенты другого университета поднесли ему адрес и *крендель,* и он показывал и читал мне (и меня просил читать) особенно трогательные места из этих адресов. Потом поведал мне под строжайшим секретом то, что я знал и раньше: что к нему заезжал Луначарский, долго беседовал с ним и просил взять на себя пост заведующего публичными лекциями. Читал мне Кони список тех лиц, коих он намеревается привлечь, — не блестяще, не деловито. Включены какие-то второстепенности — в том числе и я, — а такие люди, как Бенуа, Мережковский, забыты. <...>

14 [марта]. Я и не подозревал, что Горький такой ребенок. Вчера во Всемирной Литературе (Невск. 64) было заседание нашего Союза. Собрались: Мережковск., Блок, Куприн, Гумилев и др., но в сущности никакого заседания не было, ибо Горький председательство-

вал и потому — при первом удобном случае отвлекался от интересующих нас тем и переходил к темам, интересующим его. Мережковский заявил, что он хочет поскорее получить свои деньги за «Александра», т. к. он собирается уехать в Финляндию. Горький говорит:

— Если бы у нас не было бы деловое собрание, я сказал бы: не советую ездить и вот почему... — Следует длинный перечень причин, по которым не следует ездить в Финляндию: там теперь назревают две революции — одна монархическая, другая — большевистская. Тех россиян, которые не монархисты, поселяют в деревнях, — в каждой деревне не больше пяти ч[елове]к и т. д.

— Кстати, о положении в Финляндии. Вчера приехал ко мне оттуда один белогвардеец, «деловик», — говорит: у них положение отчаянное: они наготовили лесу, бумаги, плугов, а Антанта говорит: не желаю покупать, мне из Канады доставят эти товары дешевле! Прогадали финны. Многие торговцы становятся русофилами: Россия наш естественный рынок... А Леонид Андреев воззвание к «Антанте» написал — манифест: «вы, мол, победили благодаря нам». Никакого впечатления. А Арабажин в своей газете... и т. д. и т. д.

— Да ведь мы здесь с голоду околеем! — говорит Мережковский.

— Отчего же! Вот Владимир Ильич (Ленин) вчера говорил мне, что из Симбирска...

Так прошло почти все заседание... В этой недисциплинированности мышления Горький напоминает Репина. И. Е. вел бы себя точь-в-точь так.

Только когда Г. ушел, Блок прочел свои три рецензии о поэзии Цензора, Георгия Иванова и Долинова [1]. Рецензии глубокие, с большими перспективами, меткие, чудесно написанные. Как жаль, что Блок так редко пишет об искусстве.

17 марта. Был вчера с Лидочкой у Гржебина. Лида мне читает по вечерам, чтобы я уснул, — иногда 3, иногда 4 часа — кроме того, занимается английским и музыкой — и вот я хотел ее покатать на извозчике — чтобы она отдохнула. Душевный тон у нее (пока!), очень благородный, быть в ее обществе очень приятно. У Гржебина (на Потемкинской, 7) поразительное великолепие. Вазы, зеркала, Левитан, Репин, старинные мастера, диваны, которым нет цены, и т. д. Откуда все это у того самого Гржебина, коего я помню сионистом без гроша за душою, а потом художничком, попавшим в тюрьму за рисунок в «Жупеле» (рисунок изображал Николая II-го с оголенной задницей). Толкуют о его внезапном богатстве разное, но во всяком случае он умеет по-настоящему пользоваться этим богатством. Вокруг него кормится целая куча народу: сестра жены, ее сынок (чудный стройный мальчик), мать жены (Ольга Ивановна), еще одна сестра жены, какой-то юноша, какая-то седовласая дама и т. д. <...> Новенький детеныш Гржебина (четвертый) мил, черно-

глаз, все девочки, Капа, Ляля, Буба, нежно за ним ухаживают. А какое воспитание дает он этим трем удивительным девочкам! К ним ездит художник Попов, зять Бенуа, и учит их рисовать — я видел рисунки — сверхъестественные. Вообще вкус у этого толстяка — тонкий, нюх — безошибочный, а энергия — как у маньяка. Это его великая сила. Сколько я помню его, он всегда влюблялся в какую-нб. одну идею — и отдавал ей всего себя, только о ней и говорил, видел ее во сне. Теперь он весь охвачен планами издательскими. Он купил сочинения Мережк., Розанова, Гиппиус, Ремизова, Гумилева, Кузмина и т. д. — и ни минуты не говорил со мной ни о чем ином, а только о них. Как вы думаете: купить Иннок. Анненского? Как назвать издательство? и т. д. Я помню, что точно так же он пламенел идеей о картинах для школ, и потом — о заселении и застроении острова Голодая, а потом о создании журнала «Отечество», а потом — о создании детских сборников и т. д. Когда видишь этот энтузиазм, то невольно желаешь человеку успеха.

Вернулся домой — у меня был с визитом Кони. Он принес Бобочке книжку — Клавдии Лукашевич.

18 марта. У Гринберга — в Комиссариате Просвещения. Г р . — черноволосый, очень картавящий виленский еврей — деятельный, благодушный, лет тридцати пяти. У него у дверей — рыжий ч[еловек], большевик, церковный сторож:

«Я против начальства большевик, а против Бога я не большевик».

Так как я всегда хлопочу о разных людях, Гр. говорит: «А где же ваши протеже?» Я говорю: «Сейчас» и ввожу к нему Бенкендорф. «Хорошо! Отлично! Будет сделано!» — говорит Гринберг, и других слов я никогда не слыхал от него. Я стал просить о Кони — «Да, да, я распорядился, чтобы академику Кони дали лошадке! Ему будет лошадка непременно!».

24 марта. Лидкино рождение. Она готовилась к этому дню две недели и заразила всех нас. Ей сказали, что она родилась только в 11 часов д н я . — Я побегу в гимназию, и когда Женя мне скажет, что без пяти одиннадцать, *начну рождаться*. Колька сочинил оду. Боба — чашку. Я — Всеволода Соловьева. Мама — часы. Будет белый крендель из *последней* муки.

26 марта 1919 г. Вчера на заседании «Всемирной Литературы» Блок читал о переводах Гейне [2], которого он редактирует. Он был прекрасен — словно гравюра какого-то германского поэта. Лицо спокойно-мудрое. Читал о том, что Гейне был антигуманист, что теперь, когда гуманистическая цивилизация XIX века кончилась, когда колокол антигуманизма слышен звучнее всего, Гейне будет понят по-новому. Читал о том, что либерализм пытался сделать Гейне своим, и Аполлон Григорьев, замученный либерализмом, и т. д.

Горький очень волновался, барабанил своими большими пальцами по нашему черному столу, курил, недокуривал одну папиро-

су, брал другую, ставил окурки в виде колонн стоймя на столе, отрывал от бумаги ленту — и быстро делал из нее петушков (обычное его занятие во время волнения: в день он изготовляет не меньше десятка таких петушков), и чуть Блок кончил, сказал:

— Я человек бытовой — и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные — и вы удивитесь тому, что я скажу, — но мне тоже кажется, что гуманизм — именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я чувствую, я... недавно был на съезде деревенской бедноты — десять тысяч морд — деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, мы будем как на острове, люди науки будут осаждены, здесь даже не борьба — дело глубже... здесь как бы две расы... гуманистическим идеям надо заостриться до последней крайности — гуманистам надо стать мучениками, стать христоподобными — и это будет, будет... Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого... Нужно только слово гуманизм заменить словом: нигилизм [3].

Странно, что Горький не почувствовал, что Блок *против гуманизма,* что он с теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне; что его вражда против либерализма — главный представитель коего — Горький. Изумительно, как овладевает Горьким какая-нибудь одна идея! Теперь о чем бы он ни заговорил, он все сводит к розни деревни и города: у нас было заседание по вопросу о детском журнале — он говорил о городе и деревне, было заседание по поводу журнала для провинции, и там: проклинайте деревню, славьте город и т. д.

Теперь он пригласил меня читать лекции во Дворце Труда; я спросил его, о чем будет читать он. Он сказал: о русском мужике. — Ну и достанется же мужику! — сказал я. — Не без того, — ответил он. — Я затем и читаю, чтобы наложить ему как следует. Ничего не поделаешь. Наш враг... Наш враг...

Волынский на заседании, как Степан Троф. Верховенский, защищал принсипы и Венеру Милосскую... Говорил молниеносно. Приятно было видеть, что этот человек <...> может так разгораться и вставать на защиту святого.

— Это близорукость, а не пророчество! — кричал он Горькому. — Гуманизм есть явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неизрасходованных гуманистических идей...

ВОТ СХЕМА НАШЕГО ЗАСЕДАНИЯ:

Левинсон. Тихонов

Горький Я. Гумилев Лернер	[стол]	Блок Гр. Лозинский Волынский

Батюшков. Браун.

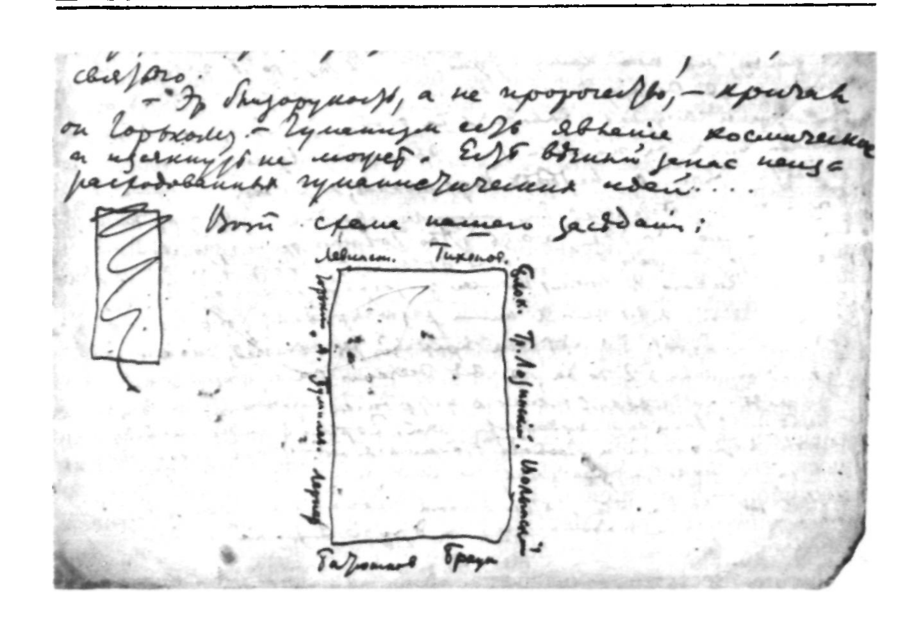


Схема заседания «Всемирной литературы» 26 марта 1919 г.

30 марта. Чествование Горького в *Всемирной Литературе*. Я взял Бобу, Лиду, Колю и айда! По дороге я рассказывал им о Горьком — вдруг смотрим, едет он в сероватой шапке — он снял эту шапку и долго ею махал. Потом он сказал мне: — Вы ужасно смешно шагаете с детьми, и... хорошо... Как журавль. — Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: «вы — авангард революции и нашей типографии»... «вы поэт униженных и оскорбленных». Особенно ужасна была речь Ф. Д. Батюшкова. Тот наплел: «гуманист, гуманный человек, поэт человека» — и в конце сказал: «Еще недавно даже в загадочном старце вы открыли душу живу» (намекая на пьесу Горького «Старик»). Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хорошо: «Конечно, вы преувеличиваете... Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять (т. е. что теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола»). Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь... ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет... А Федору Дмитриевичу я хочу сказать, что он ошибся... Я старца и не думал одобрять. Я старичков ненавижу... он подобен тому дрянному Луке (из пьесы «На дне») и дру-

гому в Матвее Кожемякине, которому говорили: есть Бог, а он: «Есть, отстаньте». Ему говорили: нет Бога? — «Нет, отстань». Ему ни до чего нет дела, а есть дело только до себя, до своей маленькой мести, которая часто бывает очень большой. Вот» — и он развел руками. Во время фотографирования он сел с Бобой и Лидой и все время с ними разговаривал. Бобе говорил: — когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 51 год или 52 года, а все печения сам съешь.

Тихоновы постарались: много устроили печений, на дивном масле — в бокалах подавали чай. Горький сидел между Любовь Абрамовной и Варварой Васильевной. Речь Блока была кратка и маловразумительна, но мне понравилась. Был Амфитеатров. <...>

1 апреля, т. е. 19 марта, т. е. мое рождение. Почти совсем не спал и сейчас чувствую, какое у меня истрепанное и зеленое лицо. <...>

Вчера я случайно пошел в нижнюю квартиру и увидел там готовимые мне в подарок М. Б. — книжные полки. Теперь сижу и волнуюсь: что подарят мне дети. Я думал, что страшно быть 37-летним мужчиной, — а это ничего. Вот пришла Аннушка и принесла дров: будет топить. Вчера с Мережк-им у меня б[ыл] длинный разговор. Началось с того, что Гумилев сказал Мережковскому: — У вас там в романе[4] Бестужев — штабс-капитан. — Да, да. — Но ведь Бестужев б[ыл] кавалерист и штабс-капитанов в кавалерии нету. Он был штаб-ротмистр. — Мережковский смутился. Я подсел к нему и спросил: почему у вас Голицын цитирует Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить». Разве это Бальмонт? — Ну да. — Потом я похвалил конструкцию романа, которая гораздо отчетливее и целомудреннее, чем в других вещах Мережковского, и сказал: это, должно быть, оттого, что вы писали роман против самодержавия, а потом самодерж. рухнуло — и вот вы вычеркнули всю философско-религиозную отсебятину. Он сказал: — Да, да! — и прибавил: — А в последних главах я даже намекнул, что народовластие тоже — дьявольщина. Я писал роман об одном — оказалось другое — и (он рассмеялся невинно) пришлось писать наоборот... — В эту минуту входят Боба и Лида — блаженно веселые. — Закрой глаза. Сморщи нос. Положи указательный палец левой руки на указ. п[алец] правой руки — вот! — Часы! У меня наконец-то часы. Они счастливы — убегают. Приходит М. Б., дарит мне сургуч, бумагу, четыре пера, карандаши — предметы ныне недосягаемые. От Слонимского баночка патоки с трогательнейшей надписью.

2 апреля. Не сплю опять. Вчера Горький, приблизив ко мне синие свои глаза, стал рассказывать мне на заседании шепотом, что вчера, по случаю дня его 50-летия, ему прислал из тюрьмы один заключенный прошение. Прошение написано фиолетовым карандашом, очевидно обслюниваемым снова и снова; дорогой писатель, не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства. Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после

свадьбы, так как оказался бессилен, не мог лишить ее девственности, — нельзя ли устроить амнистию.

Вчера Г. был простуженный, хмурый, больной. Устал тащиться с тяжелым портфелем. Принес (как всегда) кучу чужих рукописей — исправленных до неузнаваемости. Когда он успевает делать эту гигантскую работу, зачем он ее делает, непостижимо! Я показал ему лодочку, которую он незаметно для себя сделал из бумаги. Он сказал: «Это все, что осталось от волжского флота» — и зашептал: «А *они* опять арестовывают... Вчера арестовали Филипченко и др.». О большевиках он всегда говорит: *они!* Ни разу не сказал мы. Всегда говорит о них, как о врагах. <...>

18 апреля. Пятница. Ночь. Не сплю вторую ночь. Только что переехал на новую квартиру — гнусно: светло, окна большие, — то-то взвою, когда начнутся белые ночи.

Решил записывать о Горьком. Я был у него на прошлой неделе два дня подряд — часов по пяти, и он рассказывал мне многое о себе. Ничего подобного в жизни своей я не слыхал. Это в десять раз талантливее его писания. Я слушал зачарованный. Вот «музыкальный» всепонимающий талант. Мне было особенно странно после его сектантских, наивных статеек о Толстом выслушать его сложные, многообразно окрашенные воспоминания о Льве Николаевиче. Как будто совсем другой Горький.

— Я был молодой человек, только что написал Вареньку Олесову и «Двадцать шесть и одну», пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицкими словами: <...> где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа «Двадцать шесть и одна». Я тогда был молод, не понимал, к чему это, и, помню, рассердился, а теперь вижу: именно, именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами — куда Розанову! <...> цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафисты, и легенды, и все искусство, и все геройство, и всё. Софью Андреевну он любил *половой* любовью, ревновал ее к Танееву, и ненавидел, и она ненавидела его, эта гнусная антрепренерша. Понимал он нас всех, всех людей: только глянет и готово — пожжалуйте! раскусит вот, как орешек мелкими хищными зубами, не угодно ли! Врать ему нельзя было — все равно все видит: «Вы меня не любите, Алексей Максимович?» — спрашивает меня. «Нет, не люблю, Лев Николаевич», — отвечаю. (Даже Поссе тогда испугался, говорит: как тебе не стыдно, но *ему* нельзя соврать.) С людьми он делал что хотел. — «Вот на этом месте мне Фет стихи свои читал, — сказал он мне как-то, когда мы гуляли по лесу. — Ах, смешной был ч[елове]к Фет!» — Смешной? — «Ну да, смешной, все люди смешные, и вы смешной, Алексей Максимович, и я смешной — все». С каждым он умел обойтись по-своему. Сидят у него, например: Бальмонт, я, рабочий социал-демократ (такой-то), великий князь Николай Михайлович (портсигар с бриллиантами и монограммами), Танеев, — со всеми

он говорит по-другому, в стиле своего собеседника, — с князем по-княжески, с рабочим демократически и т. д. Я помню в Крыму — иду я как-то к нему — на небе мелкие тучи, на море маленькие волночки, — иду, смотрю, внизу на берегу среди камней — он. Вдел пальцы снизу в бороду, сидит, глядит. И мне показалось, что и эти волны, и эти тучи — все это сделал он, что он надо всем этим командир, начальник, да так оно в сущности и было. Он — вы подумайте, в Индии о нем в эту минуту думают, в Нью-Йорке спорят, в Кинешме обожают, он самый знаменитый на весь мир человек, одних писем ежедневно получал пуда полтора — и вот должен умереть. Смерть ему была страшнее всего — она мучила его всю жизнь. Смерть — и женщина.

Шаляпин как-то христосуется с ним: Христос Воскресе! Он смолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, а потом и говорит: «Христос *не* воскрес, Федор Иванович» [5].

Когда я записываю эти разговоры, я вижу, что вся их сила — в мимике, в интонациях, в паузах, ибо сами по себе они, как оказывается, весьма простенькие и даже чуть-чуть плосковаты. На другой день говорили о Чехове:

— ...Чехов... Мои «Воспоминания» о нем плохи. Надо бы написать другие: он со мной все время советовался, жениться ли ему на Книппер. <...>

Во второе свое посещение он пригласил меня остаться завтракать. В кабинет влетела комиссарша Марья Федоровна Андреева, отлично одетая, в шляпке — «да, да, я распоряжусь, вам сейчас подадут», но ждать пришлось часа два, и боюсь, что мой затянувшийся визит утомил Алексея Максимовича.

Во время беседы с Горьким я заметил его особенность: он отлично помнит сотни имен, отчеств, фамилий, названий городов, заглавий книг. Ему необходимо рассказывать так: это было при губернаторе *Леониде Евгеньевиче фон Крузе,* а митрополитом был тогда *Амвросий,* в это время на фабрике у *братьев Кудашиных — Степана Степановича и Митрофана Степановича* был бухгалтер *Коренев, Александр Иванович.* У него-то я и увидел книгу *Михайловского* «О Щедрине» издания 1889 года. Думаю, что вся его огромная и поражающая эрудиция сводится именно к этому — к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, в заглавия, в реестр и каталог.

Пасха. Апрель. Ночь. Не сплю четвертую ночь. Не понимаю, как мне удается это вынести. Меня можно показывать за деньги: человек, который не спит четыре ночи и все еще не зарезался. Читаю «Ералаш» Горького. Болят глаза. Чувствую, что постарел года на три.

27 апреля. Сейчас в Петрогорсоюзе был вечер литературный. Участвовали Горький, Блок, Гумилев и я. Это смешно и нелепо, но успех имел только я. Что это может значить? Блок читал свои стихи линялым голосом, и публика слушала с удовольствием, но

не с восторгом, не опьянялась лирикой, как было в 1907, 1908 году, Горький забыл дома очки, взял чужое пенснэ, у кого-то из публики (не тот номер), и вяло промямлил «Страсти Мордасти», испортив отличный рассказ. Слушали с почтением, но без бури. Когда же явился я, мне зааплодировали, как Шаляпину. Я пишу это без какого-нб. самохвальства, знаю, что виною мой голос, но все же приятно — очень, очень внимательно слушали мою статью о Маяковском и требовали еще. Я прочитал о Некрасове, а публика требовала еще. Угощали нас бутербродами с ветчиной (!), сырными сладкими кругляшками, чаем и шоколадом. Я летел домой к[а]к на крыльях — с чувством благодарности и радости. Хочется писать о Некрасове. Дальше, а я должен читать дурацкие корректуры, править. «Пустынный Дом» Диккенса. <...>

28 апреля. Воскресение. Целодневный проливной дождь. Ходил на Петербургскую сторону — к Тихонову. Не застал. Хотел идти к Горькому, раздумал. Играл с детьми в том доме, где живет Тихонов, — и как странно! Их зовут, как моих: Лида, Коля и Боря. Когда я услышал, что девочку зовут Лида, а мальчика — Коля, я уверенно сказал третьему: а ты — Боря. <...>

Горький дал мне некоторые материалы — о себе. Много его статей, писем, набросков [6]. Прихожу к заключению, что всякий большой писатель — отчасти графоман. Он должен писать хотя бы чепуху, — но писать. В чаянии сделаться большим писателем, даю себе слово, при всякой возможности — водить пером по бумаге. Розанов говорил мне: когда я не ем и не сплю, я пишу. <...>

Май. Хорошая погода, в течение целой недели. Солнце. Трава, благодать. Мы на новой квартире. Пишу главу о технике Некрасова — и не знаю во всей России ни одного человека, которому она была бы интересна. Вчера я устроил в Петрогорсоюзе литературный вечер: пригласил Куприна, Ремизова и Замятина. Куприн прочитал ужасный рассказ — пошлую банальщину — «Сад Пречистой Девы»; Ремизов хорошо прочитал «Пляску Иродиады», но огромный неожиданный успех имел Замятин, прочитавший «Алатырь» — вещь никому неизвестную. Когда он останавливался, ему кричали: дальше! пожалуйста! — (вещь очень длинная, но всю прослушали благоговейно) аплодировали без конца. Была Шура Богданович, был Коля, Миша Слонимский и барышня из аптеки. <...>

Теперь всюду у ворот введены дежурства. Особенно часто дежурит Блок. Он рассказывает, что вчера, когда отправлялся на дежурство, какой-то господин произнес ему вслед:

И каждый вечер в час назначенный,
Иль это только снится мне...

(Незнакомка)

Теперь время сокращений: есть слово МОПС — оно означает Московский Округ Путей Сообщения. Люди встречаясь гово-



Обложка первого издания «Крокодила».
Петроград. 1919 г.

рят: Ч и к , — это значит: *ч*есть *и*мею *к*ланяться. Нет, это не должно умереть для потомства: дети Лозинского гуляли по Каменноостровскому — и вдруг с неба на них упал фунт колбасы. Оказалось, летели вороны — и уронили, ура! Дети сыты — и теперь ходят по Каменноостровскому с утра до ночи и глядят с надеждой на ворон.

4 июня. У Бобы — корь. Я читаю ему былины, отгоняю м у х . — Белые ночи, но выходить из дому нельзя.

7 июня. Воскресение. Мы с Тихоновым и Замятиным затеяли журнал «Завтра» [7]. Горькому журнал очень люб. Он набросал целый ряд статеек — некоторые читал, некоторые пересказывал — и все антибольшевистские. Я поехал в Смольный к Лисовскому просить разрешения; Лисовский разрешил, но, выдавая разрешение, ска-



Последняя страница «Крокодила».
Рис. Ре-Ми

зал: прошу каждый номер доставлять мне предварительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком.

Горький член их исполнительного комитета, а они хотят цензуровать его. Чудеса! <...>

5 июля. Вчера в Институте Зубова [8] Гумилев читал о Блоке лекцию — четвертую. Я уговорил Блока пойти. Блок думал, что будет бездна народу, за спинами к-рого можно спрятаться, и пошел. Оказались девицы, сидящие полукругом. Нас угостили супом и хлебом. Гумилев читал о «Двенадцати» — вздор — девицы записывали. Блок слушал, как каменный. Было очень жарко. Я смотрел: — его лицо и потное было величественно: Гёте и Данте. Когда кончилось, он сказал очень значительно, с паузами: мне тоже не нравится ко-

нец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос» [9].

Любопытно: когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: «Нисколько. До войны я был брезглив. После войны — ничего». В моем представлении это как-то слилось с «Двенадцатью». Не написал бы «Двенадцати», если бы был брезглив.

Вчера Сологуб явился во «Всемирную Литературу» раздраженный. На всех глядел как на врагов. Отказался ответить мне на мою анкету о Некрасове[10]. Фыркнул на Гумилева. Мы говорили об этом в Коллегии. Горький сидел хмурый; потом толкнул меня локтем, говорит:

— Сологуб встречает Саваофа. Обиделся. Как вы смеете бриться. Ведь я же не бритый!

Я не улыбнулся. Г[орький] нахмурился.

Сегодня был у Шаляпина. Шаляпин удручен: — Цены растут — я трачу 5—6 тысяч в день. Чем я дальше буду жить? Продавать вещи? Но ведь мне за них ничего не дадут. Да и покупателей нету. И какой ужас: видеть своих детей, умирающих с голоду.

И он по-актерски разыграл предо мною эту сцену.

9 июля. Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».

Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за «Александра» [11], да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н. Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцара[па]ть еще тысяч сто.

Сегодня Шкловский написал обо мне фельетон — о моей лекции про «Технику некрасовской лирики» [12]. Но мне лень даже развернуть газету: голод, смерть, не до того.

4 сентября. Сейчас видел плачущего Горького — «Арестован Серг. Фед. Ольденбург!» — вскричал он, вбегая в комнату из[д]-ва Гржебина, — и пробежал к Строеву. Я пошел за ним попросить о Бенкендорф (моей помощнице в Студии), которую почему-то тоже арестовали. Я подошел к нему, а он начал какую-то длинную фразу в ответ и безмолвно проделал всю жестикуляцию, соответствующую этой несказанной фразе. «Ну что же я могу, — наконец выговорил он. — Ведь Ольд. дороже стоит. Я им, подлецам — то есть подлецу — заявил, что если он не выпустит их сию минуту... я им сделаю скандал, я уйду совсем — из коммунистов. Ну их к черту». Глаза у него б[ыли] мокрые.

Третьего дня Блок рассказывал, как он с кем-то в Алконосте запьянствовал, засиделся, и их чуть не заарестовали: — Почему сидите в чужой квартире после 12 час. Ваши паспорта?.. Я должен Вас задержать...

К счастью, председателем домового комитета оказался Азов. Он заявил арестовывающему: — Да ведь это известный поэт Ал. Блок. — И отпустили.

Блок аккуратен до болезненности. У него по карманам рассовано несколько записных книжечек, и он все, что ему нужно, аккуратненько записывает во все книжечки; он читает все декреты, те, которые хотя бы косвенно относятся к нему, вырезывает — сортирует, носит в пиджаке. Нельзя себе представить, чтобы возле него б[ыл] мусор, кавардак — на столе или на диване. Все линии отчетливы и чисты.

18 сентября 1919. Только что была у меня Лизанька, воспитанница Авдотьи Яковлевны. Теперь ей лет 70. Она выдает себя за сестру Некрасова. В комиссариате не разбираются, что ее отчество Александровна. По моей просьбе ей выдали валенки и 5 000 руб.

— Помню, — говорит она, — Н[екрасов] приехал в Грешнево, когда мне б[ыло] 8 лет. Меня поразило, что у него б[ыли] носки цветные, тогда таких не бывало. Я принесла ему полную тарелку малины, он сказал мне:

— Спасибо, Лизанька.

Она вспоминала братьев Добролюбовых, Чернышевского, З[инаиду] Н[иколаевну] <...>

20 сентября. Вчера Горький читал в нашей «Студии» о картинах для кинематографа и театра. Слушателей было мало. Я предложил ему сесть за стол, он сказал: «Нет, лучше сюда! — и сел за детскую парту: — В детстве не довелось посидеть на этой скамье». Он очень удручен смертью Леонида Андреева. «Это был огромный талант. Я такого не видал. У него было воображение — бешеное. Скажи ему, какая вещь лежала на столе, он сразу скажет все остальные вещи. Нужно написать воспоминания о Леониде Андрееве. И Вы, Корней Ив., напишите. Помню, на Капри, мы шли и увидели отвесную стену, высокую, — и я сказал ему: вообразите, что там наверху — человек. Он мгновенно построил рассказ «Любовь к Ближнему» — но рассказал его лучше, чем у него написалось».

24 сентября. Заседание по сценариям. Впервые присутствует Марья Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький, хотя и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу.

26 октября. У Тихоновых. Холод. Чай у Махлиных. Горький вспоминал о Чехове: был в Ялте татарин, — все подмигивал одним глазом: ходил к знаменитостям и подмигивал. Ч[ехов] его не любил.

Один раз спрашивает маму: — Мамаша, зачем приходил этот татарин? — А он, Антоша, хотел спросить у тебя одну в е щ ь . — Какую? — Как ловят китов? — Китов? Ну это очень просто: берут много селедок, целую сотню, и бросают киту. Кит наестся соленого и захочет пить. А пить ему не дают — нарочно! В море вода тоже соленая — вот он и плывет к реке, где пресная вода. Чуть он заберется в реку, люди делают в реке загородку, чтобы назад ему ходу не было, и кит п о й м а н . — Мамаша кинулась разыскивать татарина, чтобы рассказать ему, к[а]к ловят китов. Дразнил бедную старуху.

28 октября. Должно было быть заседание Исторических картин, но не состоялось (Тихонов заболтался с дамой — Кемеровой) — и Горький стал рассказывать нам разные истории. Мы сидели как очарованные. Рассказывал конфузливо, в усы — а потом разошелся. Начал с обезьяны — как он пошел с Шаляпиным в цирк и там показывали обезьяну, которая кушала, курила и т. д. И вот неожиданно — смотрю: Федор тут же, при публике, делает все обезьяньи жесты — чешет рукою за ухом и т. д. Изумительно! Потом Горький перешел на селедку — как сельдь «идет»: вот этакий остров — появляется в Каспийском (опаловом зеленоватом) море и движется. Слой сельдей такой густой, что вставь весло — стоит. Верхние уже не в воде, а сверху, в воздухе — уже сонные — очень красиво. Есть такие озорники (люди), что ныряют в глубь, но потом не вынырнуть, все равно как под лед нырнули, тонут.

— А вы тонули? — спросил С. Ф. Ольденбург.

— Раз шесть. Один раз в Нижнем. Зацепился ногою за якорный канат (там был на дне якорь) и не мог освободить ногу. Так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчик, который ехал по о т к о с у , — он увидел, что вон ч[елове]к нырнул, и кинулся поскорее. Ну, конечно, я без чувств был — и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувство приводят. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок (за якорь зацепили), а потом как приводили в чувство, катали меня по камням, по доскам — все тело занозили, исцарапали; я глянул и думаю: здорово! Ведь они меня швыряли как мертвого. И чуть очнулся, я сейчас же драться с околоточным — тот меня в участок свезти хотел. Я не давался, но все же попал.

А другой раз нас оторвало в Каспийском море — баржу — человек сто было — ну бабы вели себя отлично, а мужчины сплоховали, двое с ума сошли: нас носило по волнам 62 часа...

Ах, ну и бабы же там на рыбных промыслах! Например, вот этакий стол — вдвое длиннее этого, они стоят рядом, и вот попадает к ним трехпудовая рыба — и так из рук в руки катится, ни минуты не задерживается — вырежут икру, молоки... (он назвал штук десять специальных терминов) — и даже не заметишь, как они это делают. Вот такие — руки голые — мускулистые дамы — и вот (он показал на груди); этот промысел у них наследственный — они еще при Екатерине этим занимались. Отличные бабы.

Потом рассказывал, как он перебегал перед самым паровозом —

рельсы. Страшно и весело: вот-вот наскочит. Научил его этому Стрел (конец фамилии оторван. — *Е. Ч.*) товарищ, вихрастый — он делал это тысячу раз — и вот Горький ему позавидовал.

Мы все слушали как очарованные — особенно Блок. Никакого заседания не было — никто и не вспомнил о заседании. Потом Ольденбург говорил о том, что он ни за что не поедет за границу, что ему стыдно, что теперь в Европе к русским отношение собачье. Когда Ольденбург высказывает какое-нб. мнение, кажется, что он ждет от вас похвального отзыва — что вы скажете ему «паинька». Он даже поглядывает на вас искоса — тайком — *видите ли вы, какой он славный?* И когда ласковым вкрадчивым голосом он выражает научные мнения, — он высказывает их как первый ученик — застенчиво, задушевно, и ждет одобрительного кивка головы (главным образом со стороны Горького, но и нашими не брезгует). Горький в него влюблен, они сидят визави и все время переглядываются; Горький говорит: «Вот какой должен быть ученый». А откуда он знает! Мне кажется, что Ольденбург — усваиватель, но не создатель. Ему легче прочитать тысячу книг, чем написать одну.

На заседании Всемирной Литературы произошел смешной эпизод. Гумилев приготовил для народного издания Соути [13] — и вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять... все переводы Жуковского, к-рые рядом с переводами Гумилева страшно теряют! Блок пришел в священный ужас, я визжал — я говорил, что мои дети читают Варв*и*ка и Гаттона с восторгом [14]. Горький стоял на своем. По-моему, его представление о народе — неверное. Народ отличит хорошее от дурного — сам, а если не отличит, тем хуже для него. Но мы не должны прятать от него Жуковского и подсовывать ему Гумилева,

Сегодня я написал воспоминания об Андрееве. В комнате холодно. Руки покрываются красными пятнами.

Блок показывал мне свои воспоминания об Андрееве: по-моему, мямление и канитель. Тихонов сегодня вместо фантасмагория сказал фантасгармония. Горький подмигнул мне: здорово! <...>

1 ноября. Сегодня Волынский выразил желание протестовать против горьковского выступления (насч[ет] Жуковского).

Возле нашего переулка — палая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вырезал у нее из крупа фунтов десять — надеюсь, на продажу, а не для себя. Вчера я был в Доме Литераторов: у всех одежа мятая, обвислая, видно, что люди спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины — как жеваные. Будто их кто жевал — и выплюнул. Горький на днях очень хорошо показывал Блоку, как какой-то подмигивающий обыватель постукивал по дереву на Петербургской стороне, у трамвая. «Ночью он его срубит», — таинственно шептал Горький. Юрий Анненков — начал писать мой портрет [15]. Но как у него холодно! Он топит дверьми: снимет дверь, рубит на куски — и вместе с ручками в плиту!

2 ноября. Я сижу и редактирую «Копперфильда» в переводе Введенского. Перевод гнусный, пьяный [16]. Бобу научила Женя делать из бумаги стрелы, к-рые он зовет аэропланами. Два дня подряд он делает стрелы — без конца — бросает их целые д н и . — Бенкенд[орф] рассказывает, что в церкви, когда люди станут на колени, очень любопытно рассматривать целую коллекцию дыр на подошвах. Ни одной подошвы — без дыры!

3 ноября. Был у меня как-то Кузмин. Войдя он воскликнул:

— Ваш кабинет похож на детскую!

Взял у меня «до вечера» 500 рублей — и сгинул.

Секция «Исторических Картин», коей я состою членом, отрядила меня к Горнфельду для переговоров. Я пошел. Горнфельд живет на Бассейной — ход со двора, с Фонтанной — крошечный горбатый человечек, с личиком в кулачок; ходит, волоча за собою ногу; руками чуть не касается полу. Пройдя полкомнаты, запыхивается, устает, падает в изнеможении. Но несмотря на это, всегда чисто выбрит, щегольски одет, острит — с капризными интонациями избалованного умного мальчика — и через 10 минут разговора вы забываете, что перед вами — урод. Теперь он в перчатках — руки мерзнут. Голос у него едкий — умного еврея. Уже около года он не выходит из комнаты. Дров у него нет — надежд на дрова никаких — развлечений только книги, но он не унывает. Я прочитал ему свою статью об Андрееве [17]. Вначале он говорил: «ой как зло!» А потом: «нет, нет!» Общий его приговор: «Написано эффектно, но неверно. Андреев был пошляк, мещанин. У него был талант, но не было ни воли, ни ума». Я думаю, Горнфельд прав; он рассказывал, как Андреев был у него — предлагал подписать какой-то протест. «Я увидел, что его не столько интересует самый протест, сколько то, что в том протесте участвует Бунин. Он был мелкий, мелочной человек». Завтра к Горнфельду придут печники, будут ломать стену в кухню — «все же теплее будет». <...>

4 ноября. Мне все кажется, что Андреев жив. Я писал воспоминания о нем — и ни одной минуты не думал о нем как о покойнике. Неделю назад мы с Грж[ебиным] возвращались от Тихонова — он рассказывал, как Андреев, вернувшись из Берлина, влюбился в жену Копельмана и она отвечала ему взаимностью — но, увы, в то время она б[ыла] беременна — и Андреев тотчас же сделал предложение сестрам Денисевич — обеим сразу. Это помню и я. Толя сказала, что она замужем — (тайно!). Тогда он к Маргарите, которую переделал в Анну.

Гржебин зашел ко мне на кухню вечером — и, ходя по кухне, вспоминал, как Андреев пил — и к нему в трактире подходила одна компания за другой, а он все сидел и пил — всех перепивал. «Я устроил для него в а н н у, — он не хотел купаться, тогда мы подвели его к ванне одетого — и будто нечаянно толкнули в воду — ему поневоле пришлось раздеться — и он принял ванну. После ванны он сейчас же засыпал».

5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект, на почту, получать посылку. Получил мешок отличных сухарей — полпуда! Кто послал? Какой-то Яковенко, — а кто он такой, не знаю. Какому-то Яковенко было не жалко — отдать превосходный мешок, сушить сухари — пойти на почту и т. д. и т. д. Я нес этот мешок как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали. Дети пришли в экстаз.

Вчера Г[орький] рассказывал, что он получил из Кр[емля] упрек, что мы во время заседания ведем... разговоры. Это очень взволновало его. Он говорит, что пришла к нему дама — на ней фунта четыре серебра, фунта два золота, — и просит о двух мужчинах, которые сидят на Гороховой: они оба мои мужья. «Я обещал похлопотать... А она спрашивает: сколько же вы за это возьмете?» Вопрос о Жуковском кончился очень забавно: Гумилев поспорил с Г[орьким] о Жуковском — и ждал, что Г[орький] прогонит его, а Горький — поручил Гум[илеву] редактировать Жуковского для Гржебина[18]. <...>

Обсуждали мы, какого художника пригласить в декораторы к пьесе Гумилева [19]. Кто-то предложил Анненкова. Горький сказал: *Но ведь у него будут всё треугольники...* Предложили Радакова. *Но ведь у него все первобытные люди выйдут похожи на Аверченко.* Сейчас Оцуп читал мне сонет о Горьком. Начинается «с улыбкой хитрой». Горький хитрый?! Он не хитрый, а простодушный до невменяемости. Он ничего в действительной жизни не понимает — младенчески. Если все вокруг него (те, кого он любит) расположены к какому-нб. человеку, и он инстинктивно, не думая, не рассуждая — любит этого ч[елове]ка. Если кто-нб. из его близких (m-me Шайкевич, Марья Федоровна, «купчиха» Ходасевич [20], Тихонов, Гржебин) вдруг невзлюбят кого-нб. — кончено! Для тех, кто принадлежит к *своим,* он делает все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин из Горького может веревки вить. Но все чужие — враги. Я теперь (после полуторагодовой совместной работы) так ясно вижу этого человека, как втянули его в «Новую Жизнь», в большевизм, во что хотите — во Всемирную Литературу. Обмануть его легче легкого — наш Боба обманет его. В кругу *своих* он доверчив и покорен. Оттого что спекулянт Махлин живет рядом с Тихоновым, на одной лестнице, Г[орький] высвободил этого ч[елове]ка из Чрезвычайки, спас от расстрела...

6 ноября. Первый зимний (солнечный) день. В такие дни особенно прекрасны дымы из труб. Но теперь — ни одного дыма: никто не топит. Сейчас был у меня Мережковский — второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него пред Ионовым, чтобы тот купил у него «Трилогию» [21], которая уже продана Мережковским Гржебину. Вопреки обычаю, Мережк. произвел на этот раз отличное впечатление. Я прочитал ему статейку об Андрееве — ему она не понравилась, и он очень интересно говорил о ней. Он говорил, что Андреев все же не плевел, что в нем был туман, а туман вечнее

гранита, он убеждал меня написать о том, что Андреев был писатель метафизический, — хоть и дрянь, а метафизик. Мережковский увлекся, встал (в шубе) с диванчика — и глаза у него заблестели наивно, живо. Это бывает очень редко. Марья Борисовна предложила ему пирожка, он попросил бумажку, завернул — и понес Зинаиде Николаевне. Публичная Библиотека купила у него рукопись «14 декабря» за 15 000 рублей. Говорил Мережковский о том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувствует мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький — высшая и страшная пошлость.

7 ноября. Сейчас вспомнил, как Андреев, получив от Цетлина аванс за собрание своих сочинений, купил себе — ни с того ни с сего — осла. — Для чего вам осел? — Очень нужен. Он напоминает мне Цетлина. Чуть я забуду о своем счастьи, осел закричит, я вспомню. — Лет восемь назад он рассказывал мне и Брусянину, что, будучи московским студентом, он, бывало, с пятирублевкой в кармане совершал по Москве кругосветное плавание, т. е. кружил по переулкам и улицам, заходя по дороге во все кабаки и трактиры, и в каждом выпивал по рюмке. Вся цель такого плавания заключалась в том, чтобы не пропустить ни одного заведения и добросовестно придти круговым путем, откуда вышел. — Сперва все шло у меня хорошо, я плыл на всех парусах, но в середине пути всякий раз натыкался на мель. Дело в том, что в одном переулке две пивные помещались визави, дверь против двери; выходя из одной, я шел в другую и оттуда опять возвращался в первую: всякий раз, когда я выходил из одной, меня брало сомнение, был ли я во второй, и т. к. я ч[елове]к добросовестный, то я и ходил два часа между двумя заведениями, пока не погибал окончательно.

Обо мне Андр[еев] говорил: «Иуда из Териок». Однажды он сказал: — Вот вы, К. И., видите в людях то, чего не видит никто. Все видят стулья снаружи, а вы берете каждый стул и рассматриваете ту, заднюю часть сидения, и показываете всем — вот какая эта часть! Но кому это нужно — знать *заднюю часть сидения!* Был у Горнфельда, и только сегодня заметил, что даже на стуле сидеть он не может без костылька. Был у Гумилева. Гумилев очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезования: он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за его женой, всё чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. «Ведь от Майорки всюду близко — рукой подать! — говорил он. — И Австралия, и Южная Америка, и Испания!» Пришел я домой от него (много снегу, луна), и о ужас! — у меня Шатуновские. А я уж опять наладился ложиться в 8 час. Они просидели до 11, и вследствие этого я не сплю всю ночь. Пишу это ночью. Мы беседовали о политике — и о моем безденежьи. Они выразили столько учас-

тья — отчаянному моему положению (тому, что у меня шесть человек, к-рых я должен кормить), что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все, что мог, и получил 90 000 рублей. В этом месяце мне мало 90 000 рублей, — а взять неоткуда ни гроша! — Сегодня празднества по случаю двухлетия Советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: шапки вверх, делайте веселые лица!

8 ноября. Горький всегда говорит о них в нашей компании: «Да я им говорю: черти вы, мерзавцы, да что вы делаете? да разве так можно?» Сегодня вечер памяти Леонида Андреева. Вчера я с детьми готовил афиши. Вечер возник по моей инициативе. Горький затеял сборник [22] — я сказал: «А раньше прочтем эти статьи публично». Мы сняли Тениш. зал, Марья Игн. и Оцуп — хлопочут. Кажется, публики не будет, и, *главное, главное, главное* — я уверен, что Андреев жив.

9 ноября. Ночь. Опять не сплю — все думаю о вчерашнем вечере «Памяти Андреева» — всю ночь ни одной другой мысли!.. Вышло глупо и неуклюже — и я промучился часа три подряд. Начать с того, что было очень холодно в Тениш. Училище. Публика сидела нахохлившись. Было человек 200: но никакого единения не чувствовалось. Был Белопольский, мать Оцупа. Вся свита Горького: Гржебин, Тихонов, их жены, m-me Ходасевич, ее муж, Батюшков, конторщицы Всемирной Литературы, два-три комиссара, с десяток студентов новейшей формации. Редько. Были мои слушатели по студии: Над. Филипповна, Полонская, Володя Познер, Векслер, но все это не сливалось, а торчало особняком. Литературной атмосферы не было, и температура не поднялась ни на градус, когда Алекс. Блок матовым голосом прочитал свою водянистую вещь, где слово я... я... я... я — мелькало гораздо чаще, чем слово «Андреев». Так, впрочем, и должно быть у лирических поэтов, и для изучающих творчество Блока эта статья очень интересна, но в память Леонида Андреева не годится. Потом хотели читать актеры, но неожиданно выскочил на эстраду Горький — и этим изгадил все дело. Он, что называется, «сорвал вечер». Он читал глухим басом, читал длинно и тускло, очень невнятно, растекался в подробностях и малоинтересных анекдотах, — без задушевности, — характеристики никакой не дал, — атмосфера не поднялась ни на градус... Когда он кончил, наступило шесть часов — все стали стремиться к последним трамваям, — и вот когда появились актеры, читать сцену из «Проф. Сторицына», началось истечение из залы: комиссаров, всей свиты Горького, и т. д. и т. д. Это так возмутило меня, что когда настала моя очередь, я предложил публике (осталось человек сто) либо уйти сейчас, либо прослушать чтение до конца. Все остались, многие из уходивших вернулись. Читал я очень нервно, громко, то вставая, то садясь (многое пропуская) — и чрезвычайно *любя* Андреева. Статейка моя вышла жесткая, в иных

местах язвительная, но, в общем и главном, Андреев мне *мил*. Поэтому меня очень огорчила Даманская (почему-то с подбитым глазом), когда она отвела меня в сторону и сказала: «Многие недовольны, говорят, что слишком зло, но мне понравилось». Потом выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись, и температура начала подниматься, — но этим и кончилось. Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил афиши, готовился — и потому теперь не сплю. Мне почему-то показалось, что Горький — малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет — она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь *иронию*, — но это уже недоступно. Иронию понимают только тонкие люди, а не комиссары, не мама *Оцупа*, — Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен.

Видел Мережковского. Он написал письмо Горькому с просьбой повлиять на Ионова, — чтобы тот купил у Мережк. его Трилогию.

Блок как-то на днях обратился ко мне: не знаю ли я богатого и глупого человека, к-рый купил бы у него библиотеку: «Мир Искусства», «Весы» и т. д. Деньги очень нужны.

Я хочу исподволь приучить Бобу к географии. Вчера я сказал ему, что Гумилев едет на Майорку, а мы уедем на Минорку. Я прочитал ему из «Энциклопедии Британника» об этих островах — и он весь день бредил ими. Мы рассматривали Майорку на карте. Присланные милым Яковенко сухари называются у них «Яковенки». Боба сейчас кричит: «Яковенки с чаем! Яковенки с чаем!» <...>

11 ноября. <...> Сегодня во «Всемирке» — Амфитеатров читал своего «Ваську Буслаева». Былинный размер очень хорош, но когда переходит на пятистопный ямб — сразу другим языком. Вместе с размером меняется и стиль. Амф. очень способный, но совсем не талантливый человек. Читая, он поглядывал на Горького. «Гондлу» Гумилева провалили. Потом — заседание Всем. Лит. По моей инициативе был возбужден вопрос о *питании* членов литерат. коллегии. Никаких денег не хватает — нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил *с аппетитом*. — «Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы *они* либо кормили, либо — пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее и сытнее! А провизия есть... есть... Это я знаю наверное... есть... в Смольном куча... икры — целые бочки — в П[етербур]ге жить можно... Можно... Вчера у меня одна баба из С[мольного] была... там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом...» и все в таком роде. <...>

Володя Познер сидит в соседней комнате и переписывает на

машинке свою пьеску о Студии «Учение свет — неучение тьма». Ему 14 лет — а пьеска очень едкая, есть недурные стихи.

12 ноября. Встал часа в 3 и стал писать бумагу о положении литераторов в России. Бумага будет прочтена завтра в заседании Всемирной Литературы. Сейчас примусь за Уитмэна. Хочу перевести что-нибудь из его прозы.

13 ноября. Вчера встретился во «Всемирной» с Волынским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Волынский: «Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат»... — А разве Горький — дипломат? — «Еще бы! У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там — с *ними* — другое! Это дипломатия очень тонкая!» Я сказал Волынскому, что и сам б[ыл] свидетелем этого: как большевистски говорил Г[орький] с тов. Зариным, — я не верил ушам, и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю это художественной впечатлительностью Горького, а не преднамеренным планом. Повторяется то же, что было с Некрасовым. Он тоже был на два фронта оттого, что — художник [23]. <...>

Вчера я лег голодный. За весь день только сухари и суп! Хочу написать рассказ — о своих приключениях.

Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольствия. Но — Горький забыл о нем и не пришел! Был Сазонов, проф. Алексеев, Батюшков, Гумилев, Блок, Лернер... И Тихонов запоздал. Мы ждали $1^1/_2$ часа. Наконец выяснилось, что Горький прямо проехал к Гржебину. Я поговорил по телефону с Горьким — и мы начали заседание без него. Потом — пошли к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал, что — Гумилев — хороший поэт? Стоит ему прислать дров или нет. Я сказал, что Гумилев — отличный поэт. А Батюшков — хороший профессор? О да! Батюшков отличный профессор. Горький принял нас нежно и любяще (как будто он видит нас впервые и слыхал о нас одно хорошее). Усадил и взволнованно стал говорить о серии книг: Избранные произведения русских писателей XIX в., затеваемых Гржебиным. Предложил образовать коллегию по изданию этой серии. В коллегию входим: Н. Лернер, А. Блок, Горький, Гржебин, Замятин, Гумилев и я. Потом Горького вызвали спешно в «Асторию» — и он уехал: прибыл Боровский. Блок жаловался: как ужасно, что тушат электричество на 4 часа — вчера он хотел писать три статьи — и темно.

14 ноября. Обедал в Смольном — селедочный суп и каша. За ложку залогу — сто рублей. В трамвае — во «Всемирную». Заседание по картинам — в анекдотах. Горький вчера был в заседании — с Ионовым, Зиновьевым, Быстрянским и Воровским. Быстрянского он показывал, делал физиономию — «вот такой». Эт-то, понимаете, «ч[елове]к из подполья», — из подполья Достоевского. Сидит, молчит — обиженно и тяжело. А потом как заговорит, а у самого за

ушами немыто и подошвы толстые, вот такие! И всегда он обижен, сердит, надут — на кого неизвестно.

— Ну потом — шуточки! Стали говорить, что в Зоологич. саду умерли детеныши носорога. Я и спрашиваю: чем вы их кормить будете? Зиновьев отвечает: буржуями.

И начали обсуждать вопрос: резать буржуев или нет? Серьезно вам говорю... Серьезно... Спрашивается: когда эти люди б[ыли] искренни: тогда ли, когда притворялись порядочными людьми, или теперь. Говорил я сегодня с Лениным по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот ч[елове]к всегда хохочет. Обещает устроить все, но спрашивает: «Что же это вас еще не взяли... Ведь вас (питерцев) собираются взять». По рассказам Горького, Воровский был всегда хорошим ч[елове]ком, честным энергичным работником...

К Марье Игнатьевне Г[орький] относится ласково. Дал ей приют у себя. Вчера: — М. И., вы идете на Кронверкский, подождите до 5 час, я вас отвезу, у меня будет лошадь.

Сейчас вспомнил, как Леонид Андреев ругал мне Горького: «Обратите внимание: Горький пролетарий, а все льнет к богатым — к Морозову, к Сытину, к (он назвал ряд имен). Я попробовал с ним в Италии ехать в одном поезде — куда тебе! разорился. Нет никаких сил: путешествует, как принц». Горький в письмах к Андрееву ругал меня; Андреев неукоснительно сообщал мне об этом.

Блок дал мне проредактированный им том Гейне [24]. Я нашел там немало ошибок. Некоторые меня удивили: например, слово *подмастерье* Блок склоняет так: род[ительный] п[адеж] подмастер*ьи*, дат[ельный] пад[еж] подмастер*ье* — как будто это Да*рья*.

16 ноября. Блок патологически-аккуратный ч[елове]к. Это совершенно не вяжется с той поэзией безумия и гибели, которая ему так удается. Любит каждую вещь обвернуть бумажечкой, перевязать веревочкой; страшно ему нравятся футлярчики, коробочки. Самая растрепанная книга, побывавшая у него в руках, становится чище, приглаженнее. Я ему это сказал, и теперь мы знающе переглядываемся, когда он проявляет свою манию опрятности. Все, что он слышит, он норовит зафиксировать в записной книжке — вынимает ее раз двадцать во время заседания, записывает (что? что?) — и, аккуратно сложив и чуть не дунув на нее, неторопливо кладет в специально предназначенный карман.

17 ноября. Воскресение. Был у меня Гумилев: принес от Анны Николаевны (своей жены) $^1/_2$ фунта крупы — в подарок — из Бежецка. Говорит, что дров никаких: топили шкафом, но шкаф дал мало жару. Я дал ему взаймы 36 полен. Он увез их на Бобиных санях. — Был Мережковский. Жалуется, хочет уехать из Питера. Шуба у него — изумительная. Высокие калоши. Шапка соболья. Говорили о Горьком. «Горький двурушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами — он наш. Когда он

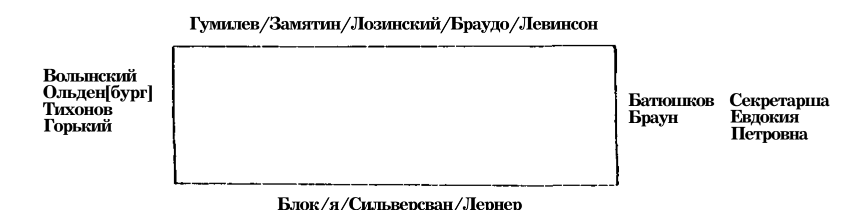
с ними — он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там и здесь». С Мережковским мы ходили в «Колос» — там читал Блок — свой доклад о музыкальности и цивилизации, который я уже слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, Блок — в фуфайке, при всяком слове у него изо рта — пар. Несчастные, обглоданные люди — слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации [25]. Видал я Сюннерберга, Ив[анова]-Разумника — всё какие-то бывшие люди. Оттуда с Глазановым и Познером — на квартиру д-ра (забыл фамилию) — там Жирмунский читал свой доклад о «Поэтике» Шкловского. Были: Эйхенбаум в шарфе до полу, Шкловский (в обмотках ноги), — Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и др. Жирмунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет — и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал — угловато, задорно и очень талантливо. Векслер заподозрила Жирмунского, что он где-то упомянул *душу писателя,* — и сделала ему за это нагоняй. Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа. — Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа [26]. При всяком намеке на психологизм (в литер[атурной] критике) они хором вопят:

> Ах, какой он пошляк! Ах, как он не развит!
> Современности вовсе не видно [27].

Но все же собрание произвело впечатление будоражащее, освежающее. Потом с Глазановым мы пошли ко мне и читали его доклад об Андрее Белом. — У меня от холоду опухли руки.

18 ноября. Целый день в хлопотах о продовольствии для писателей.

19 ноября. Среда. Вчера три заседания подряд: первое — секция исторических картин, второе — Всемирная Литература, третье — у Гржебина, «Сто лучших русских книг». Так как я очень забывчив на обстановку и подробности быта — запишу раз навсегда, как это происходит у нас. Теперь мы собираемся уже не на Невском, а на Моховой, против Тенишевского Училища. Нам предоставлены два этажа барского особняка генеральши Хириной. Поднимаешься по мраморной лестнице — усатый меланхоличный Антон, и седовласый Михаил Яковлевич, бывший лакей Пуни, потом лакей Репина — «Панин папа» — как называют его у нас. Сейчас же налево — зал заседаний — длинная большая комната, соединенная лестницей с кабинетом Тихонова — наверху. В зале множество безвкусных картин — пейзажей — третьего сорта, мебель рыночная, но с претензиями. Там за круглым длинным столом мы заседаем в таком порядке



Я прихожу на заседания рано. Иду в зал заседаний — против окон видны силуэты: Горький беседует с Ольденбургом. Тот, как воробей, прыгает вверх — (Ольденбург всегда форсированный, демонстрирующий энергию). Там же сидит одиноко Блок — с обычным видом грустного и покорного недоумения: «И зачем я здесь? И что со мной сделали? И почему здесь Чуков[ский]? Здравствуйте, Корней Иванович!» Я иду наверх — мимо нашей собственной мешочницы «Розы Васильевны». Роза Вас. стала у нас учреждением — она сидит в верхней прихожей, у кабинета Тихонова — разложив на столе сторублевые коврижки, сторублевые карамельки — и все профессора и поэты здороваются с нею за руку, с каждым у нее своя интонация, свои счеты — и всех она презирает великолепным еврейским презрением и перед всеми лебезит. В следующей комнате — прием посетителей; теперь там пустовато. В следующей Вера Александровна — секретарша, подсчитывающая нам гонорары, — впечатлительная, обидчивая, без подбородка, податливая на ласку, втайне влюбленная в Тихонова; у ее стола по целым часам млеет Сильверсван. Кабинет Тихонова огромен. Там сидит он — в кабинете, свеженький, хорошенький, очень деловитый и в деловитости простодушный. Он обложен рукописями, к нему ежеминутно являются с докладом из конторы, из разных учреждений, он серьезный социал-демократ, друг Горького и т. д., но я не удивился бы, если бы оказалось, что... впрочем, Бог с ним. Я его люблю. В одном из ящиков его стола мешочек с сахаром, в другом — яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, перед концом заседания, к нему приходит его возлюбленная — в красной шубке — и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел тихоновский мешочек с сахаром там на столе — и только потом рассмотрел в углу Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова, в виде Американца, и в первый же сеанс великолепно взял главное — и артистически разработал все плоскости подбородка. Глаз еще нет, но даже кожа — тихоновская. Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричн. трубы, плакатов — вообще обамериканить портрет. Горький на заседание не пришел: болен. Он прислал мне записку, к-рую при сем прилагаю [28]. На первом заседании я читал своего Персея, к-рый неожиданно всем понравился [29]. На втором заседании мы говорили о записке от лица литераторов, которую мы намерены послать Ленину. К концу заседания мне сообщили, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилев, Замя-

тин — в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг. Блок неожиданно, замогильным голосом сказал, что литература XIX века не показательна для России, что в XIX в. вся Европа (и Россия) сошла с ума, что Гоголь, Толстой, Достоевский — сумасшедшие. Гумилев говорил, что Майков был бездарный поэт, что Ив[анов]-Разумник — отвратительный критик. Грж[ебин] в шутку назвал меня негодяем, я швырнул в него портфелем Гумилева — и сломал ручку. Говорили о деньгах — очень горячо — выяснилось, что все мы — нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно. Потом я вернулся домой — и Лидочка читала мне Шекспира «Генрих IV», чтобы усыпить меня. Я боялся, что не усну, т. к. сегодня открытие Дома Искусств, а я никогда не сплю накануне событий. — Лида теперь занята рефератом о Москве — забавная трудолюбивая носатка!

20 ноября 1919. Итак, вчера мы открывали «Дом Искусства». Огромная холодная квартира, в к-рой каким-то чудом натопили две комнаты — стол с дивными письменными принадлежностями, всё — как по маслу: прислуга, в уборной графин и стакан, гости. Горького не было, он болен. Все были так изумлены, когда им подали карамельки, стаканы горячего чаю и булочки, что немедленно избрали Сазонова товарищем председателя! Прежде Сазонов — в качестве эконома — и доступа не имел бы в зал заседаний коллегии! Теперь эконом — первая фигура в ученых и литературных собраниях. На него смотрели молитвенно: авось даст свечку. Он тоже не ударил в грязь лицом: узнав, что не хватает стаканов, он собственноручно принес свои собственные с Фонтанки на Мойку — *в чемодане*. Заседания не описываю, ибо Блок описал его для меня в Чукоккале [30]. Кое-что подсказывал ему я (об Анненкове). Немирович председательствовал — беспомощно: ему приходилось суфлировать каждое слово. — Холодно у вас? — спросил я его. — Да, три градуса, но я пишу об Африке, об Испании, — и согреваюсь! — отвечал бравый старикан. Мы ходили осматривать елисеевскую квартиру (нанятую нами для Дома Искусств). Безвкусица оглушительная. Уборная m-me Е[лисеев]ой вся расписана: морские волны, кораблекрушение. Множество каких-то гимнастических приборов, напоминающих орудия пытки. Блок ходил и с недоумением спрашивал: — А это для чего? <...>

Блок очень впечатлителен и переимчив. Я недавно читал в коллегии докладец о том, что в 40-х гг. писали: аплодисманы, мебели (мн[ожественное] ч[исло]) и т. д. Теперь в его статейке об Андрееве встретилось слово мебели (мн. ч.) и в отчете о заседании — «аплодисманы».

Не явились на открытие Дома Искусств: Федор Сологуб, Мережковский, Петров-Водкин. Мережковский в это время был у меня и спорил с Шатуновским. Очень, очень хочется мне помочь Анненкову, он ужасно нуждается. Он пишет портрет Тихонова за пуд

белой муки, но Тихонов еще не дал ему этого пуда. По окончании заседания он подозвал меня к себе, увел в другую комнату — и показал неоконченный акварельный портрет Шкловского (больше натуры — изумительно схвачено сложное выражение глаз и губ, присущее одному только Шкловскому) [31]. Мне страшно вдруг захотелось, чтобы он докончил мой портрет. Я начал переделывать «Принципы худ. перевода», но вдруг заскучал и бросил.

21 ноября 1919 года. С. Ф. Ольденбург дал мне любопытную книгу «The Legend of Perseus» by E. Sidney Hartland *. Утром сегодня я проснулся, предвкушая блаженство: читать эту незатейливую, но увлекательную вещь; но нет огня, нет спичек, и я промучился около часу. Теперь даже понять не могу, почему мне так хотелось читать эту книгу.

23. Был у Кони. Бодр. Его недавно арестовали. Не жалуется. «Там (в арестантской) я встретил миссионера Айвазова — и мы сейчас же заспорили с ним о сектантах. Вся камера слушала наш ученый диспут. Очень забавно меня допрашивал — какой-то мальчик лет шестнадцати. — Ваше имя, звание? — Говорю: академик. — Чем занимаетесь?.. — Профессор... — А разве это возможно? — Что? — Быть и профессором и академиком сразу. — Для вас, говорю, невозможно, а для меня возможно».

Старик забыл, что уже показывал мне стихи, которые были поднесены ему слушателями «Живого Слова», — и показал вновь.

Блок читал сценарий своей египетской пьесы (по Масперо) [32]. Мне понравилось — другим не очень. Тихон[ов] возражал: не пьеса, нет драматичности. Блок в объяснение говорил непонятное: у меня там выведен царь, который растет вот так — и он начертил руками такую фигуру V; а потом цари стали расти вот так: Л ... Очень забавен эпизод со стихами <...> служащему нашей конторы, Давиду Самойловичу Левину. Когда-то он снабдил Блока дровами, всех остальных обманул. Но и Блок и обманутые чувствуют какую-то надежду — авось пришлет еще дров. Теперь Левин завел альбом, и ему наперебой сочиняют стишки о дровах — Блок, Гумилев, Лернер. Блок сначала думал, что он Соломонович, — я сказал ему, что он Самойлович, Блок тайком вырвал страницу и написал вновь[33].

Горький о Мережковском: он у меня, как фокстерьер, повис на горле — вцепился зубами и повис.

Я достал Гумилеву через Сазонова дров — получил от него во вр[емя] заседания такую записку:

(Вклеена записка, почерк Н. Гумилева. — *Е. Ч.*)

Дрова пришли, сажень, дивные. Вечная моя благодарность Вам. Пойду благодарить П. В.

Вечно Ваш *Н. Г.*

---

* «Легенда о Персее» Е. Сиднея Хартланда (*англ.*).

П. В. — это Петр Владимирович Сазонов, чуть ли не бывший пристав, который теперь в глазах писателей, художников и пр. — единственный источник света, тепла, красоты. Он состоит заведывающим Хозяйством ГлавАрхива — туда доставили дрова, он взял и распорядился направить их нам — в Дом Искусства. Какая нелепость, что Тихонов заведует там литературой, а я... театром.

24 ноября 1919. Вчера у Горького, на Кронверкском. У него Зиновьев. У подъезда меня поразил великолепный авто, на диван к-рого небрежно брошена роскошная медвежья полость. В прихожей я встретил Ольденбурга — он только что виделся с Зиновьевым. Я ждал, пока З. уедет (у Ходасевич), а потом пошел в столовую. Там печник ставил печку и ругал С[оветскую] Вл[асть] за то, что им — мобилизованным — третий месяц не дают жалования. «Вот погоди, пройдет тут Зиновьев, я ему скажу». З. прошел — толстый, невысокого роста. Печник за ним в прихожую. «Тов. Зиновьев, а почему?..» Зин. отвечал сиплым и сытым голосом. Печник воротился торжествуя: «Я ведь никого не боюсь. Я самому велик. князю Влад. Алекс. ...»

Г[орький] очень утомлен. Я сократил свой визит до минимума — и ушел к Тихонову — в квартиру его тестя — черт знает где! Там меня угостили необыкновенным обедом: вареное мясо, мясной суп, чай с сахаром — и мы выработали программу заседания в Доме Искусств. <...> Сверяю письма Щедрина. Очень хочется писать статьи — о Блоке. Вчера написал новую версию Персея.

25 ноября. Особенность моей теперешней деятельности в том, что каждый день я начинаю какую-нб. новую работу и, не кончив, принимаюсь за следующую. Сейчас, напр., у меня на столе: редактура Гулливера (Полонской), редактура Диккенса в переводе Иринарха Введенского, список ста лучших книг для издательства Гржебина, Принципы худож. перевода, статья о письмах Щедрина к Некрасову, Докладная записка о Студии, и т. д. и т. д.

27 [ноября]. Третьего дня заседание во «Всемирной». Горький — Марье Игнатьевне очень сурово: «И откуда у вас берется время заниматься такими пустяками (с очаровательной улыбкой), да! да! такими пустяками». (Оказывается, М. И. прислала к Горькому врача-хирурга, и тот нашел, что Г[орькому] нужно лечь немедленно в постель. Теперь Горький благодарит М. И. — называя себя и свою болезнь пустяками.) Заседание по историч. картинам. Амфитеатров читает свою пьесу о Ваське Буслаеве. Пьеса отличная — чуть ли не лучше всего, что написал Амфитеатров. Тихонов довольно бестактно делал старику замечания. Амфитеатров, читая, поглядывал украдкой на одного только Горького: прочтет удачное, выигрышное место и взглянет. Горький очень нежен с Ольденбургом — теперь у них медовый месяц. Ольденбург старается изо всех сил. После заседания «Всем. Лит.» — Горький с Ольденбургом уез-

жают в «Асторию» — в экипажике Горького. Потом я, Блок, Гумилев, Замятин и Лернер отправляемся в «комнату, где умывальник» — к машинисткам — и начинаем обсуждать программу ста лучших писателей. Гумилев представил импрессионистскую: включен Денис Давыдов (потому что гусар) и нет Никитина. Замятин примкнул к Гумилеву. Блок стоит на историч. точке зрения — и составил программу идеальную: она и свежа, и будоражит, в ней нет пошлости — и научна. Мы спорили долго. Гумилев говорит по поводу моей: это провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет. Я издевался над гумилевской, но в глубине души уважал его очень: цельный человек. Вообще все заседание носило характер гумилевской чистоты и наивности. Блок — со своей любовью к системе — изготовил несколько табличек: сколько поэтов, сколько прозаиков, какой процент юмористов и т. д. Я включил в свою программу модернистов. «К чему вы этих молодых людей включили?», «я в этих молодых людях ничего не понимаю», — твердил Блок. Я наметил для Сологуба 2 тома. Блок: «Неужели Сологуб есть $^1/_{50}$ всей русской литературы». На следующий день (вчера) мы встретились на заседании «Дома Искусств», Блок продолжал: «Гумилев хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского». Я говорю: а Тютчева? «Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, все отрывочки. К тому же он немец, отвлеченный». Я взялся в Доме Иск. организовать Студию, Библиотеку, Детский Театр. И уже изнемог: всю ночь не спал — в темноте без свечи думал об этих вещах — а про литературу и забыл. Надо поскорее сбыть с рук эти работы, а то захвораю от переутомления, На заседании Дворца был Мережковский, который говорил мне, кокетничая: «Ну и надоел я вам, воображаю. Я самому себе надоел в аспекте Чуковского. Надоел, надоел, не отрицайте. Надоел ужасно! Надоел! Но вы — добрый. Вот З. Н. (Гип[пиус]) не верит, что вы добрый, а я знаю, вы добрый, но насмешливый. Насмешливый и добрый!» — все это громко, за столом, вдохновенно.

28 ноября 1919. Я забыл записать, что при открытии Дома Искусств присутствовал С. Ольденбург. Я познакомил его с Немировичем-Данченкой. Ольденбург протянул ему руку, а потом отвел меня в сторону:

— Неужели он еще жив. Я думал, он давно умер!

Я почему-то рассердился. — Что ж, вы думаете, я их с того света выписываю? На кладбище посылаю им повестки?

Я сейчас пишу о Принципах Перевода — вновь. К чему — не знаю. Вчера мы впервые собрались в новом помещении — мы, т. е. слушатели Студии. Дом Искусств их разочаровал. Они ожидали Бог знает чего.

29 ноября 1919 г. Горького посетила во Всем. Лит. Наталия Грушко — и беседовала с ним наедине. Когда она ушла, Г[орький] сказал

Марье Игнатьевне: «Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, — а они как ни в чем не бывало — извольте!» Оказывается, что у Грушко на днях родилась девочка (или мальчик), и она пригласила Горького в крестные отцы... «Ведь это моя жена, — вы знаете?» Как-то пришла бумага: «Разрешаю молочнице возить молоко жене Максима Горького — Наталье Грушко!..» Блок написал пьесу о фараонах — Горький очень хвалил: «Только говорят они у вас слишком по-русски, надо немного вот так» (и он вытянул руки вбок — как древний египтянин — стилизовал свою нижегородскую физиономию под Анубиса) — нужно каждую фразу поставить в профиль. Было у нас заседание по программе для Гржебина. Горький говорил, что все нужно расширить: не сто книг, а двести пятьдесят. Впервые на заседании присутствовал Иванов-Разумник, <...> молчаливый, чужой. Блок очень хлопотал привлечь его на наши заседания. Я научил Блока — как это сделать: послать Горькому письмо. Он так и поступил. Теперь они явились на заседание вдвоем, — я отодвинулся и дал им возможность сесть рядом. И вот — чуть они вошли, — Г[орький] изменился, стал «кокетничать», «играть», «рассыпать перлы». Чувствовалось, что все говорится *для нового человека*. Г[орький] очень любит нового человека — и всякий раз при первых встречах волнуется романтически — это в нем наивно и мило. Но Ив.-Разумник оставался неподатлив и угрюм. — Потом заседание «Всем. Литературы» — а потом я, Тих[онов] (Боба сейчас читает на кухне былины. Он страшно любит былины — больше всех стихов) и Замятин в трамвае — в «Дом Искусства». За столом — Бенуа; Добужинский, Ходасевич, Анненков, В. Н. Аргутинский. Мы устроили свое заседание в комнатке прислуги при кухне. Я безумно хотел есть, но после заседания пошел все же пешком к Сазонову, — тот лежит больной — и оттуда через силу домой. От усталости — почти не спал. Вертятся в голове разные планы и мысли — ни к чему, беспомощно, отрывочно.

30 ноября. Воскресение. Сижу при огарке и пишу об Иринархе Введенском. Для «Принципов худ. перевода».

Блок, когда ему сказали, что его египтяне в «Рамзесе» говорят слишком развязно, слишком по-русски, — сказал: «Я боюсь книжности своих писаний. Я боюсь *своей* книжности». Как странно — его вещи производят впечатление дневника, — раздавленных кишок. А он — книжность! Устраиваю библиотеку для «Дома Искусств». С этой целью был вчера с Колей в Книжном Фонде — ах, как там холодно, хламно, безнадежно. Конфискованные книги, сваленные в глупую кучу, по которой бродит, как птица, озябшая девственница — и клюет — там книжку, здесь книжку, и складывает в другую кучу. Она в валенках, в пальто, в перчатках. Начальник девицы — Иван Иванович, в запачканной летней шляпе (фетровой с полями), с красным носиком — медленный и, кажется, очень честный. Когда я спросил, не найдется ли у них для Студии Потебня или Веселовский, он сказал:

— Нашелся бы, если бы Алексей Павлович не *интересовался* этими книгами. — Алексей Павлович (Кудрявцев), Комиссар Библиотечной Комиссии — вор и пьяница — я сам видел, как в книжной лавке на Литейном какой-то букинист совал ему из-за прилавка бутылку; у меня Кудрявцев зажилил сахар — на два дня и до сих пор не отдал. Те книги, которыми он *интересуется,* попадают к нему — в его собственную библиотеку. В Фонде порядки странные. Книги там складываются по алфавиту — и если какая-нб. частная библиотека просит книги, ей дают *какую-нибудь букву*. Я сам слышал, как там говорили:

— Дай пекарям букву Г.

Это значит, что библиотека пекарей получит Григоровича, Григорьева, Герцена, Гончарова, Гербеля — но не Пушкина, не Толстого. Я подумал: спасибо, что не фиту.

3 декабря 1919 г. <...> Вчера день сплошного заседания. Начало ровно в час — о программе для Гржебина. Опять присутствует Иванов-Разумник. Я пришел, Горький уже был на месте. Когда мы заговорили о Слепцове, Горький рассказал, как Толстой читал один рассказ Слепцова — и сказал: это (сцена на печи) похоже на моего Поликушку, только у меня похуже будет. Одно только Толстому не нравилось: «стеженное одеяло», Толстой страшно ругался [34]. Когда мы заговорили о Загоскине и Лажечникове — Горький сказал: «Не люблю. Плохие Вальтер Скотты». Опять он поражал меня доскональным знанием отечественной словесности. Когда зашла речь о Вельтмане, он сказал: а вы читали Софью Вельтман, жену романиста? Замечательный роман в «Отеч. Зап.» — с огромным знанием эпохи — в 50-х гг. издан [35]. Блок представил список, очень подробный, по годам рождения — и не спорил, когда, напр., Дельвига из второй очереди перевели в первую. Во время чтения программы Иванова-Разумника — произошел инцидент. Ив.-Раз. сказал: «Одну книжку — бывшим акмеистам». Гум[илев] попросил слова по личному поводу и спросил надменно: кого именно Ив.-Раз. считает бывшими акмеистами? Разумник ответил: — Вас, С. Городецкого и друг. — Нет, мы не бывшие, мы... — Я потушил эту схватку. В начале заседания по Картинам (Ольденбург не пришел) Горький с просветленным и сконфуженным лицом сказал Блоку:

— Александр Александрович! Сын рассказывает — послушайте — приехал в Москву офицер — сунулся на квартиру к одной даме — откровенно: я офицер, был с Деникиным, не дадите ли приюта? — Пожалуйста! — Живет он у нее десять дней, вступил в близкие с ней отношения, все как следует, а потом та предложила ему: не собрать ли еще других деникинцев? Пожалуй, собери, потолкуем. Сошлось человек двадцать, он сделал им доклад о положении дел у Деникина, а потом вынул револьвер, — руки вверх — и всех арестовал и доставил начальству. Оказывается, он и вправду б[ывший] деникинец, теперь давно перешел на сторону Сов. Вл. и вот теперь занимается спортом. Недурно, а? Неглупо, не правда ли?

4 декабря. Память у Горького выше всех других его умственных способностей. — Способность логически рассуждать у него мизерна, способность к научным обобщениям меньше, чем у всякого 14-летнего мальчика. <...>

6 декабря. О, как холодно в Публичной Библиотеке. Я взял вчера несколько книг: Мандельштама «О стиле Гоголя», «Наши» (альманах), стихи Востокова — и должен был расписаться на квитках: прикосновение к ледяной бумаге — ощущалось так, словно я писал на раскаленной плите. <...>

7 декабря. Вчера в «Доме Искусств» — скандал. Бенуа восстал против картин, которые собрал для аукциона Сазонов. Бенуа забраковал конфетные изделья каких-то ублюдков — и Сазонов в ужасе. «У нас лавочка, а не выставка картин. Мы не воспитываем публику, а покупаем и продаем». Бенуа грозит выйти в отставку. <...>

Третьего дня — Блок и Гумилев — в зале заседаний — сидя друг против друга — внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилев: символисты в большинстве аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирю, написали 10 пудов, но выдолбили всю середину. И вот швыряют гирю и так и сяк. А она пустая.

Блок осторожно, словно к чему-то в себе прислушиваясь, однотонно: «Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всех течениях. Но вообще — вы как-то не так: то, что вы говорите, — для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком литератор. Я — на все смотрю сквозь политику, общественность»...

Чем больше я наблюдаю Блока, тем яснее мне становится, что к 50 годам он бросит стихи и будет писать что-то публицистико-художественно-пророческое (в духе «Дневника писателя»). — Иванова-Разумника на нашем Гржебинском заседании не было: его, кажется, взяли в солдаты. Мы составили большой и гармонический список. Блок настоял на том, чтобы выкинули Кольцова и включили Аполлона Григорьева. Я говорил Блоку о том, что если в 16—20 лет меня спросили: кто выше, Шекспир или Чехов, я ответил бы: Чехов. Он сказал: — Для меня было то же самое с Фетом. Ах, какой Фет! И Полонский! — И стал читать наизусть Полонского. На театральное заседание Горький привел каких-то своих людей: некоего Андреева, с которым он на *ты*, режиссера Лаврентьева — оказывается, нам предоставляют театр «Спартак». Прибыл комиссар красноармейских театров — который, нисколько не смущаясь присутствием Горького, куря, произнес речь о темной массе красноармейцев, коих мы должны просвещать. В кажд[ом] предложении у него было несколько «значит». «Значит, товарищи, мы покажем им Канто-Лапласовское учение о мироздании». Видно по всему, что был телеграфистом, читающим «Вестник Знания». И я вспомнил

другого такого агитатора — перед пьесой «Разбойники» в Большом Драматическом он сказал:

— Товарищи, русский писатель, товарищи, Гоголь, товарищи, сказал, что Россия это тройка, товарищи. Россия это тройка, товарищи, — и везут эту тройку, товарищи, — крестьяне, кормильцы революционных городов, товарищи, рабочие, создавшие революцию, товарищи, и, товарищи, — вы, дорогие красноармейцы, товарищи. Так сказать, Гоголь, товарищи, великий русский революционный писатель земли русской *(не делая паузы)*, товарищи, курить в театре строго воспрещается, а кто хочет курить, товарищи, выходи в коридор.

Я написал сейчас письмо Андрею Белому. Зову его в Петербург.

9 декабря. Сейчас было десять заседаний подряд. Вчера я получил прелестные стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове [36] — очень меня обрадовавшие.

На заседании о картинах Горький принес «Шута» — юмористический журнал. Замятин сказал: у русских мало юмора. Горький: «Что вы! Русские такие юмористы! Сейчас знакомая учительница мне рассказывала, что в ее школе одна девочка выиграла в перышки 16 000. Это ли не юмор!» <...>

Сегодня я впервые заметил, что Блок ко *мне благоволит*. Когда на заседании о картинах я сказал, что пятистопный ямб не годится для трагедии из еврейск[ой] жизни — что пятистопн. ямб это эсперанто — он сказал: «Мудрое замечание». Сообщил мне, что в его шуточном послании ко мне строчку о Брюсове сочинила его жена — «лучшую в сущности строчку» [37]. В «Двенадцати» у нее тоже есть строка:

«Шоколад миньон жрала».

Я спросил, а как же было прежде? — А прежде было худо: Юбкой улицу мела.

А у *них* ведь юбки короткие.

Мои денежные дела ужасны, и спасти меня может только чудо.

11 д[екабря]. Вторую ночь не заснул ни на миг — но голова работает отлично — сделал открытие (?) о дактилизации рус. слов — и это во многом осветило для меня поэзию Некрасова. Вчера было третье заседание Дома Искусств. Блок принес мне в подарок для Чукоккалы — новое стихотворение: пародию на Брюсова — отличное [38]. Был Мережковский. Он в будущий четв. едет вон из Петербурга — помолодел, подтянулся, горит, шепчет, говорит вдохновенно: «Все, все устроено до ниточки, мы жидов подкупили, мы... А Дмитрий Влад. — бездарный, он нас погубит, у него походка белогвардейская... А тов. Каплун дал мне паек — прегнусный — хотя и сахар и хлеб — но хочет, чтобы я читал красноармейцам о Гоголе...» Я спросил: «Почему же и не читать? Ведь полезно, чтобы красноармейцы знали о Гоголе». — «Нет, нет, вы положительно волна... Я вам напишу... Ведь не могу же я сказать красноармейцам о Гоголе-христианине... а без этого какой же Гоголь?» Тут подошел Немирович-Данченко и спросил Мережк. в упор, громко: —

Ну что? Когда вы едете? — Тот засуетился... — Тш... тш... Никуда я не еду! Разве можно при людях! — Немирович отошел прочь.

— Видите, старик тоже хочет к нам примазаться. Ни за что... Боже сохрани. У нас теперь обратная конспирация: никто не верит, что мы едем! Мы столько всем говорили, болтали, что уже никто не верит... Ну если не удастся, мы вернемся, и я пущусь во все тяжкие. Буду лекции читать — Пол и религия — «Тайна двоих» — не дурно ведь заглавие? а? Это как раз то, что им нужно...

Не дождавшись начала заседания — бойкий богоносец упорхнул. На заседании Нерадовский нарисовал в Чукоккалу — Александра Бенуа, а Яремич — Немировича [39]. Когда мы обсуждали, какую устроить вечеринку, Блок сказал:

— Нужно — цыганские песни.

15 декабря. <...> Вчера Полонская рассказывала мне, что ее сын, услыхав песню:

Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями,

запел: «Мы дадим тебе конфет, чаю с сахарином» — думая, что повторяет услышанное. Был вчера на «Конференции Пролетарских Поэтов», к-рых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непроходимо нагло, что я демонстративно ушел — хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту с обедом! Вышел какой-то дубиноподобный мужчина (из породы Степанов — похож на вышибалу; такие также бывают корректор*а*, земские статистики) и стал гвоздить: буржуазный актер не пони*мат* наших страданий, не з*нат* наших печалей и радостей — он нам только вреден (это Шаляпин-то вреден); мы должны сами создать актеров, и они есть, товарищи, *я,* например...» А сам бездарен, как голенище. И все эти бездарности, пошлые фразеры, кропатели казенных клише аплодировали. Это было им по нутру. Подумать, что у этих людей был Серов, Чехов, Блок.

Потом в Дом Искусств. Пришли шкловитяне. Я предоставил им теплое, прекрасное, освещенное помещение, выхлопотал для лектора вознаграждение — и вот они впервые появились т у т. — А что, есть буфет? Не дадут ли чего поесть? А это пианино — нельзя ли поиграть? — Я ушел домой опечаленный. Днем у меня б[ыл] Мережковский в шубе и шапке, но легкий, как п е р ы ш к о. — Евреи уехали, нас не дождавшись. А как мы уедем не в спальном вагоне. Ведь для З. Н. это с м е р т ь. — Похоже, что он очень хотел бы, если бы встретилось какое-нб. непреодолимое препятствие, мешающее ему в ы е х а т ь. — Я опять не спал всю ночь — и чувствую себя знакомо-гадко.



2 января. Две недели полуболен, полусплю. Жизнь моя стала фантастическая. Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегаю по комиссарам

и ловлю паек. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба — я не ощущаю никакого унижения, и всегда с радостью — как самец в гнездо — бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т. д. Начну с Каплуна. Это приятный — с деликатными манерами — тихим голосом, ленивыми жестами — молодой сановник. Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина. Со мной Каплун говорит милостиво, благоволительно. У его дверей сидит барышня — секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шику, high life'у *. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так:

— Представьте, какой у ж а с , — моя портниха...

Словом, еще два года — и эти пролетарии сами попросят — ресторанов, кокоток, поваров, Монте-Карло, биржу и пр. и пр. и пр. Каплун предложил мне заведовать просветительным отделом — Театра Городской Охраны (Горохр). Это на Троицкой. Я пошел туда с Анненковым. Холод в театре звериный. На все здание — одна теплушка. Там и рабочие, и Кондрат Яковлев, и бабы — пришедшие в кооператив за провизией. Я сказал, что хочу просвещать милиционеров (и вправду хочу). Мне сказали: не беспокойтесь — жалованье вы будете получать с завтрашнего дня — а просвещать не торопитесь, и когда я сказал, что действительно, на *сам*[*ом*] *деле* хочу давать уроки и вообще работать — на меня воззрились с изумлением.

Пучков — честолюбив, студентообразен, б[ывший] футурист, в кожаной куртке, суетлив, делает 40 дел сразу, не кончает ни одного, кокетничает своей энергичностью, — голос изумительно похож на Леонида Андреева.

3 января. Вчера взял Женю (нашу милую служаночку, которую я нежно люблю — она такая кроткая, деликатная, деятельная — опора всей семьи: ее мог бы изобразить Диккенс или Толстой) — она взяла сани, и мы пошли за обещанной провизией к тов. Пучкову. Я прострадал в коридоре часа три — и никакой провизии не получил: кооператив заперт. Я — к Каплуну. Он принял радушно — но поговорить с ним не б[ыло] возможности — он входил в кабинет к Равич и выходил ежеминутно. Вот он подошел к телефону: — Это вы, тов. Бакаев? Иван Петрович? Нельзя ли нам получить то, о чем мы говорили? С белыми головками? Шаляпин очень просит, чтобы с белыми головками... Я знаю, что у вас опечатано три ящика (на Потемкинской, 3), велите распечатать. Скажите, что для лечебных целей...

---

* Великосветской жизни (*англ.*).

Мережковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слонимский. Говорит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа оттеснила их к разным вагонам — разделила. Они потеряли чемоданы. До последней минуты они не могли попасть в вагоны... Мережк. кричал:

— Я член совета... Я из Смольного!

Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: Шуба! — у него, очевидно, в толпе срывали шубу.

Вчера Блок сказал: «Прежде матросы б[ыли] в стиле Маяковского. Теперь их стиль — Игорь Северянин». Это глубоко верно. Вчера в Доме Искусств был диспут «о будущем искусстве», — но я туда не пошел: измучен, голоден, небрит.

Рождество 1920 г. (т. е. 1919, ибо теперь 7ое января 1920). Конечно, не спал всю ночь. Луна светила как бешеная. Сочельник провел у Даниила Гессена (из Балтфлота) в «Астории». У Гессена прелестные, миндалевидные глаза, очень молодая жена и балтфлотский паек. Угощение на славу, хотя — на пятерых — две вилки, чай заваривали в кувшине для умывания и т. д. <...>

Я весь поглощен дактилическими окончаниями, но сколько вещей между мною и ими: Машины роды, ежесекундное безденежье, бесхлебье, бездровье, бессонница, Всемирная Литература, Секция Историч. Картин, Студия, Дом Искусств и проч. и проч. и проч.

Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые давали им [в] гимназии, сушили их — и вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой — как *подарки родителям!* Дети, которые готовят к рождеству сюрприз для отца и матери! Не хватает еще, чтобы они убедили нас, что все это дело Санта Клауса! В следующем году выставлю у кровати чулок! В довершение этого à rebours * наша Женя, коей мы по бедности не сделали к рождеству никакого подарка, поднесла Лиде, Коле и Бобе — шерстяные вытиралки для перьев — собственного изготовления — и перья.

2-й день Рождества 1920 г. я провел не дома. Утром в 11 ч. побежал к Лунач., он приехал на неск. дней и остановился в Зимнем Дворце; мне нужно было попасть к 11 $^{1}/_{2}$, и потому я *бежал* с тяжелым портфелем. Бегу — смотрю, рядом со мною краснолицая, запыхавшаяся, потная, с распущенными косами девица, в каракулевом пальто, на красной подкладке. Куда она бежала, не знаю, но мы проскакали рядом с нею, как кони, до Пролеткульта. Луначарского я пригласил в Дом Искусств — он милостиво согласился. Оттуда я пошел в Дом Иск., занимался — и вечером в 4 часа — к Горькому. В комнате на Кронверкском темно — топится печка — Горький, Марья Игнатьевна, Ив. Николаевич и Крючков сумерничают.

* Напротив (*франц.*).

Я спросил: — Ну что, как вам понравился американец? (Я послал к нему американца) — «Ничего, человек действительно очень высокий, но глупый»... Возится с печью и говорит сам себе: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович, позвольте вас предупредить, что Вы обожгётесь... Вот, К. И., пусть Федор (Шаляпин) расскажет вам, как мы одного гофмейстера в молоке купали. Он, понимаете, лежит читает, а мы взяли крынки — и льем. Он очнулся — весь в молоке. А потом поехали купаться, в челне, я предусмотрительно вынул пробки, и на середине реки стали погружаться в воду. Гофмейстер просит, нельзя ли ему выстрелить из ружья. Мы позволили...» Помолчал. «Смешно Лунач. рассказывал, к[а]к в Москве мальчики товарища съели. Зарезали и съели. Долго резали. Наконец один догадался: его за ухом резать нужно. Перерезали сонную артерию — и стали варить! Очень аппетитно Луначарский рассказывал. Со смаком. А вот в прошлом году муж зарезал жену, это я понимаю. Почтово-телеграфный чиновник. Они очень умные, почтово-телеграфные чиновники. 4 года жил с нею, на пятый съел. — Я, говорит, давно думал о том, что у нее тело должно быть очень вкусное. Ударил по голове — и отрезал кусочек. Ел он ее неделю, а потом — запах. Мясо стало портиться. Соседи пришли, но нашли одни кости да порченое мясо. Вот видите, Марья Игнатьевна, какие вы, женщины, нехорошие. Портитесь даже после смерти. По-моему, теперь очередь за Марьей Валентиновной (Шаляпиной). Я смотрю на нее и облизываюсь». — А вторая — Вы, — сказал Марье Игнатьевне Ив. Никол. — Я уже давно высмотрел у вас четыре вкусных кусочка. — Какие же у меня кусочьки? — наивничала Марья Игнатьевна. <...>

11 янв., вокресение. У Бобы была в гостях Наташенька Жуховецкая. Они на диване играли в «жаркое». Сначала он жарил ее, она шипела *ш-ш-ш,* потом она его и т. д. Вдруг он ее поцеловал. Она рассердилась:

— Зачем ты меня целуешь жареную? <...>

17 янв. Сейчас Боба вбежал в комнату с двумя картофелинами и, размахивая ими, сказал: папа, сегодня один мальчик сказал мне такие стихи: «Нету хлеба — нет муки, не дают большевики. Нету хл[еба] — нету масла, электричество погасло». Стукнул картофелинами — и упорхнул.

19 янв. 1920 <...> Вчера — у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате, — за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково — иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами — a livre ouvert * — целую

---

* С листа *(франц.)*.

балладу — диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм». Я заговорил о Гумилеве: как ужасно он перевел Кольриджа «Старого Моряка». Она: «А разве вы не знали. Ужасный переводчик». Это уже не первый раз она подхватывает дурное о Гумилеве. Вчера утром звонит ко мне Ник. Оцуп: нельзя ли узнать у Горького, расстрелян ли Павел Авдеич (его брат). Я позвонил, подошла Марья Игнатьевна.— Да, да, К. И., он расстрелян. — Мне очень трудно было сообщить об этом Ник. Авд[еи]чу, но я в конце концов сообщил. <...>

25 января. Толки о снятии блокады [1]. *Боба* (больной) рассказывает: вошла 5-летняя девочка Альпер и сказала Наташеньке Жуховецкой:

— Знаешь, облака сняли.

— А как же дождик?

Лида спросила Наташу: — Из чего делают хлеб? — Из рожи.

Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает П[у]шк[ина] назубок — сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она б[ыла] чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные, или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году — на моде 1916 года.

8 февраля. <...> Моя неделя слагается теперь так. В *понедельник* лекция в Балтфлоте, во *вторник* — заседание с Горьким по секции картин, заседание по «Всемирной Лит.», лекция в Горохре; в *среду* лекция в Пролеткульте, в *четверг* — вечеринка в Студии, в *пятницу* — заседание по секции картин, по Всемирной Литер., по лекции в Доме Искусств.

Завтра, кроме Балтфлота, я читаю также в Доме Искусств.

9 февраля. Это нужно записать. Вчера у нас должно было быть заседание по гржебинскому изданию классиков. Мы условились с Горьким, что я приду к Гржебину в три часа, и он (Горький) пришлет за нами своего рысака. Прихожу к Гржебину, а у него в вестибюле внизу, возле комнаты швейцара сидит Горьк., молодой, синеглазый, в серой шапке, красивый. — «Был у Константина Пятницкого... Он тифом сыпным заболел — его обрили... очень смешной... в больнице грязь буграми... сволочи... Доктор говорит: это не мое дело...» Потом мы сели на лихача и поехали — я на облучке. Марья Игн. Бенкендорф окончательно поселилась у Горького — они в страшной дружбе — у них установились игриво-полемические отношения, — она шутя бьет его по рукам, он говорит: ай-ай-ай, как она дерется! — словом, ей отвели на Кронверкском комнату, и она переехала туда со всеми своими предками (портретами Бенкендорфов и... забыл чьими еще). На собрании были Замятин, Гржебин, Горький, Лернер, Гумилев и я — но так как 1) больному Пятницкому нужно вино и 2) Гумилеву нужны дрова, мы с Гум.

отправились к Каплуну в Упр. Советов. Этот вельможа тотчас же предоставил нам бутылку вина (я, конечно, не прикоснулся) и дивное, дивное печенье. Рассказывал, к[а]к он борется с проституцией, устраивает бани и т. д. — а мне казалось, что я у помощника градоначальника и что сейчас войдет пристав и скажет:

— Привели арестованных студентов, что с ними делать?

Нашел у Каплуна книгу Мережковского — с очень льстивой и подобострастной надписью... Гумилев один вылакал всю большую бутылку вина — очень раскис. <...>

12 февраля. Описать бы мой вчерашний день — типический. Ночь. У Марьи Борисовны жар, испанская болезнь, ноги распухли, родов ждем с секунды на секунду. Я встаю — занимаюсь былинами, так как в понед. у меня в Балтфлоте лекция о былинах. Читаю предисловие Сперанского к изд. Сабашникова, делаю выписки. Потом бегу в холодную комнату к телефону и звоню в телефон Каплуну, в Горохр, в Политотдел Балтфлота и ко множеству людей нисколько не похожих на Илью Муромца. Воды в кране нет, дрова нужно пилить, приходит какой-то лысый (по виду спекулянт), просит устроить командировку, звонит г-жа Сахар: нет ли возможности достать от Горького письмо для выезда в Швейцарию, звонит Штейн, нельзя ли спасти библиотеку уехавшего Гессена (и я действительно спасал ее, сражался за каждую книжку), и т. д. Читаю работы студистов об Ахматовой.

Где-то как далекая мечта — мерещится день, когда я мог бы почитать книжку для себя самого или просто посидеть с детьми... В три часа суп и картошка — и бегом во Всемирную. Там заседание писателей, коих я хочу объединить в *Подвижной Университет.* Пришли Амфитеатров, обросший бородой, Волынский, Лернер — и вообще шпанка. Все нескладно и глупо. Явился на 5 мин. Горький и, когда мы попросили его сообщить его взгляды на это дело, сказал: «Нужно читать просто... да, просто... Ведь все это дети — милиционеры, матросы и т. д.». Шкловский заговорил о том, что нужны школы грамоты, нужно, чтобы и мы преподавали грамоту... Штрайх (сам малограмотный) заявил, что он — арабская лошадь и не желает возить воду. И все признали себя арабскими лошадьми. Оттуда к Ахматовой (бегом), у меня нет «Четок», а я хотел читать о «Четках» в Пролеткульте. От Ахматовой (бегом) в Пролеткульт. Какой ветер, какие *высокие безжалостные лестницы* в Пролеткульте! Там читал каким-то замухрышкам и горничным об Анне Ахматовой — слушали, кажется, хорошо! — и оттуда (бегом) к Каплуну на Дворцовую Площадь. Его нету, я опоздал, он уже у Горького. Иду к его сестре и ем хлеб, к-рый мне дал Самобытник, пролетарский поэт. Хлеб оказывается зацветший, меня тошнит. Я прошу прислать от Горького автомобиль Каплуна. Через несколько минут является мальчишка и говорит: — Тут писатель, за которым послал Каплун? — Тут. — Сейчас шофер звонил по телефону, просил сообщить, что он запоздает, так к[а]к он по дороге раздавил ж[енщи]ну. — Опять? —

говорит сестра Каплуна. Через несколько минут шофер приезжает. «Насмерть?» — «Насмерть! » Я еду к Горькому. От голода у меня мутится голова, я почти в обмороке. У Горьк. в двух комнатах заседания — и он ходит из комнаты в комнату, словно шахматист, играющий одновременно несколько партий. Потом оба заседания соединяются. Профессора и — мы. Среди профессоров сидит некто черненький, который с пятого слова говорит: Наркомпрос, Наркомпрос, Наркомпрос. — К черту Наркомпрос! — рычу я и ни с того ни с сего ругаю это учреждение. Потом оказывается, что это и есть Наркомпрос. — Зеликсон, тот самый, коего мы очень боимся, хотели бы всячески задобрить и т. д. Я так и похолодел. Возвращаюсь около часу ночи домой — М. Б. худо, вся в поту, не спит ночей пять, голова болит очень, просит шерстяной платок. Ложусь и, конечно, не сплю. Вскакиваю утром — Женя замучена, у меня пальцы холодные, иду пилить дрова.

14 февраля. Нынешний день пуст — без книг и работы. Связывал сломанные сани — послезавтра Жене ехать за пайком в Балтфлот. Привязал к саням ключ, звонок, обмотал их веревкой. Неприятное столкновение с Штейном. Был у меня Гумилев. — Блок третьего дня рассказывал мне: «Странно! Член Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, М. Горький — высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом, а он говорит: ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!» Шествуя с Блоком по Невскому, мы обогнали Сологуба — в шубе и шапке — бодро и отчаянно шагавшего по рельсам — с чемоданом. Он сейчас же заговорил о французах — безо всякого повода — «Вот французы составляют словари... Мы с Анаст. Николаевной приехали в Париж... Я сейчас же купил себе цилиндр»... И вообще распекал нас обоих за то, что мы не французы. <...>

15 марта 1920. На днях скончалась Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Конст. Гржебиной. Я был на панихиде. Анненкова попросили нарисовать покойницу. Он встал у гроба, за шкафом, так что его никто не видел; я глянул, вижу: плачет. Рисует и плачет. Слезы капают на рисунок! Я подошел, ему стало стыдно. «О какая милая, милая была бабушка!» — сказал он, как бы извиняясь.

20 марта. Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. В последнее время он б[ыл] очень плох. <...> Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, джентльменнейший изо всей нашей коллегии. Я помню его почти молодым: он б[ыл] влюблен в Марию Карловну Куприну. Та над ним трунила — и брала взаймы деньги для журнала «Мир Божий». (Батюшков б[ыл] членом редакции.) Он закладывал имения — и давал, давал, давал. <...>

Вчера заседание у Гржебина — в среду. Я, Блок, Гумилев, Замятин, Лернер и Варвара Васильевна. Началось с того, что Горь-

кий, сурово шевеля усами, сказал Лернеру: «Если вы на этой неделе не принесете «Казаков» (которые заказаны Лернеру около полугода назад), я закажу их кому-нб. другому». Лернер пролепетал что-то о том, что через три дня работа будет закончена вполне. Он говорит это каждый день.— Где заказанный вам Пушкин? — Я уже н а ч а л . — Но ведь на этой неделе вы должны сдать... (На лице у Лернера — ужас. Видно, что он и не начинал работать.) Потом разговор с Гумилевым. Гумилев взялся проредактировать Алексея Толстого — и сделал черт знает что. Нарезал беспомощно книжку — сдал и получил 20 000 р. Горький перечислил до 40 ошибок и промахов. Потом — разговор с Блоком. Блок взялся проредактировать Лермонтова — и, конечно, его работа прекрасна. Очень хорошо подобраны стихи — но статья написана не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном блоковском, с напрасными усилиями принизиться до уровня малокультурных читателей. Для Блока Лермонтов — маг, тайновидец, сновидец, богоборец; — для Горького это «культурная сила», «двигатель прогресса», здесь дело не в стиле, а в сути. Положение Блока — трагическое. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе: «дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал «На смерть П[у]шк[ина]», тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное прекрасное лицо Блока.

Замятин еще не закончил Чехова. Я — после звериных трудов сдал, наконец, Некрасова. Когда мы с Горьким случайно оказались в другой комнате — он очень огорченно и веско сказал:

— Вот наши писатели. Ничего не могут! Ничего. Нет, Корней Иваныч, ученые лучше. Вот мы вчера заседали здесь — это люди! Ферзман, Ольденбург и Пинкевич! Как работают. А из писателей вы один. Я вами любуюсь... Да, любуюсь...

Он только что получил от Уэльса письмо — и книжки, написанные У э л ь с о м , — популяризация естественных наук [2]. Это горькому очень дорого: популяризация. Он никак не хочет понять, что Блок создан не для популяризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше добра от одного лирич. стихотворения Блока, чем от десяти его же популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант, вроде меня.

После заседания я (бегом, бегом) на Вас. Остр. на 11 линию — в Морской Корпус — там прочитал лекцию — и (бегом, бегом) назад — черт знает какую даль! Просветители из-под палки! Из-за пайка! О, если бы дали мне месяц — хоть раз за всю мою жизнь — просто сесть и написать то, что *мне* дорого, то, что я думаю! Теперь у меня есть единственный день четверг — свободный от лекций. Завтра — в Доме Искусств. Послезавтра — в Управлении Советов, Каплунам. О! О! О! О!

30 марта. Как при Николае I, образовался замкнутый в себе класс чиновничьей, департаментской тли, со своим языком, своими нравами. Появился особый жаргон «комиссариатских девиц». Говорят,

напр., *«определенно* нравится», «он *определенно* хорош» и даже «я *определенно* иду туда». Вместо — «до свидания» говорят: «пока». Вместо: «до скорого свидания» — «Ну, до скорого».

Вчера читал лекцию в Педагогич. Институте Герцена — Каменноостровский 66 — и обратно ночью домой. Устал до судорог. Ночь почти не спал — и болит сердце.

Горький, по моему приглашению, читает лекции в Горохре (Клуб милиционеров) и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродушно, держит себя в высшей степени демократично, а *его все боятся,* шарахаются от него, — особенно в Милиции. — Не простой он человек! — объясняют они.

На днях Гржебин звонил Блоку: «Я купил Ахматову». Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, к-рое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же — к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей.

Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». Первый раз вижу их обоих вместе... Замечательно — у Блока лицо непроницаемое — и только движется, все время, зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но *там* было высказано мн[ого]. <...>

1 апреля 1920 г. Вот мне и 38 лет! Уже два часа. Составляю каталог Детских Книг для Гржебина — и жду подарков. Вечер. Днем спал под чтение Бобы (Боба читал Сэттона Томсона), и мое *старое, старое, старое* сердце болело не так сильно. Отдохнуло. Потом пили чай с дивным пирогом: изюм, корица, миндалин. Вычисляли: изюм — из Студии, корица — из Горохра, патока — из Балтфлота и т. д. Словом, для того, чтобы испечь раз в год пирог, нужно служить в пяти учреждениях. Я спросил как-то у Блока, почему он посвятил свое стихотворение

Шар раскаленный золотой

Борису Садовскому, которому он так чужд. Он помолчал и ответил: — Садовской попросил, чтобы я посвятил ему, нельзя было отказать.

Обычный пассивизм Блока. «Что быть должно, то быть должно». «И приходилось их ставить на стол» [3].

10 апреля. Пертурбации с Домом Искусства. Меня вызвали повесткой в «Комиссариат Просвещения». Я пришел. Там — в кабинете Зеликсона — был уже Добужинский. Кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось заседание. На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч. Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы и рады бы, но... Особенно горячо говорила одна акушерка — повелительным, скрипучим, аффекти-

рованным голосом. Оказалось, что это тов. Лилина, жена Зиновьева. Мой ответ сводился к тому, что «у Вас секция, а у нас Андрей Белый; у Вас подотделы, у нас — вся поэзия, литература, искусство». Меня не удивила эта страшная способность женщин к мертвому бюрократизму, к спору о формах и видимостях, безо всякой заботы о сущности. Ведь сущность ясна для всякого: у нас, и только у нас, бьется пульс культурной жизни, истинно просветительной работы. Все клубы — существуют лишь на бумаге, а в этом здании на Морской кипит творческая большая работа. Конечно, нужно нас уничтожить. <...> Так странно слышать в связи с этим[и] чиновничьими ярлычками слово Искусство и видеть среди этих людей — Добужинское.

Вечером того же дня — вечер Гумилева. Гумилев имел успех. Особенно аплодировали стих[отворен]ию «Бушменская Космогония». Во время перерыва меня подзывает пролеткультский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультцами:

— Вы заметили?

— Что?

— Ну... не притворяйтесь... Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?

— Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать...

— Не притворяйтесь, К. И. Аплодируют, потому что там говорится о птице...

— О какой птице?..

— О белой... Вот! *Белая* птица. Все и рады... здесь намек на Деникина.

У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал:

— Там у Гумилева говорится: «портрет моего государя». Какого государя? Что за государь? [4] <...>

19 апреля. Сегодня впервые я видел *прекрасного* Горького — и упивался зрелищем. Дело в том, что против «Дома Искусств» уже давно ведется подкоп. Почему у нас аукцион? Почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин [5], Комиссар изобразительных искусств. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая субсидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим идеям? и проч.

Горький с черной широкополой шляпой в руках очень свысока, властным и свободным голосом:

«Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как и всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизации — мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы говорите, что у нас в «Доме Искусств» буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо одеваются — тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционе —

пусть! — человек повесит картинку — и жизнь его изменится. Он работать станет, чтоб купить другую. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, к-рый их высказывает, баллотировался в «Дом Искусства» и был забаллотирован»...

Против меня сидел Пунин. На столе перед ним лежал портфель. Пунин то закрывал его ключиком, то открывал, то закрывал, то открывал. Лицо у него дергалось от нервного тика. Он сказал, что он гордится тем, что его забаллотировали в Дом Искусства, ибо это показывает, что буржуазные отбросы ненавидят его...

Вдруг Горький встал, кивнул мне головой на прощанье — очень строгий стал надевать перчатку — и, стоя среди комнаты, сказал:

— Вот он говорит, что его ненавидят в Д[оме] И[скусств]. Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и... в их коммунизм не верю.

Подождал и вышел. Потом на лестнице представители военного ведомства говорили мне:

— Мы на этом заседании потеряли миллион. Но мы не жалеем: мы видели Горького. Это стоит миллиона! Он растоптал Пунина, к[а]к вошь.

Перед этим я говорил с Горьким. Ему следует получить на Мурм. ж. д. паек: он читает там лекции. Он говорит: нельзя ли устроить так, чтобы этот паек получала Маруся (Бенкендорф). Я спросил, не записать ли ее его родственницей.

— Напишите: родная сестра!

Конец мая. Белая ночь. Был только что у Белицкого. <...> Говорили о сестре Некрасова, Елисавете Александровне Рюмлинг — кошмаре всего управления советов. Ее облагодетельствовали с ног до головы, она просит наянливо, монотонно, часами — «А нельзя ли какао? Нельзя ли керосину? Вот говорят, что такому-то вы выдали башмаки и т. д.». Ее дочь была принята Каплуном на службу. 3 месяца не являлась, но мать пришла за жалованием. Каплун и Белицкий выдали ей свои деньги. 12 тысяч. Она пересчитывала раз десять и сказала:

— Дайте еще 400 рублей, потому что в месяц выдают 4 100 рублей (или что-то в этом роде).

Напрасно они уверяли ее, что дают ей свои деньги, она не верила и смотрела на них к[а]к на мазуриков. Это вообще ее черта: смотреть на людей как на мазуриков. Я часто отдавал ей зимою последнее полено — она брала — никогда не благодарила — и всегда смотрела на меня с подозрением. Однажды она сказала мне:

— Когда я была вам нужна, вы хлопотали обо мне...

Чем же она была мне нужна? Тем, что я устроил для нее паек, отдавал ей лампу, кофей, спички и т. д. Она думает, что я, пригласив ее выступить вместе с собою участвовать в вечере «памяти Некрасова», сделал какую-то ловкую карьеру. А между тем это была чистейшая благотворительность, очень повредившая моей лекции.

26 июня. <...> «Вечер Блока» [6]. Блок учил свои стихи 2 дня наизусть — ему очень трудно помнить свои стихи. Успех грандиозный — но Блок печален и говорит:

— Все же *этого* не было! — показывая на грудь.

28 июня. Дом Искусств. Пишу о Пожаровой. Вспомнил, что на кухне «Дома Искусств» получают дешевые обеды, встречаясь галантно, два таких пролетария, как б[ывший] князь Волконский и б[ывшая] княжна Урусова. У них в разговоре французские, англ. фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы, и на лице покорная тоска умирания. Я сказал ему в шутку на днях:

— Здравствуйте, ваше сиятельство.

Он обиженно и не шутя поправил:

— Я не сиятельство, а светлость...

И стал подробно рассказывать, почему его дед стал светлейшим. В руках у него б[ыло] помойное ведро.

Сколько английских книг я прочитал ни с того ни с сего. Начал с Pickwick'a — коего грандиозное великолепие уразумел только теперь. Читаешь — и будто в тебя вливается молодая, двадцатилетняя бессмертно-веселая кровь. После — безумную книгу Честертона «Manalive» с подозрительными афоризмами и притворной задорной мудростью, потом «Kidnapped» Стивенсона — восхитительно написанную, увлекательнейшую, потом отрывки из Барнеби Рэджа, потом Conan Doyle — мелкие рассказы (ловко написанные, но забываемые и — в глубине — бесталанные) и т. д. и т. д. И мне кажется, что при теперешней усталости я ни к какому иному чтению не способен. Ничего систематического сделать не могу. Книгу дочитать — и то труд. Начал Анну Каренину и бросил. Начал «Catriona» (Stevenson) и бросил [7].

У нас в *Доме Искусств* на кухне около 15 человек прислуги — и ни одного вора, ни одной воровки! Поразительно. Я слежу за ними пристально — и восхищаюсь, как они идиллически честны! Это аристократия нашего простонародия. Если Россия в такие годы могла дать столько честных, милых, кротких людей — Россия не погибла. Или взять хотя бы нашу Женю, милую нашу служанку, которая отдает нашей семье всю себя! Но где найти 15 честных интеллигентных людей? Я еще не видел в эту эпоху ни одного.

Читая «Анну Каренину», я вдруг почувствовал, что это — уже старинный роман. Когда я читал его прежде, это был современный роман, а теперь это произведение древней культуры, — что Китти, Облонский, Левин и Ал. Ал. Каренин так же древни, как, напр. Посошков или князь Курбский. Теперь — в эпоху советских девиц, Балтфлота, комиссарш, милиционерш, кондукторш, — те формы ревности, любви, измены, брака, которые изображаются Толстым, кажутся допотопными. И то психологичничанье, то вниканье (в оригинале пропуск. — *Е. Ч.*).

Придумал сюжет продолжения своего «Крокодила». Такой: звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми.

Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди — в Зоологическом саду — а звери ходят и щекочут их тросточками. Ваня Васильчиков спасает их.

Июль. Жара. Ермоловская [8]. Наташа Жуховецкая (6 лет) говорит:

— Пшеница — жена, а пшено — ее муж!

Октябрь 1920. Только что вернувшись из Москвы, Горький разбирал бумаги на столе и нашел телеграмму:

— «Максиму Горькому. Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк и 16 000 рублей денег».

Подписано именем, Горькому неизвестным.

Когда встречали Wells'a, Горький не ответил на поклон Пунина — не ответил сознательно. Когда же я сказал ему: зачем Вы не ответили Пунину? — он пошел разыскал Пунина и поздоровался.

Амфитеатров человек дешевый и пошлый. Двадцать лет был нововременцем. Перекинулся в радикальный лагерь — написал несчастных Обмановых (тусклую сатиру на царя, в духе Щедрина) — и был со всем комфортом сослан на короткое время в Минусинск. С тех пор разыгрывает из себя политического мученика. «Когда я был сослан»... «Когда я сидел в тюрьме»... «В бытность мою в Сибири». Чуть не ежедневно писал он о своих политических страданиях — во всех газетных фельетонах. Спекулировал на Минусинске, как мог.

Нужно возможно скорее найти себе тему. В сотый раз я берусь писать о Блоке — и падаю под неудачей. «Блок» требует уединенной души. «Анну Ахматову и Маяковского» я мог написать только потому, что заболел дизентерией. У меня оказался не то что досуг, но уединенный досуг.

Замятин беседовал с Уэльсом о социализме. Уэльс б[ыл] против общей собственности, Горький защищал е е . — А зубные щетки у Вас тоже будут общие? — спросил Уэльс.

Когда я только что «возник» в Петербурге, я был очень молод. Моя молодость скоро всем надоела. «Чуковский скоро празднует 25-летие своего 1 7 - л е т и я » , — говорил Куприн.

3 октября 1920 г. Третьего дня б[ыл] у Горького. Говорил с ним о Лернере. История такая: месяца полтора назад Горький вдруг явился во *Всемирную* и на заседании назвал Лернера подлецом. «Лернер передает всякие цифры и сведения, касающиеся «Всем. Литературы», нашим врагам, Лемке и Ионову. Поэтому его поступок

подлый, и сам он подлец, да, подлец». Лернера эти слова раздавили. Он перестал писать, есть, пить, спать — ходит по улицам и плачет. Ничего подобного я не видал. В Сестрорецке мне, больному, приходилось вставать с постели и водить его по берегу — целые часы, как помешанного. Оскорбление, нанесенное Горьким, стало его манией. Ужаснее всего было то, что, оскорбив Лернера, Горький уехал в Москву, где и пребывал больше месяца. За это время Лерн. извелся совсем. Наконец Горький вернулся — но приехал Wells и началась *неделя о Уэллсе.* Было не до Лернера. Я попробовал было заикнуться о его деле, но Горький нахмурился: «Может быть, он и не подлец, но болтун мерзейший... Он и Сергею Городецкому болтал о «Всем. Литературе» и т. д.». Я отошел ни с чем. Но вот третьего дня вечером я пошел к Ал. М. на Кронверкский — и, несмотря на присутствие Уэллса, поговорил с Горьким вплотную. Горький прочел письмо Лернера и сказал: *да, да, Лернер прав, нужно вот что: соберите членов «Всем. Лит.» в том же составе, и я извинюсь перед Лернером — причем отнесусь к себе так же строго, как отнесся к нему».* Это меня страшно обрадовало. — Почему вы разлюбили «Всем. Лит.»? — спросил я. — Теперь вы любите «Дом Ученых»? — Очень просто! — ведь из «Дома Ученых» никто не посылал на меня доносов, а из «Всем. Лит.» я сам видел *4* доноса в Москве, в Кремле (у Каменева). В одном даны характеристики всех сотрудников «Всем. Литер.» — передано все, что говорит Алексеев, Волынский и т. д. *Один только Амфитеатров представлен в мягком, деликатном виде.* (Намек на то, что Амф. и есть доносчик.) Другой донос — касается денежных сумм. Все это мерзко. *Не потому, что касается меня, я вовсе не претендую на чью-нибудь любовь, как-то никогда это не занимало меня.* Я знаю, что меня должны не любить, не могут любить, — и примирился с этим. *Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя».* Я сидел ошеломленный.

Сейчас Горький поссорился с властью и поставил Москве ряд условий. Если эти условия будут не приняты, Горький, по его словам, уйдет от всего: от Гржебина, от «Всем. Лит.», от Дома Искусств и проч.

19 ноября. Встретил на Невском Амфитеатрова: «Слыхали, Горький уезжает за границу: Горький, Марья Федор. и Родэ. Родэ устроит маленький кафешантанчик, Мар. Ф. будет петь, а Горький будет у них вышибалой, вроде Васьки Красного». Вот до каких пределов дошла у Амфит. ненависть к Горькому.

23 ноября. Утром при светлячке пишу. Только что кончил «Муравьева и Некрасова» [9] и снова берусь за Блока. Но как-то потерял аппетит. «Стихи о прек. Даме», столь чаровавшие меня в юности, словно умерли для меня. Читаю — одни слова! На шестое декабря я назначил снова свою лекцию об Мурав. и Н. — Не знаю, будет ли

сбор. Сейчас побегу хлопотать. Мурочке 9 месяцев, она делает невообразимые гримасы. Когда я беру ее на руки, она первым долгом берет меня за усы, п. ч. усы — мой главный отличит. признак от всех окружающих ее безусых. Ее очень забавляет вентилятор у меня в комнате, кукла с проломленной головой без рук, «огонечек» и «лошадка». Стоит только сказать слово «огонечек», и она поднимает голову вверх. <...>

25 ноября. Вчера Блок на заседании у Тихонова (Всем. Лит.) подошел ко мне и словоохотливо рассказал, что он б[ыл] у художника Браза и что там б[ыл] немецкий писатель Голичер, который приехал изучать советский быт. Голичер говорил: — Не желайте лучшего, теперь всякий другой строй будет хуже большевистского. (Очевидно, для Блока эти слова оч. значительны.) — И вы согласились с ним? — «Не с ним, а с тоном его голоса. Он говорил газетные затасканные вещи, но тон был очень глубокий»[10]. Заговорили о Горьком. «Горьк. притворяется, что он решил все вопросы и что он не верит в Бога... Есть в нем что-то поэтическое, затаенное». <...>

28 ноября. Весь день вчера читал Влад. Соловьева: о Конте, о Платоне, о П[у]шк[ине], о Лерм. — туповато. Покуда высказывает общеобязательные мысли — хорошо, умно; чуть перейдет к *своим* — натяжки и плоскость. Читал Вяч. Иванова: о Достоевском, о Чурлянисе. Вечером — лекция о Достоевском. Нас снимали при магнии. Слушателей было множество. Была, между проч., Ирина Одоевцева, с к-рой — в «Дом Искусств» и обратно. Лида ударилась в стихотворство. — Лида играет (кажется, Баха), я смотрю на беловатый дым, который кусками, порывисто вздымается вверх (во дворе напротив, от костра), и мне кажется, что он пляшет под Лидину музыку, то замедляя, то ускоряя темп. <...>

1 декабря 1920 г. <...> Вчера витиеватый Левинсон на заседании Всемирной Литературы — сказал Блоку: «Ч[уковский] похож на какого-то диккенсовского героя». Это удивило меня своей меткостью. Я действительно чувствую себя каким-то смешным, жалким, очень милым и забавно-живописным. Даже то, как висят на мне брюки, делает меня диккенсовским героем. Но никакой поддержки, ниоткуда. Одиночество, каторга и — ничего! Живу, смеюсь, бегаю — диккенсовский герой, и да поможет мне диккенсовский Бог, тот великий Юморист, к-рый сидит на диккенсовском небе. <...>

5 декабря. Все дни б[ыл] болен своей старой гнусностью: бессонницей. Вчера почтовым поездом в Питер прибыл, по моему приглашению, Маяковский. Когда я виделся с ним месяц назад в Москве, я соблазнял его в Питер всякими соблазнами. Он пребывал непреклонен. Но когда я упомянул, что в «Доме Искусств», где у него будет жилье, есть биллиард, он тотчас же согласился. Прибыл он с женою Брика, Лили Юрьевной, которая держится с ним чудесно: дружес-

ки, весело и непутанно. Видно, что связаны они крепко — и сколько уже лет: с 1915. Никогда не мог я подумать, чтобы такой ч[елове]к, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною. Но теперь бросается в глаза именно то, чего прежде никто не замечал: основательность, прочность, солидность всего, что он делает. Он — верный и надежный ч[еловек]: все его связи со старыми друзьями, с Буниным, Шкловским и проч. остались добрыми и задушевными. Прибыли они в «Дом Искусств» — часа в 2; им отвели библиотеку — близ столовой — нетопленную. Я постучался к ним в четвертом часу. Он спокоен и уверенно прост. Не позирует нисколько. Рассказывает, что в Москве «Дворец Искусства» называют «Дворец Паскудства», что «Дом Печати» зовется там «Дом Скучати», что Шкловский в «Доме Скучати» схватился с Керженцевым (к-рый доказывал, будто творчество Луначарского мелкобуржуазно) и сказал: «Лунач. потому не пролетарский писатель, что он плохой писатель». Лунач. присутствовал. «Лунач. говорил как Бог, отлично говорил... Но про Володю (Мая[ковск]ого) сказал, жаль, что Маяковский под влиянием Брика и Шкловского», — вмешалась Лиля Юрьевна. Мы пообедали вчетвером: Маяк., Лиля, Шкловский и я. «Кушайте наш белый хлеб! — потчевал Маяковский. — Все равно если вы не съедите, съест Осип Мандельштам». <...> У нас (у членов «Дома Искусств») было заседание — скучное, я сбежал, — а потом началась Ходынка: перла публика на Маяковского. Я пошел к нему опять — мы пили чай — и говорили о Лурье. Я рассказал, как милая талантливая Ольга Афанасьевна Судейкина здесь, одна, в холоде и грязи, без дров, без пайков сидела и шила свои прелестные куклы, а он там в Москве жил себе по-комиссарски.

— Сволочь, — говорит Маяк. — Тоже... вс*якое* Лурьё лезет в комиссары, от этого Лу*рья* жизни нет! Как-то мы сидели вместе, заговорили о Блоке, о цыганах, он и говорит: едем (туда-то), там цыгане, они нам все сыграют, все споют... я ведь комиссар музык. отдела.

А я говорю: «Это все равно, что с околоточным в публичный дом».

Потом Ходынка. Дм. Цензор, Замятин, Зин. Венгерова, Сер. П. Ремизова, Гумилев, Жоржик Иванов, Киселева, Конухес, Альтман, Викт. Ховин, Гребенщиков, Пунин, Мандельштам, худ. Лебедев и проч. и проч. и проч. Очень трогательный и забавный угол составили дети: ученики Тенишевского училища. Впереди всех Дрейден — в очках — маленькая мартышка. Боже, как они аплодировали. Маяк. вышел — очень молодой (на вид 24 года), плечи ненормально широки, развязный, но не слишком. Я сказал ему со своего места: сядьте за стол. Он ответил тихо: вы с ума сошли. Очень не удалась ему вступительная речь: вас собралось так много оттого, что вы думали, что 150 000 000 это рубли. Нет, это не рубли. Я дал в Государств. изд. эту вещь. А потом стал требовать назад: стали говорить: Маяк. требует 150 000 000 и т. д.

Потом начались стихи — об Иване. Патетическую часть прослушали скучая, но когда началась ёрническая вторая часть о Чика-

го — публика пришла в умиление. Я заметил, что всех радуют те места, где Маяк. пользуется интонациями разговорной речи нашей эпохи, 1920 г.: это кажется и ново, и свежо, и дерзко:

— Аделину Патти знаете? Тоже тут.

— И никаких гвоздей.

Должно быть, когда Крылов или Грибоедов воспроизводили естествен. интонации своей эпохи — это производило такой же эффект. Третья часть утомила, но аплодисменты были сумасшедшие. Конухес только плечами пожимал: «Это идиотство!» Многие говорили мне: «Теперь мы видим, как верна ваша статья о Маяк.!» [11] Угол с тенишевцами бесновался. Не забуду черненького, маленького Познера, который отшибал свои детские ладошки. Я сказал Маяк.: — Прочтите еще стихи. — Ничего, что революционные? — спросил он, и публика рассмеялась. Он читал и читал — я заметил, что публика лучше откликается на его юмор, чем на его пафос. А потом тенишевцы, предводимые Лидой, ворвались к нему в комнату — и потребовали «Облако в штанах». Он прочитал им «Лошадь». Замятина я познакомил с Маяк. Потом большая компания осталась пить с Маяк. чай, но я ушел с детьми домой — спать. <...>

6 декабря. Сегодня у меня 2 лекции: одна в Красноарм. университете, другая — в Доме Искусств, публичная — о Некрасове и Муравьеве. А я не спал ночь, усталый — после вчерашней лекции в библиотеке, на краю города. За эту неделю я спал одну только ночь и уже не пробую писать, а так, слоняюсь из угла в угол. <...> В библиотеке мне рассказывали, что какой-то библиотекарь (из нынешних) составил такой каталог, где не было ни Пушк., ни Лермонтова. Ищут, ищут — не найти. Случайно глянули на букву С, там они все, под рубрикой: «Сочинения»! По словам библиотекарши, взрослые теперь усерднее всего читают Густава Эмара и Жюль Верна. <...>

7 декабря. Вчера я имел очень большой успех — во время повторения лекции о Муравьеве, Ничего такого я не ждал. Во-первых, была приятная теснота и давка — стояли в проходах, у стен, не хватило стульев. Приняли холодно, ни одного хлопка, но потом — все теплее и теплее, в смешных местах много смеялись — и вообще приласкали меня. Маяковский послушал 5 минут и ушел. Были старички, лысые — не моя публика. Барышень мало. Когда я кончил и ушел к Мише Слонимскому, меня вызвали какие-то девы и потребовали, чтобы я прочитал о Маяковском. — У Маяк. я сидел весь день — между своей утренней лекцией в Красн. У[ниверсите]те и — вечерней. Очень метко сказала о нем Лиля Юрьевна: «Он теперь обо всех говорит хорошо, всех хвалит, все ему нравятся». Это именно то, что заметил в нем я, — большая перемена. «Это оттого, что он стал уверен в себе», — сказал я. «Нет, напротив, он каждую минуту сомневается в себе», — сказала она. <...> Все утро Маяк. искал у нас в библиотеке Дюма, а после обеда учил Лилю играть на биллиарде. Она говорит, что ей 29 лет, ему лет 27—28, он любит ее благодушно

и спокойно. Я записал его стихи о Солнце — в чтении они произвели на меня большое впечатление, а в написанном виде — почти никакого. Он говорит, что мой «Крокодил» известен каждому московскому ребенку.

8 декабря. Маяковский забавно рассказывал, как он б[ыл] когда-то давно у Блока. Лиля была именинница, приготовила блины — велела не запаздывать. Он пошел к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела ему достать у Блока его книги — с автографом. — Я пошел. Сижу. Блок говорит, говорит. Я смотрю на часы и рассчитываю: десять минут на разговор, десять минут на просьбу о книгах и автографах и минуты три на изготовление автографа. Все шло хорошо — Блок сам предложил свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо — сидит пять минут, десять, пятнадцать. Я в ужасе — хочу крикнуть: скорее! — он сидит и думает. Я говорю вежливо: вы не старайтесь, напишите первое, что придет в голову, — он сидит с пером в руке и думает. Пропали блины! Я мечусь по комнате, как бешеный. Боюсь посмотреть на часы. Наконец Блок кончил. Я захлопнул книгу — немного размазал, благодарю, бегу, читаю: Вл. Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю.

Вчера у нас было заседание «Всем. Лит.». У-ух, длинное. Я докладывал о Уордсворте, о Жирмунском и о будущих лекциях «Всем. Лит.». Сильверсван — убийственный доклад об Эйхенбауме как редакторе Шиллера. <...>

22 декабря 1920. Вчера на заседании Правления Союза Писателей кто-то сообщил, что из-за недостатка бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не доходят до читателей. *Блок* (весело, мне): — Вот хорошо! Слава Богу! <...>

Читали на засед. «Всемирной Лит.» ругательства Мережковского — против Горького[12]. Блок (шепотом мне): — А ведь Мережк. прав.

Говорили о том, что очень нуждается Буренин. Волынский, которого Буренин травил всю жизнь, пошел к нему и снес ему 10 000 рублей, от Лит. Фонда (который тоже был травим Бурениным). Блок сказал: — Если бы устроили подписку в пользу Буренина, я с удовольствием внес бы свою лепту. Я всегда любил его. <...>

1921

1-ое января. Я встречал Новый Год поневоле. Лег в 9 час. — не заснуть. Встал, оделся, пошел в столовую, зажег лампу и стал корректировать Уитмэна. Потом — сделал записи о Блоке. Потом прочитал рассказ Миши Слонимского — один — в пальто — торжественно и очень, очень печально. Сейчас сяду писать статью для жур-

нала милиционеров!! Вчера было заседание по Дому Искусств во «Вс. Лит.». Примирился с Чудовским.

3 января. Вчера черт меня дернул к Белицким. Там я познакомился с черноволосой и тощей Спесивцевой, балериной — нынешней женой Каплуна. Был Борис Каплун — в желтых сапогах, — очень милый. Он бренчал на пьянино, скучал и жаждал развлечений. — Не поехать ли в крематорий? — сказал он, как прежде говорили: «Не поехать ли к «Кюба» или в «Виллу Родэ»? — А покойники есть? — спросил кто-то. — Сейчас узнаю. — Созвонились с крематорием, и оказалось, что, на наше счастье, есть девять покойников. — Едем! — крикнул Каплун. Поехал один я да Спесивцева, остальные отказались [1]. <...> Правил Борис Каплун. Через 20 минут мы были в бывших банях, преобразованных по мановению Каплуна в крематорий. Опять архитектор, взятый из арестантских рот, задавивший какого-то старика и воздвигший для Каплуна крематорий, почтительно показывает здание; здание недоделанное, но претензии видны колоссальные. Нужно оголтелое здание преобразовать в изящное и грациозное. Баня кое-где облицована мрамором, но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того чтобы сделать потолки сводчатыми, устроены арки — из... из... дерева, которое затянуто лучиной. Стоит перегореть проводам — и весь крематорий в пламени. Каплун ехал туда, как в театр, и с аппетитом стал водить нас по этим исковерканным залам. <...> К досаде пикникующего комиссара, печь оказалась не в порядке: соскочила какая-то гайка. Послали за спецом Виноградовым, но он оказался в кинематографе. Покуда его искали, дежурный инженер уверял нас, что через 20 минут все будет готово. Мы стоим у печи и ждем. Лиде холодно — на лице покорность и скука. Есть хочется невероятно. В печи отверстие, затянутое слюдой, — там видно беловатое пламя — вернее, пары — напускаемого в печь газа. Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах. Я пошел со Спесивцевой в мертвецкую. Мы открыли один гроб (всех гробов было 9). Там лежал — пятками к нам — какой-то оранжевого цвета мужчина, *совершенно голый,* без малейшей тряпочки, только на ноге его белела записка «Попов, умер тогда-то». — Странно, что записка! — говорил впоследствии Каплун. — Обыкновенно делают проще: плюнут на пятку и пишут чернильным карандашом фамилию.

В самом деле: что за церемонии! У меня все время было чувство, что церемоний вообще никаких не осталось, все начистоту, откровенно. Кому какое дело, как зовут ту ненужную падаль, которую сейчас сунут в печь. Сгорела бы поскорее — вот и все. Но падаль, как назло, не горела. Печь была советская, инженеры были советские, покойники были советские — все в разладе, кое-как, еле-

еле. Печь была холодная, комиссар торопился *уехать*. — Скоро ли? Поскорее, *пожалуйста*. — Еще 20 минут! — повторял каждый час комиссар. Печь остыла совсем. <...> Но для развлечения гроб приволокли раньше времени. В гробу лежал коричневый, как индус, хорошенький юноша красноармеец, с обнаженными зубами, как будто смеющийся, с распоротым животом, по фамилии Грачев. (Перед этим мы смотрели на какую-то умершую старушку — прикрытую кисеей — синюю, как синие чернила.) <...> Наконец, молодой строитель печи крикнул: — Накладывай! — похоронщики в белых балахонах схватились за огромные железные щипцы, висящие с потолка на цепи, и, неуклюже ворочая ими и чуть не съездив по физиономиям всех присутствующих, возложили на них вихлящийся гроб и сунули в печь, разобрав предварительно кирпичи у заслонки. Смеющийся Грачев очутился в огне. Сквозь отверстие было видно, как горит его гроб — медленно (печь совсем холодная), как весело и гостеприимно встретило его пламя. Пустили газу — и дело пошло еще веселее. Комиссар был вполне доволен: особенно понравилось всем, что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца и поднялась вверх — «Рука! рука! смотрите, рука!» — потом сжигаемый весь почернел, из индуса сделался негром, и из его глаз поднялись хорошенькие голубые огоньки. «Горит мозг!» — сказал архитектор. Рабочие толпились вокруг. Мы по-очереди заглядывали в щелочку и с аппетитом говорили друг другу: «раскололся череп», «загорелись легкие», вежливо уступая дамам первое место. Гуляя по окрестным комнатам, я со Спесивцевой незадолго до того нашел в углу... свалку человеческих костей. Такими костями набито несколько запасных гробов, но гробов недостаточно, и кости валяются вокруг. <...> кругом говорили о том, что урн еще нету, а есть ящики, сделанные из листового железа («из старых вывесок»), и что жаль закапывать эти урны. «Все равно весь прах не помещается». «Летом мы устроим удобрение!» — потирал инженер руки. <...>

Инженер рассказывал, что его дети играют в крематорий. Стул это — печь, девочка — покойник. А мальчик подлетит к печи и бубубу! — Это — Каплун, к-рый мчится на автомобиле.

Вчера Мура впервые — по своей воле — произносила папа: научилась настолько следить за своей речью и управлять ею. Все эти оранжевые голые трупы тоже были когда-то Мурочками и тоже говорили когда-то впервые — па-па! Даже синяя старушка — была Мурочкой.

4 января. Вчера должно было состояться первое выступление «Всемирной Литературы». Ввиду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы решили создать себе рекламу среди публики, «апеллировать к народу». Это была всецело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы

решили, что Горький скажет несколько слов о деяниях Всемирной Литературы. Но случилось другое.

Начать с того, что Г[орький] прибыл в Дом Иск. очень рано. Зашел зачем-то к Шкловскому, где стоял среди комнаты, нагоняя на всех тоску. (Шкл. не было.) Потом прошел ко мне. Я с Добужинским попробовал вовлечь его в обсуждение программы Народных чтений о литературе в деревне, но Горький понес такую скучную учительную чепуху, что я прекратил разговор: он говорил, напр., что Достоевского не нужно, что вместо характеристик Гоголя и Пушк. нужно дать «краткий очерк законов развития литературы». Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белопольский, Горький еще больше насупился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продолжался игривый и интимный разговор. Торопился он выступить ужасно. Я насилу удержал его до четверти 8-го. Публика еще собиралась. Тем не менее он пошел на эстраду, сел за стол и сказал: «Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу о литературе русской. Это вам ближе. Что такое была русская литература до сих пор? Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это, или это болезнь... Мерили литературу не ее достоинствами, а ее политич. направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хорош[ий] писатель Достоевск[ий] не имел успеха потому, что не б[ыл] либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил П[у]шк[ина]. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист — плох. Что же делать писателям не коммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом деле, как и в каждом доме, есть два выхода, парадный и черный. Можно было бы выйти на парадный ход и заявить требования, заявить протест, но — приведет ли это к каким-ниб. результатам? Потому-то писатели теперь молчат, а те, к-рые пишут, это главн. обр. потомки Смердякова. Если кто хочет мне возразить — пожалуйста!

Никто не захотел. «Как любит Г[орький] говорить на два фронта», — прошептал мне Анненков. Я кинулся за Горьк. «Ведь нам нужно было совсем не то». И рассказал ему про нашу затею. Оказывается, он ничего не знал. Только теперь ему стало ясно — и он обещал завтра (т. е. сегодня) прочитать о «Всем. Лит.».

5 января. <...> Во «Всем. Лит.» проф. Алексеев читал глупый и длинный доклад — об английской литературе (сейчас) — и в этом докладе меня очаровала чья-то статья о Чехове (переведенная из «Athenaeum'a») — и опять сердце залило к[а]к вином, и я понял, что по-прежнему Чехов — мой единств. писатель.

12 января. <...> Был я третьего дня у Блока. Тесно: жена, мать, сестра жены, кошкообразная Книпович. О стихах Блока: «Незнакомку» писал, когда был у него Белый — целый день. Белый взвизгивал, говорил — «а я послушаю и опять попишу». Показывал мне

парижские издания «Двенадцати». Я заговорил о европейской славе. «Нет, мне представляется, что есть в Париже еврейская лавчонка — которой никто не знает — и она смастерила 1 2 ». — «Почему вы пишете ужъ, а не ужъ?» [2] — «Буренин высмеял стихотворение, где *ужъ,* приняв за Живого ужа». — «Что такое у вас в стихах за «Звездная месть»? — «Звездная месть» — чепуха, придуманная черт знает зачем, а у меня было раньше: «ах, как хочется пить и есть».

«Мой Христос в конце «Двенадцати», конечно, наполовину литературный, — но в нем есть и правда. Я вдруг увидал, что с ними Христос — это было мне очень неприятно — и я нехотя, скрепя сердце — *должен был поставить Христа».*

Он показал мне черновик «Двенадцати» — удивительно мало вариантов отвергнутых. Первую часть — больше половины — он написал сразу — а потом, начиная с «Невской башни», «пошли литературные фокусы». Я задавал ему столько вопросов о его стихах, что он сказал: «Вы удивительно похожи на следователя в Ч. К», — но отвечал на вопросы с удовольствием[3]. «Я все ваши советы помню, — сказал он мне. — Вы советовали выкинуть куски в стих. «России», я их выкину. Даты поставлю». Ему очень понравилось, когда я сказал, что «в своих гласных он не виноват»; «Да, да, я их не замечаю, я думаю только про согласные, отношусь к ним сознательно, в них я виноват. Мои «Двенадцать» и начались с согласной *ж:*

Уж я ножичком
Полосну, полосну». <...>

2 февраля. Гумилев — Сальери, который даже не завидует Моцарту. Как вчера он доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок *бессознательно* доходит до совершенства, а он — сознательно. Он, как средневековый схоласт, верует в свои догматы абсолютно-прекрасного искусства. Вчера — он молол вздор о правилах для писания и понимания стихов. <...> В своей каторжной маяте — работая за десятерых — для того чтобы накормить 8 человек, которых содержу я один, — я имел утренние часы для себя, только ими и жил. Я ложился в 7—8 часов, вставал в 4 и писал или читал. Теперь чуть я сяду за стол, Марья Борисовна несет ко мне Мурку — подержи! — и пропало все, я сижу и болтаю два-три часа: кисанька, кисанька мяу, мяу, кисанька делает мяу, а собачка: гав, гав, собачка делает гав, гав, а лошадка но, но! гоп! гоп! — и это каждый день. Безумно завидую тем, кто имеют хоть 4 часа в день — для писания. Это время есть у всех. Я один — такой проклятый. После убаюкивания Мурки я занимаюсь с Бобой. Вот и улетает мое утро. А в 11 час. куда-нибудь — в Петросовет попросить пилу для распилки дров, или в Дом Ученых, не дают ли перчатки, или в Дом Литераторов — нет ли капусты, или в Петрокомнетр, когда же будут давать паек, или на Мурманку — нельзя ли получить продукты без карточки и т. д. А воинская повинность, а детские документы, а дрова, а ман-

ная крупа для Мурочки — из-за фунта этой крупы я иногда трачу десятки часов.

3 февраля. Вчера в Доме Ученых встретил в вестибюле Анну Ахматову: весела, молода, пополнела! «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока — для вашей девочки». Вечером я забежал к ней — и дала! Чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому — бутылку молока! <...>

9 февраля. Вчера вечером я б[ыл] взволнован до слез беседой со старушкой Морозовой, вдовой Петра Осиповича. Меня позвали к ней вниз, в коридор, где живут наиболее захудалые жильцы «Дома Искусств». Она поведала мне свое горе: после Петра Осиповича осталась огромная библиотека, стоящая неск. миллионов — а может быть и миллиард. Комиссариат хочет разрознить эту библиотеку: часть послать в провинцию, в какой-то нынешний университет, часть еще куда-то, а часть — отдать в Институт Живого Слова — Гернгросу. — А Гернгрос жулик! — восклицает о н а . — Он на Александринской сцене недаром так хорошо играет жуликов. Он сам прохвост! И я ему ни одной книжки не дам. Мое желание отдать всю библиотеку бесплатно второму Педагогическому Институту, что на площади св. Марка («ах, нет, не Марка, а Маркса, я все путаю!»). В этом институте покойный П. О. читал, там его любили, я хочу всю библиотеку отдать бесплатно в этот институт.

— Но ведь Гернгрос вам заплатит!

— Не хочу я книгами своего мужа торговать. Я продам его шубу, брюки продам, но книг я продавать не желаю. Я лучше с голоду помру, чем продавать книги...

И действительно помирает с голоду. Никаких денег, ни крошки хлеба. Меня привела к ней добрейшая душа (сестра художника) Мария Александровна Врубель, которая и сказала ей, что, увы, хлеба она нигде не достала. И вот, сидя в холодной комнатенке, одна, седая, хилая старушонка справляет голодную тризну в годовщину со дня смерти своего Петра Осиповича. Один только Модзалевский вспомнил об этой годовщине — и прислал ей сочувственное письмо.

— Я каждый день ходила в Комиссариат Просв. к Кристи. И он велел меня не п р и н и м а т ь . — Должно быть, у вас много времени, если вы каждый день являетесь ко мне на п р и е м , — говорил о н . — И буду являться, буду, буду, не желаю я, чтобы вы отдавали библиотеку прохвосту. Только через мой труп вы унесете хоть одну книжку Петра Осиповича к Гернгросу.

Это очень патетично: вдова, спасающая *честь* библиотеки своего мужа. Она подробно рассказывала мне о смерти Петра Осиповича; а я слушал и холодел, она так похожа на Марию Борисовну — и весьма возможно, даже несомненно, что лет через 10 моя вдова будет таким же манером, в холодной богаделенской комнатке, одна, всеми кинутая, будет говорить и обо мне.

13 февраля 1921 г. Только что в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднества в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол — за столом Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревский, Щеголев и Илья Садофьев (из Пролеткульта). Должен был быть Кузьмин из Наробраза, но его не было. Жаль, за столом не сидел Ал. Ремизов. Пригласили и меня, но я отказался. Впрочем, меня пригласили в задний ряд, где сидели: Волынский, Губер, Волковыский и др. Речь Кони (в к-ром я почему-то разочаровался) — внутренне равнодушна и внешня. За дешевыми ораторскими фразами чувствовалась пустота. Стишки М. Кузмина, прошепелявенные не без у ж и м к и , — стихи на случай — очень обыкновенные. После Кузмина — Блок. Он в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно. (Еще до начала спрашивал: — Будет ли Ионов? И вообще из официальных кругов?) Пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что П[у]шк[ин] мог творить, а нам (поэтам) теперь — смерть [4]. Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли. Садофьев, напр., аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго. После в артистической — трясущая головой Марья Валентиновна Ватсон, фанатичка антибольшевизма, долго благодарила его, утверждая, что он «загладил» свои «Двенадцать». Кристи сказал: «Вот не думал, что Блок, написавший «Двенадцать», сделает такой выпад». Волынский говорил: «Это глубокая вещь». Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилевым. Потом концерт. Пела Бриан «письмо Татьяны» — никакого на меня впечатления. Когда я сказал, что Бриан — акушорка, Волынск[ий] отозвался: «Ну вот, вы недостаточно чутки...» *Блок* вдруг оживился: да, да, акушорка, верно! — и даже благодарно посмотрел на меня. Вол.: «Значит, вы очень чутки». Потом заседание «Всерос. Союза Писателей» — о моем письме по поводу Уэллса. Спасибо всем. Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гумилев. Я и не ожидал, что люди вообще могут так горячо отозваться на чужую обиду [5]. Губер живо составил текст постановления, и я ушел с заседания в восторге. От восторга я пошел проводить Мишу Слонимского, Шкловского, Оцупа — вернулся домой и почти не с п а л . — Опять идет бесхлебица, тоска недоедания. Уже хлеб стал каким-то редким лакомством — и Коле Мар. Бор. ежеминутно должна говорить: «Зачем ты взял до обеда кусок? Отложи». <...>

14 февраля. Утро — т. е. ночь. Читаю — «Сокровище Смиренных» Метерлинка, о звездах, судьбах, ангелах, тайнах — и невольно думаю: а все же Метерлинк был сыт. Теперь мне нельзя читать ни о чем, я всегда думаю о пище; вчера читал Чехова «Учитель словесности», и меня ужасно поразило то место, где говорится, что они посетили молочницу, спросили молока, но *не пили*. Не пили молока!!! Я сказал детям, и оказывается, они все запомнили это

место и удивлялись ему, как я. <…> А все же Метерлинк — велосипедист мистицизма. Я запретил Коле сотрудничать в Роста, потому что там каждое его стихотворение считается контрреволюционным. Когда Маяк. звал Колю туда, мы думали, что там можно будет работать в поэтической и честной среде. Оказывается, казенщина и смерть. Завтра я еду вместе с Добужинским в Псковскую губернию, в имение Дома Искусств Холомки, спасать свою семью и себя — от голода, который надвигается все злее. <…>

18 февраля 1921. Холомки. <…> Вообще, я на 4-м десятке открыл деревню, впервые увидал русского мужика. И вижу, что в основе это очень *правильный* жизнеспособный несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. Главная его сила — доброта. Я никогда не видел столько по-настоящему добрых людей, как в эти три дня. Баба подарила княгине Гагариной валенки: на, возьми Христа ради. Сторож у Гагариных — сейчас из Парголова. «Было у меня пуда два хлеба, солдаты просили, я и давал; всю картошку отдал и сам стал голодать». А какой язык, какие слова. Вчера сообщили, что около белого дома — воры. Мы — туда. Добуж., княгиня, княжна, мужики. — Сторож: «Мы их еще *теплых* поймаем». Жаловались на комиссара, который отобрал коров: ведь коровы не грибы, от дождя не растут. <…> Очень забавны плакаты в городе Порхове. — В одном окошке выставлено что-то о сверхчеловеке и подписано: «Так говорил Заратустра». Заратустра в Порхове! <…>

20 февраля. Добужинский дома — игрив и весел. Вечно напевает, ходит танцуя. <…> Любит мистификации, игры слов и т. д. Его сын Додя — с очень милыми смешными волосами — затейливый и способный подросток. <…> Хочу записать о Софье Андр. Гагариной. В первый раз она не произвела на меня впечатления и даже показалась дурнушкой — но вчера очаровала своей грацией, музыкальностью движения, внутренним тактом. В каждой ее позе — поэзия. <…> Обожают С. А. мужики очень. Она говорит не мужики, а *деревенские*. Они зовут ее княжна, княгинька, и *Сонька*. Она для них свой человек, и то, что она пострадала, сделало ее близкой и понятной для всех. Княгиня Мария Дмитриевна, вдова директора Полит[ехнического] Института, показывала вчера те благодарственные приветственные адреса, которые были поднесены старому князю во время его борьбы с правительством Николая. Среди студенческих подписей есть там и подпись Евг. Замятина. Сегодня видел деревенскую свадьбу. Сани шикарные, лошади сытые. Мужики и бабы в санях на подушках. Посаженый отец вел невесту и жениха, как детей, по улице. Ленты, бусы, бубенцы — крепкое предание, крепкий быт. Русь крепка и прочна: бабы рожают, попы остаются попами, князья князьями — все по-старому на глубине. Сломался только городской быт, да и то возникнет в пять минут. Никогда еще Россия, как нация, не б[ыла] так несокрушима. <…>

4 марта 1921. Когда мы с Добужинским ехали обратно в Петербург, мы попали в актерский вагон. Там ехал «артист» Давидович — с матерью, к-рую он тоже записал в актрисы «для продовольствия». <...> Газетные сплетни обо мне — будто я б[ывший] агент — возмутили профессиональный союз писателей, к-рый единодушно постановил выразить свой протест. Протест был послан в «Жизнь Искусства», вместе с моим письмом о Уэльсе — и там Марья Федоровна Андреева уничтожила его своей комиссарской властью. Вчера в Лавке писателей при Доме искусств был Блок, Добужинский, Ф. Ф. Нотгафт. Блок, оказывается, ничего не знал о кронштадтских событиях[6], — узнал все сразу, и *захотел спать*. «Я всегда хочу спать, *когда события*. Клонит в сон. И вообще становлюсь вялым. Так во всю революцию». И я вспомнил, что то же бывало и с Репиным. Чуть тревога — спать! Добужинский тоже говорит: — Я ничего не чувствую... <...>

7 марта. Необыкновенный ветер на Невском, не устоять. Вчера меня вызвали к Горькому — я думал, по поводу журнала, оказалось — по поводу пайков. Кристи, Пунин, представители Сорабиса, Изо, Музо и т. д. Добужинский, Волынский, Харитон и *Волковыский* — в качестве частных лиц с правом совещательного голоса. Заговорили о комиссиях, подкомиссиях и т. д., и я ушел в комнату Горького. Горький раздражительно стучал своими толстыми и властными пальцами по столу — то быстрее, то медленнее — как будто играл какой-то непрерывный пассаж, иногда только отрываясь от этого, чтобы послюнить свою правую руку и закрутить длинный, рыжий ус (движение судорожное, повторяемое тысячу раз). Мы с Замятиным сели за его стол — на котором (на особом подносике) дюжины полторы длинных и коротких, красных и синих карандашей, красные (текст утрачен. — *Е. Ч.*) (он пишет только — красными), Ибн Туфейль, только что изданный Всемирной Литературой, — все в дивном порядке. На другом столе — груда книг. «Вот для библиотеки Дома Искусств... я отобрал книги... вот...» — сказал он мне. Он сух и мне чужд. Мы отлично и споро занялись с Замятиным. Замятин, как всегда, сговорчив, понятлив, работящ, easy going * — отобрали стихи, прозу. Потом пришел Добужинский и Горький. Горькому приносили письма (между прочим от Философова?), он подписывал, выбегал, вбегал — эластичен, как всегда (у него всегда, когда он сидит, чувствуется готовность встать и пойти: зовут, напр., к телефону, или кто пришел, он сейчас: идет, скажет и назад — продолжает ту же канитель). «С[лаб] номер «Дома Искусств». Как сказал бы Толстой — без изюминки. Да, да. Нет изюминки. Зачем статья Блока?.. Нет, нет. Как будто в безвоздушном пространстве» (он сделал лицо нежным и сладким, чтобы не звучало как выговор). Я сказал ему, что у публики другое чувство, что в «Доме Литер.», напр., журнал очень хвалили, что я получаю при-

* Добродушен (*англ.*).

ветственные письма, что статья Замятина «Я боюсь» пользуется общим фа[вором], и разговор, как всегда у Горького, перешел на политику. И, как всегда, он понес ахинею. Наивные люди, редко встречавшие Горького, придают поначалу большое значение тому, что говорит Горький о политике. Но я знаю, с каким авторитетным и тяжелодумным видом он повторял в течение этих двух лет самые несусветные сплетни и пуффы. Теперь он говорил об ультиматуме, о том, что в 6 часов может начаться пальба, о том, что б[ольшеви]кам несдобровать. Заговорили об аресте Амфитеатрова. «Боюсь, что ему помочь будет трудно, хотя какая же за ним вина? Я понимаю Дан — тот печатал прокламации и проч., но Амфитеатров... одна болтовня...» То же думаю и я. Амф. [нужна] только реклама, потом 20 лет он будет в каждом фельетоне писать об ужасах Ч[резвычай]ки и изображать себя политич. мучеником. Ну, пора за Блока — уже рассвело. Боюсь, что он у меня вял и мертв.

9 марта. Среда. Больше всего поразило меня в деревне то, что мужик, угощая меня, нищего, все же называл меня кормилец. «Покушай, кормилец»... «Покушай, кормилец...» В воскр. был я у Гржебина. Он лежит зеленый — мертвец: его доконали б[ольшеви]ки. Он три года уложил работы, чтобы дать для России хорошие книги; сколько заседаний, комиссий для выработки плана, сколько денег, тревог. Съездил за границу, напечатал десятки книг — в переплетах, с картинками, и — теперь все провалилось. «Госуд. Издательство» не хочет взять у него эти книги (которые были заказаны ему Гос. Изд-вом), придираясь к каким-то пустякам. Все дело в том, что во главе изд-ва стоит красноглазый вор Вейс, который служил когда-то у Грж. в «Шиповнике». Теперь от него зависит судьба этого большого и даровитого человека. — Вчера б[ыло] заседание Проф. Союза Писателей о пайках. Блок сидел рядом со мною и перелистывал Гржебинское издание «Лермонтова», изд[анного] под его, Блока, редакцией [7]. «Не правда ли *такой* Лермонтов, только *такой?* — спросил он, указывая портрет, приложенный к изданию. — Другие портреты — вздор, только этот...» Когда голосовали, дать ли паек Оцупу, Блок б[ыл] против. Когда заговорили о Павлович — он: «Непременно дать». Мы с Замятиным сбежали с заседания «Всемирной» и бегом в Дом Искусств в книжный пункт. Я хочу продать мои сказки — т. к. у меня ни гроша, а нужно полтораста или двести тысяч немедленно. Каждый день нам грозит голод. <...>

30 марта. Завтра мое рождение. Сегодня все утро читал Нью-Йоркскую «Nation» и Лондонское «Nation and Athenaeum». Читал с упоением: какой культурный стиль — всемирная широта интересов. Как остроумна полемика Бернарда Шоу с Честертоном. Как язвительны статьи о Ллойд Джордже!

Новые матерьялы о Уоте Уитмэне! И главное: как сблизились все части мира: англичане пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки — все нации туго сплетены, цивилизация

становится широкой и единой. Как будто меня вытащили из лужи и окунули в океан!

Отныне я решил не писать о Некрасове, не копаться в литературных дрязгах, а смело приобщиться к мировой литературе. Писать для «Nation» мне легче, чем для «Летописи Дома Литераторов». Буду же писать для «Nation». Первое, что я напишу, будет «Честертон».

31 марта. Я вызвал духа, которого уже не могу вернуть в склянку. Я вдруг после огромного перерыва прочитал «Times» — и весь мир нахлынул на меня.

1 апреля. Мое рождение. <...> Я опять не спал: Замятин сказал мне, что в Союзе Писателей пронесся слух, будто я *заработал* на издании Репина, между тем как я ни одной копейки за работу не получил и не намерен получить. Это так взволновало меня, что я всю ночь лежал с головной болью. <...> «Far from the madding Crowd» * блаженство, но автор не сливается с героями (как в «Анне Карениной»), а стоит в стороне от них — щеголяя изысканностью своих фраз, своим классическим образованием и проч. Вчерашний фельетон Лемке в «Правде» сослужил огромную службу журналу «Начала». Книжки, о которых печатаются ругательства в «Правде», тотчас же привлекают сочувственное внимание публики. Стоило только московским «Известиям» напечатать ругательства по адресу «Петербургского Сборника», как книга эта пошла нарасхват! До чего гнусен фельетон О. Л. Д'Ора о неизданных произведениях Пушкина!

25 апреля. Сегодня вечер Блока [8]. Я в судороге. 3 ночи не спал. Есть почти нечего. Сегодня на каждого пришлось по крошечному кусочку хлеба. Коля гудел неодобрительно. — Беда в том, что я лекцией своей совсем недоволен. Я написал о Блоке книгу и вот теперь, выбирая для лекции из этой книги отрывки, замечаю, что хорошее читать нельзя в театре (а мы сняли ТЕАТР, большой драматический, бывш. Суворинский, на Фонтанке), нужно читать общие места, *то, что похуже*. Это закон театральных лекций. Мои многие статьи потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я писал их как лекции, которые имеют свои законы — почти те же, что и драма. Здесь должно быть действие, движение, борьба, азарт — никаких тонкостей, все площадное. Вчера я позвал Колю — и с больной головой прочитал ему свою лекцию. Если бы он сказал: *хорошо,* я лег бы спать и вообще отдохнул, но он сказал *плохо* и вообще во все время чтения смотрел на меня с неприязнью. «Все это не то. Это не характеристика. Все какие-то фразы. Блок совсем не такой. И как отрывисто. Прыгают какие-то кусочки».

Его приговор показался мне столь же верным, что я взмылил се-

---

* «Вдали от обезумевшей толпы» (*англ.*).

бя кофеином и переклеил все заново. Но настоящей лекции опять не получилось... Уже половина седьмого. Я совершил туалет осужденного к казни: нагуталинил ботинки, надел *одну* манжету, дал выгладить брюки и иду. Сердце болит — до мерзости. Через ½ часа начало. Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером? Помоги мне Бог. Сегодня мне вообще везло. Я добыл чашки для чаепития, стаканы, восстановил апрельский мурманский п а е к , — и вот иду!

———

А вечером ужас — неуспех. Блок был ласков ко мне, как [к] больному. Актеры все окружили меня и стали говорить: «наша публика не понимает» и пр. Блок говорил: «Маме понравилось», но я знал, что я провалился. Блок настоял, чтобы мы снялись у Наппельбаума [9], дал мне цветок из поднесенных ему, шел со мной домой — но я провалился. <...>

Пасхальная ночь. С 31 апреля по 1 мая. Зазвонили. Складываю чемодан. Завтра еду. <...> утром — я почти не ел ничего. Писал целую кучу бумаг для Горького — чтобы он подписал. Потом в Дом Искусств: продиктовал эти бумаги Коле, он писал их на машинке. По дороге вспоминал, как Пильняк ночью говорил мне:

— А Горький устарел. Хороший человек, но — как писатель устарел.

Из Дома Искусств — к Горькому. Он сумрачен, с похмелья очень сух. Просмотрел письма, приготовленные для подписи. «Этих я не подпишу. Нет, нет!» И посмотрел на меня пронзительно. Я залепетал о голоде писателей... «Да, да, вот я сейчас письмо получил — пишут» (он взял письмо и стал читать, как мужики из деревни в город несут назад портьеры, вещи, вышивки, которые некогда они выменяли на п р о д у к т ы , — и просят в обмен — хлеба и картошки). Я заговорил о голоде писателей. Он оставался непреклонен — и подписал только мои бумаги, а не те, которые составлены Сазоновым и Иоффе. Оттуда я к Родэ. Гигант, весь состоящий из животов и подбородков. Черные маслянистые глаза. Сначала закричал: приходите во вторник, но потом, узнав, что я еду завтра, милостиво принял меня и даже удостоил разговора. Впрочем, это был не разговор, а гимн. Гимн во славу одного человека, энергичного, благородного, увлекающегося, самоотверженного,— и этот человек — сам Р о д э . — У меня капиталы в City Bank, в Commercial American Trust *... и т. д. Я ч[елове]к независимый. Мне ничего не нужно. Я иностранный подданный и завтра же мог бы уехать за границу — и жил бы себе припеваючи... Но меня влечет творчество, грандиозный размах. Что будут делать *мои ученые* (он раз восемь сказал «мои ученые»). Я все создал сам, я начал без копейки, без образования, а теперь у меня миллионы долларов, вы понимаете? — теперь я знаю 8 языков — и т. д. и т. д. Когда я уходил от него, он (не фигурально) похлопал меня по плечу и сказал:

———

* Городской банк, Американский коммерческий трест (*англ.*).

— Жаль, что уезжаете. Я бы вас угостил. Я всегда почитал ваш талант.

Квартира у него длинная, узкая. Есть лакей, которому он сказал:

— Можешь идти. Но в 12 час. придешь одевать меня к заутрене.

В гостиной куличи и выпивка.

— Это для прислуги, — сказал он. И действительно, приходили какие-то люди, и он наделял их куличами.

1-ое мая. Поездка в Москву. Блок подъехал в бричке ко мне, я снес вниз чемодан, и мы поехали. Извозчику дали 3 т. рублей и 2 ф[унта] хлеба. Сидели на вокзале час. У Блока подагра. За два часа до отбытия, сегодня утром он категорически отказался ехать, но я уговорил его. Дело в том, что дома у него плохо: он знает об измене жены, и я хотел его вытащить из этой атмосферы. Мы сидели с ним на моем чемодане, а на площади шло торжество — 1-го мая. Ораторы. Уланы. Он встал и пошел посмотреть — вернулся: нога болит. В вагоне мы говорили про его стихи.

— Где та, которой посвящены ваши стихи «Через 12 лет»[10]. — Я надеюсь, что она уже умерла. Сколько ей было бы лет теперь? Девяносто? Я был тогда гимназист, а она — увядающая женщина.

Об Ахматовой: «Ее стихи никогда не трогали меня. В ее «Подорожнике» мне понравилось только одно стихотворение: «Когда в тоске самоубийства», — и он стал читать его наизусть. Об остальных стихах Ахматовой он отзывался презрительно:

— Твои нечисты но*ч*и.

Это, должно быть, опечатка. Должно быть, она хотела сказать

Твои нечисты но*г*и.

Ахматову я знаю мало. Она зашла ко мне как-то в воскресение (см. об этом ее стихи), потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та, в к-рой она позировала Альтману. <...>

Рассказывал о Шаляпине — со слов Монахова. Шаляпин очень груб с артистками — кричит им неприличное слово. Если те обижаются, Исайка им говорит:

— Дай вам Бог столько долларов получить за границей, сколько раз Ф. И. говорил это слово мне.

Говорил о маме: — мама уезжает в Лугу к сестре. Там они поссорятся. Не сейчас. Через месяц.

— Вы ощущаете как-нб. свою славу?

— Ну, какая же слава? Большинство населения даже фамилии не знает.

Так мы ехали благодушно и весело. У него болела нога, но не очень. С нами б[ыли] Алянский[11] и еще одна женщина, которая любила слово «бесительно». Ночью было бесительно холодно. Я читал в вагоне O'Henry.

2 мая. В 2 часа мы приехали. На вокзале никакой Облонской. Вдруг идет к нам в шелковом пребезобразном шарфе беременная и экзальтированная г-жа Коган. «У меня машина. Идем». Машина — чудо, бывшая Николая Второго, колеса двойные, ревет как белуга. Добыли у Каменева. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом беспросветно испорченного хамёнка. Довезли в несколько минут на Арбат к Коганам. У Коганов бедно и напыщенно, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич. Входит с букетом Долидзе. Ругает Облонскую, устроительницу лекций. Я иду к Облонской. Веду ее на расправу к Коганам. Совещаемся. Все устраивается. Беру чемодан и портфель и с помощью Алянского и Когана (к-рые трогательно несут эти тяжести) устраиваюсь у Архипова. Комнату мне дают темную, грязную, шумную. У Арх. много детей, много гостей, много еды. <...>

3 мая. Спал чуть-чуть, часа 3. Непривычное чувство: сытость. Мудрю над лекцией о Блоке — все плохо. Не знаю, где побриться. Дождь. Колокола. Пишу к Кони. Лекция вышла дрянь. Сбор неполный. Это так ошеломило Блока, что он не хотел читать. Наконец, согласился — и механически, спустя рукава, прочитал 4 стихотворения. Публика встретила его не теми аплодисментами, к каким он привык. Он ушел в комнату — и ни за что, несмотря на мольбы мои и Когана. Наконец, вышел и прочел стихи Фра Филиппо Липпи полатыни, без перевода [12], с упрямым, но не вызывающим лицом.

— Зачем вы это сделали? — спросил я.

— Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой на шапке. Я ему и прочитал.

Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы, что зал совсем пуст и т. д. Меня это очень потрясло! Вызвав нескольких знакомых барышень, я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него стеной. Аплодировать после каждого стихотворения. Барышни согласились — и я совсем раздребежженный пошел домой. <...> У Арх. ночью бездна народу: все думали, что у него будет Блок. Блока не было, но были: Вознесенский, Ефим Зозуля, Зайцев, Лидин и т. д. Я умирал от сонливости, но разошлись только в 4 часа. Бедный я, бедный.

4 мая. Встал в 6 часов. Спать хочется и негде. Читал лекцию о Некрасове при 200 человеках. Блок говорит одно: какого черта я поехал? (очень медленно, без ударений).

5 мая. Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы. <...> Блок читал, читал без конца, совсем иначе — и имел огромный успех. Смешная жена Когана, беременная, сопровождает его всюду и демонстрируется перед публикой на каждом шагу, носит за ним букеты, диктует ему, что *читать*, — это шокирует многих. Одна девица из публики послала ей записку:

Большая Аудитория **ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ**

Всероссийский Союз Писателей. Петроград. Дом Искусства.

3, 5, 9 и 14-го Мая ВЕЧЕРА Александра БЛОКА.

К. Чуковский прочтет лекцию: **ОБ А. БЛОКЕ.** В заключение **А. БЛОК прочтет свои стихи.**

4 и 7-го Мая К. ЧУКОВСКИЙ прочтет лекцию: „Поэт и палач".

(Некрасов и Муравьев вешатель). Некрасов и его оды Муравьеву. Негодование террористов. Отзывы Герцена, Глеба Успенского, Фета. Муравьев и царь. Выстрел Каракозова. «Патриотический сифилис». Комиссаров — спаситель царя. Суд над Некрасовым.

6 и 8-го Мая Лекции академика Анатолия Федоровича КОНИ.

На жизненном пути. Воспоминания и встречи.

15-го Мая ВЕЧЕР памяти Леонида АНДРЕЕВА.

К. Чуковский: Жизнь и творчество Л. Андреева. Б. Зайцев и Ал. Вознесенский: Воспоминания о Л. Андрееве.

16-го Мая ВЕЧЕР ФЕТА. О творчестве Фета.

Ю. А. Айхенвальд, К. И. Чуковский, Г. И. Чулков. Стихи Фета прочтут артисты I Студии Художественного театра. Романсы на слова Фета исп. певица .

Начало в 7 час. вечера. Билеты продаются в Политехническом музее.

Афиша последних выступлений А. Блока в Москве. Май 1921 г.

— Зачем вы так волнуетесь? Вам вредно.

Про Блока m-me Коган говорит:

— Это же ребенок (жеребенок?)

На лекции был Маяковский, в длинном пиджаке до колен, просторном, художническом; все наше действо казалось ему скукой и смертью[13]. Он зевал, подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать: ночью он едет в Пушкино, на дачу. Сегодня я обедал у него. Он ко мне холоден, но я его люблю. Говорили про «Мистерию Буфф», которая ставится теперь в театре бывш. Зона. Он бранит Мейерхольда, к-рый во многом испортил пьесу, но как о человеке отзывается о нем любовно и нежно. Рассказывает, что когда на репетиции ставилась палуба, какая-то артистка спросила: — А борт будет? — Ей ответил какой-то артист:

— Не беспокойтесь. Аборт будет.

Ему вообще свойственно такое каламбурное мышление. Я сказал фамилию: Сидоров. «Сидоров — не неси *даров»*, сказал он... Я рассказывал, что Андреев одно время был в России как бы глав-

ный комиссар по самоубийствам. — Да, да! — подхватил он. — Завсамуб; заведующий самоубийствами. — Говорил про фамилию Разутак: — У нас в Москве говорят:

— Разутак его и разуэтак!

<...> Маяковский рассказал о мытарствах с пьесой. Накануне постановки его вызвали в Кремль две какие-то акушорки и сказали, что пьесу нельзя ставить, т. к. им не нравятся стихи. — Я накричал на них, но они все же подгадили, и 1-го мая пьеса не шла. <...>

6—7—8 мая. Все дни перепутались. Был я на «Мистерии Буфф». Впечатление жалкое. Нет настоящей вульгарности. Каламбурные рифмы производят впечатление натяжек, придумочек, связывают действие. Нет свободной песенной дикции, нет шансов для хорошей декламации — которая так нужна в таких пьесах. Чего только не накрутил Мейерхольд: играют и вверху, и внизу, и циркачи, и ад в зрительном зале — но все мелко, дробно и дрябло, не сливается воедино — в широкое действо. Ужасно гнусно изображение Льва Толстого в забавном виде. <...>

Лекция моя «Поэт и палач» сошла прегнусно. Редкие афиши гласили:

Фет.
Блок.
Леонид Андреев.
Чуковский.
Поэт и палач.

Что это значит, неизвестно. Никому и в голову не пришло, что это я читаю лекцию о Некрасове. Пришло человек 200. Публика случайная, невежественная, полуинтеллигентная, — мне ненавистная. <...>

В «Доме Печати» против Блока открылся поход. Блока очень приглашали в «Дом Печати». Он пришел туда и прочитал неск. стихотворений. Тогда вышел какой-то черный тов. Струве и сказал: «Товарищи! я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок — мертвец»[14].

— Верно, верно! — сказал мне Блок, сидевший за занавеской. — Я действительно мертвец.

Потом вышел П. С. Коган и очень пошло, ссылаясь на Маркса, доказывал, что Блок не мертвец.

— Надо уходить, — сказал я Блоку. Мы пошли в Итальянское Общество. Увидев, что Блок уходит, часть публики тоже ушла. Блок шел в стороне, — вспоминая стихи. Погода южная, ночь восхитительная. По переулкам молча и задумчиво шагает поэт, и за ним, тоже тихо и торжественно, шествуют его верные. Но в Итальянском О-ве шел доклад Осоргина об Италии. Пришлось ждать в прихожей. Блок сел рядом со мною на скамейку — и барышни окружили его. Две мои знакомые робко угощали его монпа[н]сье. Он даже шутил — но негромко и сдержанно. Потом, когда Осоргин кончил, мы вошли

в зал. Публика не та, что в Доме Печати, а набожная, образованная. Муратов (председатель) приветствовал Блока краткой речью: «Не знаю, как люди другого поколения, но для нас, родившихся между 1880 и 1890 годом, Александр Блок — самое дорогое имя».

Публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно: густым, страдающим, певучим, медленным голосом.

На следующий день то же произошло в Союзе Писателей. Из Союза мы с Маринкой пошли к Коганам. Блок долго считал деньги, говорил по телефону со Станиславским, а потом сел и сказал:

— До чего у меня все перепуталось. Я сейчас хотел писать письмо в Союз Писателей — с извинениями, что не мог быть там.

Он получил от мамы письмо. Мама уже уехала в Лугу. <...>

12 мая. У Луначарского в Кремле. Прихожая. Рояль, велосипед, колонны, золоченые стулья, старикан за столом, вдумчивый ученый секретарь, петухи горланят ежесекундно. В другой комнате он диктует. Слышно, как стучит машинка. Слышен его милый голос, наивно выговаривающий *л*. Я был у него минуту. Возле него — с трубкой, черно-седой, красивый, спокойный, нестарый еврей очень художественного вида. Лунач. приветствовал меня не слишком восторженно, но все, о чем я просил, сделал. Он вообще какой-то подобравшийся. Спрашивал о Мариэтте Шагинян, обещал защищать «Дом Искусств». <...>

Я правлю корректуру гржебинского Алексея Толстого (под редакц. Н. Гумилева). <...> Вспоминаю, как жадно Маяк. впитывает в себя всякие анекдоты и каламбуры. За обедом он рассказал мне:

1. Что *Лито* в Москве называется *Нето*.

2. Что еврей, услыхав в вагоне, что меняют паровоз, выскочил и спросил: на что меняют?

3. Что другой еврей хвалил какую-то даму: у нее нос в 25 каратов!

4. Что третий еврей увидел царя и поклонился. Царь спросил: — Откуда ты меня узнал? — Вылитый рупь! — отвечал еврей.

22 мая. <...> Был у Горького. Он только что приехал из Москвы. По дороге к нему встретил Родэ — на извозчике. Тот помахал мне ручкой. Я подошел. Родэ показал мне бумагу, что для литераторов специально сюда приезжает Комиссия (для обсуждения вопроса о пайках), и сказал: «Вы к Горькому? Не ходите. Устал Алексей Максимович!» Родэ, оберегающий Горького от меня! Я сказал, что авось Горький сам решит, хочет он меня видеть или нет, — и все же по дороге оробел. После Москвы Горький приезжает такой измученный. Я сел в садике насупротив. Сидела какая-то старуха в синих очках. Потом к ней подошли двое — старичок и женщина. — Ну, что? — спросила старуха.— Плохо! — сказал старичок. — Простоял весь день напрасно. (И он открыл футляр и показал серебр. ложки.) Никто не покупает. Все пришли на рынок с товарами, одни продавцы, а покупателей нет. Да и продуктов нет никаких.

Тут я узнал, что уже 20 м. шестого, и пошел к Горькому. Меня окликнул Шкловский, и мы пошли через кухню (парадный заперт). Вошли — Горький в прихожей говорит по телефону. Говорит и кашляет. Я ему: «Если вы очень устали, мы скажем все Валентине Михайловне (Ходасевич). — Нет, уж лучше прямо *(без улыбки)*. Идите. (Нет уже его прежнего со мною кокетства, нет игры, нет милого *«театра для себя»*, который бывает у Горького с новыми людьми, которых он хочет почему-то примагнитить.) Мы вошли, он усталый, но бодрящийся, сел и стал слушать. Я сказал ему про инж. Денисова. — Это тот, что жену задушил? — Нет, другой, — и я рассказал все. — Ну, что ж, отлично! — сказал он с полным равнодушием. Никакого интереса к Дому Искусств у него нет. Литераторы чужды ему совершенно. Немного оживился, когда Шкл. стал говорить ему о Всеволоде Иванове. — «Неужели у него штанов нет? Нужно будет достать... Нужно будет достать». Второе дело: мое письмо к Гржебину. По поводу плохо изданных книг. Я дал Горькому прочитать. Он читал по-горьковски, как он читает все: медленно, строка за строкой. Он никогда не пробегает писем, не ищет главного, пропуская второстепенное, а читает добросовестно, по-стариковски, в очках. Кончил и сказал равнодушно: «Ну что ж, устраивайте коллегию: вы, Лернер и Ходасевич. Чего же лучше». Но я видел, что лично ему все равно. Он охладел и к Гржебину. Это уже третье охлаждение Горького. Я помню его влюбленность в Тихонова. На первом месте у него был Тихонов и Тихонов. Без Тихонова он не дышал. Во всякое дело, куда его приглашали, звал Тихонова. Потом его потянуло к более толстому, Гржебину. За Гржебина он был готов умереть. И вот теперь еще более толстый Родэ. Но как он утомлен: хрипит. Мы ушли — он не задерживал. К сожалению, Шкловский услыхал, что я ругаю проредактированных Эйхенбаумом «Карамазовых», и взъелся. Эйхенбаум сделал такое: ему поручили редактировать «Бр. Карамазовых». Он засел минут на десять, написал пять-шесть примечаний: «Шиллер — германский поэт», «Белинский — критик 30-х и 40-х гг.», — и больше ничего! И больше ничего. Получил огромную полистную плату и поставил сейчас же после Достоевского свою фамилию. *«Под редакцией Б. М. Эйхенбаума»*. Шкловский объяснял это тем, что Эйх. — другой литературной школы, других убеждений. Но какие же литературные убеждения могут превратить корректуру в редактуру — и двухчасовую работу оценить как двухлетнюю! Если это не хулиганство, то беспросветная тупость. Мы пришли в «Дом Иск.». Вечер Ходасевича. Народу 42 человека — каких-то замухрышных. Ходасевич убежал на кухню: — Я не буду читать. Не желаю я читать в пустом зале. — Насилу я его уломал.

24 мая. Вчера в Доме Искусств увидел Гумилева с какой-то бледной и запуганной женщиной. Оказалось, что это его жена Анна Николаевна, урожд. Энгельгардт, дочь того забавного нововременского историка литературы, к-рый прославился своими плагиатами. Гумилев обращается с ней деспотически. Молодую хорошенькую

женщину отправил с ребенком в Бежецк — в заточение, а сам здесь процветал и блаженствовал. Она там зачахла, поблекла, он выписал ее сюда и приказал ей отдать девочку в приют в Парголово. Она — из безотчетного страха перед ним — подчинилась. Ей 23 года, а она какая-то облезлая; я встретил их обоих в библиотеке. Пугливо поглядывая на Гумилева, она говорила: — Не правда ли, девочке там будет хорошо? Даже лучше, чем дома? Ей там позволили брать с собой в постель хлеб... У нее есть такая дурная привычка: брать с собой в постель хлеб... очень дурная привычка... потом там воздух... а я буду приезжать... Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать...

Денег по-прежнему у меня нет ни копейки. <...> Черт знает что! Болтаюсь зря 20 дней — писать хочется необычайно. Хлеба опять нет.

Вчера вечером в Доме Искусств был вечер «Сегодня», с участием Ремизова, Замятина — и молодых: Никитина, Лунца и Зощенко. Замятин в деревне — не приехал. Зощенко — темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру (т. е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал «Старуху Врангель» — с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой — но очень приятно. Отношение к слову — фонетическое.

Для актеров такие рассказы — благодать. «Не для цели торговли, а для цели матери» — очень понравилось Ремизову, к-рый даже толканул меня в бок. Жаль, что Зощенко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки. <...> Человек было 150, не больше. Лунц (за которого я волновался, как за себя) очень дерзко (почти развязно) прочитал свой сатирич. рассказ «Дневник Исходящей»[15]. До публики не дошло главное: стилизация под современный жаргон: «выход из безвыходного положения», «наконец, иными словами, в-четвертых» и т. д. Смеялись только в несмешных местах, относящихся к фабуле. Если так происходит в Петербурге, что же в провинции! Нет нашей публики. Нет тех, кто может оценить иронию, тонкость, игру ума, изящество мысли, стиль и т. д. Я хохотал, когда Лунц говорил «о цели своих рассуждений», и нарочно следил за соседями: сидели как каменные. В антракте вышел немолодой блондин, сын Фофанова, Константин Олимпов, и, делая вид, что он бунтует, благополучно прокричал свои вдохновенные вопли о том, что он пролетарий, что он нарком всего мира и т. д. Публика визжала и хлопала — но в меру, словно по долгу службы.

25 мая. Замятин в Холомках, Тихонов в Москве, а между тем номер «Литературной Газ.» сверстан — и нужно его печатать. Штрайх (выпускающий) дал вчера 2 номера: мне и другому редактору Волынскому. Нужно было спешно за ночь продержать корректуру. <...>

26 мая. Утром в Пскове. Иду в уборную 1-го класса, все двери ото-

рваны, и люди испражняются на виду у всех. Ни тени стыда. Разговаривают — но чаще молчат. Сдать вещи на хранение — двухчасовая волокита: один медленнейший хохол принимает их, он же расставляет их по полкам, он же расклеивает ярлычки, он же выдает квитанции. Как бы вы ни горячились, он действует методически, флегматически и через пять минут объявляет:

— Довольно.

— Что довольно?

— Больше вещей не возьму.

— Почему?

— Потому что довольно.

— Чего довольно?

— Вещей. Больше не влезет.

Ему указывают множество мест, но он непреклонен. Наконец, являет[ся] некто и берет свои сданные вчера вещи. Тогда взамен его вещей он принимает такую же порцию других. Остальные жди.

— Скорее приходите за вещами, — говорит он. — Бо тут много крыс, и они едят мои наклейки.

На свое счастье, я на вокзале встретил всех пороховчанок, коим читал некогда лекции. Они отнеслись ко мне сердечно, угостили яйцом, постерегли мой чемодан, коего я вначале не сдал, и т. д.

На вокзале в зале III класса среди других начальствующих лиц висит фотогр. портрет Максима Горького — рядом с портретом Калинина. Визави картины Роста — о хлебном налоге.

Говорит по совести Советская власть:
Не пришлось крестьянству пожить всласть,
Не давали враги стране передышки,
Пришлось забирать у фронта излишки.

Рвал на себе Наркомпрод волосы,
А мужички не засевали полосы,
Потому «оставляют на крестьянск[ий] рот»
И ничего в оборот.

Теперь, по словам Роста, будет иначе:

Не все, что посеял, лишь часть отвали —
Законную меру, процент с десятины,
А все остальное твое — не скули.
Никто не полезет в амбар да в овины.
Расчет есть засеять поболе земли,
Пуды государству, тебе же кули.

К первому Мая псковским начальством б[ыла] выпущена такая печатная бумага, расклеенная всюду на вокзале: «Мировой капи-

тал, чуя свою неминуемую гибель, в предсмертной агонии тянется окровавленными руками к горлу расцветающей весны обновленного человечества. Вторая госуд. Типография. 400 (экз) Р. В. Ц. Псков».

Вот вполне чиновничье измышление. Все шаблоны взяты из газет и склеены равнодушной рукой как придется. Получилось: «горло весны» все равно. Канцелярский декаданс!

Барышня в лиловом говорит: «Это не фунт изюму!», «Побачим, що воно за человиче», мужа называет батько и т. д.

Сдуру я взял огромный портфель, напялил пальто и пошел в город Псков, где промыкался по всем канцеляриям и познакомился с бездной народу. Добыл лошадь для колонии и отвоевал Бельское Устье. Все время на ногах, с портфелем, я к 2 часам окончательно сомлел. Пошел на базарчик поесть. Уличка. Вдоль обочины тротуаров справа и слева сидят за табуретками бабы (иные под зонтиками), продают раков, масло, яйца, молоко, гвозди. Масло 13—16 т. рублей. Яйцо — 600 р. штука. Молоко 1½ тыс. бутылка. Я купил 3 яйца и съел без соли. Очень долго хлопотал в Уеисполкоме, чтобы мне разрешили пообедать в «Доме Крестьянина» (бывш. Дворянское Собр.), наконец мне дали квиток, и я, придавленный своим пальто и портфелем, стою в десятке очередей — получаю: кислые щи (несъедобные), горсть грязного гороху и грязную дерев. ложку. После всей маяты иду через весь город на Покровскую к Хрисанфову (Завед. отделом Наробраза) — и сажусь по дороге на скамейку. Это б[ыл] мой первый отдых. Солнце печет. Две 30-летние мещанки (интеллигентн. вида) сходятся на скамье — «Купила три куры за 25 фунтов соли! Это к[а]к раз у которой мы петуха купили... Соль все-таки 2 200 р.». Потом шушукаются: «Там у меня служит знакомая барышня, в отделе тканей, она меня и научила: подай *второе* заявление и получай вторично. Я получила второй раз и третий раз. Барышня мне сказала: мы по двадцать раз получаем!» Я смотрю на говорящих: у них мелкие, едва ли человеческие лица, и ребенок, которого одна держит, тоже мелкий, беспросветный, очень скучный. Таковы псковичи. Черт знает как в таком изумительном городе, среди таких церквей, на такой реке — копошится такая унылая и бездарная дрянь. Ни одного замечательного человека, ни одной истинно человеческой личности. Очень благородны по строгим линиям Поганкины палаты (музей). Но на дверях рука псковича начертала:

Я вас люблю, и вы поверьте,
Я вам пришлю блоху в конверте.

А в самом музее недавно произошло такое: заметили, что внезапно огромный наплыв публики. Публика так и прет в музей и всё чего-то ищет. Чего? Заглядывает во все витрины, шарит глазами. Наконец какой-то прямо обратился к заведующему: показывай черта. Оказывается, пронесся слух, что баба тамошняя родила от коммуниста черта — и что его спрятали в банку со спиртом и теперь он в музее. Вот и ищут его в Поганкиных палатах.

3 июня. У Горького. Он сидел и читал «Последние Известия», где перепечатан фельетон И. Сургучева о нем [16]. Мы поговорили о Доме Искусств — доложили о каком-то Чернышеве. Вошел молодой человек лет 20. «Я должен вам сказать,— сказал Горький, — что нет отца вашего». Наступило очень долгое молчание, в течение которого Горький барабанил по столу пальцами. Наконец молодой ч[елове]к сказал: *плохо*. И опять замолчал. Потом долго рассуждали, *когда* отец был в Кронштадте, *когда* в Ладоге, и молодой человек часто говорил неподходящие слова: «видите, какая штука!» Потом, уходя, он сказал:

— Видите, какая штука! Он умер сам по себе — своими средствами... У него желудок был плох...

Когда он ушел, Горький сказал:

— Хороших мстителей воспитывает Советская Власть. Это сын д-ра Чернышева. И догадался он верно, его отец действительно не расстрелян, но умер. Умер. Это он верно. Угадал.

Потом доложили о приходе Серапионовых братьев, и мы прошли в столовую. В столовой собрались: Шкловский (босиком), Лева Лунц (с брит. головой), франтоватый Никитин, Константин Федин, Миша Слонимский (в белых штанах и с открытым воротом), Коля (в рубахе, демонстр. залатанной), Груздев (с тросточкой).

Заговорили о пустяках.— Что в Москве? — спросил Горький. — Базар и канцелярия! — ответил Федин. — Да, туда попадаешь, как в паутину — сказал Горький. — Говорят, Ленин одержал блестящую победу. Он прямо так и сказал: нужно отложить коммунизм лет на 25. Отложить. Те хоть и возражали, а согласились. — А что с Троцким? — Тр. жестоко болен. Он на границе смерти. У него сердце. У Зиновьева тоже сердце больное. У многих. Это самоотравление гневом. Некий физиологический фактор. Среди интеллигентных работников заболеваний меньше. Но бывшие рабочие — вследствие непривычки к умств. труду истощены до крайности. Естественное явление.

Н. Н. Никитин заговорил очень бойко, медленно, солидно — живешь старым запасом идей, истрепался и т. д.

Горький: — Ах, какого я слышал вчера куплетиста, талант. Он даже потеет талантом:

Анархист с меня стащил
Полушубок теткин.
Ах, тому ль его учил
Господин Кропоткин.

И еще пел марсельезу, вплетая в нее мотивы из «Славься ты, славься!».

Н. Н. Никитин и тут нашел нужное слово, чему-то поддакнул, с чем-то не согласился. Федин рассказал, как в Москве его больше всего поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались — а он никакого внимания.

— И не бил никого? — спросил Горький.

— Нет. Проехал куда надо, прошел через вагон и вышел на передней площадке.

— Хозяин! — сказал Горький.

— Ах, еще о деревне, — подхватил Федин и басом очень живо изобразил измученную городскую девицу, к[ото]рая принесла в деревню мануфактуру, деньги и проч., чтобы достать съестного. «Деньги? — сказала ей баба. — Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся. Глубже, до дна... Вся кадка у меня ими набита. И каждый день муж играет в очко — и выигрывает тысяч 100—150». Барышня в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» — «Зуб». — «Золотой? Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы наперед. Вот ты зуб бы мне оставила. Оставь». Барышня взяла вилку и отковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз, набери картошки сколько хошь, сколько поднимешь». Та навалила столько, что не поднять. Баба равнодушно: «Ну отсыпь».

Горький на это сказал: «Вчера я иду домой. Вижу в окне свет. Глянул в щель: сидит человек и ремингтон подчиняет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел милиционер, бородатый, тоже в щель, и вдруг:

— Сволочи! Чего придумали! Мало им писать, как все люди, нет, им и тут машина нужна. Сволочи.

Потом Горький заговорил о рассказах этих молодых людей. Рассказы должны выйти под его редакцией в издательстве Гржебина. Заглавие «Двадцать первый год».

«Позвольте поделиться мнениями о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, п. ч. я никогда никого не желал поучать. Начну с комплимента. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще нигде не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне как бытовику очень дорог ее общий тон. Если посмотреть поверхностно: контрр[еволюционн]ый сборник. Но это хорошо. Это очень хорошо. Очень сильно, правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книжка».

Очень много говорил Горький о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека:

«Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут в умалении человека некоторая ошибочка. Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? История сыронизировала, и очень зло. Казалось, что р[еволю]ция должна быть торжеством идей коллективизма, но нет. Роль личности оказалась огромной. Например, Ленин или Ллойд Джордж. А у вас герой затискан. В кажд. данном рассказе недостаток внимания к человеку. А все-таки [в жизни] человек свою человечью роль выполняет...»

Поговорив довольно нудно на эту привычную тему, Горький, конечно, перешел к мужику.

«Мужик, извините меня, все еще не человек. Он не обещает быть таковым скоро. Это не значит, что я говорю в защиту С[оветской] Вл[асти], а в защиту личности. Героев мало, часто они зоологичны, но они есть, есть и в крестьянстве — рождающем своих Бонапартов. Бонапарт для данной волости...

Я знаю, что и в Чрезвычайке есть герои. Носит в известке костей своих — любовь к человеку, а должен убивать. У него морда пятнами идет, а должен. Тут сугубая Достоевщина... Недавно тут сидел человек и слушал рассказы [чек]иста. Тот похвалялся черт знает каким душегубством. И вдруг улыбнулся. Все-таки улыбнулся. Тот человек обрадовался: «Видите, даже [чек]ист улыбнулся. Значит, и в нем человеческое». Это вроде луковицы у Достоевского («Бр. Кар[амазовы]»). Луковички — и от них *надо* отрешиться. (*Вообще в этой речи, как и во всех его статьях и речах, очень часто это нудное* **надо**, *а он думает, что он не дидактик!*) Не забудьте и о женском поле. Там тоже много героев. Вот, напр., одна — в Сибири: с упрямством звонит в свой маленький колокольчик: «Это не так». Звонит: «Это не так! Я не согласна!» Все мы в мир пришли, чтобы не соглашаться. Гредескула в герои не возведешь. Человек у вас чересчур запылен».

Вся эта речь особенно кочевряжила Шкловского, который никаких идеологий и вообще никаких *надо* не признает, а знает только «установку на стиль». Он сидел с иронической улыбкой и нервно ковырял пальцем в пальцах правой босой ноги, вскинутой на левую. Наконец не выдержал. «Я думаю, Алексей Максимович, — сказал он глухо, — человек здесь запылен оттого, что у авторов были иные задачи, чисто стилистического характера. Здесь установка на стиль».

— Я принял это во внимание. Но за этим остается еще то, о чем я говорю. <...>

8 июня. Забыл записать, что в воскрес. Горький говорил о Сургучеве. Я прочитал в «Последн. Известиях» преглупый фельетон Сургучева «М. Горький». В фельетоне сказано, что Горький привык сидеть на бриллиантовых тронах и вообще нетерпим к чужому мнению, будто бы он, Сургучев, разошелся с Горьким после одного пустякового спора.

— Охота вам была водиться с таким идиотом! — сказал я.

— Нет, он человек даровитый, — сказал Горький. — У него есть хорошая повесть. (Он назвал заглавие, я забыл.) <...>

3 июля. Мы уже две недели в Холомках. Я бегаю по делам колонии и ничего не делаю. <...>

За 40 дней я 30 раз ездил в город на гнусной лошади и на телеге, которую из деликатности зовут только бедой, а не чумой, дыбой.

5 июля. Я единолично добыл Колонию *Бельское Устье,* добыл сад, из-за сада я ездил в город 4 раза, из-за огорода 1 раз, из-за покосов

4 раза (сперва дали, потом отняли), добыл две десятины ржи, десятину клевера, добыл двух лошадей, жмыхи, я один безо всякой помощи. Ради меня по моей просьбе Зайцев отделал верх для колонии, устроил кухню, починил окна и замки на дверях. Я добыл фураж для лошадей — и, что главное, добыл второй паек для всех членов колонии и их семейств — паек с сахаром и крупой.

Все это мучительная неподсильная одному работа. Из-за этого я был в Кремле, ездил в Псков, обивал пороги в Петербургских канцеляриях. <...> Здесь на меня смотрят как на приказчика и говорят:

— Когда же будут дрова? Корней Ив., вы приняли меры, чтобы были дрова? <...> Добужинского я не понимаю: такой джентльмен, художник с головы до ног — неужели он будет настаивать, чтобы все эти отвратительные порядки, в которых нет ни справедливости, ни уважения к чужому труду, продолжались. <...>

6 июля. Бедные здешние учительницы! В Бельском Устье советская власть дала им школу для колонии. В двух небольших комнатках ютятся 30 девочек и 8 учительниц. Одиночества ни у одной. Ни книжку почитать, ни полежать. Девочки грубые, унылые, с пошлым[и] умишками взрослых мещанок. Ни игры, ни песни их не интересуют. Души практические — до смешного. Учительница естествоведения позвала, напр., девочек на экскурсию. Хотела объяснить им возникновение грибов, побеседовать о грибнице и т. д. Даже приготовила микроскоп. Но девочек во всем этом интересовало одно: *грибы*. Каждая норовила собрать побольше, нанизать их на нитку, и ни одну не заинтересовали ни клеточки, ни ядрышки, ничего. На следующий день пошли собирать травы для гербария. Девочки собирали только один злак: тмин, из которого и вылущивали семечки, — остальное их не интересовало нисколько. Учительницы тоже не гении: когда ни подойдешь к школе, из нее из окон уныло висят мокрые чулки — сохнут. <...>

10 июля. Сегодня меня очень взволновала встреча с крестьянином Овсянкиным. Это хитроватый актер, талантливый, прелестно-изящный. Речь его — бисер. Подъезжая к Холомкам, он остановился, слез с тележки и рассказал мне историю с князем Гагариным. История ужасная. «Вот на этом самом месте была моя рожь, когда евонный дом еще строился. Были четыре полосы его, пятая моя. Я с весны сказал ему: — Ваше с[иятель]ство, не троньте мою рожь, не сомните ее. — Нет, нет, не беспокойся, я ее даже колышками отгорожу. — Приходит лето, иду я сюда, вижу на моей полосе — каменья. Князь свалил на мою полосу каменья для постройки. Я к нему. Его нет. Застаю князя Льва, его сына. — Ваше сиятельство, я к вашей милости. — Чего тебе, Игнаша? — Неправильно вы с моей рожью поступили... — Я, дорогой, ничего не знаю... вот приедет отец, разберет... — Через день прихожу я опять — к старику: ваше сиятельство, так и так. Вдруг молодой как кинется на меня: — А, мер-

завец, ты опять пришел! — как начнет меня душить — своротил мне шею и все душит... а потом схватил меня за волосы и сует мою морду в каменья. Народ кругом стоит, смотрит — каменщики из Петербурга были приехатчи — а он меня мордой так и тычет. Кровь по морде бежит, что вода. Я только и говорю: ваше сиятельство! ваше сиятельство! а он испугался — отпустил меня, да при всем народе на колени: — Игнаша, прости меня, видишь, я старик, я князь, а перед тобой на коленях. — А я ему говорю: — Я вас, ваше сиятельство, не просил, чтобы вы предо мной на колени стали. Вы сами по собственной воле стали. — Тут он и Лева вдруг кинулись на меня снова и стали загонять меня в домик — в этот беленький. А я вырываюсь, кричу: караул! думаю: убьют. Но они впихнули меня в дверь, князь вынул рубль и дает мне: — Вот тебе, прими и не сердись. — Я сказал ему: — Не нужно мне рубля; ты именитый человек, князь, а с побирашкой связался. Стыдно тебе. — А кровь течет. Я к ручью. А шея не ворочается. Хочу слово сказать, голосу нет. Доктор Феголи лечил меня, лечил месяца два * — и он вам скажет. А я пошел к Николаю Угоднику и стал молиться: Николай Угодник, поломай ему либо руку, либо ногу. Так по-моему и вышло. Он сломал себе ногу. Я к нему подошел: — А помнишь, ваше сиятельство, как ты мне шею душил? Вот тебя Господь и наказал.

А потом, когда изделалась революция, мы пришли все округ стали, а он вышел и говорит: «Товарищи, я вас никогда не забижал, будьте милостивы, не губите меня». А мы думаем: «ладно!» А он нас и конями топтал и без рубля не выходи, все штрафовал. То овцу поймает, то корову. «Я,— говорит, — обведу Холомки этакой решеткой и на ней ножи приноровлю, чтобы ваши овцы носом тыкались — и кровавились». А мы думаем: «ладно». Вот и дотыкались. Дочка его Софья Андреевна ходит, бывалича, по избам: «дай, Иван Федосеевич, хлебца», «дай, Анна Степановна, хлебца». Отрежешь ей кусочек, она в муфточку: «спасибо, благодарю тебя», и руку жмет. А прежде к ней не подступись. Было рукой не достать».

Это все меня очень взволновало. Я никак не ожидал, чтобы либеральнейший князь, профессор вдруг дошел до такого мордобоя. Я думал, что это было с ним только раз, в пылу горячности, в виде припадка, но в тот же день Луша рассказала мне, что он этаким же манером душил Лизавету.

Сегодня я написал Коле укоризненное письмо. Он зашалопайствовал. Хочу, чтоб опомнился [17].

15 июля. Я стал форменным приказчиком Колонии. <...> Добыл для Народного Дома керосину. Ура! Удалось сделать так, что нам дали и *рожь,* и *овсяную муку.* Везу и то и другое в Холомки. Перед этим читаю в *Детской Библиотеке* лекцию о Достоевском. Присутствует вся

---

* Доктор Феголи, к которому я обратился за справкой, подтвердил мне в точности все рассказанное Овсянкиным. — *Примеч. автора.*

интеллигенция города. <...> Спрашиваю у г-жи Добужинской: кто разделит привезенные мною продукты на 26 частей? <...>

— Пусть разделит продукты М. Б. (так как на М. Б. лежит забота о шестерых — у нее ребенок и нет служанки). — Я ответил: тогда у вас будет два приказчика. Чук[овский] будет привозить вам продукты. Ч[уковская] будет их делить. А вы с Анной Густав. их есть. Это и есть настоящее разделение труда.

Тут я ушел и заплакал. С. А. увела меня к себе и утешала. Плакать было от чего. Проходит лето. Единственное время, когда можно писать. Я ничего не пишу. Не взял пера в руки. Мне нужен отдых. Я еще ни на один день не был свободен от хлопот и забот о колонии. А колонии и нету. Есть самоокопавшиеся дачники, которые не только ничем не помогли мне, но даже дразнят меня своим бездействием. Как будто нарочно: работай, дурачок, а мы посмотрим. <...>

6 августа. Ночь. Коля на именинах у Б. П. Ухарского. Здесь в деревне что ни день, то именины. Мы здесь около месяца, но мы уже праздновали именины Пети, священника (отца Сергия), г-жи Добужинской, учительницы Ольги Николаевны и т. д. и т. д. Все это мне чуждо до слез, и меня иногда разъяряет, что Коля вот уже больше месяца ничего не делает, а только справляет именины полузнакомых людей. Дождь, ветер. На столе у меня Блок, D. G. Rossetti, «Cristabell» Колриджа, «Бесы» Достоевского — но никогда, никогда я не б[ыл] так далек от литературы, как в это подлое лето. Я здесь не вижу никого, кому бы все это было хоть в малой мере нужно, а ежедневные столкновения с Анной Густавной и прочая канитель не располагает к работе над Блоком. Сейчас я читал Гершензона «Видение Поэта» — книжка плоская и туповатая, несмотря на свой видимый блеск. Почему, не знаю, но при всем своем образовании, при огромных заслугах, Герш. кажется мне человеком без высшего чутья — и в основе своей резонером (еврейская черта) и тем больнее, что он высказывает мысли, которые дороги мне.

Сегодня событие: приезд Ходасевичей. <...>

7 авг. Лида написала пьесу о Холомках. Очень забавную [18]. Добужинский сделал очень много рисунков: написал маслом своего сына Додю — в комнате — с красной книжкой, нарисовал углем княжну (очень похоже, но обидно для нее — слишком похоже, немолодая и черная), Милашевского (блистательный рисунок) и несколько карикатур: княжна на лошади вместе с зевающим Борисом Петровичем и пр. Все это очень хорошо. Но когда заговариваешь с ним о хозяйстве, он морщится — и норовит переменить разговор. Ему не хочется ни волноваться, ни работать для общего дела. <...>

11 авг. Только что вошел Добужинский и сказал, что Блок скончался. Реву — и что де (оторван кусок страницы. — *Е. Ч.*).

Мѣсяцъ и число.	№№ пакетовъ.	Кому адресовано.	Количество пакетовъ.	Кто принялъ.

Это и есть настоящее разделение труда.

Тут я ушел — и заплакал. С. А. увела меня и [illegible]. Плакать было от чего. ~~[illegible]~~ Проходит лето. Единственное время, когда можно писать. Я ничего не пишу. Не взял пера в руки. Мне нужен отдых. Я еще ни на один день не был свободен от хлопот и забот о колонии. ~~[illegible]~~ А колонии и нет. [illegible] Людям не только не [illegible], что вот писатель, занятой человек, с утра до ночи бегает по их же делам, они не только не постараются облегчить его жизнь, но с удовольствием [illegible] работу еще и на его жену. Жена моя еще ни разу не ~~[illegible]~~ была свободна ~~[illegible]~~ — хоть полчаса. Если это называется [illegible] ...

Страница дневника.
Холомки, июль 1921 г.

12 августа. *Никогда в жизни* мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова — с Лидой — на линейке мельничихи — грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду — старик, выпитый, выжатый — такой же скучный, как то проклятое дерево, которое торчит за версту от Порхова. Серое, сухое — воплощение здешней тоски. Каждый дом в проклятой Слободе, казалось, был сделан из скуки — и все это превратилось в длинную тоску по Алекс. Блоку [19]. Я даже не думал о *нем,* но я чувствовал боль о нем — и просил Лиду учить вслух англ. слова, чтобы хоть немного не плакать. Каждый дом, кривой, серый, говорил: «А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок». И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его — т. е. не как фраза чувствовалась, а *на самом деле:* я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и — порховская, самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто — все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. «Вот едет старик, мертвый, задушенный — без ничего». Я думал о детях — и они показались мне скукой. Думал о литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр — не умеющий *по-настоящему* и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь — и все скелеты н а р у ж у. — Я вспомнил, как он загорал, благодатно, как загорают очень спокойные и прочные люди, какое у него было — при кажущейся окаменелости — восприимчивое и подвижное лицо — вечно было в еле заметном движении, зыблилось, втягивало в себя впечатления. В последнее время он не выносил Горького, Тихонова — и его лицо умирало в их присутствии, но если вдруг в толпе и толчее «Всемирной Литературы» появляется дорогой ему человек — ну хоть Зоргенфрей, хоть Книпович — лицо, почти не меняясь, всеми порами втягивало то, что ему б[ыло] радостно. За три или четыре шага, прежде чем подать руку, он делал приветливые глаза — прежде чем поздороваться и вместо привета просто констатировал: ваше имя и отчество: «Корней Ив.», «Николай Степ.», произнося это имя как здравствуйте. И по телефону 6 12 00. Бывало, позвонишь, и раздается, как из могилы, печальный и густой голос: «Я вас слушаю» (никогда не иначе. Всегда так). И потом: Корней Иваныч (опять констатирует). Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую физиологию. Как он во время чтения своих стихов — (читал он всегда стоя, всегда без бумажки, ровно и печально) — чуть-чуть переступит с ноги на ногу и шагнет полшага назад; — как он однажды, когда Любовь Дм. прочитала «Двенадцать» — и сидела в гостиной Дома Искусств, вошел к ней из залы с любящим и восхищенным лицом. Как лет 15 назад я видел его в игорном доме (был Иорданский и Ценский). Он сидел с женою О. Норвежского Поленькой Сас, играл с нею в лото, был пьян и возбужден, как на Вас. Острове он был на представлении пьесы Дымова «Слушай Израиль» и ушел с Чулковым, как у Вяч. Ив[анова]

на Таврической, на крыше, он читал свою «Незнакомку», как он у Сологуба читал «Снежную Маску», как у Острогорского в «Образовании» читал «Над слякотью дороги». И эту обреченную походку — и всегдашнюю невольную величавость — даже когда забегал в «Дом Лит.» перехватить стакан чаю или бутерброд — всю эту непередаваемую словами атмосферу Блока я вспомнил — и мне стало страшно, что этого нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его *цветущие* волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любви, «его декадентство», «его реализм», его морщины — все это под землей, в земле, земля.

Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. Литература это работа поколений — ни на минуту не прекращающаяся — сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение столетий массой — и... (страница не дописана. — *Е. Ч.*)

В его жизни не было событий. «Ездил в Bad Nauheim». Он ничего не делал — только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет с 98 по 1918. И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он.

<...> *Худ. отдел в 1½ года.* Двух коров.
Лит. отдел добыл в 1 месяц: *Молочный пункт.* На кажд. члена колонии по бутылке молока. *Паек* детской колонии (сахар, рожь, крупа и т. д.). *Огород. Сад. 3 лошадей. 2 дес. ржи. 1 десят. клеверу. Ежемесячное получение жмыхов.*

Организовал приток колонистов. Распропагандировал колонию.

Добуж. называет меня «неврастеником», «опасным и утомительным ч[елове]ком». Он говорит, что мне везет в такого рода делах. Сам он действительно трогательно и патетично в них беспомощен. Так-таки не достал пайков, не отвоевал лошадей, не послал никого за дровами. Он не знает, что для того, чтобы везло, нужно:

1. встать в 5 час. утра.
2. бегом побежать на мельницу — за хомутом.
3. побежать в Захонье за упряжью.
4. оставить семью без хлеба.
5. прошататься не евши по учреждениям.
6. вернуться домой и услышать

— В прошлом году здесь жилось хорошо и сытно, а теперь приехали «литераторы» — и всюду грязь, шум и проч.

20 или больше августа. Был Мстислав Валерианович у меня. Едва только я стал читать ему отрывки из этой тетради, он сказал, что все это «кухонные мелочи» и что я совершу пошлость, если кому-нибудь покажу изложенное здесь.

(Вклеен лист. — *Е. Ч.*)

МОЙ ОТЗЫВ О РАБОТЕ АМФИТЕАТРОВА. ЭТОГО ОТЗЫВА АМФ. НИКОГДА НЕ МОГ МНЕ ПРОСТИТЬ.

В статейке Амфитеатрова много вычур. Если нужно сказать: *«вскоре* он *умер»,* автор пишет: *«судьба постигла его быстрою смертью».* Ему нравятся такие выражения, как:

«Попытка, пропитанная самовлюбленностью», стр. 4

«Гений *вклинил* поэта» (3)

«Ползет отрава талантливой злости» (5)

Вот как на стр. 6-ой автор выражает ту мысль, что в одном романе д'Аннунцио слишком подчеркнул разницу лет двух супругов:

...«В ловко поставленном возрастном контрасте... д'Аннунцио поставил в рассчитанную противоположность торжествующей, победоносной юности (он) и увядающей, покатившейся к вечеру своему жизни, уже ступившей на порог старости (она)»...

Все это похоже на пародию. Этот дешевый стиль декаданс сочетается с наивно-фельетонным:

«Титан музыки XIX века Рихард Вагнер».

«Виктор Гюго и Шекспир, сияющие в репертуаре великой артистки...»

Даже русский язык, обыкновенно столь добротный у автора, изменил ему на этот раз <...>

Но, конечно, все это было бы пустяк, ежели бы самое содержание статьи не было столь чуждо нашим задачам. Представим себе, что мы издаем «Евгения Онегина» — и в предисловии пишем: как не стыдно П[у]шк[ин]у, он проиграл вторую главу своего романа. В карты очень стыдно играть. Моральное негодование так охватило А[мфитеатро]ва, что он излил его на десяти страницах, а когда очнулся, было поздно: статья уже кончена. Между тем роман «Огонь» есть роман об искусстве. В нем целая система эстетики. В то время, когда появился роман, взгляды, изложенные в этом романе, были новы, революционны, значительны. Предисловие должно было тоже свестись, главным образом, к объяснению этих эстетических воззрений д'А[ннун]цио. В чем была их новизна? Как они связаны с общеевропейским неоромантизмом той поры? С этого надо было начать, сделать это центром статьи [20].

6 декабря 1921. Очень грущу, что так давно не писал: был в обычном вихре, черт знает как заве[р]тело меня. Вчера вышли сразу три мои книжонки о Некрасове — в ужасно плюгавом виде [21]. Сейчас держу корректуру «Книги о Блоке», которая (книга) кажется мне отвратительной. Вчера в оперном зале Народного Дома состоялся митинг, посвященный Некрасову по случаю столетия со дня его рождения. Я бежал с этого митинга в ужасе. <...> когда мы пришли в оперный зал Народного Дома — всюду был тот полицейский, казенный, вульгарный тон, который связан с комиссарами. Погода была ужасная, некрасовская. Мокрый снег яростно бил в лицо. <...>

12 декабря **1921 года.** На днях объявилась еще одна родственница Некрасова — г-жа Чистякова. Ко мне прибежала внучка Еракова, Лидия Михайловна Давыдова, и сказала, что в Питере найдена ею «Луша», дочь Некрасова, с которой она вместе воспитывалась и т. д. И дала мне адрес: Николаевская, 65, кв. 9. Я пошел туда.

Мороз ужасный. Петербург дымится от мороза. Открыла мне маленькая, горбоносая старушка, в куцавейке. Повела в большую, хорошо убранную холодную комнату.

— Собственно, я не дочь Некрасова, а его сестра. Я дочь одной деревенской женщины и Некрасова-отца...

В комнате большая икона Иисуса Христа (которого она называет «Саваофом») и перед иконой неугасимая лампадка... с керосином. Мы с нею оживленно болтали обо всем. Она рассказала мне, что знаменитую «Зину», «Зинаиду Николаевну» — Некрасов взял из Публичного дома, что эта Зина перед смертью обокрала его и т. д.

Вот за стеною Мура уже начала свои словесные экзерцисы; кричит: А-ва! А-ва! Ава — значит *собака.* Кроме того, это самое легкое слово. Случается, что она, желая поговорить, выговаривает бессмысленно *ава* и только потом притягивает к этому крику значение: показывает картинку с собачкой. Раньше фонетика, а потом семантика. Заумное слово уже после произнесения становится «умным». <...>

Сейчас сяду составлять для Сазонова антологию поэтов. Ой, как мне хочется писать, а не стряпать книжонки.

Декабрь 19, понедельник. <...> Сегодня я буду читать «Воспоминания о Блоке» — в четвертый раз. От Кони — хвалебное письмо по поводу моих книжек о Некрасове [22]. Был. вчера у Ходасевича, он читал мне свою прекрасную статью об Иннокентии Анненском [23]. Статья взволновала меня и обрадовала. Вдруг мне открылось, что Ходасевич, хоть и небольшой человек, но умеет иногда быть большим, и что у него есть своя очень хорошая линия. <...>

24 декабря. Сейчас от Анны Ахматовой: она на Фонтанке 18 в квартире Ольги Афанасьевны Судейкиной. «Олечки нет в Петербурге, я покуда у нее, а вернется она, надо будет уезжать». Комнатка маленькая, большая кровать не застлана. На шкафу — на левой дверке — прибита икона Божьей Матери в серебряной ризе. Возле кровати столик, на столике масло, черный хлеб. Дверь открыла мне служанка-старуха: «Дверь у нас карактерная». У Ахм. на ногах плед: «Я простудилась, кашляю». Мы беседовали долго. <...>

— У меня большая неприятность с «Петрополисом». Они должны были заплатить мне 9 миллионов, но стали считать «по валюте» — и дали только четыре. Я попросила Алянского сходить к ним для переговоров, они прислали мне грубое письмо: как я смела разговаривать с ними через третье лицо — и приглашают меня в Правление в понедельник! Нахалы. Я ничего не ответила им, а послала им их письмо обратно. Теперь приходил Лозинский, говорит, что я

обидела Блоха и т. д.... Скоро выходят «Четки». Ах как я не люблю этой книги. Книжка для девочек. Вы читали журнал «Начала»? — Нет,— сказал я, — но видел, что там есть рецензия о вас.— Ах, да! — сказала она равнодушно, но потом столько раз возвращалась к этой рецензии, что стало ясно, какую рану представляет для нее эта глупая заметка Чудовского. — Я, конечно, желаю Анне Радловой всякого успеха, но зачем же уничтожать всех других» (в рецензии уколы по адресу Блока, Ахматовой, Белого)... Я сказал: — Зачем притворяться. Будем откровенны: Чудовский — махровый дурак, а Радлова — негодная калоша. — Я боюсь осуждать ее, грех осуждать, но... — сказала она и, видимо, была довольна. — Меня зовут в Москву, но Щеголев отговаривает. Говорит, что там меня ненавидят, что имажинисты устроят скандал, а я в скандалах не умею участвовать, вон и Блока обругали в Москве... — Потом старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что дров к завтрему нет. — Ничего, — сказала Ахматова. — Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим. (Сегодня я посылаю к ней Колю.) Она лежала на кровати в пальто — сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. — Это балет «Снежная Маска» по Блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой. — И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне как дивный тонкий комментарий к «Снежной Маске». Не знаю, хороший ли это балет, но разбор «Снежной Маски» отличный. — Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже [24].

Потом она стала читать мне свои стихи и когда прочитала о Блоке — я разревелся и выбежал [25].

Третьего дня я был у Замятина. Он переехал во «Всемирную». Слава Богу! Для него было так мучительно бегать на заседания с Петерб. Стороны. Обедом угостили на славу — и вообще приласкали. Потом в комнату ввалился Щеголев — и полились анекдоты. Щеголев хохочет потрясающе, сед, крепок, лицо ленивое и добродушное, но лукавое. Он рассказывал, как он помирился с Лернером. Были они, как два пушкиниста, в самой непримиримой вражде. Но с Пушкинских торжеств возвращались вместе с Замятиными домой — через Неву, Лернер шел сзади один, вдруг случилась полынья. Через полынью доска. Все прошли по доске, один Лернер — трусит. Пройдет два шага и назад. Тогда Щеголев — «с того берега» крикнул:

— Ну, Николай Осипович, идите смелей! Стыдно так трусить!

С тех пор они и помирились. Но Лернер все же вернулся назад и пошел верхом, по мосту.

26 декабря, понедельник. <...> Был вчера с Лидой у Анненкова. Он сидит с женой — и вместе они переводят «Атлантиду» Бенуа. Пробуют. Квартирка чистенькая — много картинок. Я загадал: если за-

стану его дома, посвящу ему свою книжку о Блоке. Застал. Рассматривали вместе журнал «Петербург», только что присланный мне Белицким.

28 декабря 1921, среда. Вчера читал на [нрзб]утовских Курсах лекцию — бесплатно — в пользу уезжающих на родину студентов. Они живут в ужасных условиях. Установилась очередь на плиту, где тепло спать, один студент живет в шкафу, провел туда электрическое освещение. Ехать они хотят в багажном вагоне малой скоростью — багажом: 80 пудов студентов!

1922

1 января. Встреча Нового Года в Доме Литераторов. Не думал, что пойду. Не занял предварительно столика. Пошел экспромтом, потому что не спалось. О-о-о! Тоска — и старость — и сиротство. Я бы запретил 40-летним встречать новый год. Мы заняли один столик с Фединым, Замятиным, Ходасевичем — и их дамами, а кругом были какие-то лысые — очень чужие. Ко мне подошла М. В. Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца 3 [назад] сказала мне: — Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Г[умиле]ва?

— Какие товарищи? — спросил я.

— Б[ольшеви]ки.

— Сволочь! — заорал я на 70-летнюю старуху — и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И, конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу. И вот теперь — она первая подходит ко мне и говорит: «Ну, ну, не сердитесь...»

Говорились речи. Каждая речь начиналась:

— Уже четыре года...

А потом более или менее ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у рус. лит. есть не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически) сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо даровит, «и уже растет зеленая трава, но эта трава на могилах». И мы молча почтили вставанием умерших. Потом явился Марадудин и спел куплеты — о каждом из нас, причем назвал меня Врид Некрасова (временно исполняющий должность Н[екрасо]ва), а его жена представила даму, стоящую в очереди кооператива Дома Литераторов, — внучку Пушкина по прямой линии от г-жи NN. Я смеялся — но была тоска. Явился запоздавший Анненков. Стали показываться пьяные лица. <...> Потом пришли из

«Дома Искусств» — два шкловитянина: Тынянов и Эйхенбаум. Эйхенбаум печатает обо мне страшно ругательную статью — но все же он мне мил почему-то. Он доказывал мне, что я нервничаю, что моя книжка о Некрасове неправильна, но из его слов я увидел, что многое основано на недоразумении. Напр., фразу «Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинаем» [1] он толкует так, будто я желаю считать себя основоположником «формально-научного метода», а между тем эта фраза относится исключительно к Некрасову.

Тынянова книжка о Достоевском мне нравится [2], и сам он — всезнающий, молодой, мне нравится. Уже женат, бедный.

Потом Моргенштерн читал по нашему почерку — изумительно: Анненкову, которого видит первый раз, сказал: «У вас по внешности слабая воля, а на деле сильная. Вы сейчас — в самом расцвете и делаете нечто такое, от чего ожидаете великих результатов. Вы очень, очень большой человек».

Меня он определял долго, и все верно. Смесь мистицизма с реализмом и пр.

О Замятине сказал: это подражатель. Ничего своего. Натура нетворческая.

Изумительно было видеть, что Замятин обиделся. Не показал: жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно, — но обиделся. И жена его обиделась, смеялась, но обиделась. (Анненков потом сказал мне: «Заметили, как она обиделась».)

Потом меня подозвал к себе проф. Тарле — и стал [вести] ту утонченную, умную, немного комплиментарную беседу, которая становится у нас так редка. Он любит мои писания больше, чем люблю их я. Он говорил мне: «У вас есть две классические статьи — классические. Их мог бы написать Тэн. Это — о Вербицкой и о Нате Пинкертоне. Я читаю их и перечитываю. И помню наизусть...» И стал цитировать. Рассказывал свой разговор со скульптором Иннокентием Жуковым. «Я говорю ему: знаете в Лувре — Sclavi * Микель Анджело. Я только теперь, будучи в Париже, всмотрелся в них как следует. Какая мощь и проч. А он мне: — Да, французы по части техники — молодцы». Французы! Микель Анджело — француз! И каково это: по части техники!

Анненков попросил Тарле дать текст к его портретам коммунаров [3]. Тот согласился.

А в зале происходили чудеса. Моргенштерн — давал сеансы спиритизма. Ему внушили выхватить из четырех концов залы по человеку. Он вошел, стал посередине, а зала — большая, а народу много, и вдруг как волк, быстро, быстро, кинулся вправо, влево! хвать — хвать — в том числе и меня, без раздумья выстроил в ряд. И. т. д., и т. д.

Утром мы пошли домой. Говорят, в Доме Искусств было еще тоскливее. <...>

---

* Рабы (*франц.*).

Приехал из Ростова театр — ставит «Гондлу» [4].

Хочется мне пойти и поздравить Сологуба. Был у Белицкого — по поводу своей книжки о Блоке. <...>

2 января. Пишу для Анненкова предисловие к его книге. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему [5].

Писал о Мише Лонгинове [6]. Хочу переделать ту дрянь, к-рая была написана мною прежде.

13 февраля. Щеголев живет на Петербургской стороне. Это человек необыкновенно толстый, благодушный, хитроватый, приятный. Обаятелен умом — и широчайшей русской повадкой. Недавно говорит мне: «Продайте нам («Былому») две книжки». Я говорю: «С удовольствием». Изготовил две брошюры о Некрасове, говорю: «Дайте пять миллионов!» Щеголев: «С удовольствием». Потом ходила моя жена, ходил я, не дает ни копейки. Дал как-то один миллион — и больше ничего. — «У самого нет». И правда: сын его сидит без папирос, — дальше некуда. А у меня ни одного полена. Я с санками ходил во Всемирную, выпросил поленьев двенадцать, но вез по лютому морозу, без перчаток, поленья рассыпаются на каждом шагу, руки отморозил, а толку никакого. Я опять к Щеголеву: «Ради бога, отдайте хоть рукописи». — «Да вам деньги на что?» — «А мне на дрова». — «На дрова?» — «Да!» — «Так что же вы раньше не сказали? Завтра же будут вам дрова. Пять возов!» Я в восторге. Жду день, жду два. Наконец моя жена идет сама к дровянику (адрес дровяника дал Щ[еголев]) — и тот говорит: «С удовольствием послал бы, но пожалуйте денежки, а то г-н Щеголев и так должен мне слишком много». Мы купили у него воз, — а я достал денег, отнес Щеголеву миллион и взял назад свои рукописи. С тех пор мы стали приятелями. Оказывается, он знаменит своим *несдержанием слова*. Это тоже в нем очаровательная черта — как это ни странно. Она к нему идет. Еще никогда он не сдержал своих обещаний. Вчера я с Замятиным были у него в гостях. Чтобы оживить вечер, я предложил рассказать, как кто воровал, случалось ли кому в жизни воровать. Щеголев медленно, со вкусом рассказал:

— Есть в Москве Мария Семеновна... Или была, теперь она пострадала от Чеки — а может, и снова возникла... У нее можно было пообедать и выпить. Очень хорошая женщина. И так у нее хорошо подавалось: графинчик спирту и вода *отдельно*. Хочешь, мешай в любую пропорцию. Ну вот я у нее засиделся, разговорился, а потом ушел — очень веселый. А были там еще какие-то художники — пили. (Пауза.) Художники казались ей подозрительны. Почему-то. На следующий день прихожу к ней, она ко мне: «Как вы думаете, не могли ли художники унести у меня одну вещь?» — «Какую?» — «Стакан — драгоценный, старинный». — «Неужели пропал?» — «Пропал!» — «Нет, говорю, художники едва ли могли». — «Тогда кто же его взял?» Она в отчаянии. Прихожу я домой и NN расска-

зываю о воровстве, NN идет к шкафу и достает стаканчик!» «Вы, говорит, вчера сами его принесли, показывали, расхваливали, — неужели это чужой?»

Даже при рассказе все огромное лицо Щеголева порозовело. Кроме нас с Замятиным были и Щеголева, Анна Ахматова и приехавший из Москвы Чулков. Ахматова, по ее словам, «воровала только дрова у соседей», а Чулков и здесь оказался бездарен.

Он очень постарел, скучен, как паутина, и умеет говорить лишь о Тютчеве, которым теперь «занимается». Душил нас весь вечер рассказами о том, как он отыскал такую-то рукопись, потом такую-то, и сначала был *«один процент неуверенности»,* а потом и этот *«один процент»* исчез, когда к нему пришел покойный Эрнест Эдуардович Кноппе и сказал: был у меня в Париже знакомый и т. д. ...

Ахматова прочитала три стихотворения <...> два очень личных (о своем Левушке, о Бежецке, где она только что гостила) и другое о Клевете, по поводу тех толков, которые ходят о ее связи с Артуром Лурье[7].

Замечателен сын Щеголева, студент 18 лет, напускает на себя солидность, — говорит басовито, пишет в «Былое» рецензии — по-детски мил — очарователен, как и отец.

Очень смеялась Ахматова, рассказывая, какую рецензию написал о ней в Берлине какой-то Дроздов: «Когда читаешь ее стихи, кажется, что приникаешь к благоуханным женским коленям, целуешь душистое женское платье». Впрочем, рассказывал Замятин, а она только смеялась [8].

Щеголев-сын рассказал, что J. Гессен ругает в «Руле» Тана, Адрианова, Муйжеля за то, что те согласились печататься в советской прессе, «а впрочем, как же было не согласиться, если тех, кто отказывался, расстреливали».

— И как они могут в этой лжи жить? — ужасается Ахматова.

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной.

— Садитесь! Это единственная теплая комната.

Сегодня только я заметил, какая у нее впалая «безгрудая» грудь. Когда она в шали, этого не видно. Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны.

— То же самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?..

Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева. «Как она не понимает, что все отношения к ней построены на сочувствии к ее горю? Если же горя нет, то нет и сочувствия». И потом по-женски: «Ну зачем Коля взял себе такую жену? Его мать говорит, что он сказал ей при последнем свидании:

— Если Аня не изменится, я с нею разведусь.

Воображаю, как она раздражала его своими пустяками! Коля вообще был несчастный. Как его мучило то, что я пишу стихи лучше его. Однажды мы с ним ссорились, как все ссорятся, и я сказала ему — найдя в его пиджаке записку от другой женщины, что «а все же я пишу стихи лучше тебя!». Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный! Он так — во что бы то ни стало — хотел быть хорошим поэтом.

Предлагали мне Наппельбаумы стать Синдиком «Звучащей Раковины» [9]. Я отказалась».

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице — даже страшно.

И это верно: слава ее в полном расцвете: вчера Вольфила (Вольная философская ассоциация — *Е. Ч.*) устраивала «Вечер» ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера. — Дайте хоть что-нибудь.

— Хорошо Сологубу! — говорит она. — У него все ненапечатанные стихи по алфавиту, в порядке, по номерам. И как много он их пишет: каждый день по нескольку.

15 февраля. Вчера весь день держал корректуру Уитмэна. Всемирная Литература солила эту книгу 2 года — и вот, наконец, выпускают. Коробят меня кое-где фельетонности, но в общем ничего. <...> Собираю матерьялы для журнала.

17 февраля. Пятница. <...> Занят переделками: футуристов и «Ахматовой». <...>

19 февр. 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: «Я в час должен быть у Дункан! » (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили «Дюймовочку», он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической)[10], а декорации кончал писать уже тогда, когда в театре стала собираться публика! Никогда у него нет спичек, и он всегда будет вспоминаться, как убегающий от меня на улице, чтобы прикурить: маленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке) подкатывается шариком к прохожим: «Позвольте закурить». Один ответил ему: — Не позволю!

— Почему?

— Я уже десяти человекам подряд давал закуривать, одиннадцатому не дам!

Потом он ужасно восприимчив к съестному — возле лавок гастрономических останавливается с волнением художника, созерцающего Леонардо или Анджело. Гурманство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день: вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же

жаден он к зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забавного мужа: уйдя из дому, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи сутки, причем великолепно рассказывает, *что, где* и *когда* он ел. Горького портрет[11] начал и не кончил *. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его портрет, да так и не собрался, хотя назначил и день и час. Любят его все очень: зовут Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще «шалости» — он успевает написать столько картин, портретов.

Вчера был с Замятиным у Алконоста: он говорит, что в первой редакции мои воспоминания о Блоке разрешены. Неужели разрешат и во второй? Сяду сейчас за Игоря Северянина.

21 февраля. Как отчетливо снился мне Репин: два бюстика, вылепленные им, моя речь к его гостям. Ермаков на диванчике (и я во сне даже подумал: почему же Репин называл Ерм. сукиным сыном, а вот беседует с ним на диванчике!) — и главное, такая нежная любовь, моя любовь к Репину, какая бывает только во сне. <...>

Нужно держать корректуру Уитмэна — переделывать Северянина. Сегодня долго не хотел гореть мой светлячок: в керосине слишком много воды.

22 февраля. У Анненкова хрипловатый голос, вывезенный им из Парижа. Он очень застенчив — при посторонних. Войдя в комнату, где висят картины — он, сам того не замечая, подходит вплотную и обнюхивает их (он близорук) и только тогда успокоится, когда осмотрит решительно все.

25 февраля. Вчера было рождение Мурочки — день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме. <...> я боялся только одного: как бы не пришел еще один гость и не принес ей еще одного слона.

Анненков действительно великолепный медиум — он даже угадал задуманное слово: *конференция*. Всякая возможность мошенничества была исключена. Очень было интересно, когда на Анненкова влияло третье лицо — через посредство Моргенштерна. Но в общем все это смерть и тоска.

Игорь Северянин тормозится.

28 февраля. В субботу (а теперь понедельник) я читал у Серапионовых братьев лекцию об O'Henry и так устал, что — впал в обморочное состояние. Все воскресение лежал, не вставая... Был у Кони. Он очень ругает Кузмина: «Занавешенные картинки», — за порнографию. Студенты Политехникума сообщили мне, что у них организовался кружок Уота Уитмэна. <...> Я опять похудел, очень

---

* Он сделал только половину лица, левую щеку, а правую оставил «так», ибо не пришел на сеанс. — *Примеч. автора.*

постарел. Чувствуется весна, снег тает магически. Читаю Henry James'a «International Episode»*. У Кони я был с Наппельбаумом, фотографом, который хочет снять Анатолия Федоровича. Тот, как и все старики, испугался: «Зачем?»... Но сам он, несмотря на 78-летний возраст, так моложав, *красив,* бодр — просто прелесть. Особенно когда он сидит за столом; у себя, в своей чистенькой, идиллической комнатке (которая когда-то так возмущала своей безвкусицей Д. Вл. Философова). Но жизнь уже исчерпала его до конца. Настоящего для Кони уже нет. Когда говоришь с ним о настоящем, он ждет случая, как бы, при первой возможности, рассказать что-нибудь о былом. Мысль движется только по старым рельсам, новых уже не прокладывает. Я знаю все, что он скажет по любому поводу, — и это даже приятно. <...>

Какое? 9-е или 10-е марта 1922. Ночь. Уже ровно неделя, как я лежу больной. <...>

Лежа не могу не читать. Прочитал Henry James'a «Washington Square». Теперь читаю его же «Roderick Hudson». Прочитал (почти всё, потом бросил) «T. Tembarom» by Barnett и т. д. и т. д. И от этого у меня по ночам (а я почти совсем не сплю) — английский бред: overworked brain ** с огромной быстротой — вышвыривает множество английских фраз — и никак не может остановиться. Сейчас мне так нехорошо, болит правый глаз — мигрень, — что я встал, открыл форточку, подышал мокрым воздухом и засветил свою лампадку — сел писать эти строки — лишь бы писать. Мне кажется, что я не сидел за столом целую вечность. Третьего дня попробовал в постели исправлять свою статью о футуристах, весь день волновался, черкал, придумывал — и оттого стало еще хуже. Был у меня в гостях Замятин, принес множество новостей, покурил — и ушел, такой же гладкий, уверенный, вымытый, крепенький — тамбовский англичанин, — потом был Ефимов и больше никого. У меня кружится голова, надо ложиться — а не хочется.

Сейчас вспомнил: был я как-то с Гржебиным и Кони. Гржебин обратился к Кони с такой речью: «Мы решили издать серию книг о «замечательных людях». И, конечно, раньше всего подумали о вас». Кони скромно и приятно улыбнулся. Гржебин продолжал: «Нужно напоминать русским людям о его учителях и вождях». Кони слушал все благосклоннее. Он был уверен, что Гржебин хочет издать его биографию — вернее, его «Житие»... — «Поэтому, — продолжал Гржебин, — мы решили заказать вам книжку о Пирогове...» Кони ничего не сказал, но я видел, что он обижен.

Он и вправду хороший человек, Анатолий Федорович, — но уже лет сорок живет не для себя, а для такого будущего «Жития» — которое будет елейно и скучно; сам он в натуре гораздо лучше этой будущей книжки, под диктовку которой он действует.

---

* «Случай из международной жизни» (*англ.*).

** Переутомленный мозг (*англ.*).

12 марта. Только что, в 12 час. ночи, кончил Henry James'a «Roderick Hudson» и просто потрясен этим мудрым, тончайшим, неотразимым искусством. У других авторов, у Достоевского, н а п р . , — герой как на сцене, а здесь ты с ними в комнате — и как будто живешь с ними десятки лет. Его Mary Garland и Кристину я знаю, как знают жену. Он нетороплив, мелочен, всегда в стороне, всегда в микроскоп, всегда строит фразу слишком щегольски и хладнокровно, а в общем волнует и чарует, и нельзя оторваться. В рус. лит. ничего такого нет. И какое гениальное знание душ, какая смелость трактовки. Какой твердой безошибочной рукой изображен гений — скульптор Roderick, не банальный гений дамских романов, а подлинный — капризный, эготист, не видящий чужой психологии, относящийся к себе, к своему я, как к святыне, действительно стоящий *по ту сторону*. И Кристина Лайт, красавица, [с] таким же отношением к своему я, кокетка, дрянь, шваль, но святая. И безупречный джентльмен, верный долгу, очень благородный (совсем не манекен), который оказывается все же в дураках — как это тонко и ненавязчиво показано автором, что Rowland все же банкрот — что каждая его *помощь* причинила только зло, что в жизни нужно безумствовать, лететь вниз головой и творить, а не лезть с моральными рецептами. Fancy such a theme in an American novel! It was written (as I found in a dictionary) in 1875 *. Уже предчувствовался Ницше, Уайльд — и вообще *неблагополучие* в романах и мыслях. I wonder whether this extraordinary novel had a good reception on its native soil **. В нем чувствуется много французского — флоберовского. Порою весь этот дивный анализ James'a пропадает зря, to no purpose ***. Прочтешь — и спрашиваешь: ну, так что? Такое б[ыло] мое чувство, когда я кончил «International Episode». Но «Wash[ington] Squ[are]» и «Hudson» — другое дело. В «Wash[ington] Squ[are]» тоже показана моральная победа сильного, стихийного, цельного духа over the concocted, trifle ****.

Однако уже три четв. первого. Сейчас погасят электричество. А нервы у меня взлетели вверх — едва ли я засну эту ночь. Сегодня я писал о Вас. Каменском. Это все равно, что после дивных миниатюр перейти к маляру.

O'Henry меня разочаровал понемногу. Принесли мое новое пальто. Я еще не примерял его. Болезнь моя проходит. А как мне хочется читать еще и еще! Мне больно видеть у себя на полке книгу, которой я еще не проглотил! ¾ 3-го ночи. Не могу заснуть. <...>

Я засветил свою лампаду и разыскал еще одну книгу James'a «Confidence ****** — попробую хоть немного отвлечься от грусти,

---

* Такая тема — в американском романе! Он написан (как я узнал из энциклопедии) в 1875 (*англ.*).

** Интересно, как был принят этот необычный роман на родине автора (*англ.*).

*** Бесцельно (*англ.*).

**** Над искусственными пустяками (*англ.*).

***** «Исповедь» (*англ.*).

которая душит меня во время бессонницы... Нет, прочитал 20 страниц и бросил. Это очень плохо в Джеймсе, что каждый кусок его повести равен всякому другому куску: всюду та же добротная ткань, та же густая, полновесная фраза с иронической интонацией — и часто тот же сюжет: «Confidence» — опять Рим, опять художник и девушка, опять Любовь, опять brilliant dialogue * и главное — опять бездельники — богатые люди, которые живут всласть, ничего не делая, кроме любви («making nothing but love»).

Ночь на 15-ое марта 1922 г. Которую ночь не сплю. Луна. Вчера впервые вышел. Dizziness **. Но в общем ничего. Читаю Thomas Hardy «Far from the Madding Crowd» ***. Здорово! Сейчас вспомнил, как Гумилев почтительно здоровался с Немировичем-Данченко и даже ходил к нему в гости — по праздникам. Я спросил его, почему. Он ответил: «Видите ли, я — офицер, люблю субординацию. Я в литературе — капитан, а он — полковник». — «Вот почему вы так учтивы в разговоре с Горьким». — «Еще бы, ведь Горький генерал!..» Это было у него в крови. Он никогда не забывал ни своего чина, ни чужого.

Как он не любил моего «Крокодила»! И тоже по оригинальной причине. — «Там много насмешек над зверьми: над слонами, львами, жирафами». А он вообще не любил насмешек, не любил юмористики, преследовал ее всеми силами в своей «Студии», и всякую обиду зверям считал личным себе оскорблением. В этом было что-то гимназически-милое. <...>

6 часов. Потушу светлячок и лягу. Авось усну. Очевидно мне опять умирать от бессонницы. Бессонница отравила всю мою жизнь; из-за нее в лучшие годы — между 25 и 35 годами — я вел жизнь инвалида, почти ничего не писал, чуждался людей — жил с непрерывной мутью в голове. То же начинается и теперь. Как бороться с этим, не знаю. <...>

В Питере возникло Уитмэнское Общество. Написанное на обороте принадлежит основателю общества — студенту Барабанову [12], Борису Николаевичу. Он был у меня несколько раз. Шинель у него поразительно порванная, в сущности состоит из трех или четырех отдельных частей, лицо красивое, каштановые (но грязные) локоны, выражение лица такое, будто у него болят зубы. Я разыскивал его в общежитии — на Бассейной (общежитие Педагогического Института) — там по всем лестницам снуют девицы и юноши, в каждой комнате кучи народу, все знают Барабанова, он очень популярен среди них — нечто вроде вождя, «талант», — и никто из этих девиц не догадается зашить ему шинель. <...>

16 марта. 6 час утра. <...> Статья о Каменском, кажется, удалась мне.

---

* Блестящий диалог (*англ.*).
** Головокружение (*англ.*).
*** «Вдали от обезумевшей толпы» (*англ.*).

Перечитал вчера свой набросок о Леониде Андрееве: боюсь, не мало ли я выразил его добродушие, простодушие, его детскость. Он был, в сущности, хороший человек, и если бы я не был критиком, мы были бы в отличных отношениях. Но он имел единственное, ничем не объяснимое качество: он боялся, ненавидел критиков. Помню, однажды я пришел к нему пешком (босиком) — (это 12 верст) — вместе с Ольдором. Андреев принял меня, как всегда, сердечно, но Ольдора еле удостоил разговора. Ольдор, действительно, скучный и неумный остряк. Я спросил Андреева: «Отчего вы так равнодушны к вашему гостю».— «Ну его! — ответил Андреев, — он в 1908 году написал на меня пародию». А так он был добр чрезвычайно. Помню, сколько внимания, ласки, участия оказывал он, напр., бездарному Брусянину: читал его романы, кормил и одевал его, выдавал ему чеки (якобы взаймы) и проч. Или его доброта к Н. Н. Михайлову. Или к Фальковскому. Он всегда искал, к кому прилепиться душой и даже так: кому поклониться. Однажды пришел в апогее своей славы к С. А. Венгерову, просидел у него целый день и, как гимназист, «задавал ему вопросы». Скромный и недалекий Венгеров был, помнится, очень смущен. Недавно Горнфельд рассказывал мне, что такой же визит Андреев нанес ему. И тоже — нежный, почтительный тон. Он любил тон товарищеский. Вдруг ему казалось, что с этим человеком можно жить по-кунацки, по-братски. Он даже табак подавал этому ч[елове]ку особенно. Но хватало пороху только на три дня, потом надоедало, он бросал. Такой же тон был у него с Анной Ильиничной, его женой.

17 марта. Мороз. Книжных магазинов открывается все больше и больше, а покупателей нет. Вчера открылся новый — на углу Семеновской и Литейного, где была аптека. Там я встретил Щеголева. Он входит в книжный магазин, как в свое царство — все приказчики ему низко кланяются:

— Здравствуйте, Павел Елисеевич, — и вынимают из каких-то тайников особенные заветные книжки. С ним у меня отношения натянутые. Я должен был взять у него свои статьи, так как он не платит денег. Он встретил меня словами:

— Вы ужасный человек. Никогда не буду иметь с вами дело...

А уходя, подмигнул:

— Дайте чего-нибудь для «Былого». Бог с вами. Прощаю.

И я дам. Очень он обаятельный.

Если просидеть час в книжном магазине — непременно раза два или три увидишь покупателей, которые входят и спрашивают:

— Есть Блок?

— Нет.

— И «Двенадцати» нет?

— И «Двенадцати» нет.

Пауза.

— Ну так дайте Анну Ахматову!

Только что вспомнил (не знаю, записано ли у меня), что Маяков-

ский в прошлом году в мае страшно бранил «Двенадцать» Блока: — Фу, какие немощные ритмы.

18 марта. Был вчера в кружке уитмэнианцев и вернулся устыженный. Правда, уитмэнианства там было мало: люди спорили, вскрикивали, обвиняли друг друга в неискренности, но — какая жажда всеосвящающей «религии», какие запасы фанатизма. Я в последние годы слишком залитературился, я и не представлял себе, что возможны какие-нибудь оценки Уитмэна, кроме литературных, — и вот, оказывается, благодаря моей чисто *литературной* работе — у молодежи горят глаза, люди сидят далеко за полночь и вырабатывают вопрос: *как жить*. Один вроде костромича все вскидывался на меня: «это эстетика!» Словно «эстетика» — ругательное слово. Им эстетика не нужна — их страстно занимает мораль. Уитмэн их занимает как пророк и учитель. Они желают целоваться и работать и умирать — *по Уитмэну*. Инстинктивно учуяв во мне «литератора», они отшатнулись от меня. — Нет, цела Россия! — думал я, уходя. — Она сильна тем, что в основе она так наивна, молода, «религиозна». Ни иронии, ни скептицизма, ни юмора, а все всерьез, in earnest *. <…> здесь сидели — истомленные бесхлебьем, бездровьем, безденежьем — девушки и подростки-студенты, и жаждали — не денег, не дров, не эстетич. наслаждений, но — веры. И я почувствовал, что я рядом с ними — нищий, и ушел опечаленный. Сейчас сяду переделывать статью о Маяковском. Вчера на заседании Всемирной Литературы рассказывались недурные анекдоты о цензуре.

У Замятина есть рассказ «Пещера» — о страшной гибели интеллигентов в Петербурге. Рассказ сгущенный, с фальшивым концом, и, как всегда, подмигивающий — но все же хороший. Рассказ был напечатан в «Записках Мечтателей» в январе сего года. Замят. выпускает теперь у Гржебина книжку своих рассказов, включил туда и «Пещеру» — вдруг в типографию является «наряд» и рассыпает набор. Рассказ запрещен цензурой! Зам[ятин] — в военную цензуру: там рассыпаются в комплиментах: чудесный рассказ, помилуйте, это не мы. Это Политпросвет. Зам[ятин] идет на Фонтанку к Быстрянскому. Быстрянский сидит в большой комнате один; потолок, хоть и высоко, но, кажется, навис над самой его головой; очки у него хоть и простые, но кажутся синими. Зам[ятин] говорит ему: — Вот видите, янв. номер «Зап. Мечтателей». Видите: цензура разрешила. Проходит два месяца, и тот же самый рассказ считается нецензурным. А между тем вы сами видите, что за эти два месяца Сов. Респ. не погибла. Рассказ не нанес ей никакого ущерба.

Быстрянский смутился и, не читая рассказа, разрешил печатать, зачеркнув запрещение. Оказывается, что запрещение исходило от некоего тов. Гришанина, с которым Быстрянский в ссоре!

---

* Всерьез (*англ.*).

19 марта 1922 г. <...> Новые анекдоты о цензуре, увы — достоверные. Айхенвальд представил в ценз. статью, в которой говорилось, что нынешнюю молодежь убивают, развращают и проч. Цензор статью запретил. Айхенв. думал, что запрещение вызвали эти слова о молодежи. Он к цензору (Полянскому): — Я готов выбросить эти строки.

— Нет, мы не из-за этих строк.

— А отчего?

— Из-за мистицизма.

— Где же мистицизм?

— А вот у вас строки: «умереть, уснуть», это нельзя. Это мистицизм.

— Но ведь это цитата из «Гамлета»!

— Разве?

— Ей-богу.

— Ну, погодите, я пойду посоветуюсь.

Ушел — и, вернувшись, со смущением сказал:

— На этот раз разрешаем.

Все это сообщает Замятин. Замятин очень любит такие анекдоты, рассказывает их медленно, покуривая, и выражение у него при этом как у кота, которого гладят. Вообще это приятнейший, лоснящийся парень, чистенький, комфортный, знающий, где раки зимуют; умеющий быть со всеми в отличных отношениях, всем нравящийся, о с т о р о ж н ы й, — и все же милый. Я, по крайней мере, бываю искренне рад, когда увижу его сытое лицо. <...> он умело и осторожно будирует против властей — в меру, лишь бы понравиться эмигрантам. Стиль его тоже — мелкий, без широких линий, с маленькими выдумками маленького человека. Он изображает из себя англичанина, но по-английски не говорит, и вообще знает поразительно мало из англ. литературы и жизни. Но — и это в нем мило, потому что в сущности он милый малый, никому не мешающий, приятный собеседник, выпивала. Сейчас получена книжка В. Евг. Максимова «Великий Гуманист» (о Короленко), посвященная полемике со мною. Но книжка написана так скучно, что я не мог прочитать даже тех строк, которые имеют отношение ко мне. Бедный Короленко! О нем почему-то пишут всё скучные люди. Сам он был дивный, юморист, жизнелюб, но где-то под спудом и в нем лежала застарелая русская скука, скука русских изб, русских провинциальных квартир, русских луж и заборов. <...>

20 марта. Сегодня устраивал в финск. торговой делегации дочь Репина Веру Ильиничну. Вера Ильинична — <...> тупа умом и сердцем, ежесекундно думает о собственных выгодах, и когда целый день потратишь на беготню по ее делам, не догадается поблагодарить. Продавала здесь картины Репина и покупала себе сережки — а самой уже 50 лет, зубы вставные, волосы крашеные, сервильна, труслива, нагла, лжива — и никакой души, даже в зародыше. Я с нею пробился часа три, оттуда в Госиздат — хлопотать о старушке Давыдовой — пристроить ее детские игры, оттуда в Севцентропе-

чать — хлопотать о старушке Некрасовой. Опять я бегаю и хлопочу о старушках, а жизнь проходит, я ничего не читаю, тупею. Какая *дурацкая* у меня доброта! В Финской делегаций — меня что-то поразило до глупости. Вначале я не мог понять что. Чувствую что-то странное, а что — не понимаю. Но потом понял: новые обои! Комнаты, занимаемые финнами, оклеены новыми обоями!! Двери выкрашены свежей краской!! Этого чуда я не видал пять лет. Никакого ремонта! Ни одного строящегося дома! Да что — дома! Я не видел ни одной поправленной дверцы от печки, ни одной абсолютно новой подушки, ложки, тарелки!! Казалось даже неприятным, что в чистой комнате, в новых костюмах, в чистейших воротничках по страшно опрятным комнатам ходят кругленькие чистенькие люди. О!! это было похоже на картинку модного журнала; на дамский рисунок; глаз воспринимал это как нечто пересахаренное, слишком слащавое... Читаю Томаса Гарди роман «Far from the Madding Crowd» — о фермере Oak'е, который влюбился. Читаю и думаю: а мне какое дело. Мне кажется, что к 40 годам понижается восприимчивость к худож. воспроизведению чужой психологии. Но нет, это великолепно. Сватовство изображено классически: какой лаконизм, какая свежесть красок.

21 марта 1922. Снег. Мороз. Туман. Как-то зазвал меня Мгебров (актер) в здание Пролеткульта на Екатерининскую ул. — посмотреть постановку Уота Уитмэна — инсценированную рабочими. Едва только началась репетиция, артисты поставили роскошные кожаные глубокие кресла — взятые из Благородного Собрания — и вскочили на них сапожищами. Я спросил у Мгеброва, зачем они это делают. «Это восхождение ввысь!» — ответил он. Я взял шапку и ушел. — «Не могу присутствовать при порче вещей. Уважаю вещь. И если вы не внушите артистам уважения к вещам, ничего у вас не выйдет. Искусство начинается с уважения к вещам».

Ушел, и больше не возвращался. Уитмэн у них провалился.

Да, Вера Репина <...> действительно несчастна. У нее ни друзей, ни знакомых, никого. Все шарахаются от ее страшного мещанства. Что удивительнее всего — она есть верная и меткая карикатура на своего отца. Все качества, которые есть в ней, есть и в нем. Но у него воображение, жадность к жизни, могучий темперамент — и все становится другим. Она же в овечьем оцепенении, в безмыслии, в бесчувствии — прожила всю жизнь. Жалкая.

Мне казалось, что сегодня я присутствовал при зарождении нового религиозного культа. У меня пред диваном стоит ящик, на котором я во время болезни писал. (Лида говорила по этому поводу: у тебя в комнате 8 столов, а ты, чудной ч[елове]к, пишешь на ящике.) В этом ящике есть дырочка. Мурке сказали, что там живет *Бу*. Она верит в этого Бу набожно и приходит каждое утро кормить его. Чем? Бумажками! Нащиплет бумажек и сунет в дырочку. Если забываем, она напоминает: Бу — ам, ам! Стоит дать этому мифу развитие — вот и готовы Эврипиды, Софоклы, литургии, иконы.

22 марта 1922. Стоит суровая ровная зима. Я сижу в пальто, и мне холодно. «Народ» говорит: это оттого, что отнимают церковные ценности. Такой весны еще не видано в Питере.

Ах, как чудесен Thomas Hardy. Куда нашим Глебам Успенским. Глава Chat * — чудо по юмору, по фразеологии, по типам. И сколько напихано матерьялу. О! о! о!

Сегодня был опять у чухон — устроил для Репина все — и деньги (990 марок) и визу для Веры Репиной — а у самого нет даже на трамвай. На какие деньги я сегодня побреюсь, не знаю.

Видел мельком Ахматову. Подошла с сияющим лицом. «Поздравляю! Знаете, что в «Доме Искусств»?» — «Нет». — «Спросите у Замятина. Пусть он вам расскажет». Оказывается, из Совета изгнали Чудовского! А мне это все равно. У меня нет микроскопа, чтобы заметить эту вошь.

Был у Эйхвальд. Она служит у американцев. Рассказывает, что нас, русских, они называют: «Natives» **.

Был на заседании Восточной Коллегии «Всемирной Литературы», которая редактирует журнал «Восток». Там поразительно упрям проф. Алексеев. Он дает много хламу (он очень глупый человек). Когда ему доказывают, что это для журнала не подходит, он в течение часу доказывает, что это отличный матерьял.

Я сказал акад. И. Ю. Крачковскому, что их коллегию можно назвать «Общество для борьбы с Алексеевым». Он зовет Алексеева «Желтой опасностью». Послезавтра Лидины именины, а у меня ни копейки нет.

Вышла книжка Наппельбаума «Раковина». В ней комические стихи Иды Наппельбаум: змея вошла ей в рот и вышла «тайным проходом». <...>

Только теперь узнал о смерти Дорошевича. В последний раз я видел его месяца два назад — при очень мучительных для меня обстоятельствах. Сюда, в Питер, приехали два москвича: Кусиков и Пильняк. Приехали на пути в Берлин. На руках у них были шалые деньги, они продали Ионову какие-то рукописи, которые были проданы ими одновременно в другие места, закутили, и я случайно попал в их орбиту: я, Замятин и жена Замятина. Мы пошли в какой-то кабачок на Невском, в отдельный кабинет, где было сыро и гнило, и стали кутить. После каторжной моей жизни мне это показалось забавно. Пильняк длинный, с лицом немецкого колониста, с заплетающимся языком, пьяный, потный, слюнявый — в длинном овчинном тулупе — был очень мил. Кусиков говорил ему:

— Скажи: бублик.

— Бублик.

— Дурак! Я сказал: республика, а ты говоришь: бублик. Видишь, до чего ты пьян.

Они пили брудершафт *на вы*, потом на *мы*, заплатили 4 мил-

* Разговор (*англ.*).

** «Туземцы» (*англ.*).

лиона и вышли. Пильняка с утра гвоздила мысль, что необходимо посетить Губера, который живет на Петерб[ургской] Стор[оне] (Пильняк, при всем пьянстве, никогда не забывает своих интересов: Губер написал о нем рецензию, и он хотел поощрить Губера к дальнейшим занятиям этого рода). Он кликнул извозчика — и мы втроем поехали на Пб. Ст[орону]. От Губера попали в дом Страх. О-ва Россия, где была Шкапская, с которой Пильняк тотчас же начал лизаться. Острили, читали стихи — и вдруг кто-то мимоходом сказал, что в соседней комнате Дорошевич.

— То есть какой Дорошевич?

— Влас Михайлович.

— Не может быть!

— Да. Он болен.

Я не дослушал, бросился в соседнюю комнату — и увидел тощее, мрачное, длинное, тусклое, равнодушное нечто, нисколько не похожее на прежнего остряка и гурмана. Каждое мгновение он издавал такой звук:

— Га!

У него была одышка. Промежутки между этими *га* были правильные, как будто метрономом отмеренные, и это делало его похожим на предмет, инструмент, — а не на живого человека. Я постоял, посмотрел, он узнал меня, протянул мне тощую руку, — и я почувствовал к нему такую нежность, что мне стало трудно вернуться к тем, пьяным и *еще живым*. Дорошевич никогда не импонировал мне как писатель, но в моем сознании он всегда был победителем, хозяином жизни. В Москве, в «Русском Слове» это был царь и бог. Доступ к нему был труден, его похвала осчастливливала *. Он очень мило пригласил меня в «Русское Слово». Я написал о нем очень ругательный фельетон. Мне сказали (Мережковские): это вы непрактично поступили: не бывать вам в «Русском Слове»! Я огорчился. Вдруг получаю от Дорош. приглашение. Иду к нему (на Кирочную) — он ведет меня к себе в кабинет, говорит, говорит, и вынимает из ящика... мой ругательный фельетон. Я испугался — мне стало неловко. Он говорит: вы правы и не правы (и стал разбирать мой отзыв). Потом — пригласил меня в «Рус. Слово» и дал 500 р. авансу. Это был счастливейший день моей жизни. Тогда казалось, что «Рус. Слово» — а значит и Дорош. — командует всей русской культурной жизнью: от него зависела слава, карьера, — все эти Мережковские, Леониды Андреевы, Розановы — были у него на откупу, в подчинении. И вот — он покинутый, мертвый, никому не нужный. В комнате была какая-[то] высокая дева, которая звала его папой — и сказала мне (после, в коридоре):

— Хоть бы скорее! (т. е. скорее бы умер!)

---

* Как стремился Маяковский понравиться, угодить Дорошевичу. Он понимал, что тут его карьера. Я все старался, чтобы Дорош. позволил Маяк. написать с себя портрет. Дорош. сказал: ну его к черту. — *Примеч. автора.*

23 марта. Принял опий, чтобы заснуть. Проснулся с тяжелой головой. Читал «Wisdom of Father Brown», by Chesterton, Wisdom rather stupid and Chest[erton] seems to me the most commonplace genius I ever read of *.

Мура указала мне на вентилятор. Я запел:

Вентилятор, вентилятор,
Вентилятор, вентиля.

Она сразу уловила tune ** и запела:

Паппа папа папа папа
Паппапапапапапа.

Очень чувствительная к ритму девица.

24 марта. Нет ни сантима. Читаю Chesterton'a «Innocence of Father Brown» — the most stupid thing I ever read ***

25 марта. Тихонов недавно в заседании вместо Taedium vitae **** несколько раз сказал Te Deum vitae *****. Ничего. Мы затеваем втроем журнал «Запад» — я, он и Замятин. Вчера было первое заседание [13]. Сейчас я отправлюсь к Серг. Фед. Ольденбургу — за книгами.

26 марта. Очень неудачный день. С утра я пошел по делам: к Беленсону по поводу книги Репина, — не застал. В типографию на Моховую по поводу своей книги об Уайльде, — набрана, но так как издатель Наппельбаум не платит денег, то книга отложена. Между тем цены растут, нужно торопиться, человек погубит мою книгу. Я пошел к нему, к Наппельбауму. Не застал. Оставил ему грозную записку. Оттуда к Алянскому — не застал. Сидит его служащая, рядом с буржуйкой, кругом кипы книг, и ни одного покупателя. Даже Блока 1-й том не идет. Алянский назначил за томик Блока цену 400 000 р., когда еще не получил счета из типографии. Получив этот счет, он увидел, что 400 000 — это явный убыток, и принужден был повысить цену до 500 000. А за 500 000 никто не покупает. Мой «Слоненок» лежит камнем [14]. Ни один книгопродавец не мог продать и пяти экземпляров. На книжки о Некрасове и смотреть, не хотят [15]. Наш разговор происходил на Невском — в доме № 57, в конторе издательства «Алконост» и «Эпоха». (В окно я видел желтый дом № 86, и вспомнил вдруг, что в оны годы там был Музей восковых фигур, где находилась и Клеопатра, описанная Блоком в известных стихах:

---

* «Мудрость отца Брауна» Честертона. Мудрость довольно глупая, и Честертон представляется мне самым заурядным гением, какого мне доводилось читать (*англ.*).

** Мелодию (*англ.*).

*** «Неведение отца Брауна» — ничего глупее не читал (*англ.*).

**** Отвращение к жизни (*лат.*).

***** Гимн жизни (*лат.*).

Она лежит в гробу стеклянном [16].

Помню, я встретился там с Александром Александровичем, и мы любовались змеею, которая с постоянством часового механизма жалила — систематично и аккуратно — восковую грудь царицы.)

Из «Алконоста» я пошел в издательство «Полярная Звезда», отнес корректуру Некрасова и мечтал, не получу ли денег. Но Лившица не застал. <…> Напрягая все силы, чтобы не испытывать отчаяния, голодный — иду на Васильевский Остров к Ольденбургу, в Академию Наук. У Ольденбурга мне нужно получить Рабиндраната Тагора. Ольденбург болен. Он живет на первом этаже во дворе, в Академии Наук. Куча детей, внучат и еще каких-то, женщины, которые гладят, толкут, пекут, горшок в передней, и на диване свеженький, как воробей, Ольденбург. С наигранной энергией он говорит обо всем, но увы, Рабиндраната у него нет. Он сказал, что много книг есть у приехавшей только что из-за границы профессорши Добиаш-Рождественской, которая живет в университете. Я в университет. Сперва — *в канцелярию*. — Где живет Рождественская? — Не знаю! — отвечает красноносая старуха. Наконец я добрался. Позвонил. Долго не открывают. Потом открыла какая-то низкорослая, полуседая:

— Я не открывала, так как думала, что голодающие!

Добиаш-Рождественской нет! Она, действительно, вернулась из Парижа, но книг еще не получила: они в багаже!

Голодный, утомленный иду назад. Сегодня сдуру я назначил свидание Анне Ахматовой — ровно в 4 часа. Покупаю по дороге (на последние деньги!) булку, иду на Фонтанку. Ахматова ждала меня. На кухне все убрано, на плите сидит старуха, кухарка Ольги Афанасьевны, штопает для Ахматовой черный чулок белыми нитками.

— Бабушка, затопите печку! — распорядилась Ахматова, и мы вошли в ее узкую комнату, три четверти которой занимает двуспальная кровать, сплошь закрытая большим одеялом. Холод ужасный. Мы садимся у окна, и она жестом хозяйки, занимающей великосветского гостя, подает мне журнал «Новая Россия», только что вышедший под редакцией Адриянова, Тана, Муйжеля и других большевиствующих. <…> я показал ей смешное место в статье Вишняка, <…> но тут заметил, что ее ничуть не интересует мое мнение о направлении этого журнала, что на уме у нее что-то другое. Действительно, выждав, когда я кончу свои либеральные речи, она спросила:

— А рецензии вы читали. Рецензию обо мне. Как ругают!

Я взял книгу и в конце увидел очень почтительную, но не восторженную статью Голлербаха[17]. Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди! — Этот *Голлербах*, — говорила *она*, — присылал мне стихи, очень хвалебные. Но вот в книжке о Царском Селе — черт знает что он написал обо мне [18]. Смотрите! — Оказывается, в книжке об Анне Ахматовой Голлербах

осмелился указать, что девичья фамилия Ахматовой — Горенко!! — И как он смел! Кто ему позволил! Я уже просила Лернера передать ему, что это черт знает что!

Чувствовалось, что здесь главный пафос ее жизни, что этим, в сущности, она живет больше всего.

— Дурак такой! — говорила она о Голлербахе. — У его отца была булочная, и я гимназисткой покупала в их булочной булки, — отсюда не следует, что он может называть меня... Горенко.

Чтобы проверить свое ощущение, я сказал поэтессе, что у меня в Студии раскол между студистами: о[д]ни за Ахматову, другие против.

— И знаете, среди противников есть тонкие и умные люди. Например, одна моя слушательница с неподвижным лицом, без жестов, вдруг, в минувший четверг, прочитала о вас доклад — сокрушительный, — где доказывала, что вы усвоили себе эстетику «Старых Годов», курбатовского «Петербурга», что ваша Флоренция, ваша Венеция — мода, что все ваши позы кажутся ей просто позами.

Это так взволновало Ахматову, что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку, и великосветски сказала:

— Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат.

Мне стало страшно жаль эту трудно-живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе — и еле живет другим. Показала мне тетрадь своих новых стихов, квадратную, большую: — Вот, хватило бы на новую книжку, но критики опять скажут: «Ахматова повторяется». Нет, я лучше издам ее в Париже, пусть мне оттуда чего-нибудь пришлют!

За границей, по ее словам, критика гораздо добрее. — В Берлине вышла «Новая Русская Книга» [19] — там обо мне — да и обо всех — самые горячие отзывы. Я — гений, Ремизов — гений, Андрей Белый — гений.

— Ну, что, у вас теперь много денег? — спросил я. — Да, да, много. За «Белую стаю» я получила сразу 150 000 000, могла сшить платье себе, Левушке послала — вот хочу послать маме, в Крым. У меня большое горе: нас было четыре сестры, и вот третья умирает от чахотки [20]. Мама так и пишет: «умирает». В больнице. Я знаю, что они очень нуждаются, и никак не могу послать. Мама пишет: «по почте не посылай!»

Заговорили о голодающих. Я предложил ей свою идею: детская книга для Европы и Америки. Она горячо согласилась.

В комнате стало жарко. Она сварила мне в кастрюле кофе, сама быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюшками печки, и тут только я заметил, как идет ей ее новое платье.

— Это материя из Дома Ученых!

Я достал из кармана булку и стал уплетать. Это был мой обед.

Она жаловалась на Анну Николаевну (вдову Гумилева): — Вооб-

разите, у Наппельбаумов Волфсон просит у нее стихов, а она дает ему *подлинный автограф* Гумилева. Даже не потрудилась переписать. — Что вы делаете?! — крикнула я и заставила Иду Наппельбаум переписать. Вот какая она некультурная.

Потом сама предложила: — Хотите послушать стихи? — Прочитала «Юдифь», похожую на «Три пальмы» по размеру [21].

— Это я написала в вагоне, когда ехала к Левушке. Начала еще в Питере. Открыла Библию (загадала), и мне вышел этот эпизод. Я о нем и загадала. <...>

27 марта. Не спал всю ночь: читал Thomas'a Hardy и Chesterton'a. Гарди восхищает меня по-прежнему: книга полна юмора. Это юмор — не отдельных страниц, но всей книги, всего ощущения жизни. Все же в Честертоне есть что-то привлекательное. Он, конечно, пустое место, но культурные люди в Европе *умеют быть* пустыми местами, — на что мы, русские, совсем неспособны. У нас, если человек — пустое место, он — идет в пушкинисты, или вступает в Цех поэтов, или издает «Столицу и Усадьбу» — в Англии же на нем столько одежд и прикрытий, что его оголтелость не видна; причем Честертон шагает такой походкой, будто там, под платьем, есть какая-то важнейшая фигура. <...>

29 марта. Мурка сидит у меня на колене и смотрит, как я пишу. О Доме Искусств. В период черных годов 1919—1921 я давал оглушенным и замученным людям лекции Гумилева, Горького, Замятина, Блока, Белого и т. д. и т. д. и т. д. Волынский так павлинился, говорил, что есть высшие идеи, идеалы и проч. и проч., что я подумал, будто у него и в самом деле есть какая-то высокая программа, в тысячу раз лучше моей — and resigned *. Лекции, предложенные мною, были:

— О Пушкине
— О Розанове
— О Шпенглере
— О Врубеле

и еще три детских вечера — но Волынский сказал: «Нет, это не программа. Нужна программа» — и прочитал декларацию, пустопорожнюю и глупую. Я ушел в отставку — и вот уже 2 месяца ни одной лекции, ни одного чтения, Студия распалась, нет никакой духовной жизни, — смерть. Процветает только кабак, балы, маскарады — да скандалы.

Детей восхищает мысль, что сегодня *первое апреля*. Бобины сотоварищи решили: нарядить одного мальчика девочкой и сказать директору (Ю. А. Мовчану), что в школу поступила новенькая.

По случаю своего рождения я решил возможно дольше поваляться в постели — до 12 часов! Первый раз в жизни!

---

* И подал в отставку (*англ.*).

Погода дивная! Солнце. Я сегодня начал делать записи о Честертоне. Снег тает волшебно. Но сколько луж!

Вечер. Был в Доме Искусств на заседании. Истратил часов 6 на чепуху. Оказывается, в Доме Искусств нет денег. Изобретая средства для их изыскания, Дом Искусств надумал: устроить клуб: ввести домино, лото, биллиард и т. д. Вот до чего докатилась наша высокая и благородная затея. Я с несвойственной мне горячностью (не люблю лиризмов) говорил, что все это можно и нужно, но во имя чего? *Не для того,* чтобы 40 или 50 бездельников, трутней получали (неизвестно отчего и за что) барыши и жили бы припеваючи, а для того, чтобы была какая-то культурная плодотворная деятельность, был журнал, были лекции, было живое искусство, была музыка и т. д. и т. д. Домой я шел с Тихоновым, и он сказал мне интересную вещь о Чехове: оказывается, Тихонов студентом очень увлекался Горьким, а Чехов говорил ему:

— Можно ли такую дрянь хвалить, как «Песня о Соколе». Вот погодите, станете старше, самим вам станет стыдно.

— И мне действительно с т ы д н о , — говорит Тихонов.

Расставшись с ним, я пошел к Арнольду Гессену в его книжный магазин (бывший Соловьева). Ко мне пристрастился Пяст, к-рый ходит по всему Петербургу, продает «Садок Судей». Гессен купил у него эту любопытную книжку за 500 тыс. р. — и подарил мне «Весь Петроград».

Придя домой, я нашел у себя на столе плитку шоколаду, 8 перьев и 1 карандаш. Перья идеальный подарок, так как давно уже у меня нечем писать.

Вчера во «Всемирной Литературе» было много страстей. Акад. И. Ю. Крачковский с великолепной четкостью, деликатностью, вескостью доказал коллегии, что многие места в статьях Алексеева глупы и пошлы. В статьях действительно много отступлений, полемических выпадов, бестактных и бездарных. Я восхищался Крачковским, он был так неумолимо ясен, т о ч е н , — и главное смел: нужна великая смелость, чтобы спорить с этим тупоголовым китайцем. Тихонов потом сказал мне, что Крачковский накануне своего выступления не спал всю ночь. Но произносил он свою критику обычным ровным, усыпительно бесстрастным тоном — как всегда, не повышая, не понижая голоса, и если не смотреть на него, можно было бы сказать, что он равнодушно читает какую-то книгу, которая ему неинтересна и даже — непонятна. Алексеев устроил величайшую бурю: заявил о своем уходе и п р о ч . — но через часа 3 его укротили, и он пошел на уступки. Это была трудная и сложная работа, которую производили сразу и проф. Владимирцев, и Ольденбург, и Тихонов.

Ольденбург уже выздоровел. У него манера: подавать при встрече две руки и задавать вам бодрые, очень энергичные, но внутренне равнодушные вопросы: «ну что, как? Что вы делаете?» Я от этого нажима и наскока всегда теряюсь.

Чем больше я думаю, тем больше увлекает меня моя будущая

статья о Честертоне. Думаю завтра утром встать и сейчас же приняться за нее.

У Гумилева зубы были проедены на сластях. Он был в отношении сластей — гимназист.

Однажды он доказывал мне, что стихи Блока плохи; в них сказано:

В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача [22].

«Блок, очевидно, думает, что лихач это лошадь. А между тем лихач — это человек».

Убили Набокова [23]. Боже, сколько смертей: вчера Дорошевич, сегодня Набоков. Набокова я помню лет пятнадцать. Талантов больших в нем не было; это был типичный первый ученик. Все он делал на пятерку. Его книжка «В Англии» заурядна, сера, неумна, похожа на классное сочинение. Поразительно мало заметил он в Англии, поразительно мертво написал он об этом. И было в нем самодовольство первого ученика. Помню, в Лондоне он сказал на одном обеде (на обеде писателей) речь о положении дел в России и в весьма умеренных выражениях высказал радость по поводу того, что государь посетил парламент. Тогда это было кстати, хорошо рассчитано на газетную (небольшую) сенсацию. Эта удача очень окрылила его. Помню, на радостях, он пригласил меня пойти с ним в театр и потом за ужином все время — десятки раз — возвращался к своей речи. Его дом в Питере на Морской, где я был раза два — был какой-то цитаделью эгоизма: три этажа, множество комнат, а живет только одна семья! Его статьи (напр., о Диккенсе) есть в сущности сантиментальные и бездушные компиляции. Первое слово, которое возникало у всех при упоминании о Набокове: да, это барин.

У нас в редакции «Речь» всех волновало то, что он приезжал в автомобиле, что у него есть повар, что у него абонемент в оперу и т. д. (Гессен забавно тянулся за ним: тоже ходил в балет, сидел в опере с партитурой в руках и т. д.). Его костюмы, его галстухи были предметом подражания и зависти. Держался он с репортерами учтиво, но очень холодно. Со мною одно время сошелся: я был в дружбе с его братом Набоковым Константином, кроме того, его занимало, что я, как критик, думаю о его сыне-поэте [24]. Я был у него раза два или три — мне очень не понравилось: чопорно и не по-русски. Была такая площадка на его парадной лестнице, до которой он провожал посетителей, которые мелочь. Это очень обижало обидчивых.

Но все же было в нем что-то хорошее. Раньше всего голос. Задушевный, проникновенный, Бог знает откуда. Помню, мы ехали с ним в Ньюкасле в сырую ночь на верхушке омнибуса. Туман был изумительно густой. Как будто мы были на дне океана. Тогда из боязни цеппелинов огней не полагалось. Люди шагали вокруг в абсолютной темноте. Набоков сидел рядом и говорил — таким волнующим голосом, как поэт. Говорил банальности — но выходило

поэтически. По заграничному обычаю он называл меня просто Чуковский, я его просто Набоков, и в этом была какая-то прелесть. Литературу он знал назубок, особенно иностранную; в газете «Речь» так были уверены в его всезнайстве, что обращались к нему за справками (особенно Азов): откуда эта цитата? в каком веке жил такой-то германский поэт. И Набоков отвечал. Но знания его были — тривиальные. Сведения, а не знания. Он знал все, что *полагается* знать образованному человеку, не другое что-нибудь, а только это. Еще мила была в нем нежная любовь к Короленко, симпатиями которого он весьма дорожил. Его участие в деле Бейлиса также нельзя не счесть большой душевной (не общественной) заслугой. И была в нем еще какая-то четкость, ч и с т о т а , — как в его почерке: неумном, но решительном, ровном, крупном, прямом. Он был чистый человек, добросовестный; жена обожала его чрезмерно, до страсти, при всех. Помогал он (денежно), должно быть, многим, но при этом четко и явственно записывал (должно быть) в свою книжку, тоже чистую и аккуратную.

К таким неинтересным людям, как О. Л. Д'Ор, он не снисходил: о чем ему, в самом деле, было разговаривать с еврейским остряком дурного тона, не знающим ни хороших книг, ни хороших манер! Теперь Олд'ор отмстил ему весьма отвратительно. Фельетон О. Л. Д'Ора гнусен — развязностью и наигранным цинизмом [25]. После этого фельетона еще больше страдаешь, что убили такого спокойного, никому не мешающего, чистого, благожелательного барина, который умудрился остаться рус[ским] интеллигентом и при миллионном состоянии.

Кстати: я вспомнил сейчас, что в 1916 году, после тех приветствий, которыми встретила нас лондонская публика, он однажды сказал:

— О, какими лгунишками мы должны себя чувствовать. Мы улыбаемся, как будто ничего не случилось, а на самом деле...

— А на самом деле — что?

— А на самом деле в армии развал; катастрофа неминуема, мы ждем ее со дня на день...

Это он говорил ровно за год до революции, и я часто потом вспоминал его слова.

Поразительные слова — пророческие — записаны о нем у меня в Чукоккале:

Почтит героя рамкой черной
И типографскою слезой
П. Милюков огнеупорный
И будет Гессен сиротой [26].

Милюков оказался воистину огнеупорным — fire proof. Это сочинено Немировичем еще в 1916 году.

2 апреля, воскресение. Целый день писал письма. С тех пор как от меня ушла Памба, моя работа затормозилась. Был у Беленсона:

сумеречничал с Анненковым. Анненков устраивал бал-маскарад.

Как голодают художники. Например, Петр Троянский. Он не ел уже несколько дней, наконец — на балу сделал чей-то портрет и получил за это 500 000. Пошел в буфет, съел шницель — и мгновенно заболел, закричал от боли в желудке! Несчастного увезли в больницу.

У Беленсонов я вспомнил, как Ольдор подвизался в качестве Омеги в «Одесском Листке». Однажды он написал некую кляузу об Уточкине, знаменитом спортсмене. Уточкин его поколотил. Встретив Уточкина, я с укоризной:

— Как вы могли побить Омегу?

— Вот *так*, — ответил Ут., думая, что спрашиваю у него о технике *битья*. — Я вв вошел в редакцию, встретил мм мадам На... на... на... на... (вот это) Навроцкую (он заика), поцеловал у нее ручку, иду дальше: — Кто здесь Омега? — Я *Омега*. — Я взял Омегу — вот так, положил его на левую руку, а правой — вот так, вот так — отшлепал его и ушел. Иду по лестнице. Навстречу мне m-me Навроцкая. У вас, говорит, галстух съехал назад. Поправляю галстух — и ухожу. <...>

Ну вот и кончен мой дневник. Кончен Сорокалетний Чуковский. Посмотрим, что дальше.

It's rather interesting thing what Life has in store for me. Through all my youth and middle age I was laden with such a heavy burden *, и нес его, не *снимая*, — нес, как *раб*, — и больше не могу!

4 апреля. <...> Правлю с омерзением Синклера. Безграмотнейший перевод грубой американской дешевки [27]. Сравнить со стилем Синклера стиль Томаса Гарди — все равно, что с обезьяной сравнить человека.

7 апреля. 4 апреля во вторник во «Всемирной Литературе» состоялось чествование Уитмэна. Пришли уитмэнианцы, а в кабинете шло заседание Союза Писателей. Пришлось ждать, пока начнется заседание «Всемирной Литературы». Никто из профессоров и литераторов не хотел этого чествования, все вели себя так, как будто оно было им навязано. Лернер даже сбежал! А между тем вышло весьма интересно. Я прочитал вслух несколько пассажей из «Democratic Vistas» ** Волынский по поводу прочитанного сказал великолепную речь, которую я слушал с упоением, хотя она и была основана на большом заблуждении. Волынский придрался к слову: трансцендентный общественный строй — и стал утверждать, что Уитмэн *отрицал сущее,* во имя должного, метафизического. Словом, сделал Уитмэна каким-то спиритуалистом. <...> Я написал Замятину, что Волынский во многом ошибся.

---

* Очень интересно, что припасла для меня жизнь. Через юность и зрелые годы я протащил такое тяжелое бремя (*англ.*).

** «Демократические дали» (*англ.*).

(Вклеена записка, почерк Евг. Замятина. — *Е. Ч.*)

> И его религия — вовсе не рационалистическая, не мозговая, а телесная. В его иконостасе — не кривые, не геометрия трансцендентальная, а камни, паровозы, полицейские, воры, проволоки, зерна, черви.

Он всегда мыслит такими труизмами. Потом то, что здесь написано, он сказал своими словами, а потом заговорили уитмэнианцы. Все они — рядом с нами дикари, но в них чувствуется дикарская сила. Они наивны, но сильны своей наивностью. О своем обществе один из них сказал так: о Уитмэне мы узнали случайно. Сначала мы хотели назвать наше общество — «Общество Истинных Людей». Когда мы познакомились с Уитмэном, мы увидели, что он к нам подходит. Вокруг нас безвремение, у нас нет никаких критериев, никаких рулей и ветрил. В нашем институте было около 20 кружков и организаций, все они разрушаются. Нам нужен такой учитель и руководитель, как Уитмэн.

Денег у меня нет ни копейки, завтра понесу кое-что продавать. Сегодня с утра солнце — я не выходил, корпел над Натом Пинкертоном. Сейчас Лида взяла у меня перевод Синклера, исполненный Гаусман, и чудесно стала редактировать его. Подумать только, что 15-летняя девочка исправляет, работу пожилой квалифицированной переводчицы.

8 апреля. Изумительно: английские писатели не умеют кончать. Лучшие из них — к концу сбиваются на позорную пошлость. Начинают они превосходно — энергично, свежо, мускулисто, а конец у них тривиальный, сфабрикованный по готовому штампу. Я только что закончил «Far from the Madding Crowd», — кто мог ожидать, что даже Томас Гарди окажется таким пошляком! Все как по-писаному: один неподходящий мужчина в тюрьме, другой — в могиле, а третий, самый лучший, после всех препон и треволнений женится, наконец, на уготованной ему Батшибе. Почему все романисты считают, что самое лучшее в мире это жениться? Почему они приберегают, как по заказу, все настоящие женитьбы к концу? Я хотел бы написать статью «Концы у Диккенса», взять все концы его романов — и укатать биологическую, социологич. и эстетическую их ценность!

10 апреля. Снег. Мороз. Солнца как будто и на свете нет. Безденежье все страшнее. Вчера я взял с полки книги и пошел продавать. Пуда полтора. Никто из книготорговцев и смотреть на них не захотел. <...> Мои мечты о писательстве опять разлетаются. Нужно поступить на службу, но куда?

Был я у Кони. Он жалуется на нищету. На Мурманской железной дороге, где он читает лекции, ему не платили с сентября, в «Живом Слове» — с октября. Книги он продает, но ему жалко расста-

ваться с книгами. Полон планов. Я предложил ему съездить в Москву, — он с восторгом согласился. Он крепок и оживлен. Рассказывает анекдоты. Рассказывает, как однажды его кучер оставил пролетку и пошел послушать его лекцию, а потом будто обернулся к нему и сказал:

— Вас беречь нужно, потому что вы — свеща. <...>

11 апреля. Видел в книжном магазине «Некрасовский сборник», где между прочим много выпадов против меня, и не имел денег купить этот сборник! Боба страшно увлекается машиной: водяной мельницей, которую стряпает с большим остроумием. Дров нет. Я ломал ящик для книг и поцарапал себе ладонь. Но не беда! Настроение почему-то бодрое и даже веселое. Вчера — с голоду — зашел к курсисткам на Бассейной, в общежитие. Оказывается, они на пасху получили по 8 фунтов гороху, который и едят без хлеба, размоченным в воде — сырой. И ничего. Сяду опять за Ахматову, надо же кончить начатое. Футуристы, проданные мною Лившицу, тоже, по-видимому, в печать не пойдут.

25 апреля 1922 г. Самое французское слово на русском языке: посконь дерюга. Помню у Некрасова, читая его, я всегда представлял себе: Posquogne de Ruguas!

В субботу встретил Сологуба. Очень он поправился, пополнел. Глазок у него чистый, отчетливый, и вообще он весь как гравюра. Он сказал мне у Тенишевского училища: слушайте, какую ехидную книжку вы написали о Блоке. Книжка, конечно, отличная, написана изящно, мастерски. Хоть сейчас в Париж, но сколько там злоехидства. Блок был не русский — вы сами это очень хорошо показали. Он был немец, и его «Двенадцать» немецкая вещь. Я только теперь познакомился с этой вещью — ужасная. Вы считаете его великим национальным поэтом [28]. А по-моему, весь свой национализм он просто построил по Достоевскому. Здесь нет ничего своего. России он не знал, русского народа не знал, он был студент-белоподкладочник.

Так мы долго стояли у входа в Тенишевское училище — против Всемирной Литературы. Говорил он медленно, очень отчетливо и мило. Я сказал ему: давайте зайдем к Замятину. Пошли по лужам по лестнице — дым. Замятина не было. Сологуб в пальто сел у открытого окна и стал буффонить. <...> Очень игриво говорил он о своих плагиатах. «Редько, — говорил он, — отыскал у меня плагиат из дрянного французского романа и напечатал en regard *. Это только показывает, что он читает плохие французские романы. А между тем у меня чуть ли не на той же странице плагиат из Джордж Элиот, я так и скатал страниц пять, — и он не заметил. Это показывает, что серьезной литературы он не знает».

Я рассказал ему историю с Короленко.

---

* Возражение (*франц.*).

— Вот какой благородный человек Короленко! Нет, я прямо: плохо лежит, нужно взять!

Сегодня я с 10 ч. утра хожу по городу, ищу три миллиона и нигде не могу достать. Был у Ахматовой — есть только миллион, отдала. Больше нет у самой. Через три-четыре дня получает в Агрономическом институте 4 миллиона. Дав мне миллион, она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. — «Это для маленькой!»

29 апреля. <...> Перевожу «Cabbages and Kings» *. Видел вчера Сологуба.

— Почему же вы не придете ко мне?

— Голова болит — вот это место.

— Вам нужно трепанацию,— с удовольствием сказал Сологуб.— Трепанацию, трепанацию, непременно трепанацию черепа... — Я двинулся уходить...

— Послушайте, — остановил он меня. — Знаете, какое — гнуснейшее стихотворение Пушкина? Самое мерзкое, фальшивое, надутое, мертвое...

— Какое?

— «Для берегов Отчизны дальной». Оно теперь мне так омерзительно, что я пойду домой и вырву его из книги.

— Почему теперь? А прежде вы его любили?

— Любил! Прежде любил. Глуп был. Но теперь Жирмунский разобрал его по косточкам, и я вижу, что оно дрянь. Убил его окончательно.

Жирмунский уже года два в разных газетах, лекциях, докладах, книгах, кружках, брошюрах разбирает стихотворение Пушкина «Для берегов Отчизны дальной». Разбирает добросовестно, учено, всесторонне. <...>

26/V. Чудесно разговаривал с Мишей Слонимским. «Мы — советские писатели, — и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч. — все это случайно, временно, и не это типично для советской власти. Мы еще доживем до полнейшей свободы, о которой и не мечтают писатели буржуазной культуры. Мы можем жаловаться, скулить, усмехаться, но основной наш пафос — любовь и доверие. Мы должны быть достойны своей страны и эпохи».

Он говорил это не в митинговом стиле, а задушевно и очень интимно.

В воскресение он приведет ко мне «Серапионовых братьев». Жаль, что так сильно нездоровится. Если бы ввести в роман то, что говорил М. С[лонимский], получилось бы фальшиво и приторно. А в жизни это было очень натурально. <...>

28 мая. Вчера, в воскресение, были у меня вполне прелестные люди:

---

* «Короли и капуста» (*англ.*).

«Серапионы». Сначала Лунц. Милый, кудрявый, с наивными глазами. Хохочет бешено. Через два месяца уезжает в Берлин. Он уже доктор филологии, читает по-испански, по-французски, по-итальянски, по-английски, а по внешности гимназист из хорошего дома, брат своей сестры-стрекозы. Он, когда был у нас в «Студии», отличался тем, что всегда говорил о своей маме или о папе. (Его папа имел здесь мастерскую научных приборов — но и сам захаживал к нам в студию.) У Левы так много рассказов о маме, что в Студийном гимне мы сочинили:

А у Лунца мама есть,
Как ей в Студию пролезть?

Он очень благороден по-юношески. Ему показалось недавно, что Волынский оскорбил Мариэтту Шагинян, он устроил страшный скандал. За меня стоял горою в Холомках. Замятин считает его лучшим из «Серап. братьев», то есть подающим наибольшие надежды.

Потом пришли два Миши: Миша Зощенко и Миша Слонимский. Зощенко темный, молчаливый, застенчивый, милый. Не знаю, что выйдет из него, но сейчас мне его рассказы очень нравятся. Он (покуда) покладист. О рассказе «Рыбья самка» я сказал ему, что прежний конец был лучше; он ушел в Лидину комнату и написал прежний конец. О его предисловии к «Синебрюхову» я сказал ему, что есть длинноты, он сейчас их выбросил. Все серапионы говорят словечками из его рассказов. «Вполне прелестный человек», «блекота» и пр. стало уже крылатыми словами. Он написал кучу пародий, — говорят, замечательных. К Синебрюхову он нарисовал множество рисунков.

Миша Слонимский, я знаю его с детства. Помню черноглазого мальчишку, который ползал по столу своего отца, публициста Слонимского. <...>

Потом пришел Илья Груздев — очень краснеющий, критик. Он тоже бывш. мой студист, молодой, студентообразный, кажется, не очень талантливый. Статейки, которые он писал в студии, были посредственны. Теперь все его участие в Серап. Братстве заключается в том, что он пишет о них похвальные статьи.

30 мая. Был у меня сегодня Волынский с Пуниным — объясняться. Он в Совете Дома Искусств неуважительно отозвался о работе прежнего Совета. Мы все заявили свой протест и ушли. <...>

Ах, как ловко и умно он сегодня извивался и вилял: он меня любит, он обожает Серапионов, он глубоко ценит мои заслуги, он готов выбросить вон Чудовского, он приглашает меня заведовать Литер. отделом и проч. и проч.

Я сказал ему всю правду: бранить нас он имел бы право, если бы он сам хоть что-нибудь делал. Он за пять месяцев окончательно уничтожил Студию, уничтожил лекции, убил всякую духовную работу в «Доме Искусства». Презирать легко, разрушать легко.

Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов и т. д. Но он был обаятелен — и защищался тем, что он идеалист; ничего земного не ценит. Пунин тоже в миноре. А давно ли эти люди топтали меня ногами.

31 мая, вечер. Всю ночь писал сегодня статейку о «Колоколах» Диккенса и получил за нее 14 миллионов. О проклятие! Четырнадцать рублей за пол-листа [29]. Весь день болит голова <...> Сегодня вечером, несмотря на дождь, вышел пройтись и, сам не знаю почему, попал к Замятину. Там сидели Добужинский и Тихонов. Они встретили меня веселым ревом. Добуж. закричал: «Это я, это я своей магией притянул вас к себе». Оказывается, они все время обсуждали, как реагировать на наглое послание Чудовского. Решили: обидеться. Посылаем в Совет письмо, что письмо Чудовского еще сильнее оскорбило нас. Решили составить комитет: председательница Анна Ахматова, Добуж. заведующ. Худ. отделом, я — литературный, Замят. тов. председателя, Радлов тов. председателя и проч. <...>

1/VI. Опять канитель с Волынским. Он вошел сегодня в кабинет Тихонова и говорил больше часу. Были только Тих. и я. Дал нам понять, что, если кого обожает, так это нас обоих. Если кого ненавидит, то Чудовского. Так как Пунина с ним не было, он сказал: «Что общего могло быть у меня с Пуниным?» Мы оба говорили с ним ласково, потому что он в этой роли мил и талантлив. Замятин, войдя, не подал ему руку. Я скоро ушел. Сегодня весь день переводил «Королей и капусту» — и заработал 10 мил. рублей [30]. Вечером впервые после болезни читал лекцию в Доме Литераторов. Потом с Лидой в шахматы. Потом записывал соврем. слова [31]. Решил с сего дня записывать эти слова: собирать. У меня есть для этого много возможностей. Сегодня весь день был дождь. Переводя О'Генри, я придумал большую статью о мировой и нынешней литературе: обвинительный акт. О'Генри огромный талант, но какой внешний: все герои его как будто на сцене, все эффекты чисто сценические, каждый рассказ — оперетка, водевиль и т. д. Большинство рассказов о деньгах и о денежных операциях. Его биография очень интересна, но это связано именно с упадком словесности. Биографии писателей стали интереснее их писаний.

На ночь я теперь читаю «A Chronicle of the Conquest of Granada», by Washington Irving *. Усыпительнейшая вещь. Но как отлично написана! Почему я с детства столь чувствителен к хорошему книжному стилю? Почему для меня невыносим Евгеньев-Максимов, историк Покровский и так восхищает меня изящное словотечение у Эрвинга. <...>

13 июня. Вчера заседание во «Всемирной». Браудо делал доклад

---

* «Хроника завоевания Гренады» Вашингтона Ирвинга (*англ.*).

о Германии. Доклад тусклый, тягучий. Лернер написал мне прилагаемое:

(Вклеен листок, почерк Н. О. Лернера. — *Е. Ч.*)

> Слушаю эти слова, широкие как дырявый мешок, в который можно все что угодно сунуть, и все вываливается, и мне хочется сказать что-нибудь простое, конкретное... Какие честные, прямо мыслящие люди сапожники, дворники, красноармейцы. Из неумных людей книга делает черт знает что.

19 июля. Весь день на балконе. Это моя дача. Сижу и загораю. Был вчера у Анненкова. Вместе с Алянским. Он прочитал свою статью о смерти искусства, написанную в бравурном евреиновском тоне. Есть отличные куски, и вообще он весь — художественная натура. Много дешевых мыслей — для читателя, а не для себя самого — но есть и поэзия, и остроумие, и хороший задор. Сегодня была Фаина Афанасьевна, был Лунц (едет корреспондентом Известий ВЦИКа на Волгу), был вечером Анненков, сел со мною рядом на кровати и требовал, чтобы я ему переводил новый американский журнал. Я в два часа перевел ему почти весь номер, он жадно слушал, не пропустил ни одного объявления: «А это что? Здорово!» Очень изящно одет, сидел у меня в перчатке. Я редактирую Бернарда Шоу [32] — для хлеба. Уже три дня не на что купить хлеба.

Июль. Встретил Анну Ахматову. Шагает так, будто у нее страшно узкие башмаки. <...> Заговорила о сменовеховцах. Была в «Доме Литер.». Слушала доклад редакторов «Накануне». «Отвратительно! Я сказала Волковыскому: представьте мне редактора «Накануне». Мы познакомились. Я и говорю: — Почему вы напечатали мои стихи? [33] — Мы получили их из Москвы. — Но ведь я в Москве не была 7 лет. — Не знаю, справлюсь в Берлине и напишу вам. — Нисколько эти люди не теряют равновесия ни в каких случаях.

Кажется, 27 июля 1922. Ольгино. После истории с Ал. Толстым [34], после бронхита, плеврита, Машиной болезни, Лидиной болезни, безденежья уехал в Ольгино отдохнуть, <...> я сижу на балконе с утра до ночи — и читаю, пишу, сортирую свои бумажки. <...>

31 июля. «Тараканище» пишется. Целый день в мозгу стучат рифмы. Сегодня сидел весь день с 8 часов утра до половины 8-го вечера — и казалось, что писал вдохновенно, но сейчас ночью зачеркнул почти все. Однако, в общем, «Тараканище» сильно подвинулся. <...>

3 августа. «Тараканище» мне разнравился. Совсем. Кажется деревянной и мертвой чепухой — и потому я хочу приняться за «язык». Дождик милый и мирный. <...>

10 августа. Мура больна. Кровавый понос. Я не узнал ее — глаза закатываются, личико крошечное, брови и губы — выражают страдание. Смотрел на нее и ревел. <...> Как я счастлив, что достал деньги: купили лекарств (я ночью ездил в Знаменскую аптеку) — купили спринцовку — денег не было даже на полфунта манной. Деньги я достал у Клячко — милый, милый. Он дал Марье Борисовне 100 мил. и мне 100 миллионов. За это я организовываю для него детский журнал «Носорог» [35]. Были мы вчера утром у Лебедева — Владимира Васильевича. Чудесный художник, изумительный. Сидит в комнатенке и делает «этюды предметной конструкции». Мы привезли к нему его же рисунки — персидские миниатюры — отличная, прочувствованная стилизация. Клячко захотел купить их (они случайно были у меня). Клячко спросил:

— Сколько вы желаете за эти шесть рисунков?

— Ничего не желаю. Эти рисунки такая дрянь, что я не могу видеть их напечатанными.

— Но ведь все знатоки восхищаются ими. Ал. Бенуа говорил, что это работа отличного мастера. Добужинский не находил слов для похвал...

— Это дела не меняет. *Мне* это очень не нравится. Я не желаю видеть под ними свое имя.

— Тогда позвольте нам напечатать их без вашего имени.

— Не могу. И без того печатается много дряни. Я не могу способствовать увеличению этого количества дряни.

И как бы оправдываясь, сказал мне:

— Вы сами знаете, К. И., я человек земляной. Даже не земной, а *земляной*. Деньги я очень люблю. Вот продаю книги — деньги нужны. (Действительно, на табурете груда книг по искусству — для продажи.) Но — взять за это деньги — не могу.

Даже Клячко почувствовал уважение к этому, как он выразился, «фанатику» и рассказал всего один анекдот. Он сказал: «я-то верю вам, что теперешние ваши кубики и палочки — есть высокое искусство. Но поверят ли читатели? Один еврей увидел, как за другим бежала собака и лаяла. Еврей сказал: Мойше, Мойше, чего ты боишься? Разве ты не знаешь, что собака, которая лает, не кусается? Мойше ответил: я-то это знаю, но знает ли собака?»

Был в Публичной библиотеке. Видел Саитова, Влад. Ив. Это тоже «фанатик». Он так предан *русскому отделению,* которым заведует, что, кажется, лучше умер бы, чем нанес, напр., какой-нибудь ущерб карточному каталогу, который у него в отменном порядке. Вчера подошел ко мне. «Я хочу показать вам один культурный поступок — что вы скажете». И показал, что в какой-то большевистской брошюре, где есть портрет Троцкого, печать П. Б. (публичная библиотека) поставлена на самое лицо Троцкого, так, что осталось одно только туловище. Влад. Ив. с великой тоской говорит:

— Я и сам не люблю Тр., с удовольствием повесил бы его.

Но зачем должна страдать иконография? Как можно примешивать свое личное чувство к регистрации библиотечных книг.

Я видел, что для него это глубокое горе. Лет 8 назад он захворал. Ему предоставили двухмесячный отпуск — в Крым. Он стал собираться, но остался в библиотеке. Не мог покинуть русское отделение. Остался среди пыли, в духоте, вдали от зелени, без неба — так любит свои каталоги, книги и своих читателей. С нами он строг, неразговорчив, но если кому нужна справка, он несколько дней будет искать, рыться, истратит много времени, найдет. Оттого-то в его *Отделение* входишь, как в церковь. Видел вчера мельком в библиотеке Лемке. Он ершится и щетинится. Не говорит, а буркает. Со мною не раскланивается. Читаю я теперь барона Гакстгаузена «Исследования внутренних отношений народной жизни», очень увлекательно. Вот так умный немец! Не мудрено, что свихнул и Герцена, и славянофилов, и народников! Что делали бы они, ежели бы он в 1843 году поехал не в Россию, а напр., в Абиссинию. <...>

Лахта. Ольгино. [25 августа]. Пятница. Ну вот и уезжаю. <...> Погода дивная, я целый день на балконе. Третьего дня обнаружилось, что тут, в Ольгино, проживает Т. Л. Щепкина-Куперник. Мы пошли к ней с Зин. Ив. приглашать ее на детское утро. Она живет в двух шагах за углом — в женском царстве — с какой-то художницей, приезжей из Москвы, с сестрой (венерич. доктором) и с какой-то старухой. У сестры двое детей. Татьяна Львовна <...> радушна, сердечна, внимательна — хорошие интонации голоса. Читать на детском утре согласилась с охотой, а в концерте отказалась участвовать: «Для концерта у меня нет платья; только и есть, что это ситцевое. Для детей сойдет, я его выстираю». У ее сестры двое детей — мальчики. Они знают моего «Крокодила» наизусть, и вообще, я с изумлением увидел, что «Крокодил» известен всему дому. <...> Все б[ыло] приятно, покуда Тат. Львовна не стала читать свое стихотворное переложение «Дюймовочки» Андерсена. Унылая, рубленая проза, длинная, длинная, усыпительная, с тусклыми рифмами. Один из мальчиков назвал ее *мутной*. Она сама почувствовала, что вещь неудачная, и обещала поискать другую. Провожала и З. Ив., и меня — дружески. Завтра я дам ей заказ от Всем. Лит. на перевод Рабиндраната Тагора. Здесь я писал — или, вернее, мусолил свою статью о Некрасове и деньгах. Статья плоская, без движения, без игры.

1 сентября. Ольгино. <...> Детское утро в Ольгино — вышло не слишком удачно. Щепкина-Куперник читала долго и нудно. Романсы пелись самые неподходящие. Должно быть, поэтому мой «Тараканище» имел наибольший успех. Но у меня муть на душе — и какие-то тяжелые предчувствия.

5 сентября. Вчера познакомился с Чарской. Боже, какая убогая. Дала мне две рукописи — тоже убогие. Интересно, что пишет она

малограмотно. Напр., перед *что* всюду ставит запятую, хотя бы это была фраза: «Не смотря ни на, что». Или она так изголодалась? Ей до сих пор не дают пайка. Это безобразие. Харитон получает, а она, автор 160 романов, не удостоилась. Но бормочет она чепуху и, видно, совсем не понимает, откуда у нее такая слава.

20 сентября. У детей спрашивают в Тен[ишевском] Училище место службы родителей. Большинство отвечает: *Мальцевский рынок,* так как большинство занимается тем, что продает свои вещи.

29 сент. <...> Вчера я был у Анненкова — он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые — и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох: рассказывал, как в Берлине он сразу нежничал и с Гессеном, и с советскими, и с Черновым, и с Накануневцами — больше по пьяному делу. В этом «пьяном деле» есть хитрость — себе на уме; по пьяному делу легче сходиться с нужными людьми, и нужные люди тогда размягчаются. Со всякими кожаными куртками он шатается по разным «Бристолям», — и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни — умнейшим и пройдошливейшим человеком. — «Я с издателями — во!» Анненков начал было рисовать его карандашом, но потом соблазнился его рыжими волосами и стал писать краской — акварель и цветные карандаши [36]. После сеанса он повел нас в пивную — на Литейном. И там втроем мы выпили четыре бутылки пива. Он рассказывал берлинские свои похождения: Лундберг из тех честолюбивых неудачников, которые с надрывом и вывертом. Он как-то узнал, что я, Белый и Ремизов собираемся читать в гостях у Гессена в пользу «Союза Писателей», и сказал мне: «Что вы делаете? Вы погубите себя. Вам нельзя читать у Гессена». Я (т. е. Пильняк) взял и рассказал об этом Гессену, Гессен тиснул гнусную заметку о Лундберге, и т. д. и т. д. Лундберга назвали советским шпионом и т. д. — Ну можно ли было рассказывать Гессену — пусть и глупые речи несчастного Лундберга? Потом говорил о Толстом, как они пьянствовали и как Толстой рассказывал похождения дьякона и учителя. Учитель читает книгу и всюду ставит нота бене. А дьякон и т. д. Много смешных анекдотцев.

Анненков. Мы в тот же вечер отправились с ним в Вольную Комедию. Вот талант — в каждом вершке. Там все его знают от билетерши до директора, со всеми он на ты, маленькие актрисы его обожают, когда музыка — он подпевает, когда конферансье — он хохочет. Танцы так увлекли его, что он на улице, в дождь, когда мы возвращались назад: «К. И., держите мою палку», и стал танцевать на улице, отлично припоминая все па. Всё у него ловко, удач-

ливо, и со всеми он друг. Собирается в Америку. Я дал ему два урока английского языка, и он уже — I do not want to kiss black woman, I want to kiss white woman *.

Жизнь ему вкусна, и он плотояден. На столе у него три обложки к «Браге» Тихонова, к «Николе» Пильняка и к «Кругу». Он спросил: нравятся ли они мне, я откровенно сказал: нет. Он не обиделся.

За обедом он рассказал Пильняку, что один рабочий на собрании сказал:

— Хотя я в этом вопросе не компенгаген.

30 сентября. Был с Бобой в Детском Театре на «Горбунке». Открытие сезона. Передо мною сидели Зиновьев, Лилина и посередине, между ними, лысый розовый пасторовидный здоровый господин — с которым Лилина меня и познакомила: Андерсен-Нексе, только что прибывший из Дании. «Горбунок» шел отлично — постановка старательная, богатая выдумкой. Текст почти нигде не искажен, театральное действие распределяется по раме, которая окаймляет сцену. Я сидел как очарованный, впервые в жизни я видел подлинный детский театр, и все время думал о тусклой и горькой жизни несчастного автора «Конька Горбунка». Как он ярок и ослепителен на сцене, сколько счастья дал он другим — внукам и правнукам — а сам не получил ничего, кроме злобы. Эту мысль я высказал сидящему рядом со мною господину с вострым носом, который оказался весьма знаменитым сановником. Потом Пильняк и Всеволод Иванов явились за этим датчанином и повезли в «Дом Искусств». В «Доме Искусств» на субботе Серапионов был устроен диспут об искусстве. Андерсен оказался банальным и пресным, а Пильняк стал излагать ему очень сложное credo. Пильняк говорил по-русски, переводчики переводили не слишком точно. Зашел разговор о материи и духе (Stoff und Geist), и всякий раз, когда произносили слово *штоф,* Пильняк понимающе кивал головой. Замятин был тут же. Он либеральничал. Когда говорили о писателях, он сказал: да, мы так любим писателей, что даже экспортируем их за границу. Пильняк специально ходил к Зиновьеву хлопотать о Замятине, и я видел собственноручную записку Зиновьева с просьбой, обращенной к Мессингу: разрешить З[амяти]ну поездку в Москву. Анненков когда увидел эту записку, долго говорил со мною, что, ежели Замят. такой враг с[оветской] вл[асти], то незачем ему выпрашивать у нее записочки и послабления. Вся *борьба* Замятина бутафорская и маргариновая. <...>

9 октября. Был у Кони. <...> Елена Васильевна Пономарева, желая сделать мне приятное, ввела в комнату к нему трех детей, которые стали очень мило декламировать все зараз моего «Крокодила», он

* Я не хочу целовать черную женщину, я хочу целовать белую женщину (*англ.*).

заулыбался — но я видел, что ему неприятно, и прекратил детей на полуслове.

Читал вчера с великим удовольствием книгу о Бакунине, написанную Вячеславом Полонским. Очень, очень хорошая книга. Потом рассказ Федина о палаче — гораздо лучше, чем я думал [37].

27 ноября 1922. Я в Москве три недели — завтра уезжаю. Живу в 1-й студии Худож. Театра на Советской площади, где у меня отличная комната (лиловый диван, бутафорский из «Катерины Ивановны» Леонида Андреева) и электрич. лампа в 300 свеч. Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих. Москву видел мало, т. к. сидел с утра до вечера и спешно переводил Плэйбоя [38]. Но пробегая по улице — к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса — целые вагоны на каждом шагу; — любовь к вещам и удовольствиям страшная, — танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху: Дикси, фокстрот, one step и хорошие люди, актеры, писатели. Все живут зоологией и физиологией. <...> Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками и проч. Но во всем этом есть одно превосходное качество: сила. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Вообще очень много дубовых людей, отличный матерьял для истории. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать все что угодно — и если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ это клад. (Нэп.)

28 ноября 1922. Уезжаю. <...> Ну вот актеры: Алексей Денисович Дикий, умный, даровитый, себе на уме — вроде Куприна — чудесный исполнитель Джона в «Сверчке» [39] — без высших восприятий, но прочный и приятный человек. На лице у него детски-хитрое, милое выражение, играет он четко, обдуманно, работает, как черт, и режиссерствует без суеты, без криков, но авторитетно. Я сказал ему, что нельзя ставить любовную сцену в «Плэйбое» в тех тонах, в каких ставит он, что это баллада и проч. — он согласился, принял все мои указания и уже две недели работает над этой сценой. Его жена Катерина Ивановна [40], молоденькая монголка с опьянелым тихим лицом, за которым чувствуется отчаянная безумная кровь. Я видел, как она пляшет, отдавая пляске всю себя. Лидия Ив. Дейкун, добрая, в пенснэ, жена молодого Аркадия Ив. Добронравова, матрона, угощавшая нас макаронами. Гиацинтова, Софья Владимировна, и Попова — знаю их мало, но чувствую: работящи, любящи, уютны. Высокий, ленивый и талантливый Либаков — художник, музыкант, танцор — и Ключарев, молодой человек, 24

лет, который будет играть неподсильную ему главную роль — умница, начитанный, любит стихи, играет на бегах — и волнуется своей ролью очень. Марк Ильич Цыбульский — толстый жуир.

Эти люди и не подозревают, как много они сделали для меня, введя меня в свою среду, как равного [41].

15 декабря 1922. Бездельничаю после Москвы. Все валится из рук. Печатаем «Мойдодыра» и «Тараканище» — я хожу из типографии в литографию и болтаюсь около машин. Недавно цензура запретила строчку в «Мойдодыре» «Боже, Боже», ездил объясняться [42]. Вчера забрел к Анне Ахматовой. Описать разве этот визит? Лестница темная, пыльная, типический черный ход. Стучусь в дверь. Оттуда кричат: не заперто! Открываю: кухонька, на плите какое-то скудное варево. Анны Андреевны нету: сейчас придет. Кухарка сидит посреди кухни и жалуется: шла она (кухарка) вчера за пайком, поскользнулась, вывихнула ногу и теперь «хоть кричи». Развернула грязную тряпку, показала ногу. На полу наваленные щепки. («Солдат рубил, сама не могу!») Вошла седая женщина — стала собирать щепки для печурки. Тут вошла Анна Андреевна с Пуниным, Николаем Николаевичем. Она ездила к некоей Каминской, артистке Камерного Театра, та простужена, без денег, на 9-м месяце беременности. Я обещал сказать американцам, чтобы они оказали ей мед. помощь. <...> нынче Ахматова в своей третьей ипостаси — дочка. Я видел ее в виде голодной и отрекшейся от всего земного монашенки (когда она жила на Литейном в 1919 г.), видел светской дамой (месяца три назад) — и вот теперь она просто дочка мелкой чиновницы, девушка из мещанской семьи. Тесные комнаты, ход, через кухню, маменька, кухарка «за все» — кто бы сказал, что это та самая Анна Ахматова, которая теперь — одна в русской литературе — замещает собою и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева (по славе), о которой пишутся десятки статей и книг, которую знает наизусть вся провинция. Сидит на кушетке петербургская дама из мелкочиновничьей семьи и «занимает гостей». Разговор вертелся около Москвы. Ахматовой очень хочется ехать в Москву — но она боится, что будет скандал, что московские собратья сделают ей враждебную манифестацию. Она уже советовалась с Эфросом, тот сказал, что скандала не будет, но она все еще боится. Эфрос советует теперь же снять Политехнический Музей, но мне кажется, что лучше подождать и раньше выступить в Худ. Театре. Она крикнула: «Мама». В комнату из кухни вошла ее м а т ь. — «Вот спроси у К. И., что ты хотела спросить». Мама замялась, а потом спросила: «Как вы думаете, устроят Ане скандал в Москве или нет?» Видно, что для семьи это насущный вопрос. Говорили о критиках. Она говорит: «Вы читали, что написал обо мне Айхенвальд. По-моему, он все списал у вас. А Виноградов... Недавно вышла его статья обо мне в «Литературной Мысли» — такая скучная, что даже я не могла одолеть ее [43]. Щеголев так и сказал жене — раз даже сама Ахматова не может прочитать ее, то нам и

Бог велел не читать. Эйхенбаум пишет книгу... тоже». Я ушел, унося впечатление светлое. За всеми этими вздорами все же чувствуешь подлинную Анну Ахматову, которой как бы неловко быть на людях *подлинной* и она поневоле, из какой-то застенчивости, принимает самые тривиальные облики. Я это заметил еще на встрече у Щеголева: «вот я как все... я даже выпить могу. Слыхали вы последнюю сплетню об Анненкове?» — вот ее тон со знакомыми, и как удивились бы ее почитатели, если б услыхали этот тон. А между тем это только щит, чтобы оставить в неприкосновенности свое, дорогое. Таков был тон у Тютчева, например. Читаю Шекспира «Taming of the shrew» * — с удовольствием. О, как трудно было выжимать рисунки из Анненкова для «Мойдодыра». Он взял деньги в начале ноября и сказал: послезавтра будут рисунки. Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, потом вернулся, и я должен был ходить к нему каждое утро (теряя часы, предназначенные для писания) — будить его, стыдить, проклинать, угрожать, молить — и в результате у меня есть рисунки к «Мойдодыру»! О, как тяжело мне бездельничать — так хочется с головой погрузиться в работу!

20 декабря 1922 года. Клячко исправил мне пальто, но оно расползлось. Я отдал свое пальто в починку портному Слонимскому — и сегодня щеголяю в летнем. Обвязал шею шарфом и прыгаю по Невскому, как клэрк мистера Скруджа. Добежал до мистера Гантта, американского доктора, и подал ему прошение о той несчастной Каминской, о которой говорила Ахматова. Каминская беременна, от кого неизвестно, и кроме того простужена. Он согласился помочь ей, но спросил, кто отец ребенка. Я сказал: отца нет. Он нахмурился. Очевидно, ему трудно помочь необвенчанной роженице. Это было вчера. А сегодня мы должны с ним в 5 часов поехать к Каминской, а пальто у меня все нету, а холод отчаянный, а я простудился и всю ночь страдал желудком. Вчера у меня пропало полдня у Клячко. Обсуждали с приехавшими представителями издательства «Накануне», как и за сколько продать моего «Мойдодыра» и «Тараканище». Я сказал, что я требую сию минуту вперед 10% с номинала. Они согласились, но Клячко сговаривался с ними еще полдня — и я не поспел в Публичную Библиотеку. Из Американской Помощи — вечером во «Всемирную» — на заседание Коллегии. Забавно. Сидят очень серьезные: Волынский, С. Ф. Ольденбург, Н. Лернер, Смирнов, Владимирцев, Тихонов, Алексеев, Лозинский — и священнодействуют. Тихонов разделывал Браудо за его гнусную редактуру нем. текста. Браудо делал попытки оправдаться, но Волынский цыкал на него. Потом я предложил начать во «Всемирной» особую серию «Театральных Пьес». Потом Браудо со всеми китайскими ужимками. «Теперь, когда я получил заслуженную кару за мою несовершенную работу, я знаю, что я не поль-

* «Укрощение строптивой» (*англ.*).

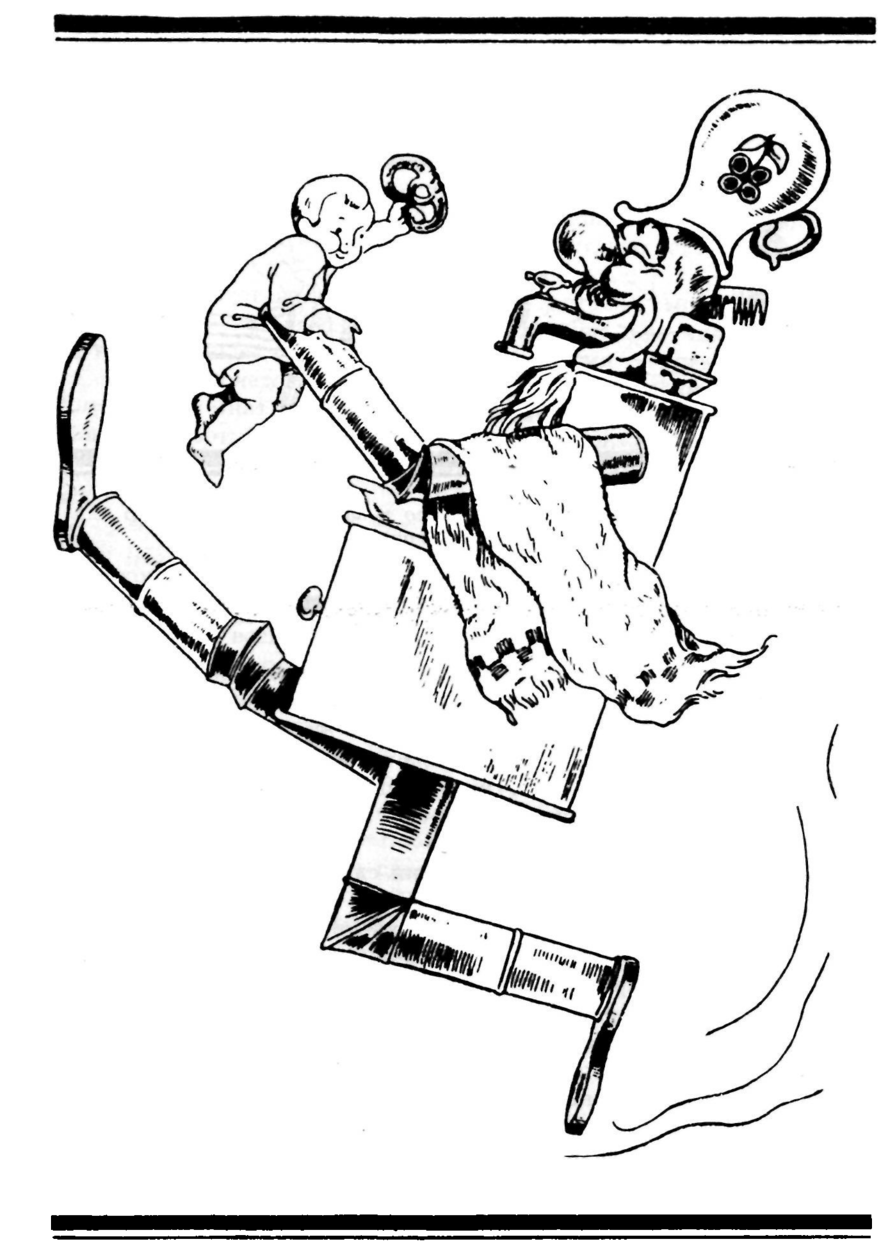


Портрет работы Ю. Анненкова. 1919—1920



Рис. Ю. Анненкова.
Титульный лист «Мойдодыра»

зуюсь вашим сочувствием, но для дальнейшей работы мне необходимо ваше сочувствие»... и стал читать рецензию на свою книжку о Гофмане. Книжка глупая, рецензия глупая, никто не заметил ни той, ни другой, но он полчаса говорил чрезвычайно волнуясь. Все слушали молча, только Лернер писал мне записочки — по поводу Браудо (его всегдашняя манера). В связи с прочитанной рецензией, возник вопрос: как перевести «Teufel's Elexir». Эликсир сатаны, или дьявола, или черта. Четверть часа говорили о том, какая разница между чертом и дьяволом, в преньях приняли участие и Ольденбург и Волынский. И хотя все это была чепуха, меня вновь привели в восхищение давно не слышанные мною тембры и интонации культурной профессорской речи. Клячко и Розинер так утомили мой мозг своей некультурной атмосферой, что даже рассуждения о черте, высказанные в таких витиеватых периодах, доставили мне удовольствие. Я, как Хромоножка в «Бесах», готов был воскликнуть: «по-французски!» Оттуда домой — весь иззябший,



Ю. Анненков. Шарж на Чуковского.
«Мойдодыр». 1923 г.



Ю. Анненков. Шарж на Чуковского и на себя самого. Автор книги и ее иллюстратор грозят грязнулям. «Мойдодыр». 1923 г.

ничего не евший. (У Клячко перехватил колбасы, копченой, железоподобной). Дома — М. Б. лежит больная, измученная, читает «Девяносто третий год» — и возле нее Мурка. У Мурки сегодня был интересный диалог с собою. Она стучала в дверцу ночного столика и сама боялась своего стука. Стукнет и спрашивает: *кто там?* (испуганно) *Лев? или* (спокойно) *я? Лев или я?*

22 декабря. <...> у Чехонина. Чехонин сделал для американца — поздравительную карточку: Best Wishes — Happy New Year — Merry Christmas *. Тот очень рад. На карточке есть тройка, сани, в санях сидит он сам, Dr. A. R. A. Gantt (Baltimore). Посередине Петропавловская крепость, слева Исаакиевский собор, словом, квинтэссенция январского снежного Петербурга. Очень хороши оснеженные, нарядные петербургские деревья. Тут же Чехонин пожелал сделать мой портрет. В воскресенье еду к нему на сеанс.

Тихонов сказал мне, что Браудо критиковал во «Всемирной Лит.» рецензию о себе потому, что, как думают коллеги, эту рецензию писал Лернер!!!

Вчера случилось великое событие: я после 8-летнего перерыва (или шестилетнего?) заказал себе новый костюм. Сейчас буду редактировать «Робинзона Крузо», а потом примусь писать о Синге. Был у меня вчера вечером Бенедикт Лившиц.

---

* Добрые пожелания — Счастливого Нового года — Веселого Рождества (*англ.*).

23 декабря, суббота. Видел вчера во «Всемирной Лит.» Ахматову. Рассказывает, что пришел к ней Эйхенбаум и сказал, что на днях выйдет его книга о ней, и просил, чтобы она указала, кому послать именные экземпляры! «Я ему говорю: — Борис Михайлович, книга ваша, вы должны посылать экземпляры своим знакомым, кому хотите, при чем же здесь я?» И смеется мелким смехом.

Она очень неприятным тоном говорит о своих критиках: «Жирмунский в отчаянии, — говорит мне Эйхенбаум. — Ему одно издательство заказало о вас статью, а он не знает, что написать, все уже написано».

Эфрос приготовляет теперь все для встречи Анны Ахматовой в Москве. Ее встретят колокольным звоном 3-го января (она со Щеголевым выезжает 2-го), Эфрос пригласил ее жить у себя.

— Но не хочется мне жить у Эфроса. По наведенным справкам, у него две комнаты и одна жена. Конечно, было бы хуже, если бы было наоборот: одна комната и две жены, но и это плохо.

— Да он для вас киот приготовляет, — сказал Тихонов. — Вы для него икона...

— Хороша икона! Он тут каждый вечер тайком приезжал ко мне...

Тихонов смеясь рассказал, как Эфрос условился с ним пойти к Анне Андреевне в гости и не зашел за ним, а отправился один, «а я ждал его весь вечер дома».

— Вот то-то и оно! — сказала Ахматова. Она показала мне свою карточку, когда ей был год, и другую, где она на скамейке вывернулась колесом — голова к ногам, в виде акробатки:

— Это в 1915. Когда уже была написана «Белая Стая», — сказала она.

Бедная женщина, раздавленная славой.

С моим «Тараканищем» происходит вот что. Клячко в упоении назначил цену 10 мил. и сдвинуться не хочет. А книжники, в книжных магазинах кому ни покажешь, говорят: дрянь-книжка! За четыре лимона — извольте, возьмем парочку! И я рад, ненавижу эту книжку. Книжная торговля никогда не была в таком упадке, как теперь. Книг выходит множество, а покупателя нет. Идут только учебники. Вчера я купил роскошное издание «Peter and Wendy» с рисунками Bedford'а [44] за 1½ миллиона, то есть за 10 копеек! (Трамвай — 750 тысяч.) <...>

24 дек[абря] 22 г. Первое длинное слово, которое произнесла Мурка, — *Лимпопо.* У Бобы есть привычка вместо хорошо говорить Лимпопо. <...>

25 декабря. <...> Я иду к Бенуа. <...> Он встретил меня тепло, широко, угостил кофеем и сам рядом ел, чавкая с удовольствием. Картинки Анненкова одобрил, Чехонина — нет [45]. Напевал мотивы из «Петрушки» и спрашивал, откуда это? За столом три молодые дамы — жена Бенуа-младшего, дочь Бенуа Черкесова и еще какие-

то. Чувствуется большая гармония, спетость. Бенуа посадил на колени своего внука и прочитал ему «Мойдодыра». Тут же за столом ребенок рассматривал десятки других картинок — в ребенке видна привычка смотреть картинки. Бенуа любит внука до ярости. «Посмотрите на эту уродину, — говорит он с диким любовным рычанием, — ну видали вы такую мерзкую рожу». Если есть в доме ребенок, избалованный, и, так сказать, центральный, это, несомненно, Ал. Бенуа. Все в доме вертится вокруг него, а дом — полная чаша, атмосфера веселия и работы. Он сейчас занят по горло, работает для театра, но согласился сделать картинку для «Радуги». Подали огромную коробку конфет — их принес Ф. Ф. Нотгафт, издатель «Аквилона», по случаю выхода в «Аквилоне» новой книжки Бенуа «Версаль». «Ешьте, ешьте, К. И., а то я все съем», — говорил он, поглощая огромную уйму конфет. От Бенуа я ушел (унося атмосферу праздника) <...>

30 декабря. Вчера самый неприятный день моей жизни: пришел ко мне утром в засаленной солдатской одежде, весь потный, один человек — красивый, изящный, весь горящий, и сказал, что у него есть для меня одно слово, что он хочет мне что-то сказать — первый раз за всю жизнь, — что он для этого приехал из Москвы, — и я отказался его слушать. Мне казалось, что я занят, что я тороплюсь, но все это вздор: просто не хотелось вскрывать наскоро замазанных щелей и снова волноваться большим, человеческим. Я ему так сказал; я сказал ему:

— Нужно было придти ко мне лет десять назад. Тогда я был живой человек. А теперь я литератор, человек одеревенелый, и изо всех людей, которые сейчас проходят по улице, я последний, к кому вы должны подойти.

— Поймите, — сказал он тихим голосом, — не я теряю от этого, а вы теряете. Это вы теряете, не я.

И ушел. А у меня весь день — стыд и боль и подлинное чувство утраты. Я дал ему письмо к Оршанскому, чтобы Оршанский помог ему (ему нужно полечиться в психиатрич. больнице). Когда я предложил ему денег, он отказался.

Третьего дня я был у Оршанского. Деревянный флигель при лечебнице для душевнобольных. Жена — седая, без кухарки, замученная. Множество переполненных детскими книгами шкафов — в нескольких комнатах. Орш. только что вернулся из Берлина и привез целые ящики новинок по художеству, литературе, педагогике, медицине и пр. Я так и впился в эту груду. А жена Орш. сказала: «Я до сих пор еще не удосужилась даже перелистать эти книги». Приняли меня радушно, показали все свои богатства, и я так увлекся, что позабыл, что не обедал, и впервые (после завтрака) вкусил пищу в 10½ ч. ночи, вернувшись домой. Орш. указал мне комнату, где жил Врубель, — вверху, по деревянной лестнице, ход из кабинета.

У него собрание игрушек, которых я не успел осмотреть.

Сам Лев Гр. седоусый, простой, без пошлости, без роли — без позы, очень усталый и добрый.

Сегодня утром я должен написать предисловие о Синге — и все отлыниваю. А между тем пьеса уже набрана. Откладываю дневник и берусь за статью.

Снился Илья Василевский. К добру ли? <...>

1923 год

Вот и Новый Год. 12 часов 1923 года.

Вчера у нас обедал Бенедикт Лившиц. Я весь день редактировал Joseph'a Conrad'a [1], так как денег нет ниоткуда, Клячко не едет, не везет гонорара за мои детские книги. Очень устал, лег в 7 часов, т. е. поступил очень невежливо по отношению к Лившицу, моему гостю. Проснулся внезапно, побежал посмотреть на часы; вижу: 12 часов ровно. Через минуты две после того, как я встал, грохнула пушка, зазвонили в церкви. Новый Год. Я снова засяду за Конрада, — вот только доем булочку, которую купил вчера у Бёца. 1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что черствею, перестаю верить в жизнь, и что единственное мое спасение — труд. И как я работал! Чего я только не делал! С тоскою, почти со слезами писал «Мойдодыра». Побитый — писал «Тараканище». Переделал совершенно, в корень свои некрасовские книжки, а также «Футуристов», «Уайльда», «Уитмэна». Основал «Современный Запад» — сам своей рукой написал почти всю *Хронику* 1-го номера, доставал для него газеты, журналы — перевел «Королей и капусту», перевел Синга, — о, сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана! И ни одного друга! Даже просто ни одного доброжелателя! Всюду когти, зубы, клыки, рога! И все же я почему-то люблю 1922 год. Я привязался в этом году к Мурке, меня не так мучили бессонницы, я стал работать с большей легкостью — спасибо старому году! Сейчас, напр., я сижу один и встречаю новый год с пером в руке, но не горюю: мне мое перо очень дорого — лампа, чернильница, — и сейчас на столе у меня моя милая «Энциклопедия Британника», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова. Ну, пора мне приниматься за Синга, нужно же наконец написать о нем статью!

Вот что такое 40 лет: когда ко мне приходит какой-нибудь человек, я жду, чтоб он скорее ушел. Никакого любопытства к людям. Я ведь прежде был как щенок: каждого прохожего обнюхать и возле каждой тумбы поднять ногу.

8*

Вот что такое дети, большая семья: никогда на столе не улежит карандаш, исчезает как в яму, и всегда кто-нб. что-нибудь теряет: «дети, не видали ножниц?», «Папа, где моя ленточка?», «Коля, ты взял мою резинку?»

2 января 1923. Мурка стоит и «читает». Со страшной энергией в течение двух часов:

*У*ма н*я*у, *у*ма н*я*у, ума н*я*у, уман*я*

перелистывает книгу, и если ей иногда попадется под руку *слово,* вставляет и его в эту схему, не нарушая ее. Раньше ритм, потом образ и мысль. <...>

5 янв. Человек рождается, чтобы износить четыре детских пальто и от шести до семи «взрослых». 10 костюмов — вот и весь человек. Вчера получил телеграмму из Студ. Худ. Театра: переменить «Плэйбоя» на «героя». Вчера к вечеру я сказал Мурке, что она — кошечка. Она вскочила с необыкн. энергией, кинулась на пол, схватила что-то и в рот. «Митю ам!» (Мышку съем.) Так она делала раз 50. Остановить ее не было возможности. Она только твердила как безумная: «Еще де митя?» (где еще мышь) — и торопливо, торопливо, в большом возбуждении хватала, хватала, хватала. Это испугало меня (самый *темп* был страшен). Я сказал: кошка отдыхает, спит. <...> Я пробовал показать ей картинки. *Я — мяу!* — закричала она.

Вчера весь день сидел в Канцелярии Публ. Б-ки, отыскивал в «Acade [нрзб]» рецензии о Syng'e.

6 янв., ровно 3 часа ночи. Сочельник. Встал, чтобы снова написать о Синге. Принимаюсь писать третий раз, все не удается. Напишу и бракую. <...>

8 янв. Был у Кони. Он выпивал мою кровь по капле, рассказывая мне анекдоты, которые рассказывал уже раз пять. И все клонится к его возвеличению. Предложил мне написать его биографию — «так как я все же кое-что сделал». Рассказал мне, как он облагодетельствовал проф. Осипова (которого я застал у него). Так как этот рассказ я слушал всего раза два, я слушал его с удовольствием. Новое было рассказано вот что: в одной своей статье о самоубийстве он приводит цитату из предсм. письма одного рабочего. Письмо написано в 1884 году. Рабочий пишет: «Худо стало жить и т. д.». Цензура потребовала, чтобы Кони прибавил: «худо стало жить при капиталистическом строе. Да здравствует коммуна!» Вчера ночью во «Всемирной» был пир. <...> Центр пьяной компании — Анненков. Он перебегал от столика к столику, и всюду, где он появлялся, гремело ура. Он напился раньше всех. Пьяный он приходит в восторженное состояние, и люди начинают ему страшно нравиться.

<…> Он подводил к нашему столу то того, то другого, как будто он первый раз видит такое сокровище, и возглашал:

— Вот!

Даже Браудо подвел с такими одами, как будто Браудо по меньшей мере Лессинг. Какую-то танцорку подвел со словами:

— Вот, Тальони! Замечательная! Чуковский, выпей с нею, поцелуйся, замечательная... Ты знаешь, кто это? Это Тальони, а это — Чуковский, замечательный. <…>

Второй замечательный персонаж был Щеголев. Он сидел в полутемном кабинете у Тихонова, огромный, серый, неподвижный, на спинке кресла у его плеча примостилась какая-то декольтированная девица, справа тоже что-то женское, — прямо Рубенс, Раблэ, — очень милый. А тут в отдалении где-то его жена и сын, Павел Павлович. Михаил подошел ко мне и сказал: «В жизни все бывает, и у девушки муж помирает». Ни с того ни с сего.

Умственная часть вечера была ничтожна. Замятин читал какую-то витиеватую, саморекламную и скучноватую хрию — История Всемирной Литературы [2], где были очень злобные строки по моему адресу: будто я читал пришедшим меня арестовать большевикам стихи моего сына в «Накануне» и они отпустили меня на все четыре стороны, а он, Замятин, был так благороден, что его сразу ввергли в узилище. Хитренькое, мелконькое благородство, карьеризм и шулерство. <…>

12 янв. 1923. Четыре раза написал по-разному о Синге — и так, и сяк — наконец-то удалось, кажется. Писал с первого января по одиннадцатое, экая тупая голова. <…> Чехонин пишет (т. е. рисует углем) мой портрет; по-моему, сладко и скучно — посмотрим, что будет дальше. Он очень милый, маленький, лысоватый, добрый человечек в очках, я его очень люблю. Всегда сидит за работой, как гном. Придешь к нему, он встанет, и зазвенят хрустали на *стоящих* светильниках 18 века. У него много дорогих и редкостных вещей, иконы, картины, фарфор, серебро, но я никогда не видел, чтобы такая роскошь была в таком диком сочетании с мещанской, тривиальной обстановкой. Среди старинной мебели — трехногий табурет. На роскошной шифоньерке — клизма (которая не убирается даже в присутствии дам: при мне пришла к нему О'Коннель). На чудесную арфу он вешает пальто и костюм, и гостям предлагает вешать. «Очень удобная арфа!» — говорит он. Во время сеанса он вспоминал о Глебе Успенском, которого знал в Чудове, о Репине (учеником которого он был: «Репин рассказывал нам об японцах, здорово! Мастерище! Не скоро в России будет такой второй!»). Очень хорошо он смеется — по-детски. Его дети, — двое, мальчики, — тоже имеют тяготение ко всяким ручным трудам: один сделал из бумажной массы замечательную маску с огуречным носом. Чехонин говорил про Гржебина: — Вот сколько я ему сделал работ, он ни за одну не заплатил — и ни разу не возвратил рисунков. Напр., иллю-

страции к стихам Рафаловича. Даром пропала работа. (Потом, помолчав.) А все-таки я его люблю.

У Замирайлы на двери висит гробоподобный ящик для писем, сделанный из дерева самим Замирайлой. Черный, с бронзовым украшением — совсем гроб. Третий раз пытаюсь застать Замирайлу дома, когда ни приду, заперто.

14 января 1923. <...> Чехонин третьего дня писал меня вдохновенно и долго. Рассказывал о Савве Мамонтове, о княгине Тенишевой. «Репин был преподавателем школы, основанной Тенишевой. Мы были его ученики: я, Чемберс, Матвеев и др. Потом Репин поссорился с Тенишевой и стал преподавать только в Академии. Но мы не захотели идти в академию и основали свободную школу, без учителя».

Портрет мой ему удается — глаза виноватые, лицо жалкое, — очень похоже [3].

Получил телеграмму из 1-й Студии. Приглашают на первое представление. Ехать ли?..

Читаю глупейший роман Арнольда Беннета «The Gates of Wrath» *. Я и не знал, что у него на душе есть такие тяжкие грехи. Был вчера с Тихоновым у Оршанского. У него восхитительный музей детских книг и игрушек. Мне понравилась мадонна — кукла испанских детей. Оршанский добр и очень рад показывать свои сокровища. Показывает их суетливо, несдержанно, навязчиво, — и страшно напоминает Исаака Влад. Шкловского (Dioneo). С Замятиным у меня отношения натянутые [4].

17 янв. У Ю. П. Анненкова познакомился с сыном Павла Васильевича Анненкова, «друга Тургенева». <...> Интересуется больше всего генеалогией рода дворян Анненковых — ради чего и приходит к Юрию Павловичу и рассматривает вместе с ним листы, где изображено их древо. — Был дня два назад у м-ра Кеепу и его жены — рыжей уроженки Георгии — южного штата Америки. Единственный американец, к-рый интересуется искусством, литературой. Они дали мне книгу нашумевшего Mencken'a «Prejudices» **. Ничего особенного. Я писывал и лучше в свое время. <...> У Мурки такое воображение во время игры, что, когда потребовалось ловить для медведя на полу рыбу, она потребовала, чтобы ей сняли башмаки. Сейчас она птичка — летает по комнатам и целыми часами машет крыльями.

20 янв. Был у американцев. Обедал. Ам[ерикан]цы как из романа: Brown из Бруклина, Renshaw — в черных очках и д-р Гэнтт, нескладный и милый. Мы сидели в parlour *** и разговаривали о лите-

---

* «Ворота ярости» (*англ.*).
** «Предрассудки» (*англ.*).
*** Гостиная (*франц.*).

ратуре. Браун дал мне дивный роман «Babbitt» by S. Lewis. Я сижу и упиваюсь. Ой, сколько навалили корректуры: Некрасов (от Гржебина), журнал «Совр. Запад» и проч.! Когда я с этим справлюсь? Вчера был в ложе у Конухесов на первом выступлении Н. Ф. Монахова в «Слуге двух господ» — первом после его выздоровления. Эту пьесу я уже видел — раз — сидел в той же самой ложе *у Блока:* тогда Блок привел нас и в тех местах, где ему казалось, что мы должны смеяться, оглядывался, смеемся ли мы, и очень радовался, если мы смеялись. <...> Вчера было крещение, мы во Всемирной условились, что будем слушать Замятина. Пришли Волынский, Ольденбург, Владимирцев, я. Ольденбург, слушая, спал и даже похрапывал. Владимирцев дергал головою, как будто его жмет воротник. Тихонов правил корректуры. Вол. старенький, сидел равнодушно (и было видно, каким он будет в гробу; я через очки впервые разглядел, что когда он молчит, у него лицо мертвеца). Ой, как скучно, и претенциозно, и ничтожно то, что читал Замятин. Ни одного живого места, даже нечаянно. Один и тот же прием: все герои говорят неоконченными фразами, неврастенически, он очень хочет быть нервным, а сам — бревно. И все старается сказать не по-людски, с наивным вывертом: «ее обклеили улыбкой». Ему кажется, что это очень утонченно. И все мелкие ужимки и прыжки. Старательно и непременно чтобы был анархизм, хвалит дикое состояние свободы, отрицает всякую ферулу, норму, всякий порядок — а сам с ног до головы мещанин. Ненавидит расписания (еще в «Островитянах» смеется над Дьюли, который даже жену целовал по расписанию), а сам только по этому расписанию и пишет. И как плохо пишет, мелконько. Дурного тона импрессионизм. Тире, тире, тире... И вся мозгология дурацкая: все хочет дышать ушами, а не ртом и не носом. Его называют мэтром, какой же это мэтр, это сантиметр. Слушали без аппетита. Волынский ушел с середины и сделал автору только одно замечание: нужно говорить не Егова, но Ягве. (Страшно характерно для Волынского: он слушал мрачно и мертво, но при слове Егова оживился; второй раз он оживился, когда Замятин упомянул *метафизическую субстанцию.)* Потом Волынский сказал мне, что роман гнусный, глупый и пр. Тихонов — как инженер — заметил Замятину, что нельзя говорить: ом *поднялся кругами;* кругами подняться невозможно, можно подняться спиралью, и все заговорили о другом [5]. Ольденбург — о пушке. Оказывается, Пулковская обсерват. уже не дает сигнала в крепость, когда наступает 12 час. Сигнал дается только на почтамт, поэтому пушке доверять нельзя. И стал читать свою статью — о «Новом Востоке», которая после замятинских потуг показалась и свежей и милой. <...>

30 января. Вынырнул из некрасовской корректуры! Кончил Мюнхгаузена. Прибежала Мурка:

— Дай Моньдондынь! (Мойдодыр)

Третьего дня был у Розинера, встретился там с Сытиным. Бес-

смертный человек. Ласков до сладости. Смеется каждой моей шутке. «Обожаемый сотрудник наш»; и опять на лице выражение хищное. Опять он затеял какие-то дела. Это странно: служит он просвещению бескорыстно — а лицо у него хищное, и вся его шайка (или «плеяда») — все были хищные: Дорошевич, Руманов, Григорий Петров — все становились какими-то ястребами — и был им свойствен какой-то особенный сытинский хищный азарт! Размашисты были так, что страшно — в телеграммах, выпивках, автомобилях, женщинах. И теперь, когда я сидел у Розинера — рядом с этим великим издателем, который кланялся (как некогда Смирдин) и несколько раз говорил: «я что! я ничтожество!», я чувствовал, что его снова охватил великий ястребиный восторг.

И опять за ним ухаживают, пляшут вокруг него какие-то людишки, а он так вежлив, так вежлив, что кажется, вот-вот встанет и пошлет к ... матери.

Вчера утром был у Замирайло. На лестнице у него нестерпимо пахнет кислой капустой и кошками. Он в сюртуке, подпоясан кушаком, красив и ясен. С радостью взялся иллюстрировать мои сказки. Руки в копоти — топит печку. В комнате шесть градусов. Пыль. На стене гравюра Дорэ («суховато», говорит он; «но ведь Дорэ не был гравер») и два подлинных рисунка Дорэ (пейзаж в красках и карандашный рисунок), лупа на каком-то стержне и дешевая лубочная картинка о вреде пьянства. «Очень мне нравится, — говорит он, — сколько народу и как скомпоновано». У него на столе недоконченный (и очень скверный) рисунок, дама с господином, вроде Евг. Онегина. Это иллюстрации, заказанные ему издательством «Красный путь» (!) — к роману Анатоля Франса «Боги жаждут». «Черт возьми, не люблю я Франса — делаю против воли — за ради денег». Я поговорил с ним о Щекотихиной. «Да, ей Билибин присылал такие теплые письма и телеграммы, что в Питере становилась оттепель: все начинало таять. Вот она вчера уехала, и сегодня впервые — мороз! [6] (Вчера действительно было впервые 10 градусов, а до сих пор погода — как на масленицу: тает и слякотно.)

Сегодня Замирайло был у Клячко и принял заказ. Его так увлекли мои сказки, что, по его словам, он уже в трамвае по дороге сюда — рисовал на стекле танцующего Кита. <...>

Вчера пела Зеленая в Балаганчике:

Говорять, в Америке
Ни во что не верують.
Молоко они не доют,
А в жестянках делають.

———

Сяду я в автомобиль
На четыре места —
Я уж больше не шофер —
Председатель треста.

———

В Балаганчике пою,
Дело не мудреное,
Никто замуж не береть,
Говорять: Зеленая.

———

Были гости у меня,
Человечков двести.
А потом они ушли
С обстановкой вместе.

———

Есть калоши у меня,
Пригодятся к лету,
А по совести сказать:
У меня их нету.

Но в театре мало народу. Актеры шутят через силу. Все как будто только и ждут, чтобы скорее уйти. Как будто за кулисами у них серьезная печаль, а пред публикой, перед гостями, они должны to keep appearance *. Замирайло сказал мне третьего дня: «Нет, знаете, я отдам Клячко то, что обещал, потому что я ненавижу заказанные мне вещи и не хочу хранить их дома. А вам изготовлю что-нибудь из головы». Про Дорэ: «Жаль, что он умер, не дождался меня. Если бы он был жив, я бы его разыскал, пошел бы к нему». Лупы у него на рычагах для гравюры. <...>

Февраль 12, понедельник. Над Сингом моя работа была особенно докучна и трудна. Ни одной книжки о Синге найти невозможно в Питере, поэтому, соображая время постановки его пьес, я рылся в старых номерах «Acade [нрзб.]» и «Athenaeum'а», отыскивая крошечные и беглые рецензии о «Playboy'е». Так как иностранный отдел Публ. Библиотеки заперт, я был вынужден сидеть в канцелярии, людной и шумной, и перелистывать журналы страница за страницей, примостившись у окна. В журналах по большей части не было оглавлений — и уходило часа 2 на то, чтобы разыскать нужные строки. Так я собирал матерьял. Потом началось писание — о, какое трудное! У меня и сейчас сохраняются три статьи, которые я забраковал — только четвертая хоть немного удовлетворила меня. И что же! напечатали ее таким мелким шрифтом, что читать нельзя было. Тихонов велел перебрать. Перебрали. Вдруг из Москвы бумага: «Так как Чуковский выражает свои собственные мысли — выбросить предисловие». Еду в Москву бороться — за что? с кем? Признаюсь, меня больше всего уязвило не то, что пропала моя долгая работа, а то, что какой-то безграмотный писарь, тупица, самодовольный хам — смеет третировать мою старательную и трудно давшуюся статью, как некоторый хлам, которым он волен распоряжаться как вздумает:

* Соблюдать приличия (*англ.*).

«Первую часть предисловия Чуковского (гл. I и II), содержащую ценные фактические данные о жизни и об отзывах англ. печати о произв. Синга, оставить, выпустить последний абзац первого столбца. В остальной же части предисловия Ч. выражает свой собственный взгляд на творчество автора. Его анализ — извращенно-индивидуалистический. Признавая «всечеловеческое значение (чего?) и отрицая социальные мотивы творчества, Ч. приписывает Сингу «логику безумия» и оправдание «мировой чепухи». Ч. отрицает совершенно тон иронии у автора в изображении быта ирландского крестьянина. Чуковский выдает талантливое изображение автором ограниченности и тупости ирландских фермеров и кабатчиков, как выражение талантливости, богатства натур.

Начиная с третьей главы до конца предисловие Ч-ого неприемлемо, и потому эту часть следует выпустить или же лучше написать соверш. новое марксистское предисловие, в крайнем же случае издать пьесу без всякого предисловия, ограничившись прекрасным предисловием самого автора».

Самое убийственное в этом смешном документе — что он так неграмотен: «выдает талантливое изобра*жение* автор*ом* (?) *как* (?) *выражение»*. Этакий болван скудоумный. Но видно, что сам он своей ролью чрезвычайно доволен — и даже не прочь и сам пойти в критики — и показать мне, как нужно писать. Его критическая статья превосходна — как будто из Щедрина, Кузьмы Пруткова или Зощенки. Все банальные газетные фразы собраны в один фокус.

«Произведение Синга написано живо, увлекательно и читается с большим интересом. Автор умело, ярко и колоритно (ярко *и* колоритно!) передает быт ирландских фермеров. Большое богатство, *безыскусственность в передаче непосредственности в переживаниях действующих лиц.* (Какова фраза.) Ханжество, ограниченность и тупость крестьянской психики нашли в пьесе рельефное и ироническое отражение. Герои убивают отца или мужа (мужа-то убивают героини) и совершают всякие пакости «с помощью божьей». В известной степени это является сатирой на религиозные убеждения. По всем этим соображениям пьесу издать следует». Подпись Старостин.

Из этого документа так и вылезла на меня морда такого хамоватого тупицы, каких, бывало, ненавидел Чехов. Пусть бы зарезали статейку, черт с нею, но как-нибудь умнее, каким-нб. острым ножом. И в итоге такая щедринская приписка:

В редакционный сектор Госиздата

По распоряжению тов. Яковлева возвращаю вам корректуру Джон Синга «Плейбой» с отзывом тов. Старостина и резолюцией тов. Яковлева:

Издать без предисловия Чуковского

Секретарь редакционно-инструкторского отдела
подпись Волков № 7 7/II — 23 года

Тихонов, передавая мне эту бумагу, думал, что я буду потрясен. Художник Радаков говорит: «Если бы такая беда случилась со мною, я запил бы на две недели». А я, что называется, ни в одном глазу. Мне так привычны всякие неправды, уколы, провалы, что я был бы удивлен, если бы со мною случилось иное. Черт с ними — жаль только потерянных дней. Да и какая беда, если никто не прочтет предисловия, — ведь вся Россия — вот такие Старостины, без юмора, тупые и счастливые. Я написал вчера бумагу, что Синг не писал сатир, что я не отрицаю социальных мотивов творчества и т. д. и т. д. и т. д. Вкрапил язвительные уколы: только тот, кто знает прочие сочинения Синга, кто знает Ирландию, кто знает англ. литературу, может судить о том, прав я или нет. Но это больше для шику. Вот Коган или Фриче знают англ. язык, а что они понимают. *Lor what do they understand*! *

Вчера был у Розинера. Все торгуемся насчет «Крокодила».

Клячко оказался мелким деспотом и скувалдой. Чехонину не платит, мне не платит, берется за новые дела, не рассчитавшись за старые, мое стремление помочь ему рассматривает как желание забрать все в свои руки...

Читаю роман Arnold'a Беннета «The Card» ** — очень легко, изящно, как мыльная пена, но, боже, до чего фельетонно — и ни гроша за душой. Автор ни во что. не верит, ничего не хочет, только бы половчее завертеть фабулу и, окончив один роман, сейчас же приняться за другой.

Февраль 13, вторник. Суета перед отъездом в Москву. Мура больна серьезно. У нее жар седьмые сутки. Очень милые многие люди в Ара [7], лучше всех Кини (Keeny). Я такого человека еще не видал. Он так легко и весело хватает жизнь, схватывает все знания, что кажется иногда гениальным; а между тем он обыкновенный янки. Он окончил Оксфордский Университет, пишет диссертацию о группе писателей Retrospective Review *** (начало XIX в.). Узнав о голоде рус. студентов, он собрал в Америке среди Young Men Christian Association **** изрядное количество долларов, потом достал у евреев (Hebrew Students *****) небольшой капитал и двинулся в Россию, где сам, не торопясь, великолепно организовал помощь русским профессорам, студентам и т. д. Здесь он всего восемь месяцев, но русскую жизнь знает отлично — живопись, историю, литературу. Маленький человечек, лет 28, со спокойными веселыми глазами, сам похож на студента, подобрал себе отличных сотрудников, держит их [в] дисциплинированном виде, они его любят, слушаются, но не боятся его. Предложил мне посодействовать ему а раздаче пайков. Я наметил: Гарину-Михайловскую, Замирайло, жену Ходасевича,

---

* Боже, что они понимают! (*англ.*).

** «Карта» (*англ.*).

*** Ретроспективный обзор (*англ.*).

**** Молодежная христианская ассоциация (*англ.*).

***** Еврейские студенты (*англ.*).

Брусянину, Милашевского и др. А между тем больше всех нуждается жена моя Марья Борисовна. У нее уже 6 зим подряд не было теплого пальто. Но мне неловко сказать об этом, и я не знаю, что делать. На днях я взял Кини с собою во «Всемирную». Там Тихонов делал доклад о расширении наших задач. Он хочет включить в число книг, намеченных для издания, и Шекспира, и Свифта, и латинских, и греч. классиков. Но ввиду того, что вам надо провести это издание через редакционный сектор Госиздата, мы должны были дать соответствующие рекомендации каждому автору, например:

Боккаччо — борьба против духовенства.
Вазари — приближает искусство к массам.
Петроний — сатира на нэпманов и т. д.

Но как рекомендовать «Божественную Комедию», мы так и не додумались.

Уходя с заседания, Кини спросил: «What about copyright?» * Я, что называется, blushed **, потому что *мы* считаем copyright пережитком. Кини посоветовал издать Бенвенуто Челлини. <…>

14 февраля 1923. Поездка в Москву. <…> Первый раз спал в вагоне — правда, под утро. Но спал. В Москве мороз. В Студию — комнат нет. Встретили растерянно, уклончиво: никому нет дела. Из уклончивых ответов я понял, что Синг провалился. Всю вину они возлагают на Радакова. Мы видели, что он губит пьесу, но было уже поздно... Нелюбовь к Радакову чувствуется во всех отзывах о нем. «Он никогда не мыл шеи. Никогда не умывался. В его комнату войти нельзя было: грязь, вонь; помадит свои вихры фиксатуаром. Лентяй, ленив до такой степени, что, созвав всех малевать декорации, сам лег спать» и т. д. Напившись в Студии чаю — в Госиздат. Новое здание — бывший магазин Мандля — чистота. Там Тихонова нет. Встречаю Марию Карловну Куприну — и с ужасом вижу, что она уже старушка. Мексин — о «Крокодиле». Оттуда в «Красную Новь» — издательство, вонючее, как казарма. Грязь, табачный дым, окурки, криво поставленные столы. Там Вейс и Николаев — о «Крокодиле» и Уитмэне. Устал. Снова в Студию — там часа два канитель с устройством комнаты. Потом в Госиздат, опять — о, bother! *** Заседание, Шми[д]т, Калашников, Тихонов. Тихонов гениально всучивает им нашу программу, а они кряхтят, но принимают, разговаривают как дипломаты двух враждебных держав, вежливо, но начеку. Изумительный документ Старостина был

---

* А как насчет копирайта?» (*англ.*).
** Покраснел (*англ.*).
*** О, морока! (*англ.*).

показан мною Мещерякову. Мещ. был очень сконфужен и сказал, что завтра вынесет резолюцию. Ругал цензора сам. Потом с Тих. ужинать, разговор о Замятине, потом в Студию, оказывается, никто не приготовил ни одеяло, ни простыни, и я в обмороке. Наконец-то лег и спал минут 40.

15/II. <...> Я читал в Доме Печати о Синге, но успеха не имел. Никому не интересен Синг, и вообще моск. нэпманская публика, посещающая лекции, жаждет не знаний, а скандалов. Все оживились, когда Юлий Соболев стал разносить постановку «Героя», и смотрели на Дикого сладострастно, ожидая, как-то он отделает Соболева. Но Дикий сказал, что статья Соболева ему нравится, и все увяли: мордобой не состоялся.

Из Дома Печати мы всей ватагой: я, Анненков, Пинкевич, Пильняк, Соболев, Ключарев — пошли к Васе Каменскому: он живет наискосок, через дорогу. Вся комната оклеена афишами, где фигурирует фамилия Васи. Иные афиши сделаны от руки — склеены из разноцветных бумажек, и это придает комнате веселый, нарядный вид; комната похожа на Васины стихи. С потолка свешивается желтое полотнище: «Это поднесли мне рабочие бумазейного треста — на рубаху».

Вася умеет говорить только о себе, простосердечно восхищаясь собой и своей приятной судьбою, а неприятного он не умеет заметить. Играл на гармонике, показывал письмо от Бурлюка из Японии, к-рое он повесил на стенку. Он ждет Евреинова. Евреинов едет в Москву — читать лекцию о наготе... (нэп! нэп!) Анненков побежал куда-то за вином и скоро вернулся с большой корзиной.

На др. день вечером все сошлись у меня: Вася, Пильняк, Пинкевич. Анненков надул. Пин[кевич] и Пильняк были в бане и привели с собой какого-то сановника из Госиздата — молодого, высокого и важного. Впрочем, он снизошел к нам настолько, что съел у меня несколько орехов и выпил бутылку вина. <...> У меня большая грусть: я чувствую, как со всех сторон меня сжал сплошной нэп — что мои книги, моя психология, мое ощущение жизни никому не нужно. В театре всюду низменный гротеск, и, например, 20 февр. я был на «Герое» Синга: о рыжие и голубые парики, о клоунские прыжки, о визги, о хрюкание, о цирковые трюки! Тонкая, насыщенная психологией вещь стала отвратительно трескучей. Кини сказал мне: «О Синге говорили, что его слова пахнут орехами (nuts). Но nuts в Америке значит также и дураки». Мне было не [до] смеху: я чуть не плакал... Видел 3-го дня «Потоп». Очень разволновался. Чудесно играли Волков и Подгорный. Вчера видел «Эрика XIV» [8]. Старательно, но плохо. И что за охота у нынешнего актера — играть каждую пьесу не в том стиле, в каком она написана, а непременно навыворот. Был я вчера у актера Смышляева, он ставит «Укрощ. строптивой» бог знает с какими вывертами. Сляй

видит себя во сне: получается два Сляя, один ходит по сцене, другой сидит в зрительном зале.

В Госиздате я подслушал разговор Мещерякова о себе: «По-моему, я скажу Чуковскому, что он не прав, и цензору сделаю выговор». 26 вечером мы гурьбою прошли в б[ывший] театр Зона, который ныне официально называется Театр Мейерхольда. Публики тупомордой — нэпманской — стада. Нас долго не пускали; когда же наконец я достал билеты, заставили снять пальто. Мы опять ругались. (Вырваны страницы. — *Е. Ч.*)

Новое помещение, только что крашенное (бывший конфексион Мандля), с утра набивается писателями, художниками, учеными, которые дежурят у разных дверей или мечутся из комнаты в комнату. Вначале часов до двенадцати лица у них живые, глаза блестящие, но часам к двум они превращаются в идиотов. На каждом лице — безнадежность. Я встретил там Любочку Гуревич, Сергея Городецкого, Володю Фидмана, скульптора Андреева, Тулупова, Дину Кармен, у всех тот же пришибленный и безнадежный взгляд. Тихонов там днюет и ночует. Я еще не знаю о судьбе Синга, но Мещ. ко мне теперь гораздо ласковее: он прочитал «Мойдодыра» и горячо полюбил эту книгу. «Читал ее два раза, не мог оторваться». «Мойдодыру» вообще везет: все хвалят его, и вчера в Госиздате Корякин (жирный человек) громовым голосом декламировал:

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам, —

но никто и не подумает дать об этой книжке рецензию, а, напротив, ругают как сукина сына. <...>

Дикий о портрете Тр[оцкого]: «фармацевт, *обутый* в военный костюм».

В Москве теснота ужасная; в квартирах установился особый *московский* запах — от скопления ч[еловече]ских тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка — такому-то, три звонка такому-то и т. д.

27 февраля. Вчера сидел в Госиздате с 11 ч. до половины 5-го и, наконец, подписал договор. О, как болела голова, сколько раз по лестнице вверх и вниз. Два раза переписывали. <...> На следующий день я был у Пильняка, в издательстве «Круг». Маленькая квартирка, две комнатки, четыре девицы, из коих одна огненно-рыжая. Ходят без толку какие-то недурно одетые люди — как неприкаянные — неизвестно зачем — Буданцев, Казин, Яковлев и проч. Все это люди трактирные, Пильняк со всеми на *ты,* рукописей ихних он не читает, не правит, печатает что придется. В бухгалтерии — путаница: отчетов почти никаких. Барышни не работают, а болтают с посетителями — особенно одна из них, Лидия Ивановна, фаворитка Пильняка. Деловою частью ведает Александр Яковлевич Аросев — плотный и самодовольный. В распоряжении редакции

имеется автомобиль, в котором чаще всего разъезжает Пильняк. Я с Пильняком познакомился ближе. Он кажется шалым и путаным, а на самом деле — очень деловой и озабоченный. Лицо у него озабоченное — и он среди разговора, в трактире ли, в гостях ли — непременно удалится на секунду поговорить по телефону, и переход от разговора к телефону — у него незаметен. Не чувствуется никакой натуги. Он много говорит теперь по телеф. с Красиным, хочет уехать от Внешторга в Лондон. Очень забавна его фигура, длинное туловище, короткие ноги, голова назад, волосы рыжие и очки. Вечно в компании, и всегда куда-нибудь идет *предприимчиво,* с какой-то надеждой. Любит говорить о том, что люди (вырвана страница. — *Е.Ч.*).

Городецкий! В палатах Бориса Годунова. С маленькими дверьми и толстенными стенами. Комнаты расписаны им самим — и недурно. Электр. лампы очень оригинально оклеены бумагой. Столовая темно-синего цвета, и на ней много картин. «Вот за этого Врубеля мы только что заплатили семь миллиардов», — говорит Нимфа. Нимфа все та же. Рассказывает, как в нее был влюблен Репин, как ее обожал Блок, как в этом году за ней ухаживал Ф. Сологуб. Они были в Питере и пили с Сол[огубом] в «Астории». Пришел Сергей — и показался мне гораздо талантливее, чем в последние годы. Во-первых, он показал мне свой альбом, где действительно талантливые рисунки. Во-вторых, он очень хорошо рассказывал, как он спасал от курдов армянских детей — спас около трехсот. В комнате вертелся какой-то комсомолец — *в шапке,* нагловатый. У Нимфы на пальцах перстни — манеры аристократические, — великосветский разговор. Городецкий такой же торопыга, болтун, напомнил прежние годы — милые.

Вечером у Маяковского. <...> Пирожное и коньяк. Ждут Мс Кау'я. Наконец начинает читать. Хорошо читает. Произнося по-хохлацки *у* вместо *в* и очень вытягивая звук о — Маякоооуский. Есть куски настоящей поэзии и тема широкая, но в общем утомительно. Он стоял у печки, очень милый, с умными глазами, и видно, что чтение волнует его самого. Был художник — Ро[д]ченко, Брик, две барышни, слушавшие Маяковского благоговейно. Я откровенно высказал ему свое мнение, но он не очень интересовался им. Потом прочел довольно забавную «агитку» — фельетон в стихах о том, что такое журналист, — в журнал «Журналист»[9]. Потом в коридоре уходя (Мс Кау не пришел) я при Л. Ю. Брик сказал ему, что его упоминание о нас в автобиографии нагло, что ходил он ко мне не из-за обедов и проч. Он обещал в следующ. изд. своей книги это переделать[10].

...Я сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет. Маяк. согласился позировать. Но тут вмешалась Лиля Брик. «Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист — и вдруг позирует художнику. Если ты хочешь иметь свой портрет, поди к фотографу Вассерману — он тебе хоть двадцать дюжин бесплатно сделает».

19 марта 1923. Вот уже неделя, как я д о м а , — и все ничего сделать не могу. Вчера читал на вечере, данном в честь Леонида Андреева, свои воспоминания о нем. И не досидев до конца, ушел. Страшно чувствую свою неприкаянность. Я — без гнезда, без друзей, без идей, без своих и чужих. Вначале мне эта позиция казалась победной и смелой, а сейчас она означает только круглое сиротство и тоску. В журналах и газетах — везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что — чужой. Был у Ахматовой. Она со мной — очень мила. Жалуется на Эйхенбаума — «после его книжки обо мне мы раззнакомились»[11]. Рассматривали Некрасова, которого будем вдвоем редактировать. Она зачеркнула те же стихи, что в изд. Гржебина зачеркнул и я. Совпадение полное. Читая «Машу», она вспомнила, как она ссорилась с Гумилевым, когда ей случалось долго залеживаться в постели — а он, работая у стола, говорил:

Только *му*женик *т*руж белолицый <…>

29 марта 1923. Мурка гуляет с Аннушкой в садике. Лужи. Аннушка запрещает ей ходить по лужам. Когда Мурке хочется совершить это преступление, она говорит: «Аннушка, дремли, дремли, Аннушка».

У Ахматовой. Щеголев. Выбираем стихотворения Некрасова. Когда дошли до стихотворения:

В полном разгаре страда деревенская,
Доля ты русская, долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать! —

Ахматова сказала: «Это я всегда говорю о себе». Потом наткнулись на стихи о Добролюбове:

Когда б таких людей
Не посылало небо —
Заглохла б нива жизни.

Щ[еголев] сказал: «Это я всегда говорю о себе». Потом Ахматова сказала: — Одного ст[ихотворен]ия я не п о н и м а ю . — Какого? — А вот этого: «На красной подушке первой степени Анна лежит»[12]. Много смеялись, а потом я пошел провожать Щеголева и чувствовал, как гимназист, что весна.

27 марта. Вчера был в Конфликтной комиссии в споре с домкомбедом, который требует с меня, как с лица свободной профессии, колоссальную сумму за квартиру. Я простоял в прихожей весь день — очень тоскуя. <…> Мое дело было правильное — я действительно работаю во «Всемирной Литературе», но у меня не случилось какой-то бумажки, которую достать — раз плюнуть, и все провалилось. Притом я был в крахмальном воротничке. Портфель мой был тяжел, я очень устал, попросил позволения сесть, не позволили — два раза не позволяли — а среди них было две женщины, и

то, что мне не позволили сесть, больше взволновало меня, чем два миллиарда, которые я должен заплатить. О, о! тоска! Все деньги ушли, а я так и не засел за работу. Редактирую хронику для третьего номера. Это мелочная труднейшая работа, мешающая заниматься делом. Вчера в Доме Ученых я читал о Некрасове. Было человек двадцать — старушки. И была сестра Кони, Грамматчикова. Она читала из «Русских Женщин». <...>

1 апреля 1923. Вот мне и 41 год. Как мало. С какой завистью я буду перечитывать эту страницу, когда мне будет 50. Итак, надо быть довольным! Когда мне наступило 19 лет — всего 22 года назад — я написал: «Неужели мне *уже* 19 лет?..» Теперь же напишу:

— Неужели мне *еще* 42-й год?

Игра сыграна, плохая игра — и нужно делать хорошее лицо. Вчера купил себе в подарок Илью Эренбурга «Хулио Хуренито» — и прочитал сегодня страниц 82. Не плохо, но и не очень хорошо: французский скептицизм сквозь еврейскую иронию с русским нигилизмом в придачу. Бульварная философия — не без ловких — в литературном отношении — слов. <...>

20 апреля. Дни идут. Я раздавлен «Хроникой» «Современного Запада». Замятин пальцем о палец не ударил, всю работу взвалил на меня; это работа колоссальная: достать матерьял, выбрать наиболее интересное, исправить неграмотные заметки Рейнтца, Порозовской и др. Был несколько дней тому назад на премьере «Мещанина в дворянстве» — постановка Ал. Бенуа. Это то, что нужно нашей публике: бездумное оспектакливание. Пропала мысль, пропало чувство — осталось зрелище, восхитительное, нарядное, игривое, но только зрелище. Ни сердцу, ни уму, а только глазу — и как аплодировали. Бенуа выходил раз пять, кланяясь и пожимая актерам руки (его манера: когда вызывают его, он никогда не выходит один, а в компании с другими, аплодируя этим другим). На следующий день я был у него. Кабинет. Стол. Буржуйка. Возле буржуйки сохнут чулочки его обожаемого Татана. На столе письмо, полученное им накануне от Юрьева: оказывается, что Бенуа на генеральной репетиции так не понравился Кондрат Яковлев в роли Журдена, что сгоряча он потребовал, чтобы спектакль отменили. Юрьев в письме убеждает Бенуа этого не делать. «Трудный актер Яковлев, трудный, упрямый, обидчивый, себе на уме», — говорит Бенуа. Был у меня вчера Ник. Тихонов — хриплым голосом читал свои лохматые вещи. Он очень прост, не ломака, искренен, весь на ладони. Бедствует очень, хотя мог бы спекулировать на своей славе. (Лунач[арский] написал о нем, как об одном из первейших русских поэтов — а он, оказывается, даже не знал этого.) Бываю я в Аре — хлопочу о различных писателях: добыл пайки для Зощенко, П. Быкова, Брусяниной и проч. <...>

Мурка, ложась спать:

— Мама, я укрыта? — Да. — А мне тепло? — Да. — Ну, я буду пать.

Марья Борисовна была в клубе «Серапионовых братьев». Ее видела Оля [13] и написала стишки:

Красивая, торжественная дама,
«Жена Юпитера» — вы скажете о ней.
А муж ее, ну, знаете, тот самый,
Точно на винтиках держащийся Корней.

21 апреля 1923. Был вчера в «Былом». Очень забавен Щеголев. Лукавая детская улыбка, откровенный цинизм и лень, — сидит в редакции, к нему приходят всякие люди, он с ними торгуется и дает в десять раз меньше, чем они просят. Вчера у него был Ник. Никитин, который долго считал, сколько ему должен Щеголев, а когда исписал цифрами страницы три — и перевел на золото, то оказалось, что не Щеголев ему, а он — Щеголеву должен огромные суммы. Так подводит людей золотая валюта. Щеголев смеется, Никитин скребет затылок. Я спросил недавно Щеголева, читает ли он «Былое», которое он редактирует. «Да что его читать... такая скука», — сказал он. От Щеголева я к Ал. Бенуа. Бенуа в духе, играл на рояле, щекотал Татана, приговаривая каббалистические стихи, очень смешно рассказывал о Теляковском. Нынче Теляковский опять вынырнул: он напечатал в «Жизни и Искусстве» статью о Мейерхольде [14] в таком забавном бюрократическом духе, как будто пародия Зощенки. «Я призвал к себе Мейерхольда в кабинет и...» Бенуа рассказывал: «Года три назад кто-то хотел возобновить балаганы в «Народном Доме» — т. е. не в самом Доме, а возле. Пригласили нас, экспертов. Снег, тоска, мы молчим. Вдруг вижу с красным носиком, с самоделковым чемоданом, стоит на снегу камергер Теляковский. Его тоже почему-то пригласили. Смотрел он властям в глаза искательно, был на все готов, и мне казалось, что он с того света... Сегодня едет в Питер Мейерхольд: поздравляться и чествоваться. Здесь его будут всем синклитом величать: я теперь боюсь даже мимо Александринки пройти, как бы не поздравить нечаянно». Анна Карловна Бенуа говорит, что на дальнейших представлениях «Мещанина в дворянстве» Яковлев играл еще хуже. «Хам такой, он даже роли не знает: вместо герцогиня говорит княгиня». Оттуда к Розинеру: он купил у меня книжку о Блоке. Оттуда к Форш: чудесный вечер, был Ст. П. Яремич, М. Слонимский, Пяст. Пяст читал свои стихи о мировой войне, написанные в 1915 г. «Грозою дышащий июль», — в них он с той наивностью, которая была присуща нам всем и от которой ничего не осталось, прославляет «святую» Бельгию, «благородную» Францию, проклинает Вильгельма и т. д. Стихи местами очень хороши. Как будто читаешь в стихах старые «Биржевые Ведомости».

24 апреля. Опять негр Мак Кэй. Потолстел, но говорит, что это от морозу: отмороженные щеки. Очень много смеется, но внутренне

серьезен и когда говорит о положении негров в Америке — всегда волнуется. Я сдуру повел его к Клячко; с изумлением увидел, что Клячко не знает, что негры в Америке притесняемы белыми. «Как же так? — спрашивал о н . — Ведь там свобода! Ай да американцы!» и т. д. Мак Кэй ждет к себе в гостиницу Wine-merchant'a *, про к-рого он говорит, что д[окто]р двоюродный брат Александра Блока. Wine-merchant снабжает его бесплатно вином. Гулял с Анной Ахматовой по Невскому, она провожала меня в Госиздат и рассказывала, что в эту субботу снова состоялись проводы Замятина. Меня это изумило: человек уезжает уже около года, и каждую субботу ему устраивают проводы. Да и никто его не высылает — оббил все пороги, накланялся всем коммунистам — и вот теперь разыгрывает из себя политического мученика.

7 мая. Был у Сологуба неделю назад. Он занимает две комнатки в квартире сестры Анаст. Чеботаревской. Открыла мне дверь племянница Анастасии Лидочка. В комнате Сологуба чистота поразительная. Он топил печку, когда я пришел, и каждое полено было такое чистенькое, как полированное, возле печки ни одной пылинки. На письменном столе две салфеточки — книги аккуратны, как у Блока. Слева от стола полки, штук 8, все заняты его собственными книгами в разных изданиях, в переплетах и проч. Заговорили о романе Замятина «Мы». «Плохой роман. В таких романах все должно быть обдумано. А у него: все питаются нефтью. Откуда же они берут нефть? Их называют отдельными буквами латинской азбуки плюс цифра. Но сколько букв в латинской азбуке? Двадцать четыре. На каждую букву приходится 10 000 человек. Значит, их всего 240 000 человек. Куда же девались остальные? Все это неясно и сбивчиво».

Заговорил о здоровьи. У него миакардит. Сердце не болит, если он не волнуется. Но волноваться приходится часто. «Если напр., я спорю с друзьями, хотя бы расположенными ко мне; если я читаю свои стихи, хотя бы в самом тесном к р у г у , — я волнуюсь. И по лестнице всхожу очень медленно».

Заговорил о с т и х а х . — У меня ненапечатанных стихов (он открыл правый ящик стола) — тысяча двести тридцать четыре (вот, в конвертах, по алфавиту).

— Строк? — спросил я.

— Нет, стихотворений... У меня еще не все зарегистрировано. Я не регистрирую шуточных, альбомных стихов, стихов на случаи и проч.

Это слово «регистрирую», «зарегистрировано» он очень любит.

— Французских стихотворений у меня зарегистрировано пять, переводных сто двадцать два. А стихотворений ранних, написанных в детстве, интимных, на шесть томов хватило бы.

Заговорили о рецензиях.

---

* Виноторговца (*англ.*).

— Рецензий я не регистрирую. Вот переводы у меня зарегистрированы. Меня переводили на немецкий яз. такие-то и такие-то переводчики, на французский такие-то, а на английский такие-то.

И он вынул из среднего ящика карточки и стал читать одну за другой, дольше, чем следовало.

Я понял: эгоцентризм, доведенный до культа. Сологуб стоит в центре мира, и при нем в качестве придворного историографа, библиографа, регистратора состоит Сологуб же. Это я подумал без насмешки, а сочувственно. В такой саморегистрации — для Сологуба спасение. Одинокий старичок, неприкаянный, сирота, забытый и критикой и газетами — недавно переживший катастрофу [15], утешается саморегистрацией.

— Моих переводов из Верлена у меня зарегистрировано семьдесят.

Окошечки у него в кабинете маленькие, но вид оттуда — широкий. На стене портреты А. Н. Чеботаревской. Она с ним за чайным столом, она с ним на диване, она с ним в Париже, все чистенько, по-немецки и без вкуса развешано.

— Не хотите ли вина?

— Я не пью. Да и вам вредно.

— Нет, немного можно. Хорошее вино. Не можете ли вы пристроить в Госиздате мой роман «Творимая легенда»?

— Ну, Госиздат такой вещи не возьмет.

— Почему? Мне говорили, что этот роман читала Клара Цеткин с восторгом. Вот бы она написала предисловие.

— А теперь вы пишете прозу?

— Нет. Вышел из этого ритма. Не могу писать. У меня это ритмами. Как болезни. Я, например, в январе всегда болен. Всю жизнь. Непременно лежу в январе.

— А стихи?

— Стихов я всегда писал много. Вот, напр., 6 декабря 1895 года я написал в один день сорок стихотворений. Вернее, цикл. «История девочки в гимназии». Многие из них не напечатаны, но часть попала в печать в виде отдельных стихотворений.

Заговорили о Некрасове. Он стал читать наизусть, сбиваясь, «Где твое личико смуглое», «Когда из мрака», «Все рожь кругом», «Если пасмурен день».

Был вчера у Ахматовой Анны. Кутается в мех на кушетке. С нею Оленька Судейкина. Без денег, без мужей — их очень жалко. Ольга Афанасьевна стала рассказывать, что она все продала, ангажемента нету, что у Ахматовой жар, температура по утрам повышенная, я очень расчувствовался и взял их в театр на «Чудо святого Антония». Нужно будет о Судейкиной похлопотать перед американцами.

Был у меня ночью Мак Кэй. Он написал стихи о первом Мае и хочет, чтобы я переводил. Очень ругательно отзывался об Аре, я

защищал, мы поругались. Я уже чувствую, что он в свои будущие очерки о России внесет много клевет, сообщенных ему всякой сволочью. Много сообщает ему Mrs. Stark, жена Горлина, — и врет как на мертвых.

10 мая. <...> Был вчера у Блока, потянуло на его квартиру, прошел пешком с Невы, по Пряжке; мальчишки барахтались на берегу. Вот его грязно-желтый дом, — грязно-зеленый подъезд, облупленный черный ход. Звоню. Кухарка открыла. Слева в прихожей телефон, где сохранился почерком Блока перечень телефонных номеров — «Всемирная Литература», «Горький» и т. д. Вышла ко мне навстречу тетка Бекетова Марья Андреевна. Бекетова — поправилась, стала солиднее, видно, внутренне она в гармонии с собой — «Вот живу в комнате покойной сестры!» — сказала она. Это белая узкая комната, где за тонкой перегородкой матросы. На стене большой портрет Блока работы Т. Н. Гиппиус, множество карточек, и вот тетка сидит среди этих реликвий и пишет новую книгу о Блоке — текст к фотокарточкам, которые хочет издать к годовщине смерти Блока Алянский. Я сел за столиком у окна и стал перелистывать журнал «Вестник», издававшийся Блоком в детстве. О, как гениально все это склеено, переплетено, сшито, сколько тут бабушек, тетушек, нянюшек. Почерк совсем другой — и весело, весело. А карточки трагичны. Особенно та, где Блок отвернулся от стола — от всех — Лермонтовым, и глядит со страхом вперед; и даже по детским карточкам видно, что бунтарь. Руки очень самостоятельно — в детстве. Марья Андреевна стала читать мне свою рукопись, там, конечно, нет и догадки, кто такой Блок, там мирный и банальный Саша, любимец, баловень, а не — «Ночные часы». Интересно только, как он посдирал платья с гвоздей, чуть его заперли в чулан — да и то анекдот. О, какое страшное лицо у него на балконе, на Пряжке! Тетка об этом не знает ничего. И все чувствуется какое-то замалчивание — замалчивается роль Любовь Дмитриевны, замалчивается та тягость, которую наложила на Блока семья, замалчивается сам Блок. Про Любовь Дмитриевну она сказала; «Люба сюда своего портрета не дает (в альбом). Она хочет остаться в тени. (Помолчав.) Такая скромность!» <...> Я к Ольге Форш. Она одна — усадила — и начала говорить о Блоке. Говорила очень хорошо, мудро и взволнованно, о матери Блока:

— Да она ж его и загубила. Когда Блок умер, я пришла к ней, а она говорит: «Мы обе с Любой его убили — Люба половину и я половину».

Много говорила о стихах Блока — я стал успокаиваться, но пришли С. П. Яремич и Сюннерберг. Я попрощался и ушел к Выгодскому. <...>

14 мая. Колин товарищ Леня Месс — красивый, матоволикий скульптор. Небольшого роста, молчаливый, изящный, значительный. Мы с Колей зашли за ним и пошли втроем в Эрмитаж. Долго

ходили по залам скульптуры, потом смотрели немцев, голландцев, англичан — и перед «Данаей» Рембрандта я умер от упоения. Мне слышалась музыка, как будто я вижу первую в жизни картину. Другие картины хороши или плохи, а эта — абсолютна, на веки веков. И еще поразила меня маленькая (сравнительно) картина Тициана — женский портрет в круглой зале — и больше ничего. Остальное — Литература. Эрмитаж полон. Интерес к искусству сильно вырос в массах. Но бедные зрители. Ходят неприкаянные, скучая, не зная куда смотреть, а руководители экскурсий мелют вздор — и так громко, что мешают смотреть.

Очень интересна сегодняшняя газета[16].

Был у Ахматовой. Она показывала мне карточки Блока и одно письмо от него, очень помятое, даже исцарапано булавкой. Письмо — о поэме «У самого моря». Хвалит и бранит, но какая правда перед самим собой...[17] Я показал ей мои поправки в ее примечаниях к Некрасову. Примечания, по-моему, никуда не годятся. Оказывается, что Анна Ахматова, как и Гумилев, не умеет писать прозой. Гумилев не умел даже переводить прозой, и когда нужно было написать предисловие к книжке Всем. Лит., говорил: я лучше напишу его в стихах. То же и с Ахматовой. Почти каждое ее примечание — сбивчиво и полуграмотно. Напр.: Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) современник Некрасова *и* имел с ним *более или менее* общие взгляды.

— Клейнмихель главное лицо по постройке...

— Байрон имел сильное влияние *как* на П[у]шк[ина], *так* и на Лерм[онтова].

Я уже не говорю о смысловых ошибках. Элегия — «форма лирич. стихотв.» и т. д. В одном месте книги, где у меня сказано: «пьесы ставились», она переделала: «одно время *игрались*».

Я не скрыл от нее своего мнения о ее работе и сказал, что, должно быть, это писала не она, а какой-то мужчина.

— Почему вы так думаете. Мужчина нужен только чтобы родить ребенка. <...>

18 мая. <...> Ах, какая канитель с репинскими деньгами[18]. Опять Абрам Ефимович затягивает платежи. А я решил сегодня послать их. Вести о том, что разгромлена моя дача, не ужасают меня, и я ужасаюсь под диктовку Марии Борисовны. Мне гораздо больнее, что разгромлена моя жизнь, что я не написал и тысячной доли того, что мог написать.

Был у Серапионов. Читал мне свои стихи Антокольский — мне вначале они страшно нравились, он читает очень энергично, — но потом я увидел, как они сделаны, и они разнравились.

Полонская читала так себе. Несколько раз вбегала Мариэтта Шагинян. Каверин говорил резкие вещи, с наивным видом. Напр., Антокольскому сказал:

— А все же в ваших стихах — не обижайтесь — много хламу.

Лунц (больной ревматизмом) сказал Коле:

— Знаешь, твои стихи начинают повторяться. Все веточки, букашки, душа, и непременно что-нибудь «колышется».

Тон очень простой, наивный и труженический. <...>

30 мая. Был вчера у Кони и заметил, что у него есть около двенадцати методов для невиннейшей саморекламы. Напр.: как трогательно было. Я читал лекцию, а два матроса — декольте вот такое! — краса и гордость русской революции — говорят мне: «Спасибо, папаша!»

Второй способ — бранить кого-ниб., противопоставляя его себе. Вот так: вообразите себе, как утеряно теперь моральное чувство: одна дама, узнав, что я отношусь отрицательно к покойному Н[иколаю] II, сказала:

— Прочтите лекцию о нем, мы вас озолотим.

Я сказал:

— Сударыня, понимаете ли вы, что вы говорите.

— А что?

— Да ведь кости его еще не истлели, а вы хотите, чтобы я публично плевал на его могилу.

Третий способ такой: ах, как я освежился в Москве. Я прочел там четыре лекции, ах, какую приветственную речь сказал мне проф. Сакулин! И вы знаете, в каком я был неприятном положении.

— Почему вы были в неприятном положении?

— Да как же: чествовало меня Юрид. О-во. Ну, сказали похвальные речи, причем взяли октавой выше, а я должен был ответить, но что сказать? Ужасно неприятно. Промолчать — выйдет, что я согласен во всеми хвалами, сказать, но что? Я встал и сказал:

— Жалею, что в этом зале не присутствует Потемкин-Таврический.

Они переглянулись: с ума сошел старик. Но я продолжаю:

— Когда Потемкин увидел пьесу Фонвизина, он сказал: «Умри, Денис, лучше не напишешь». Мне бы он сказал: «Умри, Анатолий, лучше не услышишь». <...>

Был у жены Блока. Она очень занята театром, пополнела.

Пристал ко мне полуголодный Пяст. Я повел его в ресторан — и угостил обедом. <...>

Замятин напомнил мне, как я вовлек Блока в воровство. Во «Всемирной Литер.» на столе у Тихонова были пачки конвертов. Я взял два конверта — и положил в карман. Конверты — казенные, а лавок тогда не было. Блок застыдился, улыбнулся. Я ему: «Берите и вы». Он оглянулся — и больше из деликатности по отношению ко мне — взял два конверта и конфузясь положил в карман. <...>

[Коктебель. Сентябрь.] <...> Чувствую себя худо, чужим этой прелести. <...> Интеллигентных лиц почти нет — в лучшем случае те

полуинтеллигентные, которые для меня противны. Одиночество не только в вагоне, но и в России вообще. Брожу неприкаянный.

35 минут 8-го. Сижу над бездной — внизу море.

22 дня живу я в Коктебеле и начинаю разбираться во всем. Волошинская дача стала для меня пыткой — вечно люди, вечно болтовня. Это утомляет, не сплю. Особенно мучителен сам хозяин. Ему хочется с утра до ночи говорить о себе или читать стихи. О чем бы ни шла речь, он переводит на с е б я . — Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму? — и рассказывает, как он спасал от расстрела генерала Маркса — рассказывает длинно, подробно, напористо — часа три, без пауз. Я Макса люблю и рад слушать его с утра до ночи, но его рассказы утомляют м е н я , — я чувствую себя разбитым и опустошенным. Замятин избегает Макса хитроумно — прячется по задворкам, стараясь проскользнуть мимо его крыльца — незамеченным. Третьего дня мы лежали на пляже с Замятиным и собирали камушки — голые — возле камня по дороге к Хамелеону. Вдруг лицо у З[амятина] исказилось и он, как настигнутый вор, прошептал: «Макс! Все пропало». И действительно, все пропало. По берегу шел добродушный, седой, пузатый, важный — Посейдон (с длинной палкой вместо трезубца) и чуть только лег, стал длинно, сложно рассказывать запутанную историю Черубины де Габриак, которую можно было рассказать в двух словах [19]. Для нас погибли и камушки, и горы, мы не могли ни прервать, ни отклонить рассказа — и мрачно переглядывались. Такова же участь всех жильцов дачи. Особенно страшно, когда хозяин зовет пятый или шестой раз слушать его (действительно хорошие) стихи. Интересно, что соседи и дачники остро ненавидят его. Когда он голый проходит по пляжу, ему кричат вдогонку злые слова и долго возмущаются «этим н а х а л о м». — «Добро бы был хорошо сложен, а то образина!» — кудахтают дамы. <...> Мы с Замятиным вчера вправо — спасаясь от Макса и кривоногой девицы. Каменисто под ногами, но хорошо. У него свойство — сейчас же находить для себя удобнейшее место — нашел под горкой — безветренное, постлал лохматую простыню — и лег, читал Флоренского «Мнимые величины в геометрии». Мы лежали голые, у него тело лоснится как у негра, хорошее, крепкое, хотя грудь впалая. Читая, он приговаривал, что в его романе «Мы» развито то же положение о мнимых величинах, которое излагает ныне Флоренский. Потом я стал читать Горького вслух, но жара сморила. Мы пошли на пляж — и невзирая на дам, стали купаться — волна сильная, я перекупался. <...> «Каменная болезнь». Ни я, ни Замятин не собирали до сих пор камней, но дней пять назад я нашел два камушка, З[амятин] тоже и с тех пор страстно, напряженно ищем, ищем, ищем — стараясь друг друга перещеголять. Здесь было два детских утра, где я читал «Тараканище», «Крокодила», «Мойдодыра», «Муркину книжку» — и имел неожиданно огромный успех. <...>

20 м. 1-го 4 окт. 1923. З[амятин]: «Отныне буду любить всех детей, как Чуковский». <...> З[амятин]: «Все спят, вся деревня спит, одна Баба Яга не спит». По поводу моей бессонницы. <...> Нужно описать, как уезжали из Коктебеля мы с Замятиным. Он достал длинную линейку, Макс устроил торжественные проводы, которые длились часов пять и вконец утомили всех. На башне был поднят флаг. Целовались мы без конца. <...>

Воскресение, 7 октября 1923. Приехал из Крыма, привез Муре камушки — она выбирает из них зеленые — и про каждый прибегает за четыре комнаты спрашивать: это зеленый? Винограду привез три пуда, мы развесили его на веревочках, и на пятый день уже ничего не осталось. Груши, привезенные мною, еще не дозрели, лежат на подоконнике. Я черный весь, страшно загорел, приехал обновленный, но сонный, ничего не делаю, никого и ничего не хочу. Вялость необыкновенная. Да и есть отчего быть вялым: я провел этот крымский месяц безумно. Приехал я в Коктебель 3 сентября. Ехал мучительно. В Феодосию прибыл полутрупом. Готов был вернуться назад в той же линейке. В воскресение в 4 часа дня дотащился до Макса. Коктебель место идиллическое, еще не окурорченное, нравы наивные, и я чувствую себя и Макса, и всех коктебельцев древними, доисторическими людьми. О нас будут впоследствии писать как о древних коктебельцах. Макс Волошин стал похож на Карла Маркса. Он так же преувеличенно учтив, образован, изыскан, как и подобает poetae minori *. В тот же вечер, когда я приехал, Замятин читал свою повесть «Мы». Понемногу я начал отходить, но прошла неделя, и волошинская дача стала для меня пыткой: вечно люди, вечно болтовня. Я перестал спать. Волошин не разговаривал ни с кем шесть лет, ему естественно хочется поговорить, он ястребом налетает на свежего человека и начинает его терзать. Ему 47 лет, но он по-стариковски рассказывает все одни и те же эпизоды из своей жизни, по нескольку раз, очень округленные, отточенные, рассказывает чрезвычайно литературно, сложными периодами, но без пауз, по три часа подряд. Не знаю почему, меня эти рассказы утомляли, как тяжелые бревна. Самая их округленность вызывала досаду. Видно, что они готовые сберегаются у него в мозгу, без изменения, для любого собеседника, что он наизусть знает каждую свою фразу. С наивным эгоизмом он всякий случайный разговор поворачивает к этим рассказам, в которых главный герой он сам: «Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму?» — и рассказывает, как он, Макс, спасал большевистского генерала Маркса от расстрела — ездил в Керчь вместе с его женой — и выхлопотал генералу облегчение участи. Стихи Макса декламационны, внешни, эстрадны — хорошие французские стихи — несмотря на всю свою красивость, тоже утомляли меня. Человек он очень милый, но декоративный, не простой, вечно с ка-

* Менее значительные поэты (*лат.*).

ким-то театральным расчетом, без той верхней чуткости, которую я люблю в Чехове, Блоке, в нескольких женщинах. Живет он хозяином, магнатом, и походка у него царственная, и далеко не так бесхозяйствен, как кажется. Он очень практичен — но мил, умен, уютен и талантлив. Как раз в эти годы он мучительно ищет *большого стиля* — нашел ли он его, не знаю. Его нарочито русские речи в стихах — звучат по-иностранному. Его жена Мария Степановна, фельдшерица, обожает его и считает гением. Она маленького роста, ходит в панталонах. Человек она незаурядный — с очень определенными симпатиями и антипатиями, была курсисткой, в лице есть что-то русское крестьянское. Я в последние дни пребывания в Коктебеле полюбил ее очень — особенно после того, как она спела мне *зарю-заряницу*. Она поет стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил ее спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю. Она отнеслась ко мне очень тепло, ухаживала за мною — просто, сердечно, по-матерински. Коктебельские гостьи обычно ее ненавидят и говорят про нее всякую гнусь: Чуть я приехал, Макс подхватил мои чемоданы, понес их наверх на чердак, где и определил мне жить. Но Ирина Карнаухова, та самая, с которой я познакомился в Москве в 1921, когда ездил туда с Блоком, уступила мне свою комнату, а сама стала спать на балконе. Вскоре я познакомился со всей волошинской дачей: глухая племянница Макса, Тамара, танцовщица, ее брат Витя, синеглазая старушка Ал. Александровна и скрюченный старичок Иосиф Викторович. <...>

Старушка Александра Александровна из Вятки — была в Нижнем, во времена Анненского и Короленко (ее муж был земск. статистик); в Крыму она первый раз, и все ей кажется, что «в России лучше». Повел ее как-то Макс на Карадаг. Она: «Вот здесь хорошо; если бы здесь Москва-река была, совсем бы Воробьевы горы». О Крымских горах отзывает[ся], что Жигули выше и красивее. <...>

Иос. Викт. замусоленный эмигрант, помнит Бакунина, теперь целые дни сидит и курит — и ничего не делает. Все это, конечно, не общество для Макса — и он потому набрасывается на кажд. человека. Но помимо этого тесного (скучного) круга, есть в Коктебеле около 3-х десятков приезжих — очень пестрых, главным образом женщины — и Замятин. Замятин привез кучу костюмчиков — каждый час в другом, англ. пробор (когда сломался гребешок, он стал причесываться вилкой), и влюбляться в него стали пачками. <...> Мы ходили с ним ежедневно на берег, подальше от людей, и собирали камушки. <...> Роман Замятина «Мы» мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме. Все язвительное, что Замятин говорит о будущем строе, бьет по фурьеризму, который он ошибочно принимает за коммунизм. А фурьеризм «разносили» гораздо талантливее, чем Замятин: в одной строке Достоевского больше ума и гнева, чем во всем романе Замятина.

13 октября. Был я вчера у Анны Ахматовой. Застал О. А. Судейкину в постели. Лежит изящная, хрупкая — вся в жару. У нее вырезали кисту, под местной анестезией. Теперь температура высокая, и крови уходит много. Она прелестно рассказывала об операции. «Когда действие анестезии кончилось, заходили по моей ране опять все ножи и ножницы, и я скрючилась от боли». При мне она получила письмо от Лурье (композитора), который сейчас в Лондоне. Это письмо взволновало Ахматову. Ахматова утомлена страшно. В доме нет служанки, она сама и готовит, и посуду моет, и ухаживает за Ольгой Аф., и двери открывает, и в лавочку бегает. «Скоро встану на четвереньки, с ног свалюсь».

Она потчевала меня чаем и вообще отнеслась ко мне сердечно. Очень рада — благодаря вмешательству Союза она получила 10 фунтов от своих издателей — и теперь может продать новое издание своих книг. До сих пор они обе были абсолютно без денег — и только вчера сразу один малознакомый человек дал им взаймы 3 червонца, а Рабинович принес Анне Андреевне 10 фунт. стерл. Операцию Ив. Ив. Греков производил бесплатно. У Ахматовой вид кроткий, замученный.

— Летом писала стихи, теперь нет ни минуты времени.

Показывала гипсовый слепок со своей руки. «Вот моя левая рука. Она немного больше настоящей. Но как похожа. Ее сделают из фарфора, я напишу вот здесь: «моя левая рука» и пошлю одному человеку в Париж».

Мы заговорили о книге Губера «Донжуанский список Пушкина» (которой Ахм. еще не читала).

— Я всегда, когда читаю о любовных историях П[у]шк[ина], думаю, как мало наши пушкинисты понимают в любви. Все их комментарии — сплошное непонимание (и покраснела).

О Сологубе:

— Очень непостоянный. Сегодня одно, завтра другое... Павлик Щеголев (сын) говорит, что он дважды спорил с Сологубом о *Мережк.* — в суб. и в воскр. В субботу защищал Мережк. от Сологуба, а в воскрес. напал на Мережк., котор. защищал Сологуб. <...> Приехал Тихонов, бегу узнать, чем кончилась его пря с Ионовым.

14 октября. Воскресение. «Ветер что-то удушлив не в меру» [20] — опять как три года назад. На лицах отчаяние. Осень предстоит тугая. Интеллигентному пролетарию зарез. По городу мечутся с рекомендательными письмами тучи ошалелых людей в поисках какой-нибудь работы. Встретил я Клюева, он с тоской говорит: «Хоть бы на ситничек заработать!» Никто его книг не печатает. Встретил Муйжеля, тот даже не *жалуется*, — остался от него один скелет, суровый и страшный. Кашляет, глаз перевязан тряпицей, дома куча детей. Что делать, не знает. Госиздат не платит, обанкротился. В книжных магазинах, кроме учебников, ничего никто не покупает. Страшно. У меня впереди — ужас. Ни костюма, ни хлеба,

управление домовое жмет, всю неделю я бегал по учреждениям, доставая нужные бумаги, не достал. И теперь сижу полураздавленный. <...>

Суббота 21 октября. В этот понедельник сдуру пошел к Сологубу. Старик болен, простужен, лежал злой. У него был молодой поэт, только что из Тифлиса, Тамамшев — а потом Юрий Верховской. Сологуб говорил, что писатель только к ста годам научается писать. «До ста лет все только проба пера. Возьмите Толстого. «Война и мир» — сколько ошибок. «Анна Каренина» — уже лучше. А «Воскресение» совсем хорошо». Он сильно осунулся, одряхлел, гости, видимо, были ему в тягость. За чаем он очень насмешливо отнесся к стихам Ю. Верховского. Говорил, что они подражательны, и про стихотворение, в котором встречается слово «глубокий», сказал: «Это напоминает «вырыта заступом яма глубокая»; хотя кроме этого слова ничего общего не было. Подали конфеты — «Омские». Хозяйка (сестра Чеботаревской) рассказала, что у них в доме открылась кондитерская, под названием Омская, хотя в Омске хлеб ничем не знаменит. Сологуб вспомнил Омск: «Плоский город — кругом степь. Пыль из степи — год, два, сто лет, вечно — так мирно и успокоительно засыпает весь город. Я остановился там в «гостинице для приезжающих». Ночью мне нужно было укладываться. Электричества нет. Зову полового. Почему нет электричества? — Хозяин велел выключить. — Почему? — У нас всегда горит до часу. А теперь два. — Да мне нужно укладываться. — Хозяин не велел. — Дурень, а читал ты вывеску своей гостиницы? Там написано — не «гостиница для хозяина», а «гостиница для приезжающих». Я — приезжающий, значит, гостиница для меня». Аргумент подействовал, и Сологуб получил свет.

Верховской — нудный человек, говорит все банальные вещи. Он совсем раздавлен нуждою, работает для «Всемирной», но ему не платят, а в доме живет свояченица без места и т. д. О свояченице он говорит «мояченица». Кто-то произнес слово «теща», и Сологуб вспомнил свой недавний экспромт:

Теща, теща,
Будь попроще:
С Поликсенкою
Не спорь теперь,
А не то поддам тебе коленкою
И за дверь.

Придрался к одной строчке стихотворений Тамамшева, где сказано: *стройноногая,* и долго пилил поэта: «Можно сказать о стане, о туловище стройный, а о руке ИЛИ ноге этого сказать нельзя». Верховской напомнил ему Пушкина, напрасно! Он по-учительски, тягуче, уныло канителил, что нельзя ноги называть стройными:

стройно то, что статично — а ноги можно назвать быстрыми, легкими, но не стройными...

Очень я пожалел, что пошел к старику; поджидая трамвая, простудился, слег и провалялся ровно неделю. Отныне кончено — никуда не хожу. Сижу дома и замаливаю грехи крымские.

24 окт[ября], среда. <...> Клячко — хлопоты о «Муркиной книге». Мурка каждый день спрашивает: «Когда будет готова *моя* книга?» Она знает «Муху Цокотуху» наизусть и вместо:

Муху за руку берет
И к окошечку ведет —

читает:

Муху за руку берет
И к Кокошеньке ведет.

24 октября. В ужасном положении Сологуб. Встретил его во «Всемирной» внизу; надевает свою худую шубенку. Вышли на улицу. Он, оказывается, был у Розинера, как я ему советовал. Розинер наобещал ему с три короба, но ничего у него не купил. Сологуб подробно рассказал о своем разговоре с Розинером. И потом: «Он дал мне хорошую идею: переводить Шевченко. Я готов. Затем и ходил во Всемирную — к Тихонову. Тихонов обещает похлопотать, чтоб разрешили. Мистраля, которого я теперь перевожу, никто не покупает. Я перевел уже около 1000 стихов. Попробую Шевченка. Не издаст ли Розинер, спросите». Мне стало страшно жаль беспомощного, милого Федора Кузмича. Написал человек целый шкаф книг, известен и в Америке, и в Германии, а принужден переводить из куска хлеба Шевченку. «Щеголев дал мне издание «Кобзаря» — попробую. Не знаете ли, где достать львовское издание?»

Мурке сказали, что она заболеет, если будет есть так мало. Она сейчас же выпила стакан молока и спросила: «А теперь я не умру?» <...>

28 окт., воскр. Был у меня вчера поэт Колбасьев. Он рассказывал, что Никитин в рассказе «Барка» изобразил, как красные мучили белых. Нечего было и думать, чтобы цензура пропустила. Тогда он переделал рассказ: изобразил, как белые мучили к р а с н ы х, — и заслужил похвалу от Воронского и прочих.

У Анны Ахм. я познакомился с барышней Рыковой. Обыкновенная. Ахматова посвятил[а] ей стихотворение: «Все разрушено» и т. д. Критик Осовский в «Известиях» пишет, что это стихотворение — революционное, т. к. посвящено жене комиссара Рыкова [21]. Ахм. хохотала очень.

30 октября (т. е. 17 октября, годовщина манифеста). Идет снег, впервые в этом году. <…> Я пишу о Горьком — не сплю 2 ночи. Сегодня в издательстве «Петроград» я встретил Сологуба. Он жалок, пришел получить один червонец, ему обещали прислать завтра. Я взял его к Клячко. Клячко заказал ему детскую книжку и обещал завтра прислать 3 червонца. Старик просиял, благодарил. Клячко читал ему стихи Федорченко. Я сказал: вот хорошо, у вас будет Федорченко, будет Федор Сологуб... Сологуб сказал: все Федоры будут у вас. <…>

Я Муре рассказывал о своем детстве. Она сказала:

— А я где была? — И сама ответила: — Я была н и г д е . — И посмотрела на небо.

Мура поет:

И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как три тетки.

Иногда она говорит две тетки.

С Клячко Сологуб был очень точен: обещал сказку изготовить к 3-му декабря, понедельнику, к четырем часам. <…>

7 ноября. Годовщина революции. Кончил только что статью о Горьком [22]. Понесу к переписчице. Вчера устраивал в Госиздате «Детское Утро». Читал свою «Муху» и «Чудо-дерево». <…> Сейчас держу корректуру «Муркиной книги». Часть рисунков Конашевича переведены уже на камень. Я водил вчера Мурку к Клячко — показать, как делается «Муркина книга». Мурку обступили сотрудники, и Конашевич стал просить ее, чтобы она открыла рот (ему нужно нарисовать, как ей в рот летит бутерброд, он нарисовал, но непохоже). Она вся раскраснелась от душевного волнения, но рта открыть не могла, оробела. Потом я спросил ее, отчего она не открыла рта:

— Глупенькая была. <…>

Мы очутились с Мурой в темной ванной комнате; она закричала: «Пошла вон!» Я спросил: «Кого ты гонишь?» — «Ночь. Пошла вон, ночь».

Мурка плачет: нельзя сказать «туча по небу идет», у тучи ног нету: нельзя, не смей. И плачет.

Поет песню, принесенную Колей:

Ваня Маню полюбил,
Ваня Мане говорил:
Я тебя люблю,
Дров тебе куплю,
А дрова-то все осина,
Не горят без керосина,
Чиркай спичкой без конца,
Ланца дрица цы ца ца!

И говорит: «Он ее не любит, плохие дрова подарил ей». <…>

Ноябрь 14, 1923, среда. Был вчера у Ахматовой. Она переехала на новую квартиру — Казанская, 3, кв. 4. Снимает у друзей две комнаты. Хочет ехать со мною в Харьков. Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку «под низ», а сверху легонькую кофточку. Я пришел к ней сверить корректуру письма Блока к ней — с оригиналом. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке — карточки Гумилева, книжки, бумажки и пр. «Вот редкость» — и показала мне на франц. языке договор Гумилева с каким-то франц. офицером о покупке лошадей в Африке. В комоде — много фотографий балерины Спесивцевой — очевидно, для О. А. Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы — грациозно, изящно. Статуэтка уже отлита в фарфоре — прелестная. «Оленька будет ее раскрашивать...» Со мною была Ирина Карнаухова. Так как Анне Андреевне нужно было спешить на заседание Союза Писателей, то мы поехали в трамвае № 5. Я купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду, все же у меня — «гайдуки» *, а вы дайте, я съем на заседании». Оказалось, что в трамвае у нее не хватает денег на билет (трамвайный билет стоит теперь 50 мил[лионов], а у Ахматовой всего 15 мил.). «Я думала, что у меня 100 мил., а оказалось десять». Я сказал: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет».— «Вы напоминаете мне,— сказала она,— одного американца в Париже. Дождь, я стою под аркой, жду, когда пройдет, американец тут же нашептывает: «Мамзель, пойдем в кафе, я угощу вас стаканом пива». Я посмотрела на него высокомерно. Он сказал: «Я угощу вас стаканом пива, и знайте, что это вас ни к чему не обязывает».

В Союзе решается дело о Щеголеве и Княжнине [23]. Щеголев сдавал Княжнину работу от Госиздата, причем на подряде сам прирабатывал толику. Ахматову очень волнует это дело. «Ах, как неприятно... Какие вскрылись некрасивые подробности».

Придя во «Всемирную», я застал там Житкова, которого и свел с Замятиным. Житков, мой кумир в детстве. <...> Во «Всем.» Я неожиданно получил 25 тысяч, что-то около 3-х черв. Прохожу мимо Сологуба. Он спрашивает: «Не знаете ли, где достать денег, нужно 48 рублей *на крышу»*. Я отдал ему все свои деньги.

18 ноября 1923, воскресение. Сейчас обнаружилось, что на чердаке украли все белье, мое, детское, все, все. Остались мы к зиме голыми. — Очень огорчают меня рисунки Конашевича к «Муркиной книге».

---

* «Гайдук» упоминается в ее стихах о царе. Теперь критики, не зная, о ком стихи, стали писать, что Ахматова сама ездит с гайдуками. — *Примеч. автора.*

20 ноября, вторник. Мокрый снег, гнусь. <...> Редактирую Свифта — так как надо заработать на покупку белья. Пробую приструниться к статье об Алексее Толстом. Вчера из типографии получил в готовом виде 3-е издание «Мойдодыра» и «Тараканища».

21 среда. Видел вчера Сологуба. Он возвратил мне взятые у меня деньги. Справился в книжечке: в прошлый вторник курс червонца б[ыл] столько-то, за эту неделю — вырос на столько-то, вы дали мне столько-то, возвращаю столько-то. «Я сегодня вообще плачу долги, заплатил Ал. Толстому, своей племяннице, всем. Вы дали мне хорошую идею — я у всех взял по частям. Не только то важно, что вы дали деньги, но и то, что вы толкнули меня — взять и у других. Иначе я не уплатил бы в срок и мне пришлось бы платить пеню». Отчетливо мыслит старик — почти как Блок. Тот был еще отчетливее. Нужно было заплатить мне столько-то миллиардов плюс 15 миллионов — 15 миллионов сейчас — одна копейка с третью. Я говорил ему «не надо», он долго искал в кармане — взял у меня сто рублей и дал мне 85 мил. сдачи.

Маршак говорит, что Ирина Миклашевская очень хорошую написала музыку на мой «Бутерброд». Конашевич принес пробный рисунок к «Мухе Цокотухе«. Очень хороший, против ожидания. Сидят насекомые и пьют чай.

В городе удивительно много закрытых магазинов. Единственная выгодная профессия — живописцы вывесок. Их то и дело зовут замазать одну вывеску, написать другую, которую придется через недели две снова замазать. <...>

22 ноября. Четверг. Был вчера у Кини. Он был с женою в Италии, и теперь приехал — именно вчера. <...> Жена его и после Венеции, после Рима, после Капри осталась все такая же insignificant *. Ординарные слова, готовые фразы, по поводу всего — банальные клише. Тосковала в Италии по самовару, «по своему русскому самовару», а Неаполь — грязный, ужасно грязный, и все — такие лентяи. «Русская грязь имеет оправдание: революция, но грязь итальянцев непростительна». Оказывается, что она посылала мне открытки, но я этих открыток не получил. Привезла Лидочке — кораллы из Капри (увы, увы, я потерял эти кораллы в трамвае). Я сел на диванчик и стал читать новые номера «Observer'а». <...> Перелистал я новые номера «London Mercury» — каждая статья интересна. Скоро пришел Кини. Насвистывая, читал и, читая, разговаривал. Сказал, что ему из Америки прислали 200 долларов для семьи Мамина-Сибиряка, а он не может эту семью разыскать. <...> Я заговорил о том, что очень нуждается Анна Ахматова и Сологуб. Он сказал, что у него есть средства — специально для такой цели, и обещал им помочь. Потом мы пообедали, и я мирно уехал домой.

---

* Незначительная (*англ.*).

Сегодня прочитал книжку «London Mercury», с упоением. Особенно понравилась статья о Leslie Stephen'е и сам Leslie Stephen, на которого я страшно хотел бы походить.

23 ноября. Весь вчерашний день ушел на расклейку «Муркиной книги». В последнюю минуту спохватился, что не хватает двух рисунков. Но в общем книга лучше, чем казалась. Очень приятно наклеивать рисунки — в этом что-то праздничное.

24 ноября. С утра посетители: Карнаухова — взяла зачем-то Диккенса. Молодой поэт Смелков — взял книг 15. Житков — завтракал, взял 1½ миллиарда, ему, бедному, на трамвай не хватает. Был Вознесенский — взял у меня обещание, что я буду читать в его киностудии лекции. <...> Был в Госиздате. Узнал от Белицкого, что арестован Замирайло. Говорит Белицкий, что у него дело серьезное. Я просил Житкова — чтобы он попросил Мишу Кобецкого похлопотать. У Замирайлы взяты при обыске рукописи моих сказок и сказка Блока, которую я отыскал среди его бумаг. Из Госиздата к Ахматовой. Милая — лежит больная. Невроз солнечного сплетения. У нее в гостях Пунин. Она очень возмущена тем, что для «Критического Сборника», затеваемого изд-вом «Мысль», Ив.-Разумник взял статью Блока, где много нападков на Гумилева. — Я стихов Гумилева не любила... вы знаете... но нападать на него, когда он расстрелян. Пойдите в «Мысль», скажите, чтобы они не смели печатать. Это Ив.-Разумник нарочно...

В Харьков она ехать хочет. <...>

25 ноября, воскресение. <...> Погода на улице подлая: с неба сыплется какая-то сволочь, в огромном количестве, и образует на земле кашицу, которая не стекает, как дождь, и не ссыпается в кучи, как снег, а превращает все улицы в сплошную лужу. Туман. Все, кто вчера выходил, обречены на инфлуэнцу, горячку, тиф. Конашевич болен: приезжала из Павловска его жена — с этим известием. «Мухина свадьба» застряла. У Клячки нет денег. <...> Я уехал от него и по дороге зашел к Ахматовой. Она лежит, — подле нее Стендаль «De l'amour» *. Впервые приняла меня вполне по душе. «Я, говорит, вас ужасно боялась. Когда Анненков мне сказал, что вы пишете обо мне, я так и задрожала: пронеси Господи». Много говорила о Блоке. «В Москве многие думают, что я посвящала свои стихи Блоку. Это неверно. Любить его как мужчину я не могла бы. Притом ему не нравились мои ранние стихи. Это я знала — он не скрывал этого. Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах — я, он и, кажется, Николай Морозов. Или Игорь Северянин? Не помню. (Потому что мы два раза выступали с Блоком на Бестужевских — раз — вместе с Морозовым, раз вместе [с] Игорем. Морозова тогда только что выпустили из тюрьмы...) И вот в ар-

* «О любви» (*франц.*).

тистической — Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: «Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах». А я дерзкая была, и говорю ему: — «Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни...» Потом подали автомобиль. Блок опять хотел заговорить о стихах, но с нами сел какой-то юноша-студент. Блок хотел от него отвязаться: «Вы можете простудиться», — сказал он ему (это в автомобиле простудиться!). «Нет! — сказал студент, — я каждый день обливаюсь холодной водой... Да если бы и простудился — я не могу не проводить таких дорогих гостей!» Но, конечно, не знал, кто я. «Вы давно на сцене?» — спросил он меня по дороге.

Я собираю народные песенки для отдельной книжки. Очень трудная работа. (Пятьдесят поросят.) <...>

27 ноября. Понедельник. Был у Сологуба. С[ологуб] говорил, что у него память слабеет. «Помню давнишнее, а что было вчера, вылетает из головы». — «Это значит, — сказал я, — что вы должны писать мемуары». — «Мемуары? Я уже думал об этом. Но в жизни каждого человека бывают такие моменты, которые, будучи изложены в биографии, кажутся фантастическими, лживыми. Если бы я, напр., описал свою жизнь правдиво, все сказали бы, что я солгал. К тому же я разучился писать. Не знаю, навсегда это или временно. Сначала в молодости я писал хорошей прозой, потом поддался отвратительному влиянию Пшибышевского и стал писать растрепанно, нелепо. Теперь — к концу — стараюсь опять писать хорошо. Лучшая проза, мне кажется, у Лермонтова. Но биографии писать я не стану, т. к. лучше всего умереть без биографии. Есть у меня кое-какие дневники, но когда я почувствую, что приближается минута смерти, — я прикажу уничтожить их. Без биографии лучше. Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания.

У него есть учительская манера — излагать всякую мысль дольше, чем это нужно собеседнику. Он и видит, что собеседник уловил его мысль, но не остановится, закончит свое предложение.

— Купил Тредьяковского сегодня. Издание Смирдина. Хороший был писатель. Его статьи о правописании, его «Остров любви» да и Телемахида... — И он с удовольствием произнес:

— Чудище обло, стозевно, ...и лаяй.

— Как хорошо это лаяй! — сказал я. — Жаль, что русское причастие не сохранило этой формы. Окончания на *щий* ужасны.

— Да, вы правы. У меня в одном рассказе написано: «Пролетела каркая ворона». Не думайте, пожалуйста, что это деепричастие. Это прилагательное. — Какой ворон? — *каркий.* — Какая ворона? — *каркая.* Есть же слово: палая лошадь.

Потом мы пошли с ним обедать. Обед жидковатый, в комнате холодно. Впрочем, Сологуб отличается страшно плохим аппетитом. Похлебал немного щей — вот и все. Вернувшаяся из Москвы Александра Ник. Чеботаревская рассказывает, что в тамошней Кубе очень дешевые обеды: 30 коп. Сологуб сказал: «Мне это дорого. Да я на 30 коп. и не съем. В Царском я плачу дешевле». Потом он повел меня к своей маленькой внучке — дочери одной из сестер Анаст. Ник. Чеботаревской. Девочке $2^1/_2$ года, а она знает наизусть «Крокодила», «Мойдодыра», «Тараканище» и «Пожар» Маршака. Страшно нервная девица. Зовет дедушку «Кузьмич». <...>

28 ноября. Сологуб читает Одоевского «Русские ночи» — и очень хвалит: «Теперь так не пишут: возьмите «Noctes»* Карсавина, какая дрянь».

Вчера в поисках денег забрел я в Севзапкино. Там приняли меня с распростертыми объятьями, но предложили несколько «переделать» «Крокодила» — для сценария — Ваню Васильчикова сделать комсомольцем, городового превратить в милиционера. Это почему-то меня покоробило, и я заявил, что Ваня — герой из буржуазного дома. Это провалило все дело — и я остался без денег. Тогда я побежал в Госиздат. К Белицкому, — Белицкий уехал в банк. К Ионову: «уехал в типографию». К Горлину — ничего не вышло... К Ангерту — он дал мне 40 рублей авансом под «Doctor Dolittla». При этом был горячий разговор о «Всемирной». Я стоял за «Всемирную» горой, хотя и не знаю, почему, собственно. Из Госиздата во Всемирную на заседание — там Волынский, который написал обо мне в «Жизни Иск.» на днях ругательную статью [24], был особенно со мною ласков и, отведя меня в сторону, участливо сказал: «Я знаю, что вы хотите попасть в Севзапкино. Я в хороших отношениях со Сливкиным и если вам угодно помогу вам» [25].

Я горячо благодарил Акима Львовича. <...>

29 ноября. <...> Вчера начали переводить на камень рисунки к «Мурҝиной книге». Я сегодня все утро составлял для Розинера сборник детских народных песен. Это — очень трудно. «Doctor Dolittle» принят. Поспеть бы достать денег, чтобы послать маме. Мама скоро именинница. Сегодня в пять буду у Кини: кажется, удастся достать денег для Ахматовой и Сологуба.

3 декабря 1923. Понедельник. Был я вчера у Кини: хлопотал о четырех нуждающихся: Орбели, Муйжеле, Сологубе, Ахматовой. Встретил у него — перед камином — длинноусого бездарного Владимирова, которому они привезли из Варшавы кистей и красок — в подарок. Он рассказал им анекдот из современной жизни. Теперь каждый коллекционер картин прячет свои картины подальше, снимает их со стен, свертывает в трубочку, так как боится финин-

* «Ночи» (*лат.*).

спектора, требующего, чтобы буржуи платили налоги. И вот один господин, у которого есть подлинная картина Айвазовского, очень больших размеров, позвал к себе Владимирова и попросил его покрыть подпись «Айвазовский» гуммиарабиком, а сверху красками написать: «Копия с Айвазовского», дабы обмануть фининспектора.. До сих пор происходило обратное: на копиях писали: Айвазовский.

Очень пламенно прошло наше заседание в пятницу, посвященное «Всем. Литературе» и распре с Ионовым. Ионов, зная, что теперь дело зависит от членов коллегии, стал ухаживать за мною — очень: подарил мне несколько книг, насулил всяких благ. Тихонов тоже был ласков до нежности. Он вернулся из Москвы, рассказывает: «Видел я Лебедева-Полянского, главного цензора. Он спросил меня, что говорят о цензуре. Я ответил: «Плохо говорят, прижимаете очень». Он говорит: это выдумка, просмотрите наши книги, вы увидите, что число задержанных нами рукописей ничтожно». Тихонов стал смотреть и увидел такую строчку: *не печатать ввиду идеалистического уклона*. Немного ниже была такая строка: *«не печатать* вследствие мистического уклона». Когда он посмотрел, к кому относятся эти строки, он увидел, что первая имеет в виду книгу Луначарского, вторая книгу Бонч-Бруевича (о сектантах). Хлопоча об облегчении цензурных тягот, Тихонов говорил с Каменевым. Каменев сказал: «Вы все анекдоты рассказываете. А вы соберите факты, я буду хлопотать, непременно». Неужели он не знает фактов? Перевожу доктора Дулиттла. Приехал из Москвы Гиллер и говорит, что на «Мойдодыра» такой спрос, что к Рождеству вряд ли хватит третьего издания.

Мура Лиде: «Знаешь, когда темно, кажется, что в комнате звери». Мура сама себе: «Тебе можно сказать: дура?» — «Нет, нельзя». Сама же отвечает: «Можно, можно, ты не мама».

4 декабря. Ездил вчера с Кини по делам благотворительности. Первым долгом к Ахматовой. Встретили великосветски. Угостили чаем и печеньем. Очень было чинно и серьезно. Ольга Афанасьевна показывала свои милые куклы. Кини о куклах «Это декаданс; чувствуется скрещение многих культур; много исторических реминисценций»... Чувствуется, что О. А. очень в свои куклы и в свою скульптуру верит, ухватилась за них, и строит большие планы на будущее... Ахматова была смущена, но охотно приняла 3 червонца. Хлопотала, чтобы и Шилейке дали пособие. Кини обещал.

Оттуда к Сологубу. У Сологуба плохой вид. Пройдя одну лестницу, он сильно запыхался и, чтобы придти в себя, стал поправлять занавески (он пришел через несколько минут после нас). Когда я сказал ему, что мы надеемся, он не испытает неловкости, если американец даст ему денег, он ответил длинно, тягуче и твердо, как будто издавна готовился к этой речи:

— Нельзя испытать неловкости, принимая деньги от Америки,

потому что эта великая страна всегда живет в соответствии с великими идеалами христианства. Все, что исходит от Америки, исполнено высокой морали.

Это было очень наивно, но по-провинциальному мило. От Сологуба мы по той же лестнице спустились к Ал. Толстому. Толстой был важен, жаловался, что фирма Liveright [не] уплатила ему следуемых долларов, и показал детские стишки, которые он написал, «так как ему страшно нужны деньги». Стишки плохие. Но обстановка у Толстого прелестная — с большим вкусом, роскошная — великолепный старинный диван, картины, гравюры на светлых обоях и пр. Дверь открыла мне Марьяна, его дочь от Софьи Исааковны — очень повеселевшая...

Мороз стоял жестокий. Ветер. От Толстого я отправился к Розинеру, оттуда к Чехонину. Чехонин согласился иллюстрировать мою книгу «Пятьдесят поросят», после чего я отчетливо и откровенно сказал ему, почему не нравятся мне его рисунки к «Тараканищу». Он принял мои слова благодушно и согласился работать иначе. После этого я вернулся домой — и обедал в $^{1}/_{2}$ 12 ночи. Конечно, не заснул ни на минуту.

5 декабря 1923. Вчера Ионов не явился. Он явится послезавтра. А между тем Волынский, уже очевидно обработанный Ионовым, стал вести дело к тому, чтобы мы встретили его вежливее, ласковее и всяческими софизмами стал убеждать Коллегию, чтобы она отказалась от своего желания прочитать обидный для Ионова протокол (где наиболее резкие слова принадлежат самому Волынскому). Говорил он очень возвышенно.

— Всякий человек, поскольку я с ним говорю, есть для меня возвышенная личность. Ионов, каков бы он ни был, когда я стою перед ним лицом к лицу, есть для меня Сократ и Христос...

Но Коллегия с этим не согласилась, и Замятин очень язвительно спросил Волынского, не намерен ли Волынский встретить Ионова такой же приветственной речью, какою он встретил Мещерякова. Очень резко говорил Алексеев. Я предложил такое: чтобы Волынский не читал протокол в самом начале — а прочел бы его тогда, когда найдет удобным, но прочитал бы непременно.

Мурка у Коли (Коля читает и старается отделаться от нее), указывая на висящую на стене геогр. карту Европы:

— Это зверь?

— Нет, это Европа.

— А зачем же у него ножка? (Указывает на Италию.)

— Это не зверь, а география.

Мура смешала слово география с типографией.

— Я географии боюсь. Я там плакала, потому что там шум.

— Нет, Мурочка, география это такая наука. <...>

9 декабря 1923. Был вчера у Клячко. <...> «Муркина книга» вышла, завтра будет послано в Москву 500 экз., если литограф Горюнов

выпустит книгу, не получив по счетам. Клячко прячется от кредиторов и, заслышав звонок телефона, просит сказать, что его нет дома. <...>

От него к Монахову. Монахов ласков, красив, одет джентльменски. В квартире актерская безвкусица: книги в слишком хороших переплетах, картинки в слишком хороших рамах. Чувствуется, что это не просто квартира, а «гнездышко». Его жена Ольга Петровна — крупная, красивая, добродушная, в полной гармонии с ним, и он этой гармонией счастлив. Вообще, он счастлив бытием, собою, всеми процессами жизни. Такие люди умываются с удовольствием, идут в гости с удовольствием, заказывают костюм с удовольствием. Предлагает мне принять участие в их сборнике «Блок и Большой Театр». К пятилетию театра. Я согласен, но хочу спросить актеров, какие имеются у них матерьялы. Он рассказывал, как чудно ему было в Евпатории, что он с удовольствием припекался на солнце, всласть ходил босиком, очень, очень радостно было. Приехал сюда: у нас очень канительно: назначили нам Адриана Пиотровского, ну, это человек никчемный, никакого отношения к театру не имеющий. Потом дали нам Н. В. Соловьева... Ну, это просто растяпа. Взялся он ставить Бернарда Шоу «Обращение Майл Брэстоунда» — ставит, ставит, а слова сказать не умеет. Не способен. Вот и попросили А. Н. Лаврентьева взять это дело на свою ответственность.

Вообще он очень занят театральными делами. «Готовлю роль *Обывателя* из пьесы Ал. Толстого. Пьеса ничего, но сбивчивая к концу[26]. Не выдержана. Был я у Толстого — он такой хэ хэ х э» , — и Монахов рассмеялся глуповато рассейским смехом Ал. Толстого.

Вообще в разговоре он любит *показывать* тех, о ком говорит, выходит дивно. Заговорили о каком-то профессоре-малороссе — Монахов стал говорить фальшиво-благодушным голосом лукавого и ласкового украинца: «Он очень любыть искусство и работае у Ыгорному клубі». Показывал также, как гуляют еврейки по пляжу в Евпатории.

Мы напились чаю, он поцеловался с Ольгой Петровной, и мы пошли с ним в театр: два шага от его квартиры. В темных закоулках лестницы он вынимал из кармана фонарик и освещал мне дорогу — с удовольствием гимназиста. Придя, он сейчас же стал гримироваться для роли Труфальдино. Никогда я не видел, чтобы какой-нибудь актер гримировался с таким удовольствием. Раньше всего он взял пластырь, приклеил его к кончику носа — и другим концом к переносице. Нос забрался кверху, изменив все выражение лица.

— Вот и хорошо! — сказал Монахов. — У меня насморк, и приятно, когда ноздри вот так.

Потом он надел курчавый парик и стал грунтовать лицо. Потом пришел «художник» и стал кистями расписывать это лицо, доставляя тем Монахову удовольствие. Я с любопытством смотрел, как один мой знакомый — у меня на глазах — превращается в другого моего знакомого, т. к. Труфальдино для меня — живое лицо, столь же реальное, как и Монахов.

— Мы играем уже 72-й раз. Скоро юбилей: 75-летие «Слуги двух господ». Люблю эту роль. Весело ее играть. И всегда, играя, я переживаю ее. И знаете, там я на сцене жую хлеб, мне всегда в карман кладут кусочек хлеба, и я — за кулисами доедаю его с большим аппетитом. Ничего вкуснее я в жизни не ел, как этот кусочек хлеба!

...Ходил сегодня в ГПУ платить штраф. Я в оперетке сказал целый монолог от себя. Это запрещено, и меня оштрафовали. Пошел я платить, встретил знакомого, который прежде был там секретарем, а теперь стал чином выше. Он говорит: вы заплатить заплатите, но возьмите у них выписочку и пожалуйтесь прокурору, п. ч. такого закона нет, чтобы штрафовать актеров.

Я пошел и спрашиваю:

— Укажите мне, пожалуйста, на основании какого обязательного постановления или закона вы штрафуете меня.

Секретарь вскинул на меня глазами.

— Уж поверьте, что мы знаем, кого и за что штрафовать.

— Но и мне хотелось бы знать. Выдайте мне бумажку, что я оштрафован вот за то-то.

Он бумажку выдал. Мой знакомый, на ее основании, составил жалобу прокурору, и теперь будет суд. Посмотрим.

Гримеру он говорил, что для роли Обывателя для пьесы Толстого «Бунт машин» он загримируется так, что в двух шагах нельзя будет разобрать, что это грим. Не по-театральному, без усиления красок.

10 декабря 1923 [понедельник]. Был вчера у Толстого. Толстой был прежде женат на Софье Исааковне Дымшиц. Его теперешняя жена Крандиевская была прежде замужем за Волькенштейном. У нее остался от Волькенштейна сынок, лет пятнадцати, похожий на Миклухо-Маклая, очень тощий. <...> У него осталась от Софьи Исааковны дочь Марьяна, лет тринадцати. <...> Но есть и свои дети: 1) Никита, совсем не соответствующий своему грузному имени: изящный, очень интеллигентный, не похожий на Алексея Николаевича, и 2) Мими, или Митька, 10 месяцев, тяжеловесный, тихий младенец, взращенный без груди, с титаническим задом, типический дворянский ребенок. Тих, никогда не плачет.

Крандиевская в поддельных бриллиантах, которые Толстой когда-то привез ей из Парижа.

Сегодня именины ее Миклухо-Маклая, и она, по его требованию, надела это колье. Толстой чувствует себя в Питере неуютно. <...> Он очень хочет встретиться с Замятиным [нрзб]. Все просит меня, чтобы я пригласил их к себе. Денег у него сейчас нет. Пьеса «Бунт машин» еще когда пойдет, а сейчас денег нужно много. Кроме четырех детей у него в доме живет старуха Мария Тургенева, тетка. Нужно содержать восемь — девять человек. Он для заработка хочет написать что-нибудь детское. Советовался со мной. Кроме того, он надеется, что его америк. издатель Boni и Liveright пришлет ему наконец деньги за его роман «Хождение по мукам».

Читал мне отрывки своей пьесы «Бунт машин». Мне очень понравились. «Обыватель» — страшно смешное, живое, современное лицо, очень русское. И, конечно, как всегда у Толстого, милейший дурак. Толстому очень ценно показать, как все великие события, изображенные в пьесе, отражаются в мозгу у дурака. Дурак это лакмусова бумажка, которой он пробует все. Даже на Марс отправил идиота...

Потом я поехал — в страшном тумане, под дождем — к Заславскому — с мокрыми дырявыми калошами — сказать ему свое мнение о стихах Канторовича. Покойник писал стихи, вычурные, без искры; я очень тщательно исследовал их — и привез к Заславскому. У Заславского я стал читать пьесу Толстого, — пьеса всех захватила, много хохотали.

Это я пишу утром, в постели. Вдруг слышу шаги, Боба ведет Мурку; Мурка никогда так рано не встает.

— Что такое?

— Где «Муркина книга»?

Тут только я вспомнил, что три дня назад, когда Мурка приставала ко мне, скоро ли выйдет «Муркина книга», я сказал ей, что обложка сохнет и что книга будет послезавтра.

— Ты раз ляжешь спать, проснешься, потом второй раз ляжешь спать, проснешься, вот и будет готова «Муркина книга».

Она запомнила это и сегодня чуть проснулась — ко мне.

11 декабря, вторник. Был в Большом театре — разговаривал с актерами о Блоке. Они обожали покойного, но, оказывается, не читали его. Комаровская вспоминает, что Блок любил слушать цыганский романс «Утро седое», страстно слушал это «Утро» в Москве у Качалова, но когда я сказал, что у Блока у самого были стихи «Седое Утро», видно было, что она слышит об этом в первый раз. Был Монахов и много говорил. <...>

Отправил Валерию Брюсову такое письмо:

«Д[орогой], гл[убокоуважаемый] В[алерий] Я[ковлевич]. Ни один писатель не сделал для меня столько, сколько сделали Вы, и я был бы неблагодарнейшим из неблагодарных, если бы в день В[ашего] юбилея не приветствовал Вас. Не Ваша вина, если я, ученик, не оправдал В[аших] усилий, но я никогда не забуду той настойчивой и строгой заботливости, с котор[ой] Вы направляли меня на первых шагах».

Среда 12 декабря. Сегодня высокоторжественный день моей жизни: утром рано Мура получила наконец свою долгожданную «Муркину книгу».

Вошла с Бобой, увидела обложку и спросила:

— Почему тут крест?..

Долго, долго рассматривала каждую картинку — и заметила то, чего не заметил бы ни один из сотни тысяч взрослых:

— Почему тут (на последней картинке) у Муры два башмачка (один в зубах у свиньи, другой под кроватью)?

Я не понял вопроса. Она пояснила:

— Ведь один башмачок Мура закопала (на предыдущих страницах).

Пятница 14 декабря. Третьего дня пошел я в литографию Шумахера (Вас. О., Тучков пер.) и вижу, что рисунки Конашевича к «Мухе Цокотухе» так же тупы, как и рисунки к «Муркиной книге». Это привело меня в ужас. Я решил поехать в Павловск и уговорить его — переделать все. Поехал — утром рано. Поезд отошел в 9 часов утра, было еще темно. В 10 час. я был в Павловске. Слякоть, ни одного градуса мороза, лужи и насморк в природе, и все же насколько в Павловске лучше, чем в Питере. Когда я увидел эти ели и сосны, эту милую тишину, причесанность и чинность, — я увидел, что я не создан для Питера, и дал себе слово, чуть выберусь из этого омута Розинеров и Клячек, уехать сюда — и писать.

Конашевич <...> живет при дворце, в милой квартирке с милой женой, не зная ни хлопот, ни тревог. Чистенький, вежливый, с ясными глазами, моложавый. Я взял его с собою в город. По дороге, в поезде и в трамвае, он говорил, что он не любит картин: ни одна картина за всю его жизнь не взволновала его... А работаю я от пяти до одиннадцати. Каждый день, кроме пятниц и вторников. Я привез его прямо в литографию, и вид исковерканных рисунков нисколько не взволновал его.

Я в таких тисках у Клячко и Розинера, что даю себе слово с первого января освободиться от них. <...>

Денег нет — не на что хлеба купить, а между тем мои книги «Крокодилы» и «Мойдодыры» расходятся очень. Вчера в магазине «Книга» Алянский сказал мне: «А я думал, что вы теперь — богач».

16 декабря, воскресение. <...> Вчера и третьего дня был в цензуре. Забавное место. Слонового вида угрюмый коммунист — без юмора — басовитый — секретарь. Рыло кувшинное, не говорит, а рявкает. Во второй комнате сидит тов. Быстрова, наивная, насвистанная, ни в чем не виноватая, а в следующей комнате — цензор*а*, ее питомцы: нельзя представить себе более жалких дегенератов: некоторые из них выходили в приемную — каждый — карикатурен до жути. Особенно одна старушка, в рваных башмаках, обалделая от непрестанного чтения рукописей, прокуренная насквозь никотином, плюгавая, грязная, тусклая — помесь мегеры и побитой дворняги, вышла в приемную и шепотом жаловалась: «Когда же деньги? Черт знает что. Тянут-тянут».

Именно она читала мою книжку «Две души Максима Горького» и выбросила много безвредного, а вредное оставила, дурында. Кроме нее из цензорской вышли другие цензора — два студента, восточного вида, кавказские человеки, без малейшего просвета на медных башках. Кроме них, я видел кандидатов: два солдафона в бараньих шапках стояли перед Быстровой, и один из них говорил:

— Я теперь зубрю, зубрю и скоро вызубрю весь французский язык.

— Вот тогда и приходите, — сказала она. — Нам иностранные (цензора) нужны...

— А я учу английский, — хвастанул другой.

— Вот и хорошо, — сказала она.

Тоска безысходная.

Был вчера у Чехонина, и мы нечаянно решили издавать «Пятьдесят поросят», без помощи издателей.

20 декабря. В воскресение были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно. «А Бунин, — вы подумайте, — когда узнал, что в «Figaro» хотят печатать мое «Хождение по мукам», явился в редакцию «Figaro» и на скверном французском языке стал доказывать, что я не родственник Льва Толстого и что вообще я плохой писатель, на к-рого в России никто не обращает внимания». Разоткровенничавшись, он рассказал, как из Одессы он уезжал в Константинополь. «Понимаете: две тысячи ч[елове]к на пароходе, и в каждой каюте другая партия. И я заседал во всех — каютах. Наверху — в капитанской — заседают монархисты. Я и у них заседал. Как же. Такая у меня фамилия Толстой. Я повидал-таки людей за эти годы. А внизу поближе к трюму заседают большевики... Вы знаете, кто стоял во главе монархистов: Руманов! Да, да! Он больше миллиона франков истратил в Париже в год. Продал два астральных русских парохода какой-то республике. «Астральных» потому, что их нигде не существовало. Они были — миф, аллегория, но Руманов знал на них каждый винтик и так описывал покупателям, что те поверили...»

Пишет он пьесу о Казанове. Очень смешно рассказывает подробности — излагал то, что он читал о Казанове — вышло в сто раз лучше, чем в прочитанной книге. Была у нас его жена Нат. Вас. и сын Никита. Я о чем-то говорил за столом. Вдруг Никита прервал меня вопросом — сколько будет 13 раз 13. Он очень самобытный мальчик.

Была вчера у меня Ольга Форш. Рассказывала о церковных сектах. Очень милая.

Был Чехонин. Рисовал Мурочку. <...>

20 декабря, четверг. Еду сегодня в Ольгино. Третьего дня был в «Европ. Гостин.» у Абрама Ярмолинского и Бабетты Дейч. Он — директор Славянского Отдела Нью-Йоркской Публичн. Библиотеки. <...> Очень милые. У нее несомненный поэтический талант, у него — бескорыстная любовь к литературе. Он пишет книгу о Тургеневе, отчасти ради этого приехал. Я верю, что книга будет хороша. Оказывается, он всюду разыскивал меня, чтобы поговорить со мною о... Панаевой... Нью-Йорку нужна Панаева!

С Розинером я кончил миром. Коле он заплатил за второе изд. «Сына Тарзана» 55 рублей. Черт с ним!

27 декабря, четверг. — Мурочка, иди пить какао! — Не мешайте мне жить!

Мурочка страстно ждала Рождества. За десять дней до праздника Боба положил в шкаф десять камушков — и Мурочка каждое утро брала по камушку.

На Рождество она рано-рано оделась и побежала к елке.

— Смотри, что мне принес Дед Мороз! — закричала она и полезла на животе под елку. (Елка стоит в углу — вся обсвечканная.) Под елкой оказались: автомобиль (грузовик), лошадка и дудка. Мура обалдела от волнения. Я заметил (который раз), что игрушки плохо действуют на детей. Она от возбуждения так взвинтилась, что стала плакать от каждого пустяка. <...>

30 декабря 1923. Мура в первую ночь после Рождества все боялась, что явится Дед Мороз и унесет елку прочь. Вчера во «Всемирной» видел я Сологуба. Он говорил Тихонову, что он особым способом вычислил, что он (Сологуб) умрет в мае 1934 года. Способ заключается в том, чтобы взять годы смерти отца и матери, сложить, разделить и т. д. Сказку, заказанную ему Клячкой, он до сих пор еще не написал. «Не пишется. У меня только начало написано: «Жил-был мальчик Гоша, и были у него [папа] и мама». А что дальше, не могу придумать».

— Помните о Некрасове! — сказал я ему, намекая на анкету, которую обещал он заполнить.

— Да зачем же помнить о Некрасове. Я и так помню Некрасова, — сказал он и стал декламировать, обращаясь ко мне:

Украшают тебя добродетели

(Когда упомянул о червонцах, ухмыльнулся, ибо теперь червонцы имеют иное значение, чем в пору Некрасова.) [27]

Мне удалось выхлопотать у Кини денежную выдачу для Ходасевич (Анны Ив.) [28], для сестры Некрасова, для Анны Ахматовой.

Был у меня Вяч. Полонский. Я пошел с ним к Анненковым. <...> Я вожусь с доктором Айболитом. Переделываю, подчищаю слог.

1924

Январь 4, пятница. Новый Год я встретил с Марией Борисовной у Конухеса. Было мне грустно до слез. Все лысые, седые, пощипанные. Я не спал две ночи перед тем. Были мы одеты хуже всех, у меня даже манжет не было. Угощал Конухес хорошо, роскошно, он подготовил стишки про каждого гостя, которые исполнялись хором за столом; потом Ростовцев продекламировал стихи, которые и спел Конухесу; действительно, стихи прекрасные. И несмотря на то, что заготовлено было столько веселых номеров, что были такие весель-

чаки, как Монахов, Ростовцев, я, Ксендзовский — тоска была зеленая, и зачем мы все собрались, неизвестно.

Монахов при встрече Нового Года бросил своей жене в бокал золотой. Он много острил, балагурил, но не совсем пристойно и через силу.

А дома у меня большая неприятность. Розинер, наконец, напечатал мою «Книжку о Блоке», но в такой ужасной обложке, что я обратился в суд. Это просто издевательство над Блоком. Был у меня Житков: опять много курил, бубнил и мешал мне работать. Я дал ему денег, и он провожал меня к Чехонину и к Замирайло.

Замирайло произвел на меня большое впечатление. Живет он на В. О., Малый прос. 31, кв. 13. В квартире холод. Он сидит в пальто. В том же самом пальто выходит он на улицу. Только накинет на себя легонький плащ флотский. Ему теперь 55 лет. Старичок. А на косяке двери висит у него трапеция: он каждый день делает гимнастику. Он влюблен в сестру Щекотихиной, о чем в очень ясных намеках поведал нам чуть не с первого слова. Из-за Щекотихиной он и попал в тюрьму. Ее отец, подрядчик, подозревается в каких-то антисоветских кознях, из-за этого решили привлечь и ее друга. (Щекотихина живет на Петерб. Стороне. Замирайло каждый день, как на службу, отправляется к ней вечерком: он учит ее племянника французскому языку (!) и рисованию. Денег на трамвай у него нету.) Он очень картинно рассказывал мне и Житкову, как ночью пришли к нему с обыском, как рылись у него среди рисунков, прочитали его дневник (любовный, лирический), как во время обыска украли у него две бритвы, кусок сукна (на пиджак), две пары ножниц («так что ногти стричь хожу к соседке») и даже кремни для зажигалок. Сидел он в Предварилке на самом верхнем этаже, камера № 247 (кажется). Обвиняли его в принадлежности к Монархической Партии. Сначала допрашивала женщина, довольно толково. Когда он сказал женщине, что он ни к какой партии не принадлежит, она выразила ему свое порицание:

— Ай-ай-ай. Ведь вы художник. А художники должны быть люди чуткие. В мире происходят такие события, а вы никак не реагируете на них.

Но потом его допрашивал латыш, человек без юмора, уверенный, что Зам[ирайло] преступник.

На все вопросы Замирайло отвечал:

— Без меня меня женили,

Я на мельнице гулял.

Потом они увидели, что я глуп окончательно, и выставили меня вон из тюрьмы. «Вы стреляете по воробьям из пушек», — говорил я им.

Сидел он в Предварилке месяц и один день. Хлопотала о нем Добычина. Помог ему распечатать квартиру худ. Бродский, имеющий связи.

Сейчас он голодает: делает для изд. «Петроград» обложку за

15 миллиардов. Так как миллиард теперь 25 копеек, то и выходит, что за обложку ему дают 3 р. 75 коп.

Ну, пора приниматься за Ал. Толстого.

14 янв. 1924. Вчера я по случайному поводу позвонил к Ирине Миклашевской. Она сообщила мне, что ею написана музыка к моей «Мухе Цокотухе» — и просила придти послушать. Я отказался: нет времени. «Тогда позвольте, я приеду к в а м » . — «У меня расстроено п и а н и н о ». — «Но я непременно хочу *сегодня же* вам сыграть». В конце концов я пригласил их к Анненковым, которые живут рядом, в доме № 11. Я взял с собою Житкова, М. В., Муру, Лиду, Бобу. Ирина Сергеевна пришла со своим лысоватым моложавым мужем — тотчас же села за рояль. Мне понравилась музыка — хотя, должно быть, искусство здесь калибра невысокого. Анненкову (который сегодня приехал из Москвы) музыка очень понравилась. Житков мрачно и значительно курил. Музыка очень близко связана с текстом, каждое насекомое характеризовано особой мелодией — бал в конце действительно веселая вещь. Потом она пела мой «Бутерброд», потом «Барана» — по-бараньи, по-дурацки, как мне и не снилось. Потом я с Житковым отправился на Фурштатскую к чахоточным детям; там у них праздник. Я без успеха читал «Мойдодыра». Потом к Белухе, заказал ему рисунки «Айболита»; оттуда — к Ч е х о н и н у , — почти всю дорогу пешком. Пришел домой — оказалось, что за стеною — управдом встречает Новый Год. Спать не мог — спал часа три — теперь лежу. Читаю много, но беспорядочно. Все не могу по-настоящему пристрюкаться.

Третьего дня был я [в] Госиздате. Белицкий сказал мне: идите к Ангерту — вы увидите там редкое зрелище: Федор Сологуб продает свой учебник геометрии. Действительно, на 6-м этаже сидел старый, усталый Сологуб и беседовал с помощником Ангерта — очень угрюмо. Со мною еле поздоровался. Жалко его очень; он похож на Тютчева все больше. Десять дней назад Ахматова, встретив меня во «Всемирной», сказала, что хочет со мной «посекретничать». Мы уселись на особом диванчике, и она, конфузясь, сообщила мне, что проф. Шилейке нужны брюки: «его брюки порвались, он простудился, лежит». Я побежал к Кини, порылся в том хламе, который прислан амер. студентами для русских студентов, и выбрал порядочную пару, брюк, пальто — с мех. воротником, шарф и пиджак — и отнес все это к Анне Ахматовой. Она б[ыла] искренне рада. <...>

18 янв. Замечательно эгоцентрична Ахматова. Кини попросил меня составить совместно с нею и Замятиным список нуждающихся русских писателей. Я был у нее третьего дня; она в постели. Думала, думала и не могла назвать ни одного человека! Замятин тоже — обещал подумать. Это качество я замечал также в другом талантливом человеке — Добужинском. Он добр, готов хлопотать о других, но в 1921 г., сталкиваясь ежедневно с сотнями голодных людей,

когда доходило дело до того, чтобы составить их список, всячески напрягал ум и ничего не мог сделать.

Вот список для Кини, который составил я: Виктор Муйжель, Ольга Форш, Федор Сологуб, Ю. Верховский, В. Зоргенфрей, Ник. С. Тихонов, М. В. Ватсон, Иванов-Разумник, Лидия Чарская, Горнфельд, Римма Николаевна Андреева (сестра Леонида Андреева) и Ахматова. <...>

15 апреля 1924. Лахта. Экскурсионная станция. Надо мною полка, на ней банки: «Гадюка обыкновенная», «Lacerta vivipara» («ящерица живородящая») и пр. Я только что закончил целую кучу работ: 1) статью об Алексее Толстом, 2) перевод ром[ана] Честертона «Manalive», 3) редактуру Джэка Лондона «Лунная Долина», 4) редактуру первой книжки «Современника» и пр.[1]. Здесь мне было хорошо, уединенно. Учреждение патетически ненужное: мальчишки и девчонки, которые приезжают с экскурсиями, музеем не интересуются, но дуются ночью в карты; солдаты похищают банки с лягушками и пьют налитый в банки спирт с формалином. Есть ученая женщина Таисия Львовна, которая три раза в день делает наблюдения над высотою снега, направлением и силою ветра, количеством атм. осадков. Делает она это добросовестно, в трех местах у нее снегомеры, к двум из них она идет на лыжах и даже ложится на снег животом, чтобы точнее рассмотреть цифру. И вот когда мы заговорили о будущей погоде, кто-то сказал: будет завтра дождь. Я, веря в науку, спрашиваю: «Откуда вы знаете?» — *«Таисия Львовна видела во сне покойника. Покойника видеть — к дождю!»* Зачем же тогда ложиться на снег животом?

16 апреля. Сегодня еду в Москву — читать об Ал. Толстом. Увы мне: третьего дня я сидел на балконе Экскурсионной Станции, мне показалось очень жарко, я сдуру снял пальто и шапку и простудился. Это значит — читать лекцию *хрипло* — для меня это хуже всего. Я скупил целую аптеку аспиринов и теперь лежу в постели сутки. Здесь на Экскурсионной мне было хорошо. Я отдохнул от людей. Я не то что не люблю людей, но я не люблю себя, когда сталкиваюсь с людьми. Тон становится у меня не мой, не хороший. К сожалению, приходилось часто ездить в Питер — на собрания по «Современнику». Там мы работали целые дни с утра до ночи — я, Замятин, Тихонов, Эфрос. Тихонов однажды так устал, что вместо Достоевский и Толстой сказал:

— Толстоевский и Достой.

У нас в первом номере идут стихи Тютчева. Говоря о программе первого номера, Тихонов сказал:

— Мы дадим стихи Фета.

— Какого Фета? Тютчева.

— Ах, я спутал. *Обе* фамилии начинаются на Ферт. <...>

Статью об Ал. Толстом я писал неуверенно и потому выбросил много хороших мест.

Замятин тоже замаялся очень. Он пишет пьесу для 1-й Студии. Переделывает «Островитян». Мы, вся редакция, были у Ал. Толстого, слушали чтение его «Ибикус», который он предназначает для нас. Обед он устроил грандиозный, сногсшибательный (хотя сам говорит, что управдому за квартиру не плачено). Был Щеголев (пил без конца), Анненков (говорит, что собирается за границу), Белкин. <...> Мне рассказ Толстого понравился: легкомысленный, распоясанный, талантливый анекдот. <...>

17 апр. 1924. Москва. Сегодня приехал. Лежу на постели в гостинице «Эрмитаж» — через полчаса надо идти выступать в «Литературном Сегодня», которое устраивает журнал «Рус. Современник». Приехал я с Ал. Н. Тихоновым прямо к Магараму. Магарам в восторге от всего, ликует, всей душой отдается журналу. Ночью я спал лишь благодаря вероналу — от 11 до 5. Ехал в международном со всеми удобствами — на счет Магарама. Москва взбудоражена — кажется, мы чересчур разрекламированы. В Эрмитаже остановились также Замятин и Ахматова. Ахматову видел мельком, она говорит, не могу по улице пройти — такой ужас мои афиши. Действительно по всему городу расклеены афиши: «прибывшая из Ленинграда только на единственный раз». Сейчас я зайду за нею и повезу ее в Консерваторию. Она одевается. Эфрос очень недоволен сложившейся обстановкой: говорит, слишком много шуму вокруг «Современника». Особенно худо, если увидят в нашем выступлении контрреволюцию. Это будет гнуснейшая подтасовка фактов. Перед тем как журнал начался, Тихонов при Магараме спросил всех нас: «Я прошу вас без обиняков, намерены ли вы хоть тайно, хоть отчасти, хоть экивоками нападать на советскую власть. Тогда невозможно и журнал затевать». Все мы ответили: *нет,* Замятин тоже ответил *нет,* хотя и не так энергично, как, напр., Эфрос. <...>

5 мая. Понедельник. Коля женится. Погода с утра благодатная — но к 4 часам ветер с востока — холод, тучи. Я уехал в Ольгино, так как нужно закончить статейку о Честертоне. Был я вчера у мамы Марины с визитом, и меня поразило, что в их доме живет в нижнем этаже целая колония налетчиков, которые известны всему дому именно в этом звании. Двое налетчиков сидели у ворот и щелкали зубами *грецкие* орехи. Налетчикова бабушка сидела у открытого окна и смотрела, как тут же на панели гуляет налетчиково дитя. Из другого окна глядит налетчикова жена, лежит на подоконнике так, что в вырезе ее кофточки на шее видны ее белые груди. Словом, идиллия полная. Говорят, что в шестом номере того же дома живет другая компания налетчиков. Те — с убийствами, а нижние — без. Они приняли во мне горячее участие и помогали мне найти Маринин адрес. Маринина мать говорит, что никто не доносит на налетчиков, т. к. теперь весь дом застрахован от налетов. Я думаю, что дом и так застрахован — своей бедностью. Пять часов. Еще два часа моему сыну быть моим сыном, потом он делается мужем Марины. Без

десяти шесть. Коля идет венчаться. Вчера он побрился, умылся, готовится. В этих *приготовлениях* для меня есть что-то неприятное. Вчера Мария Николаевна со смехом говорила: «Бедный Коля, он так измучился» — и это меня покоробило. Обычное бабье торжество: самодовольство лингама. Мы хоть кого измучаем. И кроме того, маменьки перешептываются, соображают, наблюдают, подмигивают — нехорошо. Я рад, что уехал от свадьбы. Честертон кончен. Надо идти к Евг. Евг. Святловскому — попросить у него Энц. словарь, где есть карта Владим. губернии. Хочу приняться за заметку о некрасовском «Тонком человеке». Моя статья об Ал. Толстом провалилась. Ни Тих[онов], ни Зам[ятин] не просят меня написать вторую такую же. Очевидно, она и вправду плоха. Я читал ее в Москве скандально плохо, провалился совсем. <...> Я кончил о Честертоне, и свадьбы не для меня.

Бунт машин. Был два раза, и оба раза ушел с середины — нет сил досидеть до конца. Второй раз в зале оказался Ал. Н. Толстой с Айседорой Дункан. Монахов заприметил их и сказал публике в начале спектакля: — Здесь находится по контрамарке зайцем один человек, Алекс. Ник. Толстой, автор этой пьесы. Советую вам аплодировать! — Все зааплодировали. — Не так! — сказал Монахов. — Нужно организованнее! — Театр зааплодировал в такт. Но это были аплодисменты авансом. А когда кончился 1-й акт, ни одного хлопка!

Сижу в Ольгино голодом. <...>

6 мая. Вторник. Восемь часов утра. Ну вот и прошла у Коли первая ночь с Мариной. Эту ночь я спал, но, просыпаясь, мучительно думал о Коле, как о маленьком мальчике — в Куоккала, и еще раньше в Одессе. В Одессу я приехал в 1904 г. из Лондона — на пароходе — к маме и жене на Базарную улицу, кругом олеандры и жена, как олеандр, — горько-сладкая. Сидим, счастливы, и вдруг жена:

— Что же ты не спросишь о Коленьке?

А я и забыл о нем. Вынесли черненького, с круглым лицом, и я посмотрел на него, как на врага. Тогда он был мне не нужен. Полюбил я его позже, на Коломенской (№ 11). Он был тогда страшным мечтателем. «Ну, Коля, построй дом». И он начинал из воздуху строить дом. Прыгал и говорил: окно, окно, окно, окно — и никак не мог остановиться, ему все рисовались окна, окна без числа. Нарисует пальцем окно в воздухе и подпрыгнет от радости — и опять, и опять. Очень ему нравился памятник Пушкину на Пушкинской: «памовик». Встанет на стул, сложит руки: «Я памовик». — «А что же памятник делает, когда идет дождь?» — «Памовик — сюда» — и он лез под стул. В Куоккала его первые стихи: «как я желто говорю», дружба с Лидой, и мечты. Он так и говорил: иду мечтать на камни (на берегу наваленные глыбы гранитные, чтобы волны не налетали на дачу богатого немца). Вверх и вниз по камням, вверх и вниз — в такт своим мыслям, как птица по жердочкам, при-

думывает летательные аппараты, говорит сам с собой, сам с собой — сказки, путешествия, приключения у краснокожих. Круглое, наивное лицо. Ум пассивный, без инициативы, но инстинктивно охраняющий свою духовную жизнь ото всяких чужих вторжений. Помню его увлечение Дарвином, сомнения о Боге, лыжи, лодку и английский язык. Я вовлекал его в англ. язык, он сопротивлялся лояльно. Не выучивал слов, через два дня забывал все, что знал, и Лида всегда была для него образцом, хотя из лояльности опять-таки утверждала, что он знает гораздо больше ее. Жил он лениво, как во сне. Сонно, легко, незаметно прошел сквозь революцию, сквозь Тенишевское училище — нигде не зацепив, не нашумев. Теперь в университете — тоже не замечая ни наук, ни событий. Идет по улице, бормочет стихи, подпрыгивая на ходу тяжело. В Марину влюбился сразу и тогда же стал упрямо заниматься английским — для заработка, на случай женитьбы. Перевел (довольно плохо) «Эвангелину» Лонгфелло, «Сын Тарзана» (вместе с Лидой, очень неряшливо, на ура, без оглядки), «Шахматы Марса» — лучше, «Лунную долину» (еще лучше), и теперь переводит «Дом Гэрдлстона» с быстротой паровоза. И все для Марины. Таким образом Марина до сих пор принесла ему пользу. Со мной у него отношения отличные; он не то что уважает меня, но любит очень по-сыновьему. А все же не знаю почему, не хотелось мне, чтоб он женился, и сейчас я чувствую к нему жалость.

Здесь в Питере Макс Волошин. Он приехал — прочитать свои стихи возможно большему количеству людей. Но успех он имеет только у пожилых, далеких от поэзии. Молодежь фыркает. Тынянов и Эйхенбаум говорят о нем с зевотой. Коля говорит: мертво, фальшиво. Коля Тихонов: «Черт знает что!» Но Кустодиев и проф. Платонов в восторге. Он по-прежнему производит на меня впечатление ловкого человека, себе на уме, который разыгрывает из себя — поэта не от мира сего. Но это выходит у него очень неплохо и никому не мешает. Вид у него очень живописный: *синий* костюм, желтые длинные с проседью волосы, чистые и свежие молодые глаза — дородность протодиакона. Сажусь писать ему свое откровенное мнение о его поэме «Россия».

К 12 часам появилось солнце. Я лежал на балконе и блаженствовал. Вышел на берег моря. Два всадника [на] белых лошадях. «Пропуск! » — Пропуска у меня нет!

— Здесь не место для гуляний.

Если берег моря, озаренный с о л н ц е м , — не место для гуляний, то на всем земном шаре такого места нет.

Ахматова переехала на новую квартиру — на Фонтанку. Я пришел к ней недели три назад. Огромный дом — бывшие придворные прачешные. Она сидит перед камином — на камине горит свеча — днем. Почему? — Нет спичек. Нужно будет затопить плиту — нечем. Я потушил свечу, побежал к малярам, работавшим в соседней квартире, и купил для Ахматовой спичек. Она рассказывала, что Сологуб стал в последнее время з л о й . — Мы пришли к нему

с Олечкой (Судейкиной), а он в шахматы играет (с кем-то). Олечка спрашивает меня: «Аничка, ты умеешь играть в шахматы?» Я говорю: нет, не умею. Нарочно громко, Сологуб не обращает внимания.

9 мая. Спрашиваю Муру: где же Коля? — Он уехал в церковь: молится-женится.

Коля счастлив: я первый раз после его женитьбы встретил его в Госиздате. Сияет. Стоит у перил, дожидается гонорара. Ему выдали — как взрослому! — 11 червонцев. Но не сразу — сказали: через час. Он Марине: сбегаем в Университет, на Васильевский. Они «сбегали» на Васильевский — как ни в чем не бывало — раз — два и назад.

12 мая. Солнце. <...> В последнее время надо мною тяготеет злобный рок: мне два раза запретили чтение лекции о Горьком. Причем в первый раз — в феврале с. г. моему антрепренеру было сказано, что ввиду того, что неизвестно, приедет ли Горький в Россию, разрешить лекцию не могут. Тогда я представил официальную справку о том, что, по сведениям «Всемирной Литературы», где Горький состоит председателем, Горький в Россию не собирается. Тем не менее лекции не разрешили. Потом — в апреле — стали хлопотать о том же студенты (КУБС — ком. по улучш. быта студенчества). Им тоже запретили. Отказ Гублитмоно был утвержден Агитпропом М. К. Партии, куда апеллировала комячейка студенчества. Максим Горький как тема не подлежит в эти дни публичному обсуждению с какой бы то ни было точки зрения.

Студия. Расточитель. Устал. Клячко приехал, даст ли деньги? Ехать мне в Москву? Или спрятаться в Ольгино — и писать? Сяду писать письма Репину и Маме. <...>

Первый номер «Современника» вызвал в официальных кругах недовольство:

— Царизмом разит на три версты!

— Недаром у них обложка желтая.

Эфрос спросил у Луначарского, нравится ли ему журнал.

— Да, да! Очень хороший!

— А согласились ли бы вы сотрудничать?

— Нет, нет, боюсь.

Троцкий сказал: не хотел ругать их, а приходится. Умные люди, а делают глупости.

Маяковский: Ну что ж! «Современник» хороший журнал, в нем сотрудники — Лев Толстой, Достоевский.

Актеры Студии — в восторге, особенно от Леонова [2].

В июне 1924 во Всемирную ожидали О. Ю. Шмидта — стоящего во главе моск. Госиздата. И хитроумный Тихонов повесил *на один только день* в нашем *зале совещания* над дверью портрет Луначар-

ского, в золотой раме (от царского портрета). Потом портрет сняли. Мадонны Рафаэля, которая висела в приемной, нет и в помине.

14 мая 1924. Сегодня в Госиздате встретился с Демьяном Бедным впервые — и беседовал с ним около часу. Умен. И, кажется, много читает. Очень любит анекдоты. «Есть у меня шофер. Я хотел подшутить над ним и говорю ему про свою дочь: «Она у меня от Шаляпина». Шоф[ер] смешался, не знал, что сказать, а потом пришел в себя и говорит: «То-то голос у них такой звонкий».

«Был я сейчас в Севастополе. Пришел ко мне интервьюэр. Я говорю ему: — Знаете, я такой суеверный. — Вы суеверный? — Да, я. Я заметил, что когда меня кто-нибудь интервьюирует, он сейчас же умирает. — Умирает? — Да . . . — Ой! — и репортер убежал».

Очень смешно показывал, как репортер-заика интервьюировал Рыкова, тоже заику. «Я так хохотал, что должен был убежать».

18 мая. Был у Дикого. Он забавно рассказывает, как обедал у Замятиных. Те завели такой высокий тон за обедом, что он решил брать пирожки рукой и вообще оскандалиться. Супруги только переглядывались. Лесков в переделке Замятина («Блоха» для театра) ему не понравилась. <...>

7 июня. Ахматова говорит обо мне:

— Вы лукавый, но когда вы пишете, я верю, вы не можете соврать, убеждена. — Она больна, лежит извилисто, а на примусе в кухне кипит чайник.

10 июня. Дождь. До чего омерзителен З[иновьев]. Я видел его у Горького. Писателям не подает руки. Были я и Федин. Он сидел на диване и даже не поднялся, чтобы приветствовать нас.

Горький говорит по телефону либо страшно угрюмо, либо — душа нараспашку! Середины у него нет. <...>

17/VI. Москва. Ночь. <...> Вчера в тени было 22 градуса — в комнате, за шкафом. Под утро постлал на полу и заснул. Спал часа два — спасибо, хоть на минуту я *прекратился.* В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе — и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, — затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения своего *я.* У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь. Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: «сплю я или не сплю? засну или не засну? шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя

кулаками по черепу! Бил до синяков — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о! <...>

Июнь 22. 1924 г. Был у меня сейчас Алексей Толстой. Мы встретились в «Современнике» на Моховой. Сегодня понедельник, приемный день. Много народу. Толстой, толстый в толстовке парусиновой и ему не идущей, растерянно стоит в редакции. Неподалеку на столе самоуверенный Шкловский; застенчивый и розовый Груздев; Замятин — тихо и деловито беседует то с одним, то с другим, словно исповедует. Толстой подошел ко мне; «Итак, по-вашему, я идиот?» (по поводу моей статейки о нем в «Современнике»). Я что-то промямлил — и мы опять заговорили как приятели. Его очень волнует предстоящий процесс по поводу «Бунта машин» [3]. Я стал утешать его и предложил ему книжку Шекспира «Taming of the Shrew» *, в предисловии к коей сказано, что большая часть этой книжки написана *не* Шекспиром, а заимствована у Чапека. Это очень его обрадовало, и он пошел ко мне взять у меня эту. книжку. Он в миноре: нет денег: продержаться бы до сентября. В сентябре у него будет доход с пьес, а теперь — ничего ниоткуда. — Нельзя ли у Клячко пристроить какую-нибудь детскую книжку? — Вчера был у меня Шкловский, потолстелый, солидный, обидчивый, милый. Говорили мы много, переделывали его статью «Андрей Белый». Он говорил мне комплименты: «Ваши статьи о Короленко и Гаршине прекрасны, ваши детские книги гениальны». А в статьях своих при случае ругает меня. (Я в пустой квартире пишу это на балконе.) «В своей рецензии о Горнфельде я обокрал вас: у вас было сказано то же».

Тихонов в субботу был на писчебумажной фабрике Печаткина, которую теперь пускает в ход Московский Госиздат для своих надобностей. Съехались Отто Юльевич Шмидт и другие. Говорились обычные речи. «Эта фабрика — гвоздь в гроб капитализма», «открытие этой фабрики. — великое международное событие». Все шло как следует — в высоком витийственном стиле. Вдруг среди присутствующих оказался бывший владелец фабрики, тот самый, в гроб которого только что вогнали гвоздь. Бабы встретили его с энтузиазмом, целовали у него руки, приветствовали его с умилением. Он был очень растроган, многие плакали. Он очень хороший человек — его рабочие всегда любили. Сейчас Дрейден на курсах экскурсоводов в Царском. Теперь их учат подводить экономическую базу под все произведения искусства. Лектор им объяснил: недавно зиновьевцы обратились к руководителю с вопросом, какая экономическая база под «Мадонной тов. Мурильо». Тот не умел ответить. «Таких нам не надо!» — и прав.

27 июня. В Сестрорецке. В пустой даче Емельяновой за рекой. <...> В курорте лечатся 500 рабочих — для них оборудованы ванны,

---

* «Укрощение строптивой» (*англ.*).

прекрасная столовая (6 раз в день — лучшая еда), порядок идеальный, всюду в саду ящики «для окурков», больные в полосатых казенных костюмах — сердце радуется: наконец-то и рабочие могут лечиться (у них около 200 слуг). Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства — тупые, злые. Они все же недовольны режимом. Им не нравится, что «пищи мало» (им дают вдвое больше калориев, чем сколько нужно нормальному человеку, но объем невелик); окурки они бросают не в ящики, а наземь и норовят удрать в пивную, куда им запрещено. Однако это все вздор в сравнении с тем фактом, что прежде эти люди задыхались бы до смерти в грязи, в чаду, в болезни, а теперь им дано дышать по-человечески. Был с Лидой у Ханки Белуги, заведующей школьным районом: шишка большая. Спорили с нею о сказках. Она сказки ненавидит и говорит: «Мы тогда давали детям сказки, когда не имели возможности говорить им правду».

Читаю Фрейда — без увлечения.

Мура говорит: большой мяч познакомился под столом с маленьким. Глядя на «Дома для детей», на «Санатории для рабочих», я становлюсь восторженным сторонником Советской власти. Власть, которая раньше всего заботится о счастьи детей и рабочих, достойна величайших похвал.

Суб[бота]. Идет бешеный дождь. Я отрезан от дома. Голоден дьявольски. Уже 20 м. 3-го. Разбираюсь в своих мыслях о детях — и творчестве для детей. <...>

Третьего дня встретили в курорте Собинова. Он лечится д'Арсонваллем. У него дочка 4 лет «помешана на вашем Мойдодыре». Мы пошли с ним к проф. Полякову, «ушному и горловому». Проф. поселился здесь в курорте. <...>

Вспоминали вместе Дымова — вспомнил Соб. собственный стишок:

Ждали от Соб*и*нова
Пенья соловьиного.
Услыхали Собинова,
Ничего особенного.

Сегодня у меня пятая ванна. Слаб. Разломило спину. Трудно двигаться. Дожди и ветры. Подлая погода. <...>

Пятница 11 июля. Сегодня день рождения моего милого Бобочки. Он был утром у меня, убрал мою заречную комнату. Сделал из березовых листьев веник, замел, побрызгал водою полы, вынес мою постель на балкон, выбил палкой, вычистил, потом взвалил Муру на плечи и понес ее домой. Он очень любящ и простодушен. Сегодня после обеда мы встретились с ним, *Мурой* и М. Б. в курорте — и ели мороженое. Он съел две порции — и выпил бутылку лимонаду.

Я достал гусеницу — отдал ему: большая, с осины, древоядная.

Силы колоссальной, так и рвалась из платка — как автомобиль.

Погода чудная. Я принял 6 ванн, больше не хочу. Устроил себе сегодня домик для солнечных ванн — solarium. Дети сами надумали возить туда песок. Вообще домик очень интересует детей.

Моя соседка Елисавета Ив. Некрасова, 24 лет, поражает меня своим феноменальным невежеством. Жена профессора, родом из Луги. Я процитировал ей Пушкина:

Есть на свете город Луга... [4]

— Да, да, я знаю эти стихи, я читала их *в газете*. Имя Макса Волошина слышит первый раз и удивляется, что он поэт. «Я знала одного Макса Волошинова, он ухаживал за мною. У меня есть знакомый Александр Блок, но он не писатель».

А маникюр себе делает еженедельно. <...>

Мальчик Юрочка Некрасов 5½ лет, прослушав начало «Тараканища», спросил: — А как же раки — они очень отстали? — Я не понял. Оказывается: раки ехали *«на хромой собаке»,* а львы в автомобиле. Ясно, что раки должны были отстать.

12 июля. Лида сегодня уезжает в Одессу к бабушке. Очень милое существо, ощущающее огромные силы, которые не находят приложения. Жажда разумной деятельности огромная, всепожирающая. Не захотела ехать в Крым, потому что в Крыму нечего делать, а в Одессе можно помочь бабушке выбраться в Питер.

15 июля. <...> Очень меня волнуют дела управдомские: телефон у нас выключают, электрические провода перерезывают, за квартиру требуют колоссальную сумму и налагают штрафы — oh, bother! * От Коли из Коктебеля милое, поэтичное письмо. Увлекается Белым и хорошо раскусил Макса. В моем домике собираются дети — дворничихи и другие — Елисав. Ив. читает им сказки. Вчера читали «Золотого гуся». Дети носят мне в домик — песок. Вечером на террасе я пересказывал «Золотого гуся» Муре — и всякий раз, когда в сказке появлялся новый персонаж, она спрашивала: «А он добрый?» Ей надо знать, сочувствовать ли ему или нет, тратить ли на него свою любовь: — «И вот видит, в лесу у дороги сидит голодный старичок». — «А он добрый?» — «Да». — «Ну так мне его жалко». Когда я рассказывал о бедствиях второго сына вдовы, Мура попросила пропустить. Печального она не любит, и в «Мухиной свадьбе» пропускает середину.

17 июля. Лежал весь день в своем «Плюварии». Чудесно. Облака с севера без конца — но коротенькие; солнце то выскочит, то спрячется. Когда спрячется — холодно, ветер, дует в щели: тогда я беру карандашик и строчу о детских книгах. Когда туча прошла, я лежу

* О, морока! (*англ.*).

нагишом и потею, по-крымски. В 4 часа пошел к Собинову. Оказывается, он живет на роскошнейшей даче, с целой свитой, как великий Сеньор. Дочка — куколкой. Няня, личный секретарь «Саша», экономка, бедная родственница и пр. «А это наш папаша». Чей папаша, неизвестно; 76-летний мужчина, одетый с иголочки, франтом, как юноша, по последней картинке; проф. Поляков (ушной и горловой) и его милая, милая дочь, старшая. Я демонстрировал Чукоккалу, но приехала из города жена Собинова — и я удрал. Вечером б[ыл] у него еще раз взять журналы, дабы оклеить мой плюварий. Он покупает и читает всю уличную прессу — это чувствуется в его разговоре, «Огонек», «Красный перец», «Ворон», «Прожектор» — его настольные книги. Вечером у Муры; рассказывал ей сказку о «Черепахе, Серне, Мыши и Вороне». Когда я подошел к тому, что Серна попала в сеть, Мура деловито спросила»: «А потом?» (т. е. «будет ли серне хорошо потом? выцарапается ли серна из сети?»). Когда я сказал, что и черепаха попала к охотнику, — повторился тот же вопрос. <...>

18 или 19 июля. Пятница. Утром лежал в своем плювариуме. Солнце и тучки. Жара. Ничего не делал — только переворачивался с боку на бок. Хорошо загорел, и первее всего нос — полированный и красный. В 10 час. прибежал Боба. «Папа, на разливе можно достать лодку. Коля Поташинский уже катался». — «Ладно». <...> взяв племянника Конухеса, я направил свои стопы в Сестрорецк. Боба был там — но Поташинский не явился. У кого взять лодку? И вот после долгих мытарств мы получили чудесный ялик — и без ветра — под заходящим солнцем — блаженно катались два часа — среди островков и камышей.

Был вчера в санатории для туберкулезных детей — очень патетическое впечатление. Зайду еще раз.

Когда-то покойная Нордман-Северова, очень искренне, но по-институтски радевшая о благе человечества, написала очередной памфлет о раскрепощении прислуги. Там она горячо восставала против обычая устраивать в квартирах два хода: один — для прислуги — *черный,* а другой — для господ — парадный. «Что же делать, Н. В.? — спросил я ее. — Как же устранить это зло?» — «Очень просто! — сказала она. — Нужно черный ход *назвать* парадным. Пусть прислуга знает, что она ходит по парадному, а господа — по черному!» Я тогда удивился такой вере в имя, в название, я говорил, прислуга ощутит в этой перестановке кличек лицемерие, насмешку — и еще пуще озлобится, но, оказывается, я был не прав: люди любят именно кличку, название и вполне довольствуются тем, если черный ход, по которому они обречены ходить, вы назовете парадным. Остаются по-прежнему: кошачий запах, самоварный чад, скорлупа, обмызганные склизкие, крутые ступени, но называется это парадным ходом и людям довольно: мы ходим по парадному, а в Англии, во Франции по черному! Взяли мелкобуржуазную страну, с самым[и] закоренелыми собственническими

инстинктами и хотим в 3 г[ода] сделать ее пролетарской. Обюрократили все городское население, но *не смей называть* бюрократию — бюрократией. Это мне пришло в голову, когда я смотрел сегодня на соседа, владельца дачи — квадратного, седо-лысого чиновника, который с утра до ночи *хозяйствует* на возвращенной ему даче, починяет окна — гоняет из огорода кур — верноподданный слуга своей собственности! — и аппетитно кричит в один голос со своей супругой:

— Не смейте ходить по нашему мосту (через реку). Это *наш* мост, и никому здесь ходить не разрешается.

Всю эту сложную фразу они оба как по нотам выкрикнули сразу. Особенно спелись они в тираде «*наш* мост и т. д.». Но *называются* они арендаторами. Весь их кирпичный дом сверху донизу набит жильцами. И какую цепную собаку они завели! И нарочно сделали цепь покороче — чтобы собака стала злою.

Суббота 20 июля 1924. Вчера первый день — без туч. Жара. <...> С дочками Полякова мы играли в палки. Вновь я возродился к куоккальской жизни — палка первый признак. Но босиком ходить, увы, не могу. Ревматизм или ишиас — черт его знает. <...>

20 июля, воскресение. Опять не спал: письмо от Тихонова. Сон в руку. Сегодня приезжают они оба с Замятиным — делать мне нагоняй. Я так взволновался, что ни на минуту не мог «сомкнуть глаз». На таком-то дивном воздухе, в такую погоду. Вчера сдуру попал на именины к Собинову — и потерял три часа. Именинница его дочка, Светланочка, четырех лет. Я пришел в гости к ней, но С[обинов] вдруг накинулся на меня с таким аппетитом, как будто лет десять не говорил ни с одним человеком. <...> Я каждую минуту порывался встать и пройти к Светику, которая в саду под деревом стояла довольно растерянно и не знала, что ей делать с подарками: кукла Юрий, кукла Акулина, домик — вернее, комната: спальня зайца и мн. др. В конце концов я не выдержал и убежал к Светлане. <...> Когда, наконец, я добрался до нее, мы оставили в стороне все ее дорогие и в сущности ненужные игрушки и стали играть — еловыми шишками: будто шишка — это земляника. Шишка ей куда дороже всех этих дорогостоящих роскошей. <...>

Вспомнил о Репине: как он научился спать зимой на морозе. «Не могу я в комнате, это вредно. Меня научил один молодой человек спать на свежем воздухе — для долголетия... Когда этот молодой ч[елове]к умер, я поставил ему памятник и на памятнике изложил его рецепт — во всеобщее сведение».

— Так этот молодой человек уже умер?

— Да... в молодых годах.

— А как же долголетие? <...>

У нас по соседству обнаружились знаменитости г-да *Лор,* владельцы нескольких кондитерских в Питере. Елисавета Ив. Некра-

сова, пошлячка изумительно законченная, стала говорить за обедом:

— Ах, как бы я хотела быть мадам Лор!

— Почему?

— Очень богатая. Хочу быть богатой. Только в богатстве счастье. Мне уже давно хочется иметь палантин — из куницы.

Говорит — и не стыдится. Прежние ж[енщи]ны тоже мечтали о деньгах и тряпках, но стеснялись этого, маскировали это, конфузились, а ныне пошли наивные и первозданные пошлячки, которые даже и не подозревают, что надо стыдиться, и они замещают собою прежних — Жорж Занд, Башкирцевых и проч. Нужно еще пять поколений, чтобы вот этакая Елисавета Ивановна дошла до человеческого облика. Вдруг на тех самых местах, где вчера еще сидели интеллигентные женщины, — курносая мещанка в завитушках — с душою болонки и куриным умом!

21 июля. Понедельник. Вчера день суеты и ерунды — больше я таких дней не хочу. Утром пришел Клячко. <...> Взял он у меня начало «Метлы и Лопаты» [5] — хочет дать художникам. В это же время пришел ко мне мальчик Грушкин, очень впечатлительный, умный, начитанный, 10-летний. С ним я пошел в детскую санаторию (помещается в дачах, некогда принадлежавших Грузенбергу, доктору Клячко и доктору Соловьеву). Там лечатся и отдыхают дети рабочих — и вообще бедноты. Впечатление прекрасное. Я думаю, О. О. Грузенберг был бы рад, если бы видел, что из его дачи сделано такое чудное употребление. Я помню, как нудно и дико жили на этой даче ее владельцы. Сам Оск. Ос. вечно стремился на юг, в Тифлис, тут ему было холодно, он ненавидел сестрорецкий климат и все старался сделать свою дачу «южнее, итальяннее». Его дочка Соня, кислая, сонная, неприкаянная, скучая бродила среди великолепнейших комнат. И вечно приезжали какие-то неинтересные гости, кузены, родственники, помощники прис. повер[енных]. Дача была для всех тягота, труд и ненужность. А теперь — всюду белобрысые голые, загорелые дети, счастливые воздухом, солнцем и морем. Я читал им «Мойдодыра» и «Тараканище». Слушало человек сто или сто пятьдесят. Рядом — на песке — тела такого же песочного цвета. Пришел усталый — на моем плювариуме устроен из ветки орнамент и сказано, что приехал Чехонин и чтобы я пошел в курзал. Я пошел, чувствуя переутомление — там за столиком у моря — среди множества народу Чехонин, почему-то в пальто — единственное пальто на фоне полуголых. Море поразительное — на берег прошли с барабанным боем, со знаменами пионеры и стали очень картинно купаться. Оказалось, что Чех[онин] никогда не бывал в Сестрорецк. Курорте. Потом мы пошли берегом среди стотысячной толпы купающихся. <...> Говорят, на вокзале было столько народу, что многие вернулись, не попав на поезд. От напора толпы сломана на вокзале какая-то загородка. Я надеялся, что вследствие этого Замятин и Тихонов не приедут ко мне. Но они приехали — как раз когда я был

на взморье. Приехали, не застали меня и написали на плювариуме:

— Чуковский явно струсил взбучки и сбежал.

Евг. Зам.

— Но карающая десница настигнет его. *А. Т.*

Интересно, что, в связи со своим сном, я панически боюсь Тихонова. От этих шутливых строк у меня захолонуло сердце. Я — в курорт опять, совсем усталый. Нашел их за тем же столиком, где часа три назад сидел Чехонин. Зам[ятин] в панаме, прожженной папиросой, оба щеголеватые, барственные. Встреча б[ыла] нехороша. Я смотрел на них злыми глазами и сказал: Если вы хотите смеяться над моей болезнью или упрекать меня за нее, или не верите в нее, нам не о чем говорить и мы должны распрощаться. Тихонов извинился, — я и не думал, простите — и они стали рассказывать мне, как обстоят дела. Напостовец Лялевич выругал нас, авантюра с единовременным изданием журнала во Франции, Англии, Америке — лопнула, Замятин написал статью о совр. альманахах, цензура все пропустила (вообще цензура хорошая), и мы расстались почти примиренные [7].

22 июля, вторник, 1924. Вчера Мура побила прутом Юлю. М. Б. отняла у нее прут, сломала и выбросила. Месяца два назад Мура заплакала бы, завизжала бы, а теперь она надула губы и сказала равнодушным тоном профессиональной забияки:

— Прутов на свете много. <...>

Начало моей статейки о детях уже готово. Сажусь переписывать. Чехонин вчера уехал. Сон у меня по-прежнему плохой. Чех[онин] обратил вчера внимание, что сплю я не на кровати, а на досках, и вместе с М. Б. устроил мне отличную кровать. Он мастак по части всяких укладок, упаковок, с изумительной аккуратностью уложил доски, постлал сенник, покрыл простыней — спите! Но спал я и на новой кровати — плохо. Проклятая неделя.

23/VII 24. От Лиды чудное письмо: она приехала в Одессу 15/VII и через день уже отправила М. Б-не отчет о своих впечатлениях около ½ печатного листа — точный, изящный, простой и художественный. В Витебске, оказывается, она села не в тот поезд и должна была скакать с поезда на ходу! Мама моя здорова, но Маруся, оказывается, очень плоха: беззубая старуха. Много интересного в письме о моих племянниках. Впервые я ощутил их как живых человечков. А ведь сколько писали о них и Маруся и Коля! Молодец Лида! <...>

27 июля, воскресение. <...> Был я вчера у детей-калек, в санатории для детей, страдающих костным туберкулезом. Санатория на песчаной горе, в дюнах. <...> пошел к красному бараку, возле которого на солнце лежало 25—30 всевозможных уродцев. Когда они

узнали, что им будут читать, они радостно кинулись звать других, и это б[ыло] самое страшное зрелище. Кто на одной ноге, кто на четвереньках, кто прямо ползком по земле — с необыкновенной быстротой сбежались они ко мне. У одного перевязан нос, у другого — тончайшие ноги и широчайшая голова; самые удачливые — на костыльках. Я читал им «Мойдодыра» и «Тараканище». Потом разговаривал с ними. Некоторые из них привязаны к кроваткам, так как они слишком егозят. <...>

28 июля, понедельник. Очень сердит на себя. Сегодня первый день (с февраля), что «Метла и Лопата» сдвинулись с мертвой точки — и я после ванны сдуру пошел к Поляковым, застрял у этих милейших людей — и проворонил такой удивительный редкостный случай, когда у меня легко и просто поются детские стихи! <...>

Я был вчера у детей в санатории для туберкулезных. Мне приготовили, в благодарность за чтение, порцию мороженого в огромной глубокой тарелке. Я съел почти всю. Сегодня стою возле мороженщика, ем мороженое, стоят трое девочек и завистливо смотрят. Я угостил их, разговорились, и я пошел к ним. Оказалось, что они пациентки санатория для нервных детей. Жаловались на обращение: «нас за волосы таскают и царапают; одну учительницу мы так и прозвали: «царапка». Показывали царапины. Я познакомился с ихним доктором и с воспитательницей. Завтра пойду к ним. И доктор и вос[питательни]ца издерганные люди, со своими питомцами — на положении комбатантов. Был вчера у Собинова за Чукоккалой.

30 июля. Среда. Вчера б[ыл] дивный закат. Я гулял над морем дольше обыкновенного. Кажется, что такие вечера бывают раз в тысячу лет, боишься их потерять, расплескать. По пляжу, как под тихую музыку, идут заколдованные тихие люди, — и особенно патетичны одинокие фигуры, которые, кажется, сейчас вознесутся на небо или запоют необыкновенную песню. Я догнал одну пару, которая казалась мне издали воплощением поэзии, и услышал:

Она: Ничего подобного!

Он: А я вам говорю, что да.

Она: А я вам говорю, что нет. <...>

1 августа. Сбился с писательством. Начал статью о дет[ских] книгах — и бросил. Начал «Метлу и Лопату» и, проработав до половины, почувствовал фальшь, недетскость. Прочитал вчера М. Б., она сказала то же. Денег нет. Отовсюду жмут, а я зря истратил за этот месяц 70 червонцев (семьсот рублей), которых другому бы хватило на полгода. Здоровье мое тоже — не слишком. Утомляет работа — и пугает перспектива скорого переезда в город.

Вчера с М. Ф. Поляковой зашли в детский дом — в двух шагах от курорта. Я там никогда еще не бывал. Издали он казался прекрасным — на террасе так стройно пели А. Толстого «Всех месяцев

звончее веселый месяц май». Пошел, представился, начальница показала музейчик: детские работы, лепка, «осень», «зима», «лето» и т. д. Ленинский уголок, где рядом с портретом Ленина, чуть пониже, мой «Крокодил», «Черничный дедка» [8], «Тараканище», «Детки в клетке» Маршака и проч. Все производит довольно мрачное, тупое казенное впечатление. Есть тетрадки протоколов детских собраний. В одной тетрадке сказано: «Дорогой Шеф. Мы с каждым днем любим тебя все более и более». — Кто же ваш шеф? — спросил я. — ГПУ — ответили дети, — особый отдел.

Пища у них скудная: пшенная каша. <...>

2 августа. Был вчера Коля — приехал утомленный, глаза больные. Провожал меня в ванны, купался в море; хочет писать роман — авантюрный: о пиратах. Я думаю — напишет хорошо: он еще не вышел из того возраста, когда любят пиратов. Прочитал я ему мою «Метлу и Лопату», он тоже сказал: для детей ли?.. <...> Вчера меня очень привлекли дети от 3 до 6 лет, которые — ежевечерне — из своего Дома — бегают нагишом к реке — купаются, и поскорее назад! Очень мила эта вереница голых, пузатых бегунов. Я познакомился с ними и сегодня в 11 час. буду у них читать.

Сажусь опять за свою «Мимо Тумима».

3 августа. Вчера дождь, с отдаленным громом, впервые. Писал «Тумима», но мало. <...>

6 августа. Дня 3 назад Боба почувствовал себя оскорбленным в самых лучших своих чувствах: после того, как он выдержал переэкзаменовку по фр. языку, я дал ему учить фр. слова. Со свойственной ему силой упрямства он стал защищать свое право на безделие. Дошло до того, что он объявил голодовку, не ел ничего 24 часа, ушел из дому, но к французскому не прикоснулся. Мы с Марией Борисовной обсуждали, что с ним делать. На совете присутствовала Лида. Мура — руки за спину — ходила по комнате. Очень хмурилась, и вдруг: «Если Боба не хочет учить фран... суски, пусть учит немецки...»

Так мы и сделали. Боба стал учить немецкий, а к французскому и прикоснуться не желает. Лида слушает курсы стенографии — с увлечением. Я так утомился вчера на приеме «Современника», что вот не сплю вторую ночь, несмотря на принятую ванну. Особенно истомил меня Гизетти — душитель: он всегда говорит много и путано. Но и кроме Гизетти были: старуха Величковская, которой я должен был возвратить ее рукопись «Детоводство» (и она плакала); сын Лескова за деньгами (а денег нету), он ругал «ужасную» книгу Волынского о Лескове [9], обещал позвонить через два дня, был Эйхенбаум (с женой), он принес рецензию о «Гоголе» Гиппиуса, была поэтесса Лидия Иванова, был Виктор Финк (он готовит новую статью — о деревенск. кооперации), был поэт Вагнер (я возвратил ему стихи), был агент «Красной Газеты», представитель «Бюро

Вырезок», вдруг оказавшийся поэтом и потребовавший у меня обратно свои забракованные стихи, был молодой Комаровский (кажется), автор большой поэмы, которая поразительна тем, что не похожа на «Двенадцать» Блока, был впечатлительный, розовый, обидчивый Серапионов брат, критик Груздев, он принес две рецензии, обещал третью, и когда я справился со всеми ими, оказалось, что типография почему-то выбросила статью Финка «Новый быт». Eheu me miserum *. Из этой каторги — домой — аспирин — спать! Но вот — не сплю.

Сейчас сяду разбирать письма Леонида Андреева. Бедный — человек в западне. Огромные силы, но пресненские. Всегда жил неудобно, трудно, в разладе со всем своим бытом, — безвольный, больной, самовлюбленный, среди страшной мелкоты.

Теперь у меня на очереди три каторжных нисколько мне не интересных работы

1) Разбор андреевских писем
2) Редактура Хроники для «Совр. Запада»
3) Редактура рецензий «Современника».

И увы, «Паноптикум». А потом — все к чертям! <...>

18 авг. Погода по-прежнему святая. Только что был Собинов с Мишей Вербовым. Я провожал его в курорт. Боба занозил ногу. Опять все утро делал тихоновскую работу: правил Виктора Финка. Тихонов рассказывал, как ругают в разных журналах меня и «Современник» [10], а у меня никакого интереса. Пишу о детях, не знаю, что выходит.

22 авг., пятница. <...> Принимал ванну третьего дня, а в ванной у меня были: Коля, Сима Дрейден и Боба. Оба первые с портфелями. Колю вдруг словно прорвало: он одновременно пишет:

1. Стихи для детской книги о Петухе и цыплятах.
2. Стихи, тоже детские, заказанные ему Центросоюзом.
3. Роман авантюрный для «Радуги».
4. Переводит для Лившица английский роман.

Все стихи и свой роман он читал мне подряд одно за другим — и мне понравилось все — своим напором, — но больше всего меня удивил и обрадовал роман. Чувствуется, что Коле труднее его не писать, чем писать — и что вообще писательство доставляет ему колоссальную радость.

Лида привезла из Одессы перевод начала «Джунглей».

Сима прочитал мне первую часть своей работы «Сборник революционной сатиры».

Хорошо! Но слушать подряд то, что в течение нескольких месяцев сделали двое трудолюбивейших юношей — критиковать, исправлять — очень утомило меня. А весь следующий день (вчера) я работал над редактурой Хроники для 6 номера «Совр. Запада» —

---

* «Горе мне бедному» (*лат.*).

каторжная и никчемная работа, которая кажется еще более нелепой ввиду дурацкой придирчивости цензора Рузера — который выбросил статейки Ольденбурга, Сологуба и мн. других.

Боба учит географию.

24 августа. <...> Магарамовы дела плохи. Его доконали штрафами. «Современник» очень нуждается в деньгах. Тихонов сейчас переслал мне через Марью Ник. Снопкову письмо, чтобы я попросил у нее, у М. Н., 500 червонцев для «Совр.»

26 августа. <...> Один для меня отдых — беседа с Лидой. Лида даже страшна своим интеллектуальным напором. Чувствуется в ней стиснутая стальная пружина, которая только и ждет, чтобы распрямиться. Она изучает теперь политграмоту — прочитала десятки книг по марксизму — все усвоила, перемолола, переварила, хочет еще и еще. Экономическая теория захватила ее, Лида стала увлекаться чтением газет, Англо-советская конференция — для нее событие личной жизни, она ненавидит Макдоналда, — словом, все черты мономании, к которой она очень склонна. Жизнь она ведет фантастическую: ни секунды зря, все распределено, с утра до ночи чтение, зубрежка, хождение в б[иблиоте]ку и проч. Вспоминала Одессу. О моей маме говорит с умилением.

3 сентября 1924. Погода по-прежнему дивная. <...> Боба третьего дня выдержал переэкзаменовки по географии, алгебре и французски. У него жар. Он еле стоит на ногах, но вчера — помчался в Ольгино за карасями для щуки. Свою щуку он знает так чудесно, что может часами говорить о ней. Вчера пришел к вечеру из Ольгино *пешком* (нес в руках ведерко с окунями) — и потом час глядел в ведро и объяснял поступки каждой рыбы. Читает он мне вслух «Илиаду».

Я весь в корректурах: правлю Колин перевод романа «Искатель золота», правлю сборник «Сатиру», правлю листы «Современного Запада», правлю листы «Современника».

Впервые за всю свою жизнь чувствую себя почему-то здоровым и, как это ни смешно, молодым. Был вчера у Ахматовой. Не знаю почему, она встретила меня с таким грустным лицом, что я спросил: «Неужели вам так неприятно, что я пришел к вам?» У нее служанка. «Оленька хочет уехать за границу. Хлопочет. У нее был apendix и воспаление брюшины. Она лежала 58 (кажется) дней в постели... Я ухаживала за ней и потому не написала ни строчки. Если напишу, сейчас же дам вам, в «Современник», потому что больше печататься негде... Я получила деньги из Америки, от Кини, — 15 долларов. Спасибо им».

Она, видимо, ждала, когда я уйду. До сих пор она б[ыла] очень ко мне дружественна.

Я сказал ей: «Похоже, что у вас в шкафу спрятан человек и вы ждете, когда я уйду».

— Нет, сидите, пожалуйста! (Но вяло.)

Я замолчал, и она — ни слова. Потом: «Видела вашу Лидочку, как она выросла».

Уходя, я сказал: «Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Лунина?» — «Соловками», — невесело усмехнулась она и пошла закрыть за мною дверь.

На камине у нее — две самодельных бумаги tangle-foot *, но мухи приклеиваются к ним слабо.

Лозинский уехал на месяц в Териоки. Фома Вален [нрзб] переводит «The jester» **. — Коля был вчера и читал вторую главу своего романа. Прекрасно, напористо и поэтично. Но он почему-то очень бледен, у него болит сердце. Жизнь он ведет трудную — и Марина для него слишком дорогая радость. Марину я постепенно научился любить, она Коле хороший товарищ. <...>

23/IX 24. Вчера наводнение, миллионные убытки, пожар, а сегодня солнце. Вчера было похоже на революцию, — очереди у керосиновых и хлебных лавок, трамваи, переполненные бесплатными пассажирами, окончательно сбитые с маршрута; отчаянные, веселые, точно пьяные толпы и разговоры об отдельных частях города: «а в Косом переулке — вода», «всю Фурштатскую залило», «на Казанскую не пройти». При мне свалилась с крыши и чуть не убила людей — целая груда железа.

Ванну истопили, а вода не шла. Я лег только в двенадцатом часу — и спал. С «Современником» неприятности. Дней пять назад в Лито меня долго заставили ждать. Я прошел без спросу и поговорил с Быстровой. Потом сидящий у входа Петров крикнул мне: «Кто вам позволил войти?» — «Я сам себе позволил». — «Да ведь сказано же вам, что у Быстровой заседание». — «Нет, у нее заседания не было. Это мне сообщили неверно!» — «А! хорошо же! Больше я вас никогда к ней не пущу». — «Пустите!» (И сдуру я крикнул ему, что вас, чиновников, много, а нас, писателей, мало; наше время дороже, чем ваше!) Это вывело его из себя. А теперь как нарочно звонят из Лито, чтобы я явился и дал список всех сотрудников «Современника» — хотят их со службы прогонять. И адресоваться мне нужно к тому же Петрову: нет, не интересно мне жить.

24 сентября, четверг. <...> Мокульский говорит, что на службе с него взяли подписку, что он в «Современнике» сотрудничает по недоразумению. <...>

29 сент. Был у меня Мечислав Добраницкий. Он едет консулом в Гамбург. Он лыс, а лицо у него молодое. Мура, ложась спать, сказала: одного не понять: старенький он или моloденький.

В ц[ензу]ре дело серьезно. Юноша Петров, очень красивый мо-

* Клейкая лента. (*англ.*).

** «Шут» (*англ.*).

лодой ч[елове]к, но несомненно беззаботный по части словесности, долго допрашивал меня, кто наши ближайшие сотрудники. Я ответил, что это видно из книжек журнала: кто больше пишет, тот и ближайший. Тогда он вынул какую-то бумажку с забавными каракулями:

Тиняков
Эйхенбаум
Парнок Сопха
Зуев
Магарам

И стал допрашивать меня, кто эти писатели. Я ответил ему, что вряд ли Парнок зовут Сопха, но он отнесся ко мне с недоверием. О Зуеве я объяснил, что это вроде Кузьмы Пруткова, но он не понял. Тинякова у нас нет, есть Тынянов, но для них это все равно.

Тынянову я рассказал об этом списке. Он воскликнул:

— Единственный раз, когда я не обижаюсь, что меня смешивают с Тиняковым.

Самая неграмотность этой бумажонки показывает, что она списана с какого-то письма, написанного неразборчивым почерком. Удивительная неосведомленность всех прикосновенных к Главлиту.

Приехал Замятин. Ставится его пьеса (по Лескову) в студии. Изо всех возможных декораторов он выбрал Крымова и доволен. Мы много с ним занимались, написали в Москву п и с ь м а , — к Магараму, к Абраму Эфросу — нужны деньги, нечем платить сотрудникам и т. д. Потом мы пошли гулять на Неву и увидели баржу на набережной — неподалеку от Летнего Сада.

29 сентября. <...> Правлю Шаврову-Юст, писательницу, которой некогда покровительствовал Чехов. Бедный! Сколько труда он укладывал на исправление ее рукописей. Она пишет, напр. (в своем новом рассказе «Люди и вещи») — завсегдатель, нищи*и*, Рюриковичъ, пэйзаж, она боитъся, ску*п*чица.

Вы пишет большой буквой, как в письме.

4 или 5 октября. <...> Во вторник был во Всемирной на заседании. С о л о г у б. — Что, не сердится на меня «Радуга» за то, что я похитил у нее три червонца? (Смеется.) (Подробно рассказывал, как он переводит Шевченка размером подлинника, притом произносит *наймичка.*) Я сказал ему, что Сосновский в «Правде» доказывал, что праздновать его юбилей не следовало. Он спросил: *и основательно*? Почти все заседание прошло в том, что Лернер разносил предисловие Мокульского к «Орлеанской деве», где видимо виляние перед Сов. Властью — и употреблено выражение *антипоповский.* Лернер указывал, что Мокульский, цитируя хвалебные отзывы Пушкина об Орл. деве, нарочно умолчал об отрицательных. Замятин поддержал

Лернера. Сологуб сказал могильно: «К словам Николая Осиповича я присоединяюсь. Все эти выражения явно непристойны и создают впечатление недобросовестности». Вера Александровна была именинница. Я подарил ей огромный арбуз, которым она и угощала Коллегию. <...> В субботу заседал я у Замятина с Эфросом, ввалился Толстой: вот они где, голубчики! Рассказывал подробно, как он поссорился с Белкиным — из-за рисунков к новому рассказу, который написал он для «Времени»[11]. Белкин не пожелал делать рисунки под контролем Толстого — отсюда чуть ли [не] побоище между мужьями и женами.

Толстой очень доволен своим новым рассказом: «Это лучше «Никиты». Понимаете, путешествие по Ждановке!»

С ц[ензурой] опять нелады. Прибегает Василий (в субботу) — «К. И., не пускают «Современник» в продажу!» — «Почему?» — «Да потому, что вы вписали туда одну строчку». Оказывается, что, исправляя Финка, я после цензуры вставил строчку о суздальском красном мужичке, которого теперь живописуют как икону. Контроль задержал книгу. Бегу на Казанскую, торгуюсь, умоляю — и наконец разрешают. Но на меня смотрят зловеще, как на оглашенного: «Редактор «Современника».

Сегодня кончил первую статейку о детских стишках-перевертышах.

9 ноября 1924. Возился с «Бармалеем». Он мне не нравится совсем. Я написал его для Добужинского, — в стиле его картинок. Клячке и Маршаку он тоже не понравился, а М. Б-не, Коле и Лиде нравится очень.

Коля кончает свой первый роман[12]. «Девятнадцатую (главу) пишу!» (Всех глав будет двадцать.) Всякий раз при встрече он сообщает, какую главу он пишет. Помню живо: «На шестой застрял», «в тринадцатой мало действия», и проч. Но в общем он пишет легко и уверенно, страшно увлекаясь работой. Прибегает поглядеть в «Энциклопедию Британника» — и назад, к письменному столу. По воскресениям он с Мариной обедает у нас, и мы весь обед занимаемся тем, что выдумываем имя его герою и заглавие его роману. Оказывается, это не так легко. Имя героя у Коли «Шмендрик» — имя явно невозможное. Заглавия такие: «Джентльмены удачи», «Ипполит Повелецкий», «Замыслы Шмендрика». Я предложил ему вчера — «Честолюбивые замыслы». Ему, кажется, понравилось. Сима Дрейден предложил в шутку «Остров сокровищ № 2».

Вчера были мы с Марией Борисовной на детском вечере в Доме книги. Видел Ионова — только что вернулся из Англии. Говорил с ним о своей поездке в Финляндию — к Репину. <...> Детский праздник удался, только фокусник был плоховат. И еще раз я удивлялся, как нынешние дети смотрят фокусы: для них фокусник — жулик, враг, которого нужно разоблачить и победить. Они подозрительны, держат его под контролем, кричат ему: «А ну, покажите

рукава», «выверните карман», «Дайте-ка эту шляпу мне», крик непрерывный в зале. Так что фокусник даже сказал:

— Это делает вам честь, что вы так *скептически* относитесь. <...>

По морозу вернулись мы домой в 9-м часу — страшно позднее для меня время. Мура уже спала. Завтра встанет и прибежит, чтобы я ее «мучил». Каждое утро я «мучаю» ее: делаю страшное лицо и выкрикиваю: «Мучение первое — за нос тягновение! Мучение второе — за шею дуновение! Мучение третье — живота щекотание!» Она охотно подвергается пыткам — всех пыток не меньше двенадцати, и если я пропущу которую-нибудь, напоминает: ты забыл одно мучение, по пяткам ты еще меня не бил. Особенно упоительно для нее «с высоты бросание». Конечно, я не причиняю ей никакой боли, но все же к ее веселью примешивается какой-то радостный страх, который и делает эту игру упоительной. «Я твой мучитель, а ты моя жертва», — сказал я ей, желая расширить ее словарь. <...>

Мне захотелось уехать в Финляндию — отдохнуть от самого себя.

Замятин говорил по телефону, что о нас (т. е. о «Современнике») в «Правде» появилась *подлая* статья [13]. Он сейчас пишет об Атилле — историч. повесть [14]. — «Думал сперва, что выйдет рассказец, нет, очень захватывающая тема. Я стал читать матерьялы — вижу, тема куда интереснее, чем я думал».

— Вы с «параллелями»?

— Обязательно. Ведь вы знаете, кто такие гунны были? Это были наши — головотяпы, гужееды, российские. Да, да, я уверен в этом. Да и Атилла был русский. Атилла одно из названий Волги.

— Вы так это и напишете?

— Конечно!

— Атилла Иваныч.

Нужно браться за вторую часть о педагогах, но интересно, как они огрызнутся на первую. «Современник».

13 ноября. Нас так ругают (Современников), что я посоветовал Замятину написать статейку: «Что было бы, если бы Пушк. «Я помню чудное мгновение» — было напечатано в «Современнике».

Я помню чудное мгновение
 (небось какой-нибудь царский парад)
Передо мной явилась ты
 (не великая ли княжна Ксения Александровна)
Как мимолетное виденье
Как гений чистой красоты
 (чистая красота! — дворянская эстетика)
Шли годы... бурь порыв мятежный
 (Октябрьск. рев.)
Рассеял... мечты
 (о реставрации монархии)

и т. д. Ибо наши критики именно так и поступают.

У меня неприятности с «Совр. Западом». Коллегия очень раскри-

тиковала журнал, и я решил выйти в отставку. Вчера послал Тихонову об этом записку. Хотя Тихонов очень болен, у него на всем теле фурункулы. Жаль смотреть, как он хромает.

Неожиданно мне прислали за редактуру какой-то глупой книжки (Финкельштейн «Нерасцветшая») 65 р. Я сунул эти деньги в карман и потерял. Остался от них только 1 р. Очень жаль: хотел послать их маме. Бедная мама, ей не везет!

Вчера решалась судьба моей книжки о Некрасове. Ионов — за, Белицкий — за, Ангерт — против. Не знаю еще. <...>

16 ноября. Ночь. Половина 5-го. Не сплю: должна приехать моя мама. Вчера пришла депеша от Маруси. Я счастлив — утром рано Марина, Коля, Боба, Лида собираются встретить ее на Царскосельском вокзале.

Читаю Adams'a «Success» *. Очень увлекательно — вначале. А потом американская дешевка. За это время, к счастью, я успел найти потерянные деньги — т. е. не я, а Маша: в корзине для бумаг под столом — все шесть червонцев. Хлопочу о поездке в Финляндию. Третьего дня корректор Ленгиза показал мне по секрету корректуру статьи Троцкого обо мне: опять ругается [15]. Очень. Если Ленгиз купит мою книгу о Некрасове, я возьмусь переделывать ее. А сейчас правлю Колькин роман. У него есть фантазия — но нет ни малейшего знания действительности. В одной главе он изображает пушечное ядро, как оно «медленно пролетало над площадью и скрылось в ближайшем переулке». Это не точная цитата, но близко к оригиналу. Неутомимость его удивительна. Только что кончив роман, он думает уже о стихах для детей — о трубочисте. <...>

Раньше всех встала Лидка (хотя обычно она встает в 10). Теперь она проснулась в 5, вскочила на ноги в начале 6-го и помчалась с Бобой на вокзал. Я складываю книги и жду. Мурка в ажитации: выбегает ежеминутно в прихожую. Увидела, что я непричесан. «Причешись». М[ура] хочет сама открыть дверь. <...>

17/XI (24), понедельник. Бабушка оказалась сильно постаревшей, плотной здоровой женщиной — голос уже не тот, звук не тот; она привезла с собою — для меня чашку, для Коли сахарницу и щипчики, для Муры елочные украшения и проч. и пр. Но больше всего привезла она целые пригоршни прошлого, которое вчера разожгло и разволновало меня до слез, привезла милую Колькину карточку — где Коля беспомощный, наивный и запуганный патетически глядит как бы в будущее. Оказывается, когда-то, когда кто-то в шутку сказал «наша Лида», Коля вступился за сестру:

— Нет, Лида наша, это мы ее родили! <...>

Кончаю «Success» Adams'a. Очень американская вещь, беспросветная, фальшивая, но захватывает.

---

* «Успех» (*англ.*).

24 ноября, понедельник. Мура освоилась с бабушкой. На третий же день бабушка в передней машет (крыльями), а Мура ей:

— Вы еще не вылупились.

Предполагается, что бабушка — птенчик в яйце. Много страстей поднялось и улеглось за эту неделю: первая — письмо московских литераторов. Ровно неделю назад в понед. в 4 часа Тихонов вынимает эту бумагу (протест против нынешних литературных условий), показывает ее мне и Замятину: «какой растяпа этот Толстой! только что прислал мне эту бумагу, полученную им из Москвы, но поздно: сам же говорит, что эту бумагу сегодня в 3 часа уже подают в Москве начальству. Так что никто из петерб. писателей не успеет ее подписать». Я взял у него эту бумагу, отнес ее в «Совр.», там подписали: я, Эйхенбаум, Всев. Рождественский. Потом во вторн. Замятин получил подпись Сологуба. Потом передал ее при мне Мише Слонимскому. Тот взял бумагу в Госиздат; там целая куча пролетарских и полупролетарских писателей объявила эту бумагу «недостаточно сильной» и составила свою «более сильную». В субботу в изд-ве «Время» эту «более сильную» бумагу мне показал Тынянов. Я глянул и увидел, что эта «более сильная» есть в то же время «более сервильная» бумага — и что в ней заключается чудовищное предложение — вербовать цензоров из среды писателей! Тынянов (оказалось, что он в этих делах младенец) согласился со мной, взял назад свою подпись, и мы вместе пошли в Союз писателей (я не вошел, очень накурено, вечером не люблю шумных сборищ), а Тынянов просидел там около часу и сказал, что Союз собирается писать третью записку от себя. Таким образом голоса разобьются. (Шклов[ский] — разговор с ним.)

Второе событие: мы с Замятиным написали отповедь нашим ругателям. Идея статьи моя. Я предложил взять стихотворение Пушкина и раскритиковать его на манер Родова, предложил взять лесковского Перегуда из «Заячьего ремиза», я сильно переделал то, что написано Замятиным, но он ведет себя так, словно вся статья написана им одним[16]. То же относится и к Паноптикуму. Так же было, когда он написал «Я боюсь»[17]. Перед этим я читал в присутствии Горького проект какого-то протеста, где были эти слова: «В наше время Чехов ходил бы с портфелем» и проч. Замятин усвоил их — бессознательно.

Правлю свою книжку о Некрасове для отдельного издания.

26 XI 24. В Госиздате снимают портреты Троцкого, висевшие чуть не в каждом к а б и н е т е. — Цензура вчера запретила Колину книгу «Беглецы». Я ездил с ним сегодня на Казанскую, еле выторговал. Им не нравится, что цыплята вернулись под крыло к матери. Мораль не х о р о ш а я. — «Но ведь детских домов для цыплят у нас еще нет». Разрешили.

В прошлый вторник Волынский читал у нас (во Всемирной) своё вступление к книге о Рембрандте. Сологуб отозвался об этом вступлении игриво и резко. «Ваша книга опасная. Вы призываете к тому,

чтобы (евреи) всех нас перерезали. Вы защищаете иудаизм, но он не нуждается в вашей защите. И почему христианство кажется вам каменным и пустынным, почему именно каменным?»

Потом в кулуарах острили, что каменным Вол. назвал христианство, чтобы понравиться Каменеву.

Мура: Боба такой плутов (образовано от *плутовка).*

М. Б. купила диван для моей комнаты. У меня болит ухо и правая верхушка груди. Читаю *Вичерли,* пишу про Эйхенбаума.

2 декабря. Вчера приехал из Москвы Тихонов. Мне позвонили и просили никому не говорить в «Современнике», что он вернулся, т. к. денег он с собой не привез. Он очень забавно рассказывал, как наш издатель Магарам напуган газетною бранью, поднявшейся против нас. Недавно его вызвал[и] в ГПУ — не по делам «Соврем.», а в Экономич. отдел, но он так испугался, что, придя туда, не мог выговорить ни слова: сидел и дрожал (у него *вообще* дрожат руки и ноги). Не спросил даже: «Зачем вы меня вызвали?» На него глянули с сожалением и отпустили. Чтобы успокоить несчастного, Тихонов устроил такую вещь: повел его к Каменеву, дабы Каменев сказал, как намерено правительство относиться к нашему журналу. «Пришлось для этого пожертвовать несколькими письмами Ленина, — объясняет Тихонов (т. е. он дал Каменеву для Ленинского института те письма, которые Ленин писал ему). «К Каменеву добиться очень трудно, но нас он принял тотчас же. Это очень подействовало на Магарама. Каменев принял нас ласково. — «Уверяю вас, что в Политотделе ни разу даже вопроса о «Соврем.» не поднималось. «Современник» я читаю — конечно без особого восторга, но на сон грядущий чтение хорошее. А если на вас нападает «Моск. Правда», то это так, сдуру, каприз рецензента [18]. Скажите Бухарину, и все это дело наладится». Магарам ушел обвороженный, успокоенный. На следующий день я к нему: давайте деньги. — «Денег нет!» Чуть с ним говоришь о деньгах, он принимает какие-то капли, хватается за сердце, дрожит по-собачьи, ставит себе три градусника, противно смотреть! «Денег нет! » Это меня возмутило. Он из-за каких-то грошей не сдал Госиздату 2 тысяч экз., котор. хотел приобрести Госиздат, разошелся с Кооперативными обществами, с Центросоюзом, на Московскую контору тратит две тысячи в месяц (из доходов журнала), словом, я разъярился — и заявил, что с 1-го декабря прекращаю журнал. Он всполошился, но я остался тверд. Я сказал ему: «Вы дали мне бездну обещаний, я поверил вам, влез в долги, истратил казенные суммы, и теперь вы меня режете». Словом, у меня есть надежда, что он пришлет деньги, но покуда он дал 80 червонцев — и больше ни копейки, ни за что. Мы-то выкрутимся, я кое с кем завязываю связи, но сейчас туго».

Я слушал этот рассказ с грустью, ибо мне должны около 300 рублей.

О том, что сделает Ионов со «Всемирной», не известно еще нико-

му, может быть и самому Ионову. Но все волнуются. Тихонов говорит, что и в Москву и из Москвы он ехал с Белицким и Белицкий уверил его, что до сих пор еще никому ничего не известно. «Конечно, они могли бы поручить нам весь иностр. отдел, как делал московский Госиздат, оставить нас на собств. иждивении, но едва ли». <...>

12 декабря. Вчера зашел я в цензуру справиться о кой-каких рецензиях и о «Паноптикуме». Уже отпечатано 10 листов «Современника», торопимся выйти к празднику. Пришел я поздновато. Петров. Сидит лениво у стола, глядит томно. Я говорю: «Нельзя ли сегодня матерьял, торопимся». Он помолчал, а потом говорит: «Матерьяла мы вам не дадим, потому что «Современник» закрыт». — «Кем?» — «Коллегией Гублита». — «Велика ли Коллегия?» — «Четыре человека: Острецов, Быстрова и еще двое». — «Можно с ними поговорить?» — «Их нету. Да что вам разговаривать с ними? Разговоры не помогут. Завтра я утром в 11 час. приду в «Совр.» и составлю протокол по поводу того, сколько листов у вас отпечатано». — «Для чего же знать вам, сколько листов отпечатано?» — «Для того, что[б] остановить печатанье и прекратить издание». — «Но те листы, которые отпечатаны, Вы разрешите выпустить в свет?» — «Не знаю...»

Я не хотел, чтобы он приходил к нам в редакцию, и условился, что позвоню ему по телефону, в какой типографии печатается «Соврем.» (чтобы он сам позвонил в типографию и приостановил бы печатанье), — и помчался на Моховую сообщить обо всем Тихонову и Замятину. Решили, что сегодня я с Тихоновым еду в Гублит. Тихонов верит, что удастся отстоять. У него надежда на Каменева и Бухарина. Замечательнее всего то, что цензора, и Острецов, и Быстрова, в личных беседах со мною, всего за несколько дней до закрытия, высказывали, что «Современник» — all right *. Я спрашивал Острецова о «Перегудах», он сказал: «Вы здесь выражаете свое profession de foi **, я не зачеркнул ни одного слова, мне нравится».

Характерно: там же в Гублите с меня содрали рубль за билет на какой-то благотвор. вечер.

15 декабря. Ну, были мы с Тихоновым в цензуре. Заведующего зовут Острецов, его помощницу — Быстрова. Разговаривая с Быстровой, Тихонов слил обе фамилии воедино: «Быстрецова». Мы указали ей, что мы сами вычеркнули кое-что из рецензий Полетики; что сам Каменев обещал Тихонову, что против журнала не будет вражды; что дико запрещать книгу, которая вся по отдельным листам была разрешена цензурой, и т. д.

Быстрова потупила глаза и сказала: «Ваш журнал весь вреден, не отдельные статьи, а весь, его и нужно весь целиком вычеркнуть.

---

* Все в порядке (*англ.*).
** Символ веры (*франц.*).

Разве вы можете учесть, какой великий вред может он причинить рабочему, красноармейцу?»

Но обещала подумать, не удастся ли разрешить хоть 4-й номер.

На следующий день я был у нее. Разрешили. «Мы не только ваш хотели закрывать, мы просматриваем теперь и многие военные журналы». (Очевидно, искореняют троцкизм!) Очень ей не нравятся «Перегуды«. Она даже с сожалением смотрит на меня: вот, такой хороший человек, а... в «Современнике».

Пишу об Эйхенбауме. Завтра читать статью в Университете. Успею ли?

16 декабря 24 г. Снилась «вдовствующая императрица», которой никогда не видал, о которой никогда не думал. Очень ясно: лицо с кулачок, старушка. Сидит на диване с Мар. Бор., шушукаются. А я беру Чукоккалу: «Ваше величество, дайте автограф». Дело летом, на даче. Солнце.

Приснится же вздор — безо всякой связи с событиями.

События же такие: были мы с Тихоновым снова в Гублите. Застали Острецова. Он рассказал нам, что ему за «Современник» был нагоняй, что он ездил в Москву к Полянскому объясняться, что Полянский предложил ему составить сводку 4-х №№, что эта сводка будет обсуждаться сперва в Питере, потом в Москве, и тогда участь «Совр.» будет решена. Замечательно, что Острецов стоит за «Перегудов», а Быстрова против них. Очевидно, Острецову нравится в этой статье то, что она отвечает рецензентам, которые косвенно задели и его, Острецова. Но мы на семейном совете положили: выбросить из «Перегудов» конец [19]. Кстати, в цензуре думают, что «Перегудов» писал я. О Замятине никто не догадывается.

Вчера Тихонов б[ыл] у Ионова и прямо в лоб:

— Хотите со мной работать?

— Да. Но вы мой враг. Вы Луначарскому писали на меня доносы, жаловались, что «Ионов хочет вас слопать».

— Да, писал. Но и вы писали бы. Вы действительно хотели меня слопать, и я защищался.

— Это так. Чего же вы хотите?

— Вы знаете, что на малое я не пойду. Подчиняться Горлину не стану. Дайте мне заведывание всею «Художеств. Литературой», включив в нее, как часть, иностр. литературу, и оставьте дом на Моховой.

— Но дом требует ремонта?

— Нет, ремонт был...

— Ну, отлично!

И ударили по рукам. А Белицкий все же уверяет, что Ионов работать с Тихоновым не будет, что это одна «вежливость».

Портрет Луначарского висит теперь во «Всемирной» на видном месте — есть и «уголок Ленина».

17 декабря. Вчера во «Всемирную» прислана бумага от Ионова с предписанием вручить все дела А. Н. Горлину и передать дом (Моховая 36) в ведение «Госиздата». Хотя в этом ничего грозного нет, хотя весьма возможно, что в этом залог высшего процветания Тихонова, но во «Всемирной» эта бумага была принята, как вражье нападение на Тихонова: все заплакали, и больше всех Овсей, бухгалтер, на которого Тихонов чаще всего и громче всего орал; повесив свою тяжеловесную голову, он говорил: «я о себе не волнуюсь, я волнуюсь о Тихонове», — и слезы текли у него по лицу и падали в конторскую книгу. Зарыдал Антон, большеусый привратник, зарыдала Вера Александровна. На заседании (вчера был вторник) почти рыдал Волынский, и все положили отстаивать Тихонова до последней капли крови.

— И за что вас так любят? — говорил я ему. — Вы деспот, эгоист и т. д.

Но есть в нем очарование удивительное. Ведь даже я, твердо решивший с января уйти, пойду в воскресение отстаивать перед Ионовым коллегию и Тихонова, главным образом Тихонова. Меня выбрали вместе с Волынским и С. Ф. Ольденбургом (которого вчера не было: в Москве).

Вчера читал лекцию об Эйхенбауме в университете [20]. Когда заговорили слушатели, оказалось, что это дубины, фаршированные марксистским методом, и что из тысячи поднятых мною вопросов их заинтересовал лишь «социальный подход».

Статью об Эйхенбауме завтра начну переделывать. А сегодня надо редактировать Лидо-Колин перевод «Smoke Bellow».

18 дек. *Вчера провел самый гнусный день и сейчас провожу самую гнусную ночь.*

Днем узнал, что ввиду того, что Гублит решил закрыть из-во Маркса, в типографию, где печатались мои «Пятьдесят поросят», явился чиновник и приказал вынуть из машины книгу. Это было глупое зверство, ибо нужно же иметь уважение к труду автора, корректора, наборщика и т. д. Но книгу вынули, чем вконец разорили издателя, ибо к Рождеству ему не выйти, у меня отняли 15 червонцев и проч. и проч. и проч.

Тут же узнал, что Колину книгу « Танталену» разрешили печатать лишь в уменьшенном числе экземпляров: 5000 экз. вместо десяти тысяч. Почему? Потому что это не производственная литература, а Гублит решил бороться с авантюрными романами.

Это так взволновало меня, что не сплю совсем, читаю Эйхенбаума о Лермонтове: хорошо, но плюгаво. Лермонтов без Лермонтова. Правлю Лидин перевод Джека Лондона «Smoke Bellow». Переписываю статью об Эйхенбауме. <...>

Вчера вышли «Беглецы» Ник. Чуковского и «Д-р Айболит» Корнея Чуковского.

И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас.

Оказывается, Волынский рыдал, а сегодня спрашивает Тихонова в письме: где будут выдавать жалование.

19 декабря. Был вчера у Эйхенбаума. Маленькая комнатушка, порядок, книги, стол письменный косо, сесть за стол — и ты в уголке, в уюте. Книги больше старинные, в кожаных переплетах — сафьянах. Из-за одного книжного шкафа, из-за стекла — портрет Шкловского, работы Анненкова и ниже — портрет Ахматовой. Он рассказывает о том, что вчера было заседание в институте, где приезжий из Москвы ревизор Карпов принимал от сотрудников и профессоров присягу социальному методу. Была вынесена резолюция, что учащие и учащиеся рады заниматься именно социальными подходами к литературе (эта резолюция нужна для спасения института), и вот когда все единогласно эту резолюцию провели, один только Эйх. поднял руку — героически — против «социального метода».

Теперь он беспокоится: не повредил ли институту. Вообще впечатление большой душевной чистоты и влюбленности в свою тему. Намечает он пять или шесть работ и не знает, за которую взяться: за Лескова, за Толстого, за нравоописательные фельетоны 18 и 19 века. У него двое детей: Дима 3 лет (золотоволосый, кротко улыбается) и Оля (лет 12). Жена седоватая, усталая. Дети в большой комнате, железная печка натоплена до духоты.

Видел Щеголева: «Напрасно Тихонов думает, что Ионов будет с ним работать. Ионов ненавидит его зверски».

В цензуре: милые разговоры, но жестокие и глупые дела. Они не виноваты, но...

21 декабря. Вчера провалялся после *19-го*. Читал с *наслаждением* Wycherly, письма Салтыкова, Мура о Байроне, перечитывал Некрасова и проч. и проч... Был в Госиздате у Ионова. Он помогает мне достать пропуск в Финляндию, оказывает протекцию. Со мною был очень мил, показал мне письмо от Горького, странное письмо! Приблиз. содержание такое: «Я прежде не знал, Илья Ионович, что Вы такой замечательный работник, теперь вижу, знаю и восхищаюсь вами. Я на днях писал об этом А. И. Рыкову. Кланяйтесь Зиновьеву, пришлите мне книги проф. Павлова, и вообще всякую книгу, которою захотите похвастаться. Очень хорош роман Федина; видно, что Федин будет серьезный писатель. Ах, какая грустная история с Троцким! [21] Теперь здешние ликуют, радуются *нашему* несчастию».

«В Москве [н р з б], — говорил И о н о в . — Мне придется многих предать суду за преступную безхозяйственность. Я, напр., спрашиваю у них, сколько у них долгу. Они и сами не знают. Сначала думали: 6, теперь оказывается 7½. Я спрашиваю, сколько вы должны авторам. Мне приносят книгу: всего 200 000 рублей. Я успокоился. Потом приходят: это только долги за учебники, а в других отделах есть и другие долги. Я так взволновался, что уехал в Питер. Питер

это горная санатория, по сравнению с той клоакой. Все здесь любят работу, относятся с доверием ко мне. Сейчас я был на митинге — 1600 рабочих, — как они меня встретили, вы бы видели!..» Я заговорил о Тихонове. Его лицо омрачилось. «Боюсь, боюсь я его!» — сказал Ионов. <...>

Вчера интересную вещь рассказали об Ольдоре.

Ольдор, после своего скандального процесса обвиненный в садизме и разврате [22], уехал в Москву хлопотать перед сильными мира сего. Пошел к сестре Ленина, Марье Ильиничне. Рассказал ей, конфузясь: «про меня вот говорят, будто я ходил в дом свиданий»... Та пришла в ужас. «Тов. Оршер, мы вам доверяли, а вы ходили на свидания с эс-эрами и меньшевиками! Стыдитесь!» Так до конца и не поняла, что такое дом свиданий!

22 декабря. Вчера день величайших передряг. Мы собрались в 11 ч. у Тихонова во Всемирной. Уже подходя к этому столь родному дому, я увидел, что у дверей три воза, и на эти возы сложены все наши шкафы и полки — с которыми мы все так сроднились. В кабинете у Тихонова еще ничего не изменилось. Скатерть золотисто-зеленая на помпезном столе заседаний еще не унесена никуда. Собрались Ольденбург, Лозинский, Волынский, Тихонов, Смирнов, Вера Александровна, Замятин, Жирмунский. Ждали мы Лернера и Сологуба, которые обещались придти, не дождались, и сели за стол. Тут началась невероятная канитель: Волынский, по непонятной причине, предложил рассмотреть эпизод «с точки зрения вечности» (есть и вечные концепции, он так и выразился); ни за что не хотел идти с депутацией, предлагал послать Веру Александровну к Ионову объясняться и вообще продержал всех нас часа два за разговорами. Наконец мы спросили Ионова по тел., примет ли он нас, и пошли. Я с Ольденбургом, Волынский (несколько пристыженный) с Каштеляном, к-рый шел с ним, чтобы оторвать его от вечности и приблизить к реальным событиям. Чудная погода, морозец, снежок. Пришли в Госиздат. Закоулками, п. ч. воскресение. В приемной шофер. Прошли в кабинет — Ионов, [в] европ. костюме, в заграничной сорочке, очень волнуясь пригласил нас сесть и сказал: «Я хотел лично сообщить вам, что я намерен предпринять в отношении вас, но отложил наш разговор до января. Тогда я мог бы говорить с вами гораздо определеннее. Но если вы пришли теперь, я готов не откладывая побеседовать с вами теперь. Вы знаете, что московский Госиздат не справился с возложенной на него задачей. Мне предложили сорганизовать Госиздат на новых началах, положив в основу тот опыт, который мы проделали тут, в Ленинграде, т. е. не прибегая к помощи государственных средств. Когда я познакомился с работой московск. Госизд., я нашел вокруг него целый ряд — частью здоровых, частью злокачественных наростов, которые путали работу Госиздата, напр., Декоративные мастерские, плакатные мастерские. Я все эти наросты отрезал. При Госиздате также существовала «Всемирная Литература». Год тому назад я

открыто предлагал вам, что я дам вам возможность работать открыто и свободно, вы меня отшили. Ну что же делать! Для того чтобы я мог везти весь этот воз, мне необходимо сократить расходы. Ведь теперь я покрываю многие прорехи московского издательства жалкими средствами Ленгиза. Если я буду барствовать, у меня к январю иссякнут средства, и я к январю прекращу всякий выпуск книг. Нужно действовать постепенно. Как думаю я поступить со «Всем. Лит.»? Здесь у меня имеется отдел «Иностр. Литер.». Во главе этого отдела стоит А. Н. Горлин. Он одновременно ведает двумя отделами. Я думал бы, что через вашу коллегию я мог бы пропустить около 120 листов в Месяц, даже около 150 (включая и детский отдел). Я думаю: если бы всю эту работу объединить в один отдел, сделать штат более компактным. Вы знаете мою точку зрения. Широкий план нам не под стать. Тот план, который выработала «Всемирная Литература», одно время казался прекрасным, но оказалось, что он не имеет отклика в стране. Львиная доля отпадает. Придется сделать из этого плана экстракт. В этом отделе есть «восток» (это заинтересует товарищей востоковедов), — в тех пределах, какие позволяют нам наши средства, я хотел бы «восток» сохранить. Я хотел бы, чтобы товарищи знали, что по одежке надо протягивать ножки.

Пройдет несколько месяцев, и все понемногу расширится. Появятся оборотные средства. Вы во «Всемирной Литературе» ничего не могли сделать, так как у вас не было оборотных средств. Но у нас очень скоро дело разовьется. Если считать, что теперь наша продукция будет пять листов, то в августе она дойдет до пятидесяти. Так надо считать, такова пропорция. У нас есть колоссальная возможность раскачать читателя — добраться до самых недр провинции. (Пауза... Все это он говорил, глядя в бумажку, потом поднял глаза...)

У вас вот членом редколлегии и ее заведующим был Тихонов. Я считаю его делягой-парнем, хорошим администратором, но ни я, ни мой аппарат, ни товарищи мои не желают работать с ним. Заявляют: если будет Тихонов, они уйдут. Поэтому нам придется с Тихоновым проститься. Признаюсь, я не люблю таких дельцов. Вводить его сюда, в Госиздат, я считаю вредным. Там в Москве было много таких, я считал, что им не место в Госиздате. Правда, он много лучше и чище тех, но все же мне придется от него отказаться...» Очень волнуясь, Аким Львович взъерошивает на лысине воображаемые волосы и говорит:

«Одна мелочь в ваших словах показалась несколько болезненной для нас. Вы хотели беседовать с нами значительно позже, но в естественном нетерпении, мы пожелали побеспокоить вас именно теперь. Мы шли сюда с наилучшими чувствами, и нам приятно узнать, что вы не только не покушаетесь на существование коллегии, но хотите дать ей новую динамику. С этой стороны все благополучно. Тут только мелочи. Вы не совсем знаете, что и «Библиотеку соврем. писателей» и «классиков» издавали именно *мы*. Тут один

аппарат. Разделения не было. Это был один аппарат... Остается вопрос персональный. Не для того чтобы полемизировать с вами, а для того, чтобы явить вам наш взгляд, мы должны сказать вам, что вы имеете об Ал. Ник. Тихонове неверное представление. Он не делец, но деловой ч[елове]к...

(*Ионов:* Но я здесь употребил ваше же выражение. Вы однажды мне сказали об Экскузовиче: это не деловой ч[елове]к, но делец.)

Вы делаете мне честь, вспоминая мои маленькие застольные шутки, но я говорю по совести: Тихонов деловой человек. Может быть, он еще не вышел на настоящую дорогу. Мы люди не коммерческие и, должно быть, не совсем чтили бы коммерческого человека...»

25 декабря. Канитель с Тихоновым длится. Я сейчас очень занят писаньем статьи о Некрасове, но чуть я отложу перо, я слышу: Тихонов, Тихонова, Тихонову... Вчера были мы с Замятиным на 6 этаже, где приютился Тихонов. Комнатенка ничего себе: кресла, портрет Ленина, но он чувствует себя как свергнутый с трона король. Говорит, что от Эфр[оса] есть письмо: «Современ». на помощь приходит новый капиталист. Эфрос капиталиста хвалит и зовет Тихонова в Москву. Четвертая книжка «Современника» вышла, но у нас нет 20 рублей внести в цензуру — и получить экземпляры. Я ходил к Боровкову хлопотать о Гессене (корректоре, который выброшен на улицу лишь за то, что он брат Гессена из «Петрограда») и о кассире Дмитрии Назаровиче. Боровков попросил меня устроить детское утро 1-го января. Мы с Замятиным и Людмилой Николаевной посетили Белицкого. Белицкий сказал, что дело Тихонова безнадежное. «Я советовал ему уйти. Его ненавидят все. В Москве и здесь... Даже переводчики... Переводчики в один голос твердят, что «Всем. Лит.» обращалась с ними гнусно. На Тих. смотрят как на ч[елове]ка, который кормится возле литературы, возле литераторов...»

Третьего дня шел я с Муркой к Коле — часов в 11 утра и был поражен: сколько елок! На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками — и возле воза унылый мужик, безнадежно взирающий на редких прохожих. Я разговорился с одним. Говорит: «Хоть бы на соль заработать, уж о керосине не мечтаем! Ни у кого ни гроша; масла не видали с того Рождества...» Единственная добывающая промышленность — елки. Засыпали елками весь Ленинград, сбили цену до 15 коп. И я заметил, что покупаются елки главным образом маленькие, пролетарские — чтобы поставить на стол. Но «Красная Газета» печатает: в этом году заметно, что рождественские предрассудки — почти прекратились. На базарах почти не видно елок — мало становится бессознательных людей.

Мура все еще свято верит, что елку ей приносит дед Мороз. Старается вести себя очень хорошо. Когда я ей сказал: давай купим

елку у мужика, она ответила: зачем? Ведь нам бесплатно принесет дед Мороз. <...>

30 декабря 1924. Пишу об Эйхенбауме — и нет конца. <...> Вчера было очень тягостное заседание «Всемирной Литературы». Длилось оно три часа — сочинили грубое письмо к Ионову, после к-рого Ионов всех нас погонит к чертям.

Самое печальное во всем разгроме «Всемирной Литер.» это то, что выгнаны на улицу конторские служащие. Я вчера хлопотал о Натанзоне (нашем бухгалтере) и других счетоводах, — но ответ неутешительный: видно, их решено изничтожить. Хуже всего положение у Софии Владимировны: она лежит в жару, за ней ухаживает ее больная дочь, Муся, — и все время боится, как бы ее мать не узнала, что она сокращена: старуху сократили, а она даже понятия не имеет, что на Моховой уже нет того учреждения, где она считает себя служащей!

Чуть только кончилось наше тревожное заседание (мил был один Сологуб, потешался над моей пуговицей; когда я просил его пододвинуть бублики — пододвигал не только ближайшую тарелку, но и ту, которая подальше; когда я сказал, что я болен, сказал: «он всегда болен» и пр.) — Замятин сообщил мне и Тихонову, что получена повестка — опротестован наш вексель, по которому мы должны платить типографии.

Тихонов дополнительно сообщил, что типография в обеспечение долга заарестовала нашу 4-ую книжку, которую мы готовили с такими усилиями. У меня окончательно разболелась голова. Я ушел — с болью.



4 января. Вчера читал Уичерли — не до конца. Был у Клячко, он опять утверждает, что мой *Бармалей* никуда не годится. Вечером, в 6 час, ко мне пришли Шервинский и Леонид Гроссман. Они оба приехали прочитать «Воспоминания» о Брюсове — в *капелле.* Мы стали оживленно разговаривать (за столом), вдруг бах! — пушка, еще и еще!! Наводнение!! Мы с М. Б. вышли на улицу. Пошли к Фонтанке. Слякоть, лужи, народ пялит глаза на черную воду, у краев покрытую легкою корочкой, — и все это очень непохоже на «Все на борьбу с наводнением!». Вода поднялась почти до уровня моста — вот-вот поднимется и разольется по улицам. Я пошел в Союз Писателей: Ганзен, старуха Саксаганская, старуха Грекова, дочь Грековой, Бианки, Полонская, Борисоглебский и проч. Я читал без увлечения — «Мойдодыра», «Бармалея» и «Мухину свадьбу», успеха не имел — и мы пошли назад. Трамваи мчались в парк, людские голоса звучали возбужденно и весело (!), пушки бахали, холодно, мокро,

дождь, ветер — насквозь. Сейчас сижу за столом, пыжусь писать о Некрасове — ничего не знаю, было ли наводнение или нет. Ветер как будто стих, на крышах снег. <...>

10 янв. Удушье... Бедный Федин очень сконфужен... краснеет и мнется. Дело в том, что он секретарь «Звезды», а в «Звезде» Горбачев приготовил жестокую филиппику по адресу «Совр.», где сотрудничает Федин. Он говорит: уйду, попрошу Ионова перевести меня в другой, здесь я не могу. Майский (ред. «Звезды») бывший меньшевик, и, как всякий бывший меньшевик, страшно хлопочет перебольшевичить большевиков. Говорят, что статья Горбачева весьма доносительная [1].

Удушье!.. Теперь дела так сложились, что я бегаю по учреждениям с часу до 5, и всюду — тоска... тоска... Оказывается, что в Москве на Ионова нажим, что Ионов очень непрочен. Против него Сталин, за него Зиновьев. Чтобы умилостивить Сталина, он заказал напечатать две серии его портретов. Это было первое, что издал Ионов в Москве. Так говорит Тихонов.

Сегодня Тихонова перевели еще в меньшую комнату — самую маленькую и паршивую, какая только есть в Госиздате. «Деградация! » — говорит он. В «Совр.» никаких денег нету — но говорят, что скоро приедет Магарам.

Мамочка третьего дня подарила мне свое кольцо — обручальное, которое носила 45 лет. «Какие у тебя красивые руки!» — сказала она и надела мне колечко. Я был с нею в среду у глазного доктора — и он клятвенно заверил меня, что левый глаз у нее в полном порядке, что ему (глазу) ничто не угрожает. Сегодня я, Замятин и Волынский должны пойти снова к Ионову (который приезжает сегодня утром). Посмотрим. М. Б. и Лида ездили вчера в Александринку на первое представление «Блудного беса» [2]. Кто-то на галерке свистал.

11 января. Был с утра в Госиздате. Приехал Белицкий. Очень хорошо ко мне отнесся. Устроил мне аванс под Некрасова. Я к Ионову. — «Когда может посетить вас депутация от коллегии «Всемирной Литер». — «Какой коллегии?!» — вскричал он возбужденно, и я увидел, что для него самое слово *коллегия* — рана. — «Коллегия!? Да ведь коллегия распущена! Она поставила мне ультиматум, я этого ультиматума не принял, и Ольденбург мне по телефону ответил, что вы не желаете работать со мной! » — «Но вы после этого послали нам любезное письмо...» — «Вы что же? Ваш Тихонов хочет меня поссорить с Горьким, я от Горького получил телеграмму, вы на своих заседаниях говорите, что не желаете идти в ионовскую *банду* — я все знаю, один из ваших же членов сообщает мне каждое ваше слово, да, да (тут он сделал жест, как будто вынимает ящик стола и хочет показать какие-то документы), ну, впрочем, не буду делать литературного скандала (тут он выслал из комнаты Гони[к]берга и подбежал ко мне вплотную, глаза в глаза — а глаза у него

разные, с сумасшедшинкой), знайте, Чуковский, что я и без вашей Коллегии поставлю Иностранный отдел, да, да, вы увидите», — словом, внес в это дело столько страсти, что я невольно любовался им. Он и не знает, что наша Коллегия вся состоит либо из болтунов, либо из занятых людей, которые не станут работать, либо из плохих литераторов, которые не умеют работать, — и что нечего так волноваться из-за этого малоценного приза. «Коллегию я не приму!» — выкрикнул он наконец. «А примете вы трех литераторов: Чуковского, Вол[ынского], Замятина?» Он задумался. «Завтра, в два! Я завтра уезжаю».

Я помчался от него к Волынскому. У Волынского сидел Замятин — в комнате, обставленной иконами, книгами, — с карточкою Льва Толстого и проч. Решено, что завтра идем. Причем когда я сообщил Вол[ынскому], что Ионов считает его главным бунтовщиком, он явно взволновался. Вечером было у нас совещание по «Современнику». Обсуждали статью Горбачова, как бы так устроить, чтобы она не появлялась. Тихонов статью читал: «не глупая статья, очень дельная!» Если она появится к московскому совещанию, мы закрыты, в этом нет сомнений.

Был у меня на днях Саша Фидман — рассказывает, что в Москве всюду афиши о постановке моего «Мойдодыра». Как же Мойдодыра-то ставить?

От Сологуба получил стишки поздравительные — и в то же время язвительные [3]. <...>

14 января. Вчера было последнее заседание Коллегии. После того как Ионов не захотел принять в числе членов Коллегии Тихонова — Коллегия принуждена разойтись. Было оч[ень] торжественно. Волынский назвал нас лучшим цветом искусства и интеллигенции. Читал Whycherley, очень смешно у него в «Country Wife» I am heavy *. Но переводить его не буду. Надоело. Правлю Лидин перевод Smoke Bellow. Она плохо знает и русский и английский. Пишет, напр., его «ходильные способности» (= он хороший ходок). Я поправил 75 страниц — и больше не могу. Колин перевод куда бойчее. Хотя и он пишет: «это дело имеет пр*и*дел». Гублит задержал у Клячко одну книжку, оттого что там высмеиваются косы китайцев, а китайцы дружественная нам держава.

Писал вчера стишки Сологубу. Боюсь, не обиделся бы.

У нашего управдома опять встреча нового года, — но я спал в соседней комнате на Лидином пальто.

16 января. Замечательнее всего то, что свободы печати хотят теперь не читатели, а только кучка никому не интересных писателей. А читателю даже удобнее, чтобы ему не говорили правды. И не только удобнее, но может быть выгоднее. Так что непонятно, из-за чего мы бьемся, из-за чьих интересов.

---

* «Деревенской жене» я беременна (*англ.*).

Только что кончил редактировать Лидо-Колин перевод Смока Белью. У Коли хорошо, Лида же сплоховала. Работа над исправлением ее перевода отняла у меня часов двенадцать. <...>

Вчера вся наша редколлегия, уволенная Ионовым, снималась у Наппельбаума [4]. Вечером устроили проводы и т. к. денег на обед не оказалось ни у кого из ученых, то постановили, чтобы каждый принес с собой бутылку вина. Особенно ратовал за это Волынский, который любит слушать свои собственные речи за бутылкой вина. Но на этот раз ему речи не удались. Когда я (по настойчивому вызову Веры Ал., Каштеляна и Тихонова) пришел в 10-м часу во Всемирную (в бывший тихоновский кабинет), стол был заставлен бутылками самых различных фасонов и Волынский держал в руках тетрадку. В этой тетрадке дурным языком был *написан* застольный тост, который Вол[ынский] и начал читать по тетрадке. Поглядывая на каждого из нас испытующим глазком, он прочитал по тетрадке тост за *Европу,* за культуру, и чуть он кончил, Ольденбург своим торопливым задушевным голосом произнес тост за Евразию. Я сидел как на иголках, я вообще ненавижу тосты, а вечером, среди этих чуждых людей, в этой чуждой мне корпорации я почувствовал такую тоску, что выскочил и (весьма невежливо!) убежал из комнаты. Со мною вышел Замятин и сказал мне: «Как хорошо, что Коллегия кончилась! Сколько фальши, сколько ненужных претензий, Блок и Гумилев умерли вовремя». Странно, у меня Блок и Гумилев все время были в памяти, когда я слушал чтение Волынского.

Я еще не уезжал в Финляндию, а уже начинаю скучать по Питеру, по детям, по жене. Тоска по родине впрок! Скучно мне по моей уютной комнате, по столу, за которым я сейчас пишу, и т. д. Мура играет в мяч и говорит: *и кресло умеет играть в мяч, и стена умеет, и печка умеет. Ей сделали из бумаги монеты: 3 к., 2 коп., 1 к., и она, не подозревая, что это для усвоения математики, играет в магазин, в лавку.*

21 января. Я в Куоккала. Вчера приехал. Дома было очень тяжело прощаться с М. Б., с мамой, с Мурой. Мама сказала: «Ну прости и *прощай»,* и так обняла меня, как будто мне 2 года. Она уверена, что мы с нею больше никогда не увидимся. В поезде я познакомился с художником Ярнфельдом, который ездил на 4 дня в Ленинград. Он хорошо говорит по-русски, почти без акцента, плешив, невысокого роста. Вез с собою старые каталоги «Музея Ал[ександра] III». Переехав финскую границу (на обеих границах были чрезвычайно любезны, Оневич пропустил все мои книжки), я сел обедать, он подсел к моему столику и заговорил о Максиме Горьком. «Не могу понять, как он мог, переехав в Финляндию, сейчас же начать ругать русский народ? Я пошел к нему, когда он б[ыл] в Гельсингфорсе, и он стал передо мною, финном, ругать Россию и восхвалять Финляндию. Это показалось мне очень странным». Ярнфельд рассказал мне, что в Гельсинках с огромным успехом идет пьеса Евреинова «Самое Главное» — очень милая, очень изящная.

О своих питерских впечатлениях он говорил сдержанно, но сказал:

«Удивительно, как русские люди стали теперь вежливы. Прежде этого не было. Я нарочно спрашивал у них дорогу (как пройти на такую-то улицу), чтобы дать им возможность проявить свою вежливость».

Комендант Район, Стольберг, к к-рому я обратился с расспросами о Репине, посоветовал мне поехать в Куоккала не поездом, а в санях. «Дорога обледенела, пешком идти нельзя, а на станции не найдете извозчика». Он отрядил какого-то мальчишку сбегать в деревню за местным извозчиком. Покуда Стольберг рассказал мне, что на днях к И. Е. приезжали какие-то Штейнберги, привезли ему фруктов, мандарин, апельсин, яблок, он наелся и ночью у него расстроился живот. И вот И. Е. стал думать, что фрукты были отравленные! (?!) Ехал я в Куоккалу с волнением, — вспоминал, всматривался, узнавал; снегу мало, дорога сплошной лед; приехав в дворницкую к Д[митрию] Федосеевичу, остановился у него. Но не заснул ни на миг. Ночью встал, оделся — и пошел на репинскую дачу. Ворота новые, рисунок другой, а внутри все по-старому, шумит фонтан (будто кто ногами шаркает), даже очертания деревьев те же. Был я и у себя на даче — проваливался в снег — вот комната, где б[ыл] мой кабинет, осталось две-три полки, остался стол да драный диван, вот детская, вот знаменитый карцер — так и кажется, что сейчас вбежит маленький Коленька с маленькой Лидкой. Самое поразительное — это знакомые очертания домов и деревьев. Брожу в темноте, под звездами, и вдруг встанет забор или косяк дома, и я говорю: «да, да! те самые». Не думал о них ни разу, но, оказывается, все эти годы носил их у себя в голове. Всю ночь меня тянуло к Репину каким-то неодолимым магнитом. Я несколько раз заходил к нему в сад. Д. Ф, говорил мне, что Вера Репина при нем очень настраивала И. Е. против меня, так что он даже выгнал ее из комнаты.

Ну, был я у И. Е. Меня встретила жена его племянника Ильи Васильевича, учительница. Проводила. Как увидел я ноги (издали) И. Е. (он стоял в комнате внизу), я разревелся. Мы почеломкались. «Терпеть не могу сантиментов, — сказал он. — Вы что хотите, чай или кофе?» Я заговорил о Русском Музее — «Покуда Питер зовется Ленинградом, я не хочу ничего общего с этим городом». Я взглянул на стол и увидел «Новое время» Суворина с какими-то новогодними пожеланиями Николая Николаевича. — Вы читаете «Новое Вр.»? — Да, я получаю эту газету. — Я всматривался в старика. На вид ему лет 67—68. Щеки розовые, голова не дрожит. Я выказал ему свою радость, что вижу его в таком бодром состоянии. — Ну нет, я развалина, однако живу, ничего. — Только волосы у него стали белее — хотя нет того абсолютно белого цвета, какой бывает у глубоких стариков. «Зубов нет. Вставил я себе зубы за 3500 марок — да не годятся». Очень заинтересовало его мое предложение — предоставить Госиздату издать книгу его «Воспоминаний», с тем, чтобы доход пошел в пользу общества Поощрения, которому он

подарил права на издание. Потчевал он меня равнодушно радушно — и кофеем, и чаем, и булками. Пишет портрет какой-то высокой девицы. — Девица пришла и села в углу. Понемногу он разогрелся и провожал меня гораздо радушнее, чем встретил: отменил какую-то работу, чтобы провести со мною послеобеденное время. Расспрашивал о Луначарском — что за человек. «Так вот он какой!»

Во время беседы — как всегда — делал лестные замечания по адресу собеседника:

— О, вы так знаете людей.

— О, вы остались такой же остроумный, как прежде. (И проч.)

И как всегда — во время самого пылкого разговора — следит за мелочами всего окружающего.— Вот принесли дрова!..— Куда вы уносите чайник? — В мастерской наверху у него холодно, он работает внизу в столовой. На нем потертое меховое полупальто. Жалуется на память: «ничего не помню», но тут же блистательно вспомнил имя-отчество Штернберга, несколько отрывков из моих недавних писем и пр. Уходя, я внимательно рассмотрел новые ворота, ведущие в Пенаты. Ворота плохи: орнамент никогда не удавался И. Е-чу. Графика его самое слабое место.

От него я отправился в будку. Увидел двух полицейских Вестерлунда и Порвалли, знакомых. Они меня весело приветствовали — одного из них я помню извозчиком, а другой — важный, тяжеловесный Вестерлунд — только стал круглее и солиднее.

Когда я уходил от Репина, со мной заговорил какой-то финн: — Скажите, сколько стоит в Питере бутылка спирту? (Очень серьезно.)

Пришел к нему в 3 часа. На кушетке лицом вниз, дремлет, племянник читает ему «Руль» и «Последние известия». Он дремлет, не слушает. Встряхивается:

«А я ни слова не слыхал, что ты читал... О, этот «Руль» — «без руля и без ветрил». Нет, «Новое Время» лучше. Оно знает свою публику».

Потчует чаем. Для меня заварил свежий. Приходит служанка, — берет чайник, хочет налить чаю. «Нет, возьмите тот (указывает на чайник, где чай спитой). «Это для Веры Ил.». — Ну возьмите этот». Получая пять пенни сдачи — «Положите там».

Я читал из Горького «О С. А. Толстой». — «Хорошо шельма пишет. Но главного он не сказал. Главное в том, что Чертков, мерзавец, подговаривал Т[олсто]го, чтобы Т[олстой] отдал свою Ясную Поляну вашему п[ролетариа]ту, будь он трижды проклят».

Послушал «Ибикус» Толстого — «бойко, бойко» — но впечатления мало. Но зато письма Л. Андр[еева] доставили ему истинное наслаждение. «Ах, как гениально! Замечательно!» — восклицал он по поводу писем Анастасии Николаевны к сыну. Хохотал от каждой остроты Л. Н «Ах, какое было печальное зрелище — его похороны. Дом разрушен — совсем, весь провалился. У меня здесь бывала Анна Ильинична. Постарела и она. А Савва Андреев рисует — о, плохо, плохо, бездарность». Илья Еф. ждет к себе Гинцбурга — волнуется, почему ему не выдают паспорта. Я спросил его о портрете Анны

Ильиничны: «Да, да, я сделал ее портрет, но портрет уже ушел». Обо всех проданных картинах он всегда говорит: ушли. Просил меня справиться о судьбе портрета Бьюкенена. Я опять говорил ему о Русском Музее. «Боюсь, вдруг б[ольшевики] возьмут и начнут отбирать». Потом мы пошли прогуляться. Он меня об руку — дошли до парка Ридингера. «Вырублено, и я у себя все вырубил в саду — чтобы было больше воздуху, света. И «пальмы» срубил. Ах, смотрите (влюбленно), Сириус: ну есть ли где звезда лучше этой. Остальные звезды рядом с этой как стеклышки». Захотел вечером зайти к Федосеичу. «Я вас предупреждаю, что он (оставлено пустое место для пропущенного слова. — *Е. Ч.*); иначе его туда не пустили бы. Берегитесь его. Это ч[елове]к купленный». Но войдя, очень приветлив — уселся, заставил дочку читать свои стихи — но уйдя: «Неталантлива, вот у нас был Шувалов, это талант — Лермонтов!»

Суббота. Бедный Илья Ефимович! Случай с доктором Штернбергом открыл мне глаза: его моложавость — иллюзия, на самом деле он одряхлел безнадежно.

Вчера И. Е. подробно рассказал мне этот случай. В четверг, в неурочный час явилась к нему незнакомая чета: «мужчина вот с этакими щеками и дама, приятная дама, считая по самому дамскому счету, не старше тридцати лет, милая дама, очень воспитанная, да. Они говорят: «Простите, что мы явились не в указанное время, но мы присланы к Вам от О-ва Куинджи — мы уполномочены поднести Вам адрес». И держат в руках вот эту папку: видите, кожа, и хорошая кожа. Ну, самый адрес банальнейший, обыкновенные фразы: «Ты такой-сякой немазаный»... (Текст действительно оказался очень трафаретным, с намеками в либеральном духе: «теперь, в этот кошмарно-тяжелый час», «надеемся на лучшее будущее» и проч. Под адресом подписи: Химона, Бучин, Ив. Колесников, Юлий Клевер, Фролов, Курилин и другие.) Смотрю я на этого Штернберга, морда у него вот (хотя держится он очень симпатично), и спрашиваю: — Разве вы художник? — Нет, говорит, я не художник, я доктор медицины. — Это меня рассердило (хотя ведь и Ермаков не художник, а был же Ермаков — *председателем* общества Куинджи), и я как с цепи сорвался. А они мне: — Дорогой И. Е., приезжайте к нам в Пб. Вам дадут 250 р. жалованья, автомобиль, квартиру. Ну это меня изажгло. — Никогда не поеду я в Вашу гнусную С[овдеп]ию, будь она проклята, меня еще в кутузку посадят, ну ее к черту, ограбили меня, отняли у меня все мои деньги, а теперь сулят мне подачку... И кто это вас уполномочил предлагать мне такую пенсию? — Они вдруг говорят мне: «Бродский, художник». А я отвечаю: но ведь Бродский художник, талант, разве он администратор — и так рассердился, что разругал их вовсю. Тут вошла Вера и сказала им:

— Это с вашей стороны даже нахально насильно врываться к отцу.

Они встали, поклонились и ушли. Я сидел, как истукан, не сдвинулся, даже не пошел их провожать. Невежа, невежа (смеется). А они очень учтивые, благородные — оставили у меня на столе корзину фруктов. Роскошная корзина, персики, мандарины, груши... Рубенсовская роскошь. Они ушли, я съел мандаринку и лег спать. Лег и проснулся с ощущением, что я отравлен. Фрукты были пропитаны ядом! Не то чтобы у меня расстроился живот, а вот тут под грудью подпирает, Я встал, пошел бродить вокруг фонтана, оставляя на снегу темные следы, потом вернулся и выпил молока. Никогда не пил я молоко с таким удовольствием. Утром спрашиваю Веру: «Ну, Веруся, как твое здоровье? — «Ах, у меня ночью было такое расстройство желудка». — «Фрукты были отравлены!» — говорю я. Потом спрашиваю Илью Васильевича: «Ну как ваш желудок?» — «Расстроен, — отвечает Илья Васильевич, — но это оттого, что я вчера на ночь съел две тарелки тяжелого борщу». — «Нет, тут не борщ, а фрукты: фрукты были отравлены». Потом приходит ко мне моя модель — вы ее видели, — я отдаю ей все фрукты в химическую лабораторию для анализа, но почему-то анализа не удалось сделать».

— А может быть, фрукты были зелены?

— Нет, нет, прекрасные, спелые фрукты.

— Итак, Илья Еф., вы считаете, что известный заслуженный доктор медицины, явившийся к вам с поздравит. адресом от общества Куинджи, зачем-то решил сократить вашу жизнь — ради каких выгод? Во имя чего?

Перед напором здравого смысла И. Е. сдается, но на минуту. «Да, да, все это глупая фантазия», но я по глазам его вижу, что он только притворяется рассудительным. На самом деле фантазия владеет им всецело, и нет никакого сомнения, что эту фантазию поддерживает в нем подловато трусливая Вера.

Лет десять назад он бы только прогнал идиотку, а теперь он весь в ее власти.

Забывчивость его действительно страшная. Я и не подозревал, что она может дойти до таких размеров. Сегодня утром я должен был придти к нему — к 8½ часам, но оказалось, что мне нужно ехать в Териоки к ленсману, прописаться, и я послал к Илье Еф. Марусю Суханову сказать, чтобы не ждал меня. Придя к нему днем, по возвращении из Териок, я первым долгом рассказал ему, отчего я не мог придти к нему утром, но через четверть часа он спросил меня (досадливо): «Отчего же вы не пришли сегодня утром? Я так вас ждал?»

При мне пришел к нему какой-то дюжий мужчина, квадратного вида. Он пришел спросить Илью Еф-ча, нужна ли ему и впредь газета «Новое Время». — Спросим Илью Васильевича. — Илья Васильевич сказал, что бог с ним, с «Новым Временем», довольно и одного «Руля». Когда мужчина ушел, Илья Еф. сказал мне, что это сотрудник здешней русской газетки «Русские Вести».

Оставшись вдвоем, мы занялись чтением. Я стал читать ему

«Руль» от 22 октября прошлого года, причем вначале мы оба думали, что это свежая газета (я не заметил слово *октябрь*), причем я скоро понял свое заблуждение, а И. Е. дослушал газету до конца, хотя в ней говорилось, что Франция еще не признала Советскую Власть, что Ольдор оправдан и проч.

Читая ему газету (потом я отыскал последний № от 20 янв. с. г.), я всякий раз указывал ему, что то или другое сообщение — ложь, и он всегда соглашался со мною, но я видел, что это pro forma, что на самом-то деле он весь во власти огульных суждений, готовых идей, сложившихся предубеждений и что новые мысли, новые факты уже не входят в эту голову да и не нужны ей. Вся его политическая платформа дана ему Верой, Юрием и Ильею Васильевичем. Юрий и Вера — как подпольные, озлобленные, темные неудачливые люди, предпочитают обо всем думать плохо, относиться ко всему подозрительно, верить явным клеветам и небылицам. Не сомневаюсь, что версия об отравлении плодов Штернбергом принята ими за чистую монету. Такими же «чистыми монетами» снабжают они Илью Ефимовича и в области политики в течение последних 7—8 лет. Кто такой его племянник Илья Васильевич? По словам Ильи Еф., это бывший врангелевский офицер, адъютант многих генералов, который только того и ждет, чтобы Врангель кликнул клич. «И Врангель кликнет, да, да! Врангель себя покажет. Мы читали тут книгу генерала Деникина, чудо, чудо!»

Самое неприятное то, что влияние этих людей сказалось и на отношении Репина ко мне.

В первое время он согласился напечатать свои «Воспоминания». Теперь его свите померещился здесь какой-то подвох, и все они стали напевать, что, исправляя его книгу, я будто бы погубил ее. Со всякими обиняками и учтивостями он сегодня намекнул мне на это. Я напомнил ему, что моя работа происходила у него на глазах, что он неизменно, даже преувеличенно, хвалил ее, восхищался моими приемами, что на его интонации я никогда не покушался, что я сохранил все своеобразие его языка. Но он упорно, хотя и чрезвычайно учтиво, отказывался: — Нет, этой книге не быть. Ее нужно напечатать только через 10 лет после моей смерти.

Так как корректура его экземпляра весьма несовершенна, он считает, что все ошибки наборщиков принадлежат *мне*.

Даже этой фантазии мне не удалось изгнать из его закостенелого мозга. Он упорно стремился прекратить разговор — всякими любезностями и похвалами «О, вы дивный маэстро», и проч.

Заговорили о Сергееве-Ценском. «О, это талантище. Как жаль, что я не успел написать его портрета. Замечательный язык, оригинальный ум».

Семена Грузенберга ругает. « Написал мне письмо, чтобы я написал ему О методах своего творчества, но я даже не ответил... Ну его».

Интересно, что сквозь эту толщу мещанского закоснелого старческого иногда проступает прежний Репин. Заговорили мы, напр., о

нынешней школе. Я сказал, что в этой школе много хорошего, — напр., совместное воспитание.

— А что же это пишут, будто от этого совместного воспитания 12-летние девочки стали рожать.

— Но ведь вы, Илья Ефимович, сами знаете, что это вздор.

— Да, да, я всегда был сторонником совместного воспитания. Это дело очень хорошее.

Но эти прежние мысли живут в его голове отдельно, независимо от нововременских и не оказывают никакого влияния на его черносотенство. Например, он говорит: я был всегда противником преподавания в школе Закона Божия, и тут же ругает С[оветскую] В[ласть] за изъятие Зак[она] Б[ожия] из школьных программ.

Честь ему и слава, что, несмотря на бешеное сопротивление семьи, он все же со мною встречается, проводит со мною все свое свободное время. Напившись чаю, он пошел ко мне; очень ласков, очень внимателен, — но я вижу, что мои посещения ему в тягость; Вера, чуть только я приду, запирается в комнате у себя, не выходит ни к чаю, ни к завтраку и проч.

В нем к старости усугубились все его темные стороны: самодурство, черствость, упрямство...

Териокский вокзал. Подземелье. Рассказ Августа Порвалли. Книжный киоск. На прописке у ленсмана. Русских куча — жалкие. Блинов — чуть-чуть поседелый — кормит капустными щами красивого черноглазого мальчика. В даче скука — зеленая. Я решил написать Репину письмо такого содержания.

Дорогой И. Е. Делать мне в Куоккала нечего, я не сегодня завтра уезжаю, поэтому позвольте напоследок установить несколько пунктов:

1. Имеющийся у Вас экземпляр — черновой, не прошедший чрез мою корректуру Вашей книги. После того, как этот экземпляр б[ыл] оттиснут, книга была вся исправлена.

2. Все изменения в Ваших рукописях были сделаны мною не самовольно, а по Вашей просьбе, под Вашим контролем, причем до сих пор Вы и устно и письменно выражали полное одобрение моей работе.

3. Никакого ущерба стилю Вашей книги я не мог причинить, ибо исправлял только явные описки, неверные даты и проч. Ваши рукописи подтвердят это.

4. Вообще моя роль в создании этой книги отнюдь не так значительна, как Вы великодушно заявляете. Она сводится только к следующему:

а. Я (и Марья Борисовна) упросил Вас написать о Вашем детстве и юности, о которых Вы рассказывали устно, а также о славянских композиторах.

б. Я выбрал из Ваших альбомов соответствующие иллюстрации.

в. Я аранжировал все статьи в хронологическом порядке, установил последовательность текста.

г. С Вашего согласия я кое-где устранил описки и фактические неточности. Если же кое-где и делались изменения в структуре фразы, они делались с Вашего одобрения, о чем свидетельствуют десятки Ваших писем ко мне.

Никаких разговоров о том, что я редактор этой книги, быть не может. Я ее инициатор — и только. Никакого гонорара я за свою работу не хочу. Я только не могу понять, почему русское общество должно оставаться без автобиографии Репина, почему Ваши дети должны отказаться от денег, которые Вам немедленно предлагает издатель.

Ведь тот план, который я предложил Вам, одобрен и Яремичем и Нерадовским.

Сегодня племянница Репина, учительница Елисавета Александровна, рассказывала мне о Репине. Он председатель школьного Совета здешней школы. В школе он часто читает отрывки из своих «Воспоминаний». Школа по программе реального училища. Последняя картина Репина — портрет здешнего священника — с крестом, в алтаре. Его обычная натурщица эстонка, Мария Яновна Хлопушина, жена студента-дворника.

Мария Вас. Колляри рассказывает, что когда Репин нуждался, ее брат финн Осип Вас. Костиайнен послал Репину в подарок немного белой муки, Репин был [так] тронут, что встал на колени перед дочерью Осипа, Соней — «О, спасибо, спасибо!»

Свой театр «Прометей» Репин подарил союзу финск. молодежи в день 80-летия. Всякий раз в день именин Репина общество финской молодежи является к нему и поет ему приветственные песни — вот он и подарил этому обществу тот деревянный сарай, который купил когда-то для постановки пьес Натальи Борисовны Нордман.

По словам той же Марии Вас, когда Репин нуждался, г-жа Стольберг, жена президента, купила у Репина картину за 500 000 марок. Мы очень бедный народ, у нас нет денег, но мы не дадим Репину умирать с голоду.

Репин говорил мне, что у него «похитили» 200 000 рублей, — вернее 170 000, «да картинами тридцать». И тут с упоением вспомнил: — Бывало, несешь в кармане такую кучу золоту, что вот-вот карман оторвется.

Я, наблюдая его нынешнюю религиозность, пробовал говорить с ним о загробной жизни. «Никак не могу поверить в загробную жизнь... Нет, нет...»

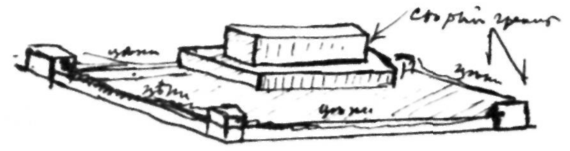
Читали мы с ним газету «Руль». Там сообщались заведомо ложные сведения о том, что Питер изнывает от избытка камен. угля. — Вот какой вздор! — сказал я. — Да, да, конечно, вздор, — согласился он. — Уголь дает больше жару, занимает меньше места и проч.

Воскресение. Был я вчера у себя на даче снова с Маней Сухановой. Она стала поднимать с полу какие-то бумажки и вскоре разыскала ценнейший документ, письмо Урсина о том, что моя дача принадлежит мне. Как странно поднимать с полу свою молодость, свое давнее прошлое, которое умерло, погребено и забыто. Вдруг мое письмо из Лондона к М. Б., написанное в 1904 году — 21 год тому назад!!! Вдруг счет от «Меркурия» — заплатить за гвозди. Вдруг конверт письма от Валерия Брюсова — с забытым орнаментом «общества свободной эстетики» — все это куски меня самого, все это мои пальцы, мои глаза, мое мясо. Страшно встретиться лицом к лицу с самим собою после такого большого антракта. Делаешь себе как бы смотр: ну что? ну как? *К чему* была вся эта кутерьма, все эти боли, обиды, работа и радости — которые теперь лежат на полу в виде рваных и грязных бумажек? И странно: я вспомнил былое не умом только, но и ногами и руками — всем организмом своим. Ноги мои, пробежав по лестнице, вдруг вспомнили забытый ритм этого бега, усвоенный десяток лет назад; выдвигая ящик своего старого письменного стола — я сделал забытое, но такое знакомое, знакомое движение, которого не делал много лет. Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю *себя, хранящегося в этих вещах*. Пойдя к себе в баню (я и забыл, что у меня была баня!) (баня провалилась, сгнила), я вдруг увидал легкое жестяное ведерко, в котором я таскал с берега камни, воздвигая свою знаменитую «кучу», — и чуть не поцеловал эту старую заржавленную рухлядь. А Колин террарий — зеленый! А каток (прачешный), на к-ром я катал маленького Бобу! А диван, огромный, подаренный мне женою в день рождения, зеленый. С дивана сорван верх (как живая кожа с человека), подушки изрезаны ножами, торчит груда соломы — и я вспоминаю, сколько на нем спано, думано, стонато, сижено. Диван был огромный, на нем помещалось человек 15 — не меньше; чтобы втащить его в дом, пришлось разбирать террасу. Как любили танцевать на нем Лида и Коля. — Афиша о моей лекции! визитная карточка какого-то английского майора — забытого мною на веки веков, слово «карцер», вырезанное детьми на клозете, и проч. и проч. и проч.

Но вперед, вперед, моя история, лицо нас новое зовет. Николай Александрович Перевертанный-Черный. Окончил Петербургский университет вместе с Блоком. Юрист. Красавец, с удивительным пробором. Раньше чем познакомиться с ним, я знал его лицо по портрету его жены, известной и талантливой художницы. Там он изображен с двумя породистыми французскими бульдогами — и имел вид норвежского посла или английского романиста. Чувствовалась культура, «порода», и проч. Когда я познакомился с ним, это оказался лентяй, паразит, ничего не читающий, равнодушный ко всему на свете, — кроме своего автомобиля, ногтей и пробора — живущий на средства своей жены — человек самовлюбленный, неинтересный, тупой, но как будто добродушный. Когда наступила война, я, благодаря своим связям с Ермаковым, осво-

бодил его от воинской повинности. Помню, как горячо благодарил он меня за это. Во время революции он все копил какие-то запасы, прятал между дверьми рис, муку и т. д., ругал большевиков, продавал чью-то (не свою) мебель и собирался к отъезду. Наконец собрался, захватил ½ пуда (не своего) серебра и тронулся в путь. Серебро у него пропало в дороге, его облапошил провожатый, которому он доверился, но зашитые деньги у него сохранились, и, прибыв в Куоккала, он зажил великосветскою жизнью: дамы, вино, увеселительные поездки. Своим новым знакомым он говорил, что он — граф. У него была в ту пору собака — сука Тора — та самая, с которой он красуется на портрете своей жены. Этой суке этот сукин сын посвятил всю свою жизнь. В то время, как в Питере умирали от голоду люди (я, напр., упал на улице, и меня поднял Гумилев), в то самое время Перевертанный готовил для своей Торы завтраки и обеды и[з] яиц и телятины. «Возьмет яйцо, разобьет и понюхает и только тогда выльет его на сковороду», — рассказывала мне Мария Вас. Колляри, у сестры которой он жил, — белок вон, а желток для Торы, и через день ездил в Териоки покупать для Торы телятину. Нарежет тонкими ломтиками — и на сковороду — никому другому не позволит готовить для Торы обед. В свободное от этих занятий время — кутежи. Но вот Торушка захворала. Он отвез ее в Выбор[г] к доктору, заплатил 500 марок — «и право, — говорила Марья Вас., — мне хотелось бы дать этой собаке какого-нибудь яду, чтобы спасти человека от дохлятины. Но Тора увядала с каждым днем... и наконец околела». Он устроил роскошный поминальный обед, заказал гроб и на могиле поставил памятник, причем каждый день клал на эту могилу свежие цветы! Эти похороны стоили ему 1½ тысячи марок. «Если бы у него было 50 000, он истратил бы все пятьдесят», — говорит Марья Васильевна. Но денег у него уже не было. Тогда он выманул у меня доверенность на право распоряжения моими вещами и продал всю мою обстановку за 11 тысяч марок, чем и покрыл свои расходы на лечение и похороны обожаемой суки. Не знал свящ[енник] Григорий Петров, когда помогал мне покупать в Выборге эту мебель, что мы покупаем ее для украшения собачьей могилы, для расходов на траур Перевертанного-Черного!

Уже светает. Пойду-ка я сейчас на эту могилу и поклонюсь *драгоценному* праху, — т. е. праху, который обошелся мне так дорого. Не знал я, когда гладил эту вонючую, жирную, глупую, злую собаку, что она отнимет у меня все мои стулья, столы, зеркала, картины, диваны, кровати, комоды, книжные полки и прочее. Никто никогда не знает, какую роль в его жизни сыграет тот или иной — самый малозаметный предмет. Был на собачьей могиле: снежок, ветер с моря, сурово и северно. На даче Гёца гора, высокая и величественная. С этой горы далеко виден морской простор — очень поэтичное место! Там под сосной покоится сучий прах. Могила такого вида (нарисована могила Торы. — *Е. Ч.*).



Страница дневника. Нарисована могила собаки Торы.
Куоккала. Январь 1925 г.

Если бы на Волковом кладбище у каждого писателя была такая могила, мы не жаловались бы на равнодушие читателей.

Был я в церкви. Церковь крепкая, строена и ремонтирована на пожертвования купца Максимова. Благолепие, на двери бумажка: расписание служб и фотографии, карточка Тихона. Главный храм пуст — богослужение происходит в левой боковушке. Там у правого клироса певчие, сыновья того же Максимова, и среди них — Репин, браво подпевает всю службу, не сбиваясь, не глядя в ноты. Священник дряхлый, говорит отчетливо, хорошо. Выходя, Репин приложился к кресту, и мы встретили[сь]. Очень приветливо поздоровался со мной — «Идем ко мне обедать!». Я сказал: «Нет, не хочу; Вера Ильинична должна от меня прятаться, ей неудобно». Он сказал: «Да, очень жаль». Я спросил о Тихоне: «Да, очень хороший, а тут у нас был Григорий — интриган и впоследствии умер». Очень обрушивался на моего Дмитрия Фед., который сказал, что теперь мужику лучше. «И заметьте, заметьте, сам говорит, что богатый

владелец дома должен жить в хибарке, в уголку, а свой дом, нажитой с таким трудом, — уступить какому-то мужичью. Эх, дурак я был — да и не я один — и Лев Толстой и все, когда мы восхваляли эту проклятую лыворуцию... Вот, напр., Ленин... ну это нанятой агент (!?)... но как мы все восхваляли мужика, а мужик теперь себя и показал — сволочь»... Я сказал И. Е., что завтра хочу уехать и прошу его рассказать мне подробнее о своем житье-бытье. — Ну что ж рассказывать! Очень скучно здесь жилось. Самое лучшее время было, когда была жива Наталья Борисовна, когда вы тут жили... Тогда здесь было много художников и литераторов... А потом никого. — Ну а финны? — Финны отличные люди. Вот кто создан для республики, а не наши сиволапы, коверкающие правописание *. И зашел разговор о финнах, который я запишу завтра. А сегодня я хочу дописать о Перевертанном. Колляри, у коих я брился, рассказывали мне, что когда Перев[ертанный]-Ч[ерный] похищал у Бартнера пианино — он вызвал Евсея Вайтинена доставить пианино в Териоки. Вайтинен говорит: — У нас воровать нельзя, я это пианино не повезу. — Вези. — Не повезу. — Вези, я продам пианино, а деньги пошлю Бартнеру. — Нет, Бартнер не такой ч[елове]к, он скажет: мне деньги не нужны, отдавай пианино. — И не повез пианино Евсей. — Тогда, пожалуйста, увези его отсюда назад. (Пианино было довольно далеко от дачи Бартнера.) — Нет, не повезу. — П[еревертанному]-Ч[ерно]му стало дурно. У него отнялся язык. Он весь почернел. <...>

«Когда он украл пианино и его поймали, он стал говорить, что кончит жизнь самоубийством. Со старухой Гёц они ловко устроили торговлю краденых вещей. Гёцы были гордые люди, мне было больно смотреть, как старуха унижается, но такую же продажу устроили Герши, и туда я ходила. Финны называли это Hershan Messud — Гершова выставка — на пяти столах они раскладывали — финны ходили и узнавали чужие вещи.

Я ехидно спрашивала:

— Madame Герш, зачем вам было 10 топоров?

— Ах, М. В., у нас было такое большое хозяйство.

Почтальон Токко купил у m-me Герш в разное время 75 матрацев. У Герш работала служанка Маша, и она спрашивала:

— Барыня, откуда у вас опять так много вещей? Вчера все распродали, а сегодня опять.

— Ах, *Маша,* вы не знаете, мы были такие богатые люди.

— Но вот эти часы всегда висели у Бари на стене.

— Ах, Маша, неужели вы не знаете, что у нас были такие же часы.

Как-то Маша говорит: — Барыня, я видела сейчас: из чужой дачи вылез какой-то господин с узлом краденых вещей.

---

* Ненависть к новому правописанию есть один из самых главных рычагов контрреволюц[ионных] идей И. Е. — *Примеч. автора.*

— *Маша, Маша,* это вам так показалось. Господин не мог красть вещей. Крадут вещи только простые люди.

— Барыня, когда я всмотрелась, оказалось, что это был наш барин...

— Нет, *Маша,* нет, это быть не может, барин ведь такой *образованный*.

Наиболее *индивидуальные* вещи они сплавляли в Выборг и Гельсингфорс в чемоданах. Маша отнесет чемодан на станцию — сегодня на Куоккала, завтра на Оллила, а Герш или Перевертанный — образованные люди, идут налегке и отвозят сплавлять наворованное». То, что я здесь записываю, подтверждают: М. Вас. Колляри, крестьянин Евсей Ив. Вайтинен, Матвей Ив. Вайтинен, дочь художника Шишкина, Лидия Ив. Шайкович, художник Блинов, проф. Шайкович, огородник Дмитрий Федосеевич Суханов и многие другие...

Под впечатлением этих рассказов кинулся я к Кондрату Гёцу, которого знал очень любезным мальчиком. Застал его в сарае, он кормил кур. Встретил меня нагловато:

— Вам что угодно?

— Я пришел узнать адрес вашего, друга Перевертанного-Черного.

— Не знаю.

— Но ведь говорят, что вы с ним постоянно переписываетесь.

— Нет, переписывался, когда он служил в Художеств. Театре... а потом перестал...

— Я хочу привлечь его к суду за обворование моей дачи... Как же вы могли равнодушно смотреть, что обкрадывают дачу вашего соседа?

— Черный говорил, что его его обокрали, вот и он обкрадывает...

— Но разве я обокрал его?

— Не знаю.

После этой наглости я повернулся и ушел. Для меня ясно, что Черный для того, чтобы оправдать в глазах куоккальского общества свое воровство, ославил меня здесь «большевиком» и «экспроприатором». Сукин сын.

Я решил написать ему такое письмо.

Милостивый Государь. Я посетил свою дачу в Куоккала и путем опроса многочисленных свидетелей установил, что вы, действительно, продали принадлежащую мне мебель и часть моей библиотеки. Вырученные от этой продажи деньги вы присвоили себе.

Благоволите немедленно прислать эти деньги мне — по адресу... (Ваша деятельность по охране чужого имущества простодушных людей, которые имели наивность довериться вам в Куоккале, показалась мне столь своеобразной, что я, движимый чисто литературным интересом, собрал о ней самые подробные сведения. Г-да Репин, Блинов, Шайкович, Суханов, Вестерлунд, Э. Колляри, Р. П. Колляри, М. Вас. Колляри, Евс. и Матвей Вайтинен и многие другие свидетели снабдили меня столь обширным матерьялом, что

я мог бы написать целую статью во фр., нем. и рус. газеты об этой знаменательной эпохе Вашей жизни.)

Вечером я был у Стольберга, коменданта Район. О политике мы не говорили, конечно, ни слова. Я пришел к нему с отчетливой целью — расспросить его о Репине, с к-рым он в последние годы стал близок. И он, и его жена с большою горячностью заявили мне, что Репин один из лучших людей, какого они когда-либо встречали, и что так думает о нем вся Финляндия. Какой он благородный! Русские люди вообще любят говорить худо о других, Репин никогда ни о ком. Сосед надул его — должен был дать ему за покос травы несколько сот марок, а дал всего лишь десяток яиц (или на десяток яиц) — Репин даже не жаловался, а все просил, чтобы мы и виду не показали, будто знаем об этом.

В 1922 г. он писал портрет Стольберга. 10—15 сеансов. «Это было чудесное в р е м я » , — вспоминает жена Стольберга — особенно приятны были перерывы, когда мы шли вместе чай пить. И характерно: когда мы возвращались назад, Репин непременно проберется тайком вперед и откроет для нашей тележки ворота. Как мы ни старались избежать этого, нам не удавалось. Это было так трогательно. Он вообще всегда считает всех людей выше себя. Когда он читает свои дивные воспоминания, он говорит вначале: кому неинтересно, можете выйти. Простите мне мою смелость, что я решаюсь занимать вас своей особой... Мы, финны, считаем большой честью, что среди нас живет такой человек...»

Когда я спросил И. Е., правда ли, что он подарил свой театр «Прометей», он сказал:

— А куда мне было девать его? Они пришли ко мне утром с серенадой, а вы знаете, какой я скиф — я чуть не прогнал их... хотя среди них есть такие дивные голоса.

Иду сейчас к Илье Ефимовичу на свидание. Не спал совсем: напугал меня мой Федосеич.

1) Птичник — дровами завален. Птица в нем жила до вегетарианства Нат. Борис.
2) В киоске — бюсты Репина, Толстого, дамы.
3) Коновязь цела старая — теперь уже лошадей так мало, что дорогу не заезживают.
4) *Голубятня, где Р*[*епин*] *спит с июня по август и теперь.*
5) Скуфейка высокая — парусиновая вышитая — голова мерзнет с тех пор, как б[ыл] голод.
6) Вегетарианец ли он теперь?
7) Уплотнился — в одной комнате и кровать, и обеденный стол, и кабинет, и отчасти мастерская. Бывшая спальня превращена в мастерскую. Рядом — висят в столовой портреты <...> [5].

«У меня здесь было собрание картин. Часть их вы помните. Я менялся со своими друзьями, и таким обр[азом] у меня собрались картины Шишкина, 2 картины. «Бурелом» и маленькая

живописная. Было несколько моих: Толстого бюст раскрашенный, и еще другие, не помню, сколько — целую комнату заняли в финском музее — и свою портретную группу с Натальей Борисовной — и с Надей этюд недурной. Тут в Куоккале б[ыло] такое вр[емя], что с одной стороны выгоняли белые, с другой красные, и кажд. минуту можно было ждать, что Пенаты взорвут. Тогда я с Н. Д. Ермаковым еще дружил, он посоветовал передать в музей всю стену, — я так и сделал — адресовался в Финский Музей, просил принять от меня эти картины к[ак] дар, они сейчас же ответили, что возьмут. Директор музея Шерншанов принял в этом горячее участие. Я хотел послать эти вещи на свой счет, но они настаивали, что перевозка будет на счет государства. Тогда я сказал: «Пришлите для столяра марок 300 (т. е. 15 р.), он упакует». Столяр Ганикейнен, прекрасный ч[елове]к, умный, он отлично упаковал. Картины прибыли в Гельсингфорс, и я получил благод[арственные] письма. Тут подошло 50-летие моей деятельности — вечные мои долголетия! S[océ]té des Arts Finlandaises * отнеслось ко мне с большими комплиментами. Потом у меня тут собралось кое-что — чтобы сделать выставку — в том числе и группа знаменитых финнов (я провалился с этой картиной!). Мне присудили (белая эмаль) Орден Белой Розы (сам ленсман приехал, мне привез), и вот — приехал в Гельсинки, очень любезно встретили (увидите, поклонитесь) — Вилли Вальгрен (скульптор средне-европейского стиля), Викстрем, француз — но вот кто это огромный талант сравнительно высокого роста — немного ниже вас — в картине там у меня он виден — Галонен, они съехались, дали мне обед — в ресторане о-ва артистов — вечер прошел очень оживленно (к собаке: пошел назад!), потом я их угостил обедом, и у нас установились отличные отношения. (И солдаты мне козыряют, и мальчишки.) На 1-м обеде — я сказал речь. Радуюсь, что могу быть здесь вместе с вами, собратьями моими по и[скус]ству. Прошу обратить внимание на все, что происходит теперь, потому что это самое радостное время для вас, для художников, для всех художников — и для портретистов и пейзажистов — п. ч. это первые времена их Республики, которые не повторяются. Медовый месяц.

Когда я поехал в вагоне после банкета, ночью мне не спалось, я думал: «Что ж это я наболтал?» И решил я написать этих знаменитых людей, — и я принялся за работу. Мне все прислали свои фотографии. Но из карточки какая же может быть картина? Я не очарован своим произведением. Нет, нет. Корежил я ее, корежил — и я затеял устроить выставку, Леви устроил, мы там жили с Верой в гостинице <...> когда я б[ыл] с выставкой, я получил приглашение посетить президента — он вроде вашего роста — хотя на снимках другого вида, розовый, симпатичный. Выглядим мы оба радушно — но ни слова не говорим. Он говорит только по-немецки. Но тут мне был предст[авлен] полковник, он был в рус. службе. Очень

---

* Финское общество искусств (*франц.*).

обходительный. Показал мне весь дворец — столы большие из приемного зала. Множество угощений — кофе, чай, закуски — от 3-х до 4-х часов трапеза. Я там очень хорошо провел время — дочь президента красавица, учится медицине, студентка. M-me — хорошая ж[енщи]на, я подсел к m-me, и мы разговорились. Madame утешала меня: « Ничего — картина ваша не очень... но вы погодите... не унывайте... она будет продана». У президента было много гостей. <...>

О картине: *она не могла иметь успеха, я не знал, кого с кем посадить, я видел, что вещь будет слабая, и в то же вр*[*емя*], *когда кончилась* (Ярнфельд — он портретист-литографист), он выпустил каталоги, в газетах писалось много хорошего, — запросил я за картину много денег, 200 000 марок — это очень большая цифра — президентша мне все говорила: «Может, вы уступите» — я даже всем говорил, что вещь неудачная, я только извинялся, что благодаря моей молодости — всего только 78 лет — 18 лет я делаю ошибки. Все же я продал кое-что. Портрет Анны Ильиничны Андреевой. Прежде мне тоже случалось работать по фотографиям, но тогда был благодетель Стасов [нрзб]. Над финнами у меня было работы много. Мне интереснее всего Аксель Галлен в шапке, прислал плохой портретик. (Гал[лен] приходил ко мне позировать с большим штофом коньяку в кармане.) Портрет там остался. Галлонен — хороший талант. Он такой дикий; нас угостил собственник дома, где была наша выставка, там был и Галлонен и Ярнфельд. Картину я оставил там. *Леви возил картину по Ф*[*инлянд*]*ии и там — я считаю, что она везде провалилась*. Потом вернулось через 2 года (сохранялась в кладовой) всё ко мне, и тут уж от нетерпения, как всегда, я начал кое-какую переделку (это уже в этом году). Леви предприимчивый ч[елове]к, он сделал мне много добра, он продал «Крестн. Ход», уж я так доверяю ему, как близкому ч[елове]ку, и теперь Леви поехал в Прагу с выставкой. Там Маглич, богатый человек, чех; там сын Юрия Гай, и тоже не без хлопот этого Маглича ему дали иждивение — это очень хорошее пособие для студента. С Магличем была у нас дружеская переписка. Он звал меня туда. Чехи меня примут хорошо, я был там в 1900 году по пути с Парижск. выставки. <...>

Я переписывался с Кони, и А. Ф. меня спрашивает: как вы пишете, воскресшего или ожившего? (О картине «Радость воскресшего». — *Е. Ч.*) Я писал на реальной почве. Я наконец задумался, и вижу, что ожившего только писать. Это проза! А воскресшего — нужно переходить к легенде — здесь полное впечатление мира чудес, мира легенды — есть — нужно быть большим талантом — а я посредствен[ность], и ничего не выходит. <...>»

Потом был я у дочери Шишкина Лидии Ив., но она расположена к И. Е. плохо. Говорит: «У него огромные деньги, а он тут никогда никому не помог, и выклянчил, чтобы Гая обучали в Праге на даровщинку». <...> Блинова вспоминает, как хорошо читал И. Е. свою статью о Вл. Соловьеве, когда выступал в Териоках с

проф. Павловым. Прямо расцеловать хотелось — так изящно, интересно, умно.

Надпись на моей даче
Julkipano
Venajanalanesen onusama palstactile Kivennapan piläjäm Kuokkala Kylässä on otetten ovaltion hortoon kuokkala pi narrascun *.

28 января. Сейчас сижу в Hotel Hospiz № 40. У меня на столе телефон — puhelin и две библии, одна на финском языке, другая на шведском. Сегодня я был у проф. Шайковича, у которого мои бумаги и книги. С ним вместе мы покупали ботинки желтые, узкие, щетку, две пары носков и часы. Отопление паровое — душно. В моей комнате ванна, умывальник, чистота изумительная и цена за все — 2 рубля. День полупраздничный: именины президента Стольберга. Впечатление прежнее: маленький город притворяется европейской столицей, и это ему удается. Автомобили! Радиотелефоны! Рекламы! «На чай» не берут нигде. Бреют в парикмахерских на америк. креслах — валят на спину — очень эффектно. Словом, Европа, Европа.

С Репиным простился холодно. Он сказал мне на прощание: «Знайте, я стал аристократ» и «Я в «Госиздате» не издам никакой книги: покуда существует б[ольшев]изм, я России знать не знаю и каждого тамошнего жителя считаю большевиком». Я ответил ему: «Странно, — там живет ваша дочка, там ваша родная внучка состоит на советской службе, там в советских музеях ваши картины, почему же вы в советское издательство не хотите дать свою книгу?» Этот ответ очень ему не понравился.

29 января. Четверг. Впервые — после большого промежутка — спал. Нельзя не спать в таких дивных условиях. Все были вчера ко мне ласковы: Ш[айкович] и его сыны, Колбасьев и его жена. К[олбасье]вы водили меня в кино: кино было усыпительно.

Вспомнил, что рассказывала мне Блинова, Вал. П-на. Она должна была читать у Репина какой-то доклад — ее пригласили. Читает, волнуется... Вдруг Р[епин] говорит: — Не знаю, как вам, господа, а мне все это скучно. Если лекторша будет читать дальше, я уйду. — Конечно, Б[лино]ва прекратила чтение.

У меня под кнопкой электр. звонка над кроватью висит какая-то надпись. Я думал: указание, сколько раз звонить горничной. Оказалось, это евангельский текст. «Walvakaa ja rukalkaa!» Matt. 26.41 **.

Вчера видел трамваи, на к-рые нельзя вскочить на ходу. Во время движения подножка опускается. Пришел сегодня очень усталый, хотел задремать, но за стеной ревет какой-то младенец, ревет

---

* Объявление. Российское имущество, дом Кивеннапского уезда в селе Куоккала взят под охрану финскими властями (*финск.*).

** «Бодрствуйте и молитесь!» (от Матфея) (*финск.*).

нагло, безнадежно, с громкими всхлипами, с кашлем, как будто нарочно, чтобы не дать мне заснуть. Сажусь записывать впечатления сегодняшние — хотя так и тянет в постель. Утром позвонил Шайкович. Я пришел к нему, взял у него клад — фотографии своих детей, свои, Репина, Волынского, Брюсова, Леонида Андреева, все забытое, с чем кровно связана вся моя жизнь. Я взял эти реликвии — и домой в Hospiz — и просидел над ними часа два, вспоминая, грустя, волнуясь. Вылезло, как из ямы, былое и зачеркнуло собою все настоящее. Потом в 12 час. пошел в посольство — за паспортом. Там встретил Картунена, к-рый б[ыл] приказчиком у «Меркурия», дружил с Ольдором и Карменом. Теперь он лыс, толст, бородат, маслянист, женат. Служит, кажется, в торгпредстве. Мы взяли автомобиль и поехали к портному, к-рого он рекомендует. Портной мне не понравился. Мы поехали с женою Колбасьева в суконный магазин, купили там синего шевиота мне на костюм. Почему синего? Почему шевиота? Есть я хотел ужасно, но столько времени ушло на глупое мотание по городу, что не евши пошел к Ш[айковичу] и с ним в университетскую русскую библиотеку, где хранятся мои бумаги. Библиотека солидная, тихая, чинная, на стенах портреты Гоголя, Толстого, Чехова, Мицкевича, — маленький столик, за столиком старый проф. Игельстрём, сидит и читает старый журнал, где помещены «Соборяне» Лескова. Он слыхал, что в России теперь мода на Лескова — и хочет познакомиться с этим писателем. Славу Лескова привез в Гельсингфорс недавно приезжавший сюда Шпенглер, а он прочитал Лескова по изданию Элиасбера «Рус. писатели о Христе», — словом, Лесков до Европы дошел в высшей степени измененный, искривленный. Вместе со стариком Игельстрёмом сидел похожий на Киплинга проф. фон Шульц, читающий теперь в унив-те лекции о Достоевском. Черные брови, седые усы, лысина. Он жалуется на невозможность достать в Гельсингфорсе самых насущно нужных книг: «Дневник Анны Григорьевны Достоевской», «Сборники Долинина», Леонида Гроссмана «Путь Достоевского» и проч. Только дня два или три назад получил он из РСФСР 21-й и 22-й томы Достоевского под ред. Леонида Гроссмана и обнаружил там те шесть статей Д[остоевск]ого, честь открытия которых приписывал он себе. Здесь, в Гельсингфорсе, перечитывая «Время» и «Эпоху», он открыл несколько статей, которые несомненно принадлежат перу Достоевского. Он написал о своей находке статью для какого-то ученого издания Финск. Академии Наук — и только теперь обнаружил, что его Америка открыта давно. С жадностью слушал он все, что рассказывал я ему о новых раскопках в области изучения Достоевского. С Игельстрёмом мы распрощались, условившись, что сегодня я пошлю за своими бумагами мальчишку из Mars'a. На прощание он рассказал мне о Репине: «У Репина в голове не все дома. Когда я в 1921 г. вернулся из России, у меня было к нему поручение; я посетил «Пенаты», и он пошел меня проводить. Я говорю ему: И. Е., почему вы не поедете в Гельсингфорс? — Он говорит: — Не могу, б[ольшеви]ки не пуска-

ю т . — В Гельсингфорс? — Д а . — Почему же? — Это одна шайка: что финны, что б[ольшеви]ки».

И Игельстрём, и Шульц поразили меня своим сочувственным отношением к тому, что происходит в России. Ни один из них не верит тем басням, которыми утешают себя эмигранты. Они отнюдь не энтузиасты всех мероприятий п[равительст]ва, но они знают, что здесь истинное обновление России, а не просто каприз нескольких очень нехороших людей. По поводу здешней монархической пропаганды Игельстрём говорит, что она так гнусна и глупа, что следовало бы не боясь беспрепятственно распространять ее в Рос[сии], дабы крестьяне видели, *кто* хочет господствовать над ними. Шульца и Шайковича я пригласил в ресторан пообедать. Шульц жадно расспрашивал о Толстом, о литературе, а я жадно ел, так как с утра до 4½ час. у меня во рту ни росинки не было. Замечательно, что оба эти литератора ничего не слыхали о формальном методе, о работах Эйхенбаума, Тынянова, Шкловского. Я за столом прочел им целую лекцию, а потом Шульц пошел ко мне в гостиницу и стал рассказывать свою историю. В молодости он служил в рус. армии прапорщиком — в Чугуеве и в Киеве. Но потом занялся науками в финл. у[ниверсите]те. Началась война; его призвали. По своим убеждениям он враг милитаризма, поэтому он отказался идти на войну. Власти, не желая поднимать шума, предложили ему: пусть остается в тылу и учит военному делу новобранцев. Но Шульц ответил: «Что же это такое? Чтобы я посылал на войну других людей, а сам сидел бы в безопасности? Нет! Ни за что. Нет, нет!» Тогда его перевели на испытание в госпиталь, а потом стали судить. Судили, судили и присудили к тюрьме, посадили в «Кресты», где он много читал и излечился от головных болей. Очень милый человек: с нежностью вспоминает свою тюрьму и судей, посадивших его туда... Сейчас, дня два назад, он ходил к президенту Стольбергу хлопотать за другого такого же антимилитариста, сидящего в финской тюрьме. Хлопоты увенчались успехом. Обо всем этом он рассказывал уже на улице — на каком-то мосту — где мы блуждали по русской привычке — и портфель у него был очень тяжелый: весь набит стихами Блока.

Оказывается, пиетет к Достоевскому у немцев так велик, что германский посланник в Гельсингфорсе, начитавшись Достоевского, специально поехал с женою в Питер, чтобы осмотреть те места, которые изображены в «Преступлении и Наказании» и в «Идиоте».

Ну вот и 9-й час. Пора одеваться. Последние строки я пишу утром 30-го января 1925 г. в пятницу.

Вторник 3 февраля. Гельсингфорс. Сижу 5-й день, разбираю свои бумаги — свою переписку за время от 1898—1917 гг. [6]. Наткнулся на ужасные, забытые вещи. Особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма — уничтожил бы с радостью и самое время. Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безмест-

ность. <...> Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?) — был самым нецельным непростым человеком на земле. Главное: я мучительно стыдился в те годы сказать, что я «незаконный». У нас это называлось ужасным словом «байструк» (bastard). Признать себя «байструком» — значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что быть байструком чудовищно, что я единственный — незаконный, что все остальные на свете — законные, что все у меня за спиной перешептываются и что когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было в самом деле. Помню страшные пытки того времени:

— Какое же ваше звание?

— Я крестьянин.

— Ваши документы?

А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не *читал* [7]. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, — и это пронзило меня стыдом. «Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие» — и когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было — я вижу: это письмо незаконнорожденного, «байструка». Все мои письма (за исключением некот. писем к жене), все письма ко всем — фальшивы, фальцетны, неискренни — именно от этого. Раздребежжилась моя «честность с собою» еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16—17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — «зовите меня просто Колей», «а я Коля» и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь.

А что же Гельсинки? Хожу, ем кашу, стою у оконных витрин, разбираю свои письма и рукописи — и хочу поскорее домой... О, какой труд — ничего не делать. В Гельсингфорсе я только и заметил, что ученицы носят фуражки, к[а]к у нас комсомолки, да что трамваи чудесно устроены: чуть двинутся, в них двери замыкаются сами, подножки опускаются, и никак не вскочить, что витрины

здесь устраиваются с изумительным вкусом, простая лавочка так распределяет бутылки какие-нибудь, бублики, папиросы, что лучшему художнику впору. Очень остроумно в пассаже — папироса огромная, упала на стекло и якобы разбила его: трещина сделана при помощи серебряной бумаги весьма натурально. Или чайник, к которому на экране пририсован пар. А как работают в «Элланто» фрекены — как под музыку, энергично, изящно, без лишних движений, эластично, весело, дружно. Стоит специально ходить туда, чтобы наслаждаться их ритмической музыкальной работой.

4 февраля. Был вчера у Ярнфельда. Он спокойный, медленный, приветливый. Угощал меня завтраком. Жена его смотрела на меня неопределенно: не знала, в чем дело, почему она должна кормить этого длинного русского. У него я видел отличную — по энергии рисунка — голову работы Энкеля, большой этюд Эдельфельда, замечательный этюд Энкеля (набережная Сены), образцы финских ковров и пр. Ни его жена, ни его дочь не говорят по-русски. Он возмущался французским интервью с Петровым-Водкиным, который в какой-то парижской газете похваляется тем, что он изобрел какую-то новую перспективу. « Ну где же здесь новая перспектива?» — спрашивает он и указывает отпечатанную в газете картинку, где видна самая ординарная кроватка, нарисованная по всем школьным правилам. О России сведения у них дикие: очень они удивились, когда я сказал, что в Крыму можно теперь жить на даче, как и в былые времена — беззаботно и н е д о р о г о. — « Неужели в Крыму вообще *можно* теперь жить?» Прошли мы из его дома по Фабиан Гаттан в его мастерскую, при университете. Там есть прелестные этюды: пейзажи, зарисовки сосен и пр. Очень мне понравился портрет какого-то знаменитого хирурга — с лицом м о р ж а , — и большой портрет бывшего ректора, 80-летнего старца, с превосходным чеканным узором морщинок. Мешает Ярнфельду некоторая вялость, дряблость и академическая чернота колорита.

Эти дни я питался беспорядочно и потому постоянно чувствую голод.

Замечательно, что по-фински «счет» называется «lasku». Я только что получил от своего отеля такую ласку: 168 марок от 28—31 января. <...>

8 февраля 1925. Оказывается, что я заплатил за свой отель дважды. Они с изумлением отметили это обстоятельство.

Четверг, февраль. Только теперь прихожу в себя после путешествия. Вновь за письменным столом. Понемногу втягиваюсь в работу после 22-дневного безделья. Работы у меня три: закончить статьи о Некрасове, проредактировать вновь его сочинения и написать трудпесни. Я очень рад таким работам и делал бы их с утра до ночи, но у меня на руках четвертая: Свифт для Госиздата и вообще редактура англ. книг.

15, воскресение... Дела, дела, события! Тихонов арестован. За что, неизвестно. По городу ходят самые дикие слухи. Говорят, будто по требованию Ионова — и будто ему вменяют в вину корыстное управление «Всем. Литер.». Но в Госиздате это отрицают. В Госиздате говорят, что Ионов не только не засаживал Тихонова, но напротив, хлопотал о его освобождении: ездил к Мессингу, взялся в Москве переговорить с Зиновьевым. И я верю, что он здесь ни при чем. Но когда я попробовал заикнуться об этом вчера в «Современнике», на меня посмотрели, как на агента Ионова. А между тем я искренне на самом деле думаю, что здесь возможно роковое совпадение угроз Ионова и ареста Тихонова. В «Современнике» уныло. Сидит одна Вера Владимировна. Она говорит, что Тихонов привез из Москвы 400 рублей для сотрудников, но эти деньги после ареста остались у теперешней жены Тихонова. Я пошел к ней. Она среди великолепных картин и вещей, в нарядном халатике, с намазанными кокотистыми губами симулирует большую тревогу. Рассказывает, что обыск был от трех до девяти час. Они были очень милы, позволили Тихонову напиться кофею. Но теперь он сидит без «передачи», в одиночке, она ездила в Москву, Луначарский дал ей записку к Мессингу, в понедельник она к Мессингу пойдет, и пр. и пр. и пр. Я намекнул, что сотрудникам трудно без денег, она сказала «да, да!», но денег не предложила. Рассказывает, что «Блоха» Замятина имела большой успех.

16, понедельник. Сколько возьмет с меня фининспектор, не знаю. Он потребовал у меня 400 р. Я написал протест в налоговую комиссию. Теперь боюсь идти — денег нет ниоткуда. Читаю Беннета «Mr. Prohac» — отличный роман, так хорошо описан разбогатевший бедняк, все его мельчайшие чувства переданы так правдоподобно, что кажется, будто *я* разбогател, и, отрываясь от книги, я начинаю думать, что хорошо бы купить авто. Был вчера у Ионова. Как я и думал, он не виноват в аресте Тихонова. Он говорит: «Я могу открыто сердиться на человека, но на *донос* я не способен». Его оскорбляет даже самое подозрение, что он способен на такие дела. Я сказал ему, что, пожалуй, для того, чтобы прекратить толки, ходящие по городу, ему следовало бы похлопотать о Тихонове. Он сказал: «Плевать мне на толки, я презираю всех этих людей (разумей: коллегию). Совсем не для того, чтобы реабилитировать себя, я уже ездил в ГПУ хлопотать, и мне сказали: «Пошел вон!» Но по секрету, так чтобы никто не знал, я в четверг, чуть вернусь из Москвы, я буду хлопотать, чтобы облегчили положение Тихонова, чтобы ему пересылали пищу и проч. Конечно, как коммунист, я принимаю на себя ответственность за все, что делает коммунистическая партия, но вы сами знаете, что я еще не посадил ни одного ч[елове]ка, а освободил из тюрьмы очень многих».

И говорил он так увесисто, что я поверил ему. Не верить нельзя.

Мура терпеть не может картину Галлена «Куллерво», снимок с

которой *я привез из Куоккала. Она требует, чтобы я повесил ее лицом к стене. «Ой, чучело!» — говорит он*[а] *про Куллерво.*

21 февраля. Были у меня вчера Женя Шварц и Ю. Тынянов. <...> Тынянов был у меня по поводу своего романа о Кюхле. Я заказываю ему этот роман (для юношества), основывая детский отдел в «Кубуче». Ему очень нужны деньги. Он принес прелестную программу — я сказал ему, что если роман будет даже десять раз хуже программы, так и то это будет отличный роман. Он сам очарователен: поднимает умственно нравственную атмосферу всюду, где появляется. Читал свои стихотв[орные] переводы из Гейне — виртуозные. <...> — Шварц читал начало своих «Шариков». Есть чудесные места — по языку, по выражению. Остроумен он по-прежнему. У двух дегенератов бр[атьев] Полетика он повесил плакат: «Просят не вырождаться» (пародия на просят не *выражаться*), его стихи на Серапионов бесконечно смешны [8]. Сам же он красноносый и скромный.

Видел я в Госиздате Семена Грузенберга. Идиотичность его с годами растет: «Я пишу автобиографию Репина», — говорит он. Про «Современник»: «Я слышал, что вас уже лишили *вашего органа».*

Начинаю работать для «Кубуча». Сапир, с которым я имею дело, очень мил. В Госиздате вновь возрождают журнал «Совр. Запад». Я тяну в это дело Эйхенбаума и Тынянова. Не подыхать же им на улице! А сам я работать не могу в этом журнале — выйдет штрейхб[р]ехерство. Хотя Тынянов доказывает, что нет. Вчера Горлин очень благородно отнесся к Анне Ив. Ходасевич. Я просил у него для этой несчастной женщины какой-нибудь работы. Работы нет, и негде достать. Это очень меня опечалило. Видя мою печаль, Горлин так растрогался, что выдал Анне Ив. 25 рублей — из каких-то непонятных сумм. О, как счастлива была она! Как благодарила — нас обоих. Здесь же б[ыла] Шкапская. Она говорит, что реорганизация правления Союза Писателей — дело очень полезное. Туда вошли энергичные люди — которые начинают деятельно хлопотать об улучшении писательского быта, который теперь вопиюще-ужасен.

Тихонову разрешили передачу. Значит, следствие закончено. Назарыча перевели в другое отделение.

Бедная Анна Ивановна Ходасевич с голоду пустилась писать рецензии о кино. Была на интереснейшей американской фильме, но рецензию пишет так:

«Опять никчемная америк. фильма, где гнусная буржуазная мораль и пр.» — Иначе не напечатают, — говорит она, — и не дадут трех рублей!

Из Госиздата к Замятину. И он и она упоены триумфами во «Втором. Художественном». Триумфы были большие, вполне заслуженные. Он рассказывает, что 6 ночей подряд пьянствовал с актерами после этого. На представление приезжала его мать.

О жене Тихонова говорят не хорошо. Он арестован, а она по театрам. Норовит продать его мебель. Денег он оставил ей 90 червонцев, а она жалуется, что у нее ни копейки и пр.

Есть слухи, что Щеголева привлекают за систематическое хищение из архива, во главе которого он б[ыл] поставлен. У меня много обновок. М. Б. купила мне календарь (перекидной), чернильницу, промокашку (мраморную) и проч. Я всегда страшно радуюсь новым вещам — еще детская во мне черта. Новый перочин[н]ый нож для меня и поныне источник блаженства.

23 февраля. Завтра Муркино рождение. Сейчас она войдет устанавливать этот факт при помощи календаря. Вчера б[ыл] у меня самый говорливый ч[елове]к в мире: поэт Николай Тихонов. У него хриплый бас, одет он теперь очень изящно, худощав, спокоен, крепок; руки движутся, а корпус неподвижно в кресле. Как сел в кресло в 12 часов, так и не встал до 4. Сначала мы говорили о детской л[итерату]ре. Он говорил, что запрещены даже Киплинга «Джунгли», п. ч. звери там разговаривают. «Вообще наше п[равительст]во в этом деле — неопределенная толпа нянек». Говорит, что писал детские авантюрные романы, начиная с 8 лет, и что сам же их переплетал. Теперь они у него есть — и, перечитывая их, он удивляется, почему же в них каждый сюжет основан на революции. «Каждый мой роман — о революции». Я упомянул имя Буссенара. Он выказал огромную любовь к Буссенару и великое знание всех его повестей и романов. «Я прежде «В трущобах Индии» знал наизусть. Это такой дивный роман, он так великолепно построен, что запоминается сам собою. Я думаю, это лучший роман». Вообще его эрудиция стремится к точности — он любит всякую номенклатуру, даты, факты и проч. Когда он говорит о Кавказе, где он был нынешним летом, он сообщает самые точные татарские, турецкие, армянские, грузинские названия тех гор, ущелий, деревень и духанов, которые ему встречались на пути, а также экзотические имена тех людей, с которыми ему доводилось встречаться. Вначале это освежает и радует, как новый ковер, но потом немного утомляет. Вряд ли вся эта эрудиция у него полновесна. Он, напр., спросил у Коли, как бы экзаменуя его: «С какого года Сандвичевы острова стали Штатом Сев. Америки?» Коля замялся, смешался, но мы глянули в словарь, и оказалось, что Сандвичевы острова (как и утверждал Коля) никогда и не бывали Штатом. Потом в разговоре о Чаттертоне он мельком и безо всякой связи — сказал, что Чаттертон умер в Ливерпуле. Я беспамятен на всякие имена и названия, но робко решился заметить, что, кажется, смерть Ч[аттертон]а произошла в Л о н д о н е. — Нет, в Ливерпуле. Глянули в словарь: Лондон. Тем замечательнее пристрастие Тихонова к собственным именам и д а т а м, — такое же, как у Горького, когда он рассказывает, такое же, как у Короленко. Но у Короленко это б[ыли] ненужные тормозы его рассказа, а у Тихонова это почти всегда поэтично и окрашено нездешним колоритом. Он вообще весь нездешний. Вошел

в комнату — и вместе с ним вошло нездешнее, словно ветер ворвался в комнату, южный и волнующий. С Тих. нельзя вести разговор на заурядные темы, он весь в каких-то странных книгах, странных темах, странных анекдотах и стихах. Когда он рассказывает даже о своих петербургских знакомых, это оказываются какие-то невероятные герои, диковинные путешественники, обладатели редчайшего знания. 2 с половиной часа без перерыва он рассказывал мне о своей поездке на Кавказ, и рассказывал так, словно никто до него никогда не бывал на Кавказе, — о каких-то изумительных осетинах, изумительных чекистах, изумительных пшавах, хевсурах, поездках на автомобиле, долинах, аулах, кушаньях — все в его рассказе изумительно, невероятно, потрясающе. Потом, когда пришел Коля, стал читать свою новую поэму «Дорога», и оказалось, что весь его рассказ был комментарием к этой поэме. Читает он с явным удовольствием и даже удивлением: «Эка здорово у меня это вышло!» — и после каждой прочтенной строки взглядывает на того, кому читает: понравилось ли и ему, оценил ли? Поэма действительно хороша и радует дерзостью эпитетов, удалью синтаксиса, лихостью троп и метафор, — простая и в то же время нарядная вещь, мускулистая и в то же время нежная. Тих. несомненно идет вперед — и когда сквозь все эти опыты, пробы пера (а и эта поэма есть проба пера) придет к простому и монументальному стилю — он будет великим поэтом соврем. эпохи. У него есть та связь с соврем. эпохой, что он тоже весь в вещах, в фактах, никак не связан с психологией, с духовною жизнью. Он бездушен, бездуховен, но любит жизнь — как тысяча греков. Оттого он так хорошо принят в современной словесности. Того любопытства к чужой ч[еловече]ской личности, которая так отличала Толстого, Чехова, Брюсова, Блока, Гумилева, — у Тих. нет и следа. Каждый ч[елове]к ему интересен лишь постольку, поскольку он интересен, то есть поскольку он испытал и видал интересные *вещи,* побывал в интересных местах. А остальное для него не существует. Таких я видал в Англии, но Тихонов выше их. В общем я провел 4 часа с удовольствием. Я в постели, у меня опять инфлуэнца; М. Б. купила на аукционе самовар, ножи и для меня другую чернильницу, медную. Чернильница с настольным прибором; М. Б. вчера мыла его до позднего вечера. Что же не идет Мурочка? Она всегда в соседней комнате замедляет шаги, и там lingers *, а потом буйно врывается бурно в комнату, — зная, что доставляет своим появлением радость. Вообще она уже очень тонко улавливает психические отношения, и это даже пугает меня. У меня тоже была эта дегенеративная тонкость, но только вредила мне.

Вчера Мура сочинила загадку. «Я без рук, без ног, но с носом». — Лодка.

На мне такие обязанности, коих я не выполняю: нужно писать детскую вещь, а я редактирую Некрасова. Нужно написать или позвонить Собинову, который и звонил мне и писал. Нужно от-

---

* Задерживается (*англ.*).

нести к сестре Андреева медальон, который передал мне Репин. Нужно позвонить Радлову, что ему есть письмо. — Нужно достать для Мани Сухановой программу и книги. — Нужно написать в «Известия» о «Мойдодыре». Но лень — но болезнь — но старость. Что же не идет Мурочка? Уже девять часов, а она не идет. Пойду к ней, хотя и холодно в ноги. Пришла. Перевернула листик: (завтра рождение), перевела стрелку часов (часы отстают на 10 м.) и потушила электричество.

24/11. Вторник. Наступил торжественный день: рождение Муры. Я с вечера вымыл голову, теперь надел парадную толстовку, полуновые брюки — и жду. М. Б: дарит ей стул. Бабушка колыбель, куколку и игрушечные блюда с яствами, Боба лошадь, Лида чашечки, я какую-то монресориевскую штуковину, все это копеечное, но восторгам не будет конца.

Я сказал ей, что ничего не подарю. Она сказала: *Ну, ничего, зато ты меня «помучишь».* Для нее мое мучительство — праздник. Я обещал ей к тому же рассказать дальше про Айболита.

...В конце концов все торжества утомили ее. К вечеру пришел Маршак с сыном Эликом. Подарил Маршак краски, карандаши и альбом, — Элику б[ыло] скучно с Мурой, Элику 8 лет, он уже читает «Красн. Газету», — славный, большеголовый, вечно-сонный мальчик, страшно похожий на отца. <...>

27 февраля 1925 г. Вчера узнал, что на Гороховую по делу Тихонова вызывались Лернер и Губер, — люди наименее осведомленные. Оказывается, Тихонова обвиняют в том, что он помогал перейти границу Струковой, Сильверсвану, Левинсону и кому-то еще. Едва ли. Тихонов был слишком большой эгоист, чтобы впутываться в такие дела. Оказывается, что служителям, которые служили и ему, он никогда не давал на чай; что всем нам он платил меньше, чем следует, и т. д. Все это вчера подробно изложила мне Людмила Николаевна Замятина.

Замятин счастлив: его роман «We» * имеет в Америке большой успех, его пьеса «Блоха» имеет успех в Москве. Он долго блуждал со мною по городу — и в разговоре чаще, чем всегда, переходил на англ. язык.

Вдруг сообщили из «Радуги», что «Главлит» запретил заранее второе издание «Танталэны». Бедный Коля, для него это ужасный удар. Он недоволен первым изданием, многое переделал, хочет писать новую книгу такого же рода, с тем же героем Шмербиусом, и вдруг его заранее связывают по рукам и ногам.

Я сейчас же позвонил Острецову, заведующему Главлитом, очень милому человеку, бывшему рабочему; Острецов уверяет, что этого быть не могло, обещает навести справки, а между тем, увы, это так. Надеюсь выхлопотать — через Лилину — более толерант-

* «Мы» (*англ.*).

ное отношение к беллетристике для среднего возраста. И какая быстрота, какая предупредительность! Чтобы добиться разрешения, нам приходится по 3 недели обивать пороги Главлита, а запретили — еще раньше, чем мы обратились к ним с этой книгой.

Замятин говорит, что «Герой» Синга ставится в Александринке в моем переводе. Главную роль будет играть Ильинский.

Была у нас третьего дня сестра Некрасова Елисавета Александровна Фохт-Рюммлинг.

Теперь ей 70 лет с изрядным хвостиком, она прожорлива, умна, насмешлива, энергична, степенна. В разговоре часто вставляет немецкие слова, фразы. Ее цель — где-ниб. сорвать денег на том основании, что ее брат — Некрасов. Она так и спросила: «Не знаете ли вы такого комиссара, к которому можно было теперь обратиться». Я часто устраивал ей разные такие подачки — просительство она считает своей профессией и с утра до вечера ходит по учреждениям. Недавно была у Иванова — заведующего коммунальным хозяйством, выцыганила у него квартирку бесплатную с бесплатным отоплением, ходит в Смольный, в Дом ученых, хищно хватая куски. При всем том она приятная женщина, на лице у нее живая игра, что-то мило лукавое, словно все, что она делает и говорит, лишь пустая забава, а надо бы делать иное. Приходит она всегда к завтраку — причем что бы ей ни положили на тарелку, моментально съедает — и ждет новой порции. Иногда приводит к завтраку и свою дочь, незамужнюю, которую и до сих пор держит у себя в подчинении. А дочери лет 35.

Заговорили о Зинаиде Н., жене Некрасова. «Она б[ыла] из веселого дома, с Офицерской ул. Я и дом этот помню, там была мастерская слесаря, а над мастерской висел ключ — вместо вывески — и вот у жены слесаря было 3 или 4 «воспитанницы», к к-рым приезжали гости — иногда девицы ездили к гостям. Их гостиная так и называлась «Под ключом». Когда закутят мужчины — «едем под ключ». Зина была из-под Ключа... Она меня очень обидела: говорила мне — я дам вам денег, вот чуть только получу за «Последние Песни» (Некрасов ей предоставил доход с этой книжки) — но, конечно, не дала, обманула. Одевалась она безвкусно — и сама была похожа на лошадь. Лицо лошадиное. Была она пошлая мещанка — лживая, завистливая. Когда умер у меня муж, она скрыла от Н[екрасо]ва, боясь, чтобы он не дал мне на похороны. У нее была два дня в Павловске (на похоронах?) Анна Алексеевна, но Зиночка скрыла и это, как бы Н[екрасов] не разжалобился и не помог мне. Авдотья Яковлевна от Н[екрасова] ничего не получила — только то, что давали «От[ечественные] Зап[иски]». Но «От. 3.» через 4 года закрылись, и Краевский стал давать ей 40 рублей в месяц. Она вышла за Аполлона Филипповича. Это б[ыл] веселый ч[елове]к».

На днях на Литейном наткнулся на такую рекламу сапожника — неподалеку от меня за углом:

Стой!
Читай! Запоминай!
Дождь кропил, тоскливо было,
Лужи, грязь, туман притом.
А по улице уныло
Кто-то плелся под зонтом.
И по лужам вдаль шагая,
По галошам хлоп да хлоп,
Непогоду проклиная
И с досады морща лоб.
Ноги мокли, ноги ныли,
Заливала их вода,
В тех ГАЛОШАХ дырки были,
Попадала грязь туда.
Эй, граждане, не сердитесь,
Воду нечего винить,
Лучше вы ко мне явитесь,
Чтоб галоши починить.
Быстро сделаю заплату,
Каблуки, подошвы, зад,
Дешево возьму зарплату,
Будет каждый очень рад!

Основываю детский отдел при «Кубуче». Был по этому случаю у Житкова в воскресенье 1-го марта. Житков в прошлом году еще люто нуждался и жил на иждивении у «Мишки» Кобецкого, приходя ко мне пешком обедать с Вас. О-ва. Теперь, в один год, он сделал такую головокружительную карьеру, что мог угощать обедом меня. Произошло это с моей легкой руки. Он ходил, ходил по учреждениям, искал везде работы — и так прекрасно рассказывал о своих мытарствах, что всякий невольно говорил ему: отчего вы этого не напишете? Сказал и я. Он внял. Стал писать о морской ж и з н и , — я свел его с М а р ш а к о м , — и дело двинулось. Он человек бывалый, видал множество всяких *вещей,* очень чуток к интонациям простонародной речи, ненавидит всякую фальшь и банальщину, работоспособен, все это хорошие качества. Но *характера* — не создает, п. ч. к людям у него меньше любопытства, чем к вещам. Все же (покуда) он, как человек, гораздо выше, чем его произведения. Он молчаливый, не хвастун, гордый, сильная воля. Такие люди очень импонируют. Женщины влюбляются в него и посейчас, хотя — он лыс, низкоросл, похож на капитана Копейкина. Теперь его женою состоит благоговеющая перед ним караимка, женщина-врач, очень милая и простодушная. Она угостила меня сытнейшим обедом. Он прочитал мне все свои произведения — и «Слонов», и о подводном колоколе, и [о] «Кенгуре». Это свежо, хорошо, но не гениально. Служанки у них еще нет, мебель сборная, чужая: «начинающий литератор 43-х лет». Характер у Житкова исправился: нет этих залежей хандры, насупленной обидчивости — котор. были у него в юности.

3 марта. Видел вчера (2-го в понед.) Любовь Дмитр. Блок. Или она прибедняется, или ей, действительно, очень худо. Потертая шубенка, не вставленный зуб, стоит у дверей в Кубуче — среди страшной толчеи, предлагает свои переводы с французского. Вдова одного из знаменитейших русск. поэтов, «Прекрасная Дама», дочь Менделеева!

Я попытаюсь устроить ей кое-какой заработок, но думаю, что она переводчица плохая.

Был в воскресение у Собинова. Он такой же — говорун, остряк, «полон сам собой», — но мил необычайно. Убранство безвкусное, немного в духе Самокиш-Судковской: лучшее украшение портрет Нины Ивановны — работы Сорина. О, как дрябло, условно. Я выругал — и доставил ему неприятность. Начал писать «Телефон». Не увлекает.

22/III. Пришло в голову написать статью о пользе фантастических сказок, столь гонимых теперь. Вот такую. Беременная баба узнала, что на таком-то месяце ее будущий младенец обзавелся почему-то жабрами. — О, горе! не желаю рожать щуку! — Потом еще немного — у ее младенца вырос хвост: — О горе! не желаю рожать собаку! — Успокойся, баба, ты родишь не щуку, не собаку, но ч[елове]ка. Чтобы стать человеком, утробному младенцу необходимо побыть вчерне и собакой и щукой. Таковы были все — и Лев Толстой, и Эдисон, и Карл Маркс. Много черновых образов сменяет природа для того, чтобы сделать нас людьми. В три года становимся фантастами, в четыре воинами и т. д. Этого не нужно бояться. Это те же собачьи хвосты. Черновики. Времянки. Самый трезвый народ — англичане дали величайших фантастов. Пусть звери для 4-х летних младенцев говорят — ибо все равно для младенцев все предметы говорят.

Очень туго пишется «Самоварный бунт». Сижу по пять часов, вымучиваю две строки. Жаль, что я не сделался детским поэтом смолоду: тогда рифмы так и перли из меня. Дней пять назад были у меня из Москвы устроители детского балета на тему моего «Мойдодыра». Они рассказывают, что на первом представлении к ним явились комсомольцы и запротестовали против строк:

А нечистым трубочистам —
Стыд и срам,

так как трубочисты — почетное звание рабочих, и их оскорблять нельзя. Теперь с эстрады читают:

А нечистым, *всем нечистым,*

т. е. чертям.

С Мурой чуть я выхожу на улицу, сейчас начинает идти снежок. Она уверена, что я это так нарочно устраиваю. Прячется в шкаф. Надоело кропать стишки. Сегодня читаю о Горьком в Госиздате.

Устраиваю там культурно-просветительный клуб. В прошлое воскресение читал Щеголев, сегодня я, в следующее Толстой, потом Замятин, потом Тынянов, потом Эйхенбаум.

26 марта. Завтра моя мама уезжает обратно в Одессу. Слышу, как она кашляет — и старается никого не будить кашлем. Умная, молчаливая, замкнутая, наблюдательная, работящая. Она незаметно несла в доме очень много работы: читала Мурочке, стирала белье, убирала посуду, редко сидела без дела. Глазам ее лучше. <...>

Коля вернулся из Москвы. Привез мне от Магарама 75 рублей. Жил он с Мариной у Арнштама под роялью, причем, кажется, на рояли спал Арнштам со своею женою. Видал Мейерхольда. Рассказывает, что поэт Пастернак очень бедствует. «Танталэна» распродана. Клячко тайно допечатал еще две тысячи и тоже продал. Отчего он не едет, Клячко? Я весь месяц сижу над «Самоварным бунтом» — и ни тпру, ни ну! Застопорилось. Ужасно гадкая работа: целый день за письменным столом — и ни строки. Я даже к доктору вчера ходил. К профессору Лов[е]цкому — очень большой прием. Нашел у меня желудок и нервы и торжественно говорил М. Б-не всякие вздоры, за что и получил 10 рублей. Коля уже начал писать новый роман «Приключения профессора Зворыки». Первая глава темпераментна, но тоже чрезвычайно наивна. Посмотрим, что будет дальше. Театральной Москвой он очень недоволен — о «Блохе« Замятина отзывается с полным презрением и постановку считает ужасно вульгарной. Надо хлопотать, чтобы ему разрешили 2-ое изд. «Танталэны». <...> Получил от Собинова портреты Светланы, на портретах она не так прелестна, как в натуре, нет ее глубокой серьезности. Был у меня Пяст, жалкий, без работы, обреченный и впредь на безвыходную нужду, с проблесками улыбки и милой беспечности. Встретил на Аничковом Мосту жену Тихонова — на ярком солнце ее раскраска производила впечатление печальное. Она шла от Мессинга. Хотела взять Т[ихоно]ва на поруки. Отказали. Должно быть, дело оч. серьезное. Он болен. В тюремной палате уход за ним очень хороший. Звонила ко мне вдова Блока — в ее голосе слышится отчаяние. Она нуждается катастрофически. Что я могу? Чем помогу? Пойду завтра в Союз Писателей, позвоню к Гэнту.

— Читаю Дневник Шевченка, замечательный. <...>

27 марта. Вот и уехала бабушка. Поезд отходит в 10.45, а выехала из дому в 9 час. Коля с нею, Боба и Марина в трамвае. Очень бодро и торжественно уехала. Мы с нею попрощались в моей комнате, она сказала мне, что каждое утро здоровается со мною: у нее висит мой портрет, и она говорит: — Здравствуй, сыночек! Хорошо ли ты спал, мой голубчик?

Я не могу спать: разволновался и ее отъездом, и статьей Адонца обо мне, напечатанной в последнем № «Театра и Искусства» [9], и канителью с Максимовым-Евгеньевым. Канитель с Евгеньевым

такая: он злится на меня, зачем я не пригласил его в соредакторы собрания сочинений Некрасова, и потому требует у меня якобы удержанные мною рукописи «Каменного сердца».

Туго пишется Федора — не скучна ли она? Боюсь, что нет настоящего подъема. На каждого писателя, произведения которого живут в течение нескольких эпох, всякая новая эпоха накладывает новую сетку или решетку, которая закрывает в образе писателя всякий раз другие черты — и открывает иные.

29 марта. Мура услыхала из моего разговора с Гэнтом об экспериментальном И-те проф. Павлова. Я сказал, что там режут собак и мышей — и объяснил зачем. Это произвело на нее колоссальное впечатление: она около получасу размышляла вслух на эту тему.

— Сереньких мышей можно (резать), сереньких не жалко, оттого что они нехорошие, а белых не надо, они очень хорошие. И проч.

Вчера утром в 11 ч. умер Поляков, с которым я много виделся в Сестрорецке. Милый, добрый, жизнелюбивый человек, — он был великолепный горловой врач, и вследствие этого его горячо любили певцы, которым он всегда обрабатывал для пения горло. (Собинову — каломель). Тому подрежет, тому подмажет, — и голос становится гораздо нежнее, сильнее. Он говорил своей дочери Леле: «Учись пению, я тебе устрою соловьиное горло». И вот умер. Утром был весел, а в 11 час. (утра же) уже лежит под простынею на столе. Вдова бодрится, говорит, что хочет продать квартиру, что вчера ночью у них украли дрова, и даже улыбается, но горе, видно, придавило ее. Они оба были как дети. Вечно мирились и ссорились. Она вошла в комнату. Он лежит и молчит. Она говорит к нему, он не отвечает. «Федя, что же ты молчишь? Или сердишься?» А он не сердился, он умер.

Вчера впервые показал Клячке «Федорино Горе». Ему нравится. Он советует художника Твардовского, у которого большая выдумка. Попробую. Рассказывал об анекдотах цензуры. Запретили ему в детской азбуке изображение завода и рабочего. Почему? «Рабочий просто сидит и не работает. А завод? Из его труб не идет дым!»

Канарейка: Мне рассказывала писательница Василькова-Килькштет, что у нее имеется следующее удостоверение, выданное ее канарейке: «Сия Канарейка лишена 75% трудоспособности, страдает склерозом, заслуживает пенсии по 10 разряду». Это удостоверение выдали ей по рассеянности: пошла хлопотать и о канарейке и о себе мать Георгия Иванова, очень сумбурная женщина — и перепутала! <...>

1 апреля 1925 г. Спасибо, что прожил еще год. Прежде говорилось: «Неужели мне уже 18 лет!» А теперь говорится спасибо, что теперь мне 43, а не 80, и спасибо, что я вообще дожил до такого древнего возраста. Вчера принял ванну с экстрактом и спал бы как убитый, но разбудила ночью громко плачущая собака, котор., словно

по заказу, отчаянно плакала и выла у меня под окнами. Плач продолжался часа полтора. И еще дурной знак: натягивая на себя одеяло, я разорвал простыню сверху донизу.

Читал Добролюбова: какие плохие писал он стихи. И умело пользовался их бездарностью: предлагал их читателю в виде пародии на другие плохие стихи. Напр., на стихи Розенгейма. Говорили: как ловко обличил он плохого поэта. А он и в самом деле лучше не мог. Это очень самоотверженно с его стороны.

Вчера кончил вчерне «Федорино Горе». Сегодня берусь за отделку.

Этот год — год новых вещей. Я новую ручку макаю в новую чернильницу. Предо мною тикают новые часики. В шкафу у меня новый костюм, а на вешалке новое пальто, а в углу комнаты новый диван: омоложение чрез посредство вещей. Не так заметно старику умирание. Наденешь новую рубаху, и кажется, что сам обновился.

От Репина письмо: любовное. Мне почему-то неловко читать. Я так взволновался, что не дочитал, оставил на сегодня [10]. С концом «Федорина Горя» не выходит.

6 апреля. Мих. Кристи, председ. Главнауки здешней, во всех своих спичах садится в лужу. Недавно на юбилее Ив. Вас. Ершова в театре сказал: «Правда, вам пора сойти со сцены, п. ч., действительно, вы потеряли голос». А на юбилее Кони: «Вы сделали уже все, что могли, пожелаем же вам мирной и безболезненной кончины». Это рассказал мне сам Кони вчера. Я был у него вечером, просидел 1½ часа. Он очень бодр, даже как будто загорел. Я сказал ему это. «Я сижу в Швейцарии», — объяснил он (т. е. у парадного хода, вместо швейцара). Каждый день около часу дня — он садится у входных дверей на улице. У него болит правая нога — и потом[у] больших прогулок он не предпринимает. Показывал мне фотографии головы Христа, якобы нарисованной в сомнамбулич. сне какой-то девочкой, которая якобы совсем не умеет рисовать. Собирается в Харьков — вместе с Ел. Вас. читать лекции, но боится за судьбу Ел. Вас, ибо в Харькове все знали, что она «буржуйка», «губернаторша» и пр. Рассказал, что Салтыков б[ыл] ужасный ругатель — и про всех отсутствующих, хотя бы и т[ак] наз. друзей, всегда отзывался дурно. Напр., о Лихачове: Лихач. устраивал в течение многих лет все денежные дела Салтыкова, покупал акции и проч. Предан он б[ыл] Салтыкову, как собака. И вот однажды Салт. говорит: Экой мерзавец этот Лихачов. — Отчего? — с испугом спросил Кони. — Да вот уже 3 часа, а он до сих пор не приходит из банка. Должно быть, протранжирил мои деньги, спустил, убежал...

Или об Унковском. Тот приезжал к Салт. гостить в деревню. «Зачем приезжал? Дурак! Проиграл мне 300 р. Стоило приезжать!» и т. д. <...>

8 апреля. Вчера в час дня у Сологуба: Калицкая, Бекетова, я. Ждем Маршака. Заседание учредительного бюро секции детской литера-

туры при Союзе Писателей. У С[ологуба] сильно поредели волосы, но он кажется не таким дряхлым. Солнце. Даже душно. Сначала говорил о Шевченко. Сологуб: «Шевченко был хам и невежда. Грубый человек. Все его сатиры тусклы, не язвительны, длинны. Человеческой души он не знал. Не понимал ни себя, ни людей, ни природы. Сравните его с Мистралем. У Мистраля сколько, напр., растений, цветов и т. д. У Шевченко одна только роза да еще две-три. Шевченко не умел смотреть, ничего не видел, но — он умел петь. Невежда, хам, но — дивный, музыкальный инструмент...» Потом пришел М[аршак] навеселе. Очень похожий на Пиквика.

Калицкая, б[ывшая] жена писателя Грина, очень пополнела — но осталась по-прежнему впечатлительна, как девочка. Она не солидна — почти, как я. Сологуб, всегда во время заседаний истовый и официальный, начал докладывать о субботах в Союзе Писателей. «Субботы у нас предназначены...»

Калицкая. Нет, Ф. К., здесь не то...

Сол[огуб]. Позвольте, я и говорю...

Кал[ицкая]. Я с вами вполне согласна...

Сол[огуб] *(тоном педагога, который сейчас поставит единицу).* Я прошу вас дослушать меня до конца...

Кал[ицкая]. Я знаю, что...

Сол[огуб]. Иначе выйдет у нас не разговор, а кагал...

Кал[ицкая]. Да, да. Ф. К., я только хотела сказать...

Сол[огуб] *(покраснев).* Дайте же мне говорить. Замолчите!

Кал[ицкая] замолчала, как чугунная тумба. Мы потупили глаза. Вдруг Кал[ицкая] сорвалась и убежала в другую комнату. Сол[огуб] остался на месте. Через неск. минут я потихоньку вышел ее утешить. Оказалось, что у нее из носа идет кровь! Сологуб смутился, пошел за ватой... Потом на улице я читал Маршаку свое «Федорино Горе». Он сделал целый ряд умных замечаний и посоветовал другое заглавие. Я сказал: не лучше «Самоварный бунт»? Он одобрил.

Сейфуллина приехала. Звонил мне ее муж, а я все не соберусь.

10 апреля. Пятница. Я забыл записать о Сологубе: он, к удивлению, очень одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах. «Все, что в них плохого, это исконное, русское, а все новое в них — хорошо. Я вижу их в Царском Селе — дисциплина, дружба, веселье, умеют работать...» В среду мы снимались в Союзе Писателей. До прихода фотографа ко мне подошел интервьюэр из «Правды» и спросил: «О чем вы пишете, о чем вы намерены писать, о чем надо писать?» Сологуб сказал: если бы мне задали эти вопросы, я ответил бы: о молодежи, о молодежи, о молодежи...

С «Кубучем» у меня разладилось. Три дня Сапир был неуловим. Но вчера вечером мы на балкончике на Невском договорились

---

* Образ жизни (*лат.*).

Мне Сологуб неожиданно сделал такой комплимент: «Никто в России так не знает детей, как вы». Верно ли это? Не думаю. Я в такой же мере знаю женщин: то есть знаю инстинктивно, как держать себя с ними в данном конкретном случае — а словами о них сказать ничего не могу. С детьми я могу играть, баловаться, гулять, разговаривать, но пишу о них не без фальши и натужно. Кстати, я высчитал, что свое «Федорино Горе» я писал по три строки в день, причем иной рабочий день отнимал у меня не меньше 7 часов. В 7 часов — три строки. И за то спасибо. В сущности дело обстоит иначе. Вдруг раз в месяц выдается блаженный день, когда я легко и почти без помарки пишу пятьдесят строк — звонких, ловких, лаконичных стихов — вполне выражающих мое «жизнечувство», «жизнебиение» — и потом опять становлюсь бездарностью. Сижу, маракаю, пишу дребедень и снова жду «наития». Жду терпеливо день за днем, презирая себя и томясь, но не покидая пера. Исписываю чепухой страницу за страницей. И снова через недели две — вдруг на основе этой чепухи, *из* этой чепухи — легко и шутя «выкомариваю» всё.

Вчера сократил «Федорино Горе», почистил, и у Клячко виделся с Твардовским. Опять устанавливали макетки. Не хочется называть «Федориным Горем», но как?

13, понедельник. Фу, какой, должно быть, будет тяжелый день. В субботу вечером читал с Маршаком, при благосклонном участии Сологуба, в Союзе Писателей. Собрались инвалиды, темные старухи, девицы, я читал «Федорино горе» и «Тараканище». Сологуб с величайшим успехом (у меня) прочитал свои сказки, причем во вр[емя] чтения все время дразнил меня, очень игриво: перед чтением я наметил ему, что читать, он и задевал меня: эту читаю по распоряжению К. И. Ч., вот Ч. смеется громче всех, это потому, что он наметил сам, и проч. В воскресение был у меня И. Бабель. Когда я виделся с ним в последний раз, это был краснощекий студент, удачно имитирующий восторженность и наивность. Теперь имитация удается хуже, но я и теперь, как прежде, верю ему и люблю его. Я спросил его:

— У вас имя-отчество осталось то же?

— Да, но я ими не пользуюсь.

Очень забавно рассказывал о своих приключениях в Кисловодске, где его поместили вместе с Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и Троцким. Славу свою несет весело. «Вот какой анекдот со мною случился». Жалуется на цензуру: выбросила у него такую фразу: «Он смотрел на нее так, как смотрит на популярного профессора девушка, жаждущая неудобств зачатия». Рассказывает о Петре Сторицыне: Сторицын клевещет на Бабеля, рассказывает о нем ужасные сплетни. Бабель узнал, что Стор. нуждается, и решил дать ему червонец, но при этом сказать:

— Деньги даром не даются. Клевещите, пожалуйста, но до известного уровня. Давайте установим уровень.

Лиде Бабель не понравился: «Не люблю знаменитых писателей».

Потом я пошел в Европ. Гостин. в ресторан — сделал визит Сейфуллиной и Валер. Правдухину. Простодушные, провинциальные, отдыхаешь от остроумия Бабеля. Питер им очень понравился. Остановились в Доме Ученых. Ничего толком не видали. Хотят сюда переехать.

Вчера б[ыло] заседание Всемирной Литературы. Гнусное. Решил больше не ходить.

18 апреля 1925. Канун Пасхи. Был у меня Замятин. Он только что получил новый паспорт, заявив, что свой предыдущий он потерял. Рассказывает о суде над Щеголевым. Говорит: впечатление гнусное. Судья придирался к адвокату и был груб с Щ[еголевым]. Написал рассказ, который назвал «Икс». Получил от Бабетты Дейч рецензию на роман «We». Рецензия кисло-сладкая (в «New Statesman»). Увидев у меня в Чукоккале объявление «Приехал Жрец»", Замятин тотчас же записал его в книжку — материал для рассказа.

19 апр. Ночь трезвонили по случаю пасхи и не дали мне заснуть. Пасху провел за Некрасовым, был у Сапира по делу с *портфелем*. Много пьяных; женщины устали от предпасхальной уборки, зеленые лица, еле на ногах, волокут за собой детей, а мужчины пьяны, клюют носом, рыгают. Большое удовольствие — пасха. На Невском толпа, не пройти. Сыро, мокро, но тепло. Хотя и мокроты меньше, чем обычно на пасху. <…>

11 мая 1925, понедельник. Не писал по независящим обстоятельствам. — О Муре: мы с нею в одно из воскресений пошли гулять, и она сказала, что ей все кругом надоело и она хочет «в неизвестную страну». Я повел ее мимо Летнего сада к Троицкому мосту и объявил, что на той стороне «неизвестная страна». Она чуть не побежала туда — и все разглядывала с величайшим любопытством и чувствовала себя *романтически*. <…>

— Смотри, неизвестный человек купается в неизвестной реке!

Она же сказала матери: *«Уж как ты себе хочешь,* а я на Андрюше женюсь!» Он ей страшно нравится: мальчишеские хвастливые интонации. Когда она поиграет с ним, она усваивает его интонации на два дня — и его переоценку ценностей. <…>

13 мая. Вчера с Бобой впервые на лодке. — Передряги с моей тетрадью Примечаний к Некрасову. — Учу Муру азбуке. Входит утром торжественная. Знает уже у, а, о, ж, р. — Умер Н. А. Котляревский. Я вчера сказал об этом Саитову.

Он сказал:

— А Ольденбург жив!

— ?!

— Интриган.

Был вчера на панихиде — душно и странно. Прежде на панихидах интеллигенция не крестилась — из протеста. Теперь она крестится — тоже из протеста. Когда же вы жить-то будете для себя — а не для протестов? <...>

15/V. Сейчас Дмитрий Ив., наш управдом, поймал двух жуликов, которые ломали крылья у изумительных орлов, украшающих пушки нашей церковной ограды (она составлена из турецких пушек). Утром в 5 часов утра. Прислонены крылья к стене переулка, собрался народ — пришли милиционеры, парни упираются, говорят: не мы.

— Берите крылья, идем!

— Пусть тот берет, кто ломал, мы не ломали.

— Ну нечего, бери! <...>

Получил у Галактионова образцы шрифтов для Некрасова. Ни один не по душе. Эйхенбаум и Халабаев проверяли мою корректуру Некрасова — и на 60 стр. нашли три ошибки — 5 проц. Они говорят, что это немного. Увы, я думал, что нет ни одной.

23 мая. Суббота. Мура у себя на вербе нашла червяка — и теперь влюбилась в него. Он зелененький, она посадила его в коробку, он ползает, ест листья — она не отрываясь следит за ним. Вот он заснул. Завернулся в листик и задремал. *Она стала ходить на цыпочках* и говорить шепотом. <...>

Вчера был у меня Тынянов — читал мне свой роман. Мне понравилось очень; <...> У него дивное равновесие психо-физиологии, истории, фантазии. Я сказал ему, что начало хуже остального. Он согласился — обещал выбросить. Я проводил его в 10 часов домой — для меня это глубокая ночь — у него кабинет наполнен книгами, причем на полу, на диване, на стульях — все полно Кюхельбекерами и «Рус. Старин.», где Кюхельбекер. <...>

29 мая. Дивная погода. <...> Сегодня я занимался с Мурой. <...> Она относится к своим занятиям очень торжественно; вчера я сообщил ей букву *ш*. Сегодня спрашиваю: — Помнишь ты эту букву? — Как же! я о ней всю ночь д у м а л а . — Из некрасовских примечаний я понемногу начинаю выползать — хотя впереди самые трудные: к «Кому на Руси», к «Русск. Женщ.», к «Современникам», ко множеству мелких стихов.

4 июня. <...> Вчера Сапир позвонил мне, что цензор Острецов дал о моей книге про Некрасова одобрительный отзыв — и что «Кубуч» берет ее печатать. Неужели это верно? Это почти невозможное счастье: напечатать о том, что любишь. Теперь у меня была одна московская литераторша, которая написала исследование о «Кому на Руси жить хорошо» — в нем 370 страниц; когда оно увидит свет, неизвестно. Тынянов сказывал мне, что у него в столе 4 законченных исследования. «Эйхенбаум приходил ко мне спросить:

что же ему делать. У него нет ни гроша, на руках работы — о Лескове, о росте физиологических очерков — и о их трансформации в роман и пр. и пр. Нечего и думать о печатании этих ценных работ. Сергеев (госиздатский) говорил мне, что в Госиздате решили отложить книгу о декабристах Щеголева, несмотря на то, что в этом году столетие со дня *декабрьского восстания.*

Эйхенбаума я пытаюсь устроить, — но нет возможности найти ему работу. Я сегодня пойду к Сапиру, авось он что-нб. сделает. Из Госиздата меня выперли — очень просто!»

Мура в июне 1925 г.:

— Чуть мама меня родила, я сразу догадалась, что ты мой папа!

Была у нас сестра Некрасова с дочкой — Лизавета Александровна. — А не дарил ли Вам Некрасов книг с автографом? — Ох, дарил, три томика подарил, а я — известно, глупая — продала их и на конфетах проелась.

Все же это тупосердие: даже не прочитать стихов своего брата, а сразу снести их на рынок.

Мура вообще очень забавна. Вышла с Лидой гулять. Подошла к лесу. «Идем, Лида, заблуждаться!» — «Нет, не надо заблуждаться. П. ч. что мы будем есть». — «А тут кругом добыча бегает».

Третьего дня на песках ей завязали на голове платочек с двумя узелками: узелки похожи на заячьи ушки, *значит,* она зайчик. *Значит,* трава, растущая кругом, — капуста. Сразу в ее уме появились какие-то другие зайцы: вертихвост, косоглаз и т. д. Она стала без конца разговаривать с ними. Спорая игра стала ритмичной. Зайцы стали разговаривать стихами. Для стихов потребовались рифмы, все равно какие. Я перестал слушать и вдруг через четверть часа услыхал:

Шибко зайчик побежал
А за ним бежит... журнал.

— Какой журнал? — спрашиваю. Ей задним числом понадобилась мотивировка рифмы. Но она не смутилась. — Журнал? Это зайчик такой. Он читает журналы, вот его и прозвали журналом. (Пауза — а затем новое развитие мифа.) У него бессонница, как у тебя. Ему трудно заснуть, вот он и читает на ночь журналы.

После чего Журнал был беспрепятственно введен в семью зайцев и существовал целый день.

Но на следующий день, когда мы стали играть в зайцев, она сказала:

— Нет, таких зайцев не бывает. Зайцы никогда не читают журналов, — и ни за что не хотела вернуться ко вчерашнему мифу. Видно, и вчера она чувствовала некоторую неловкость в обращении с ним. <...>

28 июня, воскресение. Коля вчера вечером читал Шмербиуса. В будочке мне и Бобе. Есть недурные места, но в общем он и сам чувст-

вует, что жидковато. У него готово уже 14 глав. Всех глав будет у него 22—23. Ходил смотреть экскаватор. Кажется, он получит в Госиздате перевод Джэка Лондона. М. Б. принялась его рьяно кормить, он только облизывается. Утром Боба стал показывать ему свое искусство — ходить по перилам моста над водой — Боба делает это с прекрасным изяществом — уверенно шагает по тонкой и длинной жерди и даже взбирается вверх. Колька после первого же шага хлопнулся вниз. Днем я грелся в будочке — в солярии — страшная жара — загорел непристойно. — Мура принесла крота в ведре — хорошенького — бархатистого — но, очевидно, его пригрело солнце, он издох, Мура страшно рыдала над ним. Мы его похоронили. <...>

Я взял своих детей на озеро — и два часа мы ездили — под чудесным небом — легкий ветерок СЗ, Коля и Боба чудесно гребли — за лодкой летели какие-то сволочи-мухи, садившиеся нам на голые спины. Потом смотрели, как играют в городки...

И все же — тоска. Как будто я завтра умру.

30 июня. Понедельник. Дождь. Устроил школу для Муры внизу. Вчера она узнала букву *З* и безошибочно прочла слова зуб, зоб, зал, заря, роза, коза и т. д. Сегодня она с упоением приготовила вывеску ШКОЛА и написала проект могильной доски для крота ТУТ СПИТ КРОТ. <...>

1 июля. Мария Борисовна уехала к Коле в Детское. <...> Занимался с Мурой в *школе:* мы с Бобой сделали таблицу всех букв, которые Муре известны (18 штук), устроили из чемодана парту и Мура верит, что эта школа какое-то совсем особенное место: там она благоговейна, торжественна, необыкновенно податлива.

А за столом она невозможна. По поводу каждого куска — спор и длинные уговаривания. Дают тарелку супу, на нее нападает столбняк... «Мура, ешь! Мура, ешь!» Сегодня в отсутствие мамы она так извела Лиду (не без содействия Бобы), что Лида, 19-летняя девушка, вдруг упала головою на стол и заплакала.

У Бобы: апломб, грубая речь, замашки каторжника — и мало кто видит, сколько в нем внутренней нежности. Едем в лодке мимо окна по реке. Кричит кому-то басом: «Го, го, да я знаю, что тут мель. Не веришь, смотри!» (и норовит назло поставить лодку на мель), а потом прибавляет по-детски: «Я знаю, я тут два года щук ловлю!»

Четверг 2 июля. К Муре вчера я попробовал применить тот же метод, котор. когда-то так действовал на Колю. Мы были на море — она устала: «далеко ли дом?» И я, почти не надеясь на успех, сказал ей: «Видишь, тигры, пу! пу! давай застрелим их, чтобы они не съели вон того человека!» Она как на крыльях побежала за воображаемыми тиграми — и полверсты пробежала бегом — не замечая дороги. Сегодня научил Муру букве *Н*... Марья Борисовна что-то долго не приезжает из Детского. <...> Меня ужасно воз-

мущает медленность моего писания. Каждая фраза отнимает у меня бездну труда. Я пишу легчайшую статейку «Сердечкин злосчастный» — и еле дошел до шестой странички!

Могилка вышла хороша: Мура написала на дощечке: ТУТ СПИТ КРОТ — обсыпала дощечку землей, убрала цветами и камушками.

Суббота 4 июля. <...> Мурина школа очень забавна. Есть у нас и мел, и доска, и веник для выметания мела, и гнездышко (естеств. научный отдел), и таблица на стене, и парта. И на дверях бумажка с надписью школа. Я велел Муре почаще читать эту надпись — и порою наклеиваю вместо этой бумажки другую, с надписью болото, базар, конюшня. Она мгновенно прочитывает новое слово, срывает бумажку и восстанавливает честь своей школы. Но когда я сказал, что больше таких унизительных бумажек не будет, она огорчилась. «Будет очень скучно». <...>

7 июля вторник. Чудный день — жаркий — взял детей на Разлив — 2 часа Лида и Боба гребли по озеру, я без пиджака (голый напол.) — тоска немного отлегла — Боба бронзовый — Лида и я в первый раз искупались — все ч у д н о , — но воротились, и Надежда Георгиевна дала мне телеграмму из Детского, что у меня родилась внучка. Вот откуда это вчерашнее стеснение в груди. Внучка. Лег на постель и лежу. Как это странно: внучка. Значит, я уже не тот ребенок, у к-рого все впереди, каким я ощущал себя всегда.

8 июля, среда, вечер. Дивные дни. Жара. Вчера и сегодня купался на море — на пляже в курорте. Очень хорошо. Кругом чужие, я ни с кем не знаком, хоть бы одно сколько-нб. тонкое, интеллигентное лицо. Тон — юнкерский, офицерский: привилегированное сословие. Тоска. <...>

Недавно в Бобиной школе (15-й трудовой, бывшее Тенишевское училище) случилось событие, чрезвычайно взволновавшее Бобу: Лилина нашла, что Тенишевское училище чересчур буржуазно, решила раскассировать два класса — где слишком много нэпманских детей.

Таким образом, я был прав, когда утверждал, что 15[-ая] Сов. школа именно в виду интеллигентности состава учащихся могла в 1919 году так восторженно приветствовать Уэллса. Дети инженеров, докторов, журналистов хорошо знают Уэллса.

Ночь на 10 июля. По реке серенады, всеобщая ярь. Даже я, дедушка, вскочил с постели с таким возбуждением, словно мне 18 лет. Смиряя плоть, выбежал голый в сад — и кажется, кхе, кхе, простудился, лег у себя в будке — в солярии. Но зато приобщился к красоте бессмертия. Луна, деревья как заколдованные, изумительный узор облаков, летучая мышь, в лесочке соловей,— и дивные шорохи, шепоты, шелесты, трепет лунной, сумасшедшей, чарующей ночи. И пусть меня черт возьмет — + + +, пусть я издыхающий, дряхлеющий

дед, а я счастлив, что переживаю эту ночь. Жизнь как-то расширилась до вселенских размеров — не могу передать — вне истории, до истории — и почему-то я представил себе (впрочем, не нужно, стыдно). Пишу, а птицы поют, как будто что-то кому-то интересное рассказывают. <...>

17 июля. Муре третьего дня куплен учебник. Мура называет его то букварь, то словарь. Она теперь — из самолюбия — начинает производить работу «складов» в уме — долго смотрит в слово, молчит (даже губами не шевелит) и потом сразу произносит слово. Вчера она прочла таким образом *мороженое*. У нас гостит Сима Дрейден — и она очень любит демонстрировать пред ним свое искусство: прочла в «Красной газете»: *война*. «Красная», *«спорт», «скачки»*. Вчера я познакомил ее с Инной Тыняновой 9 лет, завел их в лес, «в неизвестную страну» — которую, в честь их имен, назвал *Иннамурия*. Они затараторили — стали сочинять всякие подробности про эту страну. <...>

Боба и Лида раза три в неделю ходят на лодку в Разлив. Вчера взяли и Симу. Посетили шалаш Ильича и видели плавучий остров. По дороге туда, идя по шпалам, для сокращения дороги рассказывают детские воспоминания — о Куоккале. С Лидой у меня установилась тесная дружба. По вечерам мы ведем задушевные беседы — и мне все больше видна ее мучительная судьба впереди. У нее изумительно благородный характер, который не гнется, а только ломается.

К Муре с полдня пришла Инна Тынянова. Легенда об Иннамурии растет. Мура говорила по-иннамурски, читала иннамурские стихи, они путешествовали с Инной в Иннамурскую страну — и пр.

23 июля. Вчера купался дважды и в море, и в реке. На пляже было дивно. Приехала Татьяна Богданович. Она живет в Шувалове. Опять без работы. Нужда вопиющая. Я дал ей немецкую книжку, полученную мною от Ломоносовой. Был воспитатель Бобы. Я читал Т. Ал-не свою статью. Над нею еще много работы, но она не так плоха, как мне казалось. Нужно только не скулить, а работать. М. Б. сказала, что мои занятия с Мурой — «издевательство над бедною девочкой». Сообщают, что от Репина есть адресованное мне письмо.

24 ию[л]я. Вчера опять был «роскошный» день. Валялся на пляже — с американцем Massel'ом, а попросту Майзелем, евреем, инженером, который прожил в Америке 26 лет — и приехал погостить к своему брату, доктору, заведующему здешним курортом. Купался в море два раза. Вечером приехала Лида и привезла мне книги, о которых я не смел и мечтать: James Joyce «Ulysses», Frank Harris «Oscar Wilde» и проч. Кроме того — письмо от Репина, написанное 7-го июня и *пролежавшее в Русском Музее два месяца*!! А также письмо от Сапира, что он будет у меня в субботу. Это так взволновало меня, что я почти не спал эту ночь. Читал запоем Harris'а о

Wilde'е, прочел кокетливую статью Bernard'a Shaw, самохвальные Appendices самого Harris'a и половину первого тома. Любопытно: книга Harris'a издана тем самым издателем Brentano, о к-ром мне вчера говорил Mr. Massel: сын этого Brentano ухаживает за дочерью Mr. Massel'a.

1 августа. Был вчера в городе, по вызову Клячко. Оказывается, что в Гублите запретили «Муху Цокотуху». «Тараканище» висел на волоске — отстояли. Но «Муху» отстоять не удалось. Итак, мое наиболее веселое, наиболее музыкальное, наиболее удачное произведение уничтожается только потому, что в нем упомянуты именины!! Тов. Быстрова, очень приятным голосом, объяснила мне, что комарик — переодетый принц, а Муха — принцесса. Это рассердило даже меня. Этак можно и в Карле Марксе увидеть переодетого принца! Я спорил с нею целый час — но она стояла на своем. Пришел Клячко, он тоже нажал на Быстрову, она не сдвинулась ни на йоту и стала утверждать, что рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе, и они флиртуют. Как будто найдется ребенок, который до такой степени развратен, что близость мухи к комару вызовет у него фривольные мысли!

Из Гублита с Дактилем в «Кубуч». По дороге увидал Острецова — едет на извозчике — с кем-то. Соскочил, остановился со мной у забора. Я рассказал ему о прижимах Быстровой. Он обещал помочь. И сообщил мне, что моя книжка о Некрасове очень понравилась Г. Е. Горбачеву, — «Григорию Ефимовичу», как он выразился.

Итак, мой «Крокодил» запрещен, «Муха Цокотуха» запрещена, «Тараканище» не сегодня завтра будет запрещен, но Григорию Ефимовичу нравится мой ненаписанный Некрасов.

II. Дактиль. — У фининспектора не был. — Денег нет ниоткуда. Словом, весь мой режим разбит, вся работа к чертям. Со смертью в сердце приехал я в Курорт, разделся и кинулся в воду — в речку и старался смыть с себя Гублит, «Кубуч», Быстрову, фининспектора — и действительно, мне стало легче. Ну, хорошо, сожми зубы — и пиши о Некрасове.

Мура. «Папа, сегодня со мною б[ыла] маленькая трагедия» (она упала на ведро, где рыбы). Я выслушал ее и спросил: «А что такое трагедия?» — «Трагедия это... ну как тебе объяснить? Я сама не знаю, что такое трагедия».

6 августа, четверг. Вдруг выяснилось, что у меня нет денег. Запрещение «Мухи Цокотухи» сделало в моем бюджете изрядную брешь. Поэтому я принял экстраординарные меры: взял доктора Айболита и в четыре дня переделал и перевел оттуда два рассказа: «Приключение белой мыши» и «Маяк». Дал себе слово ложиться не позже десяти. Вчера лег в 8½ и сегодня встал до рассвета и работаю вот уже часов 6. Так, по крайней мере, мне кажется. На днях отправил Острецову такое письмо — по поводу «Мухиной Свадьбы»:

«В Гублите мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар — переодетый принц!! Надеюсь, это было сказано в шутку, т. к. никаких оснований для подобного подозрения нет. Этак можно сказать, что «Крокодил» переодетый Чемберлен, а «Мойдодыр» — переодетый Милюков.

Кроме того, мне сказали, что Муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо! Может быть, это и так (рисунки вообще препротивные!) но, к счастью, трехлетним детям кокетливые улыбки не опасны.

Возражают против слова *свадьба*. Это возражение серьезнее. Но уверяю Вас, что Муха венчалась в *Загсе*. Ведь и при гражданском браке бывает свадьба. А что такое свадьба для ребенка? Это пряники, музыка, танцы. Никакому ребенку фривольных мыслей свадьба не внушает.

А если вообще вы хотите искать в моей книге переодетых людей, кто же Вам мешает признать паука переодетым буржуем. «Гнусный паук — символ нэпа». Это будет столь же произвольно, но я возражать не стану. «Мухина свадьба» моя лучшая вещь. Я полагал, что написание этой вещи — моя заслуга. Оказывается, это моя вина, за которую меня жестоко наказывают. Внезапно без предупреждения уничтожают мою лучшую книжку, которая лишь полгода назад была тем же Гублитом разрешена и основ советской власти не разрушила.

Есть произведения халтуры, а есть произведения искусства. К произведениям халтуры будьте суровы и требовательны, но нельзя уничтожать произведение искусства лишь потому, что в нем встретилось слово именины.

Ведь даже монументы царям не уничтожаются советской властью, если эти монументы — произведения искусства.

Мне посоветовали переделать «Муху». Я попробовал. Но всякая переделка только ухудшает ее. Я писал эту вещь два года, можно ли переделать ее в несколько дней. Да и к чему переделывать? Чтобы удовлетворить произвольным и пристрастным требованиям? А где гарантия, что в следующий раз тот же Гублит не решит, что клоп — переодетый Распутин, а пчела — переодетая Вырубова?

Я хотел бы, чтобы на эту книгу смотрели проще: паук злой и жестокий, хотел поработить беззащитную муху и непременно погубил бы ее, если бы не герой комар, к-рый защитил беззащитную. Здесь возбуждается ненависть против злодея и деспота и привлекается сочувствие к угнетенным. Что же здесь вредного — даже с точки зрения тех педагогов, которые не понимают поэзии?

К. Чуковский».

Дождь идет с утра. Вчера тоже. Мы было двинулись на лодку, но только зря прошагали туда и назад.

Сегодня должен приехать Дактиль. <...>

7 августа. 4 года со дня смерти Блока.

Вчера приехал ко мне Гинцбург, скульптор, привез письмо от

Репина, обедал. Рассказывал много о Репине. Оказывается, что те фрукты, к-рые привез Репину Штернберг, были действительно отправлены И. Е-чем в гельсингфорсскую лабораторию — для анализа. Из лаборатории б[ыл] получен такой ответ:

> «В присланных вами фруктах ни металлических, ни растительных ядов не найдено. Но м. б. в той стране, откуда вам прислали эти фрукты, существуют яды, до сих пор нашим ученым неизвестные».

За анализ с Репина взяли сто марок — пять рублей. Гинцбург между прочим рассказал:

«Когда-то Репин написал портрет своего сына — Юрия. (С чубом.) Пришел к Репину акад. Тарханов и говорит: великолепный портрет! Я как физиолог скажу Вам, что вы представили здесь клинически-верный тип дегенерата... Ручаюсь вам, что и его родители тоже были дегенераты. Кто этот молодой ч[елове]к?

— Это мой сын! — сказал Репин».

Репин будет в России — по приглашению Академии Наук. Гинцбург лепит бюст Карпинского и в разговоре с ним подал ему эту мысль. Карпинский сразу послал ему почетное приглашение. <...>

Всю ночь не заснул ни минуты. Принимаюсь за упорядочение своей статьи «Некрасов как певец» и т. д.

11 августа. Никакой стареющий человек других поколений никогда не видел так явно, как я, что жизнь идет мимо него и что он уже не нужен никому. Для меня это особенно очевидно — п. ч. произошла не только смена поколений, но и смена социального слоя. На лодке мимо окна проезжают совсем чужие, на пляже лежат чужие, и смеются, и танцуют, и целуются чужие. Не только более молодые, но чужие. Я стараюсь их любить — но могу ли?

Вышел для Муры первый № «Иннамурской Газеты». Мура хочет быть собакой Джэком и требует, чтобы я затягивал ее шею ремешком.

Ночь на 15-ое. Зарницы. Разбудила меня горничная Лена: в два часа вернулась с гулянья, не могу заснуть. Вспоминаю: 13 авг. был я в городе для разговора с Острецовым. Он был пьян. Я встретил его на улице. Он ел яблоко. Лицо красное, маслянистое, на голове тюбетейка. Оказывается, что он не получал от меня того письма, которое я послал ему с Бобой. Сапир не передал. Я стал на словах говорить ему: зачем вы плодите анекдоты? Ведь уже и так про вас говорят за границей, что вы запретили «Гамлета».

— И запретим! — сказал О[стрецов]. — На что в рабочем театре «Гамлет»?

Я прикусил язык. Заговорили о «Мухе».

— Да неужели вы не понимаете? — сказал он. — Дело не в одной какой-нб. книжке, не в отдельных ее выражениях. Просто решено в Москве — посократить Чуковского, пусть пишет социально-полез-

ные книги. Так или иначе, не давать вам ходу. В Гублит поступила рецензия обо всех ваших детских книгах — и там указаны все ваши недостатки...

— Рецензия или циркуляр?..

— Нет, рецензия, но... конечно, вроде циркуляра...

Обещал помочь, но я плохо верю в его помощь. И так меня от всего затошнило, что я захворал. <...>

1 августа. Воскресение. Проправил корректуру своей «Панаевой» — и, отсылая в «Кубуч», написал корректору Когану.

(Начало страницы о т о р в а н о. — *Е. Ч.*)

Ежели эти [строчки]
Вы пошлете в типографию
Без проволочки.

Образец идиотизма после бессонных ночей. Вчера было приключение: я, Саша Фидман, Лида, М. Полякова, Боба и Сима Дрейден отправились покататься по озеру. Над нами были тучи беспросветные. Мы пришли к берегу. Дождь б[ыл] неминуем. В будке никого не было. Следовало повернуть. Но Лида выражала такое деспотич. желание прокатиться по озеру и с таким презрением смотрела на всех, кто выказывал благоразумие, что мы двинулись. Молнии были со всех сторон, справа и слева были видны полосы дождя, тучи были угольно-черные, но — дождь не шел. Казалось, он ждал. По дороге я рассказывал о *распорядителе туч* — свой фантастич. роман — все много смеялись — но чуть мы подъехали к тому берегу, где шалаш Ильича, как вдруг — дождь, который только того и ждал — полил на нас с такой силой, что мы стрелою побежали в барак, где живут рабочие, делающие шоссе к шалашу. (Шоссе строится на средства завода.) Туда же прибежали и дети, приехавшие на парусной лодке к шалашу Ильича. Детей было не меньше 50. Поднялся бешеный ветер, Боба голый, в одних штанишках, выбегал под лютый дождь — ухаживать за лодкой. Мы просидели в бараке 2 часа, болтали с детьми, очень милыми, Боба поднимал их до потолка («и меня, дяденька!»), белобрысый молодой рабочий рассказывал о своей трудной жизни, часть детей уехала в страшный дождь, под непрерывное грохотание грома, мы воспользовались временным бездождием и двинулись назад. Но только мы отъехали, дождь — крупный и злой — полил так, что М. П[олякова] стала дрожать, Сима весь посинел, а Лида кричала, что по ней (по животу) ползут струи. Потом по шпалам — под дождем. Прибежали, каждому чистое белье, растерлись, и наутро как ни в чем не бывало. Боба опять нагишом возится с рыбами — а утро сырое.

Вот мой разговор с Клячкой:

«Я не могу быть в таком двусмысленном положении. Как будто Вы мне должны, а как будто и нет. Я хочу знать наверняка: считаете ли Вы себя обязанным, получив от меня 7 книг, платить мне по 500 рублей в месяц — в определенный срок? Если Вы делаете так толь-

ко в силу данного Вами слова, то я освобождаю Вас от Вашего слова. Мне дороже всего определенность. Если Вы скажете мне, что в настоящее время Вы должны мне платить всего 100 или 200 рублей, я буду чувствовать себя лучше, чем теперь, когда я ничего не знаю. Я только считал бы справедливым, чтобы Вы предупредили меня за два месяца вперед, дабы я мог приспособиться к новым условиям. Я должен ликвидировать свою квартиру, продать свои книги, поступить на службу и проч. На это требуется два месяца. За эти два месяца я могу написать пять или шесть детских книг — которые у меня давно начаты: «Метлу и Лопату», «Маяк» и «Три трудпесни». Я, словом, так верю в свои силы, что не боюсь даже полного прекращения выдачи денег от «Радуги», если это произойдет не вдруг, а постепенно. Итак, если Вы желаете перейти на новые более выгодные для Вас условия, я согласен».

Правлю свою статью об Эйхенбауме — для печати. 25 первых страниц вполне приличны. Нужно переделать конец, и статья будет недурна. Думаю послать ее в «Печать и революцию». Мне больно полемизировать с Эйхенбаумом. Он милый, скромный человек, с доброй улыбкой, у него милая дочь, усталая жена, он любит свою работу и в последнее время относится ко мне хорошо. Но его статья о Некрасове написана с надменным педантизмом, за которым скрыто невежество.

Был сегодня с Мурой у Тыняновых. Тынянов приезжает из Крыма во вторник к именинам своей Инночки.

Сегодня *Клячко* в саду играл в карты. Он только что приехал из Москвы и завтра опять уезжает. Я дважды подходил к его столу с рукописями, просил дать мне 5-минутную а у д и е н ц и ю, — он не дал. «Завтра, завтра»! Это так оскорбило меня и удручило, что я — вот не сплю всю ночь и сердце у меня очень болит. Если бы ко мне в любое время подошел не мой ближайший сотрудник, а подошел бы мой портной или моя кухарка, я нашел бы 5 мин. для разговора с ними. <...>

17 авг. Четверть 8-го. Конечно, Клячко не идет. Половина 8-го. Клячко не идет. А я не спал — всю ночь, поджидая 7 часов. Пришел. Все хорошо. Говорит, что до 1-го янв. он не намерен менять условий.

24 августа. Понедельник. Приехал Тынянов. Дня 3 назад. Я сейчас же засел с ним за его роман. Он согласился со мною, что всю главу о восстании нужно переделать. Мил, уступчив, говорлив. Он поселяется у нас на неделю, специально для переделки романа. Денег у меня по-прежнему нет. Клячко обещает лишь через две недели.

Ю. Н. Тынянов завтракал у нас. Сама вежливость — и анекдоты. Анекдот о Шкловском. Шкл. подарил Тынянову галстух: «Вот возьми, у тебя плохой, я тебе и завяжу». Завязал, и они пошли в гости — к Жаку Израилевичу. Сидят. Жак всматривается. «У Вас,

Ю. Н., галстух удивительно похож на мой. Жена, дай-ка мне мой!» Шк. успокаивает: *«Не беспокойся,* это твой и есть».

Пришел Шк. к Игнатке требовать у него гонорара. Оказалось, что Игнатка полгода обманывал Шк. и не выдавал его матери следуемого Шк. гонорара. Тот рассвирепел — и хвать золотые часы со стола. «Не отдам, пока не заплатишь».

О Шахматове. Тынянов, молодой студент, пришел к Шахм. и говорит: «Я интересуюсь синтаксисом». Ш. скромно: «И я».

О С. А. Венгерове. Умирая, он просил Тынянова и Томашевского: «Поговорите при мне о формальном методе».

О Томашевском: это забулдыга-педант. Он даже в забулдыжестве — педант.

О себе. Сейчас в Крыму он стоял у ж.-д. кассы чуть не сутки, чтобы достать билет, вдруг ворвалась банда студентов — и уничтожила очередь. Он запротестовал. К нему один студент: — Кто вы такой? — А вы кто? — Я мужик! (С гордостью.) — Вы не только мужик, вы и сумасшедший. — Он очень смешно и похоже показывает разных людей: Семена Грузенберга, Венгерова, Энгельгардта, Фомина и особенно архивную крысу из Пушкиндома — Переселенкова. Читал некоторые переводы из Гейне — отличные. Но конечно, сколько-нибудь романтич. ему не даются.

Муре очень нравится Пушкин. *«Он умер? Я выкопаю его из могилы и попрошу, чтобы он писал еще».*

А Ленин? Он тоже умер? Как жаль: все хорошие люди умирают.

31 августа. У Тынянова нет денег жить на даче. Он уехал с женою и Инной неделю назад и в залог оставил свои вещи. Сегодня привез в пансион деньги, приехал за вещами. Мы с ним славно говорили о Гл[ебе] Усп[енском] и Щедрине. Он говорит, что Лесков ему гораздо дороже Тургенева, что Эйхенбаум неправ, выводя Лескова от Даля. На Лескова явно влияла манера Тургенева. Возмущались мы оба положением Осипа Мандельштама: фининспектор наложил на его заработок секвестор, и теперь Мандельштам нигде даже аванса получить не может. Решили собраться и протестовать. Увидеть бы Калинина или Каменева.

Сегодня купался в реке: великолепно. Вообще день замечательный.

Мура: — А неужели Гайавату не Пушкин написал?

4 сентября. Вчера был в городе. Получил новые повестки от фининспектора. В Госиздате встретил Сологуба. Он вместе с Фединым и др. писателями сговаривался с Ионовым насчет хождения в субботу к стенам Академии с приветствием. Я заговорил о том, что хотя бы к 200-летию Академии следовало бы снять с писателей тяготы свободной профессии. Свободная профессия — в современном русском быту — это нечто не слишком почтенное. 2-го сентября судили какую-то женщину, и одна свидетельница на суде оказалась нашей сотоваркой:

«Леля с Казанской улицы» — совсем молоденькая, в скромном синем костюме, на вопрос: чем занимаетесь? — отвечает громко и отчетливо, даже с бравадой:

— Свободной профессией!

— Какою же?

— Я — проститутка!

Нужно хлопотать о том, чтобы нас признали по крайней мере столь же полезными, как сапожников, стекольщиков и пр.

Сологуб возразил. Четко, с цифрами, подробно, канительно стал он доказывать, что с нас должны брать именно те налоги, какие берут. — Я изучал законы о налогах, и я вижу, что берут правильно...

Но другие писатели с ним не согласились — и назначили на 4 часа собраться в Союзе Писателей. Я собрался — но никто не пришел, кроме Сологуба и Борисоглебского. На столе были пачки книг (по большей части хлам), пожертвованных «Союзу» Ионовым.

Сологуб разбирал эти книги, надеясь найти в них стихи Беранже. Ему хочется переводить Беранже, но — 1) у него нет издателя, 2) у него нет оригинала. Беранже не оказалось, но я нашел Poems & Ballads Свинберна, которые с таким упоением читал в Лондоне в 1904 году и с тех пор никогда не видал. Я убежал в другую комнату и стал волнуясь читать Гимн Прозерпине, Laus Veneris, To Victor Hugo и пр. Но теперь они на меня не произвели такого впечатления. Я упросил Сологуба, чтобы он взял эту книгу и попробовал ее перевести. Он согласился — и стал писать расписку — о, как долго! Пунктуальнейше: качество перевода, степень повреждения, количество страниц — «вот как надо писать расписку». Он очень постарел. Я спросил его, не думает ли он написать автобиографию. — Нет, или, пожалуй, да: я написал бы о своей жизни *до рождения.* — Это большая будет книга. — Да, томов 25. — Заговорили о Некрасове. Я тут же написал ему анкетный лист, и он, балуясь и шутя, заполнил его. На последний вопрос он даже ответил стишками. Пропускает буквы и слова: ковенно, [не] надо и т. д.

«Никто никогда не находил в моих стихах влияния Некрасова. Когда в молодости я послал из провинции свои стихи одному понимающему человеку, он написал мне, что я нахожусь под влиянием Пушкина. Правда, этот человек был математик».

Был я у Ионов[а]. Ионов взялся хлопотать пред властями об улучшении быта писателей. Кто-то хотел взять у Ионова книгу со стола. Ионов сказал: *стоп,* нельзя! Я заметил: «А Щеголев у вас всегда берет». — «Ну Щеголев и отсюда возьмет», — и он указал на карман.

Острецов был совершенно пьян. Из его бессвязного лепета я понял, что «Муха» будет разрешена.

«Может быть, мне повидать Калинина и попросить его», — говорю я. — «Ну нет, мне Калинин не указ! Недавно я запретил одну книгу по химии, иностранная книга в русской переделке. Книга-то

107

Леля с Казанской улицы—совсем молоденькая, в скромном синем костюме, на вопрос: чем занимается?—отвечает громко и отчетливо, даже с бравадой:
— Свободной профессией!
— Какою же?
— Я—проститутка!

Страница дневника. 4 сентября 1925 г.

ничего, да переделка плоха. Получаю письмо от Троцкого: «Тов. Острецов. Мы с вами много ссорились, надеюсь, что — это в последний раз. Разрешите «Химию» такого-то». Я ответил, что «Химию» я разрешу, но не в такой обработке. Он прислал мне телеграмму: «Нужно разрешить «Химию» в этой обработке». И что же вы думаете, я послушал его? Как же!»

Вышел «Мойдодыр» 7-е изд. На обложке значится 10 000 экз. А Клячко говорил, что тиснет только 3 тыс. Издание прекрасное.

«Красная газета» 3 сентября (наклеена вырезка из газеты — *Е. Ч.*):

> В газетах печатают, будто мною получено письмо от Ильи Репина, где он сообщает, что едет в Ленинград по приглашению Академии Наук. Такого письма я не получал. В последнем его письме ко мне он лишь говорит, что хотел бы приехать на родину, чтобы посмотреть выставку своих картин в Русском Музее, посетить Третьяковскую Галерею, повидаться с друзьями.
>
> Уважающий вас *К. Чуковский*

Решаюсь отказаться от Дактиля. Ничего не могу писать из-за него. Ну его. Не надо ничего!

5 сентября. Ночь на 6-ое. День чудесный, — скоропреходящие дожди и солнце, осеннее. В Иннамурии пахнет вереском, грибами, брусникой, бродил с Мурой по Иннамурским холмам. Пишу свой идиотский роман, — левой ногой — но и то трудно [12].

6 сентября, воскресение. Сегодня переехали в город. С утра солнце, сейчас дождь. Дома осталось только три стула да мой письм. стол. Все увезено Живатовскими. Сейчас, разбирая бумаги, нашел свою старую запись о Муре, относящуюся к 1924 г. 10/IX.

— Мама, бывают воры хорошие?

— Воры?

— Не делай ты таких страшных глаз, мне тогда кажется, что ты — вор!

Там белочка другая,
Там зайчик спит, леж*ая*.

4 ноября 1925 г. В Питер приехал Есенин, окончательно раздребезженный. Я говорю Тынянову, что в Есенине есть бальмонтовское словотечение, графоманская талантливость, которая не сегодня завтра начнет иссякать.

Он: — Да, это Бальмонт перед Мексикой.

Мой «Крокодил» все еще запрещен. Мебель все еще описана фининспектором. С Клячкой все еще дела не уладились. Роман мой «К К К» все еще не кончен. Книга о Некрасове все еще пишется. Я все еще лежу (малокровие), но как будто все эти невзгоды *накану-*

не конца. Эти два месяца после пере[е]зда на дачу были самые худшие в моей жизни, — мебель увезена, — другой мебели нет, — Клячко надул меня, как подлец — не дал обещанных денег, я заболел, Лида заболела, Боба заболел, требуют с меня денег за квартиру, фининспектор требует уплаты налога, описали мебель, — право, не знаю, как я вынес все эти камни, валившиеся мне на голову.

Сейчас как будто начался просвет: легче. Третьего дня, в воскресение 1-го ноября сидит у меня Сапир, вдруг, вдруг звонок, приходит усач и спрашивает меня. Я испугался. Уж очень много катастроф приносили мне все эти усачи! Оказалось, этот усач принес мне 250 долларов от Ломоносовой. За что? Для чего? Не знаю. Но это — спасение. <...>

Мура: — А ты, мама, была когда-нибудь на другой звезде?

8 или 9 декабря. Был у Клюева с Дактилем. Живет он на Морской в номерах. Квартира стилизованная — стол застлан парчой, иконы и церковные книги. Вдоль стен лавки — похоже на келью иеромонаха. И сам он жирен, хитроумен, непрям и елеен. Похож на квасника, в линялой рубахе без пояса. Бранил Ионова: ограбил, не заплатил за книжку о Ленине. «Вы, говорит, должны были бы эти деньги отдать в фонд Ильича». А я ему: «Вы бы мне хоть на ситничек дали».

— Потому что у меня и на ситничек нет (и он указал на стол, где на парчовой скатерти лежали черные корочки).

Я был у него по поводу анкеты о Некрасове.

— Я уж вам одну такую оболванил.

— Я не получал.

— Я дал ее такому кучерявенькому. Ну да напишу новую, насколько моего скудоумия хватит, и с парнишкой пришлю — вот с этим.

В комнате вертелся парнишка — смазливый — не то половой из трактира, не то послушник из монастыря.

Покупал очки. Готовых нету. Пришлось заказать. Был у Горлина по делу Богданович. Ее очень ущемляет Николай Петров: выжучивает у нее гонорар, который причитается ей как переводчице «Скипетра». Эту пьесу привез ей Тарле, я пристроил ее в Госиздате. Теперь Александр. театр ставит ее. Постановщик — Петров оспаривает право Татьяны Александровны на гонорар и заявляет, что он так много внес творческой работы в эту пьесу, что ему полагаются все 100% авторских за «Скипетр». <...>

— «Каракуль» объявление в газете. *Мура говорит: этими мехами твой бороду ля пишет.* (Бородуля писал каракулями). <...>

17 декабря. Только что написал в своем «Бородуле» слова: *Конец пятой части.*

Три четверти девятого. Ура! Ура! Мне осталась только четвертая часть (о суде), за которую я даже не принимался. И нужно выправить все. И боюсь цензуры. Но главное сделано. Вся эта вещь написана мною лежа во время самой тяжелой болезни. Болезнь заключает-

ся в слабости и, главное, тупости. Больше 5 часов в течение дня я туп беспросветно, мозги никак не работают, я даже читать не могу.

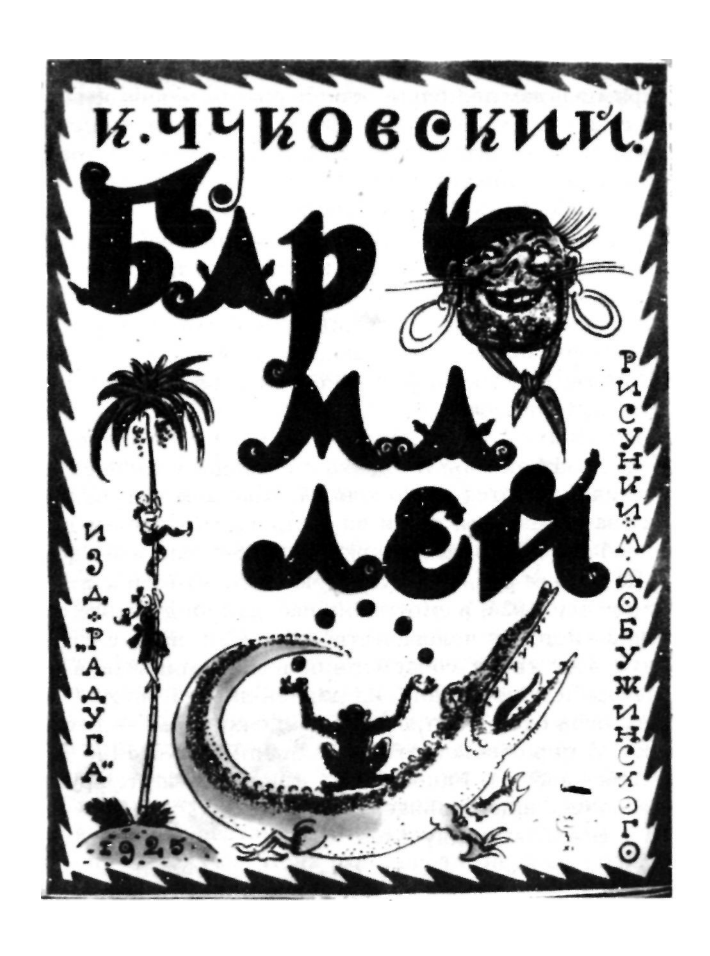
Лежать мне было хорошо. Свой кабинет я отдал Коле на день и Бобе на ночь, а сам устроился в узенькой комнатке, где родилась Мура, обставил свою кровать табуретом и двумя столиками — и царапаю карандашом с утра до ночи. Трудность моей работы заключается в том, что я ни одной строки не могу написать сразу. Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась самая техника писания. Я перестраиваю каждую фразу семь или восемь раз, прежде чем она принимает сколько-нибудь приличный вид. Во всем «Бородуле» нет строки, которая была бы сочинена без помарок. Поэтому писание происходило так: я на всевозможных клочках писал карандашом черт знает что, на следующий день переделывал и исправлял написанное, Боба брал мою исчерканную рукопись и переписывал ее на машинке, я снова черкал ее, Боба снова переписывал, я снова черкал — и сдавал в переписку барышне «Красной Газеты». Оттого-то в течение 100 дней я написал 90 страниц, — т. е. меньше страницы в день в результате целодневного и ежедневного напряженного труда. Ясно, что я болен. У меня вялость мозга. Но как ее лечить, я не знаю.

25/XII, пятница. Лежу в инфлуэнце. С 20-го в жару и бездельи. Мне оставалось два дня — покончить с корректурами книги о Некрасове и с «Бородулей» — и вдруг

Как ураган, недуг примчался.

Болит правое ухо, правая часть головы, ни читать, ни писать, умираю. Был Тынянов, сидел у меня полдня — как всегда светлый, искрящийся. К моему удивлению, он не все забраковал в моей книге о Некр. (я показывал ему статью «Проза ли?»). Начало ему не понравилось, а главка о рифмах и паузах вызвала шумную похвалу.

«Бородуля» у меня написан почти весь — I, II, III, V части и эпилог. Был у меня вчера Мак из «Красной», убеждает меня дать свою фамилию, но я не хочу. Доводы я ему привел, не скрывая. Сейчас вышла книга Боцяновского о 1905 годе. Там была заметка обо мне. Госиздатская цензура выбросила: *«Не надо рекламировать Чуковского!»* В позапрошлом году вышла моя книга о Горьком. О ней не было ни одной статейки, а ее идеи раскрадывались по мелочам журнальными писунами. Как критик я принужден молчать, ибо критика у нас теперь рапповская, судят не по талантам, а по [парт]билетам. Сделали меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами — их замалчивание, травля, улюлюкание — запрещения их цензурой — заставили меня сойти и с этой арены. И вот я нашел последний угол: шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии. Кто же заставит меня — переставшего быть критиком, переставшего быть поэтом — идти в романисты! Да я, Корней Чуковский, вовсе и не романист, я *бывший* критик, бывший человек и т. д.



Обложка «Бармалея» работы М. Добужинского

Слышен голос Муры. Она, очевидно, увидела елку.

Мура. Лошадь. — Кто подарил? Никто. «Никто» (ей стыдно сказать, что дед Мороз, в которого она наполовину не верит). Бобе кошелек, Коле кошелек, Лене на юбку. Мура получила лошадь — и пришла спросить, как назвать ее. Я сказал «Савраска» и стал читать стихи Некрасова — из «Смерти Крестьянина». Мура все эти стихи переносила на свою игрушечную Савраску и, тихо плача, любовно гладила ее и целовала (тайком).

31 декабря. Читаю газеты взасос. Съезд не представляет для меня неожиданности [13]. Я еще со времен своего Слепцова и Н. Успен[ского] вижу, что на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я все ждал, где же перчатка про-

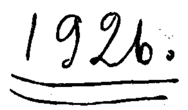
рвется. Она рвется на многих местах — но все же ее натянут гениальные упрямцы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир. Человеческий, психологический интерес этой схватки огромен. Ведь какая получается трагическая ситуация: страна только и живет, что собственниками, каждый, чуть ли не каждый из 150 миллионов думает о *своей* курочке, *своей* козе, *своей* подпруге, *своей* корове, или: *своей* карьере, *своей* командировке, *своих* удобствах, и из этого должно быть склеено хозяйство «последовательно-социалистического» типа. Оно будет склеено, но сопротивление собственнической стихии огромно. И это сопротивление сказывается на каждом шагу.

Умер Есенин. Я встречал его у Репина и Гессена. Когда-нибудь запишу, что вспомнится.

Перевожу «Rain»[14], пьесу, удивляюсь, почему не брался за нее до сих пор. Очень эффектная, и я даже, переводя, волнуюсь. Градусы у меня устанавливаются все около 37, прыгают как зайцы, — и я опять лежу за переводом, как и во времена «Королей и Капусты». Завтра новый год. Если мое здоровье пойдет так, я не доживу до 1927 года. Но это все равно. Я чувствую не то, что у *нас уже* 1926-й, а то, что у нас *еще* 1926, я смотрю на нас, как на древних, я думаю, что подлинная история человечества начнется лишь с 2000 года, я вижу себя и всех своих современников написанными в какой-то книге, в историческом романе, из давней-давней эпохи.

Мой Некрасов сдан в типографию только вчера — т. е. последние листики. Сапир обещал, что 7 янв. начнут *печатание*. Если так, то 20 янв. книга выйдет. Наконец-то у меня развяжутся руки. Только бы не заболеть еще сильнее.

Играем с Бобой в угадку слов. <...>



1 час. ночи. Бессонница. Нарывает мизинец на правой руке. Болит ухо. Болит сердце. Такое чувство, как будто вся кровь у меня выпита.

Получил поздравления от сестры Некрасова и от д-ра Гэнта, письма от Репина и Грузенберга, никому не ответил, нет сил.

Маруся пишет, что ее Елевферия гонят со службы. Куда же это она денется?

4 января (понед.) День каких-то странных нескладиц. М. Б. дала Бобе отнести деньги к Муриной учительнице — и он доставил не той женщине, а другой.

Коля пишет из Москвы, что Тихонов получил *не* все рисунки Ре-Ми, которые я послал ему. А я послал все!

Звонят из «Кубуча», что типография получила не все листы моей корректуры Некрасова, а я послал все!

11 января, понедельник. Вчера было у меня заседание Секции детских писателей при Союзе писателей. М. А. Бекетова, С. Маршак — вздор, курение, усталость и никчемные разговоры. Маршак рассказал интересную вещь о своем сыне, которому, кажется, 9 лет. Сын учился музыке — и по своей инициативе отказал учительнице музыки:

— Больше вы ко мне не ходите. Музыка праздное занятие для безработных.

11-месячный младенец (другой сын Маршака) тянется к нему, чуть увидит его, и вообще отца обожает. Но в последнее время он усвоил манеру — шутить и кокетничать с ним, то есть играть в перверзию. Он делает вид, что ему отец противен, что он не хочет к отцу, т. е. делает установку на противоположное чувство.

Ночь на 13-е янв. Выбираю себе псевдоним. Хорошо бы П. И. Столетов (т. е. Пистолетов). Барабанов, Пупырников, Ляпунов. <...>

24 января, воскресение. Эта среда была для меня днем катастроф. Все беды обрушились на меня сразу. Дело было так: 25 января «Красная» решила начать печатанием мой роман. Для этого я должен был написать предисловие. Я написал — очень газетное, очень нервное, и так [как] я уже 8 лет не писал фельетонов — меня эта работа взбудоражила. Я принес мой фельетон Ионе Кугелю. Он нашел некоторые места нецензурными: насмешка над молодыми пролетарск. поэтами, порнография (в цитате из Достоевского!! «Краса красот сломала член») Словом, канителился я с этим фельетоном дней пять. Сказали, что 20-го пойдет. Звоню 20-го утром. Иона говорит: «Не до вашего фельетона! Тут вся газета шатается! » Я конечно сейчас же — в «Красную». Иона взволнован, не спал ночь. Оказывается, в Ленингр. бумажный кризис. Нет ролевой газетной бумаги. Образовалась особая комиссия по сокращению бумажных расходов — и эта комиссия, вначале решившая закрыть одну из вечерних газет, теперь остановилась на том, чтобы предоставить каждой газете не шесть и не восемь страниц, а *четыре*! Вследствие этого для моего романа нет места! Роман отлагается на неопределенное время.

Это меня очень ударило, потому что я всеми нервами приготовился к 25-му января. Особенно огорчило меня непоявление фельетона. Но этим дело не кончилось.

В тот же день позвонили мне из «Кубуча»: из-за отсутствия бумаги мой «Некрасов» отлагается на неопределенный срок. Я чуть не взвыл от ужаса. Ведь чтобы кончить эту книгу к сроку, я писал ее и в бреду, и в жару, и не дал себе летнего отдыха, и принес целую кучу денежных жертв — и залег на 4 месяца в постель, не видя ни людей, ни театров, — и вот. Ведь должна же была выйти эта история с бумагой как раз в тот день, когда я закончил и роман, и книгу о Некрасове.

Но дело не кончилось и этим. Оказалось, что Ленинградский детский отдел послал на утверждение в Москву список заготовляе-

мых детских книг — и Московский Госиздат вычеркнул мою «Белую мышку», даже не зная, что это за книга. «Просто потому что Чуковский!»

И так в один день я был выброшен из литературы!

Во всем этом худо то, что мои писания стареют и лишаются единственной прелести, которая у них есть: новизны.

Так погубила «Эпоха» мою «Книгу о Блоке». Я писал эту книгу, когда Блок был жив, «Эпоха» так долго мариновала ее в типографии, что книга вышла лишь после смерти Блока, когда изо всех щелей посыпались «Книги о Блоке». С Некрасовым то же самое. <...> мой подход к Некрасову был и свеж и нов, но кто почувствует это теперь — если книга моя выходит с запозданием на 7 лет, да и то выходит ли?

Чтобы как-нибудь справиться с охватившей меня тоской, я бешено взялся за перевод пьесы «Rain», писал вовсю — страница за страницей, одурманивал себя работой.

Когда же «Rain» кончился, я для того же преодоления уныний — пошел в суд на дело Батурлова (Карточная Госмо[но]полия). Дело самое обыкновенное: компания современной молодежи встала во главе Карточной фабрики. Все это бывшие военные, лжекоммунисты, люди, очень хорошо наученные тому, что все дело в соблюдении форм, в вывеске, в фасаде — за которым можно скрыть что угодно. Чаще всего за фасадом комфраз скрывается «обогащайтесь». Они и обогащались — обкрадывали казну, как умели. Они были в этом деле талантливее, чем другие, только и всего. Не чувствуется никакой разницы между их психологией и психологией всех окружающих. Страна, где все еще верят бумажкам, а не людям, где под прикрытием высоких лозунгов нередко таится весьма невысокая, «мелкобуржуазная» практика, — вся полна такими, как они. Они только слегка перехватили через край. Но они плоть от плоти нашего быта. Поэтому во всем зале — между ними и публикой самая интимная связь. «Мы сами такие». Ту же связь ощутил, к сожалению, и я. И мне стало их очень жалко. Это — лишнее чувство, ужасно мешающее, так развинтило мои нервы, что я, придя домой, не мог и думать о сне.

Батурлов — отдаленно похож на Блока. Те же волосы, тот же рост, та же постройка лица. Это пошлый и неудавшийся Блок. В нем тоже есть музыка, — или, вернее, была. Теперь после всех допросов, очных ставок, тюремных мытарств — музыка немного заглохла и проявляется только в растерянной, милой, немного сумасшедшей улыбке, которая так часто блуждает у него на лице. В публике его жена, которую он кинул ради десяти других, но которая теперь не уходит из суда. Он улыбается ей очаровательно — и можно понять, как эта улыбка волновала в свое время женщин. У нее от него двое детей — и во время перерыва он делал ей какие-то знаки, должно быть спрашивал о них, расставляя руки и любовно глядя на нее. «Кому вы это?» — спросил его защитник. — «Жене!» — сказал он влюбленным голосом. Это улыбающееся лицо — каждую минуту

теряет свои улыбки и тогда похоже на лицо мертвеца. Этот *человек под угрозой расстрела*. Как будто уже и теперь перед ним нет-нет да и появится дуло винтовки. Лицо у него серое, нежные руки дрожат.

Рядом с ним Ив. Человек, как из камня. Тоже — под дулом винтовки. Единственный из подсудимых не шелохнется, не улыбается, не меняет лица, ни с кем не переглядывается. Его отец был англичанин — это видно. Умен, авторитетен и стоит на тысячу голов выше своих женственных и элегических собратьев. Его реплики классически точны, обдуманны, изобилуют цифрами, датами — и порою кажется, что не судья допрашивает его, а он — судью. Боюсь, что судья не простит ему этом вины.

Третий подсудимый — Степанов. Это скучная и беспросветная гадина. Туп, самодоволен и бездарен. Изображает себя образцом добродетели, а сам только и делал что составлял подлоги, воровал, писал доносы на своих товарищей. По наружности — типичный «хозяйственник» 23-го года. Бурбон, оскорбитель, невежда — без «музыки», — он с сентября до сих пор не мог придумать сколько-нибудь складной лжи.

— Куда вы девали те деньги, которые получили в Харькове после ликвидации склада?

— Я положил их в портфель и поехал с ними в Одессу, но по дороге их украли у меня.

— Где?

— Недалеко от Одессы!

— На какой станции?

— Не помню. Поезд стоял 5 минут.

— И вы не остались до следующего поезда? Не заявили в ГПУ? Не составили протокола? Не взяли расписки? Ведь вы знали, что вам придется за это отвечать.

— Протокол составили. Но поезд стоял только пять минут.

Эта гадина лишена художественного воображения, и мне ее не жаль. Любит такие слова, как «константировать», «технически».

Другое дело Колосков, заведующий Московским Складом Карточной Монополии. Тоже б[ывший] коммунист. Студенческого вида, стройный, страдающий, называет сам свои преступления — преступлениями, и по душевному складу стоит выше своего прокурора — курчавого молодого человека, который заменяет язвительность грубостью.

Во всем этом деле меня поразило одно. Оказывается, люди так страшно любят вино, женщин и вообще развлечения, что вот из-за этого скучного вздора — идут на самые жестокие судебные пытки. Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски, эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно, — особенно таким молодым и смазливым, — а вино? — да неужели пойти в Эрмитаж это не большее счастье? Неужели никто им ни разу не сказал, что, напр., читать Фета — это слаще всякого вина? Недавно у меня был Добычин, и я стал читать Фета одно

стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит — и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и ненужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета это «одно из высших достижений русской лирики», а что эта лирика — есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает: не знал и Батурлов, не знал и Ив. Не знают также ни Энтин, ни судья, ни прокурор. Русский растратчик знает, что чуть у него казенные деньги, значит, нужно сию же минуту мчаться в поганый кабак, наливаться до рвоты вином, целовать накрашенных полуграмотных дур, — и, насладившись таким убогим и бездарным «счастьем», попадаться в лапы скучнейших следователей, судей, прокуроров. О, какая скука, какая безвыходность! И всего замечательнее, что все не-растратчики, сидящие на скамьях для публики, тоже мечтают именно о таком «счастье». Каждому здешнему гражданину мерещится — как предел наслаждения — Эмма, коньяк, бессонная ночь в кабаке. Иных наслаждений он и представить себе не может. Дай ему деньги, он сейчас же побежал бы за этими благами.

Все это разволновало меня. Я пошел в суд, чтобы развлечься, успокоиться, а на самом деле только пуще растревожил себя. Лег — не могу заснуть. Бессонная ночь показалась мне таким ужасом, что я кликнул Лиду, чтобы Лида почитала мне и усыпила меня.

Но Лида, не поняв, как много значит для меня сон в такой день, «день несчастий», ответила:

— Не могу! У меня Ирина, и я должна принимать ванну!

Это безучастное отношение так почему-то разъярило меня, что я выбежал в столовую и стал страшным голосом кричать на Лиду, ругал ее последними словами, швырнул в нее какую-то вещь — и вообще вел себя пребезобразно.

Лида так и не поняла, отчего я взъерепенился. Она не ответила ни слова на мои ламентации и, накинув пальто, убежала. Ванна пропала. Мне стало так стыдно перед Лидой, перед М. Б., что я расплакался при Ирине и Грише Дрейдене.

После этого мне было не до сна. Ко мне пришла Марья Борисовна и долго упрекала меня за мой отвратительный характер. Принял брому и к 3 час. заснул на 1½ часа.

На следующий день (в пятницу 22 янв.) получил от Евгении Ивановны переписанный перевод пьесы «Rain», весь день лежал и правил его, а к вечеру встал и пошел к доктору Ратнеру. Мне посоветовал пойти к Ратнеру Я. И. Перельман, брат Осипа Дымова; жену Перельмана вылечил доктор Ратнер от утомляемости. Ратнер, ученик Бехтерева — специалист по внутренней секреции. Живет он на Фурштатской в убогой роскоши начинающего врача, желающего казаться знаменитым и пускать людям пыль в глаза. Я пришел не в урочный час. Он принял меня как своего лучшего друга и стал ого-

рошивать меня целым рядом вопросов, каких обычно не задают никакие врачи:

— Покажите ваш пупок. Ага!

— Нет ли у вас новых бородавок?

— Не чувствуете ли вы, что во сне ваши руки растут до потолка?

Очень долго изучал мои подмышки и сказал, что его чрезвычайно интересует мой нос.

Потом стал расспрашивать меня о «Крокодиле», так как его интересуют «процессы моего творчества».

Я ожидал блестящего диагноза, но он после долгого думанья сказал, чтобы я не принимал душа Шарко (которого я никогда и не собирался принимать!)

Потом он прибавил, что у меня молодые глаза, и, ловко поймав пятирублевку, счел свою миссию выполненной.

Был сегодня у Редьков и Тынянова. Редькам отдал 50 рублей, которые был им должен. А к Тынянову — зашел для души. Он сидел в столовой с женой, дочкой — и еще какими-то двумя. Такой же энергичный, творческий, отлично вооруженный. Прочитал мне сценарий «S.V.D.» (Союз *великого дела*)[1]. Очень кинематографично, остроумно. Жаловался на порядки в Кино. Распоряжаются какие-то невежды, не хотят платить авторских. У него были столкновения с одним режиссером. «Вы меня покроете матом, а я вас разматом». Эйхенбаум тоже пишет для Кино — пересказы Лескова. И его сценарий забраковали. (Должно быть, по заслугам, не его это дело!) Очень хвалит Тынянов доклад Лидии Яковлевны Гинзбург о кн. Вяземском. По поводу моего письма о плагиаторах рассказывал, что в прошлом году один молодой человек слушал его лекции о поэтах — и каждую неделю печатал их под своей фамилией в «Красной Газете». А недавно «Хаза» Каверина была воспроизведена одним плагиатором со всеми подробностями. Дошло до того, что у Каверина в «Хазе» — «Купальщица» Неффа и там «Купальщица» Неффа. Инна сказала: «Почему Мура мне не позвонит?» Я сказал: «Ишь какая ты важная, позвони Муре первая». Придя домой, я передал этот разговор Муре. Она сказала: «Я ей позвоню, чтобы она позвонила мне первая».

И действительно пошла к телефону.

Сегодня первый раз она сама говорила по телефону.

25 января. Третьего дня Боба и Коля первый раз были в суде. Боба живет теперь рядом со мной, и я могу наблюдать его близко. Он — мальчик простодушный и чистый. Но, увы, такой же работяга, как и Лида. Причем работает не над тем, что дает ему духовный капитал, а над сущим вздором, над школьным кооперативом! И как работает: в пятницу сел утром за писание накладных и квитанций и встал только вечером, не разгибая спины. Этому делу он предан всей душой, а английским занимается лишь для того, чтобы я на него не сердился. Учит слова, делает *мне* переводы, но вся его душа в накладных. К книгам по-прежнему почти равнодушен, — за исклю-

чением некоторых, которые читает по сту раз: Некрасов, Ал. Толстой, Гайавата, былины — и, кажется, больше ничего. Во всех моих делах принимает большое участие.

Я считаю своим долгом обучить его английскому языку. Каждый день пишу ему своей рукой упражнения, так как у нас нет учебника.

С Лидой я вчера помирился: попросил у нее прощения.

Вчера был у Николая Эрнестовича Радлова. Когда я с ним познакомился, это был эстет из «Аполлона», необыкновенно опробоненный и тонкий. Несколько вялый, но изящный писатель. Потом «в незабываемые годы» это был муж стареющей и развратной, пьяной, крикливой и доброй жены, которая никак не подходила к нему — и нарушала все его эстетство. Он казался «бывшим человеком», очень потертым, долго не умел приклеиться к революции и без конца читал английские романы — все равно какого содержания.

Теперь он к революции приклеился: вдруг оказался одним из самых боевых советских карикатуристов, халтурящих в «Бегемоте», в «Смехаче» и в «Красной», Количество фабрикуемых им карикатур — грандиозно. Я спросил вчера:

— Какую манеру (рисунка) вы предпочитаете?

— Ту, которая скорее ведет к гонорару!

Я рассматривал вчера его карикатуры. Они банальны. Но его шаржи вызывают у меня восхищение. Он отличается огромной зрительной памятью и чрезвычайно остро ощущает квинтэссенцию данного лица. Глаз у него лучше, чем рука. Поэтому его шаржи на Монахова, на Ершова, на Луначарского, на Нерадовского — незабываемо хороши — по психологической хватке, по синтезу.

Но как непохожа его жизнь на те «Смехачи», которых он — неотделимая часть. Великолепная гостиная, обставленная с изысканнейшим вкусом, множество картин и ковров, целая «анфилада» богато убранных к о м н а т , — все это страшно подходит к его вялой, небрежной, аристократической, изящной фигуре.

Когда я вошел, он сговаривался о чем-то по телефону с Ал. Толстым. Оказывается, Толстой соблазняет его ехать весною в Италию — бродить пешком по горам и т. д.

У Николая Радлова его отец Эрнест Львович; я сказал бы: вылитая копия сына. Ругал Ольденбурга — зачем он так «пресмыкается». Ну хочешь хвалить — хвали. Но зачем же Владимира Ильича называть «Ильичом»? Этого от него никто не требует. Удивлялся, почему Пушкинский Дом устраивает комнату Нестора Котляревского. Что же в этой комнате выставить можно? Очень забавно рассказывал, как комиссия из четырех врачей осматривала его, чтобы установить его нетрудоспособность: ему это нужно для получения пенсии.

— Высуньте язык! — сказал один. Я высунул, он очень одобрил мой язык, а в своем рапорте написал: «Язык свисает влево». Как у собаки! Каков н е г о д я й . — Сын за чаем подливал ему много вина, он пил с удовольст. и удивлялся, почему не пью я.

— Как вы можете не пить вина?

Неделю тому назад я был у Мейерхольда. Он пригласил меня к себе. Очень потолстел, стал наконец «взрослым» и «сытым». Пропало прежнее голодное выражение его лица, пропал этот вид орленка, выпавшего из родного гнезда. Походка стала тверже и увереннее. Ноги в валенках — в таких валенках, которые я видел только на Горьком — выше колен, тонкие, изящные, специально для знаменитостей, и можно засовывать за их голенища руки. Он принял меня с распростертыми. Вызвал жену, которая оказалась женою Есенина [2] и напомнила мне, что когда-то Есенин познакомил меня с нею, когда устраивал в Тениш. Уч. свой «концерт». Я этого не помню. Мои детские книги Мейерхольды, оказывается, знают наизусть, и когда я рассказал ему о своих злоключениях с цензурой, он сказал: «Отчего же вы не написали мне, я поговорил бы с Рыковым, и он моментально устроил бы все».

Приехал сюда Мейерх. повидаться с Ленингр. писателями, дабы заказать им пьесы. Заказал. Федину и Слонимскому, но с Зощенкой у него дело не вышло. Зощенко (которого Мейерхольд как писателя очень любит) отказался придти к Мейерхольду и вообще не пожелал с ним знакомиться, сославшись на болезненное свое состояние.

Это меня так взволновало, что я в тот же день отправился к Зощенко. Действительно, его дела не слишком хороши. Он живет в «Доме Искусств» одиноко, замкнуто, насупленно. Жена его живет отдельно. Он уже несколько дней не был у нее. Готовит он себе сам на керосинке, убирает свою комнату сам и в страшной ипохондрии смотрит на все существующее. «Ну на что мне моя «слава», — говорил он. — Только мешает! Звонят по телефону, пишут письма! К чему? На письма надо отвечать, а это такая тоска!» Едет на днях в провинцию, в Москву, в Киев, в Одессу (кажется) читать свои рассказы, — с ним вместе либо Лариса Рейснер, либо Сейфуллина, — и это ему кажется страданием. Я предложил ему поселиться вместе зимой в Сестрорецком курорте, Он горячо схватился за это предложение.

Нужно готовить для Бобы английский «экзерцис». Он знает слов 150.

Читаю «Erewhon» Samuel Butler'a. Очень хорошо.

26 января. Вторник. Утром послал «Rain» в МХАТ (т. е. Тихонову). С почты — в «Красную» — напомнить об оставшихся деньгах. «Наведайтесь в три часа». С Дактилем, в суд. Показания Милова. Улыбающееся лицо Батурлова и его кокетливые речи — а на лице ужас расстрела. Завтракал в тамошней столовке. Поразительный демократизм: тут же председатель дожевывает свой бутерброд, тут же подсудимые (не находящиеся под стражей). В три снова в «Красную». «Выяснится к ½ 5-го». Мак сказал: «Я отдал ваш роман Чагину». Чагин это новый сверхредактор «Красной», назначенный вместо Ельковича. Приехал из Баку. Говорят: «понимающий». Просил придти завтра в три часа. С Дактилем и Сапиром — пешком на

Невский за моими очками. Очки готовы — роговые. Оттуда снова в «Красную». К моему изумлению, мне дали все £ 60 в окончательный расчет. С облегченным сердцем отправился я в театр «Комедия», отвез Голичникову пьесу «Rain», но увы, не застал его в театре. Из театра домой. Пообедал в 7 час. веч. и почувствовал такую усталость, что еле нацарапал письмо имениннице Татьяне Александровне — и побежал в постель. Спал до 5 часов, вернее от 8½ до 4½, т. е. 8 часов, полагающиеся 25-летним субъектам. Сапир уверяет, что в субботу весь «Некрасов» будет сверстан и немедленно пойдет в печать. Если это так, то понедельник для меня счастливейший день, ибо я узнал в понедельник приятное и получил в понед. нечаянное. Сегодня решил заняться статейкой о детском языке. Нужно собрать матерьялы.

Что у нас происходит теперь! Если судить по детским книгам, *ликвидация грамотности.* <...> [Мура] страшно просит маму, чтобы ей вместо платьица сшили кофту и *юбку.* «Чтобы знали, что я девочка». Инну обожает до такой степени, что ей самой это страшно. Пришла к матери и покаялась:

— Знаешь, я бабушку люблю меньше, чем Инну.

Потеплело. Снежок. Хорошо. Боба вчера сдал физику удовлетворительно. У него спросили об устройстве *вóрота.* Мне нужно писать о детях, а меня *тянет в суд,* как на любовное свидание. Черт знает что! Сегодня мы с Марьей Борисовной идем на «Бунт императрицы»[3]. Меня вчера обогнал в санях Лаврентьев. «К. И., отчего не приходите?»

Очень забавно Мура нянчит Татку. Садится на большую кровать и держит ее поперек живота.

27 января, среда. Вчера был у меня Голичников из театра «Комедия». Дал я ему мой перевод Rain'а, а он — мимоходом говорит: «Знаете ли вы, что *подобная* пьеса уже переведена под заглавием «Ливень» и даже напечатана».

Увы, переведена не «подобная» пьеса, *а та же самая.* Горе! горе! Значит, и эта работа к чертям.

Я познакомил с Голичниковым Колю, который переводит сейчас валлийскую пьесу. Эта пьеса Голичникову понравилась больше той, которую перевел я. Он просит Колю закончить ее перевод возможно скорее. Он молодой человек с веселыми глазами — любит приговаривать «ну, чюдно, чюдно» и «в чем дело?».

Потом я поехал в «Красную», виделся с Чагиным. Он обещает через 2 дня дать мне ответ, будет ли он печатать моего «Бородулю» сейчас или через месяц. Он склоняется к тому, чтобы сейчас.

Потом я побыл полчаса в суде (где снова встретил Колю!) и подался домой. Лег в 5 час. и заснул — ибо хотел ехать в театр на «Заговор Императрицы». Проснулся в ½ 8-го, пообедал, и мы с Мар. Борисовной поспели к самому началу. Пьеса лучше, чем я думал, играют лучше, чем я ожидал (тщательнее), один Феликс Сумароков-Эльстон плох безнадежно — все остальные ужасно *похожи* —

Протопопов, Добровольский, — но скука смертная. Монахов прекрасно играл в сцене, где он у себя на квартире, — и хотя играл он хама, продажного человека, развратника, но как-то странно — этот негодяй вышел у него обаятельным, чувствовалось в чем-то величие души, действительно размашистой и страшно русской — и конечно, он *выше* всех, кто окружает его, выше Сумарокова, царя, Пуришкевича — так что у него вышло как бы *оправдание Распутина.* Я сказал ему об этом. «Этого я и добивался!» — сказал он мне. Я был у него в уборной, когда он снимал с себя грим Распутина. Публика, довольно холодно отнесшаяся к великолепным сценам, где выступает Распутин у себя на дому, бешено аплодировала, когда убили Распутина, — аплодировала выстрелу, а не игре актера.

Монахов много говорил о своей работе над «Азефом», которого он готовит к февральским спектаклям. «Но «Азеф» не будет такой боевой пьесой, как «Заговор императрицы», потому что, во-первых, нет одиозных фигур, нет Распутина, царя, царицы и проч., а во-вторых, дело происходило не так недавно, а уже попризабылось. «Азеф» (пьеса Толстого и Щег[олева]) хуже «Заговора» хотя, конечно, детали прекрасны, как всегда у Толстого». Сообщил мне Монахов, что Конухес все еще болен. Нужно будет сегодня пойти навестить! Монахов бодр, здоров, хотя ему, как он сообщил, уже 51 год. — А как вы живете? Добродетельно? — спросил я его. — Нет, все рождество пил, был недавно в Москве — и всю неделю угощался без конца.

Мурка увлекается рисованием. Вчера нарисовала прачешную и белье.

28 января. Четверг. Вчера получил для корректуры 17 первых листов «Некрасова». Приехал Тихонов из Москвы, остановился в Европейской Гостинице. Сегодня надо идти к нему — по поводу «Крокодила». Нужно также в Финотдел. Черт бы побрал всю эту «сволочь мелочных забот».

29 января, пятница. Был в Финотделе. Говорят, во *вторник* состоится надо мною судилище. Разбирать будут, должен ли я был вносить ту сумму, которая с меня причитается. Нужно принести доказательства, что у меня расходы по производству.

Тихонов пополнел, обрюзг, помолодел. Говорит, что «Мойдодыр» мой по-прежнему ставится в Москве в театре, что бумажный кризис колоссален, что Гиацинтова стала отличной актрисой, что «Кругу» удалось выхлопотать субсидию, но... Сокольников был отставлен в тот самый день, когда он должен был подписать ассигновку, что «Современник» власть хотела бы (?) разрешить (!), ибо нужен для показу какой-нибудь орган внутренней эмиграции, который можно было бы ругать; что Пильняк очень хороший товарищ; что моя «Панаева» была «Кругом» утеряна и только теперь найдена Воронским; что очень жаль Волынского, у которого отняли школу; что «Крокодила» лучше печатать в Ленинграде под моим надзором; что за моего «Некрасова» можно взять 2 р. 50 к., но не больше; что Заяицкий написал недурной авантюрный роман.

Вновь я услыхал забытые слова, столь любимые Тихоновым: «разбазаривать», «цектран» и т. д.

Спросил я его о Добычине. Он говорит, что отдал его рукописи Воронскому и что Воронскому, кажется, нравится. Тихонов купил у Замятина томик его новых рассказов.

Оттуда — в «Красную». Иона лежит на диване — и вокруг него, чуть ли не на нем, сотрудники и посетители. Рядом с Ионой — Заславский.

Боц[яновский] сказал Заславскому, что ему (Боц.) очень не понравилась его статья о Щедрине. «Кому какое дело, что думал Щ. о Луи Блане, если Засл. не сказал, что такое вообще Щедрин. И откуда он взял, что Щ. б[ыл] человек замечательный? Не вижу ни единой черты, поднимающей его над другими чиновниками». Иона стал вслушиваться. Я вмешался в разговор и сказал: ужасен был весь номер, посвященный Щедрину [4]. Кроме статьи о его отношении к Луи Блану вы сообщили еще в статье Лернера, что естъ у Щедрина переписка с Поль де Коком, но что этой переписки *нет*. Так нельзя вести литературный отдел: случайные статьи случайных людей на случайные т е м ы . — И этого не будет! — сказал И о н а . — С первого мы переходим на 4 страницы. Придется выкинуть и «Науку» и «Литературу».

Оттуда через Чернышев мост в контору «Красной». Там разговор с Чагиным. У него в кабинете сидел приехавший из Персии коммунист, который будет заместителем Закса-Гладнева по ведению издательства «Прибой».

— Познакомьтесь! Это тот самый, который столько крови испортил Керзону.

Коммунист оказался неожиданно большим поклонником Керзона. Он говорит, что книга Керзона о Персии — до сих пор непревзойденный ученый труд (?!).

О моем романе: Чагин его еще не прочел, и я взял этот роман у него — и мы с Заславским поехали в суд. По дороге Заславский рассказал о Семене Грузенберге: тот предложил «Прибою» издать его «Психологию творчества». «Прибой» отказался. Через год Грузенберг приходит в «Прибой» и говорит:

— Вы не хотели издать эту книгу, а другое издательство издало ее. Вот. Позвольте преподнести вам этот экземпляр с просьбой дать рецензию.

— Хорошо. Мы непременно дадим.

— Хвалебную?

— Не знаем. Если не понравится, выругаем.

— Ну тогда позвольте мне мою книжку назад. У меня единственный экземпляр.

Вечером — к Татьяне Александровне. У Татьяны Александровны узнал, что мое «Федорино Горе» давно уже переведено на камни в типографии Голике и Вильборг. Так что Клячкины молодцы лгали мне, выдумывая, будто книга еще в работе. Просто нет бумаги и для этой моей книги. <...>

Правлю Колин перевод пьесы «Апостолы». Перевод отвратителен: *аспидная доска* slate он переводит *салфетка,* храпеть — snore — фыркать, мне приходится вновь переводить огромные куски.

31 января, воскресение. Вчера с утра ко мне позвонили от Лилиной. Собрание детских писателей у нее на квартире. В защиту сказки. «Надо поехать — статья подходящая».

Получил письмо от Ломоносовой, сообщает, что выслала Мурочке куклу.

Вчера ко мне подошел Энтин, защитник Батурлова. Что ему делать? Он очень волнуется. Не посоветую ли я чего-нибудь для защиты Батурлова?

Оказывается, что он волнуется уже три дня. «Не ем, не сплю. Ведь один волосок — и человеческая жизнь погибла».

Вчера в суде так допрашивали одного свидетеля, что он, как подкошенный, упал на пол.

Вышло 8-е изд. «Тараканища» и «Мойдодыра». «Телефон», которого я не люблю, разошелся весь с феноменальной быстротой.

Забыл позвонить Лов[е]цкому — и остаюсь в городе. Впрочем, как поехать, если во вторник суд надо мною, а в среду решится судьба Ива и Батурлова.

1 февраля. Был вчера снова у Тихонова. Прочитал ему отрывки своего «Бородули». Он сказал: «мелко и жидко», и я не мог не согласиться с ним. Он забавно рассказывал о своей жизни у Шервинских. Шервинский, старый профессор-медик, живущий в собственном особняке, с утра уже говорит по телефону приглашающим его пациентам:

— Приготовьте анализ мочи. За визит ко мне — 2 червонца, за визит к больному 5 червонцев.

Остальное время профессор изобретает градусник, чтобы измерить температуру *блохи*!

От него я — домой. Женя Шварц! Острил великолепно, как бы сам не замечая. Рассказывал много смешного о детях — между прочим об одном младенце, которому было лень говорить, и он говорил так — «Здра(вствуйте). Я покажу вам фо(кус)». Получилось при нем письмо от Добычина. Новый рассказ «Лешка» — отличный, но едва ли пригодный для печати. (Он прочит его для детей.) Мы сейчас же написали ему письмо.

4 февраля, четверг. Вчера у Надеждина на Моховой. Пышно и безвкусно. Он очень милый, пестро одетый. Жох. Все норовит выцыганить у меня пьесу подешевле — ссылаясь на бедность (!) театра и на принципы. Познакомился с Грановской — впечатление бесцветное. Я сказал в разговоре — о Монахове (что он хорошо сыграл бы роль Дэвидсона). Это всех обидело. Надеждин даже зафыркал. Дутая величина. Можно ли сравнить его с Поссартом. Грановская тоже сделала кислую мину.

Оттуда в суд. Там — страшно. Батурлов бледен, прокурор третьего дня потребовал для него расстрела. И странно: он знал, что прокурор будет требовать для него этой кары, но покуда слово не было произнесено, крепился — улыбался, переглядывался с публикой, кокетничал. Теперь это не человек, а какая-то кучка золы. Пустые глаза, ничего не видящие, и движущиеся губы, которыми он все время выделывает одно и то же: то верхней прикроет нижнюю, то нижней прикроет верхнюю.

Прокурор Крук очень талантлив.

Говорил свою речь с аппетитом, как хороший пловец в бассейне, весело носился по этим грязным волнам. Крови требовал с большим удовольствием. Это удовольствие особенно проявлялось тогда, когда он говорил, как ему больно исполнять свой тяжелый долг, как ему жалко Батурлова.

Дела Ива складываются как будто неплохо. Прокурор говорит, что он на 90% уверен, что Ив мошенник, что он преклонится пред мудростью суда, если суд объявит его виновным, но на 10% он сомневается в его нечестности. Этот мягкий отзыв (как это ни странно) раздавил Ива. Ив до сих пор сидел неподвижно, как статуя. А теперь голова у него свисает и он должен ее поддерживать...

6 ф[евраля]. Суббота. Опять у Сабурова. Им «Сэди» оч. нравится. Уже готова афиша. Правлю Колин перевод «Апостолов». Работа адова. Был вчера в «Земле и Фабрике». Рувим надувает и денег не дает. Подлец, пользуется моей беззащитностью. Договора не доставил, отчетов никаких не дает, денег не платит.

17 февраля 1926, среда. До сих пор дела мои были так плохи, что я не хотел заносить их в дневник. Это значило бы растравлять раны и сызнова переживать то, о чем хочешь забыть. Пять литературных работ было у меня на руках — и каждую постигла катастрофа. I. *Роман «Бородуля».* В тот самый день, когда «Бородуля» должен был начаться печатанием, оказалось, что «Красная Газета» сокращается вдвое. I и II части романа набраны и висят у меня на стене — на гвоздике. II. *«Крокодил».* На рынке его нет. В «Земле и Фабрике» и в «Госиздате» приказчики книжных магазинов сообщают мне, что покупа[те]ли надоели им, требуя «Крокодила». А Тихонов уехал и бумаги не дал.

III. *«Книга о Некрасове»* стареет, дряхлеет, но в «Кубуче» нет денег, и она не выходит. И в довершение всего — IV. *Пьеса «Сэди»,* переведенная мною. Она окончательно убила меня. С «Сэди» было так: ее одобрил Надеждин, ее согласилась играть Грановская, я ликовал, так как премьера была назначена на 26-е и впереди было по крайней мере 30 спектаклей. Но меня ждала неудача и здесь. Уже пьеса появилась на афише, уже художник Левин приготовился писать декорации, уже мне предложили получить 200 р. авансу, вдруг обнаружилось, что эта же пьеса в другом переводе должна

пойти в Акдраме!!!! Меня даже затошнило от тоски и обиды. Эти двести рублей были мне страшно нужны — купить пальто М. Б-не, и вот! Оказалось, что «Комедия» сама виновата: получив от меня пьесу, не зарегистрировала ее в каком-то учреждении, а Акдрама зарегистрировала. Вся моя боль от регистрации! Я взвыл и побежал в Александринку к Юрьеву. Юрьев (он был еще в прическе Чацкого) с простодушным видом сообщил мне, что в этом году они не думают ставить «Сэди», поставят в будущем, но — хе, хе! — не позволят «Комедии» ставить ее в этом году. Что мне было делать, бедному неудачнику! Я, чтобы забыться, перевел вместе с Колей пьесу «Апостолы» и отдал ее в Большой Драмтеатр, а также принялся писать статью в *защиту детской* сказки. Но походив в Педагогический институт, поговорив с Лилиной, почитав литературу по этому предмету, я увидел, что неудача ждет меня и здесь, ибо казенные умишки, по команде РАПП'а, считают нужным думать, что сказка вредна.

Это был пятый удар обухом, полученный мною, деклассированным интеллигентом, от ненуждающего[ся] во мне нового строя, находящего[ся] в стадии первоначальной формации. Самое ужасное то, что все эти пять неудач неокончательные, что каждая окрашена какой-то надеждой и что, вследствие этого, я обречен, как каторжный, каждый день ходить из «Кубуча» в Госиздат (по поводу «Крокодила»), из Госиздата в «Красную Газету», из «Красной Газеты» в Главпросвет (по поводу пьесы), и снова в «Кубуч», и снова в Госиздат.

От этих беспросветных хождений тупеешь, мельчаешь, жизнь проходит мимо тебя,— и мне вчуже себя жалко: вот писатель, который вообразил, что в России действительно можно писать и печататься. За это он должен ходить с утра до ночи по учреждениям, истечь кровью, лечь на мостовую, у м е р е т ь. — Дело сложилось так, что для того, чтобы вышла моя книжка о Некрасове, я должен *каждый день* ходить в «Кубуч», подстерегать бумагу, не получена ли, не отдадут ли ее в другое место и т. д. Из-за пьесы нужно *каждый день* ходить к Авлову, в репертком и т. д. Потому-то и не пишу дневника, что эти путешествия (в страну канцелярий) тяжелее всех путешествий Шэкльтона, Стэнли, Магеллана. Впрочем, и в этой Канцелярландии есть свои приключения — напр., с тов. Костиной. Чуть только мы узнали о несчастии с «Сэди», мы отправились в Губполитпросвет (кажется, так) — и просили аудиенции у т. Костиной. (Мы: т. е. Папаригопуло, Голичников и я.) Костиной не было, но Папаригопуло встретил ее на лестнице, и она горячо обсуждала с ним историю с «Сэди». Ждали ее, всё нет. Пришли через час. Нам сказали, что она уволена — и вместо нее назначен какой-то другой!!! Уволена в час.

Уволен также и Острецов — милейший и пьянейший глава Гублита. Я встретил его в коридоре, и мы горячо простились. Даже на этой должности он умудрился остаться персонажем Вл. Ма[я]ковского.

Ко всем моим личным печалям прибавились и не-личные. Во-первых, меня потрясло решение по делу Ива. Его осудили на 5 лет со строгой изоляцией только потому, что он не актер, не сумел понравиться судьям, говорил некстати о своем университетском образовании и пр. Уверенность в его невиновности у меня полная.

Я начинаю понимать людей, которые пьют горькую. Но все же продолжаю бороться — за право производить такие или иные культурные ценности. Теперь дело сложилось так, что всякое творчество отнимает у каждого $^{1}/_{10}$ энергии, а $^{9}/_{10}$ энергии уходит на защиту своих творческих прав. Был я на днях у Ю. И. Фаусек. Она мне рассказывала, что ее система Монтессори снова подвергается гонениям. Не дают денег на содержание детдома. Ей пришлось продать пианино, чтобы заплатить своим служащим. Только так и возможно работать: остальное — халтура, проституция духа, смерть. Борьба все же дает результаты. «Кубуч» все-таки на днях приступает к печатанию моего «Некрасова»: Тихонов все-таки добыл бумагу для «Крокодила». Вчера вечером мне звонил Папаригопуло, что несмотря ни на что, они решили «Сэди» поставить. Хотя я *все еще* не верю в исполнимость всех этих прекрасных мечтаний, но чувствую такое облегчение, что вот — могу даже писать дневник.

Дактиль болен — в постели. От Ломоносовой чудесное письмо. Видя, что о детской сказке мне теперь не написать, я взялся писать о Репине и для этого посетил Бродского Исака Израилевича. Хотел получить от него его воспоминания. Ах, как пышно он живет — и как нудно! Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по разным ценам, а в столовой — которая и служит ему мастерской — некуда деваться от «расстрела к[оммуни]стов в Баку». Расстрел заключается в том, что очень некрасивые мужчины стреляют в очень красивых мужчин, которые стоят, озаренные солнцем, в театральных героических позах. И самое ужасное то, что таких картин у него несколько дюжин. Тут же на мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро и ловко делают копии с этой картины, а Бродский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит на них свою фамилию. Ему заказано 60 одинаковых «расстрелов» в клубы, сельсоветы и т. д., и он пишет эти картины чужими руками, ставит на них свое имя и живет припеваючи. Все «расстрелы» в черных рамах. При мне один из копировальщиков получил у него 20 червонцев за пять «расстрелов». Просил 25 червонцев.

Сам Бродский очень мил. В доме у него, как и бывало прежде, несколько бедных родственниц, сестер его новой жены. У одной сестры — прелестный белоголовый мальчик Дима. Чтобы содержать эту ораву, а также и свою прежнюю жену, чтобы покупать картины (у него отличная коллекция Врубеля, Малявина, Юрия Репина и пр.), чтобы жить безбедно и пышно, приходится делать «расстрелы» и фабриковать Ленина, Ленина, Ленина. Здесь опять-таки мещанин, защищая свое право на мещанскую жизнь, прикрывается чуждой ему психологией. Теперь у него был Ворошилов,

и он получил новый заказ: изобразить 2 заседания Военных Советов: при Фрунзе, при Вор[ошилове]. Для истинного революционера это была бы увлекательная и жгучая тема, а для него это все равно что обои разрисовывать — скука и казенщина, казенщина и скука.

Примирило меня с ним то, что у него так много репинских реликвий. Бюсты Репина, портреты Репина и проч. И я вспомнил того стройного изящного молодого художника, у которого тоже когда-то была своя неподражаемая музыка — в портретах, в декоративных панно. Его талант ушел от него вместе с тонкой талией, бледным цветом лица (и проч.). Проклятая вещь для нашего брата 40—45 лет. Разбухание талии, прозаическая походка и — живот.

18 февраля (четверг). Был вчера с Марией Борисовной в кино. Впервые после огромного перерыва. Видел «Пат и Паташон». Чудесно, изящно, человечно. Забыл очки, позвонил Коле из *Комедии,* он — спасибо — привез.

Был вчера у Быстровой — выхлопотал кусок текста, запрещенный цензурой. Был в Финотделе. Был дважды в Большом Театре — у Пиотровского, по поводу «Апостолов». Просит подождать еще. Сдал Пиотровскому заметку о Монахове, написанную для юбилейного сборника, был в «Кубуче» — о тоска, тоска этого ужасного маршрута. Хлопочу о бумажке для того, чтобы не платить за квартиру 200 р. Тоска! Тоска!

Встретил Эйхенбаума в Финотделе. Ему совсем худо. Он произнес в Филармонии речь о Есенине — очень не понравившуюся начальству. Ждет теперь за это неприятностей. Ко мне он ласков и внимателен, а я чувствую себя так, будто у меня за пазухой камень.

Сегодня мой маршрут: в Госиздат, в «Кубуч», в «Радугу» — о! о! о!

19 февраля. Пятница. Вчерашний день черный, непростительный — ночь не спал — гнусное чувство — глаза болят. Читал всю ночь «Not at Night», сборник глупейших страшных рассказов.

Теперь читаю «Juno and the Paycock» [5].

Сегодня в час у меня назначено свидание с Папаригопулой. Был вчера в Публичной Библиотеке, собираю матерьял о сказке.

Придумал перевести «Juno and the Paycock». Вспомнил вдруг из своего детства то, чего не вспоминал ни разу. Я казенничал. То есть надевал ранец, и вместо того, чтобы идти в гимназию, шел в Александровский парк. Помню один день — туман, должно быть октябрь. В парке была большая яма, на дне которой туман был гуще. Я сижу в этой яме и читаю Овидия, и *ритм* Овидия волнует меня до слез. — Был Сима Дрейден, рассказывает, что его брат Гриша слыхал из-за стенки такой разговор:

— Соломон, ты ведешь беспутный образ жизни. У тебя будет силиф*ис*.

— Мамаша! Если у меня будет силифис, так я его буду лечить на

свои деньги, а не на ваши... (Пауза.) Заели моего отца, а меня вам заесть не удастся.

22 февраля, вторник. Неужели этот дневник будет регистрацией моих неудач! Началось с Почтамта. Я поехал туда взять куклу, которую Ломоносова прислала Мурке. Оказалось: толпа человек около ста сбилась в груду в правом заднем углу Почтамта [у] 5 или 6 окошечек и смотрит сквозь решетку, как медлительные и неумелые люди вскрывают жалкие и скудные посылки и взвешивают каждую тряпку на весах. Я простоял там около 3½ часов!! Для того, чтобы получить куклу. Но куклы не получил. Когда вскрыли ящичек, в котором находится кукла, оказалось, что у куклы на голове шелковый бант, а шелк облагается страшною пошлиною — и вот за небольшую куколку хотят 25 рублей. Я выругался и поехал домой, а куклу оставил в Почтамте. Оттуда в «Кубуч». Обещают печатать «Некрасова» на этой неделе. Оттуда к Надеждину. За столом читка «Сэди». Грановская дала чудесный тон. Остальные, кажется, плоховаты. Особенно Надеждин, взявший себе роль пастора — и при малейшей эмоции впадающий в еврейский жаргон. Но дело не в этом, а в том, что пьеса вряд ли у Надеждина пойдет. В среду решится — играть ли ему или нет. В Александринке пьеса идет вовсю. Эти подлецы откладывают «Виринею» и «Отелло», лишь бы не дать Надеждину сыграть «С э д и». — Оттуда к Замятину, он спал, ибо всю ночь пьянствовал с Москвиным. Оттуда к Клячко. Пришел домой такой утомленный, что вот не сплю всю ночь.

Сейчас возьмусь за «Juno and Paycock». У Таты — первый зуб. У Бобы ангина. У Лиды доклад на семинарии Эйхенбаума. У Муры завтра рождение. Тоска, тоска! Написал с горя фельетон о детском языке и свез его в 8 часов утра в «Красную» к Кугелю. Расспрашивал Иону о положении газет. Теперь дело обстоит так: какой-то умный человек предложил уничтожить утреннюю «Красную» и вечернюю, которая при «Правде». Это было бы лучше всего. Остались бы: одна плохонькая утренняя и одна хорошая вечерняя. И денег сохранилось бы уйма. Но так как этот план очень талантлив, он ни за что не будет приведен в исполнение, и теперь мудрые головы решают, что надо бы слить две «Вечерние» — и дать им одно название, новое (то есть отнять у «Вечерней» то *лицо,* которое дало ей ее репутацию), а утренние газеты оставить по-старому, содержа их на счет этой *вечерней газеты*. Канитель, удушье, а мой роман гниет, и его гниению не видно к о н ц а . — Познакомился с Сергеем Томским. Он похож на «Птицелова» с перовской картины — очень жанровый человек, бытовой, трактирный.

24 февраля. Среда. Был вчера снова на почте — получил куклу за 25 рублей 57 копеек. Потом у Клячко получил £ 30. Коля получил квартиру через Симона Дрейдена — но нужно 300 въездных. М. Б. дает ему 50 р. Сегодня утром был в «Красной», держал корректуру «Детского языка». Фельетон всем п о н р а в и л с я, — даже корректорша

подошла ко мне и сказала, что «прелесть». Иона говорит, что теперь решено слить обе газеты — и что именно так и будет, п. ч. это — глупее всего. Credo quia absurdum *.

25 февраля. Четверг. Вчера было нашествие всевозможных людей. Был у меня Адриан Пиотровский. Выслушал два акта переведенной мною пьесы. Ему понравилось, но не очень. Я тоже убедился, что пьеса — «так себе», и решил 3-го акта не переводить. Пиотровский готовится к юбилею Монахова, который назначен на 17 марта. Пригласили в Комитет и меня.

Пришел очень высокий студент Института Истории Искусств за рукописями каких-нибудь писателей, я дал ему рукописи Куприна, Ал. Ремизова, Мандельштама и Мережковского.

Пришел поэт Приблудный. За детскими книжками. Читал свои стихи. Он молод, талантлив, силен и красив, — но талант у него 3-го сорта: на все руки. Он и на пианино играет, и поет, и рисует, — при полном отсутствии какой бы то ни было внутренней жизни. Стихи у него так и льются — совсем как из крана. Очень много дешевки и, как это ни странно, надсоновщины.

Боба встал с постели.

Мурины именины протекали пышно. К ней с раннего утра пришла прачкина внучка Виктя — белая и круглолицая, вялая. Они вдруг выдумали, что я — Баба Яга, которая хочет их съесть, и похитили у меня ножик для разрезания книг. Я бегал отнимать у них ножик. Они визжали и убегали — в восторге веселого ужаса. Потом мы стали прятать этот ножик в столовой — и кричать «холодно», «жарко», когда они искали его. Это было очень весело — и я был раздосадован, когда во время этой игры пришел Пиотровский.

Потом пришла к Мурочке какая-то робкая трехлетняя девочка, которая все время просидела в кресле — и боялась, когда я подходил к ней.

Потом пришел ее кумир, Андрюша. Мы играли все втроем в кораблекрушение и в разбойников. (Забыл записать, что еще до прихода Андрюши мы играли в спасение погибающих — я тонул, они вытаскивали меня из воды — и я за это давал им медаль, полтинник, прикрепленный к бумажке сургучом.) Потом при[шли] к Муре Агатины дети — две очень милые девочки, потом Татьяна Александровна, потом Редьки, принесли медвежонка, посуду и дивную куклу — очень художественно исполненную — русская золотушная девчонка из мещанской семьи, которых так много, напр., на Лахте. Мещане любят называть таких девчонок Тамарами.

Мы сидели за столом и клевали носом. Мне хотелось спать. Поболтали о всякой ерунде и разошлись. Александр Мефодьевич Редько рассказывал, что во главе какой-то железной дороги теперь стоит стрелочник, и это несомненное повышение, ибо сперва был столяр (из ж.-д. мастерских), потом — смазчик, есть надежда, что лет через десять во главе дороги встанет кондуктор. Это будет

* Верю, потому что нелепо (*лат.*).

«повышение квалификации». Рассказывал также о том, что один выпущенный из тюрьмы получил уведомление за несколькими подписями — «явиться за старыми подтяжками и отточенным карандашиком», которые были отобраны у него при водворении в тюрьме, но о золотых часах и запонках в этом уведомлении не б[ыло] сказано ни слова — словом, «все было беспокойно и стройно, как всегда» [6] — и мне, как всегда, казалось, что пропадает что-то драгоценное, не[по]вторимое, что дается только однажды, — что-то творческое, что было кем-то обещано мне и не дано.

26 февраля. Пятница. Утром собирал матерьялы о детях, о детской сказке и пр. Читал Н. Румянцева и др. Потом в «Красную» к Ионе. В 8 часов утра. Я уже привык ходить туда по утрам. Меня тянет туда запах типографской краски, знакомая и любимая типографская грязь. Типография и редакция «Вечерней Красной» находятся в доме, построенном Росси. Внутри прелестная лестница. Типография — на втором этаже. Небольшая — наборщиков человек 20. Работают споро. Переговариваясь между собой. Работа необыкновенно налаженная. В глубине типографии у одного окошечка столик — за которым сидит Иона, близоруко наклонясь над гранками. Нет ни одной заметки, которую он не сократил бы вчетверо, не переиначил бы всю — сверху донизу. Рядом с ним Сизов — его помощник, заведующий хроникой. Это узколицый молчаливый человек, в очках, который быстро и виртуозно выправляет безграмотные донесения репортеров. Я часто стою у него за спиной и смотрю с восхищением, как, ни минуты не задумываясь, он выбрасывает из каждой заметки весь имеющийся в ней мусор. Второго такого мастера я не видал. Иона часто отдыхает, отходит к печке, болтает с корректоршами, Сизов никогда. Это газетный монах. Так как в 7 час. утра ему надо быть на работе, он должен очень рано ложиться и никогда не бывает в театрах. Так как кроме «Вечерней Кр[асной]» он заведует еще Московским отделением «Известий», то весь день у него занят абсолютно, и он никогда не видит тех судов, происшествий, событий, о которых вещает публике.

Вчера, отойдя к печке, Иона предложил мне сделаться Американским корреспонден[том] «Красной». 400 рублей в месяц — за 8 писем. Я сказал, что подумаю. Пришел домой, Лида говорит: «Папа, мне снился сон, что ты в Америке!» Это страшно меня *удивило.*

Позвонив по телефону в Госиздат, я узнал, что мой «Крокодил» уже сверстан — и послан мне на квартиру.

Потом я позвонил в «Кубуч», и оттуда мне сказали такое, что у меня помутилось в глазах:

— Вашего «Некрасова» решено не издавать.

— То есть как?!

— Комиссия «Кубуча» нашла это невыгодным.

Я страшно взволновался и побежал в «Красную» посоветоваться, что мне делать. Иона сказал, что постарается достать мне издателя. Мак посоветовал обратиться к Бухарину. Я побежал в «Кубуч». Пешком, денег было в обрез. В «Кубуче» никого не застал.

В страшном смятении поехал я в Русский Музей к Нерадовскому — и тут только понял, какое огромное влияние имеет на человека искусство. С Нерадовским мы прошли по залам, где Врубель, Серов, Нестеров, и вдруг Нерадовский отодвинул какую-то стену, и мы вошли в дивную комнату, увешанную старыми портретами — и у длинного стола — кресла красоты фантастической, какого стиля не знаю, но пропорция частей, гармония, стройность и строгость — все это сразу успокоило меня. Мне даже стало стыдно за мою возбужденность и растрепанность. К тому же Нерадовский сам так спокоен, работящ, серьезен — и так связан со всеми этими картинами и бронзами, что на душе у меня сразу стало ясно. «В этой же комнате мы и устроим наши чтения, — сказал он, — в комнате может поместиться человек сто. Приглашены читать о Репине — Кони, Гинзбург и Тарханова. Они будут читать 3-го. Ваше чтение назначено на 10-е. Я хотел сопречь вас с проф. И. П. Павловым и А. К. Глазуновым. Но Павлов не может. Я ездил к нему. Он отнесся очень горячо, даже прервал лекцию, ради меня, сообщил мне о Репине много интересного, но сам, увы, отказался участвовать. Очень занят. Впрочем, обещал написать и прислать несколько воспоминаний. Павлов готовился к встрече с Репиным, он прочитал о нем книгу, изданную нашим музеем. «Терминология статей об искусстве мне не всегда понятна, — сказал Павлов. — Многое я читал по три раза, чтобы понять. Но понял все». Приехал и в разговоре с Репиным упомянул об этой книжке. Вдруг Репин сжал кулаки, затопал ногами и с таким гневом заговорил об авторе этой статьи, что я буквально не знал куда деваться. Гнев Репина разрастался, и кончилось тем, что Репин убежал от меня». Договорились мы с Нерадовским, что я буду читать мою лекцию 17-го, и успокоенный я пошел в «Кубуч». Спокойствие мое дошло до того, что, войдя в комнату к тов. Кузнецову, ответственному секретарю «Кубуча», от которого зависела судьба моего «Некрасова», я, вместо того, чтобы махать руками и кричать, сел у его стола и, покуда он разговаривал с другими посетителями, вынул из портфеля завтрак и начал его медленно есть. Первое впечатление ото всей этой комнаты — впечатление участка. Накурено, казенно, неуютно — особенно после дворца. Но вслушавшись и всмотревшись, я как-то сразу полюбил Кузнецова. Он очень толково, просто, дельно отвечает всем посетителям, хорошо говорит по телефону, — в ответах его чувствуется большая осведомленность и ни йоты бурбонства. Я говорил с ним безо всякого пафоса. Я сказал, что работаю над этой книгой 8 лет, что это — не халтурная книга, что я согласен не брать за нее никакого гонорара и пр.

«Ваша книга, — сказал он, — единственная, которую нам было жаль уничтожить. Предыдущее правление оставило нам целый ряд никуда не годных книг, за которые заплачено 12 500 рублей. Ни одной из этих книг издать нельзя. Это — бремя на нашем бюджете. Но если вы согласны не брать у нас сейчас за эту книгу гонорара, мы согласны ее выпустить — и выпустим во что бы то ни стало».

Я чуть не заплакал от радости. Он показался мне молодым и милым. Здесь много посодействовал мне Давыд Давыдыч Поташин-

ский, который на заседании стоял за меня горой. Я помню Поташинского еще по «Сатирикону». Он приехал вместе с Арк. Аверченко из Харькова и в древние годы заведовал конторой «Сатирикона». В последнее время — заведовал магазином «Кубуча». Теперь, после того как Сапир в «Кубуче» провалился, бразды правления вверены ему.

Из «Кубуча» — в «Радугу». У порога «Радуги» встретил К. И. Рудакова, художника, который приглашен иллюстрировать часть моей «Муркиной Книги».

Здесь тоже нервы и боли. Рудаков обижен на «Радугу» за ее неаккуратность в уплате денег. «Радуга» обижена на Рудакова за его грубость. Мне пришлось 1½ часа примирять врагов — и в конце концов ужасно разболелось сердце. Придя домой, я нашел на столе корректуру «Крокодила», сильно пощипанного цензурой. Лег в постель с таким чувством, словно меня весь день топтали ногами.

27 февраля. Держал вчера корректуру «Крокодила». Отправил ее Тихонову в «Круг». В Госизд. свидание с Булановым, художником. Заказал ему рисунки к «Чудо-дереву» и «Путанице», которые выйдут отдельными изданиями. В «Кубуче» видел бумагу для своего «Некрасова». — Сейчас вбежала ко мне Мурочка. Она учится прыгать через скакалку. Я даю ей уроки — теорию и практику этого дела. Вчера она еще не умела закидывать скакалку назад — а сейчас производит все нужные манипуляции, но медленно.

«Мама всегда по утрам печальная, но сегодня я так смешно прыгала, что она улыбнулась» — это говорит 6-летняя девочка.

Был вчера на «Бой-бабе» [7] с участием Грановской. Грановская, действительно, прекрасна — не в основном рисунке, который банален и иным не может быть, а в тысяче мелочей — поз, интонаций, вскриков, ужимок, — которые для меня являются истинным психологическим откровением.

1 марта 1926 г., понедельник. Последние два дня окрашены у меня Ольгой Иеронимовной Капицей. В субботу я слушал ее доклад в Союзе Писателей — о детском фольклоре. Доклад банальный — и неинтересный. Классификация фольклора — прежняя, только по принципу содержания. О форме этих замечательных стихов ни звука. Примеры выбраны случайные и не самые выразительные. Варианты выбраны — худшие. Энтузиазм — необоснован и не увлекателен. Продолжался доклад часа два — в плохо отопленной, тускловатой комнате Союза, где висит пародийный плакат: «Товарищи писатели, объединяйтесь!» Посторонний человек мог бы подумать, что это не Союз Писателей, а Богадельная для Старух, все места заняты скучными, полумертвыми овцеподобными старыми женщинами, которые так же далеки от литературы, от творчества и вообще от каких бы то ни было мыслей, как Александра Тутинас или Клячко. Что бы ни читать этим неумершим покойницам — они окаменело сидят и молчат. После чтения Вера Павловна Калицкая спросила:

— Нет ли у кого вопросов? — Вопросов ни у кого не оказалось. Доклад ни у кого не вызвал ничего. Я подошел к Капице и попросил позволения придти к ней на дом. Она, 60-летняя, милая, очень добрая — гораздо лучше своего доклада. Говорит, что ею собрано около 2000 детских песен — выкопано из разных сборников и подслушано по деревням ее студентками... Есть много ценных матерьялов. Привлеченный этими матерьялами, я на следующий день пошел к ней.

Живет она в самом конце Каменноостровского — в высоком огромном доме — с очень вонючими и грязными лестницами. У нее прелестная комната, вся увешанная портретами и картинами. Книги, цветы, старинные вещи, коврики, рукописи — культура, вкус, работа. Комната полна ее любимым сыном, ученым-физиком, который в настоящее время работает в Англии и вскоре должен приехать к ней погостить. Сын ее — Петр Леонидович — действительно человек замечательный. Ему 31 год. Он инженер-электрик, кончил политехнический институт. Смолоду у него была изобретательская жилка. В 20-м году — в 2 недели у него в семье умерло 6 человек, в том числе его отец, его молодая жена (урожд. Черносвитова) и двое маленьких детей... К счастью, ему удалось уехать в Англию — вместе с акад. Иоффе. Там он пробыл пять месяцев — и попал в лабораторию им. Cavendish, где работали знаменитые физики Максвэлл, Томсон и где теперь работает Rutherford (родом из Новой Зеландии). Туда принимают только 30 человек законченных физиков. Его не хотели туда принять, п. ч. отношение к советским гражданам гнусное. Но в конце концов приняли, причем Rutherford сказал ему: — Я буду давать вам только 10 мин. в неделю! — Ему дали труднейшую работу — нарочно, чтобы провалить! — но он блистательно справился с нею — и с тех пор заслужил общее уважение к себе. Он смел, талантлив, независим. Огромная воля. Ему дали стипендию Maxwell'а — на 3 года. Тогда-то он и изобрел аккумулятор, развивающий огромную силу. Его избрали доктором Кембриджского университета, он ездил в Голландию, Германию, Францию — всюду делал доклады о своих изобретениях. На заводе Vickers'а он спроектировал динамо-машину, которая стоила больше 200 000 р., строилась год и только сейчас закончена. Когда ее пускали в ход, он не отходил от нее 24 часа. После испытания этой машины его сделали Fellow of Cambridge University. Ольга Иеронимовна дала мне о нем большую статью, напечатанную в газете «Temps».

От Тихонова получил вчера письмо, что моя пьеса «Сэди» всем в Худ. Театре понравилась, но ставить ее не могут, т. к. М. А. Чехов — против (по религиозным мотивам).

Прочитал сейчас Рыбникова «Детский язык». Скучно и туповато.

— Мама, купи мне что-нб. живое.

— Я куплю тебе блоху!

На следующее утро, чуть проснулась:

— Ну что, купила блоху?

Читаю Э. И. Станчинскую «Дневник матери». Очень интересно. Но Станчинская не замечает, что она говорит против себя.

3 марта, среда. Вчера Мура: — Папа, я хочу тебе что-то сказать, но мне стыдно. Это страшный секрет. *(Взволнованно бегает по комнате.)* Я тебе этого ни за что не скажу. Нельзя, нельзя! Или нет, я скажу, — только на ухо. Дай ухо твое. (Покраснела от волнения.) Ты знаменитый писатель.

Я сказал ей, что знаменитый писатель теперь один только М. Горький, и она даже как будто обрадовалась, что я не знаменитый писатель.

— Ой, как хилодно (говорит балуясь). Запиши это детское слово. (Ей Марья Борисовна прочитала мой фельетон о детских словах [8].)

— Неужели ты думаешь, — сказал я ей — что ты дитя? Тебе уже шесть лет и т. д.

Третьего дня в «Красной» встретил Бабеля — он получал у Ионы аванс 300 рублей. Относится он ко мне по-прежнему нежно. Попросил и я сто рублей авансу. Иона дал охотно. И пошли мы с Бабелем туда — в контору «Красной» получать наши деньги. Долго мытарились и наконец получили. Он все такой же. Милое лицо еврейского студента. Цинизм и лирика. «Ой, у вас в портфеле завтрак! Это черт знает что. Поедем в Европейскую, я угощу вас как следует». — «Поедем!» — Но угоститься мне не пришлось, п. ч. Бабель забежал в Госбанк послать жене в Париж 100 р. по телеграфу. «Это одна секунда, К. И.!» Но прошло полчаса, он выбежал на улицу: «Нет еще! Такая канитель!» — и втащил меня внутрь.

Я не стал бы его ждать, но мне все равно надо было в Европейскую — повидать С. В. Гиацинтову. Вынул я из портфеля свой завтрак и поел, а Бабель стоял в очереди, постоянно подбегая ко мне. Когда мы вышли из банка, он сказал:

— Ой, я вас надул, К. И. Я послал не один перевод, а два — один сестре в Брюссель, а другой жене в Париж.

И ямочки на щеках.

Едем в Европейскую. Я потребовал, чтобы извозчик въехал во двор Аничкова дворца в Союз Драм. писателей. Но тут случилась катастрофа. На лестнице у меня сломалась пластинка с зубами, и я должен был спешно вернуться домой.

4 марта, четверг. Вечер. Не заснуть сегодня, — черт бы его побрал! С «Некрасовым» опять было неладно. Я уж был уверен, что все мытарства этой книги кончились, но оказалась новая беда: в Смольном какая-то комиссия установила, что «Кубуч» имеет право издавать только учебники, и не позволила ему опубликовать мою книгу. Это вызвало новую волокиту. Поташинский позвонил М. Б-не и попросил ее не говорить мне. Она все же сказала — и [я] сейчас же поскакал к Поташинскому. Уладилось. Но чего это стоило!

Сегодня был в Педагогич. Музее, в Библиотеке Педагогич.

Института, в «Детском Доме» Тихеевой, в Госизд[ат]е, в «Кубуче», у Клячко. Все тот же заколдованный круг. Сочинил сегодня фельетон о «Педагогах».

7 марта, воскресение. Отрывистые встречи. Вчера на Стремянной по середине дороги по тающему снегу широкий и постаревший Щеголев.

— Едете в Италию?

— Какое! Червонец падает. Валюты не купишь.

— Почему?

— Да скоро запретят покупать. Уже готов декрет.

— Ну у вас-то небось куплена.

Промолчал. — Кстати, К. И., чем кончилась ваша пря с фининспектором?

— Выиграл. Сбавили.

— А я до сих пор не знаю... Научите, как и где узнать... И расстались. Огромная глыба покатилась дальше.

За час до этого в Губфинотделе видел Сологуба. Идет с трудом по лестнице. Останавливается на каждой ступеньке.

А третьего дня на лестнице Госиздата встретил «Прекрасную Даму» Любовь Дмитриевну Блок. Служит в Госиздате корректоршей, большая, рыхлая, 45-летняя женщина. Вышла на площадку покурить. Глаза узкие. На лоб начесана челка. Калякает с другими корректоршами.

— Любовь Дмитриевна, давно ли вы тут?

— Очень давно.

— Кто вас устроил? Белицкий?

— Нет. Рыков. Рыков написал Луначарскому. Луначарский Гехту, и теперь я свободна от всяких хлопот. Летом случалось вырабатывать до 200 р. в месяц, но теперь, когда мы слились с Москвой, заработок уменьшился вдвое. — Того чувства, что она «воспетая», «бессмертная» женщина, у нее не заметно нисколько, да и все окружающее не способствует развитию подобных бессмысленных чувств.

Взял с полки Томаса Мура и загадал — и у меня получился поразительный ответ (с. 210)

Thus, Mary, be but thou my own;
While brighter eyes unheeded play,
I'll love those moonlight looks alone,
That bless my home and guide my way! [9]

Поразительно!

С «Крокодилом» дело обстоит так. Я мимоходом сказал Тихонову, что могу сжать эту книгу до 32 стр. Но не сумел. Тихонов рассердился и в письме потребовал сжатия. Я пошел в Госиздат, сидел, вертел, корпел — ничего! Но подошел ко мне старик Галактионов и в одну минуту дал целый ряд мудрейших советов. Милый, талантливый, скромный — мимоходом сделал то, чего не мог-

ли сделать трое «заведующих», уверявших меня, что «это технически невозможно». Вчера из «Круга» я получил карточку Главлита о том, что мой «Крокодил» разрешен. Карточка очень обрадовала меня, но на карточке нет печати и подпись на ней... А. Воронский (т. е. редактор «Круга»).

С «Некрасовым» дело тоже как будто поправилось: завтра его сдают в печать.

В Финотделе оказалось, что я уплатил весь налог за 1924—5 г. и даже переплатил 36 рублей. Эти 36 рублей зачтены в налог 1925—6 г.

Словом, тяготы с меня понемногу снимаются. Мне даже странно, что нет стены, о которую я должен разбивать себе голову.

Всего забавнее с О'Генри. Я с сентября бьюсь, чтобы Госиздат издал мои переводы отдельной книжкой, завел по этому поводу большую переписку, и вдруг оказалось, что Госиздат давно уже издал эти рассказы в «Универсальной Библиотеке», но — и сам об этом не знает.

Теперь изо всех тягот остаются «Сэди», «Апостолы», «Сочинения Некрасова» и, главное, мой «Бородуля».

Но — Таракан не ропщет!![10]

Читаю Бюлера «Духовное развитие ребенка». Систематизовано по-немецки, но далеко до мудрого и талантливого Сэлли (Sully).

Был вчера с Полонской у Василия Князева — смотреть его собрание пословиц. Он встретил нас суетливо с каким-то арогантным радушием. Тотчас же откупорил бутылку вина, сбегал вниз в кооператив, принес винограду, орехов, шоколадных конфет, швейцарского сыру, стал выкладывать перед нами тысячи всевозможных листков с бесконечным числом пословиц — о женщине, о черте, о еде, о браке, о взятке и проч. Причем если я хотел углубиться в какой-нб. листок, он сердился и требовал, чтобы я смотрел другой, а когда я брался за другой, он подсовывал третий и т. д.

Полонский подливал вина, расплескивая по столу и по бумагам.

Сказал хорошую эпиграмму об Александре Флите:

Тля траву тлит,
Фля бумагу флит.

8 марта. Понедельник. Принял я брому — и спал всю ночь, но мучили меня два сна, очень характерные для всего нынешнего моего бытия.

Мне снилось — с необыкновенным изобилием деталей, — что я пристроил на сцену свою пьесу и что одну из ролей почему-то поручили играть мне. Я сыграл уже первое действие, но во время антракта отлучился от театра в какой-то другой конец города — и вот не могу вернуться вовремя. Мука, ужас, ощущение страшного скандала. Наконец вижу извозчика. К счастию, у него две лошади — серая и белая. Скорее! Скорее! Но он мешкает, канителит, смеется надо мной. Отчаяние.

Я проснулся в слезах. Заснул опять, и мне приснилось, что я уже в стенах театра, но — новая мука! — я потерял свою роль. А мне

сейчас выступать! Сейчас выступать! О, как я бьюсь, как я бегаю, как я роюсь во всех закоулках. Побежал домой, схватил почему-то апельсин, побежал обратно, разговариваю с ламповщиком — снова чувство катастрофы и отчаяния.

Это синтез всего, что я пережил с «Сэди».

У Муры инфлуэнца. Вчера был Конухес. Очень занят, т. к. инфлуэнца свирепствует. — Я, говорит, только и отдыхаю, что по четвергам. Четверг мой партийный день. — Партийный? — Да. По четвергам у меня партия в винт... в Сестрорецке... у Хавкина. — Пошляк.

Боба увлекается книгой Елагина «О глупости» — и по указаниям этой книги наблюдает своего товарища Добкина, который есть, по его убеждению, законченный образец дурака.

10 марта. У меня и до сих пор дрожат руки. Сейчас я вывел на чистую воду Рув. Лазаревича Мельмана, правую руку Клячко. Этот субъект водит меня за нос две недели, обещая мне каждый день следуемые мне деньги. Сволочная «Радуга» эксплуатирует меня вовсю. Клячко дошел до такой наглости, что в ответ по телефону на мое «Здравствуйте» отвечает мне «да, да», т. е. «говори скорее, что тебе нужно».

Сейчас мне нужно 30 рублей, которые вчера обещал мне Мельман. Без этих денег я не могу внести в Союз свою долю и получить удостоверение, нужное мне до зарезу. Позвонил сегодня Мельману; узнав, что это я, отвечают:

— Уже ушел!

Тогда я попросил Лиду сказать по телефону Мельману, что его зовут из Госбанка.

Он моментально оказался дома.

Я крикнул ему:

— Это говорит Чуковский, для которого вас только что не было дома. Лгать не нужно.

И повесил трубку.

Так начался мой день. Продолжение было гораздо гнуснее. «Как помнит читатель», Ал. Н. Тихонов в ноябре выхлопотал для моего «Крокодила» разрешение в Москве. Специально ходил к Лебедеву-Полянскому. Уведомил меня об этом. И потребовал на этом основании, чтобы я предоставил право издания «Крокодила» ему. Я предоставил. «Крокодил» печатается в Печатном Дворе, я сделал все изменения согласно требованиям московской цензуры и получил от Тихонова из Москвы «карточку» Главлита с резолюцией — «печатать разрешается». Подпись: Воронский. Я торжествовал. Мне предстояло только обменять карточку Главлита на карточку Гублита, и все было бы в порядке. Прихожу к Гублит. Карпов посмотрел карточку, смеется:

— А где же печать?

Печати нет. Разрешение недействительно. Быстрова (очень сочувственно) сказала:

— Дайте книгу на просмотр нам. Мы к субботе просмотрим ее.

Просмотрят-то просмотрят, но запретят. *Я знаю это наверное.* То есть выбросят оттуда множество ценных мест, и для меня начнется ordeal * — протаскивать их сквозь Быстрову.

Пришел домой — весь дрожа. Спасибо, что со мною был Дактиль. Вечером пошел к Клячко. Он в круглых (американских) очках мирно сидит за столом и раскладывает пасьянс. В зале — «роскошно» обставленной — горит свет а giorno **, хотя там нет ни одного человека. Мою просьбу о деньгах он пропустил мимо ушей и стал рассказывать анекдоты — неприличные — о русских проститутках, быт которых он отлично изучил. А также о цензуре, которую он тоже узнал хорошо.

Обратно в санях с Вас. Андреевым — пришел домой, сел в столовой и стал с М. Б. читать письма Нордман-Северовой. Это вконец разволновало меня — и я, конечно, не сомкнул глаз всю ночь, хотя и принял брому.

Попробую писать о Репине. Если сегодня не удастся, брошу. Мурочка выздоровела. <...>

13 марта. Суббота. В чем самоощущение старика? «Мое мясо стало невкусным. Если бы на меня напал тигр, он жевал бы меня безо всякого удовольствия». <...>

Вчера Мура дала мне палочку: *«Волшебная! постучи, и к тебе явится фея»*. И действительно: честно являлась по каждому стуку — и исполняла такие поручения, которых ни за что не исполнила бы, если бы не ощущала себя феей: например, прелестно постлала мою постель, вынесла из моей комнаты посуду и т. д.

Пишу предисловие к моей книжке о Некрасове. <...>

14 марта. Утром вчера за «Крокодилом». Глянув на бумагу, висящую на двери — «Гублит», я впервые догадался, что это слово должно означать «Губилитературу!». Но гибели никакой не произошло. Напротив. Мне разрешили «Крокодила» безо всяких препон, т[ак] что я даже пожалел, почему волновался два дня. От Тихонова нет указаний, какую книгу ставить на обложке.

Очень долго писал сегодня о Репине. Вышло фальшиво, придется отказаться. Нужно сию же минуту приниматься за статью о сказке, а то тоже не вытанцуется.

Вчера вечером звонил Тынянов: «К. И., можно к вам?» Я имел мужество сказать: «Нет!»

На афишах начертано, что «Сэди» в «Комедии» пойдет 10 апреля. Посмотрим. «Уж я не верю увереньям!»

17 марта. Сегодня в Русском Музее моя лекция о Репине — и я отдал бы полжизни для того, чтобы она не состоялась. Не знаю п о ч е м у , — мне так враждебна теперь эта тема. Берусь за нее с каким-

---

* Испытание (*англ.*).
** Днем (*итал.*).

то внутренним отвращением. Мысль об этой лекции испортила мне эти две недели и помешала мне писать мою работу о детях. Впрочем, сейчас у меня такой упадок, что сейчас я два часа подряд пробовал писать фельетон для «Красной» — и не мог конструировать ни строки. Самая фразеология трудна для меня.

Был в воскресение у Тынянова. Милый Ю. Н. читал мне отрывки из своей новой повести «Смерть Грибоедова»[11]. Отрывки хорошо написаны — но *чересчур* хорошо. Слишком густо дан старинный стиль. Нет ни одной не стилизованной строки. Получаются одни эссенции, то есть внутренняя ложь, литературщина. Я сказал ему. Он согласился со мною и сказал, что переделает. На столе у него целая кипа киносценариев, которые он должен выправлять. Он показывал мне отрывки — работа египетская. Особенно много труда вкладывает он в переделку надписей к каждой картине. Убеждает меня сделать сценарий для моего «Бородули». Я предложил: «давайте вдвоем!» Он согласился. Сейчас он увлекается поэтом Огаревым — читал мне его стихотворения, меня не увлекшие: вялая и дряблая форма по-домашнему талантливых виршей. Потом произошел эпизод, после которого я до сих пор не могу придти в себя: мы заговорили о Кюхле, и я сказал ему, как анекдот, что мне за редактуру «Кюхли» «Кубуч» предложил 300 рублей и что я, конечно, отказался, но считаю, что эти 300 р. должны быть даны ему. Он сказал:

— О нет! Я думаю, что вы и в самом деле должны получить эти деньги, Ведь вы основательно проредактировали «Кюхлю», особенно ту главу...

Мне почему-то эти слова причинили боль: брать деньги с любимого писателя за то, что прочитал его работу и по-товарищески сделал ему несколько замечаний по поводу его (очень незначительных) промахов!

И я разревелся, как последний дурак.

Он обнял и поцеловал меня.

Хуже всего то, что я пришел к нему просить взаймы 10 р. Едва я заикнулся об этом, он предложил мне 25 рублей. Потом пришел какой-то Михаил Израилевич и прочитал нам какой-то рассказ Рабиндраната Тагора (в своем переводе с бенгальского) — слабый рассказ и никчемный. Потом пришла мать жены Тынянова, сестра жены Тынянова, дочь сестры жены Тынянова — и возникла та густая семейная атмосфера, без которой Тынянов немыслим.

Мура продолжает быть феей. Полное раздвоение личности! В воскресение она расшалилась с Андрюшей Потехиным и стала нападать на меня, хватать с полки мои книги и уносить неведомо куда, я вдруг взял со стола волшебную палочку и торжественно стукнул три раза. Мура мгновенно покинула Андрюшу, перестала бесноваться и покорно встала предо мной — совсем другая, серьезная, важная. Я сказал ей:

— Фея! Тут сейчас была одна скверная девочка Мура — ты ее знаешь?

Фея сказала: — Да, немного.

— Она похитила у меня мои книги, пойди возьми их у нее и принеси на место.

— Сейчас!

И она чинно полетела в детскую, взяла похищенные книги и водворила их на прежнее место.

И снова бросилась к Андрюше — бесноваться.

«Сэди» печатается в «Модпике». «Крокодил» в «Круге». «Федорино Горе» в «Радуге». «Некрасов» в «Кубуче». 4 книги сразу — в 4-х типографиях.

Читал вчера в университете о Некрасове «Сердечкин». Студенты были поражены таким нарушением всех рапповских правил — и высказывали очень дубовые мысли.

Оттуда к Зощенке — не застал. Оттуда в «Модпик». <...>

24 марта. С «Сэди» дело обстоит так (наклеена вырезка из газеты — *Е. Ч.*):

«СЭДИ»

> Ак-драма и «Комедия» пришли, наконец, к соглашению относительно постановки спорной пьесы «Сэди». Решено, что Ак-драма ставит «Сэди» 10 апреля, а «Комедия» имеет право поставить через три дня после Акпремьеры, т. е. 13 апреля. В случае, если Ак-драмой к этому сроку «Сэди» поставлена не будет, театр «Комедия» все же имеет право с 13 апреля играть «Сэди».

С «Крокодилом» и «Некрасовым» еще хуже. После всех полугодовых цензурных мытарств — наконец удалось дотащить эту книгу до типографской машины. Книга «Крокодил» печатается, но нужно же было так случиться, что какая-то контрольная комиссия — уже во время печатания книги — обратила внимание на ее нецензурность, очевидно, по чьему-то доносу. Произошел величайший скандал: книгу вынули из машины *, составили протокол и т. д. Были почему-то уверены, что у меня нет разрешения Гублита, а когда обнаружилось, что и от Гублита и от Главлита разрешение у меня е с т ь , — решили сделать нагоняй этим двум учреждениям.

С «Некрасовым» хуже всего. Вчера с Таней Чижовой мы отправились в типографию «Красный Печатник» — за Новодевичьим Кладбищем, и там нам сказали, что типография еще не приступила к печатанию книги. Значит, все, что говорил мне Поташинский, ложь. Все мои надежды, что книга выйдет до лета, напрасны. А лето для такой книги — зарез. Сволочи, казенные людишки, которые задницей сели на литературу и душат ее, душат нас на каждом шагу, изматывая все наши нервы, делая нас в 40 лет стариками.

Вчера (или третьего дня) освободили Слонимского, портного,

---

* Впрочем, в этом я не уверен. Так говорил Гершанович, заведующий Бюро сторонних з а к а з о в . — *Примеч. автора.*

за которого я поручился. Вместе со мною за него поручились проф. Ив. Ив. Греков и Бродский. Прокурор сказал о Бродском:

— Его поручительству мы знаем цену. Ведь он берет за это деньги (!!).

Потрясающая история с Толлером: оказалось, что он не во всем похож на Демьяна Бедного. Этого достаточно, чтобы наши писаки «взяли назад» те поклоны и реверансы, с которыми они вчера встречали его; журнал «Прожектор» *извинился пред читателями* за то, что напечатал портрет Толлера. Бедные читатели! Они действительно пострадали — им по ошибке показали портрет писателя. Теперь уже совершенно уничтожен обычай печатать портреты Толстого, Достоевского, Гете, Леонардо да Винчи, Байрона, Горького, Чехова, которые прежде были во всех витринах. Но конечно, это затмение временно. Ведь понадобятся же портреты для школ.

Бедный Пиотровский! Он приготовился к колокольной встрече Толлера, которого он перевел, уже звонил всюду, чтобы сфабриковать очередной фальсификат общественного восторга, — и вдруг «Правда» об Эрнсте Толлере.

Был вчера у милого Бена Лившица. Чудесные две комнатки, трехмесячный Кирилл, паштет, письма от Бурлюка из Нью-Йорка и стихи, стихи... Очень ему нравится Вагинов, а я не читал, не знаю.

С. Н. Надеждин 3-го дня дал мне 200 р.

Читаю Босвелла о Джонсоне. Дивная книга.

25 марта 1926 г. Таня Чижова на днях показала мне по секрету письмо от Кустодиева. Любовное. На четырех страницах он пишет о ее «загадочных глазах», «хрупкой фигуре» и «тонких изящных руках». Бедный инвалид. Прикованный к креслу — выдумал себе идеал и влюбился. А руки у Тани — широкие, и пальцы короткие. Потом, идя по Фонтанке из «Красной», мы встретили жену Кустодиева. Милая, замученная, отдавшая ему всю себя. Голубые глаза, со слезой: «Б. М. заболел инфлуэнцей». Она через минуту — старушечка.

29 марта. Время проходит — моя лекция на точке замерзания. Был у Кони — он рассказал несколько анекдотов, которых я раньше не знал: о Николае I и его резолюциях. Один анекдот такой. Какой-то русский офицер сошелся с француженкой. Она захотела, чтобы он женился на ней, он повел ее в церковь, там произошло венчание, невесте поднесли букеты — все как следует. А через два года оказалось, что это было не венчание — но молебен. Офицер обманул француженку и привел ее на молебен, уверив, что это свадьба. А у француженки дети — незаконные. Она — в суд. Суд не имел права ни узаконить детей, ни заставить офицера жениться. Дело

дошло до царя. Он написал «вменить молебен в бракосочетание».

Второй анекдот. Какой-то пьяный мужик сквернословил в кабаке. Ему сказали: «Разве ты не видишь, что тут висит портрет государя?» Он ответил: «А мне наплевать». Его арестовали. Возникло дело об оскорблении величества. Приговорили к каторжным работам. Но когда дело дошло до Николая, он написал: «Прекратить. Впредь моих портретов в кабаках не вешать. А Николаю Петрову объявить, что если ему на меня наплевать, то и мне на него наплевать». Анекдот едва ли вероятный.

Был сегодня на репетиции «Сэди» — с 11 до 4 часов — и вот бессонница.

1 апреля. День моего рождения.

Я узнал, что «Универсальная Б-ка» без моего разрешения издала несколько книжек моих переводов О'Генри, не сочтя необходимым даже известить меня об этом и не позаботившись прислать мне хоть один экземпляр изданных книжек.

Предполагая, что это результат недоразумения, я обратился в «Универсальную Б-ку» с предложением уплатить мне гонорар за это издание, причем просил всего 30 р. с листа. Прошло около месяца, но редакция Библиотеки не сочла даже нужным ответить мне.

Я буду ждать ответа и следуемых мне денег до 5 апр. с. г., после чего постараюсь найти иные способы для защиты моих литературных прав.

К. Ч.

5 апреля. Ах, если бы кто-нб. взял меня за руку и увел куда-нб. прочь от меня самого. Опять не сплю, опять тоска, опять метания по городу в пустоте, опять [нрзб] 3 раза ездил я в Сестрорецк, но там не устроился. Пишется мне уже с таким трудом, что я каждое письмо пишу первоначально начерно, а потом набело.

Внешние успехи мои как будто ничего.

8 выходит «Федорино горе».

13-го идет «Сэди».

15-го выходит «Некрасов».

Вчера позвонил мне из Европейской гостиницы некто Уринов, режиссер кинофирмы «Межрабпомрусь», и предложил ознакомиться с киносценарием моего «Бармалея». Я был вчера у него в «Европейской» с Бобой: сценарий мне понравился — попурри из «Крокодила» и «Бармалея».

Вчера же Клячко прислал мне перевод моего «Телефона» на английский язык, сделанный одним москвичом.

Словом, славы много, а денег ни копейки. Давно миновали те дни, когда я позволял себе ездить на извозчиках. Мыкаюсь по трамваям.

На мне висела страшная тяжесть: обещал Союзу Писателей про-

читать лекцию в защиту сказки. Собрал кучу матерьялов, весь горю этой темой — и ничего! Не могу выжать ни строчки! Осталось одно — отказаться с позором. О, о! о! о! Но другого выхода нет.

А Тихонов все не шлет денег и не выкупает из типографии «Крокодила».

— «Ты позовешь ее, и она к тебе... не придет!» Тут Мура горько заплакала. Это по поводу феи. Мура таскала изюминки у меня из пирога. Я постучал волшебной палочкой, и явилась фея. «Скажи Муре, чтобы она не таскала у меня изюминок». Но фея не только не послушала меня, а тоже вытащила у меня из пирога изюминку. Я сказал:

— Не нужно мне твоей волшебной палочки.

И бросил палочку на диван. Мура страшно обиделась.

13 апреля. Сегодня вечером первое представление «Сэди». Почему это меня волнует? Неизвестно. Но я не сомкнул глаз всю ночь, и вчера, под чудесными звездами, бродил одиноко по городу. Просто я сроднился с театром и заразился волнением всей этой шайки, к-рая зовется «Комедия». Шайка такая. Папаригопуло — вежливый, чинный, литературный, словно созданный для сношений с Гублитом, Реперткомом и пр. Автор «Метелицы», которую цензура кромсала, кажется, 1½ года, 30 лет. Пишет роман о театре. Сейчас за 500 р. написал агитац. пьеску для какого-то из Красных Театров и зовет ее позором своей жизни.

Голичников — человек в поддевке. С. Н. Надеждин — постановщик «Сэди». К моему удивлению, оказался неплохим режиссером. Чудесно показывает каждому актеру, как нужно играть. Причем чаще всего пользуется методом пародии: «Ты, Павлуша, сыграл вот так» — и выходит в тысячу раз лучше. Но актеры оказались плохой глиной даже в этих твердых руках. <...>

Надеждин играет пастора. Он установил очень благородный тон, взгляд у него стал потусторонний, получилась очень недурная фигура, но смертельно однообразная. Я сказал ему об этом и дал ему несколько советов насчет того, как внести в эту роль несколько взрывов ярости. Он очень внял моим советам, совершенно переделал всю роль, и я только тогда понял, какой это *умный* актер.

— Теперь гораздо лучше! — сказал я ему.

— Нет! — возразил о н . — Так сценичнее, но первый образ — вернее.

В этом чувствуется подлинный художник. Я думал, что он гораздо хуже.

Грановская изумительна. Мешковатая, усталая, полумертвая женщина, с больными ногами. Затуркана, замучена так, что кажется, если дать ей прилечь, она моментально рассыпется. Когда глядишь на нее, испытываешь самую острую жалость: до чего дозели человека! Репетирует она с 10 до 5, а потом едет на минуту домой —

и сейчас же назад на спектакль. Выступает каждый, каждый день. Она одна держит собою весь театр — своими нервами, своею личностью. Ей надо быть талантливой *за всех.* <...> Нужно видеть, как на каждой репетиции она *поднимает* их всех, будоражит, гальванизирует. И все дело не в механическом брио, не в наигранной веселости, а в переливчатой, многообразной игре. Игра ее именно переливчатая: вы никогда не можете привесить к отдельным моментам ее игры тот или иной ярлык: вот это — гнев, вот это — радость, вот это — удивление, вот это — страх. Все у нее перемешивается — переливается из одного состояния в другое, и такие переходы у нее ценнее всего. Это и дает иллюзию жизни. Актеры до сих пор, изображая а + в, сосредоточивались на *а* и *в*, а она на +. Кроме того, она вечная изобретательница новых приемов. Страх она изображает не так, как это принято изображать, а совершенно по-новому. Радость тоже. Гнев тоже. Как будто в какой-то клинике она специально всю жизнь изучала, как люди пугаются, радуются и т. д. Чувствуется колоссальная наблюдательность, зоркий глаз, для которого вся жизнь — матерьял для искусства. Никаких иллюзий насчет «Сэди» я не питаю. На репетиции явно обозначился полный провал. Скуука! Художник Левин вместо Паю-Паю устроил какие-то Озерки. Те сцены, когда нет Грановской, хоть не смотри. <...>

А «Сэди» провалилась. В конце спектакля не было ни одного хлопка. Меня это не очень потрясло, но мне больно, что это отвадит меня от театра. <...>

19 апреля. С «Некрасовым» так: типография страстно хочет печатать мою книгу, но корректор Коган до сих пор не удосужился в течение 8 месяцев продержать корректуру. Пять листов, проправленных мною, он потерял!! Долго доказывал, что эти листы уже давно сданы им в типографию, но Андрей Слюсарев отыскал их у него в столе — среди ужасающего беспорядка. Этот мерзавец задержал мою книгу дней на десять. Типография предоставила мне несколько машин, чтобы напечатать всю книгу в три дня, а он и до сих пор не закончил корректуры последнего листа.

— У меня не только «Некрасов»! — говорит он в свое оправдание.

Я очень волновался бы этим предательством, но у меня есть более серьезные печали. «Союз Просвещения» внезапно выкинул всех писателей за б о р т , — и я оказался вне закона. Чтобы быть полноправным гражданином, я должен поступить куда-нибудь на службу. Единственная мне доступная служба — сотрудничество в «Кр[асной] Газ[ете]». Служба ненавистная, п. ч. меня тянет писать о детях. Но ничего не поделаешь, и вот уже две недели я обиваю пороги этой гнусной «Вечерки»: примите меня на службу на самое ничтожное жалование. Кугель и рад бы, но теперь в «Вечерке» началась полоса «экономии». Хотя «Вечерка» за этот год дала чистой прибыли 90 тысяч рублей — решено навести экономию, сократив го-

норары сотрудникам и уничтожив институт *штатных* писак. И это как раз в ту минуту, когда мне нужно сделаться штатным. Водят меня за нос, откладывают со дня на день, заставляют просиживать в прихожих по 3, по 4 часа — и в результате обещают дать ответ завтра. Это так надоело мне, что вчера в воскресение я отправился к Кугелю (Ионе) на квартиру — в Лесной. Грязь невылазная. Адреса его я не знал. Шагал туда 4 версты и обратно версты 2½. Обещал дать ответ завтра. Живет он у самого леса. У него своя дача. Куры. Грязь. Неубранная кровать. Открыла мне красавица — его дочь. Его разбудили. Он в платке. Ругает порядки «Кр. Газ.»: «мы дали им 90 т. чистого доходу» и т. д.

Мое непосланное письмо к Чагину.

«Многоуважаемый Петр Иванович. В октябре 1925 г. Вечерняя «Красная Газета» приобрела у меня мой роман «Бородуля» для немедленного напечатания. По условиям с редакцией роман должен был закончиться печатанием к 15 декабря, дабы я мог немедленно издать его отдельною книжкою. Но прошло 5 месяцев, а мой роман все еще не начат печатанием. Дольше ждать я не могу».

24 апреля. Суббота. Был у меня Тиняков. Принес свою книжку и попросил купить за рубль. — Что вы теперь пишете? — спрашиваю его. — Ничего не пишу. Побираюсь. — То есть как? — А так, прошу милостыни. Сижу на Литейном. Рубля 2 с полтиной в день вырабатываю. Только ногам холодно. У меня и плакат есть *«ПИСАТЕЛЬ»*. Если целый день сидеть, то рублей пять можно выработать. Это куда лучше литературы. Вот я для журнала «Целина» написал три статьи — «о Некрасове», «о Есенине» и (еще о чем-то), а они ни гроша мне не заплатили. А здесь — на панели — и сыт и пьян. — И действительно, он даже пополнел.

Много встречался с Сейфуллиной. Она гораздо лучше своих книг. У нее задушевные интонации, голос рассудительный и умный. Не ломается. Играет с матерью своего Валерьяна в «подкидного дурака». <…> Сейфуллина подарила мне свои книжки — пишет она гораздо хуже, чем я думал: борзо, лихо, фельетонно, манерно. Глаголы на конце. Прилагательные после существительных. К добротным кускам пришито много дешевки. Это — Нагродская новой эпохи. Еще 2 года, и у нее будет 12 томов. Но сама она — как и Нагродская — гораздо лучше своих сочинений.

Был я у Бена Лившица. То же впечатление душевной чистоты и полной поглощенности литературой. О поэзии он может говорить по 10 часов подряд. В его представлении — если есть сейчас в России замечательные люди, то это Пастернак, Кузмин, Мандельштам и Константин Вагинов. Особенно Вагинов. Он даже сочинил о Вагинове манифестальную статью для чтения в Союзе Поэтов и — читал ее мне. Он славит Вагинова за его метафизические проникновения. Странно: наружность у него полнеющего пожилого еврея, которому

полагалось бы быть практиком и дельцом, а вся жизнь — чистейшей воды литератора. Между прочим, мы вспомнили с ним войну. Он сказал: — В сущности, только мы двое *честно* отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы пошли в армию — и сражались. Остальные поступили, как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком. Маяковский... но впрочем, Маяковский никого не звал в бой...

— Звал, звал. Он не сразу стал пацифистом. До того, как написать «Войну и Мир», он пел очень воинственные песни.

У союзников французов
Битых немцев целый кузов,
А у братьев англичан
Битых немцев целый чан.

3 мая. Пасха. Ветер и снег. Холод такой, что художник Рудаков, долженствовавший сегодня придти ко мне рисовать Мурку, не пришел: зимнее пальто у него упаковано, а в летнем нельзя рискнуть выйти.

Был у меня Бен Лившиц, принес свою книжку «Патмос», только что вышедшую. Он рассказал, что дочь Гумилева в тяжелой нужде, — хлопочет о том, чтобы помочь ей. Его теща пекла у него куличи. Они «сели». Он прикрепил к ним бумажку:

Нет изящнее и проще
Куличей работы тещи.

Вечером я пошел к Сейфуллиной. На столе у нее разыскал томик Ал. Толстого. Стал читать ей «Дракон» — любимую вещь — она не могла дослушать до конца: «ой, какая скука!» «Сон Статского Советника Попова» тоже не очаровал ее: у нее нет никаких стиховых восприятий. У Правдухина тоже. Даже странно.

А я в последнее время увлекаюсь стихами: Фетом, Жуковским, Броунингом. У меня теперь шкафик для поэзии — где собраны английские и рус. поэты. (На Пасху я купил два книжных шкафа — у Соломина.)

Бабель все не приезжает из Москвы <...> он в Москве пытается получить свой заработок из Кино (правление коего попало под суд) и из «Кр. Нови».

Я сказал Сейфуллиной, что она пишет очень неряшливо. — Да, сказала она, — я ведь очень по-хулигански отношусь к своему делу. Пишу быстро, без помарок. Вот только с Каин-Кабаком много возилась.

Третьего дня получил новый подарок от Ломоносовой: 2 банки дивного какао Вангутен, кофточку для Муры и шоколад.

Это меня страшно обрадовало! <...>

20 мая. Я в Луге. У Любовь Андреевны Луговой. Последние ночи совсем не сплю — и противен себе. <...> 15 мая стали печатать в

111

После его смерти ей пришлось очень тяжело: во время революции она стала кухаркой в Доме Литераторов (где отморозила себе концы пальцев, чистя мерзлой картошки), но и в эти дни она не потеряла своей гордости: стоя у чужой плиты, она ни на миг не забыла, что она «жена Луговой».

(предложенная мною в Госиздат)

Мою «Белую Мышку» (по Лофтингу) Лилина отвергла, и написала о ней такой отзыв, который нужно сохранить для потомства:

(Это автограф Лилиной подлинный)

К. Чуковский

«Приключения белой мыши» очень сомнительная сказка. Никаких законов мимикрии в ней нет, а антропоморфизма хоть отбавляй.

Боюсь, что нас будут очень ругать за эту сказочку. Тут как-то все очень очеловечено, вплоть до лошади, которая живет в кабинете.

Страница дневника. Вклеен отзыв З. И. Лилиной. 20 мая 1926 г.

«Кр. Газ.» «Бородулю», но такими небольшими порциями, что сразу угробили вещь. У Любовь Андреевны мне хорошо. У нее отличный домик, и она — добрая женщина. Ее преданность Луговому изумительна. Вся комната — все стены превращены в иконостас, где единственное божество ее неталантливый муж. Ей он искренне представляется величайшим и благороднейшим гением, и [нрзб] презирает всех других литераторов за то, что они затмили его славу. После его смерти ей пришлось очень тяжело — во время революции она стала кухаркой в Доме Литераторов (где отморозила себе концы пальцев, чистя пуды мерзлой картошки), но и в этом она не потеряла своей гордости: стоя у гнусной плиты, она ни на миг не забыла, что она «жена Лугового».

Мою «Белую Мышку» (по Лофтингу), предложенную мною в Госиздат, Лилина отвергла и написала о ней такой отзыв, который нужно сохранить для потомства:

(Вклеен листок. *Е. Ч.*)

Это автограф подлой Лилиной.

К. Чуковский

«Приключения белой мыши» очень сомнительная сказочка. Никаких законов мимикрии в ней нет, а антропоморфизма хоть отбавляй.

Боюсь, что нас будут очень ругать за эту сказочку. Тут как-то все очень очеловечено вплоть до лошади, которая живет в кабинете.

Кажется 5 июня. Водворился у Штоль. <...> Эта неделя была пуста и страшна. Нас замучили письма Ломоносовой, зовущей меня в Италию, Мак грубо заявил мне о гнусном провале «Бородули», и Контроль задержал мою уже отпечатанную книгу о Некрасове — лишь оттого, что там сказано в двух местах государь император, а нужно — царь. Приехал сюда замученный, даже дивная природа не радует. Читаю Gilbert'a «Original Plays» * и не могу решить, совершенная ли это дрянь, или можно бы перевести какую-нб. пьесенку.

10 июля, суббота. В Луге. Блаженствую. Вчера Лида отряхнула прах родительского дома — уехала с дачи в город искать себе службы. Коля, Марина и Татка — совершенно неожиданно оказались у меня на даче — на моем иждивении. Пропадает лето, не могу отдыхать. Сегодня в городе идет необыкновенный процесс: судят доктора Лебедева, который (совместно с другим доктором) написал письмо в редакцию о том, что служащая в больнице врачиха обращалась с сиделкой нисколько не грубо и не заставляла ее подавать себе шубу. За это письмо в редакцию, являющееся опровержением напечатанной в газете заметки, обоих докторов привлекли за кле-

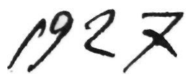
---

* «Оригинальные пьесы» (*англ.*).

вету — *хотя письмо в газете не появилось. Газета не напечатала письма, но возбудила против его авторов преследование.* Более чудовищного издевательства над свободой печати и представить себе нельзя. Вчера вечером был у Лебедева, он бодрится, но нервы вздернуты у него до крайности.

В то же самое время, наряду с этой *строгостью,* происходит быстрое воскрешение помещиков. «Нэп». Инженер Карнович, работающий в Земотделе, вернул дачу себе — большую, над рекою (там теперь живет Маршак, Луговой, [нрзб] и т. д.). Дача Фриде, бывшей певицы, так огромна, что ее не обойдешь, не объедешь, дача Колбасовых (роскошная!), где пансион Абрамовых, отдана для эксплуатации владельцам. Те сдают свои дачи жильцам и получают таким образом огромную ренту со своего капитала. Сейчас возвращают Поповым их чудесную Поповку — огромную дачу, отведенную теперь для дома отдыха. В этом доме отдыха больше ста человек. Говорят, что она возвращена владельцам и что дом отдыха на днях закрывается, а Поповы возвращаются в родное гнездо. Причем Дм. С. Колбасов рассказывает, что чуть, бывало, он завидит, что идут чины Земотдела, от к-рых зависело возвращение дачи, он бросался бегом в город и приносил мешок бутылок пива — они садились в беседке и начинали пьянствовать.

12 июля. Вторник. Пишу книжку «Ежики смеются», но книжка выходит без изюминки. Я здоров, сплю по ночам хорошо, а писательство не вытанцовывается. *А д-ра Лебедева оправдали.* Дело в общих чертах таково. В зубной лечебнице служит зубврач Оппель, 30-летняя женщина. Довольно симпатичная, хорошая работница. Ее невзлюбила одна сиделка, по имени Катя, и вот муж этой сиделки сочинил статейку «Об офицерской жене и о несчастных Катях», где, конечно, писал, что пора гнать офицерскую жену (мадам Оппель) красной метлой, так как она помыкает Катями, постоянно выкрикивая: «Катя, подай стул, Катя, подай пальто»; по словам заметки, лечит она больных кое-как, глядя по пациенту: если ты простой рабочий — не являйся к ней. Ив. Влад. Лебедев послал в «Кр. Правду» заметку, что эта статейка не соответствует истине. «Кр. Правда» этой заметки не напечатала, но привлекла его к суду «за ложные показания». Суд этот был 15-го июня, кажется, и *Лебедева оправдали.* <...>



18 февраля. Максимов-Евгеньев торгуется по поводу некрасовской «Ясносветы». Ему удалось списать эту сказку у Картавова, и теперь он требует за нее 175 рублей — по 20 коп. за строчку, как если бы он был Некрасов. Сам Некрасов за эту вещь вряд ли получил четверть того гонорара, который требует у меня Максимов за пере-

писку. Причем ведет себя, как лавочник: «запросил» четвертак, потом сбавил до двугривенного — и спрашивает по телефону: «какая же ваша окончательная цена?» Все это очень удивило меня. Я думал, что он бездарный писака, туповато влюбленный в Некрасова, но никогда не подозревал, что Некрасов для него — товар. И каков жаргон этого почтенного неомарксиста, бывшего народника и пр. и пр.:

— Ну пусть будет не по-вашему, не по-нашему — 100 рублей за всё!

С «Некрасовым» новое горе. После того, как я с таким волнением выбрал шрифт, колонцифры и проч. — вдруг Ив. Дм. Галактионов ни с того ни с сего распорядился *переменить во всей книге курсив* — и теперь вся книга испорчена самым неподходящим курсивом. Я поднял было бучу, но мне сказали, что, если самоуправство Галактионова дойдет до начальства, Галактионову несдобровать, он и так теперь висит на волоске. Перед этим доводом я умолк, — но моя книга стала мне заранее противна.

20 февраля. Наконец-то получилась бумага от Лебедева-Полянского по поводу моего «Некрасова». Бумага наглая — придирки бездарности, — но главное то, что в конце сказано:

«Несмотря на все сказанное, должен отметить, что проделана большая и интересная работа. Так или иначе она должна быть опубликована».

А придирки такие:

«Ровно ничего не дают пустяковые замечания к стихотворению «Влюбленному»... «Ничего не дают соображения о времени написания «До сумерек».

«Критик Дудышкин был любимец Белинского», — говорю я. *Лебедев-Полянский:* «Такая характеристика дает ложное представление о Дудышкине».

Результаты: «К собранию сочинений обязательно должен быть дан марксистский литературно-критический очерк». Явно чей — Лебедева-Полянского! 10/II 1927 <...>

Ночь на 24 февраля. Сейфуллина пригласила меня на завтра, на 5 часов. Я лег, Боба стал честно зачитывать меня Пушкиным, но я понял, что не засну. Встал, оделся, выбежал на улицу, в Дом Ученых. <...> Вместе со мною к Сейфуллиной звонилась еще какая-то компания. Оказались: Чагин, его жена Марья Антоновна и Ржанов Георгий Александрович, стоящий во главе отдела печати (кажется). На двери медная доска — очень большая — «Сейфуллина — 27 — Вал. Правдухин». Наконец открыли. Лирика, вино. Сейфуллина пронзительным въедливым голосом стала ругать Чагина: «Ваша газета — желтая, вы сами ее не читаете, сколько раз я звонила вам:

читали эту мерзость? (Про какую-нибудь статью.) А вы и не читали, потому что вы сволочь». Чагин весело оправдывался. Видно было, что ругательства Сейфуллиной для него привычны. Сейфуллина вообще взяла тон ругательной искренности. Мне: «Я Чуковского люблю, и когда он со мной, он вполне мной овладевает, а когда уйдет, мне все кажется, что он надо мною смеется». Иногда искренность и, так сказать, установка на детскость:

— У меня охота замуж идти. Хочу, чтобы мы с Правдухиным в законе жили. Идем, говорю, в Загс! А он: ладно. Только фамилию выберем себе Собачкины. Иначе я не согласен!

— Ужасно мне охота в красном гробу лежать — но так, чтобы я видела, что я лежу в красном гробу. Вот бедная Лариса (Рейснер) — с такой музыкой хоронили, а она и не слышала.

— Захотела я под Анатоля Франса писать. Потому прежние мои писания — знаю сама — плохи. Нужно по-другому, по-культурному. Потела я года — даже больше, сочинила, ну просто прелесть: пейзаж, завязка, все как у людей. Стала в Тюзе читать — чувствую: провалилась! Дышит вежливо аудитория, но пейзажи мои до нее не доходят. Ужасное положение, когда кругом дышат вежливо.

Пришел муж Софьи Сергеевны, нарком Белоруссии, Адамович. Очень плечистый, спокойный, умный, сильный. Из простых рабочих. Сейфуллина и на него накинулась со своей пронзительной д е т с к о с т ь ю. — Что за язык — белорусский. Выдумали язык — наркомы. Собрались, накупили французских и немецких грамматик, истратили триста рублей и выдумали белорусскую мову. Да дай ты мне три червонца, я тебе лучшую мову придумаю. А ведь простой народ вашей мовы, как и в Украине, не знает.

Он спокойно: — Ну что ж, значит, миллионы людей ошибаются, вы одна знаете правду.

Она: — Ну что это за язык! На Украйне каждую минуту, войдешь в комнату, на тебя гаркнут по-звериному: *«Будь ласка зачиняй двер!»*

Выпили. Адамович стал поднимать свою жену к себе на плечи. (В нем шесть пудов, а в ней четыре.) Потом предложил проделать тот же номер с Сейфуллиной.

Она: — Я честная женщина и с чужим мужчиной не и г р а ю . — Тут же произнесла по-украински целое стихотворение наизусть, с утрированными украинскими интонациями, и тогда только я понял, какое у нее хваткое ухо. Это ухо сказывается и в ее повестях: оттенки простонародных речей она улавливает мастерски и запоминает надолго в таком же утрированном виде. Мы невольно зааплодировали ей. <...>

У Вал. Правдухина собака Рети. Двухмесячная. Ученая. Он даст ей кусок мяса, она плачет над ним, заливается, но не решается взять. И только когда он скажет: тубо! — она — хап, и съест.

— Недавно был Бухарин у меня. Звонит. «Можно ли мне будет приехать, поговорить о Есенине». Приезжайте! А сама пьяная. Хватила для храбрости коньяку — и опьянела вконец. Он приехал.

Я попробовала его тоже вот этаким манером (то есть ругательно, наивно, á l'enfant terrible *), но сорвалось. Он, уезжая, сказал: какой славный Правдухин, но как он может жить с этой ужасной Сейфуллиной!

«У женщины, которую любишь, самое музыкальное — брови».

Чагин скоро ушел на заседание. Через часа 1½ вернулся — мы столкнулись с ним у калитки. Он звал вернуться, но я ушел, чуть только вся компания стала пьянеть. Противно сидеть трезвому среди пьяных — то есть пьяным противен трезвый.

Чагин ликовал по поводу победы, которую он одержал, получив разрешение издавать «Вокруг Света». Дело было такое: в начале прошлого года «Красн. Газета» захотела издать «Вокруг Света» и представила проект в отдел печати. Проект отделу печати так понравился, что начальник этого отдела Нарбут решил сам издавать «Вокруг Света» в «Земле и фабрике», которую он возглавляет. Предприняв это издание, он запретил «Красной Газете» делать параллельную работу — то есть использовал для корыстных целей чужую идею. Теперь Чагину разрешили вести «Вокруг Света» здесь.

Говорят, в журнале «На литературном посту» есть статья «Искаженный Некрасов», очевидно посвященная мне [1]. Опять у меня будут бессонницы, опять борьба за *право работать* над любимым поэтом. Бездельники и чиновники, сами ничего не сделавшие и не желающие делать, мешают мне докончить мой труд.

Утро 24 февраля. Мура сегодня рожденница. Я дарю ей лото, Боба матрешек, М. Б. — домино. <...>

Позвонили по телефону. Я взял трубку и сказал:

— Я вас скушаю!

Дети страшно расхохотались. Играли в лото. Младший расплакался. «Мне дали дурную кардонку».

Были мы с Мурой и Дорой в Летнем саду. Она запомнила ту скамейку, возле которой мы видели с ней летом «сокороножку» — 2 года назад.

Играют в гусей. Милые вечные детские ножки так же стучали в 1227, в 1327, в 1427, в 1527, в 1627, в 1727, в 1827, — так будут стучать в 2027-м и 20027-м. <...>

4 марта. <...> С «Некрасовым» как будто все улажено. Вчера я подписал к печати 25-й лист его стихотворений — и сдал в сверстку все гранки. Мучивший меня курсив будет заменен прежним — для этого я сегодня утром посетил И. Д. Галактионова, и он с удивительной кротостью признал свою ошибку и взялся ее исправить — прелестный, русский, курносый, лохматый человек, в орбите которого

* В духе несносного ребенка (*франц.*).

всегда так светло и уютно. Я очень рад, что не лез с жалобами на него к начальству, а поговорил прямо с ним.

Удастся ли довести до конца *моего* «Некрасова»? На горизонте опять не без туч: Ольминский, — в «Литературном Посту» — снова обрушился на меня, ругая на чем свет... издание 1919 года... Никто не «одернул» его, как принято теперь говорить. Я хотел было ответить ему, да нет времени. Лучше употреблю это время на улучшение нового издания «Некрасова».

У меня ведь еще не дописан биографич. очерк для введения в книгу, нет вступительного «От редакции» и пр. и пр., не написано примечаний к «Современникам» и «Мне жаль», а остальные примечания требуют сугубого контроля. Между тем не сегодня завтра свалятся на меня корректуры «Панаевой», которую я печатаю в «Academia»...

Утром сегодня был в Пушкинском Доме. Как приятно там работать; не тесно, книги подают моментально, нет той суеты, что в Рус. Отделении Публичной Библиотеки, где все служащие замучены, закружены работой — тысячами требований из читального зала. В этом году число читателей увеличилось страшно; подавальщики книг таскают на себе пуды фолиантов, и даже совестно обращаться к ним с требованиями. 1-го марта я участвовал в отвратительном деле: купил за сто рублей у Евгеньева-Максимова копию с рукописи Некрасова, который уступил ее мне — писатель писателю — и даже announced расписочку выдал — позорную. А на стенах у него Салтыков-Щедрин, Михайловский, Елисеев, Добролюбов, Белинский. И когда он продавал мне право на издание стихотворений Некрасова, которое ему не принадлежит, и пересчитывал деньги, которых не должен бы брать, они кивали головой и говорили: «ах ты прохвост». <...>

В Пушкинском Доме Модзалевский показал мне новые приобретения: Керн в молодых годах, Елим Петрович Мещерский, Ив. Ив. Дмитриев, Москва в эпоху Пушкина. «Керн» мне знакома. Она принадлежала Щеголеву. Должно быть, он очень нуждается, если расстался с такой примечательностью!

От Репина письмо. Впрочем, только отрывок. Остальное погибло. Да и как не погибнуть, если он прямо пишет:

«Кому ведать надлежит, следят за вашей перепиской: вы на счету интересных — еще бы!»

Понедельник. С М. Б. у Сейфуллиной. Она между прочим сказала: «Я в *мощей* не верю». Собаку Правдухина зовут Рамзай Макдональд. Правдухин говорит собаке: Рери! — она ни с места. Ари! — она ни с места. Мери! — она ни с места. Бери! — она хватает баранку. Поразительный слух.

Звонили Сейфуллиной из «Смены»: — Дайте нам что-нб.; *только хорошее!* — Хорошего не могу. Уже год не пишется! — Да, *это бывает* (говорит подросток лет 15-ти.) — Я пришлю вам из-за границы. — Нет, заграница нас не интересует.

Сейф. сегодня едет в Берлин. В Париж ей не дали визы. <…>

Сейфуллина боевая: вечно готова выцарапать глаза за какую-то правду. Даже голос у нее — полемический. Полна впечатлений вчерашнего диспута — о критиках. Ей показалось, что Эйхенбаум слишком кичится своим дипломом и обижает поэтов из ЛАППа, про котор. Шкловский выразился, что «им готов и стол и дом» (т. е. что им покровительствует власть). Стала она разносить формалистов — очень яростно; ярость у нее ежедневная, привычная — ее любимое состояние. Был у нее Борисоглебский, пришел просить ее войти в Правление Союза Писателей — она как налетит на него: — Не желаю! Не желаю сидеть рядом с Замятиным, с Эйхенбаумом, с Тыняновым, с Томашевским! Не желаю!

— Лидия Николаевна! Там не будет ни Тынянова, ни З[амятина], ни Э[йхенбаума], ни Т[омашевского].

— Не желаю сидеть рядом с Тыняновым.

— Но Тынянова не будет!

— Никто меня не может заставить... и т. д.

Ей больше всего нравится культивировать ярость — слепую. А ее Валерьян Павлович — не глупый и знающий. Ему 35 лет. А ей 38.

— Вот какого молодого человека я влюбила в себя!

Помолчала. — Что ж! Хоть мне и 38, я всегда могу иметь хоть десять любовников.

Играла в подкидного дурака — с каким-то агрономом и какими-то барышнями.

Вторник. Сегодня уезжает Сейфуллина в Берлин.

Мура не любит уменьшительных: я на кортах, лягуха, подуха, картоха.

1 апреля. День моего рождения. <…> Был занят сумасшедше и все пустяками — корректура Панаевой-Головачевой и корректура «Некрасова» сразу. Корректуры я держать не умею, должен сто раз проверять себя, а никому доверить не могу, потому что Т. А. Богданович еще вчера в «Провинциальном подьячем» вместо «тонула» оставила слово «покуда».

Теперь мне осталось 1) продержать 20 форм корректуры моих примечаний (около 18 листов).

2) 6 последних листов «Стих[отворений]» Некрасова (мелкий шрифт: на самом деле там листов 12).

3) 18 листов второй корректуры Панаевой-Головачевой.

4) Дописать биографию Некрасова.

5) Составить 6 новых примечаний.

6) Сделать введение к Собранию стихотворений.

А мне хочется писать детскую сказку, и даже звенят какие-то рифмы. А условия, при которых проходит эта работа. Бьют палками, топчут ногами — в Госиздате. А в «Academia» вежливо и весело не платят. <…>

24 апреля. Пасха. Кони:

«<...> Боборыкин в Дуббельне все присаживался к нашему столу (где мы с Гончаровым). Однажды, вспоминая Никиту Крылова, я повторил по памяти одну его лекцию. (И тут великолепная пародия на лекцию Никиты, где ко всякому латинскому слову дан московский, ультрарусский комментарий.) Боборыкин выслушал и осенью в Питере приходит ко мне: — А. Ф., повторите, как вот об таком servituse * говорил Никита Крылов? — А зачем вам это надо? — Роман я написал «Китай-Город», где изобразил вас в виде горького пьяницы, вспоминающего Моск. университет и «Никиту». <...>»

Он лежит на кровати, обмотанный компрессом. У него воспаление легких. Вот какие руки стали — показывает он: жилистые, страшно худые.

— Но ничего. Летом пополнею. (Ему 83 года.)

И рассказывает старые свои анекдоты, которые рассказывал тысячу раз. И только взглядывает иногда воровски: слыхал ли я этот анекдот или нет? Но я слушаю с живейшим интересом — даю ему полную волю плагиировать себя самого. Нового содержания его душа уже не воспринимает. Вся его речь состоит из N-ного количества давно изготовленных штучек, машинально повторяемых теперь.

Впрочем, порою и новое. «Я читаю лекции врачам, приехавшим совершенствоваться, из провинции. Они попросили меня прочитать о литературе. Я спросил: — О ком вы желаете? О Тургеневе? — Молчат. — О Чехове? — Молчат. — О ком же?

— О Достоевском! — кричат женщины.

— О Толстом! — кричат мужчины.

Прочитал я им о Толстом, причем сказал, что всякая встреча с Толстым для меня есть *дезинфекция души*.

И что же бы вы думали! Когда я кончил лекцию, вдруг встает какой-то слушатель, говорит мне благодарственную речь и возглашает, что мои лекции для них — истинная дезинфекция души.

Кончил 5-ый том воспоминаний. Госиздат хочет приобрести у него эту книгу. Отложил переговоры до сентября.

Марксисты из-под палки: Медведев и др.

---

26 апреля. Был вчера у Тынянова. Его комнатенка так уставилась книжными шкафами, что загородила даже окна. Бедная Инна исхудала — от науки. Он объяснял ей задачу, когда я вошел. На диване рукописи — самые разные — куски романа о Грибоедове, ученая статья об эволюции художественной прозы, переводы из Гейне.

* Покорном слуге (*лат.*).

Тут же и корректуры этих переводов. Прочитал о Белом Слоне и «Невольничий корабль». Книжка выйдет в «Academia». Рассказывал о Пиксанове. Пиксанов передал ему через Оксмана привет, по поводу «Кюхли», а про «Мухтара» сказал, что этот роман вызвал в нем, в Пиксанове, желание напечатать те матерьялы о Грибоедове-дипломате, которые у него имеются. Тынянов написал Пиксанову, что ему хотелось бы хоть глазком взглянуть на эти матерьялы. Пиксанов отвечал благосклонно. Т., будучи в Москве, зашел к П., но тот принял его величаво и сухо, свысока похвалил, подарил «Горе от Ума», — а о матерьялах ни слова. «Он молчит, и я молчу». А сам он, Пиксанов, разбирается в этом деле очень плохо. Называет безвестным капитаном знаменитого Бурцова, врага Пестеля, — «вот, посмотрите, Корней Иванович!».

Очень радуется, что напостовцы сдали свои позиции, что там бьют смертным боем критиков-марксистов. (Прочтите последний №.) С восторгом отзывается о романе «Мангэттен» Дос Пассоса. «Американская литература расцветает необычайно. Начинают казаться какими-то старинными Куперами — все эти О'Генри, Джэки Лондоны». Чарующая бодрость, отзывчивость на все культурное, прекрасные глаза, думающий лоб, молодая улыбка, я понимаю, почему бедная Варковицкая по уши влюбилась в него. О Тургеневе — вот ум! Письма.

2 мая. Мура делала из бумаги бабочек. Сделала 11 штук. Раскрасила. Боба сказал, что бабочки вредны и что он их не любит. Прошел час. Мура на диване горько плачет. «Отчего ты не идешь делать бабочек?» — «Что я буду делать *тех,* кого никто не любит!» И продолжает задушевно плакать о бедных отверженных бабочках!

14 мая. Был в Публичной, в рус. отделении. Там обычно кончают в два. Сегодня в половине 2-го голос: — Отделение закрывается! — Почему? — Протестовать против английского налета! (Налет на торгпредства.) Столпянский мне: «За великое имя обидно!» — т. е. обидно за Россию. Дора спорит с Марией Борисовной, будет война или нет... <...>

Ночь на 16ое. Не сплю. Кропаю «примечания» к «Некрасову». Был у Сейфуллиной. Она сегодня приехала из-за границы. «Никогда больше туда не поеду». Видела там Чернова, Володю Познера, Чирикова, Ольгу Форш, Грооса, кучу людей и еще не может придти в себя. Мужу привезла: костюм, шахматы, пишущую машинку, себе — множество платьев — из Варшавы, из Парижа, из Праги. Чириков очень постарел. Дряхлый. Очень опечален — написал «Зверя и[з] бездны», где изобразил зверства *белых* и красных, белые оскорблены, воздвигли против него гонения, даже гонят его [из] того коммунального дома, где он живет, и хотят лишить пенсии. А Чернов бодр. «Передайте (кому-то), что я до сих пор еще ничем не хворал». Крестинская, хоть и простая, добрая работящая женщина, а гляну-

ла на О. Д. Каменеву и сейчас же воскликнула: «Ой, милая, а чулочки нужно шелковые!» — Привезла Сейф. подарки знакомым: «Мне так жалко раздавать их, всё хочется оставить *себе* или дать родным — вот мужичка: все в дом». Валерьян Павлович мил и приятен: «Она, как приехала, два часа со мною по-французски говорила, только на третий перешла на русский язык». Денег истратила С. бездну: «Мне в Варшаве 10 рублей дали, а Каменева (?) пять рублей дала — а я из Москвы ехала 3м классом, и у меня не было даже денег на тюфяк».

Был у С. — Миша Слонимский, который собирается в Париж. Виза есть, но как он встретится с матерью, которую он вывел в романе? Потом он пошел ко мне и рассказывал, что выведенная им в романе одна гнусная женщина была узнана его матерью как портрет с нее (с матери), и тем не менее она простила его и теперь шлет ему письма с фантастическими поручениями: достань там-то севрскую вазу, там-то ковер, там-то мебель и привези в Париж — причем даже адрес указывает фантастический: угол Английской набережной и Фонтанки! «Теперь я вижу, что я в своей книге даже не шаржировал», — говорит этот беспримерный сын.

Кстати: Сейфуллина была в Лувре. «Ходила, ходила — ой, какая скука. Противно смотреть. У всех мадонн что-то овечье в лице. И вдруг вижу картину: лежит пьяный дед, — ну, мужик, — и возле него некрасивая женщина кормит какого-то дегенерата. Я думала, что это шайка хулиганов, а это — «Святое семейство»! Понравилась мне очень эта картинка, хотела купить снимок с нее, но картинка второстепенная, даже снимков с нее нет. Венеру Милосскую видела — очень понравилась — и вот привезла снимок». Снимок большой — бюст — и повешен он у нее над кроватью Правдухина под портретом Ленина! «Первый раз — такое сочетание!» — говорит Правдухин.

21 мая. Был у меня вчера Иванов-Разумник. Он внушает мне глубочайшее уважение. Во всем его душевном строе чувствуется наследник Белинского, Добролюбова и пр. — то есть лучший и теперь уже легендарный тип интеллигента. Я знаю, как он страшно беспросветно нуждается (знаю также, как сильно он не любит меня), но когда я попросил его прочитать корректуры моего «Некрасова» и упомянул при этом, что Госиздат заплатит ему за работу, он воскликнул:

— Ну зачем это! Не надо. Я просто в порядке товарищеской услуги.

«Товарищеская услуга», которая должна отнять у него не меньше 8 суток работы!

Одет он ужасно. Трепаное пальто, грязная мятая куртка (но не «лохмотья», а «одежда», носимая с достоинством). Лицо изможденное, волосы хоть и черные, но очень жидкие — и весь он облезлый, нарочито-некрасивый, — но вся установка на «внутреннюю красоту», и эта внутренняя красота лучится из каждого его слова.

Подлинная, скромная, без позы. Он отказался от угощения, сел и начал курить (без конца). Эпоху 70-х годов он знает изумительно — сделал мне множество мелких указаний, — и в голосе его никакой расслабленности или жалобы, а напротив, веселое любопытство к литературе, к вещам, к Муриной кошке, к Муре, к Чернышевскому и, главное, к Салтыкову, которого он теперь редактирует для Госиздата.

У меня с «Некрасовым» опять чепуха. Из Москвы телеграмма от Фрумкиной, напечатать спешно 5 тысяч экз. *без моих примечаний*.

23 мая. Был у меня вчера Тынянов. Позвонил, можно ли придти. Рассказывал в лицах историю с Державиным и его доносом.

Я сказал ему, что изо всех его переводов мне меньше всего нравится «Frau Sorge». Он тут же переделал. Записал в Чукоккалу два экспромта [2]. Едет на Кавказ. «Кстати, изучу его, проберусь туда поближе к Персии. Об Ив.-Раз. говорит: сочетание «Русского богатства» и «символистов» — неестественно в одном человеке. Принес мне матерьял для примечаний «Некрасова».

Все мое расположение к Войтоловскому проходит. Он назначен цензором моих примечаний к «Некрасову» — дело происходит так. Я отправляюсь к нему с утра на улицу Красных Зорь и читаю подряд все мои примечания. Он сидит на диване и слушает. Доходим до «Дешевой покупки». «Тронутый несчастьем молодой женщины, принужденной продавать свое приданое»... — Позвольте, так нельзя! Приданое — буржуазный предрассудок. Не была ли она из рабочей семьи? — Нет. — Ну, выбросим о том, что он был тронут. — Не могу... — Спорим полчаса, оставляем, причем выясняется, что самое это стихотворение ему неизвестно. Читаю ему о том, что во время Севастопольской кампании Некрасов тянулся на войну. — Выбросим! Империалистическая война не могла тянуть Некрасова. — Уступаю. Самое поразительное во всем этом — невежество этого рапповского историка русской литературы. Он никогда не слыхал имени Я. П. Буткова, он никогда не читал лучших стихотворений Некрасова, и для него только тогда загорается литературное произведение, если в нем упомянуто слово *рабочий* или если путем самых идиотских натяжек можно привязать его так или иначе к рабочему, причем рабочий для него субстанция вполне метафизическая, так как он никогда его не видал, дела с ним никакого не имеет, любит его по указке свыше, кланяется ему как богу, во имя тех будущих благ, которых такие же Войтоловские лет 50 назад ожидали от столь же мистического «народа». Но вера в спасительную силу «народа» — тоже идолопоклонная — была благороднее: она не давала матерьяльных благ верующему, а здесь Войтоловские веруют по приказу начальства и получают за свою веру весьма солидную мзду. Тогда люди *шли* «в народ» — в кишащие тараканами избы, а теперь они благополучно *сидят* по шикарным квартирам и стукаются лбами пред умо[неп]остигаемым и трансце[нде]нтальным «рабочим» — ни в какие рабочие не идя. И конечно, пройдет 10 лет, народится какой-

нб. новый «учитель», который докажет, что не рабочему надо поклоняться, а вот к о м у , — и станут поклоняться другому. Ведь вдруг оказалось, что община — миф, что социалистичность крестьянина — миф, и тогда все Войтоловские, лжемарксисты, квази-социалдемократы сразу запели иные акафисты.

27 мая. Сегодня в «Красной» есть статейка о Панаевой — и сейчас мне позвонила ее внучка, дочь Нагродской, и нагло сказала, что она надеется, что в моей новой работе уже не будет прежних оскорблений ее бабушки.

Я в изумлении: каких оскорблений?

— Вы назвали ее «авантюристкой».

— Наоборот, я защищал ее от ее врагов, которые называли ее [этим] именем.

— Ах, нет, это неверно... Я читала у вас...

— Прочтите еще раз. Быть может, теперь вы лучше поймете меня. А сейчас я вешаю трубку.

14 июня. Был 3-го дня у Сейфуллиной. Рассказывала много о Войкове, с которым недавно видалась в Варшаве: это было воплощенное здоровье. О себе: «Много я стала пить. У меня отец был запойный. И вот с тех пор как я стала алкоголичкой (мне недавно доктор сказал, что я алкоголичка), я перестала писать. Отделываюсь некрологами да путевыми письмами. Сейчас два дня подряд — с утра до вечера — писала газетную статейку о Войкове, 200 строк». На столе у нее карточка Бабелёныша — сына Бабеля. Я не знал, чей это младенец, но он такой толстый, смешной (все хорошие маленькие дети — смешные), лобастый, что я невольно засмотрелся на карточку.

Мура больна уже 10 дней. Аппендицит. 8 дней продолжался первый припадок, и вот два дня назад начался новый — почему, не известно. Вчера были доктора: Бичунский и Буш. Приказали ничего не давать есть — и лед. Она лежит худая, как щепочка, красная от жара (38.5) и печальная. Но — голова работает неустанно.

«Я не буду жениться по трем причинам.

1-ая. не хочу менять фамилию.

2-ая: больно рожать ребеночка.

3-я: не хочу уходить из этого дома».

— Жалко с нами расстаться?

— С тобою... и *главное,* с мамой.

Я прочитал ей вслух Тома Сойера и Гекклъбери Финна — она сказала: «Тома Сойера я люблю больше Финна *по четырем* причинам».

То, что она г о в о р и т , — результат долгого одинокого думанья. Болезнь переносит героически. Вчера меня страшно испугало одно виденье: я вхожу в столовую, вижу: крадучись, но уверенно и быстро идут две черные женщины — прямо к Муре, в спальню. Я остолбенел. Оказалось, это Т[атьяна] Ал[ександровна] и Евг. Ис. Сердце у меня перестало биться от этого символа. Как нарочно, я затеял ве-

селые стишки для детей — и мне нужно безмятежное состояние духа.

15 июня. <...> С Мурой ужасно. Температура 39... 10-й день не ест. Самочувствие хуже. Измучена до последних пределов. Бредит: «гони докторов». <...> Вчера читал ей Гектора Мало «Без семьи». Она слушала без обычного возбуждения, мертвенно. Докучают ей мухи. Сегодня придут утром в 9 часов два доктора, Конухес и Буш, решать вопрос об операции. <...>

Позвонили из «Красной»: умер Джером. Я продиктовал им заметку. К четырем часам у Муры 39,2. Я привез ей из Госиздата книжки «Маленькие швейцарцы», «Маленькие Голландцы», «Детство Темы», «Пров-рыболов». Ел в ее комнате котлету. «Ох, как мне нравится запах». У Марии Борисовны разболелась голова. Сяду сейчас вторично править Гекклеберри Финна.

Третьего дня она сказала: «Ты, папа, ужасно смешной». Теперь она устала шутить.

16 июня. <...> все время она будто хочет сказать: «Что ты так печально и торжественно глядишь на меня? Я прежняя Мура, совсем обыкновенная, и ничего особенного со мной не случилось».

Но она не прежняя Мура. Вчера мне нужно было два раза поднимать ее с постели, я брал ее на руки с *ужасом*. Она такая легкая и даже не худая, а *узенькая*. Никогда не видал я таких *узких* детей. <...>

Купил Мурке двух белых мышек и террарий. Она сразу влюбилась в них и, глядя на них неотрывно, прошептала:

«Если б не мышки, я бы уже умерла».

17 июня. Утро. 5 часов. Почему-то у меня нет надежды. Я уже не гоню от себя мыслей об ее смерти. Эти мысли наполняют всего меня день и ночь. Она еще борется, но ее глаза изо дня в день потухают. Сейчас мне страшно войти в спальню. Сердце человеческое не создано для такой жалости, какую испытываю я, когда гляжу на эту *бывшую* Муру, превращенную в полутрупик. <...> Мура как бы для того, чтобы не говорить о болезни, которая гложет ее, с упоением говорит о мышах: одна взяла галетик в лапки и ела его, другая, кажется, больна: не пьет воды и пр.

18 июня. 3 часа ночи. Пошел к Муре. М. Б. плачет: «Нет нашей Муры». Она проснулась: «Что вы так тихо говорите?» М. Б. *впервые* уверилась, что Мура умрет. «У нее уже носик как у мертвой... Она уже от еды отказывается». Это верно. Я не гляжу в это лицо, чтобы не плакать. <...>

27 июня. Мура здорова. Т-ра 36 и 6. Возится с «Дюймовочкой»: вырезала из бумаги девочку с крыльями, посадила ее в ореховую

скорлупу и пустила в таз с водой; целыми часами глядит на нее.

Приехал из Ам[ерики] — Ионов. Мы все «ионовцы» собрались в комнате Ив. Дмитриевича Галактионова приветствовать его. Он говорит каждому «ионовцу», как Христос: «Я знаю, что вам теперь худо, но потерпите — будет лучше. Потерпите еще год. Я вернусь». И каждый отвечает: «Помяни мя, господи, во царствии твоем».

«А Бройдо полетел к чертям... с волчьим билетом!» — торжествует Ионов. В это время в комнату к Ив. Дмитр. входит Ангерт, и Ионов, бывший с нами душа нараспашку, вдруг становится холоден как лед. «*Здравствуйте*». — «*Здравствуйте*». — «Ну что?» — «Да ничего!» Ангерт сконфузился и ушел как оплеванный. Почему, не известно. <...>

5 августа. <...> Два раза б[ыл] у меня Зощенко. Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови (хохлацкие) — и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нб. великую истину. Эту истину он узнал из книги J. Marcinovski «Борьба за здоровые нервы»[3], которую привез мне из города. «Человек не должен бороться с болезнью, потому что эта борьба и вызывает болезнь. Нужно быть идеалистом, отказаться от честолюбивых желаний, подняться душою над дрязгами, и болезнь пройдет сама собою! — вкрадчиво и сладковато проповедует *он*. — Я все это на себе испытал, и теперь мне стало хорошо». И он принужденно усмехается. Но из дальнейшего выясняется, что люди ему по-прежнему противны, что весь окружающий быт вызывает в нем по-прежнему гадливость, что он ограничил весь круг своих близких тремя людьми <...>, что по воскресениям он уезжает из Сестрорецка в город, чтобы не видеть толпы. По поводу нынешней прессы: кто бы мог подумать, что на свете столько нечестных людей! Каждый сотрудник «Кр[асной] Г[азеты]» с дрянью в душе — даже Радлов (который теперь ред. «Бегемота»). О Федине: «Рабиндранат Тагор. Он узнал, что я так называю *его*, — и страшно обиделся».

О Л.: «Я вчера видел его жену. Красивая, но какая наглая!» О себе: «Был я в Сестрорецком Курорте. Обступили меня. Смотрят как на чудо. Но почему? — «вот человек, который получает 500 рублей».

Стал я читать книгу, которую он привез мне из *города*, — труизмы в стиле Christian Science[4]. Но все они подчеркнуты Зощенкой — и на полях сочувственные записи. Подчеркиваются такие сентенции: «Путь к исцелению лежит в нас самих, в нашем личном поведении. Наша судьба в наших собственных руках». А записи такие: «И литература должна быть прекрасна!» (Английская литература.)

Вчера был я у Луначарского. Он живет в Курорте в той огромной комнате, которая над *рестораном*, — всеми тремя окнами выходит в море. Он полулежал на диване, я (босиком) постучал прямо к нему: «Войдите!» Только что прочитал мою «*Панаиху*». — Ну не жалуете же вы Тургенева. Мне эту книжку принес Иосиф Уткин. Ему нравится, что там столько сплетен... Вы здесь недалеко на даче...

Я очень рад, что выходит ваш «Некрасов». Мне как раз нужно написать о нем что-нибудь для Вячеслава Полонского... Полонский затевает «Некрасовский сборник»...

Мы заговорили о детских книгах. — Идиотская политика, которой я, к сожалению, не могу помешать. Теперь Лилина взяла в свои руки урегулирование этого дела...

Я. — Оно станет еще хуже, так как и Лилина и Натан Венгров — крайне правые в отношении детской литературы.

Он. — Да, но теперь детская лит. перейдет в ведение ГУСа, и есть надежда, что ГУС отнесется более мягко [5].

Я. — Едва ли.

Он. — Осенью мы соберем совещание.

6 августа. Суббота. С утра пришел Зощенко. Принес три свои книжки: «О чем пел соловей», «Нервные люди», «Уважаемые граждане». Жалуется, что Горохов исказил предисловие к «Соловью». Ему, очевидно, хотелось посидеть, поговорить о своих вещах, но я торопился к Луначарскому, и мы пошли вместе. Он очень бранил современность, но потом мы оба пришли к заключению, что с русским человеком иначе нельзя, что ничего лучшего мы и придумать не можем и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать. Погода прекрасная, я в белом костюме, Зощенко в туфлях на босу ногу, еле протискались в парк (вход 40 копеек) и прямо в ресторан, чрез который — проход к Луначарскому. Зощенко долго отказывался, не хотел идти, но я видел, что он просто робеет, и уговорил его пойти со мной.

— Всеволод Иванов рассказывает, что Лунач. остался тут, на курорте, потому что ему не дали валюты, не позволили вывезти деньги за границу, а ему, Всеволоду, позволили, и он взял с собой 1½ тысячи.

— Хорошо пишет Всеволод. Хорошо. Он единственный хороший писатель.

Войдя в ресторан, мы сразу увидали Луначарского. Он сидел за столом и пил зельтерскую. Я познакомил его с Зощенкой, и пошли к нему в номер, он впереди, не оглядываясь. Вошли в комнату. Там секретарь Лунач. стал показывать ему какие-то карточки — фотографии, привезенные из Москвы, киноснимки: «Луначарский у себя в кабинете (в Наркомпросе)». Ту[т] же была и Розинель — стройная женщина с крашеными волосами — и прелестная девочка, ее дочка, с бабушкой. Лунач[арский] нас всех познакомил, причем девочке говорил по трафарету:

— Знаешь, кто это? Это — Чуковский.

Оказалось, что в семье наркома того самого ведомства, которое борется с чуковщиной, гнездится эта страшная зараза.

Розинель (мне): — Я вас сразу узнала по портрету... По портрету Анненкова [6]. (Зощенке): — А вас на всех портретах рисуют непохоже... Как жаль, что в ваших вещах столько мужских ролей — и ни одной роли для женщин. Почему вы нас так обижаете? <...>

Тут же он подписал бумажку о разрешении мне и Зощенке ездить по взморью под парусом и заявил, что сейчас идет играть с секретарем на биллиарде.

Секретарь вошел и сказал: «Ваша лекция отложена. 8-го не состоится». *Лунач.* обрадовался. (К Розинели.) «Ну вот какое счастье; значит, я остаюсь со всеми вами до среды». Она сделала обрадованное лицо и поцеловала его. Потом они оба сказали мне, что Хавкин говорил им, что я 14-го выступаю здесь на детском утре. Я не знал этого — мы откланялись <...>

Тут Зощенко поведал мне, что у него, у Зощ., арестован брат его жены — по обвинению в шпионстве. А все его шпионство заключалось будто бы в том, что у него переночевал однажды один знакомый, который потом оказался как будто шпионом. Брата сослали в Кемь. Хорошо бы похлопотать о молодом человеке: ему всего 20 лет. Очень бы обрадовалась теща.

— Отчего же вы не хлопочете?

— Не умею.

— Вздор! Напишите бумажку, пошлите к Комарову или к Кирову.

— Хорошо... непременно напишу.

Потом оказалось, что для Зощенки это не так-то п р о с т о. — Вот я три дня буду думать, буду мучиться, что надо написать эту бумагу... Взвалил я на себя тяжесть... Уж у меня такой невозможный характер.

— А вы бы вспомнили, что говорит Марциновский.

— А ну его к черту, Марциновского.

И он пошел ко мне, мы сели под дерево, и [он] стал читать свои любимые рассказы: «Монастырь», «Матренищу», «Исторический рассказ», «Дрова».

И жаловался на издателей: «ЗИФ» за «Уважаемых граждан» платит ему 50% гонорара, «Пролетарий» его и совсем надул, только и зарабатываешь, чтоб иметь возможность работать.

Зощенко очень осторожен — я бы сказал: боязлив. Дней 10 назад я с детьми ездил по морю под парусом. Это было упоительно. Парус сочинил Женя Штейнман, очень ловкий механик и техник. Мы наслаждались безмерно, но когда мы причалили к берегу, оказалось, что паруса запрещены береговой охраной. Вот я и написал бумагу от лица Зощенко и своего, прося береговую охрану разрешить нам кататься под парусом. Луначарский подписал эту бумагу и удостоверил, что мы вполне благонадежные люди. Но Зощенко погрузился в раздумье, испугался, просит, чтобы я зачеркнул его имя, боится, «как бы чего не в ы ш л о », — совсем расстроился от этой бумажки.

Неделю тому назад он рассказал мне, как он хорош с чекистом Аграновым. «Я познакомился с ним в Москве, и он так расположился ко мне, что, приехав в Питер, сам позвонил, не нужно ли мне чего». Я сказал Зощенке: «Вот и похлопочите <...>». Он сразу стал говорить, что Агранова он знает мало, что Агранов вряд ли что сде-

лает и проч. и проч. и проч. И на лице его изобразился испуг.

Были вечером Редьки. Я тоскую по Коле. Очень буду рад, если он приедет. И без Татки мне скучно.

8 августа. Мы сегодня в час получили из ГПУ разрешение кататься в здешнем заливе под парусом. Выехали в море на веслах — ветер с моря — и, заехав за кораблик, подняли парус. Процедура поднимания паруса и установки мачты отняла у Жени около часа, все это время мы трепались на волнах за корабликом. Волны теплые, широкие, добрые. Наконец парус поднят, и мы с блаженным чувством понеслись прямо к курорту. <...> Начинаю писать о детском языке. Но как трудно в этой подлой обстановке.

Моя комната выходит балкончиком к Дому отдыха, где непрестанный галдеж. Справа маленький ребенок: Марьяна, который регулярно кричит, так как у него режутся зубы.

Третьего дня был я с Розинелью в лодке. Она в сногсшибательном купальном костюме, и вместе с нею ее 8-летняя дочь, которая зовет Луначарского папой. У Розинели русалочьи зеленые глаза, безупречные голые руки и ноги, у девочки профиль красавицы — и обе они принесли в нашу скромную чухонскую лодку — такие высокие требования избалованных, пресыщенных сердец, что я готов был извиняться перед ними за то, что в нашем море нет медуз и дельфинов, за то, [что] наши сосны — не пальмы и проч. Они были этим летом в Биаррице, потом в каком-то немецком курорте — и все им здесь казалось тускловато. Розинель рассказывала про свою дочь Иру. Когда узнала, что я — Чуковский, она сказала: «Неужели он жив, а я думала, что Ч. давно уже умер.» <...>

Самое любопытное: она говорила слово *максимум*. «Мы ждем тебя *максимум* два часа». Ее спросили: «Что такое максимум?» Она ответила: «вероятно». И это очень метко, так как максимум употребляется во всех тех случаях, где можно бы поставить вероятно. Своей бабушке она сказала:

— Бабушка, ты лучшая моя любовница!

Лунач. очень простодушен. Наш лодочник — красавец, поляк, циркач (продававший в цирке афишки), человек низменный, пошлый и пьяный, содержит биллиард. Лунач. упивается биллиардом до чертиков, и вдруг его позвали сниматься. Он говорит циркачу:

— Пожалуйста, поберегите шары в том порядке, в каком они сейчас. Ну пожалуйста, я сейчас вернусь и продолжу игру.

— Не могу, А. Вас, — кричит этот, пьяный.

— Ну пожалуйста.

— Нет, Анат. Вас, правило такое: кто оставил биллиард, его игра кончена.

Приехал Коля. Говорит, что типография в Госиздате потеряла сборные листы, давно подписанные мною к печати.

Вот и 23 августа. Время бежит, я не делаю *ровно ничего;* и не работаю и не отдыхаю. Теперь я вижу, что отдыхать мне нельзя, мне

нужен дурман работы, чтобы не видеть всего ужаса моей жизни. Когда этого дурмана нет, я вижу всю свою оголтелость, неприкаянность. <…>

Одно мое в эти дни утешение — Зощенко, который часто приходит ко мне на целые дни. Он очень волнуется своей книгой «О чем пел соловей», его возмущает рецензия, напечатанная каким-то идиотом в «Известиях», где «Соловей» считается мелкобуржуазным воспеванием мелкого быта [7], — и в ответ на эту рецензию он написал для 2-го изд. «Соловья» уморительное примечание к предисловию — о том, что автор этой книги Коленкоров один из его персонажей. Судьба «Соловья» очень волнует его, и он очень обрадовался, когда я сказал ему, что воспринимаю эту книгу как стихи, что то смешение стилей, которое там так виртуозно совершено, не мешает мне ощущать в этой книге высокую библейскую лирику. На других писателей (за исключением Всеволода Иванова) он смотрит с презрением. Проходя мимо дома, где живет Федин, он сказал: «Доску бы сюда: здесь жил Федин». О Сейфуллиной: «Злая и глупая баба». О Замятине: «Очень плохой». Поразительно, что вид у него сегодня староватый, он как будто постарел лет на десять — по его словам, это оттого, что он опять поддался сидящему в нем дьяволу. Дьявол этот — в нежелании жить, в тоскливом отъединении от всех людей, в отсутствии сильных желаний и пр. «Я, — говорит он, — почти ничего не хочу. Если бы, например, я захотел уехать за границу, побывать в Берлине, Париже, я через неделю был бы там, но я так ясно воображаю себе, как это я сижу в номере гостиницы и как вся заграница мне осточертела, что я не двигаюсь с места. Нынче летом я хотел поехать в Батум, сел на пароход, но доехал до Туапсе (кажется) и со скукой повернул назад. Эта тошнота не дает мне жить и, главное, писать. Я должен написать другую книгу, не такую, как «Сент[иментальные] рассказы», жизнерадостную, полную любви к человеку, для этого я должен раньше всего переделать себя. Я должен стать, как человек: как другие люди. Для этого я, например, играю на бегах — и волнуюсь, и у меня выходит «совсем как настоящее», как будто я и вправду волнуюсь, и только иногда я с отчаянием вижу, что это подделка. Я изучил биографию Гоголя и вижу, на чем свихнулся Гоголь, прочитал много медицинских книг и понимаю, как мне поступать, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги. Я должен себя тренировать — и раньше всего не верить в свою болезнь. У меня порок сердца, и прежде я выдумывал себе, что у меня колет там-то, что я не могу того-то, а теперь — в Ялте — со мной случился припадок, но я сказал себе «врешь, притворяешься» — и продолжал идти как ни в чем не бывало — и победил свою болезнь. У меня психостения, а я заставляю себя не обращать внимания на шум и пишу в редакции, где галдеж со всех сторон. Скоро я даже на письма начну отвечать. Боже, какие дурацкие получаю я письма. Один, например, из провинции предлагает мне себя в сотрудники: «Я буду писать, а вы сбывайте, деньги пополам». И подпись: «с коммунистическим приветом». А другой

(я забыл, что). Хорошо бы напечатать собрание подлинных писем ко мне — с маленьким комментарием, очень забавная вышла бы книга».

Зощенко принес в жилетном кармане кусочек бумажки, на котором он написал подстрочное примечание к «Соловью» о том, что книгу эту писал не он, а Коленкоров. Мы заговорили о «Соловье», и я стал читать вслух эту повесть. З[ощенко] слушал, а потом сказал:

— Как хорошо вы читаете. Видишь, что вы *все* понимаете.

Эта похвала так смутила меня, что я стал читать отвратительно.

Мы вышли вместе из моей квартиры и зашли в «Academia» за письмами Блока. Там Зощенке показали готовящуюся книгу о нем — со статьею Шкловского, еще кого-то и вступлением его самого [8]. Я прочитал вступление, оно мне не очень понравилось — как-то очень задорно, и хотя по существу верно, но может вызвать ненужные ему неприятности. Да и коротко очень. Мне показалось неверным употребленное им слово Карамзиновский. Вернее бы Карамзинский. «Верно, верно! — сказал он, поправил, а потом призадумался. — Нет, знаете, для этого стиля лучше Карамзиновский».

В «Academia» ему сказали, что еще одну статью о нем пишет Замятин. Он все время молчал, насупившись.

— Какой вы счастливый! — сказал он, когда мы вышли. — Как вы смело с ними со всеми разговариваете.

Взял у меня Фета воспоминания — и не просто так, а для того, чтобы что-то такое для себя уяснить, ответить себе на какой-то душевный вопрос, — очень возится со своей душой человек. <...>

Получил от Репина письмо, которое потрясло меня, — очевидно, худо Илье Ефимовичу. Я пережил новый прилив любви к нему.

Читаю письма Блока к родным — т. I — и не чувствую того трепета, которого ждал от них: в них Блок «литератор модный», богатый человек, баловень, холящий в себе свою мистику. И как-то обрывчато написаны, не струисто, без влаги (его выражение).

В квартире делают ремонт. На дачу не хочется, так здесь я начал заниматься. <...>

Конец августа. Сейчас говорил по телефону с Щеголевым. Против обыкновения, он говорил со мной долго и не по делу. «Я, говорит, вернулся к своему старому занятью: пишу. Вообразите, забросил все и пишу. И это доставляет мне счастье... Вообразите, какую историю я сделал с анонимными письмами, которые перед смертью получал Пушкин. Я дал их судебному эксперту, и оказалось, что знаете кто писал Пушк[ину] письма? Долгоруков. Да, он!.. А сегодня в Госиздате говорю об этом эпизоде, а Ляхницкий серьезно спрашивает: какой Долгоруков, не Павел ли Дмитриевич? Он, говорю. Я сейчас кончил большую статью о Катенине, печатаю в «Новом Мире», уже деньги получил и проел».

Конец августа. Делаю «Панаеву» (для нового издания) [9] — клею обои в комнате. Позвонил Зощенко. «К. И.! так как у меня теперь

ставка на нормального человека, то я снял квартиру в вашем районе на Сергиевской, 3 дня перед этим болел: все лежал и думал, снимать ли? — и вот наконец снял, соединяюсь с семьей, одобряете? Буду ли я лучше писать? — вот вопрос». Я сказал ему, что у Щедрина уже изображена такая ставка на нормального человека — в «Современной Идиллии» — когда Глумов стал даже Кшепшицюльскому подавать руку.

— Этого я не знал, вообще я Щедрина терпеть не могу и очень радуюсь, что Фет его ругает в тех воспоминаниях, которые я читаю теперь. <...>

Ночь на 11 сентября. Переехали мы в город 9-го. Выдал Муре медаль «за спасение погибающих гусениц». Погода ясная; у М. Б. болела голова; мы с Мурой глядели из окна вагона. Боба с нами в синей рубашке, в коротких штанах. У меня в портфеле недоконченная статья о детях — о детских стихах — а в душе феноменальная усталость. Это лето было для меня адом: вместо отдыха на даче был устроен какой-то сад пыток. Единственное счастливое время было 10 дней в квартире, в зной, среди страшной пыли, когда я, голодный (т. к. не умел позаботиться о еде), писал свои Экикики. <...>

Диалектика истории: Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет[10].

(*Достоевский*)

<...> Был в Госиздате. Там лежит мой исправленный «Айболит», готовый для нового издания. Я сделал его еще прошлым летом. Теперь он был на цензуре у Горохова. Горохов главный «редактор» Ленгиза. Красив, длинные волосы, не глуп, но говорлив и тинновязок, как болото. Говорит длинно и кокетливо по поводу ерунды, причем оттенок такой: «Вот хотя я и начальство, хотя я главный цензор, а могу совсем просто, по-человечески, как равный с равными, разговаривать с вами. Вот я даже острю». Очень либеральничает.

— Мне *лично* «Айболит» понравился. Я прочитал его вслух своему сыну. Очень мило, очень оригинально. Но как главный редактор, я не могу пропустить эту вещь. Нет, нет, теперь нечего и думать об этом. Теперь такие строгости, теперь у власти ГУС, которому мы должны подчиняться.

А между тем если бы они приняли «Айболита», у меня были бы те деньги, о к-рых я теперь так хлопочу. Сердце! Сердце! На какие пустяки приходится тратить его.

11/X. Воскресение. <...> Забыл записать о Госиздате еще следующее: Галактионов намудрил в моем Некрасове так, что пришлось перепечатывать всю четвертушку *, Гессен с Черкесовым извратили

* Перепутали строфы стих. «Шарманка», наврали в колонтитуле циф-р[ы], и над стихами Некрасова поставили заголовок: стихи, приписываемые Некрасову. — *Примеч. автора.*

весь мой Хронологический Указатель, а Черкесов один внес опечатку в ту страницу, где указываются опечатки: вместо «К великой горести царя» — «к великой радости царя». Я стал жаловаться Каштеляну: Каштелян равнодушно говорит:

— Это что! А вот когда мы печатали соч. Ленина, мы дали себе клятву: ни одной опечатки. Старались изо всех сил. Но институт Ленина нашел в этих книгах около 50 серьезных опечаток. И пришлось — во всех 10 000 экз. скоблить ножичком буквы и печатать другие в уже отпечатанных книгах!

Конечно, людям, которые привыкли к таким методам работы, изгадить книгу Некрасова — ничего не стоит.

Были у меня Шварц и Сапир. Шварц потолстел, похорошел; уходит из Госизды и поступает в редакторы «Радуги». Упивается «Соловьем» Мих. Зощенко. Сапир пишет о нефти, о синдикатах — и мечтает о детском издательстве. Я прочитал ему статью о детских стихах (экикиках). Он не одобрил: не заразительно, скучновато. Черт его знает, может быть, он и прав.

Вспомнил анекдот о Розанове. Он пришел к Брюсову в гости, не застал, сидит с его женою, Иоанной, и спрашивает:

— А где же ваш Бальмонт?

— Какой Бальмонт?

— Ваш муж.

— Мой муж не Бальмонт, а Брюсов.

— Ах, я всегда их путаю. <...>

Канитель с судебным делом нашего дома. Каждый из нас, живущих в этой квартире, охвачен какой-нибудь манией. Я сейчас думаю только о своих «экикиках», Мура — только о собачке, которую мама обещала ей купить, Боба — о буере, который он хочет устроить с Женей. Вчера он с Женей ходили к Борису Житкову, который три часа объяснял им, как нужно устроить буер. Теперь Боба думает, где бы достать водопроводную трубу, нужную для руля, и т. д.

Мура взволнованным голосом, тихо и таинственно говорит о собачке. «Так как она — барышня, у нее скоро будут дети. Ей нужно устроить ящик — чтобы она имела, где родить». — «Мура, как же она родит, если у нее не будет мужа?» — «Это кошкам и другим животным нужны мужья, чтобы родить, а собаке довольно пройти мимо другой собаки — посмотреть на нее — и вот уже у нее дети».

13 сентября. В «Академию». Она только что переехала в новое помещение. Очень красивый синий цвет на фасаде и вывесках. В окнах еще не выставлены книги. Дали мне 60 рублей в счет «Панаихи». Говорят, получена бумага для 2-го издания. Теперь после успеха «Панаихи» нет издателя, который не стал бы печатать мемуары. В «Прибое», говорят, собираются даже Барсукова «Жизнь Погодина» тиснуть в 28 томах. Из «Academia» в «Красную» к Чагину. У него в кабинете Экскузович, Евг. Кузнецов и друг. Когда Экскузович ушел, Кузнецов, заикаясь: «Я дддолжен, вот это, осведомить

вас, вот это, Петр Иваныч, что нам с Радловым показалось, что в мейерхольдовском «Ревизоре» много мистики и притуплено жало сатиры. Это — Гоголь 50-х годов. Уничтожено социальное значение «Ревизора». Мы так и писать будем, П. И.».

Петр Ив. Чагин, добрый, полнеющий, страстно влюбленный в свою Марию Антоновну, втайне поэт, сразу говорит по трем телефонам, выслушивает десятки людей, нажимает всевозможные кнопки, просматривает корректуры «Красной», «Панорамы», «Резца» и т. д. — и всегда у него такой вид, будто он совершенно свободен и никуда не торопится.

Я в «Красную» приходил с письмом Бианки, которое переслал мне Житков. Бианки отвечает «Леснику» на его нелепые придирки в статье, напеч[атанной] около месяца назад. Встретил я Лесника на лестнице. Дал ему статью Бианки. Он прочитал и говорит: ну ж и задам я ему феферу! Как он смеет писать, что следовало бы отхлестать меня кнутом, и тогда бы я узнал, какие кнуты бывают. (Спор у них шел о кнутах.) Этого я ему не спущу. Я сдал статью Бианки Чагину. Кугеля не видал. Кугель ушел в Вегетарианскую.

В «Красной» — ремонт. Лестница сверкает, стены — как зеркало. Очень забавную вещь рассказал мне по этому поводу Зощенко: будто бы от издания «Красной» осталось тысяч тридцать рублей, которые администрация решила пустить «по партийной линии», на издание какой-то макулатуры, тогда администрация «Красной» надумала лучше устроить роскошный ремонт, лишь бы не выбрасывать денег.

Из «Красной» — к Гринбергу, который должен мне 50 рублей. Я решил быть строгим и получить у них эти деньги во что бы то ни стало. Но вхожу, у них чиновник Собеса описывает мебель, как бесхозную. Моисей Григорьевич уехал в Москву к Захару Григорьевичу — хлопотать о спасении мебели. И так мне жаль стало несчастную жену Гринберга (у нее щеки горят, она говорит безостановочный вздор, и для того, чтобы внушить чиновнику, что она не какая-нибудь, сует ему вырезку из какого-то немецкого журнала, где З. Гринберг изображен рядом с Горьким — даже не рядом, а чуть-чуть позади), — что я не заикнулся о деньгах. О, скольких унижений я избег бы, если бы не дал им этих 50 рублей!

Оттуда к Слонимскому — отдать долг. У Слонимского в доме оказалась еще мать жены, еще какая[-то] Анна Николаевна, есть на кого тратить деньги. Он рассказывал о Париже, о том, что у него в семье: Зина — большевичка, Минский — большевик, сестра — монархистка, брат — контрреволюционер, Изабелла — контрреволюционерка, и когда они садятся рядом, выходит очень смешно. А мама, его бессмертная мама, которую он увековечил в «Лавровых», меняет фронт ежеминутно, в соответствии с собеседником. Мише она сказала: «Ты бы зашел к Милюкову, ведь он тоже коммунист...»

— Коммунист?..

— Ну если не коммунист, то сочувствующий.

Она же уверяла Мишу, что лозунг «Пролетарии всех стран,

соединяйтесь» сочинен Минским и теперь печатается как цитата из стихотворения Минского.

Когда Миша только что приехал в Париж, она сказала: беги в Foulier купи хлеба, оттуда в метро к Bastireau.

— Я, мама, не знаю Парижа... Я здесь первый раз.

— Ну, Миша, что ты притворяешься, не выдумывай, пожалуйста.

Был в «Радуге». Клячко и Рувим не на шутку напуганы кооперативом. Предлагают мне всякие вольности.

Ужасно пустой был день — для души. Нет времени прочитать «Ревизора», второй год собираюсь.

Утро в 9 часов. Звонки. 1) Из типографии от переплетчика: для крышек Некрасова нужен силуэт поэта. Рекомендовал обратиться к Чехонину. 2) Немедленно. От Клячко. Взволнован кооперативом, хочет со мной переговорить. 3) Маршак — когда бы встретиться по кооперативному делу. Ответил: в 11 часов. 4) Сапир — повидаться бы — по кооперативн. делу. 5) Звонит какая-то Перфилова — ее муж в больнице, нельзя ли попросить Ив.-Разумника, чтобы он прочитал рукопись, «Белую Королеву», и дал бы в издательство «Мысль» благоприятный отзыв. Звонил Пинесу, он сообщает, что Разумник сидит в рукописном отделении Публ. Б-ки и списывает открытые им неизданные страницы «Записок» Панаева.

14 сентября. Был вечер с Ив.-Разумником в «Academia». Я нарочно прошел вместе с ним в кабинет Ал. Ал. Кроленко, чтобы защитить его денежные интересы при подписании им договора на редактуру «Воспоминаний Ив. Панаева». Но оказалось наоборот: не я его защитил, а он меня. Кроленко — моложавый, белозубый, подвижной, энергический, нисколько не похожий на тех затхлых людей, с к-рыми приходится делать книги в Госиздате — подавляет меня своей базарной талантливостью, и не будь Разумника-Иванова, я с веселой душою попался бы в когти к этому приятнейшему хищнику. Недели две назад я дал ему «Семейство Тальниковых», чтобы он издал его с моим предисловием — под моей редакцией. Теперь он предложил такую комбинацию. За мою статью — 200 рублей, за редактуру «Тальниковых» — ничего, печатать 10 000 экземпляров, и я сдуру готов был согласиться на такой уголовный договор. Спасибо, вмешался Разумник.

— Вы, — сказал он Кроленке, — хотите продавать книгу по 1½ рубля, значит, книга даст 15 000 рублей, и за это вы предлагаете Чуковскому 200 рублей. Меньше 500 невозможно!

После этих слов я очнулся — и стал требовать 600. Ал. Ал. стал смеяться, как после хорошей салонной шутки, и предложил включить в договор пункт, что за 2-ое изд. всего 1/2 гонорара. Я рассвирепел и сказал, что в его душе смесь «Academia» и Лиговки, после чего он рассмеялся еще добродушнее и мы расстались друзьями.

Бумаги для 2-го изд. «Панаевой» все еще нет. Некрасова собрание стихотв. выйдет в конце недели. <...>

15 сентября. Всю ночь не спал. Жду Лиду. С 3 часов ночи палили из пушек. Наводнение. Утро солнечное, ясное, *безветренное.*

Был у меня вчера Зощенко. Кожаный желтый шоферской картуз, легкий дождевой плащ. Изящество и спокойствие. «Я на новой квартире, и мне не мешают спать трамваи. В Доме Искусств всю ночь — трамвайный гуд». Заплатил тысячу въездных. На даче его обокрали. Покуда он с женой ездил смотреть квартиру, у него похитили брюки (те, серые!), костюм и пр.

Выпускает в ЗИФе новую книгу «Над кем смеетесь».

«Считается почему-то, что я не смеюсь ни над крестьянами, ни над рабочими, ни над совслужащими — что есть еще какое-то сословие зощенковское».

Принес мне «Воспомин. Фета». Очень ему понравились там письма Льва Толстого. Просил дать ему Шенрока «Письма Гоголя».

Я сказал ему, что следовало бы включить в новую книгу его «Социальную Грусть», которой он не придает значения. Он возражал, но потом согласился и решил вставить туда те куски, которые запретила цензура, хотя они и были в «Бузотере». В понед. мы пойдем с ним в Публ. Б-ку.

От Тихонова нет писем — он, оказывается, взял те деньги, которые следовало мне получить за «Крокодила», и уехал в Ессентуки. <...>

Ф. Ф. Нотгафт подарил мне автограф Некрасова «Забытая деревня».

Вчера Белкин торжественно устраивал витрину «Academia»: ваза и книги в переплетах. Мы выходили на улицу все — и критиковали. <...>

9 часов утра. Звонок от Клячко. У него сейчас будет Шварц — надо поговорить о Коллегии. При этом он рассказал три неприличных анекдота — по телефону, называя все вещи их именами. 2-й звонок: Федотов из типографии: Чехонин так и не дал профиля Некрасова для переплета.

18 сентября. Ночь. Умер Кони. Стараюсь написать о нем что-нибудь, но не выходит ни строки. И чувства нет никакого. Не сплю вторую ночь, т. к. вчера вечером вздумал пойти с Лидой в кино — на «Нитуш», с Лидой и Бобой. «Нитуш» оказалась картофельной немецкой *чепухой*, — но я пришел домой в 11 часов и не заснул до утра, а теперь не сплю вторую ночь. Сердце болит. <...>

Утро. 19-го сентября. Понедельник. — Вчера, — рассказывал *Коля*, — я встретил Гуковского. Очень мрачен. Будто перенес тяжелую *болезнь*. — Что с вами? — Экзаменовал молодежь в Институт Ист[ории] Искусства — И что же? — Спрашиваю одного: кто был Шекспир? Отвечает: «немец». Спрашиваю, кто был Мольер? А это, говорит, герой Пушкина из пьесы «Мольери и Сальери». Понятно, заболеешь.

Вчера утром было совещание с Клячкой. Шварц вел себя героически.

20 сентября, вторник. Некрасов (полное собрание стихотв.) вышел дней 5 назад, не доставив мне радости: опечатки (не по моей вине), серая обложка, напоминающая прежнее издание, казарменная,- казенная внешность книги, очень спокойная, за которой не чувствуешь той тревоги, того сердцебиения, которое есть же в стихах. Могильная плита над поэтом — ну ее к черту — и зачем я убил на нее столько времени.

Василий Князев. Лохматый, красноносый, пристал ко мне как лист, ходит и в «Модпик», и в «Радугу», и в «Academia». Он собрал груду русских пословиц, изнемог под их бременем, не умеет научно разработать их, разбил их на самые дурацкие рубрики и хочет издать — в виде сборника в 300 печатных листов. <...>

Ночь на 22-ое сентября. Боба зачитывает меня Ключевским — история татарского ига. Не могу сомкнуть глаз. Пошел в ½ 11-го в аптеку, и там после долгих просьб мне обещают приготовить усыпительное к ½ 12-го. Иду к М а р ш а к у, — не застаю. Домой, останавливаюсь у кабаков (пивных), которых развелось множество. Изо всех пивных рваные люди, измызганные и несчастные, идут, ругаясь и падая. Иногда кажется, что пьяных в городе больше, чем трезвых. «И из этого матерьяла строят у нас Хрустальный дворец — да и чем строят!» — говорит начитавшийся Достоевского Клюев. <...> А между тем — «ощущение катастрофы у всех — какой катастрофы — неизвестно — не политической, не военной, а более грандиозной и страшной».

24 сентября. Денег из «Круга» нет. Вчера в «Радуге» встретил «Задушевного моего приятеля» Бориса Житкова. Помолодел. Глаза спокойные. Работает над романом, который уже продан на корню в «Госиздат» и в «Красную Новь». Хочет, чтобы я прочитал «Удава» в 8-й книжке «Звезды». Взял я у него взаймы р у б л ь, — пошли мы в госиздатский магазин и купили «Звезду». А потом сели на скамейку у Казанского собора и читали вслух эту прелестную в е щ ь, — очень крепкую, универсальную, для всех возрастов, полов, национальностей. Мне она очень понравилась — главное в ней тон душевный хорош — но дочитать я не мог <...> На обратном пути останавливался у витрин и читал дальше — и ясно видел, что перед 45 летним Житковым впереди большой и ясный путь.

25 сентября. В 11 ч. утра позвонил Розенблюм: — К. И., запретили вашего «Бармалея» — идите к Энгелю (заведующ. Гублитом) хлопотать. Пошел. Энгель — большелобый человек лет тридцати пяти. Я стал ругаться. «Идиоты! Позор! Можно ли плодить анекдоты?» И пр. Он сообщил мне, что Гублит здесь ни при чем, что запрещение исходит от Соцвоса, который нашел, что хотя «книга написана звучными стихами», но дети не поймут заключающейся здесь иронии. И вот только потому, что Соцвос полагает, будто дети не поймут иронии, он топчет ногами прелестные рисунки Добужинского и с легким

сердцем уничтожает книгу стихов. Боролся бы с пьянством, с сифилисом, с Лиговкой, со всеми ужасами растления детей, которыми все еще так богата наша нынешняя эпоха, — нет, он воюет с книгами, с картинками Добужинского и со стихами Чуковского. И какой произвол: первые три издания не вызвали никакого протеста, мирно печатались как ни в чем не бывало, и вдруг четвертое оказывается зловредным. А между тем это четвертое было уже разрешено Гублитом, у Ноевича даже номер есть — а потом разрешение взято назад!

На основании разрешения (данного келейно) «Радуга» отпечатала сколько-то тысяч «Бармалея», — и вот теперь эти листы лежат в подвале.

Был Коля. Ему не нравится «Удав» Житкова. Он утверждает, что его, Коли, «Разноцветные моря» — лучше.

Была сестра Некрасова — Лукия Александровна Чистякова. Хочет, чтобы ей увеличили пенсию. Ей 69 лет, она вдова тов. министра, говорит как на сцене, четким, явственным голосом, про письма говорит «письмы», — и выложила мне целый ряд своих несчастий: она живет в комнате с другими людьми, которые ее ненавидят, называют воровкой.

26 сентября. Никогда я не мог без слез читать шевченковскую

Ой люлі, люлі моя дитино,
    В — день; в — ночі
Підеш, мій сину, по Україні
    Нас кленучи.
Сину, мій, сину! Не клени тата,
    Не помяни!
Мене прокляту: я — твоя мати,
    Мене клени!

Это с детства так. Сейчас для какой-то цитаты развернул Шевченка — открылось это стихотв., и глаза сами собой мокреют. <...>

Видел жену Гумилева с девочкой Леночкой. Гумилева одета бедно, бледна. <...> Леночка — золотушна. Страшно похожа на Николая Степановича — и веки такие же красные. Я подарил Леночке «Мойдодыра», она стала читать, читает довольно бойко. Встретились мы в ограде Спасо-Преображ. церкви — той самой, перед которой, помню, Гумилев так крестился, когда шел читать первый доклад о «пуэзии» в помещении театра Комедии при Тенишевском Училище. Вообще я часто вспоминаю мелочи о Гумилеве — в связи с зданиями: на углу Спасской и Надеждинской он впервые прочитал мне «Память». У Царскосельского вокзала, когда мы шли с ним от Оцупа, он впервые прочитал мне про Одоевцеву, женщину с рыжими волосами: «это было, это было в той стране»[11].

Он совсем особенно крестился перед церквами. Во время само-

го любопытного разговора вдруг прерывал себя на полуслове, крестился и, закончив это дело, продолжал прерванную фразу.

Коля читал свои «Моря» Лиде. Ей понравилось.

7 октября. Сегодня был у Энгеля. Очень мягко и как-то не начальственно! «Бармалея» мы вам разрешим». Говорили с ним о Клячке — он вполне одобряет наш «Кооператив». Оттуда в Госиздат, заключать договор на Мюнхгаузена. — О! оттуда в Дом Печати по поводу своей квартиры. <...>

11 октября. Был вчера с Лидой у Тынянова. Он сам попросил придти — позвонил утром. Мы пошли. Лида шла так медленно, с таким трудом, что я взял извозчика. Тынянова застал за чтением своего «Некрасова». Ах, какое стихотворение «Уныние» — впервые читаю его в исправленном виде. Но о примечаниях говорить избегает: видно, не нравятся ему. Есть у него эта профессорская вежливость — говорить в глаза только приятное. Читал свою повесть о поручике Киже. Вначале писано по Лескову, в середине по Гоголю, в конце — Достоевский. Ужас от небытия Киже не вытанцевался, но характеристики Павла и Мелецкого — отличные, язык превосходный, и вообще вещь куда воздушнее Грибоедова. Он сейчас мучается над грибоедовским романом. Прочитал мне кусок — о том, как томит Грибоедова собственное Горе от Ума — пустота, бездушие, неспособность к плодородящей глупости, и мне показалось, что обе эти темы — о Киже и о Грибоедове — одинаковы, и обе — о Тынянове. В известном смысле он и сам Киже, это показал его перевод Гейне: в нем нет «влаги», нет «лирики», нет той «песни», которая дается лишь глупому. Но все остальное у него есть в избытке — он очарователен в своей маленькой комнатке, заставленной книгами, за маленьким базарным письменным столом, среди исписанных блокнотов, где намечены планы его будущих вещей: повести о Майбороде и об умирающем Гейне (причем Майборода — в известном смысле тот же Киже), он полон творческого электричества, он откликается на тысячи тем, он говорит о Сапире, о влиянии Некрасова на Полонского, о кинопостановке «Поэта и Царя» («есть такой Гардин, прожженный режиссер, которому плевать на Пушкина, вульгарный как...» — пропуск в оригинале. — *Е. Ч.*) я ему говорил: «Поезжайте в Михайловское, он и поехал — и такого ужасу навез... Если вокруг Пушкина были вот такие Бенкендорфы, Пушкин — подлец, что он тянется к такому двору, откуда его гонят»), о Владимире Григорьевиче Вульфзоне (глава изд-ва «Московский рабочий»), с которым сводил его Сапир, и здесь Тынянов показал Вульфзона — изумительно он умеет *показывать* людей, передразнивать позы, усмешки — черта истинного беллетриста. <...>

18 октября, вторник. <...> Третьего дня был у Тынянова. Пишет каждый день с утра до двух своего Грибоеда. Читал куски. Мне больше всего понравилась главка «Что такое Кавказ» — в ней есть

фельетонный блеск. Остальное тускловато. Сашка — под Смердякова чуть-чуть. Но кончив читать, Тынянов стал рассказывать будущие главы романа — упоительно! Он четко знает каждую строку, которую он напишет в романе, все уже у него обдумано до последней запятой. Так как при этом он показывает позы своих героев, говорит их голосами, то выходит прелестно. Очень талантливо показал он Бурцова, рогатого декабриста. Потом мы пошли в комнату Ин[н]ы, и она читала нам стихи своего сочинения, очень смешные, вроде того, что

Ах, Евпатория!
Ты не знаешь, как печальна моя история!

На стене у Инны висит, к моему удивлению, коврик с изображением моего Крокодила —

Опечалился несчастный Крокодил.

Оказывается, что в Мюре и Мюрелизе продаются эти коврики в огромном количестве. <...>

23 октября. <...> С «Крокодилом» худо. Нет разрешения ни в Москве, ни здесь. А между тем с 1-го ноября над детскими книгами воцаряется *ГУС,* и начнется многолетняя канитель. <...>

27 окт. 1927. <...> Сейчас получил от Воронского письмо: «Крокодил» задержан из-за ГУСа — т. к. с 1-го ноября эти книги должны проходить через ГУС. <...> А здешний Гублит задержал вчера все представленные «Радугой» мои книги, в том числе и «Крокодила». Oh, bother! *

Вчера я сдал в «Academia» на просмотр Александру Ал-чу Кроленко свою книгу «О маленьких детях». Он, обещал дать в субботу ответ.

Сейчас мы с Маршаком идем в Гублит воевать с тов. Энгелем. Если он будет кобениться, мы поедем в Смольный — будем головою пробивать стену. И пробьем, но чего это будет нам стоить. Вчера Маршак повернулся ко мне опять своей хорошей стороной. Он третьего дня выслушал начало Лидиной книжки — и отнесся к ней с большим энтузиазмом, горячо, юношески. <...> Вчера мы шли с ним домой, и он очень сантиментально говорил, как надоела ему эта пустая и праздная жизнь, как хочется ему вырваться из Госиздата, как хочется ему говорить о возвышенном, как светла была его встреча в Москве с Татлиным и пр. и пр. и пр.

На Лиду он произвел очень хорошее впечатление: впечатление большого человека. Она говорил[а], что он хорошо и проницат. рассуждал о Толстом.

Как позорна русская критика: я, редактируя Панаеву, сделал 4 ошибки. Их никто не заметил — невежды! Только и умеют, соста-

---

* О, морока! (*англ.*).

вляя отзывы, что пересказывать мое предисловие. *Ни один* ни звука не сказал *от себя!*

Воскресение 30 октября. Перебирая письма о детском языке, полученные мною в прошлом году, я наткнулся на очень серьезное письмо некоей Сюзанны Эдуардовны Лагерквист-Вольфсон — о двух детях: о Туленьке и Лиленьке. Очень хорошо она судила об Анненкове, Конашевиче и Чехонине. И в конце прибавила: «Неужели Вы автор Бородули?.. Зачем Вы себя размениваете на такую ерунду?» Я давно уже хотел посетить ее и посмотреть ее детей — Туленьку и Лиленьку (самые их имена импонировали). Сегодня снежок, воздух чистый, морозец — пошел я на Греческий проспект — и стал в доме № 25 спрашивать про Сюзанну Вольфсон. Все отвечают уклончиво. Я позвонил — ход через кухню — грязновато — вышел ко мне какой[-то] лысый глухой человек, долго ничего не понимал, наконец оказалось, что эта самая Сюзанна Эдуардовна недавно выбросилась из окна на улицу и разбилась насмерть — чего ее дети не знают. Я подарил сироткам свои книжки, они очень милы (Сюзанна была *француженка*). Но надежд на новые слова у меня нет, т. к. их *глухой* отец все равно не услышит ни их песен, ни их слов. Смотрел ее карточку: сумасшедшее лицо, похожа на Анастасию Чеботаревскую. <...>

В субботу был я с Таней Ткаченко в цензуре — в Гублите. Ко мне вышел цензор и сказал, что они разрешили все мои детские книги. Верно ли это, не знаю, но если разрешены «Айболит» и «Крокодил», то денежные мои дела будут значительно лучше. <...> Сегодня решается судьба моих «экикиков». Их взял Ал. Ал. Кроленко для прочтения — будет ли издавать их в «Academia» или нет. Для меня это жизнь и смерть. Я в последнее время столько редактировал, компилировал, корректировал («Панаеву», «Некрасова», «Мюнхгаузена», «Тома Сойера», «Гекльбери» и пр.), что приятно писать свое — и очень больно, если это свое не пройдет.

Завтра выходит 2-е изд. «Панаевой». А вместе с нею и «Тальниковы». «Панаева» подгуляла: перепутали страницы в титульном листе, на обвертке неграмотный текст и т. д. «Тальниковы» — рагу из зайца — без зайца.

Конашевич вчера прислал еще одну книжку, проиллюстрированную им, «Черепаха». Ничего, но много розового. <...>

Купил на последние деньги Коле и Лиде и Муре шоколаду. Коля ел его — словно слушал стихи. <...>

Я устал — ничего не делаю — хочется писать, а не умею. Я ненавижу отношение наших писателей к революции. Составил Союз Писателей плакаты, и среди них нет ни одного, который был бы неказенного содержания. Самые линии прямые и скудные — говорят о каких-то рабьих казенных умах, которые без вдохновения по приказу развешивали флаги и гирлянды. Пошел я в «Дом Печати» — где должны были собраться писатели, ждал часа два, но пришли только Фроман, Наппельбаум, Всев. Рождественский и С. Семенов.

Так как Фроман пришел по долгу службы, а Наппельбаум сию же минуту ушла, то оказалось всего 2 человека, к-рые пришли по доброй воле. В «Модпике» — та же история. Пришли только должностные лица, которые обязаны придти. Зато весь Госиздат налицо: Госиздат состоит из чиновников, котор. нагорит, если они не придут. Так, спасая свои животишки, люди 20-го числа, титулярные, требовали «Мирового Октября».

Я пошел к Зощенке. Он живет на Сергиевской, занимает квартиру в 6 комнат, чернобров, красив, загорел. Только что вернулся с Кавказа. «Я как на грех налетел на писателей: жил в одном пансионе с Толстым, Замятиным и Тихоновым. О Толстом вы верно написали: это чудесный дурак». А Замятин? «Он — несчастный. Он смутно чувствует, что его карьера не вытанцевалась, — и не спит, мучается. Мы ехали с ним сюда вместе: все завешивали фонарь, чтобы заснуть... Теперь он переделывает «Горе от ума» для Мейерхольда». — А вы? — А я здоров. Я ведь организую свою личность для нормальной жизни. Надо жить хорошим третьим сортом. Я нарочно в Москве взял себе в гостинице номер рядом с людской, чтобы слышать ночью звонки и все же спать. Вот вы и Замятин все хотели не по-людски, а я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю. И водку пью. Вчера вернулся домой в два часа. Был у Жака Израилевича. Жак женился, жена молодая (ну, она его уже цукает, скоро согнет в бараний рог). У Жака были Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум — все евреи, я один православный, впрочем, нет, был и Всев. Иванов. Скучно было очень. Шкловский потолстел, постарел, хочет написать хорошую книгу, но не напишет, а Всев. Иванов — пьянствует и ничего не делает. А я теперь пишу по-нормальному — как все здоровые люди — утром в одиннадцать часов сажусь за стол — и работаю до 2-х — 3 часа, ах какую я теперь отличную повесть пишу, кроме «Записок офицера» — для второго тома «Сантиментальных повестей», вы и представить себе не можете...»

Мы вышли на улицу, а он продолжал очень искренне восхищаться своей будущей повестью. «Предисловие у меня уже готово. Знаете, Осип Мандельштам знает многие места из моих повестей наизусть — может быть потому, что они как стихи. Он читал мне их в Госиздате. Героем будет тот же Забежкин, вроде него, но сюжет, сюжет».

— Какой же сюжет? — спросил я.

— Нет, сюжета я еще не скажу... Но я вам первому прочту, чуть напишется.

И он заговорил опять об организации здоровой жизни. «Я каждый день гимнастику делаю. Боксом занимаюсь...»

Мы шли по набережной Невы, и я вдруг вспомнил, как в 1916 году, когда Леонид Андреев был сотрудником «Русской Воли» — он мчался тут же на дребезжащем авто, увидел меня, выскочил и стал говорить, какое у него теперь могучее здоровье. «Вот мускулы, попробуйте!» А между тем он был в то время смертельно болен, у него

ни к черту не годилось сердце, он был весь зеленый, одна рука почему-то не действовала.

Я сказал об этом Зощенке. «Нет, нет, со мною этого не будет». Когда он волнуется или говорит о задушевном, он произносит «г» по-украински, очень мягко.

«Ах, я только что был на Волге, и там вышла со мною смешная история! По Волге проехал какой-то субъект, выдававший себя за Зощенко. И в него, в поддельного Зощенко, влюбилась какая-то девица. Все сидела у него в каюте. И теперь пишет письма мне, спрашивает, зачем я не пишу ей, жалуется на бедность — ужасно! И, как на грех, это письмо вскрыла моя жена. Теперь я послал этой девице свой портрет, чтобы она убедилась, что я тут ни при чем».

Мы пришли к Радлову, Ник. Эрн. Радлов только что встал. Накануне он пьянствовал у Толстого. До 8 часов утра. Ничего не пил — кроме водки и шампанского. По пьяному делу было у него столкновение с Щеголевым — очень мучительное. Щеголев говорил о ГПУ, что для партийного человека ГПУ учреждение не одиозное. Радлов хотел защитить противоположную точку зрения: «Ну, представьте себе, П. Е., что вы сами служите в ГПУ». Жене Щеголева показалось, что Радлов обвиняет его в службе там, и она подняла скандал, т. к. тоже была пьяна. «Кончились все миром, я объяснился, поцеловал у нее длань, но нехорошо». Рассматривали мы книгу, которую изготовили «Радлов и Зощенко» — «Веселые изобретения» — очень смешную. Книга будет иметь колоссальный успех. «Вы знаете, сколько тысяч моей последней книжки напечатала «Красная Газета»? — говорит Зощенко надменно. — 92 тысячи!» — «Но там много слабых рассказов!» — говорю я. «Нет! — отвечает Зощенко. — Там есть рассказ о матери и дочери, и проч. Теперь я не слушаю, если меня бранят... Как меня бранили, когда я стал писать свои маленькие рассказы, — особенно были недовольны Мих. Слонимский и Федин... Нет, я публику знаю и не ошибаюсь... нет!»

Это он говорил на обратном пути, а у Радлова больше молчал, т. к. Радлов взялся написать большой его портрет для будущей книги о нем, к-рая выходит б «Академии». Портрет Радлову не очень удался «после вчерашнего», но говорил он прекрасно — о Лебедеве, Влад. Вас. «Лебедев страстно предан своему делу, но относится к живописи как к вещи. Вещи же он любит, как картины, — ходил два месяца за одним иностранцем, чтобы купить у того его башмаки».

Впрочем, скоро мы с Зощ. пошли обратно. Он говорил о той книге, что выходит о нем в «Academ'ии»: «Я послушал вашего совета и сказал в предисловии, что моя статья о себе была читана в виде доклада, чтобы не подумали, что я специально написал ее для этой книжки».

Жаловался, что читатели не понимают его «Сентиментальных повестей».

9 ноября. Вчера я пошел к Тынянову — и встретил там... Виктора Шкловского. Тынянов смутился, памятуя, что Виктор Шк. ругал меня в «Третьей фабрике», и сказал шутливым тоном: «Вы знакомы?» (Думая, что я не подам ему руки) — «Еще бы!» — сказал я, и мы добродушно поздоровались. Шкловский начал с любезности:

— Ваша «Панаева» отлично идет в Москве. Просто очереди стоят! И вы нисколько не переменились.

— А издатели 8 лет браковали ее, — сказал я.

— Да, у К. И. долгое время издатели не хотели брать и О'Генри! — сказал Тынянов вторую любезность. — А потом такой успех.

— Ну, О'Генри теперь размагнитился! — сказал я.

— Да, — сказал Тынянов. — Теперь в Америке стали печататься скучные книги.

— Ю. Н.! — сказал я с упреком. — А давно ли вы хвалили американскую литературу!

— Я и теперь хвалю! — отозвался он, — Ведь я очень люблю скучные книги.

Разговор завязался непринужденный. Шкловский пополнел, но не обрюзг. Собирает матерьялы для своей будущей книги о Льве Толстом. «Я убедил Госиздат, что необходимо выпустить книгу о Толстом и что эту книгу должен написать я...» Я вспомнил, что у Шкл. есть чудесное слово «Мелкий Бескин» про Бескина, что заведует Литхудом в Москве. <...>

Потом начался тот чудесный разговор о литературе, который процветал в золотые голодные дни формализма — обрывками, клочками, афоризмами. «Что такое для Ал. Толстого — халтура? Он читал свой скучный роман, сделанный по документальным данным, а Каверин ему говорит: почему вы не пишете, как когда-то писали «Ибикуса», — авантюрно, свободно? А Толстой отвечает: «Да ведь «Ибикус» — халтура, а здесь я серьезен, здесь у меня все изучено». То-то и плохо, что изучено. Для него «халтура» — творчество, а чуть начнет работать — халтура.

С сокрушением говорили о Замятине: «Какое слабое дарование. А ведь это вы, К. И., первый сказали мне (Тынянову), что Замятин плох». И т. д.

Подали на стол тарелки и хлеб. Тыняновым нужно обедать. У Шкл. осталась прежняя манера — щипать хлеб на ходу; надел шубу и шапку, собрался уходить, но заговорился и, сам не замечая, непрерывно брал со стола хлеб и совал в рот. <...>

11 ноября. Вчера вдруг в ящике моего письменного стола проснулась бабочка, которую я считал давно умершей и только случайно не выбросил. Летает и сейчас — и бьется в замерзшие окна.

Вчера мы снимались — у Наппеля, всей семьей. У меня чувство — предмогильное.

В «Academia» вдруг Зильберштейн говорит, что у Шилова есть письмо Чернышевского к Авдотье Панаевой — об ее воспоминаниях. Я кинулся туда. Он тоже, чтобы перехватить эту покупку



Ленинград. Манежный, 6.
На третьем этаже угловой балкон и справа три окна квартиры Чуковского.
Печатается впервые.

у меня. Я взял извозчика. Он — бегом. Влетели мы в магазин оба разом. Письмо за мною, но — 40 рублей.

13 ноября. Мура целует м а м у . — Хоть бы раз меня поцеловала! — говорю я.

— Не привыкла я как-то мужчин целовать! — сказала она искренне.

Эти два дня у меня американские: вчера обедал у Гентта, сегодня завтракал с Голдером и Хаппером. Голдер не интересен: делец. А Хаппер милый долговязый шотландец, начитанный, простодушный, с отличным смехом. Я водил его к Евг. Викторовичу Тарле — тот очень хвалит моего Некрасова, хвалит мои примечания и т. д. Но дни пустые, а ночи без сна.

26 ноября, кажется. Суббота. <...>

Мура: — Дверь у Бобы заскрипела, как скрипка.

Тате бабушка говорит: — Приходи ко мне на елку. *Тата:* — Я приду, приду к тебе на сосенку.

Мура читает громко и нервно Любе на кухне Тома Сойера и «Гайавату». Боба читает мне «Астрономические вечера» Клейна и мастерит буер — очень толково обращается с топором и рубанком. Лида пишет о Шевченке. Коле я добыл работу в «Красной Газете» — переводить « Акриджа». Я фабрикую заметки о Некрасове к его юбилею — хочу съездить в Москву и продать — все стараюсь добыть денег, чтобы хоть недели две отдохнуть...

Увидел третьего дня вечером на Невском какого-то человека, который стоял у окна винного склада и печально изучал стоящие там бутылки. Человек показался мне знакомым. Я всмотрелся — Зощенко. Чудесно одет, лицо молодое, красивое, немного надменное. Я сказал ему: — Недавно я думал о вас, что вы — самый счастливый человек в СССР. У вас молодость, слава, талант, красота — и деньги. Все 150 000 000 остального населения страны должны жадно завидовать вам.

Он сказал понуро: — А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу. Лежу в постели и читаю письма Гоголя, — и никого из людей видеть не могу. — Позвольте! — крикнул я. — Не вы ли учили меня, что нужно жить, «как люди», не чуждаясь людей, не вы ли только что завели квартиру, радио, не вы ли заявляли, как хорошо проснуться спозаранку, делать гимнастику, а потом сесть за стол и писать очаровательные вещи — «Записки офицера» и проч.?!

— Да, у меня есть отличных семь или восемь сюжетов, — но я к ним уже давно не приступаюсь. А люди... я убегаю от них, и если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу... У нас так условлено с женою: чуть придет человек, она входит и говорит: Миша, не забудь, что ты должен уйти...

— Значит, вы всех ненавидите? Не можете вынести ни одного?

— Нет, одного могу... Мишу Слонимского... Да и то лишь тогда, если я у него в гостях, а не он у меня...

Погода стояла снежная, мягкая. Он проводил меня в «Радугу», ждал, когда я кончу там дела, и мы пошли вместе домой. Вина он так и не купил. По дороге домой он говорил, что он непременно победит, сорганизует свое здоровье, что он только на минуту сорвался, и от его бодрости мне было жутко. Он задал мне вопрос: должен ли писатель быть добрым? И мы стали разбирать: Толстой и Достоевский были злые, Чехов на[та]скивал себя на доброту, Гоголь — бессердечнейший эгоцентрист, один добрый человек — Короленко, но зато он и прогадал как поэт. «Нет, художнику доброта не годится. Художник должен [быть] равнодушен ко всем!» — рассуждал Зощенко, и видно, что этот вопрос [его] страшно интересует. Он вообще ощущает себя каким-то инструментом, который хочет наилучше использовать. Он видит в себе машину для производства плохих или хороших книг и принимает все меры, чтобы повысить качество продукции.

В ноябре выяснилось, что мой «Крокодил» задержан ГУСом надолго и что никто, кроме меня, его не отстоит. Тихонову следовало издать его в мае, но он уехал — и в июле Главлит задержал эту книгу до образования ГУСа. ГУС со своей стороны не торопился давать разрешение — и таким образом книга полгода остается под запретом... Ехать в Москву стало необходимо. Чтобы окупить поездку, я написал разные статейки о Некрасове — к его юбилею.

Еду разбитый — не спал накануне — и в поезде всю ночь не сомкнул глаз.

28 ноября. Понедельник. Я в Москве. В «Огонек» — нет ни Зозули, ни Рябинина. Зозуля в Париже, Рябинин в Ленинграде. Завтра приедет. В «Огоньке» все ново: швейцар, светлые комнаты, просторно, целый особняк.

В гостинице Центральной застал больного Чехонина. У него порок сердца плюс ангина. Он очень хорошо рассказывает о сердечном припадке: «Остановилось ночью сердце — и тотчас же изо всех пор потекли потоки холодного пота — вот этакие капли, как горошины. Лежу и наблюдаю за собою. Голова очень ясна. И странно: до припадка у меня мучительно болели ноги, а после припадка моментально прошли».

Занимает он самый крохотный номер — против клозетов — № 37. В комнате страшно жарко. При нем — сын, приехавший из Питера, и сиделка — очень милая барышня. Он рассказывает о деньгах: «Я здесь в Москве подработал: за всякие работы к X-летию Октября получил я 3500 рублей, да один американец заплатил мне 600 долларов за миниатюру, написанную мною с него».

Я оставил чемодан у Чехонина, т. к. номера гостиницы все заняты, и кинулся к Тихонову — в Кривоколенный. Сейчас я узнаю судьбу моего «Крокодила». Бегу невыспанный, прибегаю — Тихонов в конторе, помолодел, посвежел, недавно с Кавказа, мил и, как всегда, ни в чем не виноват.

— К. И., какими судьбами!

— Приехал узнать о судьбе «Крокодила».

— Ах, да, очень жаль, очень жаль, ГУС не разрешает. Что поделать. Мы хлопочем.

Оказывается, что книга вся сверстана, но находится на рассмотрении в ГУСе, в отделе учебников, который нарочно рассматривает книгу три месяца, чтобы взять ее измором. Верховодит там,Натан Венгров; почему-то книга попала на рассмотрение к Менжинской, которая держит ее бог знает сколько и не дает целые месяцы ответа.

От Тихонова я в Институт детского чтения — к Анне Конст. Покровской. Она выражает мне горячее сочувствие и рассказывает, как теснят ее и ее институт: он стал почти нелегальным учреждением, к ним посылают на рецензии целый ряд книжек — но не Чуковского.

Я — к Венгрову. Он продержал меня в прихожей целый час —

вышел: в глаза не глядит. Врет, виляет, физиологически противный. Его снедает мучительная зависть ко мне, самое мое имя у него вызывает судорогу, и он в разговоре со мною опирается на свое бюрократич. величие: «Я, как ученый секретарь ГУСа...», «Мне говорила Крупская...», «Я с Покровским...», «Мы никак не можем...» Оказалось, что теперь мой «Крокодил» у Крупской.

Я — к Крупской. Приняла любезно и сказала, что сам Ильич улыбался, когда его племяш читал ему моего «Мойдодыра». Я сказал ей, что педагоги не могут быть судьями лит. произведений, что волокита с «Крок.» показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу, которая разошлась в полумиллионе экземпляров и благодаря которой в доме кормится 9 человек.

Эта речь ужаснула Крупскую. Она так далека от искусства, она такой заядлый «педагог», что мои слова, слова литератора, показались ей наглыми. Потом я узнал, что она так и написала Венгрову записку: «Был у меня Чуковский и вел себя нагло».

Был я у Демьяна. Он обещал похлопотать. Читает Гершензона письма к брату — и возмущается. Рассказывал про Троцкого, что он уже поссорился с Зиновьевым — и теперь вообще «оппозиции крышка». «Заметили вы про оппозицию, что, во-первых, это все евреи, а во-вторых — эмигранты: Каменев, Зиновьев, Троцкий. Троцкий чуть что заявляет: «Я уеду за границу», а нам, русакам, уехать некуда, тут наша родина, тут наше духовное имущество».

Был у Кольцовых. Добрая Лизавета Николаевна и ее кухарка Матрена Никифоровна приняли во мне большое участкe. Накормили, уложили на диван. Не хотите ли принять ванну? Лиз. Никол. очень некрасивая, дочь англичанки, с выдающимися зубами, худая, крепко любит своего «Майкела» — Мишу Кольцова — и устроила ему «уютное гнездышко»: крохотная квартирка на Б. Дмитровке полна изящных вещей. Он — в круглых очках, небольшого росту, ходит медленно, говорит степенно, много курит, но при всем этом производит впечатление ребенка, который притворяется взрослым. В лице у него много молодого, да и молод он очень: ему лет 29, не больше. Между тем у него выходят 4 тома его сочинений, о нем в «Academia» выходит книга, он редактор «Огонька», «Смехача», один из главных сотрудников «Правды», человек, близкий к Чичерину, сейчас исколесил с подложным паспортом всю Европу, человек бывалый, много видавший, но до странности скромный. Года три [назад] в Худож. Театре — я встретил его вместе с его братом Ефимовым, художником — и не узнал обоих. Вижу, молодые люди, говорят со мной почтительно, я думал: начинающие репортеры, какая-нибудь литературная мелочь, на прощание спрашиваю: как же вас зовут? Один говорит застенчиво: «Борис Ефимов», другой: «Михаил Кольцов».

Странно видеть Кольцова в халате — ходящим по кабинету и диктующим свои фельетоны. Кажется, что это в детском театре.

И на полках, как нарочно, яркие игрушки. Пишет он удивительно легко: диктует при других и в это время разговаривает о посторонних вещах.

Его кухарка Матрена Никифоровна в большой дружбе с его женой: она потеряла не так давно взрослую дочь и теперь привязалась к Лизавете Николаевне, как к родной. Самостоятельность ее в доме так велика, что она, провожая меня в переднюю, сказала по своей инициативе:

— Так приходите же завтра обедать.

Рядом с ними живет Ефим Зозуля. Буквально рядом — на одной площадке лестницы. У Ефима Зозули всегда полон дом каких-то родственников, нахлебников, племянниц — и в довершение всего на шкафу целая сотня белых крыс и мышей и морских свинок, которые копошатся там и глядят вниз, как зрители с галерки, — пугая кошку. Есть и черепаха. Все это — хозяйство Нины, Зозулиной дочки, очень избалованной девочки с хищными чертами лица. В доме — доброта, суета, хлебосольство, бестолочь, уют, телефонные разговоры, еда.

От Кольцовых — к Шатуновским. У них невесело. <...>

На другой или на третий день по приезде в Москву я выступил в Инст. Детского Чтения в М. Успенском пер. Прочитал «Лепые нелепицы». Слушать меня собралось множество народу, и я еще раз убедился, как неустойчивы и шатки мнения педагогов. Около меня сидела некая дегенеративного вида девица — по фамилии Мякина — очень злобно на меня смотревшая. Когда я кончил, она резко и пламенно (чуть не плача от негодования) сказала, что книжки мои — яд для пролетарских детей, что они вызывают у детей только бессонницу, что их ритм неврастеничен, что в них — чисто интеллигентская закваска и проч. Говорила она хорошо, но все время дергалась от злобы, и мне даже понравилась такая яростная убежденность. После прений я подошел к ней и мягко сказал:

— Вот вы против интеллигенции, а сами вы интеллигентка до мозга костей. Вы восстаете против неврастенических стихов — не потому ли, что вы сами неврастеничка.

Я ждал возражений и обид, но она вдруг замотала головой и сказала: «Да, да, я в глубине души на вашей стороне... Я очень люблю Блока... Мальчики и девочки, свечечки и вербочки [12]. Я требую от литературы внутренних прозрений... Я интеллигентка до мозга костей...»

В этой быстрой перемене фронта — вся мелкотравчая дрянность педагогов. В прениях почти каждый придирался к мелочам и подробностям, а в общем одобрял и хвалил. Е. Ю. Шабад (беззубая, акушерского вида) попробовала было сказать, что и самый мой доклад — перевертыш, но это резонанса не имело. Каждый так или иначе говорил комплименты (даже Лилина), и вместо своры врагов я увидел перед собою просто добродушных обывательниц, которые не знают, что творят. Они повторяют заученные речи, а чуть выбьют-

ся из колеи, сейчас же теряются и несут околесину. Никто даже не подумал о том, что «Лепые нелепицы» не только утверждают в литературе «Стишок-перевертыш», но и вообще — ниспровергают ту обывательскую точку зрения, с которой педагоги подходят теперь к детской литературе, что здесь *ниспровержение всей педологической политики по отношению к сказке*.

Я из чувства самосохранения не открыл им глаз — и вообще был в тот вечер кроток и сахарно сладок. Сейчас я вижу, что это была ошибка, п. ч., как я убедился через несколько дней, казенные педагоги гнуснее и тупее, чем они показались мне тогда.

1928

17 января. Что же сделает ГУС с моими детскими книжками? Судя по тем протоколам, которые присланы в «Радугу» по поводу присланных ею к н и г , — там, в ГУСе, сидят темные невежды, обыватели, присвоившие себе имя *ученых*. Сейчас говорят, будто в их плеяду вошли Фрумкина и Покровская, но вообще — отзывы их так случайны, захолустны, неавторитетны, что самые худшие мнения о них оказались лучше действительности. Критериев у них нет никаких, и каждую минуту они прикрываются словом «антро[по]морфизм». Если дело обстоит так просто и вся задача лишь в том, чтобы гнать антропоморфизм, то ее может выполнить и тот сторож, который в Наркомпросе подает калоши: это дело легкое и автоматическое. Разговаривают звери — вон! Звери одеты в людское платье — вон! Думают, что для ребенка очень трудны такие антро[по]морфические книги, а они, напротив, ориентируют его во вселенной, т. к. он при помощи антропоморфизма *сам* приходит к познанию *реальных отношений*. Вот тема для новой статьи о ребенке — в защиту сказки. Когда взрослые говорят, что антро[по]морфизм сбивает ребенка с толку, они подменяют ребенка собою. Их действительно сбивает, а ребенку — нет, помогает. Сюжет для небольшого рассказа.

Читал о Горьком третьего дня в Ц[ентральном] Д[оме] Искусств. Читал иронически, а все приняли за пафос — никаких оттенков не воспринимает дубовая аудитория.

Видел Слонимского: желто-зеленый опять. У него вышла повесть «Средний проспект», где он вывел какого-то агента; Гублит разрешил повесть, ГИЗ ее напечатал, а ГПУ заарестовало. Теперь это практика: книгу Грабаря конфискуют с книжных прилавков. Поэтому Чагин сугубо осторожен с моей книжкой «Маленькие дети», которую в Гублите разрешили еще 15-го. Он повыбросил ряд мест из разрешенной книжки — «как бы чего не вышло».

Хулиганская афера «Огонька»: предложил мне достать письма Льва Толстого к Дружинину и редактировать их, а когда я достал, сделал попытку прогнать меня от этих писем. Но я свел Дружинина

с Чагиным, и сегодня мы туда едем: не купит ли Чагин писем Толстого для «Минувших Дней».

21 января. Вчера был у меня Слонимский. Его «Средний проспект» разрешен, он принес книжку. Но рассказывает мрачные вещи. Главлит задержал Сельвинского «Записки поэта». Потом выпустил. Задержали книгу Грабаря. Потом выпустили. В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько измотают нервов, пока выпустят. А задерживают не много потому, что все мы так развратились, так «приспособились», что уже не способны написать что-нибудь не казенное, искреннее. — Я, говорил Миша, — сейчас пишу одну вещь — нецензурную, для души, которая так и пролежит в столе, а другую для печати — преплохую. — Я рассказал ему историю с моим «Крокодилом». Полгода разные учреждения судят об нем, а покуда книги нет на рынке, — и что за радость, что книгу теперь разрешили; кто вернет мне те убытки, которые нанесены мне ее полугодовым отсутствием на рынке! Слонимский рассказывает, что несомненно некоторые неугодные книги *нарочно* не распространяются под воздействием политконтроля. Напр., «Конец Хазы» Каверина. Всю книгу нарочно держат на складе, чтобы она не дошла до читателя. Я думаю, что это не верно. «Конец Хазы» и сам по себе может не идти. Но что мы в тисках такой цензуры, которой никогда на Руси не бывало, это верно. В каждой редакции, в каждом изд-ве сидит свой собственный цензор, и их идеал казенное славословие, доведенное до ритуала.

Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, т. к мы легко можем себе представить такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при с[оветском] строе удастся их преодолеть. Миша очень мил; мы были ему искренне рады. <...>

22 января. Вчера вечером получил из Москвы два экземпляра нового «Крокодила» — на плохой бумаге: цена 1 р. 50 к. В чем дело, не знаю, письма при этом нет. Был часа два или три в рукописном отделении Пушкинского Дома — смотрел письма Н. Успенского. Ах, это такой отдых от Клячки, Госиздата, «Красной Газеты» — тихо, люди милые, уют — и могильное очарование старины. Жаль только, что П[ушкинский] Дом так далеко — вчера я сдуру сменил 4 трамвая, покуда доехал. И холодно. Между прочим мне дали там повестку на заседание группы Журналистики, Критики и Публицистики. Предметы занятий: «Доклад Е. В. Базилевской: «Некрасов в редакции К. И. Чуковского». В Пушкинском Доме пропал патриархальный строй, отношения оказенились, но осталось общее чаепитие сотрудников, связанных между собой любовью к делу и давнишним служением ему: приходят племянник Достоевского, сын Островского, сын Пыпина, дочь В. Стасова (Комарова), сын П. Анненкова, сын Л. Модзалевского и пр. — и пьют чай из стильных чашек, чай вкусный, пьют весело — и как-то непохоже на нынешний стиль — пьют исторически, пьют по-пушкински.

Вечером, в «Academia» — с Франковским, к-рый очень потрясен рецензией К. Локса о его переводе Пруста. Франковский прочитал свой ответ Локсу — великолепный. Мы вместе с А. А. Кроленко обсуждали этот ответ — и Кроленко сделал целый ряд очень дельных и тонких замечаний. Я сказал ему: «Вы всем хороши, но почему вы не платите денег? Почему ни разу вы не выдали мне 200 рублей?» Он с величайшим простодушием: «вот вы не поверите, но хотя дела у нас идут блестяще, хотя наши книги нарасхват, но мы ни гроша не имеем на текущем счету, потому что задолженность наша огромна: мы расплачиваемся за прежнюю нашу линию — издавать Балухатых и Жирмунских. Вы не поверите, что *мне издательство должно до двух тысяч,* и я не могу их выцарапать» и проч. — Вышел у них Ив. Панаев, под редакцией Иванова-Разумника. Разумник прислал мне книгу с надписью: «Редавдотье — Редиван». Книга издана неважно. И хотя Кроленко хочет бежать от издательства, хотя, по его словам, он спит и видит, когда эта обуза спадет с его плеч, — он с болью показывает плохо сверстанные экземпляры Панаева и говорит:

— Нет, следующее издание мы сделаем лучше. Для следующего издания мы закажем обложку на карточной фабрике...

Такими фанатиками работы и пользуется Советская власть. Их гнут, им мешают, им на каждом шагу ставят палки, но они вопреки всему отдают свою шкуру работе.

У Бобы большое горе: с августа до сего дня он вместе с Женей Штейнманом строит буер. Это была героическая, творческая, грандиозная работа. Они стали завсегдатаями Предтеченского рынка: высматривали, как бы по дешевке купить бревна, гайки, железные скрепы, паруса и проч. Купили бревна невероятной толщины; как они довезли их до нашей квартиры, непостижимо никакому уму. Целую зиму они до последнего поту трудились над этими бревнами, тесали их, стругали, оболванивали. Целую зиму они скрепляли их железными полосами. Откуда-то достали три конька невероятной тяжести — которые сами вырезали из толщенного железа, и когда все это было готово, когда сшит и выстиран парус, когда буер в виде огромного треугольника занял всю Бобину комнату, — решили позвать Бориса Житкова, который и научил их построить этот буер. Я настоял на том, чтобы кроме Житкова позвать и Н. Е. Фельтена, живущего в двух шагах от меня — в том же доме, где аптека Тува и Маршак. Фельтен пришел раньше Житкова. Это коренастый бритый человек с открытым лицом, глухой, очень говорливый, рисующийся своей любовью к морю, Толстому и буеру. Буерист он первоклассный, второго в России такого и нет. Глянул он на Бобин буер (а Боба был у Жени) и сказал:

— Бедные, бедные дети. Что же теперь будет...

И стал говорить шепотом, как будто случилось несчастье.

Оказалось, что буер построен нелепо, безумно. Мальчики потратили вдесятеро больше работы, чем нужно. Буер строится из досок, а не из бревен. Коньки должны быть деревянные, обитые же-

лезом, а не стопудовые полозья. «Если они явятся с таким буером на взморье, их засмеют. Это все равно, что вместо автомобиля выехать на улицу в старинном рыдване. И зачем им этот рыдван, когда автомобиль построить дешевле, скорее, легче!»

Тут пришли мальчики. Фельтен высказал им свое мнение. Они смотрели на него насупленно, но бодро. Они были уверены, что Борис Житков придет и в одно мгновение сразит дерзновенного критика.

Звонок. Житков. Фельтен прямо без обиняков выложил ему все что думает. Житков глухим и тихим голосом стал пренебрежительно возражать. Ф. по глухоте не слышал и переспрашивал, но Ж. не удостоил его более громких ответов. Замяв вообще разговор о буере, он отвел меня в сторону и стал говорить о Бианки. Я видел, что ему мучительно неловко, что с буером он осрамился и потому усиленно поддерживал разговор о Бианки. Но мальчики не поверили в его поражение. Хотя Фельтен повел нас всех к себе, хотя он показал нам чертежи буеров, хотя он даже подарил мальчикам свой «Торговый флот», где напечатаны статьи о буерах, мальчики стояли за Житкова и к Фельтену относились с угрюмой недоверчивостью. Но вот третьего дня утром Боба вскакивает неодетый с постели и начинает чертить левой рукой какие-то закаляки на бумаге. «Боба, что ты делаешь?» Он застыдился. Гляжу: это чертеж буера «по Фельтену». «А как же этот буер?» Молчит. Они с Женей сделали последнюю попытку исправить житковский буер: распилили вдоль одно бревно, но это отняло у них часов 7 и не привело ни к чему. «Все надо новое, это никуда не годится!» — решил Боба, но такое решение стоило ему дорого, т. к. он на старый буер убил всю зиму и мечтал проехаться на нем еще в прошлую субботу.

22 января. Был у Зощенки, зашел за книгой «Толстой в молодости». Его не застал, но жена его говорит, что он опять «стал как человек»: катается на коньках, принимает гостей. В столовой у Зощенко елка (до сих пор!).

Оттуда — к Заславскому. Уют и семейное счастье. У Заславского гостит его сестра, тут же сестра жены с мужем и ребенком, у Шурочки подруга, рыжий Жозик — мне стало у них очень тепло, мы играли в слова, я загадал *мзда* и *апчхи* — Жозик сделал 17 ошибок. Д. О. — 2, Шура — 8 — и т. д.

Сейчас у меня столько работ: пишу о Николае Успенском, приготовляюсь писать о Толстом и Некрасове, надо писать о Горьком (воспоминания для Груздева), хочу редактировать Фета, и как назло юноша Метальников принес мне дивные (хотя и легкомысленные!) записки своей бабушки Островской — которые тоже следовало бы проредактировать. Я уже не говорю о детской сказке и о переработке 2-го изд. Полного собрания стихотворений Некрасова.

23 января. Снова тучи надо мною: Чагин потерял мою сверстанную и прокорректированную книжку «Маленькие дети», и она не

может пойти в печать. Между тем я в видах скорости пригласил И. С. Зильберштейна и назначил ему 100 р. за наблюдение за печатанием этой книги.

И вот уже 12 дней мы ищем эту книгу — и мне придется корректировать ее вновь. А сколько раз я ходил по лестницам туда в «Красную» — искать этот оттиск, сколько утренних часов я украл у своей работы! Сволочи беспросветные, они даже не ищут этой книжки.

Вчера вышел двухрублевый Некрасов — без примечаний. Чувствую большую приятность. Лидин «Шевченко» в 1-й номер «Ежа» не войдет. Она этого еще не знает. Мне дали корректуру — 1-ую корректуру Лидиного писания, сейчас буду ее держать[1].

Третьего дня продержал корректуру Колиной милой книжки стихов[2].

Вчера подал декларацию фининспектору: оказывается, что я заработал в минувшем году 9800 рублей — около 10 тыс., а куда они ушли и много ли я имел от них удовольствия?

Продержал корректуру Лидина «Ежа» — и снова вижу, что это — превосходная вещь. Сейчас сяду править гнусный перевод «Акриджа», сделанный Колей. Если бы это не сын, никогда не правил бы, так тупо и бездарно сделан перевод. Чем объяснить эту тупость, не знаю, но она есть в Коле, и ярче всего сказывается в его переводах комических вещей, которые чрезвычайно нечутки.

Вчера был у меня Пискарев, бывший литейщик, матрос Балтфлота, очень забавный, курчавый поэт, с удивительно задушевным голосом и любимой поговоркой: «Ей-богу, правда!» Он — гапоновец, участник 9 января и проч. Теперь он так разочаровался в нынешней политич. линии, что стал хозяйчиком, выделывает фетр, открыл мастерскую, заработал в прошлом году 20 т. р. чистоганом и теперь хочет купить себе картину Репина — за две тысячи рублей. Он говорит, что —

Это многих славных путь! [3]

Он рассказывает, как рабочие, побывав за границей, возвращаются в твердой уверенности, что «маргариновый коммунизм» осужден на полную изоляцию, что «буржуазный» строй Америки выше и лучше. Я думаю, он ошибается. Я что-то не видал таких рабочих.

25 января. Вчера «Красная Газета» наконец заплатила Вас. Григ. Дружинину 450 рублей, — и письма Толстого в моем распоряжении. Было дело так: Чагин обещал мне Дружинину деньги и не дал. Дружинин звонил мне, а я ежедневно Чагину. И хотя «Красная» пообещала ему 450 р., в последнюю минуту Чагин сказал: нельзя ли 400? Я по телефону убеждал его не скаредничать, и он просил Дружинина придти в «Красную» получить деньги. Старик в шубе и шапке — как боярин, краснолицый пришел за мною в Пушк. Дом, и мы трамваями в «Красную». Клаас без всякого спора

немедленно вызвал секретаря, и тот принес старику деньги. Тот размяк и вспотел от радости. Я тоже рад — пусть теперь «Огонек» почешет затылок. Но устал, и кроме того меня мучает предстоящий суд с Евгеньевым-Максимовым [4]. Он — напористый и беспощадный враг. Завидует он мне до умопомрачения. Самое мое существование — для него острый нож. А я слишком раздразнил его. <...> И теперь он решил дать мне бой. Он настрюкал другую бездарность — Базилевскую — выступить с критикой моей редактуры Некрасова (завтра ее доклад).

Он в своей книге выступил критиком моих идей — хотя мои идеи пусть и плохие, но мои, а у него никогда в голове не бывало ни единой идеи — он даже не знает, что такое: думать, — пошлый списыватель, который лезет в писатели... — и вот теперь суд. Все это выпивает всю мою кровь, потому что я переживал Некрасова, я волновался, я по-новому думал о нем, а Евг.-Максимов только списывал чужое всю жизнь. Повытчик.<...>

26 января 1928. <...> В Пушкинском Доме. Старик Дружинин принес мне письма Льва Толстого — и копии. Я работаю сразу над 6 темами, запасаю материал, и это очень весело и успокоительно — хотя хочется уже теперь писать. Еще больше, чем письма Льва Толстого, меня интересует дневник Татариновой — о Добролюбове, Тургеневе и цензоре Бекетове. Кроме того я должен писать воспоминания о Горьком, «Лев Толстой и Некрасов», редактировать мемуары Фета и главное писать о детях и писать для детей.

30 января. Вчера позвонил из Стрельны Н. Е. Фельтен: приезжайте сюда, в яхтклуб, — покатаю на буере. У меня б[ыло] много дел, но я бросил все — и с Бобой и Женей двинулся в Стрельну.

У Бобы был на пальце ноги нарыв, Мария Борисовна хотела сделать ему компресс и предсказывала от компресса облегчение, он же стоял за то, что нарыв нужно проткнуть. М. Б. не хотела и слышать об этом. Он покорно подчинился ее компрессу, но вечером, читая мне вслух, проткнул иглой нарыв, и наутро все прошло. М. Б. говорит: «Видишь, как подействовал компресс!» Он с лицемерной покорностью слушает ее — и усмехается.

Ехали мы в Стрельну весело. Купили на станции журнал «Бич» — Толстовский номер, и несколько булок. Боба жадно проглотил и то и другое. На станции — извозчик в очках усадил нас троих — к яхтклубу. Яхтклуб на берегу залива — лед отличный, скользят буера, но как? Их возят буермены туда и сюда, п. ч. ветру ни малейшего. Но я вообще был рад подышать свежим воздухом И забыть обо всем, Фельтен был очень мил, все извинялся, как будто безветрие — его вина. Боба и Женя впряглись в буер и возили меня по заливу, так что, закрыв глаза, я чувствовал себя на несущемся под парусами буере. С Фельтеном мальчик — музыкант, Вова — талантливое лицо, очень милый. У него мать в сумас-

шедшем доме, отец пропал без вести, есть злой и пьяный вотчим, Фельтен и заменяет ему отца. Вообще у Ф. много приятелей среди подростков, и держит он себя с ними отлично, п. ч. он и сам подросток: любит буер, фотографию, путешествия и больше ничего. — Сегодня я читаю лекцию о Горьком и по этому случаю ночью, проснувшись, стал перелистывать «Жизнь Самгина». Отдельные куски — хороши, а все вместе ни к чему. Не картина, а панорама, на каждой странице узоры. Сегодня в Пушкинский Дом я пришел на работу рано: был только Ст. Ал. Переселенков, хромой, глухой, заикающийся, очень некрасивый старик, который сегодня показался мне прекрасным. Он заговорил о моей статье «Подруги поэта» [5] — и, признав, что она «талантлива», стал очень задушевно порицать мое отношение к Зине. «Вы говорите, она пошла в баптистки... Что ж, разве заурядная эгоистичная женщина пойдет в баптистки? Вы говорите, что она отдала им все деньги — значит, она была искренний бескорыстный *человек*. Да и зачем вы верите родственникам Некрасова, родственники естественно были обижены, что от них ускользает наследство». <...>

Второй раскрылся вчера предо мной человек: Пыпин. Николай Александрович. Он только что встал с постели, у него был грипп; подошел ко мне, милый, седой, с очень молодыми глазами, — и вдруг покраснел от злости и сказал буквально: «Я из-за вас три дня страдал, я читал вашу статью с отвращением и теперь даже спрятал ее от себя, чтобы не мучиться вновь. Я так благоговею пред *теми* людьми, пред 70-ми годами, а вы написали об них «Мойдодыр», черт знает что, выволокли на улицу всю грязь, в каком мерзком журнале». <...>

Утром рано был в «Красной». Много писем от читателей о детском языке. Оказывается, Иона потерял мое письмо в редакцию — «Госиздат и Некрасов», придется писать его вновь. Сегодня вечером я читаю в двух местах лекции.

Это по-дурацки изнурительно вышло: меня пригласили на 23-е читать о Некрасове в Драмсоюзе, я согласился. Потом пригласил «Модпик» читать о Горьком 30-го. Я тоже согласился. А сейчас оказалось, что Драмсоюз перенес мою лекцию с 23-го на 30-е. Хуже всего то, что обе эти организации в лютой между собою вражде. <...>

В Драмсоюзе Геркен — опереточный либретист с золотым браслетом. Публики мало, все больше старушки. Геркен рассказал мне о посещении Горького. Перед, тем как поехать в Сорренто, он, Геркен, добывал в Берлине у Марии Федоровны, жены Горького. Она говорила: «Вы только не тревожьте А. М. рассказами о моем нездоровье. Он может сильно взволноваться, испугаться. Вы знаете, какой он впечатлительный». Но приехав в Сорренто, Геркен даже и не мог повести разговор о Марии Федоровне, п. ч. всякий раз, когда он заикался о ней, Горький менял разговор... «Марья Федоровна...» — начинал Геркен. «А какая в Берлине погода?» — перебивал Алексей Максимович.

В Драмсоюзе был писатель Василий Андреев, пьяный, который сидел в первом ряду и, когда Ник. Урванцев декламировал стихотворения Некрасова, кричал: «плохо!» «перестаньте!» и пр. Я пробовал его урезонить — он ответил: «Но ведь действительно плохо читает! »

Но во время моего чтения он крикнул: «Видишь, я молчу, потому — хорошо!» Вот и все мои лавры. Стоило из-за этого не спать ночь и истратить на извозчика 1 р. 50 копеек! (Если буду жив.)

1 февраля. Целый день занимался историко-литературной дребеденью: Т. А., Метальников, Федоров. Устал. Вечером звонок от Маршака: «Я из-за вас в Москве 4 дня воевал, а вы даже зайти ко мне не хотите!» Как объяснить ему, что, если я пойду к нему, мне обеспечена бессонная ночь. Я пошел, он сияет — все его книги разрешены. Он отлично поплавал в Москве в чиновничьем море, умело обошел все скалы, и мели, и рифы — и вот вернулся триумфатором. А я, его отец и создатель, раздавлен. Мои книги еще не все рассматривались, но уже зарезаны «Путаница», «Свинки», «Чудодерево», «Туфелька». <...> Когда Марш. приехал в Москву, он узнал, что из его вещей зарезаны: «Вчера и Сегодня», «Мороженое», «Мышонок», «Цирк». Он позвонил в Кремль Менжинской. Менжинская ему, картавя: — Не тот ли вы Маршак, которого я знала у Стасова, который был тогда гимназистом и сочинял чудесные стихи? — Тот самый. Почему запретили мои книги? Я протестую... — Погодите, это еще не окончательно. — А почему не разрешили книг Чуковского? — С Чуковским вопрос серьезнее. Да вы приезжайте ко мне... — Маршак приехал в Кремль, очаровал Менжинскую, и выяснилось, что моя «Муха Цокотуха» и мой «Бармалей» (наиболее любимые мною вещи) будут неизбежно зарезаны. Вообще для этих людей я — одиозная фигура. «Особенно повредила вам ваша книга «Поэт и палач». Они говорят, что вы унизили Некрасова». От нее Маршак поехал к Венгрову. «Венгров очень смешон: он усвоил теперь все мои привычки — так же разговаривает с авторами и даже жалуется на боль в груди — как я. Венгрову я сказал, что хотел бы присутствовать на заседании ГУСа. — Пожалуйста. — Я приехал. Мрачные фигуры. Особенно угрюм и туп Романенко, представитель Главлита. Прушицкая — тоже. Ну остальные свои: Лидина, Мякина и друг.». Маршак, по его словам, сказал горячую речь: «Я хлопочу не о Чуковском, а о вас. В ваших же интересах разрешить его книги». И проч. Вопрос о моих книгах должен был решиться вчера, во вторник. Рассказал также Маршак о своем столкновении с Софьей Федорченко, которая написала злой пасквиль на наше пребывание в Москве. <...>

3 января *. Вечером у Замятина. Не были др[уг] у друга около 2-х лет. Мне у него очень понравилось. Я ходил хлопотать о Горь-

* Описка. На самом деле — февраля. — *Е. Ч.*

ком: нет ли у Замятина материалов об Ал. Максимовиче (в пору «Всемирной Литер.»). Оказалось, нет. «Я устал от воспоминаний. Только что закончил о Кустодиеве, пришлось писать о Сологубе. А с Горьким я не переписываюсь, он на меня за что-то сердится». На стенах у него смешные плакаты к «Блохе», на полу великолепный ковер, показывал он мне переводы своих рассказов на испанский язык и своего романа «Мы» — на чешский. Сейчас [печатает] собрание своих сочинений у Никитиной, дает она ему по 400 рублей, а летом по 250 рублей в месяц, он озабочен заглавиями к книгам и распределением материала; показывал любопытные рисунки Кустодиева к «Истории о Блохе» Замятина, где, несмотря на стилизацию и условность, дан лучший (очень похожий) портрет Евгения Иваныча. Она, то есть жена Евг. Ив., Людмила Николаевна, стала милее, — уже не красит губ, стала проще, я напомнил ей о Сологубе. <...>

Мои горя, как говорит Чехонин, таковы:

Первое: Евгеньев-Максимов тянет меня в Конфликтную Комиссию Союза Писателей. И хотя я ничем перед ним не виновен, но это будет канитель, с бессонницами.

Второе: из зависти ко мне, из подлой злобы Евг.-Максимов в Москве добился того, что теперь Госиздат выпускает полное собрание сочинений Некрасова коллегиальным порядком, т. е. то собрание стихотворений Некрасова, которое вышло под моей редакцией, аннулируется — и переходит в руки Максимова. Значит, 8 лет моей работы насмарку.

Третье: Госиздат не издает Честертона, и, таким образом, мой перевод «Живчеловека» не будет переиздан вновь.

Но, как это ни странно, несмотря на эти горя, я *спал*. Вчера Васильев принес мне высокие валенки — за 30 рублей. Сейчас сяду писать Воспоминания о Горьком.

Только что сообщили мне про статью Крупской [6]. Бедный я, бедный, неужели опять нищета?

Пишу Крупской ответ [7], а руки дрожат, не могу сидеть на стуле, должен лечь.

Спасибо дорогому Тынянову. Он поговорил с Эйхенбаумом, и редактура стихов у меня отнята не будет. Стихи даны на просмотр Халабаеву. Татьяна Александровна пошла к Редько, чтобы Ал. Меф. уладил дело с Евг.-Максимовым, который хочет со мною судиться. Я к вечеру поехал к Чагину, и Чагин рассказал мне прелюбопытную вещь: *когда появился номер газеты с ругательствами Крупской, Кугель (Иона)* (в оригинале несколько строк вырезано. — *Е. Ч.*) написать воспоминания о Горьком, я остался и, несмотря на бессонницы, строчу эту вещь с удовольствием. Третьего дня взял Муру и ее «жениха» Андрюшу и пошел с ними в «Academia». Дети расшалились: Андрюша полетел. «Ты думаешь, это Летейная». Хохотали от всякого пустяка, прыгали по прелестному мягкому снегу. На Литейном я встретил Зощенку. Он только что прочитал моих «Подруг поэта» — и сказал:

— Я опять вижу, что вы хороший писатель.

Несмотря на обидную форму этого комплимента, я сердечно обрадовался.

Он «опять воспрянул», «взял себя в руки», — «все бегемотные мелочишки я пишу прямо набело, для тренировки», «теперь в ближайших номерах у меня будет выведен Гаврюшка, новый герой, — увидите, выйдет очень смешно».

Звонил Тынянов: рассказывает, что Евг.-Максимов забегал уже в Госиздат — предлагал свои услуги вместо Чуковского («Предупреждаю вас, что с Чуковским я работать не буду, у нас теперь суд чести и проч.»). Эйхенбаум спросил его: «А можете ли вы утверждать, что редактура Чуковского плоха?» Он замялся — «Ннет» Он не может этого утверждать, т. к. сам хвалил ее в рецензиях.

Милый Тынянов, чувствую, как он хлопочет за нее. Были мы с Лидой и Тусей у Сейфуллиной. Играли в ping-pong. Сейфуллина, чтобы не потолстеть, сама нагибается и поднимает мяч с полу. (Несколько строк вырезано. — *Е. Ч.*)

Показывала ругательные отзывы о своей «Виринее» в «Сибирских Огнях» — отзывы читателей, буквально записанные.

Сейчас чувствуется, что январь 1928 г. — какая-то веха в моей жизни. Статья Крупской. Только что привезли новые полки для книг, заказанные М. Б. У меня сильно заболело сердце — начало смертельной болезни. <...> Я принимаюсь за новые работы, т. к. старые книги и темы позади.

О, когда бы скорее вышли мои «Маленькие дети»! В них косвенный ответ на псе эти нападки.

9 февраля. Вчера кончил воспоминания о Горьком. Я писал их, чтобы забыться от того потрясения, которое нанесла мне Крупская. И этого забвения я достиг. С головою ушел в работу — писал горячо и любяще. Вышло как будто неплохо — я выправил рукопись и — в Госиздат. В Литхуде Слонимский, Лидия Моисеевна (Барковицкая. — Е. *Ч.*) и, к счастью, Войтоловский. Войтоловскому я очень обрадовался, т. к. он — 1) пошляк, 2) тупица. Мне нужен был именно такой читатель, представитель большинства современных читателей. Если он одобрит, все будет хорошо. Он не одобрил многих мест, например, то место, где Горький говорит о том, что проповедь терпения вредна. «Горький не мог говорить этого после революции. *До* революции — другое дело. Но когда утвердилась Советская власть, мы должны ее терпеть, несмотря ни на что». Я вычеркнул это место. «Потом у вас говорится, что будто бы Горький рассказывал, как Шаляпин христосовался с Толстым. Этого не могло быть»...

«А между тем это было. Я записал слово [в] слово — за Горьким». — «Выбросьте. Не станет Толстой, великий писатель, шутить таким пошлым образом. Да и не осмелился бы Шаляпин подойти к Толстому с поздравлением».

Я выбросил. «И потом вы пишете, что Горькому присылали

в 1916 году петлю для веревки. Даже будто бы офицеры. Не верю. Я сам был на фронте — и знаю, что все до одного ненавидели эту кровавую бойню». — «Ну что вы! — вмешался Слонимский. — Я тоже воевал и знаю, что тогда было много патриотов, стоявших за войну до конца — особенно из офицерства. И я видел этот конверт, где у Горького собраны веревки для петли, присланные ему читателями во время издания «Летописи» и «Новой Жизни». Рядовые читатели его тогда ненавидели».— «Вздор, обожали!» — «Но ведь были же читатели «Речи», «Русской воли» и пр. и пр., которые ненавидели *Горького*». — «Нет, это были тыловые патриоты, а на фронте — все обожали». Я выбросил и это место. «Потом вы пишете, что к Горькому в 19-м году пришла какая-то барыня: на ней фунта 4 серебра — таких барынь тогда не было». Но тут возразила Варковицкая, что такие барыни *были*, — и место оказалось спасено. Вышли мы из Госиздата с Маршаком и Слонимским. По дороге встретили цензора Гайка Адонца. Он торжествует:

— Ай, ай, Чуковский! Как вам везет!

— А что? — спрашиваю я невинно.

— Ай, как вам везет!

— О чем вы говорите?

— Статья Крупской.

— А! По-моему, мне очень везет. Я в тот день чувствовал себя *именинником*, — сдуру говорю я, в тысячный раз убеждаясь, что я при всех столкновениях с людьми страшно врежу себе.

Шварц от Клячки ушел; и действительно, он сидел там зря. <...> Уже состоялся какой-то приговор над моими детскими книгами — какой, я не знаю, да и боюсь узнать. Сегодня меня пригласили смотреть репетицию моего «Бармалея». Завтра я читаю в пользу недостаточных школьников — по просьбе Ст. Ал. Переселёнкова. Послезавтра — кажется, лекцию о Некрасове. Нужно заглушать свою тоску.

Был у меня Зильберштейн. Он говорит, что в воскр. приезжает Кольцов.

15 февраля. Видел вчера Кольцова В Европейской. Лежит — простужен. Мимоходом: есть в Москве журнальчик — «Крокодил». Там по поводу распахивания кладбищ появились какие-то гнусные стишки какого-то хулигана. Цитируя эти стишки, парижские «Последние новости» пишут:

«В «Крокодиле» Чуковского появились вот такие стишки, сочиненные этим хамом. Чуковский всегда был хамом, после революции нападал на великих писателей, но мы не ожидали, чтобы даже он, подлый чекист, мог дойти до такого падения».

Итак, здесь меня ругает Крупская за одного «Крокодила», а там Милюков за другого.

Был опять у Сейф[уллиной]. Пишет пьесу. В 6 дней написала всю. 3 недели не пьет. Лицо стало свежее, говорит умно и задушевно. Ругает Чагина и Ржанова: чиновники, пальцем о палец не уда-

рят, мягко стелют, да жестко спать. Рассказывает, что приехал из Сибири Зарубин («самый талантливый из теперешних. русских писателей») — и, напуганный ее долгим неписанием, осторожно спросил:

— У вас в Москве была операция. Скажите, пожалуйста, вас не кастрировали? <...>

5/III. Третьего дня я написал фельетон «Ваши дети» — о маленьких детях. Фельетон удался, Иона набрал его и сверстал, но Чагин третьего дня потребовал, чтобы его убрали вон. Сейчас я позвонил к Чагину, он мнется и врет: знаете, это сырой матерьял.

14 марта 1928. Сегодня позвонили из РОСТА. Говорит Глинский. «К. И., сейчас нам передали по телефону письмо Горького о вас — против Крупской, — о «Кр[окодиле]» и «Некрасове]» [8]. Я писал письмо и, услышав эти слова, не мог больше ни строки написать, пошел к М. в обморочном состоянии. И не то чтобы гора с плеч свалилась, а как будто новая навалилась — гора невыносимого счастья. Бывает же такое ощущение. С самым смутным состоянием духа — скорее испуганным и подавленным — пошел в Публичную Библиотеку, где делал выписки из «Волжского Вестника» 1893 г., где есть статья Татариновой о Добролюбове почти такая же, как и та, которая «найдена» мною в ее дневниках. Повздыхав по этому поводу — в Госиздат. Там Осип Мандельштам, отозвав меня торжественно на диван, сказал мне дивную речь о том, как хороша моя книга «Некрасов», которую он прочитал только что. Мандельштам небрит, на подбородке и щеках у него седая щетина. Он говорит натужно, после всяких трех-четырех слов произносит *ммм, ммм,* — и даже *эм, эм, эм,* — но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с дарами из «врат». Он говорил, что теперь, когда во всех романах кризис героя — герой переплеснулся из романов в мою книгу, подлинный, страдающий и любимый герой, которого я не сужу тем губсудом, которым судят героев романисты нашей эпохи. И прочее очень нежное. Ледницкий подтверждает, что третье издание «Некрасова» действительно затребовано Торгсектором. Вышел на улицу, нет газеты, поехал в «Красную» — по дороге купил «Красную» за гривенник — и там письмо Горького. Очень сдержанное, очень хорошее по тону — но я почему-то воспринял его как несчастье. Пришел домой — стал играть с Муркой — и мне подряд позвонили: Сима Дрейден, Т. А. Богданович, Зильберштейн, Д. Заславский.

Вчера было собрание детских писателей в педагогическом институте — читала начинающая Будогосская.

22 марта. Ну что же записать о вчера? Все беготня и суета бестолковая. В одном месте забыл ключи от своего номера гостиницы,

в другом кашне, измученный, обалделый старик. Был в МОНО, у Дмитриевой — попал на лестницу, грязную до тошноты: на ступеньках какие-то выкидыши, прошлогодние газеты, крысиные шкурки. Это общежитие педагогов, которые должны учить других. С детским утром путаница, на седьмое можно бы, но приглашенные устроители уехали в другой город, пообещав вернуться, — неизвестно когда. И надоело мне делать дела, хоть бы увидеть одного поэта, или критика, или актера, не занятого пустяками обыденщины. Но надо же бежать в «Модпик» и заявлять, что я ни гроша за «Мойдодыра» не получил — а «Мойдодыр» ставится в «Вольном балете» уже 3 года! Нужно было пойти вчера в Наркоминдел к Б. Волину — как к редактору «Литпоста» — просить, чтобы Ольминский взял назад свое обвинение против меня — в монархизме. Нужно было идти к Шат[уновским] на свидание с Лядовой. Нужно было... а может быть, и не нужно? Не знаю. Болит голова. Был у Демьяна. Кабинет его [набит] книгами доверху, и шкафы поставлены даже посередине. Роскошная библиотека, много уникумов. «Я трачу на нее 3/4 всего, что зарабатываю». О дневнике Вырубовой: «Фальшивка! Почему они не показали его Щеголеву, почему не дали на экспертизу Салькову? Мне Вася (Регинин) читал этот дневник вслух — и я сразу почувствовал: ой, это Ольга Николаевна Брошниовская! Узнал ее стиль. Я ведь Брошниовскую знал хорошо. Где? А я служил в Мобилизационном отделе — во время войны, и она б[ыла] у меня вроде секретарши — кокетка, жеманница, недаром из Смольного, тело белое, муж был статский советник, убранство квартиры такое изысканное, не лампы, а чаши какие-то... И фигура у нее была замечательная. Лицо некрасивое — но черт меня побери — тонкая, тонкая штучка... Умная женщина, знала и французский, и английский, и немецкий языки: если она ручку, бывало, ставила на стол, так и то с фасоном — и вот теперь я узнал в дневнике Вырубовой ее стиль! Особенно когда Вася дочитал до соловушки. Я сказал: довольно, не надуешь». Я рассказал Демьяну, что видел своими глазами резолюцию эксперта О[Г]ПУ Бохия о том, что представленные «Минувшими Днями» документы признаны подлинными, что Бохий сличил письма Вырубовой, представленные ему редакцией, с теми письмами, которые хранятся в ППуХ, и нашел, что и там и здесь одна и та же рука.

— Дело не в письмах, а в тетрадках, — настаивает Демьян, и эти тетрадки несомненно составлены обольстительницей Ольгой Николаевной. И знаете как? — по гофмейстерским журналам. Недаром в этом дневнике Вырубова вышла такая умная — умная, как О. Н. А Вырубова была дура. Она жила вот в этой комнате, где я сейчас. А царь внизу. <...> О. Н. при ее уме и способностях может чей угодно дневник написать... Она теперь хвастает, что у нее есть дневник Распутина... Распутина, к-рый «Господи Исусе Христе» не мог написать связно и грамотно... Да, когда расстреляли царя и его семью, все их барахло было привезено в Кремль в сундуках — и разбирать эти сундуки была назначена комиссия:

Покровский, Сосновский и я. И вот я там нашел письмо Татьяны, вел. *княжны*, — о том что она жила с Распутиным.

— А что там было, в сундуках?

— Чулки... бриллианты... Много бриллиантов... записные книжки... чистые с золотыми обрезами и мундштуки новые, штук десять. Бриллианты [два слова нрзб] с ними. Кто взял эти бриллианты, я не знаю, но я такой жадный на записные книжки, и особенно на мундштуки — но и то не взял ничего — меня физически затошнило, и я сказал: увольте меня от этой работы.

Тут кто-то позвонил: «Диспут 2-го апреля? Выступать не буду, спасибо, а послушать приду». Оказывается, это звонил Мейерхольд.

— Ну и смелый мужчина. Вы знаете, что сейчас в ГАХНе [9] его выгнали из зала — «пошел вон» — так что он как Чацкий кричал:

«Карету мне, карету скорой помощи!»

Вот погодите, я его прикончу. Хлопну по карману. Ведь постановка его «Горя» знаете, сколько стоила? 135 тысяч. Довольно...

— Но ведь публика валом валит. Спектакль скоро окупится.

— Ну нет. Знаете, есть актеры, котор. гастролируют в Сибири — в городах по пути во Владивосток. Он едет туда — битковые сборы, но по дороге обратно он даже и в театр показаться не смеет. А другой едет туда — тихо, сборы жидкие, зато обратный его путь сплошной триумф. Так вот я вам скажу, что Мейерхольд «обратно сборов не сделает». Когда скандальный интерес к «Горю» пройдет, будет то же, что и с *«Ревизором»*, — никто не ходит, никому не нужно. Ведь нельзя же ставить Грибоедова так, как еврей экстерн сдает экзамены:

«Так вот Софья позвонила Чацкину:

— Алло, Чацкий!

— Она не могла позвонить. Телефона в то время не существовал».

— Э, что вы говорите! В богатом доме мог быть и телефон». В этом весь принцип постановки Мейерхольда.

Рассказывает Д[емьян] евр[ейские] анекдоты со всеми нюансами, очень художественно. <...>

О Горьком Д[емьян] отзывается *враждебно*. — Говорят, что когда наш посол хлопотал перед Муссолини, чтобы Горького пустили в Италию, Муссолини (умный мужик) спросил:

— А что он пишет?

— Мемуары.

— Ну если мемуары, разрешаю. Кто пишет мемуары, тот конченый писатель.

Я вступился: но ведь мемуары у него выходят отличные.

— Да, я понимаю, вам теперь Горький особенно *мил*, — после той миниатюры, котор. он напечатал о Крупской и вас. Вам очень нравятся его миниатюры.

Много говорил о книгах, хвалил молодого Крылова (до басен, сатирика): с ним в жизни произошла катастрофа; показывал книгу Сергея Глинки, где сказано, что «Павел I уклонился в обитель

предков» — «но начихать этому самому Глинке, что Павла удушили, как собаку», показывал стихи М. Веневитинова — племянника Вьельгорского — и тут же книгу о деревне этого Веневитинова, которая вырождалась, а теперь при большевиках расцветает — словом, говорил один, нисколько не нуждаясь в собеседнике.

26 марта. — Не заведующий отделом, а завидующий! — говорит Маршак о Венгрове. Эта гадина (Венгров), оказывается, внушил Крупской ту гнусненькую статью о «Крокодиле» и теперь внушает Покровскому написать в ответ Горькому ругательную статью о моих некрасовских писаниях. Сейчас он выступил с двумя доносами: на Институт Детского Чтения и на журнал «Искусство в школе». Институт провинился перед ним в том, что Покровская в одном своем отчете о детских книгах не написала ни разу слов «Пролетарская революция», а в другом — написала не «коммунистическая», но «общественная». За это он требовал закрытия Института и прочил себя на место Покровской. Но дело сорвалось. Крупская неожиданно высказалась как сторонница Покровской — и Венгрову пришлось ретироваться. Но он нажал на журнал «Искусство в школе». Там в одном из номеров было указано (в статье той же Покровской), что мои книги — среди наиболее любимых средним, и старшим, и младшим возрастом. Венгров нашел здесь мелкобуржуазный уклон — и предложил этот журнал закрыть.

Я встретил его в Госиздате неделю назад Он очень хорошо пересказал первый рассказ Бабеля «Le beau pays France»*. Рассказ этот при Венгрове Бабель принес к Горькому. (Я принял сейчас вторую порцию брому — и вот уже путаюсь в записях.) Как приехала к живущему в уездном русском городишке французу-учителю — жена-парижанка и захотела завести себе любовника. Знакомых в этом городе у нее никого. Она пишет сама себе письма, за к-рыми ежедневно приходит на п о ч т у , — и таким образом знакомится с почтовым чиновником. Чиновник не прочь «погулять» с парижанкой — и вот через неделю она ведет его за город — для любви. У нее в одной руке плед, а в другой саквояж, она шагает прямо и р е ш и т е л ь н о , — по мосткам, он идет, как жертва на заклание. Придя в лесок, она расстилает плед, вынимает из саквояжа бутерброды — и вообще готовится к любви по-парижски. Очень восхищался Венгров рассказом, и вообще вид у него рубахи-парня, а на самом деле это чинуша, подлиза, живущий только каверзами и доносами. Узнав, что Покровский хочет обо мне написать, я кинулся к Кольцову за советом. Кольцов угостил меня прелестным обедом, рассказал несколько забавных вещей про Литвинова и Чичерина, у к-рых он был с е к р е т а р е м, — и дал совет не торопить событий. «Покровский занят. Ему нужно написать по крайней] мере 50 таких же статей. Он может забыть о вас — и все обойдется. А если вы напомните, он возьмет и напишет. Но сделать

* «Прекрасная страна Франция» (*франц.*).

К. Свердлова

О «чуковщине»

Последние мысли Чуковского о детях и детской литературе собраны в его недавно вышедшей книге «Маленькие дети» (изд. «Красной Газеты»). Вокруг Чуковского группируется и часть писательской интеллигенции, солидаризирующаяся с его точкой зрения. Таким образом, пред нами, несомненно, общественная группа с четко формулированной идеологией.

Приведем несколько цитат из книги Чуковского. «Мне давно уже кажется, — пишет Чуковский, — что нам, сочинителям детских стихов и рассказов, необходимо «уйти в детвору», как некогда «ходили в народ». Иначе все наши писания будут мертвечина и фальшь».

И дальше, говоря о нелепицах: «Некоторые наблюдатели думают, что самая эта тяга к обратной координации вещей порождена в ребенке стремлением к юмору, нам кажется, что это не так, нам кажется, что остроумие здесь — только побочный продукт, а первопричина этой тяги иная. Мне кажется, что это явление сложное, я думаю, что тот инстинкт, который побуждает двухлетнего или трехлетнего ребенка устанавливать обратное взаимоотношение вещей, имеет в своей основе не юмористическое, но познавательное отношение к миру». «К счастью, ребенок не представляет себе всех колоссальных размеров того непонятного, которое окружает его, он вечно во власти сладчайших иллюзий, и кто из нас не видел детей, которые простодушно уверены, что они отлично умеют готовить обеды, играть на рояли, управлять оркестром и т. д. Их только потому не пугает их собственная неумелость, что они не подозревают об истинных размерах ее. Но всякий раз, когда по какому-нибудь случайному поводу они почувствуют, до чего они слабы, это огорчает их до слез. Это сознание собственной слабости вызывает в ребенке, на ряду с болью, и страх. Ребенок вообще необыкновенно пуглив. Он боится всего: и темной комнаты, и собственной тени, и чужого человека и тысячи всевозможных чудовищ, которыми взрослые пугают его. Такой же страх вызывает в нем все непонятное, то, с чем не в силах совладать его ум. Я знаю ребенка, который проявляет все признаки страха. Когда при нем говорят на неизвестном ему языке, он забивается в угол у книжного шкафа и с испугом смотрит оттуда на всех говорящих, даже на свою родную мать. Другой ребенок — четырехлетняя девочка — начинает испуганно хныкать, когда при нем читают непонятную книгу. Тот участок мира, который еще неизвестен ребенку, пугает его».

«Хождение в ребенка», культ тем личного детства, культ хилого рафинированного ребенка, мещански-интеллигентской детской, боязнь разорвать с корнями «национально-народного» и желание какой угодно ценой во что бы то ни стало сохранить, удержать на поверхности жизни отмирающие и отживающие формы быта; коллекционирование мелочей и раритетов, культ и возведение в философию «мелочей», нелепиц, — вот наиболее характерное для точки зрения этой писательской группы.

Почему надо присматриваться к писаниям Чуковского и иже с ним? Потому ли, что они предлагают возрождать и культивировать в детской поэзии народное творчество, потому ли, что они хотят веселить и забавлять ребят остроумной шуткой, веселой выдумкой?

Конечно, нет!

Кто будет возражать против непревзойденного совершенства образцов народной поэзии, кто будет спорить против того, что ребенка надо смешить, ибо бодрый смех — залог здоровья ребенка!

Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу потому, что они проводят идеологию мещанства, они несут ее с собой.

Опасно не то, что Чуковский в «Муркиной книге» развесил башмаки на деревьях, а то, что он подсовывает ребенку свою сладковато-мещанскую идеологию под видом заимствованных народных образцов, — «рвите их убогие, рвите, босоногие».

Из каких народных памятников заимствуют писатели этой группы свою сладковатую филантропию?

Опасно то, что писатели этой группы, делая «много шума из ничего», создавая целые теории в оправдание своего творчества, возводя в философию «комнатные мелочи», которыми по существу являются все споры о нелепицах, перевертышах и т. п., говоря о познавательном инстинкте в детской игре, о детских страхах, ни словом не обмолвились о том, что в условиях нашего роста место неорганизованных ритмов «национальной поэзии» должна занять организованная ритмика грядущей индустриальной эпохи.

Говоря о детской игрушке, вздыхая о лубке, в котором ребенок представляет себя едущим не на коне, а обязательно на петухе или козе, они ни звука не говорят о механизированной игрушке, познавательная ценность которой в том, что она знакомит ребенка с явлениями, с которыми он сталкивается в нашей жизни, при нашей установке на машину.

Ратуя со всей горячностью за то, чтобы дать детям возможность умственной познавательной игры «в перевертывание», писатели этой группы ни словом не обмолвились об играх нового порядка, заполняющих жизнь нашего ребенка, о детской физкультуре, ритмике, организованной игре, производственной игре.

Плохо и опасно то, что, говоря о детских реакциях, детских переживаниях, детских страхах, писатели этой группы берут свои примеры из жизни детей, вырастающих в обстановке мещанской семьи, где детей «лелеют», оберегают от всякого дуновения жизни, выращивают их изнеженными, пугливыми, неврастеничными и нервными. Чуковский ни словом не упоминает о наших детях, — детстве, организованном через детский коллектив, где берется установка на умственную и физическую выдержку, на физическую смелость, на здоровую конкуренцию детской энергии, где от встреч детской энергии разного порядка вырастает новый тип ребенка.

МЫ ПРИЗЫВАЕМ К БОРЬБЕ С «ЧУКОВЩИНОЙ»

(Резолюция общего собрания родителей Кремлевского детсада).

Общее собрание родителей Кремлевского детсада в количеств 49 чел. 22 рабочих, 9 красноармейцев, 18 служащих). заслушав и обсудив 7 марта сего года доклад о том «какая книга нужна дошкольнику», считает необходимым привлечь внимание советской общественности к тому направлению в детской литературе, которое стало известно под общим названием «Чуковщина».

В настоящее время мы имеем книги Чуковского и его единомышленников в издании государственного издательства. Как выяснилось, Чуковского читают своим детям и часть наших родителей. Наш советский детсад ведет упорную борьбу за идеологию, за новый быт ребенка и в этой борьбе сада книга является одним из наиболее ценных и важных средств воспитания ребенка. Это хорошо учитывают наши враги, стремящиеся тоже через книгу вырвать у нас ребенка, подчинить его своему влиянию.

Чуковский и его единомышлинники дали много детских книг, но мы за 11 лет не знаем у них ни одной современной книги, в их книгах не затронуто ни одной советской темы, ни одна их книга не будит в ребенке социальных чувств, коллективных устремлений. Наоборот, у Чуковского и его соратников мы знаем книги, развивающие суеверие и страхи («Бармалей». «Мой Додыр»—Гиз, «Чудо-дерево», восхваляющее мещанство и кулацкое накопление («Муха-цокотуха»—Гиз. «Домок»). дающее неправильные представления о мире животных и насекомых «(Крокодил», и «Тараканище»), а также книги явно контрреволюционные с точки зрения задач интернационального воспитания детей. Полтавский «Детки разноцветки» и-во Зиф. Ермолаевой «Маски»—«Гиз.

В переживаемый страной момент обострения классовой борьбы, мы должны быть особенно на чеку и отдавать себе ясный отчет в том, что если мы не сумеем оградить нашу смену от враждебных влияний то ее у нас отвоюют наши враги. Поэтому мы родители Кремлевского детсада постановили:

Не читать детям этих книг, протестовать в печати против издания книг, авторов этого направления нашими государственными издательствами, предложить изъять из продажи совершенно ненормальные по рисункам книги Полтавского «Детки разноцветки», с рис. Чехонина, и Ермолаевой «Маски», предложить нашим издательским организациям усилить работу по выдвижению и подготовке соответствующих товарищей из среды пролетарских писателей, которые взяли бы в свои руки создание детской книги, соответствующей всей системе нашего воспитания, книги, которая бы развивала в наших детях зачатки здорового вооображения дала надлежащее классовое направление всему ходу их мыслей.

Призываем другие детские сады, отдельных родителей и педагогические организации присоединиться к нашему протесту и также высказаться на страницах газет.

От редакции: Помещая резолюцию редакция просит читателей родителей и педагогов — обменяться на страницах журнала мнениями по данному вопросу, подкрепив их конкретными материалами, наблюдениями, как реагировали дети на книжки Чуковского

Статьи: К. *Свердлова «О „чуковщине"»* — *«Красная печать», 1928, №9/10* и *«Мы призываем к* борьбе с *„чуковщиной"»* — *«Дошкольное воспитание», 1929, № 4, с. 74.*

В 50-е годы Чуковский повесил в своем переделкинском доме застекленные, окантованные и увеличенные фотоотпечатки этих статей

что-то надо. Я осторожненько поговорю с Марьей Ильиничной». Анекдоты его о Литвинове заключаются в том, что Литвинов иногда молчит, когда нужно говорить. Например, говоришь ему: «М[аксим] М[аксимович], там вас хочет видеть корреспондентка мисс Стронг». У него каменное лицо — и ни звука. «Позвать?» — ни звука. «Сказать, что вы заняты?» — ни звука. «Как же поступить?» — молчит. Но говорит всегда определенно. Когда уезжает какой-нб. полпред, он говорит: — Первый пункт договора вы можете им уступить, второй пункт тоже, за третий держитесь *зубами*. — А Чичерин — <...> примет полпреда в 3½ часа ночи и скажет картавя:

— При переговорах вы должны быть тверды... но и мягки.

Тот сбит с толку, не знает, что и подумать.

Была у меня Анна Конст. Покровская. Принесла две коробочки конфет. Была Фрумкина. Была Вера Ф. Шмидт. Весь педагогический мир. Покровская рассказывает, что Венгров кому-то донес, будто она очень набожная. Так что теперь, когда Венгров звонит туда, ему отвечают:

— Анны Константиновны нет, ушла в церковь,

Сегодня 27 марта, вторник. Маршак должен побывать у Менжинской перед заседанием ГУСа. Сегодня в ГУСе вновь пересматриваются мои детские книги, по настоянию Маршака и комсомольца Зарина. В Питере М[аршак] убедил Венгрова подписать бумажку о пересмотре моих книг — Венгров обещал подписать и представить ее в ГУС, но надул, три недели солил ее в портфеле, наконец, когда Фрумкина уличила его, сказал:

— Ну что же это за бумажка. В ней всего две подписи. Какое значение она имеет.

Сам так и не подписал ее. Тем не менее она возымела свое действие, и сегодня мои книги пересматриваются вновь. Сегодня же «Федерация» рассматривает мою некрасовскую рукопись («Тонкий Человек») — и если примет, то завтра выдаст деньги. Сегодня же решается вопрос, делать ли на будущей неделе детское утро. Сегодня же в ГИЗе решают, выдать ли мне добавочное вознаграждение за редактуру Некрасова. Сегодня я повидаюсь с Рязановым. Естественно, что накануне столь важного дня я не заснул ни на миг. Вчера ночью читал у Фрумкиной с Маршаком Пастернака «1905 год», «Ночь в окопах» Хлебникова, «Графа Нулина» Пушкина и «Послание к Давыдову» Батюшкова — а потом пришел домой и принял усыпитель.

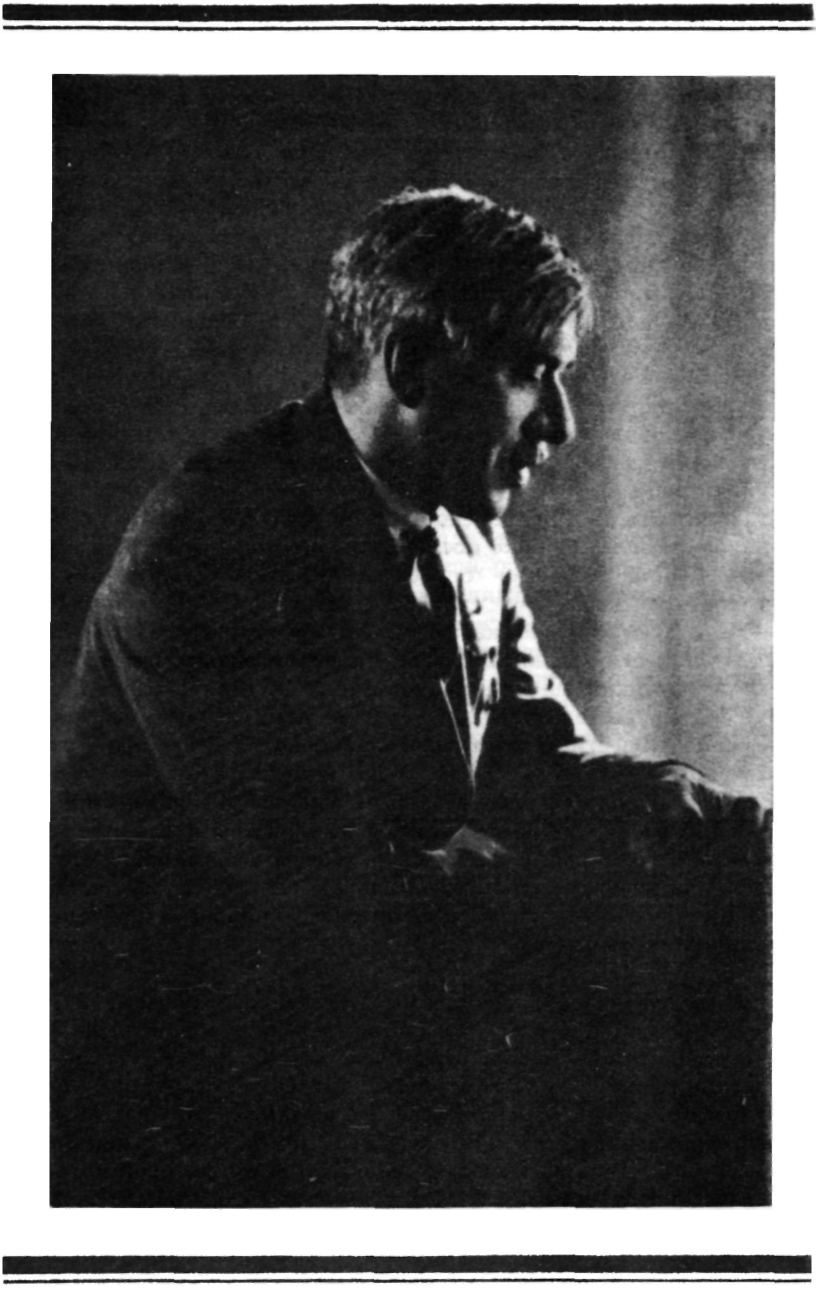
1-е апреля 1928 г. Мне 46 лет. Этим сказано все. Но вместо того, чтоб миндальничать, запишу о моих детских книгах — т. е. о борьбе за них, которая шла в Комиссии ГУСа. Маршак мне покровительствовал. Мы с ним в решительный вторник — то есть пять дней тому назад — с утра пошли к Рудневой, жене Базарова, очень милой, щупленькой старушке, которая приняла во мне большое

участие — и посоветовала ехать в Наркомпрос к Эпштейну. Я тотчас после гриппа, зеленый, изъеденный бессонницей, без электричества, отказался, но она сказала, что от Эпштейна зависит моя судьба, и я поехал. Эп[штейн], важный сановник, начальник Соцвоса, оказался искренним, простым и либеральным. Он сказал мне: «Не могу я мешать пролетарским детям читать «Крокодила», раз я даю эту книжку моему сыну. Чем пролет[арские] дети хуже моего сына».

Я дал ему протест писателей [10], мой ответ Крупской и (заодно) письмо сестры Некрасова. Прочтя протест, он взволновался и пошел к Яковлевой — главе Наркомпроса. Что он говорил, я не знаю, но очевидно разговор подействовал, потому что с той минуты дело повернулось весьма хорошо. Маршак пошел к Менжинской. Она назначила ему придти через час — но предупредила: «Если вы намерены говорить о Ч у к . — не начинайте разговора, у меня уже составилось мнение». Руднева устроила Маршаку свидание с Кр[упской]. Крупская показалась ему совершенной развалиной, и поэтому он вначале говорил с ней элементарно, применительно к возрасту. Но потом оказалось, что в ней бездна энергии и хорошие острые когти. Разговор был приблизительно такой (по словам Маршака). Он сказал ей, что Комиссия ГУСа не удовлетворяет писателей, что она превратилась в какую-то Всероссийскую редакцию, не обладающую ни знаниями, ни авторитетом, что если человека расстреливают, пусть это делает тот, кто владеет винтовкой. По поводу меня он сказал ей, что она не рассчитала голоса, что она хотела сказать это очень негромко, а вышло на всю Россию. Она возразила, что «Крокодил» есть пародия не на «Мцыри», а на «Несчастных» Некрасова (!), что я копаюсь в грязном белье Некрасова, доказываю, что у него было 9 жен. «Не стал бы Чук. 15 лет возиться с Некрасовым, если бы он его ненавидел...» — сказал М[аршак]. «Почему же? Ведь вот мы не любим царского режима, а царские архивы изучаем уже 10 л е т », — резонно возразила она. «Параллель не совсем в е р н а я , — возразил М. — Нельзя же из ненависти к Бетховену разыгрывать сонаты Бетховена». Переходя к «Крокодилу», М. стал доказывать, что тема этой поэмы — освобождение зверей от ига.

— Знаем мы это освобождение, — сказала К р . — Нет, насчет Чук. вы меня не у б е д и л и , — прибавила она, но несомненно сам Маршак ей понравился. Тотчас после его визита к ней со всех сторон забежали всевозможные прихвостни и, узнав, что она благоволит к Маршаку, стали относиться к нему с подобострастием.

Менжинская, узнав, что М. был у Крупской, переменила свое обращение с ним и целый час говорила обо мне. Таким образом, когда комиссия к шести часам собралась вновь, она была 1) запугана слухами о протесте писателей, о нажиме Федерации и пр. 2) запугана письмом Горького, 3) запугана тем влиянием, которое приобрел у Крупской мой защитник М а р ш а к , — и судьба моих книжек была решена... Я, превозмогая болезнь, написал какую-то



Ленинград. 1929 г.

бумагу, где защищал свои книги (очень вежливо) — и на мое счастье <...> «Венгрова не было, воздух был чище!» — выразился Маршак. В этом чистом воздухе и происходил бой. Вначале черносотенные элементы комиссии не пожелали рассматривать мои книжки — но большинство голосов было за. Черносотенцы говорили: нужно разбирать Чук. во всем объеме, но Маршак указал, что и так все это дело тянется несколько месяцев — и надо положить ему конец. Маршак сразу из подсудимого стал в комиссии ее вдохновителем. Когда Менж. позвали к телефону, он замещал ее как *председатель*. При содействии Фрумкиной прошла «Путаница», прошел «Тараканище». Самый страшный бой был по поводу «Мухи Цокотухи»: буржуазная книга, мещанство, варенье, купеческий быт, свадьба, именины, комарик одет гусаром... Но разрешили и «Муху» — хотя Прушицкая и написала особое мнение. Разрешили и «Мойдодыра». Но как дошли до «Чуда-дерева» — стоп. «Во многих семьях нет сапог, — сказал какой-то Шенкман, — а Чуковский так легкомысленно разрешает столь сложный социальный вопрос».

Но запретили «Чудо-дерево» в сущности потому, что надо же что-нб. запретить. Неловко после огульного запрета выдать огульное разрешение! Закончив «борьбу за Чуковского», М[аршак] произнес краткую речь:

— Я должен открыто сказать, что я не сочувствую запретительной деятельности вашей комиссии. Рецензии ваши о книгах были шатки и неубедительны. Ваша обязанность стоять на страже у ограды детской литературы и не пускать туда хулиганов и пьяных... Уже решено ввести в комиссию Вересаева, Пастернака, Асеева, Льва Бруни.

Все это я знаю со слов Маршака. Он рассказал мне про это у Алексинских на большом диване, куда вернулся после заседания ГУСа. По поводу разговора с Крупской он вспоминает, что несколько раз назвал Крупскую «милая Н[адежда] К[онстантиновна], а раз, когда ему захотелось курить, — попросил позволения пойти за спичками. <...>

14 мая. Вчера глупые обвинения Максимова, присланные мне из Конфликтной Комиссии Союза писателей. Взволновался — писал полночи ответ. Чтобы отвлечься, пошел к Сейфуллиной — больна, простужена, никакого голоса, удручена. В квартире беспорядок, нет прислуги. «Развожусь с Валерьяном (Правдухиным)!» Я был страшно изумлен. «Вот из-за нее, из-за этой «рыжей дряни», — показала она на молодую изящную даму, которая казалась в этой квартире «как дома». Из дальнейшего разговора выяснилось, что Валерьян Павлович изменил Сейфуллиной — с этой «рыжей дрянью», и С, вместо того чтобы возненавидеть соперницу, горячо полюбила ее. Провинившегося мужа услали на охоту в Уральск или дальше, а сами живут душа в душу — до его возвращения. «А потом, может быть, я ей, мерзавке, глаза выцара-

паю!» — шутливо говорит Л. Н. У Сейф. насморк, горло болит, она говорит хриплым шепотом, доктора запретили ей выступать на эстраде целый год, она кротко говорит про рыжую: «Я вполне понимаю Валерьяна, я сама влюбилась в нее». Рыжая смеется и говорит: «Кажется, я плюну на все и уйду к своему мужу... хотя я его не очень люблю». Она родная сестра Дюкло, «отгадчицы мыслей» в разных киношках, — и сама «отгадчица» — «в день до 40 рублей зарабатываю — но надоело, бездельничаю, ну вас, уйду от вас... не к мужу, а к другому любовнику». — «Душенька, останьтесь, — говорит Сейфуллина, — мне будет ночью без вас очень худо». Отгадчица осталась. Сейфуллина смеется:

— В первое время она, бывало, храпит во всю ивановскую, а я не сплю всю ночь напролет, бегаю по комнате, курю, а теперь я сплю, как убитая, а она не спит... лежит и страдает...

Но это едва ли. Откуда Сейфуллина может знать, что делает рыжая, если она, Сейф., спит «как убитая»!

---

15 мая. Ночь. Не сплю. Сегодня увидел в трамвае милую растрепанную Ольгу Форш. Рассказывала об эмигрантах. Ужаснее всех — Мережковские — они приехали раньше других, содрали у какого-то еврея большие деньги на религиозные дела — и блаженствуют. Заразили своим духом Ходасевича. Ходасевич опустился — его засасывает. С нею и Лелей Арнштамом к Сейф. С. — одна. Рыжая уехала. Сегодня она была у Семашки, который повез ее в клинику и выдал ей бумаги для поездки в Вену. Форш очень забавно назвала Бабеля помесью Грибоедова и Ремизова без женского участия. Когда С. сказала ей, что ей трудно писать, т. к. она, Сейфуллина, стала стара, Форш сказала:

— И, мать моя, разве этим местом ты пишешь.

Форш хочет написать хронику Дома Искусств «Ледяной корабль». Очень была рада, когда увидела Лелю Арнштама. Ах, как не хорошо, что я пробездельничал весь вечер и теперь не сплю.

20.V.1928 г. Оказывается, я заболел ларингитом. Жар уже 5-е сутки. В жару писал возражение на глупейшие обвинения, выдвинутые против меня Евгеньевым-Максимовым. Читаю «Современник» 50-х годов.

Был у меня сейчас Тынянов — читал конец своего романа о Мухтаре — отличный. Я очень рад за него.

4/VI. Любопытная неделя была у меня тотчас по выздоровлении. (1-ое). В «Ленингр. Правде» выругали Кроленко, назвали его арапом. Я вызвался написать протест и целый день истратил на все это дело. (2-ое). В той же «Правде» выругали Женю Редько за то, что она будто бы даром получала два года жалование в Александринке, пользуясь фавором дирекции. Меня попросили написать

возражение. Я ездил с Женей к Адонцу и в «Правду» — еще один день пропал. (3-е). Вызвала меня к себе Сейфуллина — она только что проиграла процесс — потеряла 18 тысяч — издательство «Пролетарий» придралось к тому, что по договору оно имеет право владеть ее сочинениями по 1 янв. *включительно,* а она продала их ГИЗу от 1-го янв., т. е. вышло так, что 1-го января два изд-ва владели ее сочинениями — и хотя 1-е янв. — праздник, хотя вообще один день в издательском деле не играет никакой роли, судья «Карапет» (как говорит она) решил дело в пользу «Пролетария». Она вызвала меня к себе — и я решил писать по этому поводу протест от лица Союза писателей. (4-е). Попросил меня Клячко пойти в Финотдел — выхлопотать для него отсрочку в уплате 40 000 р., которые взимают с него, — я прихватил Федина и Маршака — мы пошли и потеряли все утро. (5). Нужно хлопотать о Вите Штейнмане, чтобы Чагин издал его книжку, я ходил и хлопотал (Вите, по моей просьбе, дает предисловие к книге Кольцов). (6). Вчера был у меня Тан-Богораз и сидел пять часов неизвестно зачем, и я жалел старика и вытерпел весь длинный визит. Все это не доставило мне удовольствия — и я отныне решил обуздывать глупую мою «доброту».

Позабавила меня Сейфуллина. Рассказывая, как ей тяжко было после приговора, она сказала:

— Если б можно было не совсем повеситься, а немножко, я бы повесилась, а совсем — жалко.

31 августа. Вчера утром узнал в ГИЗе, что приехал Горький. Приехал инкогнито, так как именно сегодня в утренней «Красной» сказано, что он приезжает 3 или 4 сентября. Мы с Маршаком направились к нему в «Европейскую». В «Европейской» швейцары говорят, что его нету, что он строго приказал никого к себе не пускать и т. д. Но на счастье в кулуарах встретили мы репортера «Правды», который уже видел его в коридоре — и пытался разговаривать с ним, — но «убедился, что основное свойство Горького угрюмость». Репортер сообщил нам по секрету, что Г. остановился в 8 номере — т. е. внизу в коридоре в лучшем номере гостиницы. Мы пошли, робко постучали: вышел Крючков, стал говорить, что Г. занят: мы не настаивали, но, узнав наши фамилии, он пригласил нас войти в 8 номер, к-рый оказался пустым, и там мы прождали минут десять — двенадцать. М. прочитал мне прекрасный перевод «For want of the Shoe (из «Nursery Rhymes») * и сказал, что у него есть еще 12 вариантов этой вещи! 12 вариантов! Переведено мускулисто — и талантливо, находчиво очень.

Нас позвали в соседний 7-й номер, где и был Горький. Он вышел нам навстречу, в серой куртке, очень домашний, с рыжими отвислыми усами, поздоровался очень тепло (с Маршаком расцеловался, М. потом сказал, что он целует, как женщина, — прямо *в губы*), и мы вошли в 7-й номер. Там сидели 1) Стецкий (агит-

* «Гвоздь и подкова» (из «Нянюшкиных прибауток») (*англ.*).

проп), 2) толстый угрюмый ч[еловек] (как потом оказалось, шофер), 3) сын Горького Максим (лысоватый уже, стройный мужчина) и Горький, на диване. Сидели они за столом, на котором была закуска, водка, вино, — Горький ел много и пил — и завел разговор исключительно с нами, со мной и М. (главным образом с М., которого он не видел 22 года!!).

Во время этого разговора я вспомнил, что, когда М. начинал свою карьеру и приехал в Пбг. из Краснодара, Г. был еще в Питере. М. предложил во «Всемирную» свои переводы из Блэйка, и Горький забраковал их (из-за мистики). Но теперь он встретил М. как долгожданного друга и очень оживленно стал рассказывать, как он, Г., ловко надул всех — и приехал в Пб. так, что его не узнали. Даже в поезде никто не узнал, — на вокзале ни души. «А то, знаете, надоело. В каждом городе, на каждом вокзале стоят как будто одни и те же люди и говорят одно и то же, теми же словами. И баба — в красной косынке — с равнодушными глазами — ужас! В одном месте она сказала так:

— Товарищи! Перед вами пролетарский поэт Демьян Бедный!

Так что я должен был сказать ей, что я не бедный, а богатый. И кто-то поправил ее:

— Дура! Бедный — толстый, а Горький — тонкий. Знают, подлецы, литературу. Знают...»

Горький действительно тонкий. Плечи очень сузились, но талия юношеская, и вообще чувствуется способность каждую минуту встать, вскочить, побежать. Максим по-прежнему при людях находится в иронических с ним отношениях, словно он не верит серьезным словам, которые произносит отец, а знает про него какие-то смешные. Когда отец рассказывал анекдоты о своих триумфах в провинции, сын вынул узкую большую записную книжку — и, угрожающе смеясь, сказал:

— Вот здесь у меня все записано.

Я сказал:

— Эта книга будет напечатана в тысяча девятьсот

— восемьдесят девятом году! — подхватил они хотел прочитать оттуда что-то очень смешное, но отец сказал: «Не надо!» — и он спрятал книгу в карман.

Заговорил Горький о том, как во всей Европе теперь вот такие биографические романы, как «Кюхля» Тынянова — о великих людях — какой они имеют успех и как они хороши — перечислил десятки французских, немецких и даже испанский назвал — о Тирсо де Молина, причем имя Рамбо произнес на французский манер. Упомянул при сей оказии О. Форш. А потом перешел к Замятину. «Вам нравится его «Атилла»?» Словом, решил с п[етер]бургскими литераторами говорить о петерб. литературе. Кроме того, он усвоил мило-насмешливый [тон] по отношению ко всем овациям, которым он подвергается. Сейфуллина рассказывала мне, что ей он сказал в Москве:

— Всюду меня делают почетным. Я почетный булочник, по-

четный пионер... Сегодня я еду осматривать дом сумасшедших... и меня сделают почетным сумасшедшим, увидите.

О «строительстве» в личных беседах он говорит так же восторженно, как и в газетах, но с огромной долей насмешливости, которая сводит на нет весь его пафос. Ему как будто неловко перед нами, и он говорит в таком стиле:

— Нужен сумасшедший, чтобы описать Днепрострой. Сумасшедшая затея, черт возьми. В степи морской порт!

Не понять, говорит ли он «ах, какие идиоты!» или: «ах, какие молодцы».

Пригласил нас к себе. Велел позвонить Крючкову в 8 часов утра.

Условиться, когда он будет свободен.

«Хозяин времени во вселенной — Крючков!» — объявил он. Пошел со Стецким — ехать на завод. Вышел на улицу. В вестибюле его не узнали — какой-то прохожий даже толкнул его, но вся прислуга гостиницы, обычно столь равнодушная к знаменитостям, выбежала поглядеть на него.

6/IX. По дороге в Москву на Кисловодск. Щеголев: анекдот о П[у]шк[ине]: москвич говорит: — Ой, я видел одного писателя, очень знаменитого, в трамвае № 5, на Б. Басманной. — Какого писателя? — Знаменитого... как его? Да! Пушкина! — Пушкина в трамвае № 5 по Басманной?! — Да. — Вот и врешь! Что писателя, я верю, но что на Басм[анной] Пуш[кина] — нет. — Да. — Вот и врешь! Трамвай № 5 по Басманной не ходит. <...> Рядом с нами в соседнем вагоне Илюша Зильберштейн. <...> при «Огоньке» выходит Чехов в будущем году. <...> Сыплет датами и цитатами: «Я думаю, что «Невесту», которая была в «Ж[изни] д[ля] Вс[ех], в 1903 году нужно дать с «Вишневым Садом», который был в альманахах «Знания» тоже в 1903 году, и разделить издание на две части. В комиссию по Изданию Чехова войдут Горький, Кольцов, я и... <...>

Едет еще и Виттенбург Лахтинский... Едет вместе с проф. Визе. Звал познакомиться. Но у меня в душе мрак: 2 sleepless nights *. Щ[еголев] говорит, что приемные комиссии в ВУЗах забраковали детей всех ленингр. писателей.

Прекратился журнал «Бегемот». <...>

О Г[орьком]. Он сказал Маршаку: «Our government? **. Лодыри! В подкидного дурака играют! Вот Бриан или Chanteclaire в подкидного дурака не играют».

Для Гефта и Халатова он вообще идеальный, безупречный писатель, без всяких недостатков. Когда мы заседали с Халатовым и Гефтом по поводу ВУЗ'ов, они смотрели ему в рот и считали его улыбки в мою сторону и в сторону Маршака. Кому больше

---

* Бессонные ночи (*англ.*).

** Наше правительство? (*англ.*).

улыбок, тот и фаворит Г., тому и больше почету. Улыбок больше получил М., на него и посыпались милости.

Я на заседание к Г. попал прямо после катастрофы: трамвай помял Рохлина, я возил его в скорой помощи в Петроп. больницу, не имел секунды подготовиться — и... впрочем, ну его к черту!

Г. рассказывал, как одна девочка 13 лет забеременела от школьника 14 лет. Он так испугался, что поселил ее в сарае... да, в сарае. Перенес туда ковры, всякую мебель, она сидела там и пухла, а он тайно носил ей еду. Когда дело открылось, его мать даже обиделась, почему он не сказал ей, что ее ждет такая семейная радость. Девочка новорожденная весила 6 фунтов, а ее отец и мать каждый день вместе ходили в трудшколу.

Я вступился. «Это не правило, а исключение» и пр. Г[орький]: «Знаю, что исключение. Вот колония ТВХ, где все бывш. проститутки и воры — у них даже закон такой: своих девочек не трогать. О, они очень забавные. Написали для меня свои автобиографии, и вот одна пишет:

— Как-то неловко резать незнакомого! Не угодно ли?»

Потом почему-то заговорили о Святополке-Мирском. Чудак! Не ест, не пьет, а все стихи читает. По-французски, по-немецки, по-английски. Только и дышит стихами. Так и ищет, кому бы стихи почитать.

Очень ругал Мережковского. Он египетский роман написал, где все египтяне так и чешут по-рязански. Смешной. Мы одно время после обеда для смеху читали по 4 страницы.

Уже 8 часов. Жаль, что я не захватил карты. Не знаю, куда едем, когда приедем.

П. Е. Щеголев спрятал в чемодан казенную подушку и *оставил свою.*

Проводник: «Извиняюсь за нескромный вопрос: где подушка?»

О Панчуледтове: — Вот кавалергард, написал такую контрреволюционную книгу, а я его люблю и хвалю, потому что история кавалергардов — есть, в сущности, история всей русской культуры.

О Рязанове: — Держится, как хам; в его обращении с людьми никакого коммунизма нет.

Очень интересно говорил об Ив. Васильевиче Анненкове, который, как оказывается, редактировал сочинения Пушкина — а Пав. Вас. только написал биографию поэта!!! Ив. Вас. редактировал не только П[у]шк[ина], но и жену П[у]шк[ина], ибо он был правая рука Ланского, и благодаря этому за 5000 р. купил право на издание сочинений П[у]шк[ина].

Говорю Щеголеву: — Ведь вы столько пьете. Неужели у вас даже склероза нет?

— Нету. Я пью — а у моей жены подагра!

И смеется хитро.

Дал мне яблоко. — Скушайте. Для меня оно слишком твердое. — Я откусил: кислятина. Смеется. — Хорошее я съел бы сам.

7/IX. Степь украинская. Небо серенькое, петербургское. Эту ночь я спал. С вечера от 8 до 11. И потом еще сколько-то. Баштаны. Мазанки. Тополи. Подсолнечник. Но бедность непокрытая.

Познакомился вчера с инженером. Спортсмен, 34 года. Голова лысая совсем — ни волоска. Лицо норвежца. Конструктор аэросаней. Очевидно, талантливый. Очень хорошо рассказывает — горяч, честолюбив, спортсмен, любуется собой — и я вместе с ним. Рассказывал о своих друзьях в Париже. Один из них Васька (оставлено место для фамилии. — *Е. Ч.*) гулял по всему Парижу в толстовке и по-французски даже бонжур не знал. Пришел Васька в ресторан, взял карточку и наугад заказал какое-то блюдо. Лакей убежал куда-то, но блюда не принес. А ему адски хочется есть. Он зовет другого лакея — показывает ему какую-то строчку в меню — и ждет. Опять ничего не несут. После третьего раза — ему принесли счет: 30 франков. За что? Оказывается, то была карточка фокстротов — и он три раза вместо еды заказывал фокстроты. Таких анекдотов он рассказал несколько. Его приятели в Лондоне — пошли в кафешантан — и увидели надпись No smoking allowed * — и решили, что без смокингов туда не пускают.

Но то, что рассказывает мой спутник о нашем строительстве, не смешно, а страшно. Он сейчас из Днепростроя. Оказывается, что америк. компания, кажется, Клярка, предложила построить всю эту штуку за столько-то миллионов. Наши отвергли: «Сами построим», а американцев пригласили к себе в качестве консультантов. Консультация обходится будто бы в сотни тысяч рублей, но к американцам из гордости инженеры не ходят советоваться, и те играют в теннис, развлекаются — а постройка обошлась уже вдвое против той цифры, за которую брались исполнить ее американцы. Рабочие работают кое-как, хорошие равняются по плохим, уволить плохих нельзя, этого не позволит местком, канцелярская волокита ужасная и проч. и проч. и проч. Я слушал, но не очень-то верил ему, потому что, как талантливый человек, он чересчур впечатлителен. <...>

Вчера проезжали Тулу. До чего связаны все пейзажи Тульской губернии с «Анной Карениной», «Войной и Миром». Глядишь и как будто читаешь Толстого. <...>

9/IX. Приехали. Куда идти? В Цекубу. На горе стоит несколько домов, отдельный дом — огромная столовая. В ней сразу нахожу загорелого и синеглазого Вяч. Полонского, длинного и милого Леонида Гроссмана, Столпнера, столь же лысого, как прежде, но белобородого, Ортодокс (автора марксистской, но хорошей статьи о Толстом), Озаровскую, Станиславского и Качалова. Станиславский меня не узнал, но потом, узнав, бросился вдогонку и ласково

* Курить не разрешается (*англ.*).

приветствовал. Здесь его все «ученые старички» обожают. Смотрят на него благоговейно. И нужно сказать, что он словно создан для этого. Со всеми больше, чем у ч т и в, — дружелюбен и нежен, но без тени снисхождения (как это у Шаляпина) и без тени раболепства (как у Репина) — сановито, величаво и в то же время на равной ноге. Тайна такого рода отношений умрет вместе с ним, но каждый, с кем он говорит, чувствует себя осчастливленным. Мне он сказал, что у него внучка 6 лет, очень любит мои книги, что он и сам их почитывает, что он заканчивает 2-й том своей «Жизни в искусстве»; Качалов сообщил мне детское слово «профессорница». <...> Поели мы всласть — до отвалу и пошли в гостиницу искать комнату, набрели на пансион Ларисса, где нашли Ал. Толстого. Он похудел, глядит молодцом, но, как потом оказалось, каждую ночь регулярно проводил весь месяц в кабаке; разговор у нас был короткий. Он говорил, что Пильняк не имел здесь никакого успеха, что Тальников в своей статье совсем прикончил Маяковского[11], «после этого Маяковскому не встать», что у Николая Радлова, который жил здесь же, в той комнате, где я сейчас, украли 200 рублей, и проч. Потом я ходил — и слишком много — глазеть, очень устал, в 5 час. был на вокзале, провожал вместе с «учеными старичками» Станиславского и Качалова — и в сотый раз подумал о том, что Художественники гениальные мастера юбилействовать, хоронить, получать букеты цветов, посылать приветственные телеграммы и проч. Станиславский пожал около сотни рук, причем каждому провожающему сказал что-ниб. специально его, этого человека, касающееся. И как будто нарочно были инсценированы особо трогательные моменты: два чистильщика сапог, армяне, лет по 8 каждый, кинулись в последнюю минуту по буферам к той площадке, где стоял Станиславский, и крепко пожали ему руку: прощай!

Вечером — в Нарзанной галерее. И потом с трудом, с сердцебиением — в постель.

16/IX. Был на «Храме Воздуха». Ветер. Солнце. Обжег себе нос. Вернулся — Тихонов. Ему дали подвальную комнату. Тихонов рассказал, что редактора Чипа — Васильченко — убрали за то, что он написал пасквильный роман, где вывел Рыкова, Сталина и проч. Халатову выговор, Васильченко убрали. Халатов свалил всю беду на О. Бескина... Тихонов только что проехал от Нижнего до Астрахани. Говорит, что впечатление от России ужасное: все нищи, темны, подавлены. Он хотел высадиться в Царицыне, но поглядел на толпу, что стояла на пристани, и — не решился. О Горьком: Горький в плохих руках. Петр Крючков не может дать ему совета, какой линии держаться в разных мелких делах (в крупных — Горький и сам знает), но все эти мелочи, которые должны бы ставить Горького в выгодном свете перед литераторами, учеными и пр., он, Крючков, не умеет организовать.

Тихонов написал сценарий «Леонид Красин», где изображает

Красина в двух планах, как светского человека, богатого инженера и как революционера. Кончается побегом его из Выборгской тюрьмы.

А. Н. Тихонов очень хорошо устроил два дела: навязал «Федерации» все рукописи и книги «Круга», потерпевшего крах, и подписал договор с ГИЗом о том, что *всю* продукцию «Федерации» ГИЗ приобретает за наличные деньги. — Казалось бы, все хорошо, — говорит Тих., — а я не верю в успех. Нет почвы...

Он ушел играть в лаунтеннис, а потом вернулся с Мих. Кольцовым. Кольцов приехал сюда третьего дня — белые брюки, стриженая голова, полон интересных московских новостей и суждений.

По поводу статьи Горького «Две книги» (о ГАХНе и Асееве) [12] он говорит: «Г. не знает, как велик резонанс его голоса. Ему не подобает писать рецензии. Человек, которого на вокзале встречало Политбюро в полном составе, по пути к-рого воздвигают триумфальные арки, не должен вылавливать опечатки в писаниях второстепенного автора. Я считаю Горького очень хитрым, дальновидным мужиком. Он хочет вернуться в Италию. Ему нужно иметь с итальянцами хорошие отношения. Вот он заранее приготовляет себе путь к возвращению — при помощи статьи о Асееве.

Кроме того,— прибавил Кольцов, — в статье об Асееве чувствуется и личная обида».

Я горячо возражал. Г. так объелся похвалами, что похвалы уже не имеют для него никакого вкуса.

— Он, напротив, любит тех, кто его ругает, — сказал Тихонов.

Кольцов засмеялся.

— Верно. Когда Брюсов, к-рый травил Г., приехал к нему на Капри и стал его хвалить, Горький даже огорчился: потерял хорошего врага.

Потом заговорили о Лиле Брик. — <...> нужна такая умная женщина как Лиля, — сказал Тихонов. — Я помню, как Маяк., только что вернувшись из Америки, стал читать ей какие-то свои стихи, и вдруг она пошла критиковать их строку за строкой — так умно, так тонко и язвительно, что он заплакал, бросил стихи и уехал на 3 недели в Ленинград.

Потом заговорили о Бабеле. Кольцов: — Я помню его в ту пору, когда он только что приехал в Питер и привез три рассказа, которые и прочитал Зозуле. — Можно это напечатать? — Можно! — сказал Зозуля. — Где? — Где угодно. — Он отнес их к Горькому. Мы стали жить втроем, как братья. В то время б[ыл] голод. Мы ели гузинаки и запивали чаем. Иногда нам перепадала коробка сардин. Бабель делил с нами нашу трапезу братски. Но однажды Зозуля сказал: — Поди посмотри в щелку, как Бабель один ест хлеб. — Я глянул: стоит и жует. Потом вышел и говорит: — Ах молодость, молодость! Вот третий день не видал ни крошки хлеба — и проч.

Кольцов был на Медовом водопаде, увидал там рекламу какой-то певицы или танцовщицы и решил устроить там на скале еще выше рекламу: «ОГОНЕК».

Он уничтожит с января журнал «Смехач» и выпустит новый «Чудак» по-другому, довольно эпигонов сатириконства.

Потом заговорили об Ал. Толстом. Все трое похвалили его дарование, его характер, его Наталию Васильевну и разошлись: они спать, а я страдать от бессонницы.

17/IX. Солнце. От вчерашней ходьбы на «Храм Воздуха» болит сердце. От ветра болит лицо. От безделья — болит душа. День ясный, безоблачный.

22/IX. Вечера холодные. А дни горячи. Сегодня переехал в Цекубу — и блаженствую. Наконец-то у меня есть письменный стол, могу заниматься. Есть шкаф для вещей. И не вижу хищного, злого, притворно-сантиментального лица Ларисы. Три дня с волнением ждал телеграммы о Бобе — и сегодня инженер Мих. Як. Скобке принес мне за обедом такую телеграмму:

ПРИНЯТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛЬНОЕ КРЕПКО ЦЕЛУЮ = МАМА =

Я страшно обрадовался — и даже заплакал. Ну вот и перед Бобой открывается новая огромная жизнь. Пропал куда-то мой черноголовый малыш, смешной и картавый ребенок...

Сегодня впервые я принял целую нарзанную ванну. Познакомился с Ромашовым. Он говорит, что еще в Киеве слушал мои лекции. <...>

Вчера читала в Цекубу Озаровская с огромным успехом, хотя ее свадебные причитания излагаются ею не по-народному, а в драматической форме с излишними интонациями, которых в народной песне нет. (Сваха, невеста, брат невесты.) Надо бы матовее, без рельефа. Но рассказ ее о замерзших песнях, которыми архангельские купцы торгуют с англичанами, превосходен и подан читателю с максимальным эффектом. Сегодня меня и ее позвала к себе здешняя врачиха Екатерина Алексеевна, старуха, у которой собираются писатели. Не хочется обидеть, но и идти не хочется.

Сейчас у меня были 4 армянина, из них один — Аветик Исаакян, знаменитый поэт. Невозможно передать, до чего симпатичен этот человек. Скромен, молчалив, без малейшей позы, он жил среди нас 2 недели, и никто не знал, кто он такой. Между тем слава его такова, что, когда я заговорил о нем с парикмахером-армянином (на Тополевой улице), он сейчас же прояснился лицом и по-армянски стал цитировать его стихи. Заговорил с чистильщиком сапог, он тоже: «Аветик, Аветик». Лицо у него рассеянное и грустное. Говорят, что советская власть (которая выдает ему небольшую пенсию) не пускает его за границу к семье. Поразительно, что когда я попросил его прочитать по-армянски хотя бы 4 строки какого-нибудь его стихотворения, он не мог, все забыл, а когда

мы устроили армянский вечер и с эстрады читали его стихи, он сидел среди публики, пригнувшись и прикрывая лицо. На эстраду ни за что не вышел и не произнес *вслух* ни одного слова. Армяне живут так сплоченно, что он — чистил себе сапоги у чистильщика-армянина, стригся у парикмахера-армянина, ездил на извозчике-армянине, ходил пить чай к армянину-архитектору Хаджаеву и проч. и проч. Ко мне он как будто привязался и рассказывал, что в Армении очень хорошо переведены мои детские книги.

5 ноября. Кисловодск. Озаровская: у нее как будто был удар. Ходит она, как дряхлая старуха. Временами пропадает у нее зрение. Она рассказывала свои воспоминания о Менделееве, в тысячный раз: я помню, как она рассказывала их в редакции «Речи» в 1908 или 1909 году (двадцать лет назад!) точь-в-точь теми же словами, как сейчас. Загадка в том, что она рассказывает 20 лет только о Менделееве (из своих воспоминаний) — затверделыми привычными словами, не меняет ни одной запятой. Он[а] женщина умная и даровитая, но вкус у нее слабоват, и, например, о Козлике и Волке она рассказывает гнусный вариант, самоделку интеллигентскую в то вр[емя], когда есть в этих стихах магические строки:

Ах ты зверь, ты зверина,
Ты скажи твое имя.

Я продержал корректуру ее «Менделеева» — дал ей взаймы 60 рублей — и вообще мы сдружились. Она устраивает свой юбилей в январе и откровенно пригласила к себе в юбилейный комитет Переверзева и Елену Борисову. Сама наметила, кто будет ее чествовать — вслух, с эстрады, но это вышло у нее очень хорошо. <...> Был здесь академик Багалей, украинский историк. Бесталанный, серый писатель, ставший по приказу начальства марксистом. Я прочитал его биографию, изданную украинской Ак. Наук, — нудное и убогое сочинение. Ни одной характеристики, ни одного колоритного эпизода. Каждая страница — по стилю казенная бумага. Но в разговоре приятен: прост, ненапыщен, много рассказывал о Потебне, о своей невесте: как она нарочно снялась не рядом с ним, а с каким-то студентом, который б[ыл] влюблен в нее: «Это была политика». Вообще он политикан и хитрец и тоже весь поглощен собою.

Столпнер: великий диалектик, очень оригинальная фигура. Марксист, который *верит в бога!* Теперь у него все в прошлом — и он привязался ко мне, как к человеку, видевшему его былую славу. <...>

Вяч. Полонский и его жена были здесь очень милы, всеми любимы; они оба дружны и приятны. Но как-то мы разговорились с ним вечером у «Храма Воздуха», и он заговорил о себе как о великом человеке, what he is not *. Он работяга — и только. Статьи

* Каковым он на самом деле не является (*англ.*).

его не гениальны, иногда безвкусны и по стилю не слишком изысканны. У меня он перенял мою былую нехорошую хлесткость — но, конечно, литературу он любит и линию в ней ведет благородную (насколько это возможно).

Никогда я не забуду этих дней в Цекубу. Наша «хозяйка», Ел. Бор. Броннер, женщина властная, эгоцентрическая, не управляет, но царствует. У нее в Москве огромные связи, ее муж — правая рука Семашки, она знакома со всей ученой, артистической, партийной Москвой, отлично разбирается в людях и обладает огромным талантом к управлению ими. Все у нее ходят по струнке, ей 47 лет, она не утратила былой красоты, она очень цельный человек, откровенный, немного презирающий всех нас. Прекрасная рассказчица. Очень хорошо рассказала мне, как в Цекубу приехал пролет, писатель Артем Веселый и ее сын Боря вдруг стал ругаться по матери. Веселый сошелся с Борей и научил 10-летнего мальчика самым ужасным ругательствам, называл ученых буржуями — и не желал даже сидеть с ними за одним столом, а беседуя с Ел. Бор., сам того не замечая, матюкался на каждом шагу. «Я так и похолодела, когда услыхала вдруг *3 слова,* а потом ничего, привыкла».

Был здесь и *Ромашов,* с тоненькой и бледной женой. Он прочитал мне свой «Воздушный пирог», чудесную, полнокровную вещь, где характер Семена Рака поднимается на боевую высоту, и мне его дарование очень понравилось, но он сам зол, обидчив, не прост, подозрителен. Я думаю, что таким его сделала сцена, где человек человеку волк. Работнику сцены — особенно теперь — необходимо иметь острые зубы и когти. Но он эти зубы и когти зачем-то направлял против меня — и наши отношения стали мучительными. Каждый вечер он приходил ко мне и доводил меня до белого каления. Я был очень рад, когда он уехал. Он рожден драматургом. Его отец и мать были актеры, он с детства — в театре, разговаривая, он цитирует, в виде поговорок, строки из Гоголя, Островского, Грибоедова, Мольера. Кроме того у него хорошая литер. школа: он был поэтом, писал много стихов, водился с Брюсовым, Вяч. Ивановым.

Здесь промелькнуло много инженеров: Пиолунковский — изобретатель, сын польского повстанца, родился в Сибири, талантливый изобретатель, зарабатывавший сотни тысяч рублей, тяготевший издавна к большевикам, очень увлекающийся, милый человек — подружился со мною, рассказал мне даже свою семейную драму, которой никому не рассказывал.

Карл Адольфович Круг, знаменитый электротехник, основатель эл.-технич. института, квадратный мастодонт 54 лет, с могучими плечами, без нервов, с огромной, высоченной женой, моего роста, правительницей, очень забавной женщиной, вроде Тамары Карловны. Ее Карл — основательный мужчина. Все, что он знает, он знает — и когда однажды я заговорил с ним о Кавказе, он стал называть десятки рек, деревень, городишек, гор — так четко и креп-

ко он помнит прежние свои путешествия по Кавказу. <...> не забуду я сладкого кисловодского воздуха, нежно ласкающего сердце, и щеки, и грудь. В его сладости я убедился этой ночью, *6 ноября,* во время своего безумного набега на ст. Минеральные Воды. 3-го ноября я получил от М. Б. телеграмму, вызывающую меня в Ленинград. Но колич. больных, отъезжающих из Кисловодска и Пятигорска, так велико, что достать билет немыслимо. Я поехал вчера «на ура». <...> Взял чемодан, корзинку, масло в двух бидонах, рис, портфель. Меня и других провожали все цекубисты, бывшие в наличии, — все были уверены, что я уезжаю, я расплатился с прислугой — и вот на вокзале оказалось: билетов нет и не будет до 7-го; у меня альтернатива — поселиться в общежитии — тут у вокзала — или ночью вернуться в свое Цекубу. Я предпочел вернуться, так как в общежитии люди спят по десяти человек в одной комнате. Станция Минеральные Воды совсем петербургская, — вид вокзала, с узлами на полу и спящими людьми, с буфетом и вонючими уборными, вызвал во мне страшную тоску — я сел в кисловодский поезд, почти пустой, точь-в-точь как куоккальский, с теми же мелкими пассажирами, клюющими носом, и, измученный, еду назад, при мне тяжелейший портфель и корзина, вздеваю все это на палку — и с ужасом думаю о том, как я взойду с этой тяжестью на Крестовую гору, — и вдруг при выходе из вагона меня обнимает упоительный воздух, и я с новыми силами *бегу* по горе — к дорогим тополям и любимому белому дому.

За это время я познакомился с десятками инженеров. Все в один голос: невозможно работать на совесть, а можно только служить и прислуживаться. Всех очень ударила смерть Грум-Гржимайлы, тотчас после ругательного фельетона о нем «Профессор и Маша». Здесь инженеры Жданов, Круг, Куцкий, Пиолунковский — знаменитые спецы, отнюдь не враги сов. власти — так и сыплют страшными анекдотами о бюрократизации всего нашего строительства, спутывающей нас по рукам и ногам. <...>

Лежу в постели, болит сердце после вчерашнего.

А кругом больные, бледные, худые
Кашляют и стонут, плачут и кричат —
Это верблюжата, малые ребята.
Жалко, жалко маленьких бедных верблюжат.

6 ноября. И вот я опять на дивном балконе — лицом к солнцу — без пальто. На небе белые-белые облачки. На балконе листья тополей. Я один. <...>

Трагически упала у нас стиховая культура! Я прочитал на Минутке у Всеволода Ив. Попова чудное стихотворение О. Мандельштама «Розу кутают в меха» — и вот Манджосиха просит *после этого* прочитать ей стишки Г. Вяткина — ужасные, шарманочные, вроде надсоновских! Тут же рядом Пазухин заговорил о поэзии, читает Бальмонта о феях, где одна только ужимка и пошлость.

И когда я кричу на них с гневом и болью, они говорят, что я неврастеник. И, пожалуй, правы. Нельзя же бранить людей за то, что они пошляки.

А кругом больные,
Бледные, худые, —
На земле, в болоте,
Бедные лежат.

7 ноября. День моего отъезда. 4 часа ночи. Не могу заснуть. И писать не могу. <...>

Опять на балконе. Солнце жжет вовсю.

Утро. До этого в постели (ночью) у меня сочинилось вышеприведенное:

2) Какая-то бацилла
1) Вчера их укусила.

Нельзя сидеть в пальто. Душно. Это 7-го ноября. Все десять предыдущих ноябрей я провел в Питере и всегда связывал их со слякотью и мокрыми торцами. Снял с себя пиджак, рубаху, фуфайку — и, принимаю солнечную ванну, не боясь ультрафиолетовых лучей, — 7 ноября 1928 года! И чувствую, что лицо загорает 7 ноября 1928 года, когда у нас темь, холод, смерть, изморозь и блекота!

8 ноября. В поезде. Только что миновали Ростов. Еду в купе с Кутскими и Муромцевым. Чудесные люди. <...> Муромцева я, помню, встречал на Плющихе у Бунина. Бунин в то время только что был сделан почетным академиком — и в благодарность решил поднести Академии — «словарь матерных слов» — и очень хвастал этим словарем в присутствии своей жены, урожденной Муромцевой. Разговаривая с М[уромцевым] о Бунине, я вспомнил, как Б[унин] с Шаляпиным в «Праге» рассказывали гениально анекдоты, а я слушал их с восторгом, пил, сам того не замечая, белое вино — и так опьянел, что не мог попасть на свою собственную лекцию, которую должен был читать в этот вечер в Политехническом Музее.

10/XI 1928. Подъезжаю к Питеру. Проехали Любань. Не спал 3 ночи. Вчера в Москве у М. Кольцова. Оба больны. У них грипп. Она лежит. Он сообщил мне новости: «Леф» распался из-за Шкловского. На одном редакционном собрании Лиля критиковала то, что говорил Шкл. Шкл. тогда сказал: «Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы». Лиле показалось, что он сказал «домашняя хозяйка». Обиделась. С этого и началось.

«Огоньку» запретили давать в прилож. Чехова. Третьего дня Кольцов был у Лебедева-Полянского.

— Здравствуйте, фельетонист! — говорит ему Лебедев.

— Здравствуйте, чиновник! — говорит Кольцов.

Ходят слухи, что Горький интригует против того, чтобы «Огонек» давал Чехова, — сообщила мне Е[лизавета] Н[иколаевна]. Я этому не верю. Но Горький мог прямо сказать где-ниб., что «Чехов не созвучен».

— Почему не выходят «Наши достижения»? — спросил я у Кольцова.

— Нет бумаги! — ответил он.

— Вот тебе и достижения.

Пообедав у Кольцова, к Литвиновым. Очень рады — мать и дочь. О речи Литвинова я: «Это вы ему приготовили такую речь. Я узнал Ваш стиль».

Она: «Тише! он и сам этого не знает, но, конечно, тут много моего». Это б[ыла] литературная пародия на речь Кашендоне, и ее может оценить только тот, кто знает эту речь.

Потом: «О, я хочу быть богатой, богатой. Я написала detective novel *, хочу издать в Америке и в Англ. и поставить фамилию Литвинова».

Танечка: «Мама читала мне свой роман, очень интересно».

Таня изумительно хороша и умна и начитана. У нее целая библиотека книг — английских и русских — и даже «Республика Шкид».

Я упрекнул ее в плагиате у Саши Черного — о, как она покраснела, как засверкали глаза. Ей уже 12 лет, она сейчас была во Франции — и с большой радостью подарила мне «для Мурочки» — целую кучу англ. книг. <...> До Питера осталось 45 минут. Я очень волнуюсь. Ведь я еще никогда не разлучался со своими на столь долгий срок. <...>

Мур[омцев] по секрету сообщил мне, что Жданова арестовали. Позвонили из Пятигорска, прислали за ним красную фуражку и взяли, куда неизвестно. Говорят, что Жданов гениальный работник. Что он восстановил нашу металлургич. промышленность, что он то же в металлургии, что Куцкий в машиностроении, но идеология у него нововременская, он юдофоб, презирает «чернь» и проч. Куцкий не таков. Во время евр. кишиневского погрома оба его брата работали в евр. самообороне, он был с-д и проч.

А в окнах — нищета и блекота. Вспоминаются те волы, те поля кукурузы, те чудесные снопы сена, которые я 3 дня тому назад видел в горах. <...>

Муромцев рассказывает о Бунине. Когда Б. пишет, он ничего не ест, выбежит из кабинета в столовую, пожует механически и обратно — пишет, пишет все дни. Революция ему ненавистна, он не мог бы и дня выжить при нынешних порядках. Вывез он из деревни мальчишку, чтобы помогал ему собирать матерные слова и непристойные песни, мальчишка очень талантлив, но жулик,

---

* Детективный роман (*англ.*).

стал потом токарем, потом спекулянтом, часто сидел в тюрьме. Больше писать не могу. Нервы вдруг упали — за 15 минут до прибытия в Питер. На избах вдруг возле Питера оказался снег. Через час я дома. Не простудиться бы. У меня носки Литвинова!! Вчера я промочил ноги — и Литвиновы дали мне свои заграничные.

1929

2 февраля. Мне легче. Температура 36,9. Маршак и Лебеденко прямо с поезда. М[аршак] пополнел, новая шапка, колеблется, принимать ли ему должность главы московско-ленинградской детской литературы, требует, чтобы согласились и Лебедева назначить таким же диктатором по художественной части; в чемодане у него Блэйк (Горький обещал ему, что издаст). Забывая обо всех делах, он горячо говорит о «Songs of Innocence» *, которые он перевел, — ушел с сжатыми кулаками, как в бой. Лебеденко — все звонит к какой-то даме. Спрашивает дорогу к ГИЗу, он здесь первый раз!!

Потом Кольцов с Ильфом. Ильф и есть ½ Толстоевского. Кольцов о «Чудаке», очень хочет печатать материалы о детских стихах, издаваемых ГИЗом. Сегодня я заметил, какой у него добрый и немного наивный вид. Принес свою книгу, III-й том. Уверен, что Рязанов сокрушит Полонского. <...>

Потом от Заславских девушка Катя принесла мне бульону и курицу.

Потом от Кольцова Е[лизавета] Н[иколаевна] принесла мне бульону и курицу!!

Вот уж поистине «Правда» помогла!

Потом Зейлигер. Тоска.

Потом Заславский, только что из Питера. Потом Столпнер. Они оба встречаются не без смущения. Заславский и Ст[олпнер] бывшие меньшевики (кажется, так). К моему удивлению, З[асл]авский заводит со Столпн. разговоры об Ортодоксе, Шпете («великий ум!»), о Плеханове.

Потом опять Лебеденко. Потом Добровольский о «Крокодиле». Им разрешили либретто балета и вновь как будто запретили. Они хлопочут. Потом Воскресенский об «Academia». Маршак такой ч[елове]к, что разговор с ним всегда есть его монолог. Он ведет речь — и дозволяет только робкие реплики. Тему разговора всегда дает он. Вообще он pushing and dominating personality **. И его push *** колоссален. Все кругом должны обсуждать только те темы, которые волнуют его. Сегодня с утра он счастлив: Алексинский

---

* «Песни невинности» (Вильяма Блейка. — *Е. Ч.*).

** Напористая и властная личность (*англ.*).

*** Напор (*англ.*).

из МОНО, его старый товарищ, позвонил ему по телефону, что он встанет с ним бок о бок в борьбе за маршаковскую линию в литературе. Это значит, что Касаткина из Центр. Библиотеки смирится, покорится Маршаку, что ГУС (или то, что будет вместо ГУСа) окажется в горсти у Маршака. Он в восторге: прочитал мне сегодня утром за чаем свой новый рассказ (про Ирландию), потом мы долго читали Блэйка с энтузиазмом, так как Блэйк воистину изумителен, — потом он пошел к Иоффе и Ханину вырабатывать условия своего диктаторства над детской словесностью.

4 февраля. Принял 2 облатки «адолина» и оглушил себя на 2 часа. Не могу заснуть. <...>

Воскресение. Как будто я выкарабкиваюсь из своей болезни. Три дня тому назад приехала М. Б., так как 5 февраля после 4 недель гриппа у меня внезапно поднялась температура до 39, заболела правая лобная пазуха, стало болеть горло — и я превратился в горячечного идиота. Я послал телеграмму за Лидой или Бобой. Но Ангерт — спасибо ему! — вызвал по телефону М. Б. — и она, больная, приехала, три дня и три ночи, не отходя от меня (и заснув только на 2 часа за 3 ночи) — вызволила, *кажется,* меня из болезни. <...> И были на фоне этого люди: Шкловский, к которому сердце мое опять потянулось. Весь подкованный, на середине дороги, чующий свою силу — и в то же время лиричный и кроткий и даже застенчивый (где-то внутри), он много вспоминает из прежнего — Репина, мой диван, Бориса Садовского, Философова, Гржебина.

О Гржебине мы разговорились, вспомнили, как много в нем было хорошего, мягкого, как он, в сущности, поставил на новые рельсы нашу детскую книгу, вовлек в нее Чехонина, Добужинского, Лебедева, вспомнили, что мы остались ему должны (т. к. он платил нам авансы за будущие книги, которых не издал по не зависящим от нас обстоятельствам). И мы решили непременно, когда я выздоровею, написать Гржебину письмо, где выразить ему любовь и признательность, и вместе с письмом послать ему денег.

— Давайте издадим сборник в его пользу! — сказал Шкловский.

Это было недели 2 назад. А сейчас пришли и говорят: Гржебин умер!

— Не говорите Тынянову! — сказал Шкловский. — У Тын., кажется, та же болезнь.

— Он умер в тот самый день, когда мы говорили о нем! — крикнул я Шкловскому.

Раз он пришел ко мне мягкий и грустный. «Я сейчас выругал Эфроса. Не люблю, зачем он вне литературы — а все пляшет вокруг нее». <...>

Маршак. На двери у меня надпись, что я сплю. Все подходят, прочтут и отходят на цыпочках. А Маршак не читает надписей

на дверях. Он знает, что всякая закрытая дверь должна перед ним распахнуться.<...> Вчера к нему пришел Our Mutual Enemy * Гершензон. Сам напросился придти для откровенного разговора. И вот Гершензон начал какую-то сиропную канитель. Маршак вбежал ко мне:

— А я сейчас на него накинусь и крикну: зачем вы пришли ко мне?

11 февраля 1929. Он собирал силы для наскока — и наскочил. (Оказывается, что Гершензон был в Саратове. Посланный туда для пропаганды гизовских детских книг, он на собрании библиотекарей и педагогов схватил мою книгу и крикнул: «Вот какой дрянью мы пичкаем наших детей» — и швырнул ее с возмущением в публику.

Маршак сказал ему, что он должен говорить объективно, он ответил: «Но тогда я не могу говорить эмоционально!» и пр.) Теперь у М. много неприятностей. Ушел из-за него Олейников, проведенный им в редакторы «Ежа». Олейников, донской казак, ленивый и упрямый, очень талантливый, юморист по природе, был счастлив, когда дорвался до возможности строить журнал без М. Он сразу пригласил художников не лебедевской партии, ввел туда свой стиль — и работа закипела. Но М. «вмешался» — и О. подал в отставку. Вчера вдруг обнаружилось, что он перешел в «Мол. Гвардию». И перетянул туда других отщепенцев от Маршака — Житкова и Бианки. Этот триумвират очень силен. Когда вчера это дошло до Ангерта, он разъярился и предложил, чтобы Маршак отстранился от «Ежа» — надеясь уговорить Олейникова при таких условиях остаться. Но я думаю, что уже поздно. У меня вчера было устроено совещание. Характерна нынешняя «манера говорить» у Маршака. Он пришел ко мне, когда у меня сидел Ангерт, и стал говорить о своих печалях. Я пробую вставить слово. Он кричит: «Не перебивайте». Ангерту тоже: «Не перебивайте!» Как будто он читает стихи. Он рассказывает о своих бессонницах, об ужасной своей усталости, о том, сколько он сделал для Олейникова, для Житкова и т. д., — и спрашивает совета, что делать. Ангерт в простоте отвечает: «Ваш вопрос заключает в себе четыре вопроса. По первому вопросу...» Но Маршак и не желает слушать советов. Он всегда знает, что делать. <...>

26/III 1929. Вчера был у меня Зощенко. Я пригласил его накануне, так как Ангерт просил меня передать ему, чтобы он продал избранные свои рассказы в Госиздат для трехтомного издания. Зощенко не захотел. «Это мне не любопытно. Получишь сразу 15 тысяч и разленишься, ничего делать не захочешь. Писать бросишь. Да и не хочется мне в красивых коленкоровых переплетах выходить. Я хочу еще года два на воле погулять — с диким читателем

* Наш общий враг (*англ.*).

дело иметь...» Очень поправился, но сердце болит. Хотел купить велосипед, доктор запретил. Зощенко весь захвачен теперь своей книгой «Письма к писателю», прочитал ее мне всю вслух. В ней нет для меня того обаяния, которое есть в других книгах Зощенки, но хотя вся она состоит из чужого материала, она вся — *его,* вся носит отпечаток его личности.

1 апреля. День моего рождения. Утром от Муры стихи: «Муха бедная была, ничего не принесла». Потом от Лиды палеховская табакерка. Дважды в ГИЗе: возня с «Барабеком»: то хотели дать приложением к «Ежу» 48 страниц, то 32, то, наконец, 40. Приехал я домой, а дома пирог «наполеон», Марина, Тата, Боба, Лида, Коля и я — патриарх. Позвонил Тынянов, поздравил. Я счастлив, пошел уснуть. Боба для этого читал мне «Проселочные дороги»[1].

21/22 сентября. Опять еду в Кисловодск. Ночь. Не доезжая до Харькова. Дождь!!! Да какой! В моем купе ни души, но зверски пахнет уборной. Я думаю о заглавии для моего детского сборника: «Зайчики в трамвайчике», «Карабарас», «Львы в автомобиле», «Ребята и зверята», «Веселая Африка». Спал в вагоне — от 6 часов вечера до 12 ночи. Прошлую ночь не заснул ни на миг. Выдумал загадку:

Колючий, но не ежик,
Бегает без ножек.
Перекати-поле.

Прочитал записки Бориса Чичерина. Очень талантливо и умно, и совестливо. Читаю Эшу да Кайроша. Разбираю письма детей ко мне — уже 251 письмо.

Утро 22-го. Чем дальше еду, тем холоднее.

Перерабатываю Уитмэна на новый лад. Очень жалею, что до сих пор (с 1923 года) не могу пристроить эту книгу. Ветер гнет бурьяны. <...>

29/IX. Вот уже неделя, как я из дому. И ничего ужаснее этой недели я и представить себе не могу. В Цекубу комнаты мне не дали: все переполнено, я устроился в заброшенном «Красном Дагестане», где в сущности никакой прислуги нет, а есть старый татарин-привратник, который неохотно пустил меня в сырую, холодную комнату, дал мне связку ключей, чтобы я сам подобрал подходящий, и вот я стал по четыре раза в сутки шагать в Цекубу — на питание. Это бы вздор, но всю эту неделю идет безостановочный дождь, превративший все дороги в хлюпающее глубокое болото, а калоши я забыл дома, и туфли у меня дырявые, и я трачу *целые часы* на приведение своей обуви в порядок после каждой про-

гулки, счищаю ножичком грязь, вытираю ватой снаружи и внутри, меняю носки и снова влезаю в мокрые туфли, т. к. перемены нет никакой. Как не схватил я воспаление легких, не знаю. Состав гостей здесь серый, провинциальные педагоги — в калошах и с ватой в ушах, и мне среди них тягостно. Здесь Сергей Городецкий, недавно перенесший смерть мужа дочери, шахматиста Рети, и травлю в печати по поводу «Сретения царя». Я сижу за столом с ним и с инженером Гонзалем. Этот Гонзаль, обломок старины, набоковский голосом рассказывал разные свои похождения, большею частью фривольные, и эти рассказы выходят у него как новеллы Боккаччо. Одна из новелл: «Как благодаря нежеланию бриться я заработал огромные деньги». И вдруг сегодня в числе других новелл он рассказал такую, кот. довела меня чуть не до слез. У него было двое детей, мальчик и девочка. Мальчика он любил больше. Мальчику было 9 лет. Сидели они как-то вместе, он и сказал сыну:

— Солнышко ты мое!

Девочка, ревнуя, спросила:

— А я?

— А ты луна! — сказал он.

Прошло полгода. Гонзаль был в отсутствии. Вернувшись домой, он накупил для сына игрушек и бежит в спальню обрадовать его. Видит, сын, уже обряженный для погребения, лежит мертвый. Он от ужаса и неожиданности чуть не лишился рассудка. Вдруг дочь говорит ему:

— Я рада, что он умер. Теперь уж я буду для тебя не луною, а солнцем.

Ей в то время б[ыло] 5 лет.

30 сентября. Вчера я принял первую нарзанную ванну. Сегодня впервые синее небо, солнце, но ветер, и от Эльбруса опять идут тучи. Вечер, 10 часов. День был блистательный. Я весь день нежился на солнце, сидя на площадке перед домом Цекубу, — и в результате у меня обгорел нос. В 4 часа лег спать — и валялся до ¼ 8-го. Пришел к ужину, у нас новый 4-й за столом — знаменитый путешественник Козлов. Старик лет 60-ти — говорит беспрерывно, — возраста его незаметно, до того молодо, оживленно и ярко он говорит. [В] течение четверти часа я узнал от него, что жеребят «лошади Пржевальского» можно было выкормить, только убив у простой кобылы ее жеребенка и накрыв жеребенка Прж. шкурой убитого, что бараны (какие-то) не могут есть низкую молодую траву, т. к. им мешают рога, что в Аскании какой-то тур, тяготея к горам, взобрался на башенку по лестнице, и за ним захлопнулась дверь и он умер там на высоте от голода. Едва приехав сюда, Козлов стал искать научных книг о Кисловодске, его флоре и фауне — вообще, видно, что свой предмет он считает интереснейшим в мире — и весь наполнен им до краев. Мы можем только задавать вопросы, на к-рые он отвечает с величайшей охотой, не замечая даже тех блюд, которые ему подаются.

Вечером в приемной врача увидел Соню Короленко. Оказалось, она в «Дагестане». Восхищается Кисловодском. Несмотря на запрещение врача, гуляла в горах — и сорвала чудесный букет. У нее нет одеяла, я дал ей свое. <…>

2 октября. <…> Наш Козлов человек очень характерный. В нем виден бывший военный и *начальник.* <…> Сегодня вышел мелкий эпизод. Сергей Городецкий обещал ему (за чаем) достать карту Монголии (для лекции) и не достал. За ужином он сказал об этом Козлову. Тот вдруг выпятил нижнюю губу (у него нет нижних зубов, и потому губа торчит как у старухи) и стал делать Городецкому выговор: «Я положился на вас, понадеялся, я бы в школе достал, вот не думал, что вы так подведете меня». Городецкий насупился, обиделся — и, отвернувшись, стал беседовать с соседями по столику. Но старик не унимался и ворчал. Городецкий шепнул мне: «Видно, что он бывший полковник». Я достал карандаш и большую бумагу, и Козлов начертил карту, а Сергей Городецкий виртуозно написал на ней буквы и раздраконил озера и реки, вышла «карточка» (по выражению Козлова) хоть куда. Козлов сменил гнев на милость, и в левом его глазу опять появилось польское игриво-ласковое выражение.

Лекцию свою читал он отлично. Да и то сказать, он читает ее 21 год, небось произносил тысячу раз все в одних и тех же выражениях. На эстраде он кажется выше своего роста, моложе и чарующемилым. В голосе его есть поэзия, голову он тоже склоняет набок, как поэт, и когда передает свои разговоры с туземцами, стилизует их на ориентальный лад. Иногда он оговаривается: «А я говорю: господа! то есть братцы. Мы мыли руки по чинам: сначала я, потом (той же водой) все мои подчиненные». Лекция имела огромный успех, и ему аплодировали минуты две. Он был счастлив. А перед лекцией волновался ужасно. Даже от еды отказался — съел только кашу!

Мещеряков оказался милый и скромный человек. Он сегодня долго беседовал со мной о Николае Успенском и признал свою неправоту в нашем споре о нем. Говоря о журнале «Печать и революция», он сказал, что Полонский был отличный редактор: «он мне всегда правил статьи, и я очень благодарен ему за это». Но сегодня вышел такой казус: Мещ. пустил собаке в нос струю дыма. Одна старуха вступилась за собаку. Он сказал ей: «Оставьте меня, или я сделаю вам скандал». Она: «Скандал в Цекубу! — вещь неслыханная». Послезавтра он читает. Ряд профессоров решили не слушать его. Завтра читает Ромашов.

3 октября. Я спросил у одного доктора, от чего он приехал лечиться. Он по виду здоровяк, с крепкими зубами, из Иркутска. — Я лечусь от режима экономии. У нас, в Иркутске, три года назад, когда был получен знаменитый приказ Дзержинского [2], взяли весь хло-

роформ, имеющийся на всяких складах, слили вместе и разослали по больницам. Стали применять этот хлороформ — беда! После первой же операции меня затошнило. Руки задрожали: отравился.

— А пациенты?

— У меня пациентки, женщины.

— Ну и что же...

— 12 умерло...

— И только тогда вы остановились, когда умерло двенадцать!

— Да... Но и я пострадал.

— Пострадали? От чего?

— От мужей.

Насморк, болит горло. День как будто ясный.

Тот же доктор рассказал мне, как еще в царское время в одной иркутской деревне было получено предложение губернатора выяснить, не занимаются ли ее жители — проституцией. Те собрали сход и постановили: так как жители издавна занимаются земледелием, то никакой проституцией заниматься они не желают.

10/X. Четыре дня я был болен гриппом. Носила мне еду Соня Короленко. Очень неэффектная, не показная у нее доброта. Она не выказывала мне никакого сочувствия. Приносила еду и сейчас же уходила, а потом заходила за грязными тарелками. Однажды только я разговорился с ней, и она мне сказала о Льве Толстом столько проникновенного, что я слушал, очарованный ею. Толстой, по ее словам, ч[елове]к очень добрый (это ложь, что он злой), обожал природу и так хотел правды, что если в письме писал: «я был очень рад получить Ваше письмо», то при вторичном чтении зачеркивал *очень,* п. ч. не хотел лгать даже в формулах вежливости... Здесь за это время Мещеряков показал себя во весь рост. При санатории б[ыло] две собачонки и одна кошка Мурка. Он объявил им войну. Потребовал, чтобы кошку отравили, а собачонок прогнали, и безжалостно пускал им дым папиросы в нос, что вызвало негодование всего санатория. Он один из верховных владык санатория, от него зависят ассигновки (отчасти), за ним ухаживают, дали ему лучшую комнату, но он угрожает, что напишет дурной отзыв, если кошку не истребят. Его жена, смотревшая на всех удивительно злыми глазами, была истинным городовым в юбке. 30-го сентября заведующая столовой передала одной имениннице букет и телеграмму и сама поздравила ее с днем ангела. М[ещеряко]ва рассвирепела: в советском учреждении вы не смеете даже слово ангел упоминать. Все ходила и глядела, не танцуют ли фокстрот, не флиртуют ли, не ругают ли сов. власть!!

Вчера была вторая лекция Козлова. Он очень волновался, не ел даже сладкого (сладкое он любит безумно). Читал не думая, по привычке то, что читал много раз, но вдруг какой-то посторонний слушатель спросил его, были ли в советской экспедиции, открывшей курган, были ли в ней археологи? Старик принял этот вопрос за оскорбление и запальчиво ответил, что археологов не было, что он без археологов откопал и гобелен, и ковры, и бронзу, а когда потом

поехали археологи, они не нашли ничего, хотя рыли по всем правилам науки, и стал кричать на вопрошателя, как на врага. Тут я увидел, какой у него темперамент. Потом повел меня и Гонзалу к себе, стал показывать книжки об этой экспедиции, угостил конфетами, которые дала ему на вокзале в Питере старообрядка, его помощница; он провел ее в профсоюз и платит ей 50 р. в месяц. Показывал он все торопливо, словно боялся, что его оборвут, и все о себе, о себе, но с прелестной наивностью, с темпераментом, говоря: «А мне аплодировали так хорошо!» — «Лучше, чем Мещерякову». — «Неужели лучше? Ах, как я рад. А как слушали женщины! Да, смотрели мне прямо в глаза!» <...>

Ночь на 12-ое октября. Не сплю. Очень взволновал меня нынешний вечер — «Вечер Сергея Городецкого». Ведь я знаком с этим человеком 22 года, и мне было больно видеть его банкротство. Он сегодня читал свою книжку «Грань» — и каждое стихотворение пронзало меня жалостью к нему. Встречаются отличные куски — но все в общем бессильно, бесстильно и, главное, убого. Чем больше он присягает новому строю, тем дальше он от него, тем чужее ему. Он нигде, неприкаянный. Стихи не зажигают. Они — хламны, непостроены, приблизительны. Иногда моветонны, как стих. «Достоевский», где Ф. М. Достоевскому противопоставляется пятилетка. Но т. к. Городецкий мой сверстник, так как в его стихах говорилось о Блоке, о Гумилеве, о Некрасове, о Пушкине, я разволновался и вот не могу заснуть. Я вышел в сад — звезды пышные, невероятные, тихая ночь, я полил себе голову из крана — и вот пишу эти строки, а все не могу успокоиться. Стихи Городецкого особенно не понравились Ромашову, который 1/2 часа доказывал мне, что Городецкий — мертвец. Барышня (не знаю, как зовут) в очках, пожилая, бывшая курсистка — словесница — вынесла мне порицание, как я смел выпустить такого слабого поэта. Козлов по-репински фыркал: ему очень не понравились стихи «Достоевскому».

31/X. Ну вот сегодня я уезжаю. Погода сказочная. <...> за мной ходила Софья Короленко, тяжеловесная, молчаливая, очень серьезная — и ненавидящая свое пуританство: «людей не надо жалеть», «я люблю только счастливых» и пр. Увлеклась очень Уотом Уитмэном. После[дне]е время я понял блаженство хождения по горам, привязался к Эльбрусу, ползаю на Солнышко, на Синие Камни, на Малое Седло и влюбился в каждую тропинку, которая лежит предо мною. Ванн принял только 12, болезнь помешала принять больше. Теперь я опять стал поправляться, хотя и не спал эту ночь: собаки разбудили. <...>

6 ноября. Подъезжаю к Питеру. Задержался в Москве (от 2 по 5-ое). Вчера читал две лекции. <...>

КОММЕНТАРИИ

Свой дневник Чуковский вел почти семьдесят лет — с 1901 по 1969 год. Сохранилось двадцать девять тетрадей с дневниковыми записями. Дневник писался весьма неравномерно — иногда чуть не каждый день, иногда с интервалом в несколько месяцев или даже в целый год. По виду дневниковых тетрадей ясно, что их автор не раз перечитывал свои записки — во многих тетрадях вырваны страницы, на некоторых листах отмечено красным и синим карандашом — Горький, Репин, Блок. Очевидно, Чуковский пользовался своими записями, когда работал над воспоминаниями.

В 20-е годы было трудно с бумагой, и автор дневника писал на оборотах чужих писем, на отдельных листках, которые потом вклеивал в тетрадку. В дневниковых тетрадях наклеены фотографии лондонских улиц, письма, газетные вырезки, встречаются беглые зарисовки.

После кончины Чуковского, в начале 70-х годов дневник был полностью перепечатан и сверен с оригиналом. К нему был составлен подробный именной указатель. В перепечатанном виде дневник насчитывает 2500 страниц.

В этой книге представлены записи за период 1901—1929. В настоящем виде дневник публикуется впервые. До сих пор в журналах появлялись лишь фрагменты, касающиеся Блока, Горького, Маяковского, Ахматовой, Пастернака, Зощенко *.

Основное содержание дневника — литературные события, впечатления от читаемых книг, от разговоров с писателями, художниками, актерами. Прав был Зощенко, написавший в 1934 г. в «Чукоккале»: «Наибольше всего завидую, Корней Иванович, тем Вашим читателям, которые лет через пятьдесят будут читать Ваши дневники и весь этот Ваш замечательный материал». Действительно, дневник Чуковского богат описаниями обстоятельств и лиц, оставивших след в нашей литературе.

Время предоставило возможность сопоставить записи Чуковского с Дневником Блока, с воспоминаниями и дневниками других очевидцев.

---

* См.: «Вопросы литературы», 1980, № 10; Литературное наследство, т. 92, кн. 2, 1981. Александр Блок. Новые материалы и исследования; Панорама искусств. М., 1981, вып. 4; «Юность», 1982, № 3; «Неделя», 1982, 21—28 марта; «Огонек», 1986, № 42; «Новый мир», 1987, № 3; «Знамя», 1987, № 6; сб. «Ленинградская панорама», Л., 1988, с 484—511; «Наше наследие», 1988, № 2; «Книжное обозрение», 1989, № 18; «Огонек», 1990, № 6; «Вопросы литературы», 1990, № 2; «Новый мир», 1990, № 7 — № 9; «Звезда», 1990, № 10, № 11.

Сопоставление это показывает, что Чуковский неизменно точен в передаче фактов, слов, интонаций. Он, например, заносит в дневник устный рассказ З. Н. Гиппиус о ее случайной встрече с Блоком в трамвае, а потом Гиппиус печатает собственные воспоминания об этой же встрече. Запись Чуковского точно передает рассказ Гиппиус. Подробно записывает Чуковский, что говорил Блок о кризисе гуманизма, что говорил об этом же Горький, с чем спорил Волынский. Блок тоже записывает в своем Дневнике, что говорилось в этот день. Обе записи, дополняя друг друга, во многих местах совпадают почти дословно. Так же дословно совпадает рассказ Блока о вечере у Браза, записанный в дневнике Чуковского, и запись Блока об этом же вечере в собственном Дневнике.

Чуковский описывает одно из последних выступлений Блока в Москве, на котором был Маяковский. Он пишет: «Все наше действо казалось ему (Маяковскому. — *Е. Ч.*) скукой и смертью». Сам Маяковский в своей статье 1921 г. об этом же выступлении Блока вспоминает: «Я слушал его... в полупустом зале, молчащем кладбищем... дальше дороги не было. Дальше смерть».

Можно указать множество других подобных дословных совпадений записей в дневнике Чуковского со статьями, дневниками, воспоминаниями других участников тех же событий. Таков, например, записанный Чуковским рассказ Горького о том, что Льву Толстому не нравилось выражение «стеженое одеяло». Этот рассказ впоследствии вошел в воспоминания Горького о Толстом. Записанные Чуковским слова Сологуба о Блоке повторены в воспоминаниях Э. Голлербаха о Сологубе.

Несомненный интерес в дневнике Чуковского представляют его собственные суждения и оценки. В высокой степени ему было свойственно чувство истории, понимание, что он — участник и очевидец важных событий.

Дневник публикуется с некоторыми сокращениями. Так, в начале 900-х годов пропущены многочисленные конспекты читаемых статей по философии, наброски собственных критических сочинений и т. п. Позже не даны многие заметки о младшей дочери Мурочке. Пришлось отказаться и от некоторых других записей, имеющих частный характер. Однако описания литературных событий, а также политические суждения автора не подвергались сокращениям и изъятиям. В академическом издании дневник может быть представлен с большей полнотой.

Дневник Чуковского насыщен литературными ассоциациями, раскавыченными внутренними цитатами или цитатами, взятыми в кавычки, стихотворными строками, заглавиями читаемых книг и т. д. Не во всех случаях удалось отыскать источники тех или иных строк, которые, обычно по памяти, цитирует автор дневника.

Вообще подготовленный комментарий далеко не исчерпывает возможного. Напротив, имеются некоторые явные пробелы, касающиеся утраченных реалий двадцатых годов. Это обусловлено тем, что только сейчас начинают открывать архивы и спецхраны, начинают вводить в литературу имена, десятилетиями находившиеся под запретом. Время безусловно внесет необходимые дополнения.

В комментарии широко использован биобиблиографический указатель

«Корней Чуковский» (Л., 1984), составленный Д. А. Берман, а также неопубликованные документы из архива Чуковского.

Тексты дневника заново сверены с рукописью. Рукопись дневника хранится у меня. В печати, за редкими исключениями, сохранена орфография автора, особенности тогдашнего написания иностранных фамилий, своеобразие пунктуации. Сохранено также написание названий учреждений, журналов, книг, как это было тогда принято.

Записи 1901—1917 годов велись по старому стилю. Исключение составляют 1903 и 1904 годы, так как, живя в Лондоне, Чуковский ставил даты по новому стилю. Сокращения указаны отточиями в угловых скобках. Нумерация примечаний дается каждый раз в пределах одного года. Собственные имена не комментируются, а представлены в именном указателе в конце книги.

Пользуюсь возможностью поблагодарить К. И. Лозовскую, секретаря К. И. Чуковского, за участие в многолетнем труде по составлению именного указателя и подготовке дневника к печати. Благодарю также Л. А. Абрамову, М. Э. Шаскольскую и Д. Г. Юрасова за деятельную помощь в работе над этим трудоемким изданием.

1901

[1] Пушкинские строки записаны по памяти и не совсем точно. Должно быть: «Звезда пленительного счастья» («К Чаадаеву»); *«И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов...»* («Из Пиндемонти»). «Послание цензору» написано в 1822-м, а не в 24-м году.

[2] Упомянуты книги Флобера «Воспитание чувств» и «Искушение святого Антония». Обращения Тургенева к Флоберу (в переводе с французского): сударь, любезнейший господин Флобер, дорогой мой собрат, мой дорогой друг, дорогой друг, мой добрый старина.

[3] Чуковский цитирует строки из стихотворений Некрасова «Памяти приятеля» (1853) и «Медвежья охота» (1867).

[4] См. «Воспоминания о Белинском» И. С. Тургенева, впервые напечатанные в «Вестнике Европы» (1869, № 4).

[5] Девятнадцатилетний Чуковский поверхностно и односторонне судит об отношении Достоевского к Белинскому. Общеизвестно, что именно Белинский увлеченно и восторженно приветствовал в 1845 году талант автора «Бедных людей» и утверждал, что он «пойдет дальше Гоголя». Однако в начале 70-х годов, во время работы над «Бесами», в период резкого расхождения с И. С. Тургеневым, Достоевский в некоторых своих письмах (к Н. Н. Страхову и А. Н. Майкову) обрушился на Белинского и «поколение 40-х годов», обвиняя его в атеизме, нигилизме, западничестве, непонимании России. Назвав Белинского и Грановского «шушерой», Достоевский добавлял: «Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо» (ПСС, 29_1, с. 215).

Что касается Чуковского, то в своей статье «Достоевский и плеяда Белинского», впервые опубликованной в 1918 году, он характеризовал отношения этих писателей уже с большей зрелостью и полнотой.

[6] Речь идет о первой публикации Корнея Чуковского «К вечно-юному вопросу (Об «Искусстве для искусства»)» — см. «Одесские новости», 1901, 27 ноября.

1902

[1] Имеется в виду статья В. Г. Подарского «Наша текущая жизнь (Газетно-журнальное обозрение)», помещенная в № 12 «Русского богатства» за 1901 год. В статье дан обзор журналов «Мир Божий», «Вестник Европы» и «Русская мысль» за октябрь и ноябрь 1901 года. Основная часть статьи Подарского посвящена полемике со статьей В. Богучарского «Памяти Н. А. Добролюбова», опубликованной в ноябрьской книжке «Мира Божьего».

1904

[1] В телеграмме сообщалось о рождении сына.

[2] Неточная цитата из пушкинских «Песен западных славян» (7. Похоронная). У Пушкина: «Я здоров, — и сына Яна / Мне хозяйка родила».

[3] В. Брюсов в те годы редактировал журнал «Весы». Статья К. Чуковского «Джордж Уотс» была опубликована в № 7 за 1904 год и послужила началом его сотрудничества в брюсовском журнале.

[4] Рецензия К. Чуковского на книгу Свинборна появилась в «Весах» лишь через два года (1906, № 3/4).

[5] К. Чуковский. Нынешний Евгений Онегин. Роман в 4-х песнях. «Одесские новости», 1904, 25 декабря; 1905, 1 января. В печати нет ни предисловия, ни послесловия. Поэма написана онегинской строфой.

1905

[1] В феврале Чуковский продолжал публиковать в «Одесских новостях» свои «Заметки читателя». 1-го и 4-го он писал о лекции Н. М. Минского «Современная проблема нравственности», а 16-го — о книге А. А. Яблоновского «Приключения уличного адвоката».

[2] См.: «Заметки читателя: О г. Евг. Соловьеве». «Одесские новости», 1905, 14 марта.

[3] Статья «Драматический театр Комиссаржевской. «Строитель Сольнес» Ибсена в постановке А. Л. Волынского» опубликована в «Театральной России» (1905, № 15, с. 260—261; № 16, с. 276—278).

[4] Рецензия под названием «Московский Художественный театр: «Иванов», др[ама] Чехова» помещена в «Театральной России» (1905, № 17, с. 294—297).

[5] Речь идет о восстании на броненосце «Потемкин». См. воспоминания К. Чуковского «1905, июнь» (Собр. соч., т. 2, с. 677—698).

[6] Басня Т. Мура в переводе Чуковского напечатана в журнале «Сигнал», 1905, № 2, с. 6.

1906

[1] Статья опубликована в «Весах» (1906, № 2) под названием «Циферблат г. Бельтова». Бельтов — псевдоним Г. Плеханова.

[2] Книга Теккерея называется «The English humorists of the eighteenth century» («Английские юмористы XVIII века») и состоит из очерков, посвященных Дж. Аддисону, Р. Стилу, Дж. Свифту, Г. Филдингу, Т. Смоллетту, Л. Стерну, О. Голдсмиту и др.

[3] В 1905 г. после царского манифеста о свободе печати К. Чуковский начал издавать сатирический журнал «Сигнал». Вскоре журнал был запрещен, и, чтобы продолжить его существование, издатели переименовали его в «Сигналы». Однако и «Сигналы» быстро навлекли на себя неудовольствие властей. Против Чуковского было возбуждено дело, которое вел судебный следователь Ц. И. Обух-Вощатынский. В 1964 году Чуковский опубликовал воспоминания под названием «Сигнал», где рассказывал обо всех перипетиях этого «дела» (Собр. соч., т. 2, с. 698—740).

[4] Возможно, речь идет о книге «Памяти А. П. Чехова» (Общество любителей русской словесности, 1906). Сборник открывает пространная статья Ю. Айхенвальда «Чехов. Основные моменты его произведений». Кроме того, помещены воспоминания М. Чехова, И. Бунина, М. Горького, А. Куприна, В. Ладыженского и А. Федорова. Эти статьи были читаны 24 октября 1904 года на торжественном публичном заседании Общества, посвященном памяти Чехова, а затем опубликованы в прессе. Вероятно, отношение Чуковского обусловлено в основном статьей Ю. Айхенвальда, который пишет о «психологической силе скорби и грусти», о «нравственном опустошении» — одним словом, рисует тот облик А. П. Чехова, который Чуковский постоянно опровергал.

[5] Pippa Passes (*англ.*) — Пиппа проходит. Перевод Чуковского опубликован в «Сигналах» (1906, вып. 4, с. 4) под названием «Песня Пиппы».

[6] Статья «Хамство во Христе» о книге А. С. Волжского «Из мира литературных исканий» напечатана в журнале «Весы», 1906, № 5, с. 59—63.

[7] 25 мая (7 июня) 1906 года в «Народном вестнике» помещены отрывки из поэмы У. Уитмена «Европа» в переводе К. Чуковского. В 1906 году в «Ниве» печатались переводы К. Чуковского из Г. Лонгфелло, Р. Браунинга, Р. Эмерсона и У. Уитмена (см. № 9, 29, 32, 36, 41, 44).

[8] Статья Чуковского «Максим Горький» опубликована 19 марта (1 апреля) 1907 г. в газете «Родная земля».

[9] В 1906 году были напечатаны две статьи Чуковского об Уитмене: «Русская Whitmaniana» («Весы», 1906, № 10) и «Уот Уитмен: Личность и демократия его поэзии» («Маяк». Литературно-публицистический сборник. СПб., 1906, вып. 1, с. 240—256).

[10] «Прохожий и революция» — название статьи К. Чуковского о В. Розанове. Статья появилась в газете «Свобода и жизнь» 16(29) октября 1906 г.

[11] Статья «Аскетический талант: Омулевский и его творчество» напечатана в Ежемесячном литературном популярно-научном приложении к журналу «Нива», 1906, № 9, стлб. 123—134.

1907

[1] Статьи «Чехов и пролетарствующее мещанство», «О короткомыслии» и «Остерегайтесь подделок!» (Анатолий Каменский. Рассказы. Т. 1.

СПб., 1907) опубликованы в «Речи» 8(21) июля, 21 июля (3 авг.) и 1(14) июля.

[2] Рецензию на петербургский альманах «Белые ночи» см.: «Речь», 1907, 16(29) августа.

[3] Этот портрет В. Брюсова помещен в № 7—9 «Золотого Руна» за 1906 год. В октябре 1906 года Чуковский писал Брюсову: «Только что увидел в «Золотом Руне» Ваш портрет, заклинаю, вышлите...» Брюсов исполнил просьбу и прислал портрет (фототипия) с надписью: «Корнею Чуковскому в залог любви. Валерий Брюсов». В сопроводительном письме 12(25) октября 1906 года Брюсов писал: «...мне хочется хотя бы этим выразить Вам свои, право же, очень «любовные» — несмотря на краткость нашего знакомства — чувства». Портрет до настоящего времени висит в переделкинском кабинете Чуковского.

[4] 20 октября 1907 г. И. Е. Репин адресовался к президенту Академии художеств, вел. кн. Владимиру, с прошением «об увольнении... от должности профессора — руководителя мастерской Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств...». Одной из причин ухода Репина послужили его разногласия с советом Академии (см.: Новое о Репине. Л., 1969, с. 16).

[5] Речь идет о рассказе А. И. Куприна «Ночная смена». Запись Чуковского согласуется с записью Н. Н. Гусева: «26 сентября 1907. Чтение вслух рассказов Куприна «Ночная смена» и «Allez!». Л. Н. читал с усилием... По окончании чтения Толстой сказал: «Как это верно! Ничего лишнего. Из молодых писателей нет ни одного близко подходящего Куприну» (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., ГИХЛ, 1960, с. 567).

[6] Имеются в виду статьи «И. Е. Репин», «О Мережковском» и «Отпевание индивидуализма» («Речь», 1907, 7(20) октября, 14(27) октября и 4(17) ноября).

[7] Фельетон «Ваше сиятельство, прокачу!» (Осип Дымов. Солнцеворот. Изд. 2-е. СПб., 1907) — «Свободные мысли», 1907, 29 октября (11 ноября).

1908

[1] Статьи о Толстом, Короленко и Каменском были вскоре опубликованы. См.: «О Владимире Короленко» — «Русская мысль», 1908, № 9, с. 126—139; «Толстой как художественный гений» — Ежемес. литературное и популярно-научное приложение к журналу «Нива», 1908, № 9, стлб. 75—104; «Идейная порнография: (об А. Каменском)» — «Речь», 1908, 11(24) декабря.

[2] В это время Чуковский работал над статьей «Нат Пинкертон и современная литература». Одним из первых он написал о кинематографе как о социальном явлении массовой культуры и назвал его «соборным творчеством кафров и готтентотов». Впоследствии об этой работе Чуковского с одобрением отозвался Лев Толстой в разговоре с Леонидом Андреевым. См.: Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки (Литературное наследство, т. 90, кн. 4. М., 1980, с. 233, 460).

[3] *...всё о России.* — В романе Ф. Достоевского «Бесы» Лиза предлагает Шатову составить по газетам и журналам настольную книгу, которая

могла бы «обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год», выразить «личность русского народа в данный момент», дать «картину духовной, нравственной русской жизни за целый год» (ч. I, гл. 4 «Хромоножка»).

[4] Эта статья Короленко о Л. Н. Толстом была опубликована 28 августа в № 199 «Русских ведомостей».

[5] От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики. Издание Т-ва М. О. Вольф. СПб. — М., 1908. Это — сборник критических статей К. Чуковского о Чехове, Бальмонте, Блоке, Сергееве-Ценском, Куприне, Горьком, Арцыбашеве, Мережковском, Брюсове и др. В течение года книга выдержала три издания.

[6] Фельетон Чуковского о романе М. П. Арцыбашева «Санин» был опубликован сперва в газете «Речь» (27 мая 1907), а затем — в книге «От Чехова до наших дней».

[7] Запись относится к 1909 году. В мае И. Е. Репин присутствовал в Петербурге на открытии памятника Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого. Газеты поместили отзыв Репина «Браво, браво, Трубецкой». В честь скульптора Репин устроил банкет, на котором он и Трубецкой обменялись речами. Н. Б. Нордман описала все эти события в «Письме к другу» (17 июня 1909 г.), напечатанном в ее книге «Интимные страницы» (СПб., 1910).

1909

[1] *Маруся* — сестра К. И. Чуковского.

[2] Статья «О Всеволоде Гаршине (Введение в характеристику)» была опубликована в «Русской мысли», 1909, № 12, с. 117—141.

[3] 15(28) июня 1909 г. в газете «Речь» напечатана статья К. Чуковского «Куприн в «Яме».

1910

[1] Речь идет о статье К. Чуковского «Навьи чары мелкого беса: (Путеводитель по Сологубу)». См.: «Русская мысль», 1910, № 2, с. 70—105 (2-я паг.).

[2] Перечисленные статьи были напечатаны сперва в газетах, а затем в критических сборниках. См. книги К. Чуковского: Критические рассказы. СПб., [1911]; О Леониде Андрееве. СПб., 1911.

[3] Чуковский обратился к Репину, Короленко, Толстому, Горькому с просьбой дать свои статьи против смертной казни. В письме ко Льву Толстому в октябре 1910 г. Чуковский писал: «Представьте себе, что в газете «Речь», на самом видном месте появляются *в черной рамке* строки о казни — Ваша, И. Е. Репина, В. Г. Короленко, Мережковского, Горького, — внезапно, неожиданно, — это всех поразит как скандал, — и что же делать, если современное общество только к скандалам теперь и чутко, если его уснувшую совесть только скандалом и можно пронять». В ответ на это письмо Л. Н. Толстой написал статью «Действительное средство», которую закончил в Оптиной Пустыни 28 октября, за 10 дней до смерти.

Чуковский получил эту статью от В. Г. Черткова в день похорон Толстого. Свои протесты против казней прислали также И. Е. Репин и В. Г. Короленко. Однако 13 ноября 1910 г. «Речь» опубликовала лишь статью Л. Н. Толстого со множеством купюр.

[4] Статья «О Леониде Андрееве» напечатана в «Речи» 27 июня (10 июля).

[5] *Мултановское дело.* — В 1892 г. возникло дело группы крестьян-удмуртов («вотяков») из села Старый Мултан. Их обвинили в убийстве нищего Матюнина для принесения жертвы языческим богам. Короленко ездил в Елабугу при вторичном разборе дела и под впечатлением увиденного писал: «... приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей — шайкой полицейских разбойников под предводительством тов. прокурора». При третьем слушании дела Короленко выступил на суде с защитительной речью, после которой, как писала «Самарская газета» (1896, № 131) «все присутствующие плакали», и подсудимые были оправданы. Уезжая в качестве защитника в Мамадыш, Короленко оставил дома тяжело больную дочь. Позднее он записал в дневнике: «4 июня решился мултанский вопрос. Я уже боялся, почти знал, что моей девочки уже нет на свете, но радость оправдания была так сильна, хлынула в мою душу такой волной, что для другого ощущения на это время не было места». Всего о Мултановском деле Короленко написал десять статей (см.: Собр. соч. в 10 т., т. 9. М., 1955, с. 337—391) и победил в напряженной борьбе за спасение невинных людей и снятие навета с целой народности.

[6] Володя, Шура, Соня и Таня — дети Т. А. Богданович.

1911

[1] Письма В. В. Розанова в архиве Чуковского не сохранились, и причину разрыва установить не удалось.

[2] *Заметка о воздухоплавании* — вероятно, «Авиация и поэзия». Заметка напечатана 8(21) мая в двух газетах — в «Речи» и в «Современном слове».

[3] «Dogland» (*англ.*) — «Собачье царство». Чуковский поместил свое переложение этого сюжета в книге «Жар-птица: Детский сборник изд-ва «Шиповник». Кн. I. СПб., [1912].

[4] Отзвуки этой «программы» слышны в воспоминаниях Чуковского, написанных через сорок лет: «Я давно носился с соблазнительным замыслом — привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной «Книги для маленьких», в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1911 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием «Жар-птица», пригласив для участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую, а также первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарной дрянью» («Современники», 1962, с. 368). Книга вышла в 1912 г. в издательстве «Шиповник» и украшена рисунками С. Ю. Судейкина, С. В. Чехонина, М. В. Добужинского, А. Радакова и В. П. Белкина. Кроме авторов, перечисленных Чуковским, в сборник вошли и его собственные первые работы для детей.

1912

Портреты Толстого, о которых вспоминает Репин, написаны в 1887-м, 1891-м, 1909 годах. Кроме картин известны этюды к ним, карандашные зарисовки, акварели. Всего насчитывается свыше семидесяти произведений Репина с изображением Толстого (см.: Р. Москвинов, Репин в Москве. Вып. 6. М., Гос. изд-во культурно-просветит. лит-ры, 1955, с. 71).

[2] *Борки* — место крушения царского поезда 18 октября 1888 г. Крушение сопровождалось многочисленными человеческими жертвами. Однако ни сам Александр III, ни члены царской семьи не пострадали.

[3] О даче Анненских и ее обитателях Чуковский обстоятельно и подробно рассказал в мемуарном очерке «Короленко в кругу друзей» («Современники», 1962).

[4] Фельетон под названием «Самоубийцы» опубликован в газете «Речь» 23 и 24 декабря 1912 г.

1913

[1] Имеется в виду картина «Иван Грозный». В феврале 1913 г. Репин ездил в Третьяковскую галерею для художественной реставрации картины, которую изрезал маньяк Балашов. Подробнее об этом см.: И. Грабарь. Репин, Т. 1. М., 1937, с. 270.

[2] Художники, объединенные в группу, именуемую, «Бубновый валет», устроили в новой аудитории Политехнического музея диспут о репинской картине «Иван Грозный». М. Волошин сделал на этом диспуте доклад, в котором заявил, что Репин «перешагнул через границу художественного и в этом именно и кроется все объяснение поступка Балашова». Оппонентами М. Волошину выступили Г. Чулков, Д. Бурлюк и др. Неожиданностью для всех (зал был переполнен) оказалось присутствие на диспуте самого И. Е. Репина, который с места возразил М. Волошину: «Мне странно, что собравшиеся здесь русские люди хотят довершить начатое Балашовым!..» Аудитория приняла сторону Репина и аплодировала его речи. Подробнее об этом диспуте см.: «Утро России», 1913, 13 февраля, № 36; «Голос Москвы» от того же числа, а также книгу С. Пророковой «Репин» (М, 1960, с. 359—364).

[3] Статья о Джеке Лондоне опубликована в «Русском слове» 28 марта 1913 г. под заглавием «Дешовка».

1914

[1] Речь идет о статьях И. Е. Репина «Из времен возникновения моей картины «Бурлаки на Волге» (1869—1870)» — «Голос минувшего», 1914, № 1, 3, 6.

[2] Статья И. Е. Репина о Вл. Соловьеве в «Ниве» опубликована не была; напечатана в репинской книге «Далекое и близкое» (1937).

[3] *«Деловой двор»* — задуманная Репиным трудовая народная академия художеств. Репин хотел создать «Деловой двор» у себя на родине в Чугуеве. Замысел осуществить не удалось.

[4] В Москве жили Федор, Ирина, Борис, Лидия и Татьяна — дети Ф. И. Шаляпина от его первого брака с балериной Иолой Игнатьевной Торанги. Вторым браком Шаляпин был женат на Марии Валентиновне Петцольд, у них к этому времени было две дочери — Марфа и Марина. Шаляпин с семьей жил в Петербурге.

[5] Речь идет о книге Чуковского «Поэзия грядущей демократии». Эта книга переводов из Уолта Уитмена в конце концов все же вышла в издательстве Т-ва И. Д. Сытина (М., 1914) с предисловием И. Е. Репина.

[6] Эти рисунки Шаляпина теперь опубликованы (см. «Чукоккала», с. 92).

[7] Воспоминания Веры Репиной опубликованы в журнале «Нива», 1914, № 29, с. 571—572. В рецензии на книгу Пророковой о Репине Чуковский писал: «...кстати сказать, в 1914 году я написал по ее рассказам воспоминания об ее отце и поместил за ее *подписью в «Ниве». Очень жалею, что приписал ей авторство* статьи — так как это сбивает с толку биографов Репина» (РО ГБЛ, ф. 620, оп. 14, ед. хр. 6, с. 3—4).

[8] Строки из «Песни о Гайавате» Лонгфелло в переводе Ив. Бунина.

[9] *Альбомчик* — «Чукоккала». Портреты В. Шкловского и Б. Садовского напечатаны на стр. 67 и 72 книги.

[10] К семидесятилетию И. Е. Репина «Нива» выпустила юбилейный номер (№ 29).

[11] *Мраморной мухой* назвал О. Мандельштама Велимир Хлебников.

[12] Говоря о Даниловой, А. Ф. Кони, по всей вероятности, имеет в виду гражданскую жену Плещеева. Ераковы — семья родной сестры Н. А. Некрасова, А. А. Буткевич, которая в 70-е годы была гражданской женой А. Н. Еракова и воспитательницей его дочерей. А. Ф. Кони часто встречался с Некрасовым в доме Ераковых, где бывали также Салтыков, Унковский, Плещеев. Некрасов посвятил Еракову стихотворения «Недавнее время» и «Элегия». А. Ф. Кони вспоминал впоследствии: «...благодаря моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде».

[13] Е. И. Утин — участник нашумевшей в 1872 году дуэли с А. Ф. Жоховым. Жохов был убит, а Утин и секунданты обеих сторон преданы суду. Дело это привлекло общественное внимание. Литературно-общественные круги Петербурга раскололись на два лагеря — сторонников Жохова и защитников Утина. В своем дневнике А. С. Суворин вспоминает это дело и приводит свое письмо по этому поводу к видному адвокату и судебному деятелю К. К. Арсеньеву (подробнее см.: А. С. Суворин. Дневник. М.-Пг., 1923).

[14] *«Оранжевая книга»* выпущена в издательстве «Грамотность» в 1914 г. На титуле значится: Сборник дипломатических документов. Переговоры от 10 до 24 июля 1914 года. Высочайшие манифесты о войне. Историческое заседание Гос. Думы 26-го июля 1914 г.

[15] 26 июля была созвана Государственная Дума, так как Германия, а затем и Австрия объявили войну России. В Зимнем дворце Николай II обратился с приветственным словом к депутатам Думы и членам Государственного Совета. На заседании Думы в числе других выступили: Хаустов

(от социал-демократической рабочей фракции) и Милюков (фракция народной свободы). См.: Государственная Дума. Четвертый созыв. Заседание 26 июля 1914 г. Стенографический отчет.

1917

[1] В это время К. Чуковский редактировал ежемесячное иллюстрированное приложение к журналу «Нива» — «Для детей», где печатал свою сказку «Крокодил».

[2] В 1916 году Репин написал портрет Толстого, который в 1921 году был экспонирован на выставке в Нью-Йорке и в «Пенаты» не вернулся. Его местонахождение неизвестно. Судя по воспроизведению картины в каталоге выставки, Толстой изображен у крыльца яснополянского дома (сообщено Е. Г. Левенфиш).

[3] Строки из стихотворения Уолта Уитмена «Европейскому революционеру, который потерпел поражение». Перевод этих строк: «Ты думал, величие только в победе? / Ты прав, но уж если случится беда — мне сдается, что и в поражении есть величие, / И в гибели и в страхе есть величие» (цит. по кн.: Корней Чуковский. Мой Уитмен. М., 1969, с. 125).

[4] Пьеса «Царь Пузан» была напечатана в № 8 ежемесячного иллюстрированного приложения к журналу «Нива» — «Для детей».

[5] 3 февраля 1863 года на Литейной у Мариинской больницы чиновник нашел сверток с рукописью «Что делать?».

4 февраля в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» появилось объявление:

«ПОТЕРЯ РУКОПИСИ. В воскресенье 3 февраля во втором часу дня проездом по Большой Конюшенной... обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». Кто доставит этот сверток... к Некрасову, тот получит 50 рублей серебром».

В объявлении шла речь о рукописи первых глав романа Чернышевского. Автор уже семь месяцев находился в предварительном заключении в Петропавловской крепости, где и писал роман в промежутках между допросами и объявлениями голодовок.

26 января 1863 г. начало рукописи «Что делать?» было переслано из крепости обер-полицмейстеру для передачи двоюродному брату Чернышевского Пыпину, который передал ее Некрасову. Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, но по дороге обронил ее. Он был в отчаянии, 4 дня кряду помещал объявление в газете, а на пятый день ему принесли рукопись. Роман Чернышевского появился в «Современнике» (1863, № 3).

[6] Оскар Уайльд пишет о Кропоткине в «De Profundis» (русское издание этой книги названо «Тюремная исповедь»): «Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провезли в тюрьме долгие годы; и первый — единственный христианский поэт после Данте, а второй — человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России».

[7] Речь идет о книге П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе» (1907). Книга составлена на основе курса лекций, прочитанных в США в 1901 году.

[8] «Черные маски», «Царь голод», «Красный смех» — названия пьес и рассказа Леонида Андреева.

[9] Неточная цитата из стихотворения И. Бунина «Иерусалим». На самом деле третья строка читается так: «Погляди на цветы по сионским стенам...»

1918

[1] Интересно сопоставить запись Чуковского с воспоминаниями З. Н. Гиппиус об этой встрече с А. Блоком. Оба текста совпадают иногда дословно. Ср.: Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам составили О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л., 1930, с. 224.

[2] Речь идет о подготовке изданий, впоследствии выпущенных «Всемирной литературой» под редакцией и с предисловиями К. Чуковского: Р. Хаггард. Копи царя Соломона. 1922; М. Твен. Приключения Тома. 1919; О. Уайльд. Счастливый принц и другие сказки. 1920.

[3] Можно предположить, что «Декларация» Гумилева близка по содержанию к его статье «Переводы стихотворные» в сборнике «Принципы художественного перевода» (Пг., 1919), изданном в качестве пособия для переводчиков «Всемирной литературы».

[4] «Tale of two Cities» (*англ.*) — см.: Ч. Диккенс. Повесть о двух городах. Пер. Е. Бекетовой. Вступит, статья К. Чуковского. Пг., «Всемирная литература», 1919; *«Саломея»* — пьеса О. Уайльда; *доклад о принципах прозаического перевода* — см.: «Переводы прозаические» в сб. «Принципы художественного перевода» (Пг., 1919); *введение в историю английской литературы,* по-видимому, написано не было.

1919

[1] *...рецензии о поэзии Цензора, Георгия Иванова и Долинова* — см.: А. Блок. Собр. соч., т. 6. М.—Л., 1962, с. 333.

[2] *...читал о переводах Гейне* — см.: «Гейне в России» (там же, с. 116).

[3] Запись Чуковского интересно сопоставить с записью в Дневнике Блока, сделанной тогда же и о том же заседании (А. Блок. Собр. соч., т. 7, 1963, с. 355).

[4] Речь идет о романе Д. Мережковского «14 декабря» (1918).

[5] Воспоминания М. Горького о Л. Н. Толстом были впервые опубликованы несколько позже, в том же 1919 году в Издательстве З. И. Гржебина. Записанный Чуковским рассказ Горького (за некоторыми исключениями) почти дословно совпадает с напечатанными воспоминаниями.

[6] Хотя Горький родился в 1868 г., датой его рождения в ту пору ошибочно считали 1869-й. К 50-летию М. Горького было задумано издать сборник, посвященный юбиляру. Редактировать сборник поручили К. И. Чуковскому

и А. А. Блоку. «Мы обратились к Алексею Максимовичу с просьбой помочь нам при составлении его биографии. Он стал присылать мне ряд коротких заметок о своей жизни», — пишет Чуковский в своих воспоминаниях. В «Чукоккале» на с. 198 опубликованы две такие заметки.

[7] В архиве Чуковского сохранилась программа «ежемесячного внепартийного журнала «Завтра», посвященного вопросам литературы, науки, искусства, техники, просвещения и современного быта». Сообщается, что ответственный редактор журнала — М. Горький, издатель — З. И. Гржебин, что журнал «издается независимой группой писателей».

«Программа журнала: борьба за культуру, защита культурных завоеваний и ценностей, объединение всех интеллектуальных сил страны, восстановление духовных связей с Западом, прерванных всемирной войной, приобщение России к великому Интернационалу Духа, который будет неминуемо создан — и уже создается — в ЗАВТРАШНЕЙ преображенной Европе». Издание не было осуществлено.

[8] *Институт Зубова* — Институт истории искусств. Институт был основан в 1910 г. графом В. П. Зубовым и до 1920 года носил его имя.

[9] Дневник Блока теперь опубликован. См.: А. Блок. Собр. соч., т. 7, 1963, с. 326 и 330.

[10] В 1919—1925 годах К. Чуковский предложил многим поэтам и прозаикам «Анкету о Некрасове». Ему ответили Анна Ахматова, А. Блок, Н. Гумилев, М. Горький, Евг. Замятин, Б. Пильняк и др. Ф. Сологуб позже, в 1925 году, тоже ответил на вопросы «Анкеты» Чуковского. Все эти ответы теперь опубликованы (см.: Некрасов вчера и сегодня. М., 1988).

[11] Роман Д. С. Мережковского «Александр I».

[12] Имеется в виду статья В. Шкловского «Техника некрасовского стиха» в «Жизни искусства», 9, 10 июля 1919 г.

[13] Баллады Р. Саути с предисловием Н. Гумилева вышли в 1922 г.

[14] Баллады Саути «Варвик» и «Суд божий над епископом» перевел В. Жуковский: Епископ Гаттон — персонаж второй баллады. В той книге баллад Саути, которую подготовил Н. Гумилев, баллада «Суд божий над епископом» дана в переводе В. Жуковского. В своем предисловии Н. Гумилев пишет: «...благодаря переводам Жуковского и Пушкина, имя Саути гораздо известнее [в России], чем у него на родине».

[15] В 1922 году в издательстве «Петрополис» вышла книга Ю. Анненкова «Портреты», где на с. 57 воспроизведен портрет Чуковского. В библиотеке Чуковского хранится именной экземпляр «Портретов», а в архиве обнаружено предисловие к «Портретам», написанное рукою Корнея Ивановича. Ю. Анненков деятельно сотрудничал в «Чукоккале», на страницах которой сохранились его шаржи на Чуковского. Ю. П. Анненков — первый иллюстратор «Двенадцати» Блока. Ему принадлежат также марка издательства «Алконост» и рисунки к «Мойдодыру». Ю. П. Анненков — автор двухтомника «Дневник моих встреч» (Нью-Йорк, 1966).

[16] В брошюре «Принципы художественного перевода» (Пг., 1920), в своей статье «Переводы прозаические» Чуковский подробно проанализировал и достоинства и недостатки перевода Введенского и, «проредактировав перевод... исправил около *трех тысяч ошибок* и отбросил около девятисот отсебятин». Однако в конце концов книга не была издана. Вспоминая об

этом в 1966 году, Чуковский писал: «...я пришел к убеждению, что исправить Введенского нельзя, и бросил всю работу» (подробнее об этой работе К. Чуковского, о заметках по этому поводу А. Блока и М. Горького см.: Литературное наследство, т. 92, М. 1987, кн. 4, с. 314).

[17] Вероятно, речь идет о статье «Из воспоминаний о Л. Н. Андрееве», напечатанной в «Вестнике литературы» (1919, № 11, с. 2—5).

[18] См. запись от 28 октября 1919 года и примеч. 13 и 14.

[19] По-видимому, обсуждалась постановка пьесы Н. Гумилева «Гондла». Это можно заключить на основании слов Горького о «первобытных людях».

[20] *«Купчиха»* — домашнее прозвище Валентины Ходасевич, племянницы поэта В. Ф. Ходасевича.

[21] *«Трилогия»* Д. С. Мережковского — «Христос и Антихрист» (1896—1905).

[22] Сборник вышел в 1922 г. (Берлин — П г . — М.) под названием «Книга о Леониде Андрееве». В книгу вошли воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, М. Телешова, Евг. Замятина.

[23] Эту мысль Чуковский развил в своей брошюре о Некрасове «Поэт и палач» (1922). Чуковский пишет о Некрасове, что он был «двуликий, но не двуличный» и что «цельность — это качество малоодаренных натур». «Именно в этой двойственности трагическая красота его личности», — заключает Чуковский свою статью.

[24] «Всемирная литература» выпустила в 1920 году пятый том «Избранных сочинений Г. Гейне» под редакцией и с предисловием Блока, В этот том вошли «Путевые картины» (части первая и вторая) и мемуары. Шестой том Гейне под редакцией Блока вышел в 1922 году.

[25] *Доклад о музыкальности и цивилизации* — см. «Крушение гуманизма» (А. Блок. Собр. соч., т. 6, 1962, с. 93). Блок прочел этот доклад на открытии Вольной философской ассоциации, а до этого — 9 апреля 1919 года — в коллегии «Всемирной литературы», где Чуковский и слышал его впервые.

[26] В этой дневниковой записи слышны отзвуки разногласий с «формалистами». Об этих разногласиях Чуковский писал М. Горькому в 1920 г.: «...нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось *душою* поэта... покуда критик анализирует, он ученый, но когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека» («Литературное обозрение», 1982, № 4, с. 103). Позже, в 1924 году, Чуковский вновь вернулся к этим мыслям: «Знаю, что теперь непристойно это старомодное, провинциальное слово, что, по нынешним литературным канонам, критик должен говорить о течениях, направлениях, школах либо о композиции, фонетике, стилистике, эйдологии, — о чем угодно, но не о душе, но что же делать, если и в композиции, и в фонетике, и в стилистике Блока — душа!.. Знаю, что неуместно говорить о душе, пока существуют такие благополучные рубрики, как символизм, классицизм, романтизм, байронизм, неоромантизм и проч., так как для классификации поэтов по вышеуказанным рубрикам понятие о душе и о творческой личности не только излишне, но даже мешает, нарушая стройность этих критико-бюрократи-

ческих схем... Эта душа ускользнет от всех скопцов-классификаторов и откроется только — душе...». (Александр Блок как человек и поэт. Пг., 1924, с. 78, 79).

[27] Скрытая цитата из «Потока-богатыря» А. К. Толстого.

[28] В дневник вложены три относящиеся к этому времени записки М. Горького — о Саути, о Персее и о Диккенсе. На обороте каждой из них — дневниковые записи К. Чуковского. Поскольку на обороте горьковской записки о Диккенсе — запись Чуковского от 20 ноября 1919 г., по-видимому, речь идет именно об этой записке. Вот ее текст:

«К. И.!

Я не смогу придти сегодня — ненормальная температура и кровь.

В переводе Диккенса не усмотрел заметных разночтений между Введенским — Чуковским; — Ваша работа очень тщательна. Вот все, что могу сказать по этому поводу.

Несколько неловкостей выписаны мною на отдельном листке, вложенном в книгу.

Записка в Совнарком — должна быть подписана поименно всеми, кто пожелает подписать ее. Жму руку. А. Пешков» (17 ноября 1919, дата поставлена рукой К. Чуковского).

[29] Чуковский инсценировал для кинематографа в серии «Исторические картины» древнегреческий миф о Персее. Рукопись инсценировки см.: «Архив М. Горького», ИМЛИ АН СССР, фонд А. Н. Тихонова, ед. хр. 575.

[30] Шуточный протокол этого заседания см.: «Чукоккала», с. 248—250.

[31] Этот портрет В. Шкловского воспроизведен на стр. 119 книги Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922).

[32] Речь идет о пьесе А. Блока «Рамзес (Сцены из жизни древнего Египта)» (А. Блок. Собр. соч., т. 4, 1961, с. 247).

[33] Эту вырванную Блоком страницу Чуковский вклеил в «Чукоккалу». Стихи Блока и шуточную переписку о дровах см.: «Чукоккала», с. 216—220. После выхода книги «Из воспоминаний» (1959) К. Чуковский получил письмо от сына Д. С. Левина — Юрия Давидовича, в те годы кандидата философских наук. К письму Ю. Д. Левина, в котором указаны и размеры альбома отца (21x14 см, толщина 3 см), приложена его статья «Поэты о дровах». В статье, в частности, приводятся стихи Н. Лернера и Н. Гумилева в этом альбоме. Статья опубликована лишь частично и вместе с письмом хранится в архиве Чуковского (ГБЛ, ф. 620).

[34] В одной из своих статей о Слепцове Чуковский, описывая это заседание «Всемирной литературы», называет тот рассказ Слепцова, который хвалил Лев Толстой. Чуковский приводит слова Горького: «А его (Слепцова. — *Е. Ч.*) «Ночлег»! Отличная вещь, очень густо написанная. Сколько раз перечитывал ее Лев Николаевич. И всегда с восхищением. А про сцену на печи он сказал: «Похоже на моего «Поликушку», только у меня хуже» (К. Чуковский. Литературная судьба Василия Слепцова. — В кн.: Литературное наследство, т. 71, 1963, с. 7).

В 1919 году Горький опубликовал воспоминания о Льве Толстом (Пг., изд-во З. И. Гржебина), но там не говорилось ни о Слепцове, ни о «стеженом одеяле». Переиздавая эти воспоминания в 1921 и 22 гг., Горький дополнил их новым отрывком. В этом отрывке Толстой говорит: «Стеганое, а не стеженое; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...» (цит.

по кн.: М. Горький. Собр. соч. в 25 т., т. 16. М., 1973, с. 271 (гл. XXI); то же издание, т. 4, Варианты. М., 1976, с. 390).

[35] Горький имеет в виду исторический роман Елены (а не Софьи, как у К. И.) Вельтман «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой». Роман был опубликован в 1867 году в «Отечественных записках» (см. т. CLXX, с. 1—7, 215—297, 413—493, 605—705; т. CLXXI, с. 1—61).

[36] *Стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове* были ответом на шуточное стихотворение Чуковского: «Ты ль это, Блок? Стыдись! Уже не роза, / Не Соловьиный сад, / А скудные дары из Совнархоза / Тебя манят». Стихотворение Блока, о котором идет речь в дневнике, называется «Чуковскому». Факсимиле этого стихотворения см.: «Чукоккала», с. 219. В Собрании сочинений А. Блока стихотворение «Чуковскому» названо «Стихи о Предметах Первой Необходимости» (т. 3, с. 426).

[37] Строчка о Брюсове — «Книг чтоб не было в шкапу ста!» / Скажет Брюсов, погоди».

[38] Стихотворение называется «Продолжение «Стихов о Предметах Первой Необходимости». Факсимиле см.: «Чукоккала», с. 221. Эти шуточные стихи Блока в его Собрании сочинений опубликованы без второй строфы и без блоковского примечания к ней (т. 3, с. 427). Более полный вариант стихотворения см.: «Русский современник», 1924, № 3, с. 145.

[39] Оба рисунка сохранились в рукописном альманахе. Рисунок П. И. Нерадовского см. в «Чукоккале» (М., 1979, с. 255).

1920

[1] 15 января 1920 г. Блок записывает в своем дневнике: «...снятие блокады Балтийского моря, мир с Эстонией».

[2] Г. Уэллс переписывался с М. Горьким и 11 февраля 1920 г. написал ему, что посылает начало своей «Истории культуры». Уэллс спрашивал, можно ли опубликовать перевод этой его книги в России.

[3] Строки из стихотворений Блока «Зачатый в ночь, я в ночь рожден...» и «Жизнь моего приятеля».

[4] Речь идет о стихотворении Гумилева «Дамара. Готтентотская космогония», повествующем о белой птице, разорванной на две части... портрет *моего государя* — строка из стихотворения «Галла». «Дамара» и «Галла» опубликованы в сб. «Шатер» (1922).

[5] Н. Н. Пунин в это время был заместителем наркома просвещения А. В. Луначарского по делам музеев и охраны памятников.

[6] Вечер Блока в Доме искусств состоялся 21 июня.

[7] Перечислены английские книги: Pickwick — «Записки пиквикского клуба», «Manalive» — «Живчеловек», «Kidnapped» — «Похищенный», «Catriona» (Stevenson) — «Катриона» Стивенсона.

[8] *Ермоловская* — место под Сестрорецком, где Чуковский проводил лето с семьей.

[9] *«Муравьев и Некрасов»* — статья Чуковского о том, как Некрасов, чтобы спасти от закрытия свой журнал «Современник», прочитал на тор-

жественном обеде оду в честь душителя Польши генерала Муравьева (Вешателя). Статья была многократно читана в виде лекции, а в 1922 году издана отдельной книжкой под названием «Поэт и палач».

[10] Разговор с Голичером на вечере у Браза подробно записан в Дневнике Блока. В частности, Блок пишет: «Вечер состоял в том, что мы «жаловались», а он спорил против всех нас. «Не желайте падения этой власти, без нее будет еще гораздо хуже» (А. Блок. Собр. соч., т. 7, 1963, с. 381).

[11] Речь идет о статье «Ахматова и Маяковский» («Дом искусств», 1921, № 1), до публикации многократно прочитанной в виде лекции.

[12] Эти слова Чуковского интересно сопоставить с записью А. Блока 17 декабря 1920 г.: «Правление Союза писателей. Присутствие Горького (мне, как давно уже, тяжелое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу (списана у Сильверсвана)». См.: Ал. Блок. Записные книжки. М., 1965, с. 509. Статья Мережковского «Открытое письмо Уэллсу» от 10 ноября 1920 г. — ответ на серию газетных статей Г. Уэллса о России. Письмо опубликовано в эмигрантской печати: «Последние новости» (Париж), 1920, № 189, 3 декабря и «Свобода» (Варшава), 1920, № 125, 12 декабря. Мережковский пишет о Горьком: «...Вы полагаете, что довольно одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства.

Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит «спасение» Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем *так* спастись.

Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою «спасает» Горький? Ценою *оподления*...

Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех большевиков — хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького...»

Далее Мережковский утверждает, что большевики — марсиане из «Борьбы миров», «они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною чуждостью.

Вы, мистер Уэллс... знаете, что торжество марсиан — гибель не только моего и вашего отечества, но и всей планеты Земли.

Так неужели же вы — с ними против нас?»

1921

[1] Ю. Анненков тоже вспоминает «морозные сумерки 1919 года», когда он с Гумилевым и какой-то девушкой по настоянию Каплуна ездил в новый крематорий. (См.: Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Нью-Йорк, т. I, 1966, с. 102—103).

[2] В первом издании поэмы «Двенадцать» (Пг., «Алконост», 1918), выпущенном тиражом 300 экземпляров, слово «ужь» напечатано с мягким знаком (см., например, с. 63). В архиве Чуковского хранится нумерованный

(шестьдесят второй) экземпляр этого издания с дарственными надписями Александра Блока и Юрия Анненкова.

[3] В 1919 году Чуковский начал писать книгу об Александре Блоке и «пользовался всякой встречей с поэтом, чтобы расспрашивать его о том или ином из его стихотворений» («Чукоккала», с. 210).

[4] См. «О назначении поэта» (А. Блок. Собр. соч., т. 6, 1962, с. 160)

[5] Когда Уэллс приехал в Петроград, Горький попросил Чуковского показать Уэллсу какую-нибудь петроградскую школу. Чуковский повел его в Тенишевское училище, расположенное напротив издательства «Всемирная литература». Там учились трое детей Корнея Ивановича. Школьники, перебивая друг друга, называли прочитанные ими книги Уэллса. Через несколько дней Уэллс зашел в какую-то другую школу, где никто из учеников не слышал его имени и не знал ни одной его книги.

По возвращении в Англию Уэллс выпустил книгу «Россия во мгле», где между прочим писал: «...мой литературный друг, критик г. Чуковский, горячо желая показать мне, как меня любят в России, подготовил эту невинную инсценировку, слегка позабыв о всей серьезности моей миссии». Чуковского оскорбило предположение Уэллса, что он подстроил сцену в школе. На самом деле Тенишевское училище славилось своими замечательными учителями, многие ученики писали стихи, участвовали в школьных рукописных журналах, уровень их знаний был высок. Подробнее этот эпизод и свидетельства очевидцев см. в статье: К. Чуковский. Фантасмагория Герберта Уэллса. «Лит. Россия», 1964, 25 сентября.

[6] 28 февраля началось восстание кронштадтского гарнизона. 2 марта восставшие арестовали командование флота и создали свой штаб. Блок упоминает о событиях в Кронштадте и о своем посещении Лавки писателей в последнем чукоккальском стихотворении: «Как всегда, были смутны чувства, / Таял снег, и Кронштадт палил. / Мы из Лавки Дома искусства / На Дворцовую площадь шли...» («Чукоккала», с. 224).

[7] М. Ю. Лермонтов. Избранные сочинения в одном томе. Редакция, вступительная статья и примечания Александра Блока. Берлин — Пг., изд-во З. И Гржебина, 1921.

[8] *Вечер Блока* был устроен в зале Государственного Большого драматического театра под эгидой «Дома искусств».

[9] М. С. Наппельбаум сфотографировал Блока после вечера в Большом драматическом театре — и одного, и вместе с Чуковским. Эти фотографии оказались в числе последних снимков Блока.

[10] Цикл стихотворений *«Через двенадцать лет»* посвящен Ксении Михайловне Садовской (1860—1925).

[11] По воспоминаниям С. Алянского, «в дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. Желая отвлечь Блока, Корней Иванович

занимал поэта веселыми рассказами... Блок много смеялся и, казалось, порой совсем забывал о болях.

Когда Блок вернулся в Питер, то первое, о чем он рассказал Любови Дмитриевне на вокзале, было — как мы ехали в Москву и как всю дорогу Чуковский заговаривал ему больную ногу веселыми рассказами и удивительными историями.

— И знаешь, — добавил он, — заговорил: я совсем забыл о ноге. Вся дорога, по выражению Блока, прошла в «Чуковском ключе» (С. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М., 1972, с. 134).

[12] В статье «Последние годы Блока» («Записки мечтателей» № 6. Пг., «Алконост», 1922, с. 162) Чуковский подробно описывает это выступление и цитирует те латинские стихи, которые Блок тогда прочитал. Это — эпитафия Полициана, вырезанная на могильной плите художника Фра Филиппо Липпи (ок. 1406—1469). Художник похоронен в Сполетском соборе. Перевод эпитафии Полициана входит в цикл «Итальянские стихи».

[13] В статье «Умер Александр Блок», написанной на смерть Блока и опубликованной 10 августа 1921 г., Маяковский вспоминал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, — дальше дороги не было. Дальше смерть».

[14] А. Ф. Струве, автор стихотворных сборников, статей, брошюр. В 1909 г. Блок так отозвался об одной из его книг: «И по содержанию и по внешности — дряхлое декадентство, возбуждающее лишь отвращение» (А. Блок. Собр. соч., т. 5, 1962, с. 647). В 1920—21 гг. А. Ф. Струве заведовал литературным отделом Московского Губ. Пролеткульта, читал лекции на темы: «Теория ритма», «Танцы под слово» и проч. В одной из таких лекций говорилось: «Есть особые ритмы в группировке слов, есть особая динамика, — и все это дает жизнь произведениям искусства» (ЦГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 970). Судя по записи Чуковского, на вечере Блока Струве излагал приблизительно те же взгляды.

[15] Рукопись этого рассказа Льва Лунца под названием «Исходящая № 37» сохранилась в архиве Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620). Рассказ опубликован в «Книжном обозрении» (1988, № 39).

[16] См.: И. Сургучев. М. Горький: (Психологический этюд). «Последние известия» (Ревель), 1921, № 127, 30 мая.

[17] Это письмо теперь напечатано в сб.: «Жизнь и творчество Корнея Чуковского». М., 1978, с. 183.

[18] Имеется в виду пьеса «Каракакула». Ее текст утрачен.

[19] В Порхове Чуковский получил письма из Петрограда с известиями о последних днях Блока и о его кончине. Из этих писем два опубликованы (К. Чуковский. Современники. М., 1967, с. 297; «Чукоккала», с. 295). В архиве Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620) сохранилось письмо от Е. И. Замятина, написанное 8 августа: «Вчера в половине одиннадцатого утра — умер Блок. Или вернее: убит пещерной нашей, скотской жизнью. Потому что его еще можно — можно было спасти, если бы удалось вовремя увезти за границу. 7 августа 1921 года такой же невероятный день, как тот — 1837 года, когда узнали: убит Пушкин. <...> Вас нет — и приютская наша

жизнь! — удастся ли вызвать Вас, дойдет ли телеграмма? Похороны в среду, конец недели — вечер памяти Блока — как же без Вас?»

[20] Книга Габриэле Д'Аннунцио была выпущена «Всемирной литературой» в 1923 году с предисловием Г. Л. Лозинского. К этому времени Амфитеатров уже уехал из России, и его статья, о которой пишет Чуковский, в книгу не вошла.

[21] Речь идет о книжках «Поэт и палач», «Жена поэта» и «Некрасов как художник», выпущенных в издательстве «Эпоха» в серии «Некрасовская библиотека».

[22] В письме от 18 декабря А. Ф. Кони писал К. Чуковскому: «Придя домой, я оставил всякую работу и принялся за Вашу книжку о жене Некрасова — и не мог оторваться от нее. ...во мне говорит старый судья, и я просто восхищаюсь Вашим чисто судейским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим «руководящим напутствием», Вашим «resumeц » дела о подсудимых — Некрасове и его жене. Ваша книга настоящий судебный отчет, и Ваше «заключительное слово» дышит «правдой и милостью». Давно не читал я ничего до такой степени удовлетворяющего нравственное чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно-доверчивым обвинениям... и вторую книжку прочел с великим удовольствием... Эта книжка настоящее анатомическое вскрытие поэзии Некрасова.

[23] Статью В. Ходасевича «Об Анненском» см. в сб. «Феникс» (М., изд-во «Костры», 1922).

[24] Это либретто не дошло до нас. В статье «Анна Ахматова и Александр Блок» академик В. М. Жирмунский пишет: «В списке утраченных произведений, сохранившихся в библиографических записях Ахматовой, под № 1 упоминается «либретто балета «Снежная маска». По Блоку, 1921» («Русская литература», 1970, № 3, с. 74). Д. Максимов записал слова Ахматовой: «К сожалению, рукопись либретто не сохранилась, осталась только обложка» (1959). Цит. по ст.: Д. Максимов. Ахматова о Блоке. «Звезда», 1967, № 12, с. 190.

[25] Вероятно, речь идет о стихотворении «А Смоленская нынче именинница». Стихотворение написано Ахматовой в 1921 году на смерть Блока.

1922

[1] *«Довольно с нас и сия великия славы, что мы начинаем»* — эти слова В. К. Тредиаковского завершают вступление «От автора» к брошюре К. Чуковского «Некрасов как художник» (Пг., 1922), Б. Эйхенбаум в статье «Методы и подходы» («Книжный угол», 1922, № 8, с. 16) иронически цитирует эту фразу, добавив: «не совсем понятно, что именно Чуковский «начинает».

[2] Речь идет о книге Ю. Тынянова «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)». Пг., «ОПОЯЗ», 1921.

[3] *Портреты коммунаров* — рисунки Ю. Анненкова к книге «Силуэты Парижской Коммуны». Эта книга с предисловием Тарле издана не была. «Список работ Ю. Анненкова», приведенный в другой его книге — «Порт-

реты» (Пг., 1922) — включает и «рисунки к книге «Силуэты Парижской Коммуны». Опубликован перечень примерно сорока рисунков (обложка, портреты коммунаров, концовка), сделанных художником в 1921 г.

[4] *«Гондла»* — пьеса Н. С. Гумилева. О постановке пьесы в Ростовском театре см.: Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Т. 1. Нью-Йорк, 1966, с. 108.

[5] Речь идет о предисловии к книге Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922). В архиве К. Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620) сохранилось предисловие к этой книге, написанное его рукой. Этот текст (с небольшими разночтениями) и был напечатан за подписью Ю. Анненкова.

[6] Имеется в виду статья «Миша» (о главе всероссийской цензуры Михаиле Лонгинове), впервые опубликованная в кн.: Неизданные произведения Н. А. Некрасова. СПб., 1918. Чуковский переработал статью и переиздал ее в «Некрасовском сборнике» (Пг., 1922), а впоследствии в своих книгах «Некрасов» (Л., 1926) и «Рассказы о Некрасове» (М., 1930).

[7] Стихотворения Ахматовой «Бежецк» (1921), «Клевета» (1922).

[8] Эту рецензию об Ахматовой разыскать не удалось.

[9] *«Звучащая раковина»* — литературный кружок, существовавший в 1920—21 гг., которым руководил «Синдик Цеха поэтов» Н. С. Гумилев. Кружок собирался в большой и холодной мансарде знаменитого фотографа М. С. Наппельбаума на Невском проспекте. Дочери Наппельбаума Ида (р. 1900) и Фредерика (1902—1958) были членами этого кружка.

[10] Ю. Анненков и К. Чуковский ставили в Тенишевском училище детский спектакль по сказке Андерсена «Дюймовочка».

[11] Портрет М. Горького работы Ю. Анненкова см. на стр. 33 книги Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922).

[12] Дневниковая запись Чуковского сделана на обороте вклеенной в тетрадь записки Б. Барабанова: «Корней Иванович. ...Ровно неделю тому назад было у нас первое собрание, для всех нас был этот день каким-то большим и небывалым праздником. Было около 20 человек (мы считаем, что это количество для работы много). Собрание длилось около 4-х часов. Сговаривались, читали «Тебе» и «Большая дорога», стоял мой доклад «Современность и У. Уитмен», но за недостатком времени и за сложностью материала доклад отложили, кроме того хотели, чтобы присутствовали Вы».

[13] Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов и К. И. Чуковский вошли в состав редакционной коллегии «Современного Запада» (1922—1924). Было выпущено шесть книжек журнала.

[14] Сказка Р. Киплинга «Слоненок» в переводе К. Чуковского вышла в издательстве «Эпоха» в 1922 году.

[15] *Книжки о Некрасове* — см. примеч. 21, 1921 г.

[16] *Она лежит в гробу стеклянном* — строка из стихотворения А. Блока «Клеопатра».

[17] Речь идет о статье Э. Ф. Голлербаха «Петербургская камена (Из впечатлений последних лет)» — «Новая Россия», 1922, № 1, с. 87.

[18] Имеется в виду книга Э. Голлербаха «Царское село в поэзии» (СПб., «Парфенон», 1922).

[19] С 1922 года в Берлине начал выходить ежемесячный критико-

библиографический журнал «Новая русская книга», изд-во И. П. Ладыжникова. В № 1 журнала помещены среди прочего и рецензии на книги Ремизова («Шумы города», «Огненная Россия») и Ахматовой («Anno Domini»). Рецензент называет Ремизова «замечательным художником». Рецензия на книгу Ахматовой заканчивается словами: «Стихи Ахматовой — один из лучших цветков нашей культуры».

[20] Три сестры Ахматовой — Ирина, Инна и Ия. Ирина умерла ребенком, Инна — двадцати двух лет, в 1905 году; речь идет об Ии (1892—1922).

[21] В дневнике описка. Стихотворения «Юдифь» у Ахматовой нет. Вероятно, речь идет о стихотворении «Рахиль» из цикла «Библейские стихи».

[22] Строки из стихотворения А. Блока «Своими горькими слезами...».

[23] В. Д. Набоков был застрелен в Берлине в момент покушения на лидера кадетов П. Н. Милюкова. Набоков прикрыл его собою от пули.

[24] *Сын-поэт* — Владимир Владимирович Набоков (1899—1977), впоследствии знаменитый писатель. Чуковский сохранил в «Чукоккале» стихотворение юного Набокова. Другое стихотворение Чуковскому прислал В. Д. Набоков (отец), желая узнать его «беспристрастное как всегда мнение» о стихах сына. Письмо В. Д. Набокова к Чуковскому и приложенные к нему стихи хранятся в Стокгольме (см.: Sven Gustavson. Письма из архива К. И. Чуковского в Стокгольме. В сб.: Scando Slavica. Munksgaard. Copenhagen. 1971, v. XVII, p. 51).

[25] О. Л. Д'Ор. Владимир Набоков. Правда, 1922, 1 апреля.

[26] Чуковский цитирует строки из стихотворения Вас. Ив. Немировича-Данченко, написанного в 1916 году во время поездки делегации русских журналистов в Англию (см. «Чукоккала», с. 162). Среди членов делегации были В. Д. Набоков, В. И. Немирович-Данченко и К. Чуковский.

[27] Перевод этот опубликован. См.: Э. Синклер. Сто процентов (История одного портрета). Перевод Л. Гаусман под редакцией Д. Горфинкеля и К. Чуковского. Пг., Гос. изд-во, 1922.

[28] Сологуб, вероятно, подразумевает такие слова Чуковского: «...можно легко доказать, что чуть не в каждом своем стихотворении (речь идет о первой книге стихов. — *Е. Ч.*) Блок был продолжатель и как бы двойник тех немецких не слишком даровитых писателей, которые в 1798 и 1799 годах жили на берегу реки Заале, можно проследить все их влияния, отражения, веяния и написать весьма наукообразную книгу, в которой будет много эрудиции, но не будет одного: Блока. Ибо Блок, как и всякий поэт, есть явление единственное, с душой непохожей ни на чью, и если мы хотим понять его душу, мы должны следить не за тем, чем он случайно похож на других, а лишь за тем, чем он ни на кого не похож. Лишь вне течений, направлений, влияний, отражений, традиций, школ вскрывается нам творчество поэта». Чуковский доказывает, что звуковая основа поэмы «Двенадцать» — это и русская древняя простонародная песня, и русский старинный романс, и русская солдатская частушка. Указав на многие национальные черты героев «Двенадцати», он продолжает: «...в нынешней интернациональной России великий национальный поэт воспел революцию

национальную» (К. Чуковский. Книга об Александре Блоке. Пг., 1922, с. 31, 85).

[29] *Статейка о «Колоколах» Диккенса* — предисловие в кн.: Ч. Диккенс. Колокола. Пг.—М., 1922, с. 1—2.

[30] *«Короли и капуста»* О'Генри опубликованы в переводе и с предисловием К. Чуковского в журнале «Современный Запад» (1922, № 1—3).

[31] Чуковский постоянно записывал в «Чукоккале» «новые слова», появившиеся в языке после революции. По воспоминаниям Ю. П. Анненкова, Корней Иванович написал «о последних неологизмах русского языка» статью «Кисяз» для первого номера «Литературной газеты». Однако в то время издание газеты осуществлено не было (см.: Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Т. 1, 1966, с. 252).

[32] См.: Б. Шоу. Пьесы. Пг.—М., 1922.

[33] 30 апреля 1922 года в Литературном приложении № 29 к газете «Накануне» (Берлин) напечатаны стихотворения Анны Ахматовой «Земной отрадой сердце не томи...» и «Как мог ты, сильный и свободный...».

[34] *История с Ал. Толстым.* — Чуковский послал Ал. Толстому в Париж частное письмо, в котором резко отозвался о некоторых членах «Дома искусств». Толстой неожиданно опубликовал это письмо на страницах «Литературного приложения» к газете «Накануне» (1922, 4 июня). Это задело и обидело тех, о ком нелестно высказался Чуковский. С возмущением восприняла поступок Толстого М. Цветаева, которая тотчас напечатала свой протест, где были такие слова: «Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая порука человечности <...> не жму руки Вам. Марина Цветаева». («Голос России», Берлин, 1922, № 983). Горький писал Толстому: «Получил множество писем из России... там весьма настроены против вас литераторы за письмо Чуковского» (Литературное наследство, т. 70. М., 1963, с. 402). См. также примеч. 4, 1923 г.

[35] Судя по переписке с Ал. Толстым (см.: А. Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985, с. 498). К. Чуковский заказывал рассказы и повести для этого предполагаемого детского журнала. Ал. Толстой начал по его просьбе писать повесть «Клятва»; о том, что «Чуковский затеял детский журнал», упомянуто и в письме К. А. Федина от 19 сентября 1922 г. (К. А. Федин. Собр. соч. в 12 т, т. 11. М., 1986, с. 31). В конце концов журнал «Носорог» выпущен не был.

[36] Графический портрет Б. Пильняка опубликован на стр. 287 книги Ю. Анненкова «Дневник моих встреч» (1966, т. 1). Местонахождение акварельного портрета неизвестно.

[37] *Книга о Бакунине* — Вяч. Полонский. Михаил Александрович Бакунин (1814—1876). М., Гос. изд-во., 1920; рассказ Федина о палаче — «Рассказ об одном утре» в кн.: К. Федин. Пустырь. М.—Пг., 1923.

[38] *«Плэйбой»* — пьеса ирландского драматурга Д. Синга. Пьеса издана в переводе К. Чуковского и с его вступительной статьей в 1923 году. Название пьесы по-русски — «Герой».

[39] «Сверчок на печи» — инсценировка рождественской сказки Ч. Диккенса.

[40] *Катерина Ивановна* — Карнакова, актриса 1-й студии МХАТа, а затем

МХАТд-2. Ей посвящено стихотворение Чуковского в «Чукоккале»: «Карнакова, Катя Карнакова / Слышу крик монгольского орла...» Стихотворение опубликовано в воспоминаниях Н. Ильиной о Е. И. Карнаковой (см.: Н. Ильина. Судьбы. М., 1980, с. 270).

[41] Чуковский сблизился с актерами 1-й студии МХАТа, так как там ставилась пьеса Синга «Герой» в его переводе.

[42] Речь идет о строфе из «Мойдодыра»: «Боже, боже / Что случилось? / Отчего же / Все кругом...» Запрет этот и борьба с крамольной строчкой продолжались десятилетиями. В письме к редактору издательства «Малыш» Э. В. Степченко Чуковский писал в 1967 году: «Какие странные люди пишут мне письма, в которых бранят новое издание «Мойдодыра» за то, что в нем есть ужасная строка: «Боже, боже, что случилось?»

[43] Разговор идет о статье Ю. Айхенвальда «Ахматова» в его книге «Поэты и поэтессы» (М., «Северные дни», 1922, с. 52—75) и о статье В. Виноградова «О символике А. Ахматовой» («Литературная мысль». Кн. 1. Пг., «Мысль», 1922, с. 91—138).

[44] «Peter and Wendy» с рис. Bedford'a — книга для детей: J. M. Barrie. Wendy and Peter. Drawings by F. D. Bedford. London: Hodder & Stoghton. 1911. Герой книги — Peter Pan.

[45] Ю. Анненков сделал рисунки к «Мойдодыру», а С. Чехонин — к «Тараканищу».

1923

[1] Речь идет о книге: Д. Конрад. Каприз Олмейера. Перевод М. Соломон под редакцией К. Чуковского и К. Вольского. Предисл. К. Чуковского. Пб.—М., Гос. изд-во, 1923.

[2] *«История Всемирной литературы»* — шуточная история, написанная Замятиным. В архиве К. Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620) хранится «Краткая история Всемирной литературы от основания и до сего дня» (часть 1, 5 стр. на машинке), датированная 25 декабря 1921 г., а в «Чукоккале» — «Часть III и последняя» (16. XII. 24). Однако в этих рукописях нет тех слов, которые записаны в дневнике Чуковского. Один из сохранившихся вариантов «Истории...» опубликован в «Сочинениях» Е. Замятина (ФРГ, 1986, т. 3, с. 344). Там, в частности, говорится: «Когда пришли воины к Корнию, он в страхе... окружив себя двенадцатью своими детьми — жалобно закричал... И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинуясь, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им накануне».

[3] «Этот портрет теперь находится в Америке в собрании Н. Лобанова-Ростовского, размер 67X43, поколенный» — так написал мне 15.5.72 г. художник Н. В. Кузьмин, в прошлом — ученик С. В. Чехонина.

[4] После того как Ал. Толстой опубликовал письмо Чуковского в приложении к газете «Накануне» (см. примеч. 34, 1922 г.), отношения Чуковского и Замятина испортились. В письме Чуковского были такие строки о Замятине: «Замятин очень милый человек, очень, очень — но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший». 30 июня 1922 года, отвечая Чуковскому (очевидно, на письмо с извинениями и объяснениями),

Замятин писал ему: «...говорить, что я на Вас сердит, — это было бы совершенно неверно. <...> После Вашего письма Толстому у меня есть ощущение, что именно друг-то и товарищ Вы — довольно колченогий и не очень надежный. Я знаю, что вот если меня завтра или через месяц засадят (потому что сейчас нет в Советской России писателя более неосторожного, чем я) — если так случится, Чуковский один из первых пойдет хлопотать обо мне. Но в случаях менее серьезных — ради красного словца или черт его знает ради чего — Чуковский за милую душу кинет меня Толстому или еще кому... <...> Чуковским, т. е. одним из тех десяти или пяти, кто по-настоящему честно относится к слову, к искусству слова, — Вы для меня все равно остаетесь (для десяти или пяти я, должно быть, и пишу)».

[5] Судя по фразам, вызвавшим возражения Тихонова, Волынского и Чуковского, Е. Замятин читал свою новую трагикомедию «Общество почетных звонарей» (по повести «Островитяне»). Пьеса была опубликована в 1924 г. (Л., «Мысль») и поставлена в 1925 г. в б. Михайловском театре.

[6] Художница Е. В. Щекатихина жила, бедствуя, в общежитии «Дома искусств». По приглашению И. Я. Билибина она уехала к нему за границу. Там она вышла за него замуж.

[7] *Ара*— ARA: American Relief Administration *(англ.)* (1919—1923) — американская администрация помощи, организация, помогавшая голодающим в России.

[8] *«Потоп»* — пьеса С. Бергера, *«Эрик XIV»* — пьеса Ю. Стриндберга. Обе пьесы были поставлены Е. Вахтанговым в первой студии МХАТа и пользовались большим успехом.

[9] Речь идет о стихотворении В. Маяковского «Газетный день», опубликованном в «Журналисте» № 5 (март—апрель).

[10] Чуковский имеет в виду такую фразу в автобиографии В. Маяковского «Я сам» (в главке о Куоккале): «Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки».

[11] Ахматова говорит о книге Б. Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа» (Пб., «Первопечать», 1923).

[12] Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Утро» (Ты грустна, ты страдаешь душою...).

[13] *Оля* — Дьячкова, одна из учениц К. Чуковского в Студии художественного перевода. Она же написала «Оду» Чуковскому (см.: «Чукоккала», с. 260).

[14] В. Теляковский, бывший директор императорских театров, поместил в № 14 «Жизни искусства» (6 апреля 1923) статью «О Мейерхольде». Статья приурочена к двадцатипятилетию сценической деятельности Вс. Мейерхольда. Теляковский ставит ему в заслугу, что он «несомненно долгими годами сложившийся театральный муравейник растревожил».

[15] Чуковский подразумевает самоубийство жены Ф. Сологуба А. Н. Чеботаревской.

[16] Трудно сказать с уверенностью, что именно заинтересовало Чуковского в газете. В эти дни газеты писали об убийстве В. Воровского и об английской ноте — «ультиматуме Керзона». Были помещены речи Чичери-

на, Бухарина и Троцкого с возражениями против ноты английского правительства.

[17] Это письмо теперь опубликовано. Блок пишет о поэме Ахматовой: «Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они — не пустяк, и много такого — отрадного, *свежего,* как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши *«вовсе* не знала», «*у самого* моря», *«самый* нежный, *самый* кроткий» (в «Четках»), постоянные *«совсем»* (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. — Но все это — пустяки, поэма настоящая, и Вы — настоящая».

[18] *...какая канитель с репинскими деньгами.* — По неопубликованной переписке И. Е. Репина с К. И. Чуковским (архив К. Чуковского и музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты») видно, что Чуковский посылал Репину деньги, а потом и отчет издателя Абрама Ефимовича Эйзлера о гонорарах, следующих И. Е. Репину за издание его книги «Бурлаки на Волге» в издательстве «Солнце» (1922). Из-за постоянной девальвации рубля в это время денежные отношения с Репиным запутались. Из отчета издателя видно, что Чуковский, который готовил это издание и был редактором книги, никаких денег за эту работу не получал. Репин, однако, считал, что ему посылают «фальшивые» деньги, так как встречался с трудностями при переводе рубля в финские марки. Все эти сложности нашли свое отражение в переписке с Чуковским.

[19] *Черубина де Габриак* — поэтесса, чье имя и биографию придумали летом 1909 года М. Волошин и Е. Васильева. Стихи Черубины печатал в «Аполлоне» С. Маковский. Об этой истории, об Е. Васильевой, о дуэли между Н. Гумилевым и М. Волошиным см. публикацию Вл. Глоцера «Елис. Васильева...» («Новый мир», 1988, № 12).

[20] *«Ветер что-то удушлив не в меру»* — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде».

[21] Речь идет о стихотворении «Все расхищено, предано, продано...», посвященном Наталии Рыковой. В статье Н. Осинского «Побеги травы», напечатанной в «Правде» (4 июля 1922 г., № 146), автор полемизирует с эмигрантскими критиками по поводу этого стихотворения и заявляет: «Одна беда, рецензенты не сообразили, что Н. Рыкова, коей посвящено стихотворение, является женой «большевистского комиссара». На самом деле Наталья Викторовна Рыкова, близкий друг Анны Ахматовой, была женой профессора Г. А. Гуковского и никакого отношения к «большевистскому комиссару» А. И. Рыкову не имела.

[22] По-видимому, Чуковский работает над статьей «Две души М. Горького», опубликованной в 1924 г. изд-вом Т-ва А. Ф. Маркс отдельной книжкой.

[23] В январе 1923 г. В. Н. Княжнин, живущий в Петрограде, дал П. Е. Щеголеву доверенность — заключить в Москве договор с Госиздатом о печатании тома сочинений Н. А. Добролюбова (дневники, переписка, со вступительной статьей и примечаниями). По этой доверенности Щеголев получил причитающийся Княжнину аванс. Рукопись не была представ-

лена в срок, издательство пригрозило расторжением договора. В пространном письме в Госиздат Княжнин обвинил Щеголева в неточном составлении договора, в том, что он «скрывал от меня срок». Дальнейшую работу с Госиздатом Княжнин хотел вести «без посредничества г. Щеголева», а доверенность на ведение своих дел передал М. Кобецкому (Архив ИМЛИ, ф. 28, оп. 2, № 12).

[24] Имеется в виду статья А. Волынского «Лица и лики» («Жизнь искусства», 1923, № 40, с. 18).

[25] В архиве Чуковского сохранилась рукопись его сценария по «Крокодилу». Часть этого сценария (с грубыми ошибками) теперь опубликована. См. сб.: История становления советского кино. М., 1986, с. 127—135.

[26] *Обыватель* — персонаж из пьесы Ал. Толстого «Бунт машин».

[27] *«Украшают тебя добродетели»* — первая строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Современная ода». Во второй строфе говорится: «...И червонцы твои не украдены / У сирот беззащитных и вдов».

[28] Сохранилось письмо Владислава Ходасевича: «Дорогой Корней Иванович! Экстренно и в последнюю минуту: спасибо за заботу об Анне Ивановне. Дай Вам Бог здоровья. Обнимаю Вас. Ваш В. Ходасевич. 23.IV.923» (РО ГБЛ, ф. 620).

1924

[1] *Статья об Алексее Толстом.* — См.: Портреты современных писателей: Алексей Толстой. «Русский современник», 1924, № 1, с. 256; Г. Честертон. Живчеловек. Предисловие, перевод и примеч. К. Чуковского. М.—Л., Гос. изд-во, 1924; *«Современник»* — журнал «Русский современник» (1924), выходивший при ближайшем участии К. Чуковского.

[2] В «Русском Современнике» № 1 были напечатаны (с продолжением) «Записи некоторых эпизодов, сделанные в г. Гогулеве А. П. Ковякиным» Леонида Леонова.

[3] В «Звезде» № 2 за 1924 год напечатана пьеса Ал. Толстого «Бунт машин». Пьесе предпослано вступление автора: «Написанию этой пьесы предшествовало знакомство с пьесой «ВУР» чешского писателя К. Чапека. Я взял у него тему. В свою очередь тема «ВУР» заимствована с английского и французского. Мое решение взять чужую тему было подкреплено примерами великих драматургов». Журнал «Новый зритель» в № 27 от 15 июля 1924 г. сообщает: «Дело А. Н. Толстого. 31 июня в Народном суде разбиралось дело о переделке А. Н. Толстым пьесы Карела Чапека «ВУР». Переводчик «ВУРа» Кролль передал в прошлом году А. Толстому перевод пьесы для проредактирования. Согласно договора, Толстой, в случае постановки «ВУР» в театре, должен был уплачивать Кроллю половину авторского гонорара. Кролль полагает, что «Бунт машин» Толстого является переделкой его перевода, и требует от Толстого авторские (согласно их договора)».

[4] Есть на *свете город Луга...* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Есть в России город Луга...».

[5] *«Метла и лопата»* — первоначальное название сказки «Федорино горе».

[6] *Напостовец Лялевич* — Г. Лелевич, автор статьи «Несовременный „Современник"» в журнале «Большевик» № 5—6. Лелевич потребовал «немедленных и серьезных шагов в целях противопоставления фронту Замятиных, Чуковских, Сологубов, Пильняков фронта пролетарской и революционной литературы».

[7] *Замятин написал статью о современных альманахах* — речь идет о статье Е. Замятина «О сегодняшнем и современном», опубликованной в «Русском современнике» № 2. Замятин критически оценивает четыре последних альманаха: «Недра» — IV, «Наши дни» — IV, «Круг» — III и «Рол» — III. О «Дьяволиаде» Булгакова, помещенной в «Недрах», Замятин замечает, что «от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». «Современное в искусстве — хорошо, сегодняшнее в искусстве — плохо», — утверждает Замятин.

[8] *«Черничный дедка»* — детская книга с 16 рис. и текстом Э. Песковой. Пересказ со шведского. Берлин, изд-во Девриен, 1921.

[9] Речь идет о книге А. Л. Волынского «...Н. С. Лесков». [Критич. очерк]. Пг., «Эпоха», 1923.

[10] К этому времени усилились нападки на «Русский современник» со стороны руководителей Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП). Кроме Г. Лелевича (см. примеч. 6), против журнала выступил С. Родов, который на майском совещании в ЦК РКП(б) заявил, что «Русский современник» «враждебен рабочему классу».

[11] Рассказ Ал. Толстого «Как ни в чем ни бывало» вышел в изд-ве «Время» в 1925 году с рис. В. Замирайло.

[12] Повесть Н. Чуковского «Танталэна» опубликована в 1925 году в издательстве «Радуга».

[13] В «Правде» 5 ноября 1924 года помещена статья К. Розенталя о № 1—3 «Русского современника». Критик заявляет, что в этом журнале «нэповская литература показала свое подлинное лицо». Заканчивается статья утверждением: «нэпман с Ильинки, кандидат в Нарым и буржуазный интеллигент, тоскующий по «ценностям» буржуазного мира и мечтающий об их возвращении, нашли в «Русском современнике» свое сегодняшнее выражение».

[14] Вероятно, имеется в виду роман «Бич Божий». О его предстоящей публикации было объявлено на обложке четвертого номера «Русского современника». Однако 5-й номер журнала не вышел. Журнал был закрыт, в архиве сохранилась лишь корректура (сообщено А. Стрижевым).

[15] Первая статья Троцкого против Чуковского была написана в феврале 1914 г. и впоследствии вошла в его книгу «Литература и революция» (М., 1923). Троцкий называет Чуковского «теоретически невменяемым» и утверждает, что он «ведет в методологическом смысле чисто паразитическое существование». 1 октября 1922 г. в «Правде» была напечатана статья Л. Троцкого «Внеоктябрьская литература», где он так характеризует книгу Чуковского о Блоке: «...этакая душевная опустошенность, болтология дешевая, дрянная, постыдная!»

Что писал Троцкий о Чуковском в 1924 г., установить не удалось, но в архиве Чуковского сохранился сатирический отклик С. Маршака на это выступление Троцкого. В рукопись «Чукоккалы» на с. 384 вклеен

листок с типографски набранными стихами и написано рукой К. И.: «С. Маршак (для «Русского современника»), запрещено. Троцкий». Вот отрывок из стихотворения С. Маршака:

Расправившись с бело-зелеными,
Прогнав и забрав их в п л е н , —
Критическими фельетонами
        Занялся Наркомвоен.
Палит из Кремля Московского
На тысячи верст кругом.
Недавно Корнея Чуковского
        Убило одним ядром.

[16] Речь идет о статье «Перегудам от редакции Русского современника», помещенной без подписи (с. 236—240) в последней, четвертой книжке журнала. Содержание статьи — полемика с травлей, развернутой на страницах печати критиками Г. Лелевичем, К. Розенталем, С. Родовым и др. В «Чукоккале» (рукопись) сохранилась 3-я глава этой статьи, запрещенная цензурой. Целиком статья опубликована в «Книжном обозрении» (1989, № 18).

[17] *«Паноптикум»* — отдел литературной сатиры, печатавшийся в каждом номере «Русского современника». *«Я боюсь»* — статья Е. Замятина, напечатанная в журнале «Дом искусств», 1921, № 1.

[18] Каменев имеет в виду статью К. Розенталя. См. примеч. 13.

[19] См. примеч. 16.

[20] Очевидно, речь идет о статье Чуковского об Эйхенбауме «Формалист о Некрасове», напечатанной в книге Чуковского «Некрасов» (Л., «Кубуч», 1926).

[21] В ноябре и декабре 1924 г. «Правда» печатала многочисленные статьи с критикой только что опубликованной книги Л. Троцкого «1917».

[22] Эмигрантская газета «Руль» (Берлин) писала 22 октября 1924 года (№ 208), что в Петрограде слушалось дело о притонах разврата, причем среди обвиняемых «было немало видных и ответственных коммунистов, вплоть до самого Оль Д'Ора, этой красы и гордости красной журналистики».

1925

[1] Действительно, в «Звезде» № 1 помещено «Открытое письмо редактору «Звезды» Георгия Горбачева. Нападая на Воронского за «литературный троцкизм», Г. Горбачев обвиняет его в том, что он «организационно связан с главными сотрудниками реакционнейшего «Русского современника». Г. Горбачев выступает от лица Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, от имени «пролетписателей» и «пролетлитературы».

[2] *«Блудный бес»* — комедия Ал. Толстого «Изгнание блудного беса».

[3] Стихи Ф. Сологуба начинаются словами: «Ведь это, право же, безбожно — / Шутить и все шутить весь век. / Нам надобно сказать не ложно: / Чуковский — милый человек...» и датированы 24 декабря — 6 января 1925 г. («Чукоккала», рукопись, с. 346а). Стихи частично опубликованы («Чукоккала», с. 148). Чуковский написал Сологубу язвительный стихотворный ответ, сохранившийся на страницах рукописной «Чукоккалы».

[4] Эта фотография до сих пор висит в переделкинском кабинете Чуков-

ского. Она частично (без Е. Замятина) воспроизведена в «Чукоккале» (с. 234). Целиком фотография дана в настоящем издании.

[5] Далее на нескольких страницах своего дневника Чуковский записывает названия картин и последовательность, в какой они развешаны в мастерской Репина и в столовой. Запись оказалась бесценной при восстановлении после войны сгоревших репинских «Пенатов».

[6] Чуковский увез в Россию не все бумаги, сохраненные Шайковичем. Часть архива К. Чуковского за 1904—1917 гг. обнаружена в личном архиве проф. И. Шайковича. Этот архив хранится в Славянском институте в Стокгольме. Подробнее см.: Свен Густавсон. Архивные находки. Письма из архива К. И. Чуковского в Стокгольме (Scando Slavica. Tomus XVII. Munksgaard. Copenhagen, 1971, p. 45—53).

[7] Этот документ разыскал и опубликовал ленинградский исследователь В. Ф. Шубин. В метрической книге петербургской Владимирской церкви, где крестили новорожденного, записано: Николай, сын «Херсонской губернии Ананьевского уезда Кондратьевской волости украинской девицы деревни Гамбуровой Екатерины Осиповны Корнейчуковой, незаконнорожденный» (сб. «...Одним дыханьем с Ленинградом». Л., 1989, с. 250).

[8] *Стихи на Серапионов.* — «Серапионовы братья — / Непорочного зачатья. / Родил их «Дом искусств» / От эстетических чувств...» и т. д. — см. «Чукоккала», с. 324.

[9] Статья Г. Адонца о постановке пьесы Синга «Герой» в переводе К. Чуковского напечатана в журнале «Жизнь искусства», 1925, № 12.

[10] Это письмо опубликовано (см. журнал «Искусство», 1936, № 5, с. 92). Там есть такие строки: «Да, если бы Вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к Вам: у нас столько общих интересов... А главное, Вы неисчерпаемы, как гениальный человек, Вы на все реагируете и много, много знаете, разговор мой с Вами — всегда — *взапуски* — есть о чем».

[11] Объявление «Приехал жрец» — см. «Чукоккала», с. 303.

[12] Речь идет о кинороМане «Бородуля», опубликованном в 1926 году в вечерних выпусках «Красной газеты» под псевдонимом Аркадий Такисяк.

[13] Имеется в виду XIV съезд ВКП(б), взявший курс на индустриализацию страны.

[14] Речь идет о пьесе С. Моэма и Д. Колтона «Сэди (Ливень)». Впоследствии, в 1926 г., перевод К. Чуковского был опубликован в издательстве «МОДПИК».

1926

[1] По сценарию Ю. Тынянова и Ю. Оксмана «Союз великого дела» (из эпохи декабристов) был снят художественный фильм. Режиссеры — Г. Козинцев и Л. Трауберг («Совкино», 1927).

[2] Актриса Зинаида Райх, жена В. Э. Мейерхольда, в первом браке — жена Сергея Есенина, от которого у нее было двое детей — Татьяна и Константин.

[3] *«Бунт императрицы»* — неточное название пьесы Алексея Толстого «Заговор императрицы».

[4] Речь идет о вечернем выпуске «Красной газеты» (27 января 1926 г.) к столетию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. В номере напечатаны статьи Д. Заславского «Совсем неуютный писатель», Н. Лернера «Переписка Николая I с Поль де Коком: (Сатира Салтыкова)», Н. Яковлева «Художественные замыслы и программы Щедрина» и В. Евгеньева-Максимова «М. Е. Салтыков в «Свистке».

[5] «Juno and Paycock» (на самом деле «Paycock and Juno») — басня, опубликованная в сборнике «Talking Beasts», ed. K. D. Wiggin & N. A. Smith (New York: Doubleday, 1911). Talking Beasts (*англ.*) — говорящие звери.

[6] *«Все было беспокойно и стройно, как всегда...»* — строка из стихотворения Ф. Сологуба.

[7] *«Бой-баба»* — под таким названием ставилась в Ленинградском Театре комедии пьеса французских драматургов В. Сарду и Э. Моро «Мадам Санжен».

[8] Речь идет о статье «Детский язык» (см. «Красная газета», 1926, 24 февраля, вечерний выпуск).

[9] Эта книга «The Poetical Works of Thomas Moore» и сейчас хранится в библиотеке Чуковского. В дневнике приводится строфа из стихотворения «While Gazing on the Moon's Light» («Вглядываясь в лунный свет»). В начале этого стихотворения говорится, что звезды ярче луны, но они слишком далеки и холодны. Гораздо милее Луна, проходящая с улыбкой вблизи от нашей планеты. Подстрочный перевод строфы, переписанной в дневник: «Такова и ты, Мария, но только для меня; / В то время как незаметно играют твои блестящие глаза, / Я один буду любить эти лунные взгляды, / Которые благословляют мой дом и указывают мне дорогу».

[10] *Таракан не ропщет* — скрытая цитата из Достоевского. Это — слова капитана Лебядкина в «Бесах» (ч. I, гл. 4).

[11] Книга Ю. Н. Тынянова вышла под названием «Смерть Вазир-Мухтара».

1927

[1] Речь идет о статье М. Ольминского «Как исправлен Некрасов» (1927, № 2, с. 30—32).

[2] В этот день Тынянов подарил Чуковскому два стихотворных экспромта: «Был у вас — Арзамас...» и «Се оправданье архаистам...» (см.: «Чукоккала», с. 342, 343).

[3] Перевод с нем. Е. А. Кост. М., «Наука», 1913 (Психотерапевтическая библиотека под ред. д-ров Н. Е. Осипова и О. Б. Фельцмана, вып. II).

[4] Christian Science (*англ.*) — христианская наука. Религиозное движение, сложившееся в США в последней четверти XIX века. Основательницей этого движения была Мэри Беккер-Эдди (1821—1910), автор книги «Наука и здоровье» (1876). Подробнее о Мэри Беккер-Эдди и ее учении см.: С. Цвейг. Собр. соч., т. XI; Врачевание и психика. Л., «Время», 1932, с. 123—252.

[5] ГУС — Государственный Ученый Совет, руководящий методический центр Наркомпроса РСФСР. Создан 20 января 1919 года по постановлению Коллегии отдела высших учебных заведений. С конца 1927 года следовало

получить разрешение ГУСа на издание любой книги для детей в Государственном издательстве.

[6] В двадцатые годы художник Юрий Анненков сделал портрет К. Чуковского и множество шаржей на него. Портрет воспроизведен в книге Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922, с. 57). Кроме того, в то время часто печатался «Мойдодыр» с картинками Ю. Анненкова, среди которых была и карикатура на автора.

[7] Речь идет о статье: М. Ольшевец. Обывательский набат. «Известия», 1927, 14 августа.

[8] Имеется в виду книга «Мастера современной литературы. Михаил Зощенко. Статьи и материалы». (Статьи В. Шкловского, А. Бармина, В. Виноградова и др.). Л., 1928.

[9] Речь идет о мемуарах Авдотьи Панаевой. Воспоминания Панаевой вышли в издательстве «Academia» в 1927 году под редакцией К. Чуковского, с его предисловием и постраничными примечаниями. В 1928 году было выпущено 2-е издание этой книги.

[10] Слова Достоевского о Фоме Опискине — «Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет» (см. «Село Степанчиково и его обитатели», ч. I. Вступление.) — Чуковский толкует расширительно и полагает, что в них заключена «диалектика истории».

[11] *«Это было, это было в той стране»* — строка из стихотворения Н. Гумилева «Лес» («В том лесу белесоватые стволы...»). Стихотворение напечатано в сборнике «Огненный столп» («Petropolis», 1921).

[12] *Мальчики и девочки, свечечки и вербочки* — строка из стихотворения А. Блока «Вербочки», процитированная неточно. Правильно: «Мальчики да девочки, / Свечечки да вербочки».

1928

[1] *Лидин Шевченко* — глава из книги Лидии Чуковской о детстве Тараса Шевченко, напечатанная в журнале «Еж» (1928, № 2). Глава называется «Тарасова беда» и подписана псевдонимом А. Углов.

[2] Речь идет о книге: Н. Чуковский. Сквозь дикий рай. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.

[3] Строка из стихотворения Некрасова «Школьник».

[4] В архиве сохранилось письмо В. Е. Максимова от 5 января 1928 г.: «Милостивый Государь Корней Иванович, настоящим довожу до Вашего сведения о том, что сего числа я обратился в Союз Писателей с просьбой рассмотреть некоторые Ваши действия, нарушающие мои интересы, как писателя. В. Максимов» (РО ГБЛ, ф. 620, картон 63, ед. хр. 87, л. 7). Из письма неясно, в чем была суть разногласий. Предшествующие и последующие письма — очень дружелюбные. О разногласиях с В. Е. Евгеньевым-Максимовым см. также запись от 27 марта 1925 г. (с. 333).

[5] *«Подруги поэта»* — см.: «Минувшие дни», 1928, № 2, с. 10—29. «Поэт» — Н. А. Некрасов.

[6] 1 февраля 1928 г. в «Правде» была напечатана статья Н. К. Крупской «О «Крокодиле» К. Чуковского», в которой эта сказка была объявлена «буржуазной мутью». Крупская резко осудила и работы К. Чуковского

о Н. А. Некрасове, заявив, что «Чуковский ненавидит Некрасова». Результатом этой статьи явился полный запрет на издание всех детских книг Чуковского, поскольку Крупская тогда возглавляла Комиссию по детской книге ГУСа.

[7] Этот ответ опубликован 60 лет спустя (журнал «Детская литература», 1988, № 5, с. 32).

[8] «Письмо в редакцию» М. Горького напечатано в «Правде» 14 марта 1928 г. В своем письме Горький возражает Крупской по поводу «Крокодила» и пишет, что помнит отзыв В. И. Ленина о некрасоведческих исследованиях Чуковского. По словам Горького, Ленин назвал работу Чуковского «хорошей и толковой». Письмо Горького приостановило начавшуюся травлю книг и статей Чуковского о Некрасове. Однако «борьба за сказку» продолжалась еще несколько лет.

[9] ГАХН — Государственная Академия художественных наук.

[10] Писатели Ал. Толстой, К. Федин, О. Форш, Мих. Зощенко, Н. Тихонов, С. Маршак и многие другие обратились к наркому просвещения А. В. Луначарскому с протестом против запрета на издание детских книг К. Чуковского. Этот протест теперь опубликован («Детская литература», 1988, № 5, с. 34).

[11] Речь идет о статье Д. Тальникова «Литературные заметки», напечатанной в журнале «Красная новь», 1928, кн. 8. Критик обрушивается на стихотворение Маяковского «Мое открытие Америки»: «Галопный маршрут... повествование в свойственном ему вульгарно-развязном тоне «газетчика»... то, что Сельвинский очень остро определил, как «рифмованную лапшу кумачовой халтуры» или «барабан с горошком а-ля-Леф»... Маяковский послал в редакцию журнала протест: «Изумлен развязным тоном малограмотных людей, пишущих в «Красной Нови» под псевдонимом «Тальников», и опубликовал в газете «Читатель и писатель» (1928, № 36) стихотворный ответ Тальникову — «Галопщик по писателям».

[12] В статье М. Горького «О двух книгах», опубликованной в «Известиях» 11 сентября 1928 г., обсуждаются книги: «Писатели современной эпохи» (изд-во ГАХН) и «Разгримированная красавица» Н. Асеева.

1929

[1] *«Проселочные дороги»* — роман Д. В. Григоровича, написанный в 1852 году.

[2] *...знаменитый приказ Дзержинского.* — 6—9 апреля 1926 г. проходил Пленум ЦК ВКП(б) о хозяйственном положении. 20 апреля в «Правде» был помещен доклад Ф. Э. Дзержинского «Борьба за режим экономии и печать». Дзержинский отметил в своем докладе, что себестоимость наших изделий почти в два раза больше довоенной, что создано много лишних организаций, разбухли штаты в управлениях, что лишняя рабочая сила превращает фабрику в собес, что государственный аппарат построен бюрократически. Докладчик подчеркнул, что «кампания по режиму экономии потребует длительного периода времени, может быть даже столько же времени, сколько мы должны ждать социализма».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

---

* Указатель составили: Л. А. Абрамова, К. И. Лозовская и Е. Ц. Чуковская.

В указатель включены не все имена, встречаемые в дневнике. Не внесены в список неустановленные лица, некоторые бегло упомянутые фамилии, сведения о которых читатель получает непосредственно из текста, а также те, чьи имена несущественны для понимания записей.

Все данные о репрессированных лицах, их даты жизни и занимаемые посты даны по картотеке Д. Г. Юрасова.

Краткие аннотации составлены применительно к контексту, в котором упоминается поясняемое имя.

СОДЕРЖАНИЕ

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК

1901—1929

Редактор М. Я. МАЛХАЗОВА
Художественный редактор Ф. С. МЕРКУРОВ
Технический редактор Т. С. КАЗОВСКАЯ
Корректоры С. И. КРЯГИНА, Т. В. МАЛЬШЕВА
ИБ № 7796

Сдано в набор 02.04.90. Подписано к печати 19.11.90. Формат 60Х90 1/16. Бумага офс. № 1. Журнальная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 34 + 2 вкл. Уч.-изд. л. 41, 71. Тираж 50 000 экз. Цена 3 р. 90 к.

Ордена Дружбы народов
издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Диапозитивы текста изготовлены
в Тульской типографии Государственного комитета
СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Минская фабрика цветной печати,
220115, Минск, ул. Корженевского, 20
Заказ № 457

Чуковский К. И.

Ч-88 Дневник (1901—1929). — М.: Советский писатель, 1991. — 544 с.

ISBN 5—265—01523—X

В книгу включены записи 1901—1929 гг. Здесь впечатляющие портреты Шаляпина и Репина, Куприна и Леонида Андреева, Блока и Гумилева, Горького, Мережковского, Короленко, Ахматовой, Маяковского, Зощенко, Тынянова, Кони, Тарле, Кропоткина, Луначарского... Записи вместили многие литературные события эпохи, приметы и противоречия времени.

Ч $\frac{4603020101—459}{083(02)—91}$ **461—90**

ББК 83 3Р7

ПОПРАВКИ

На стр. 203 примечание следует читать:
И подал в отставку.

на стр. 525 следует читать:
Лундберг... (1887—1965)
Лядова... (р. 1900)

на стр. 539 следует читать:
Чудовский... (1891—1937 /?/.
погиб в заключении)



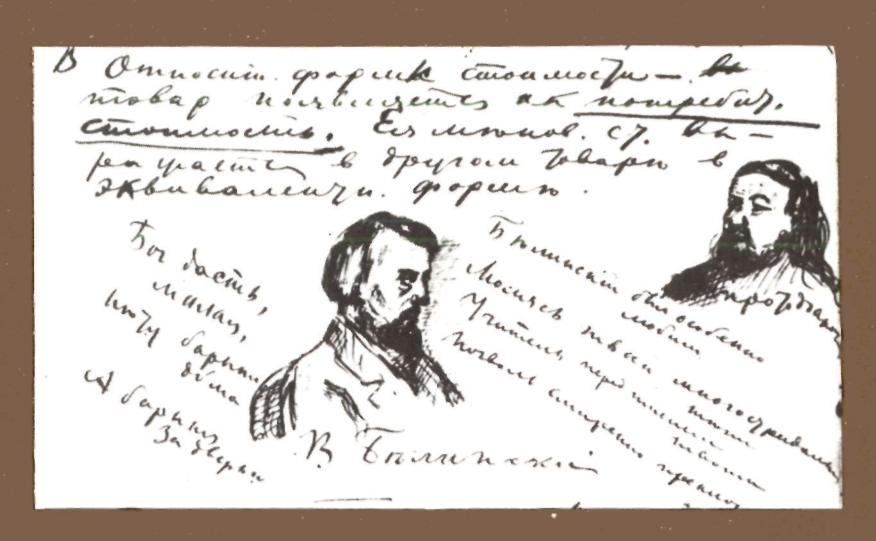
*Екатерина Осиповна Корнейчукова, мать К. Чуковского.
С.-Петербург. 1880-е годы. Снимал Л. Клювер.
Печатается впервые*



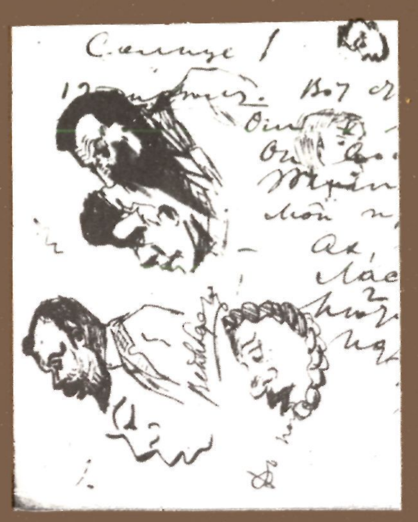
Страница дневника.
Чуковский наклеивал в дневник свои снимки лондонских улиц и витрин. 1903 г.

31 августа. среда. Настроение мое все хуже. Вчера был у Симпсов в Great St Helens. Сначала молодой, потом старый в бархатном жилете, очень похожий на своего брата. Отказали на пятницу, а что я сделаю, если в пятницу только получатся деньги. Завтра иду к консулу визировать паспорт. Сегодня дождь. Написал я Маше письмо — очень грубое, резкое и теперь мне ужасно жаль,

Англия. 1904 г.

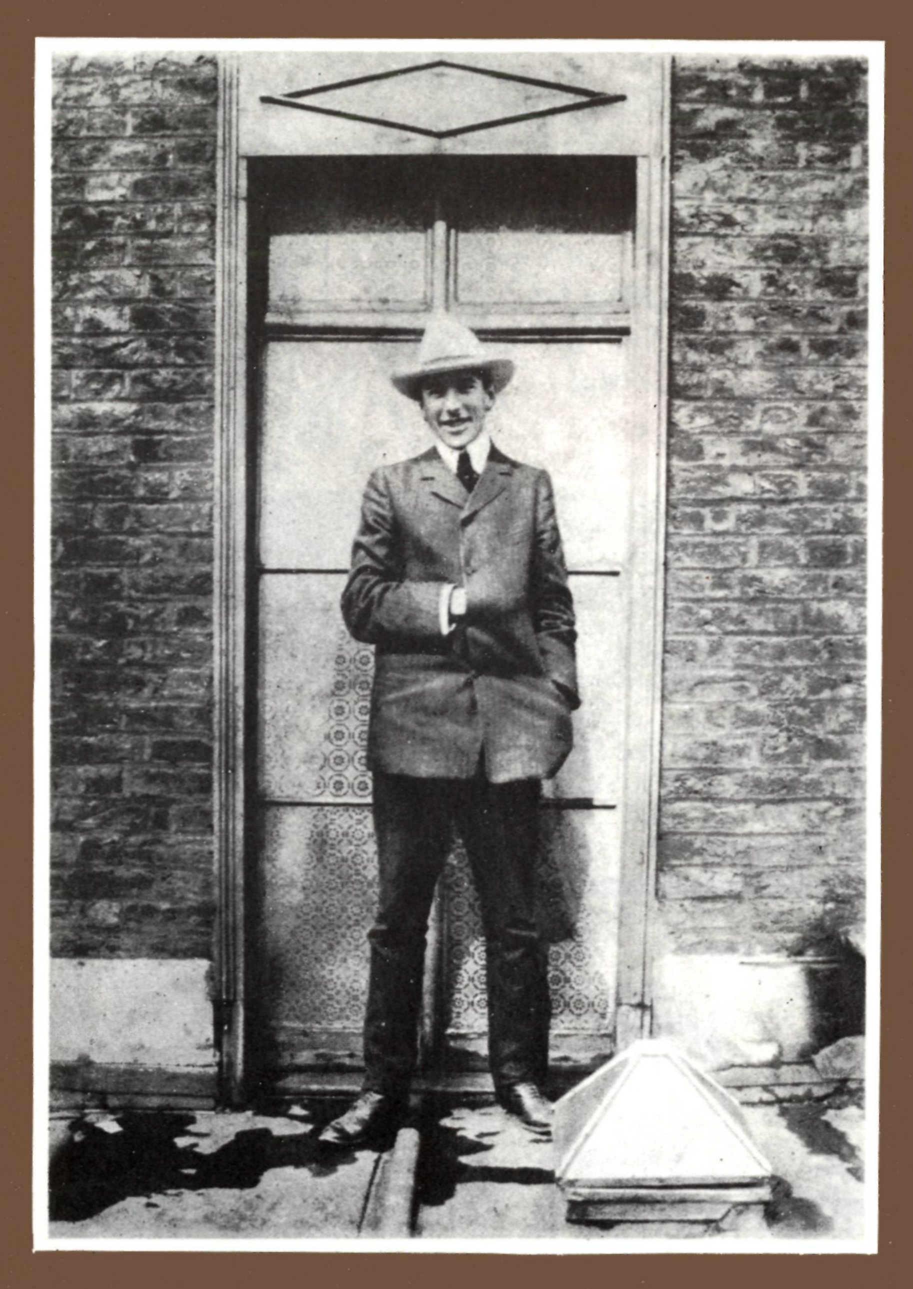


Рисунки автора на страницах дневника разных лет. Некоторые рисунки снабжены шуточными подписями. Например: «З а г а д о ч н а я к а р т и н к а. Вот труба. Куда девался мой талант?» 1901—1904

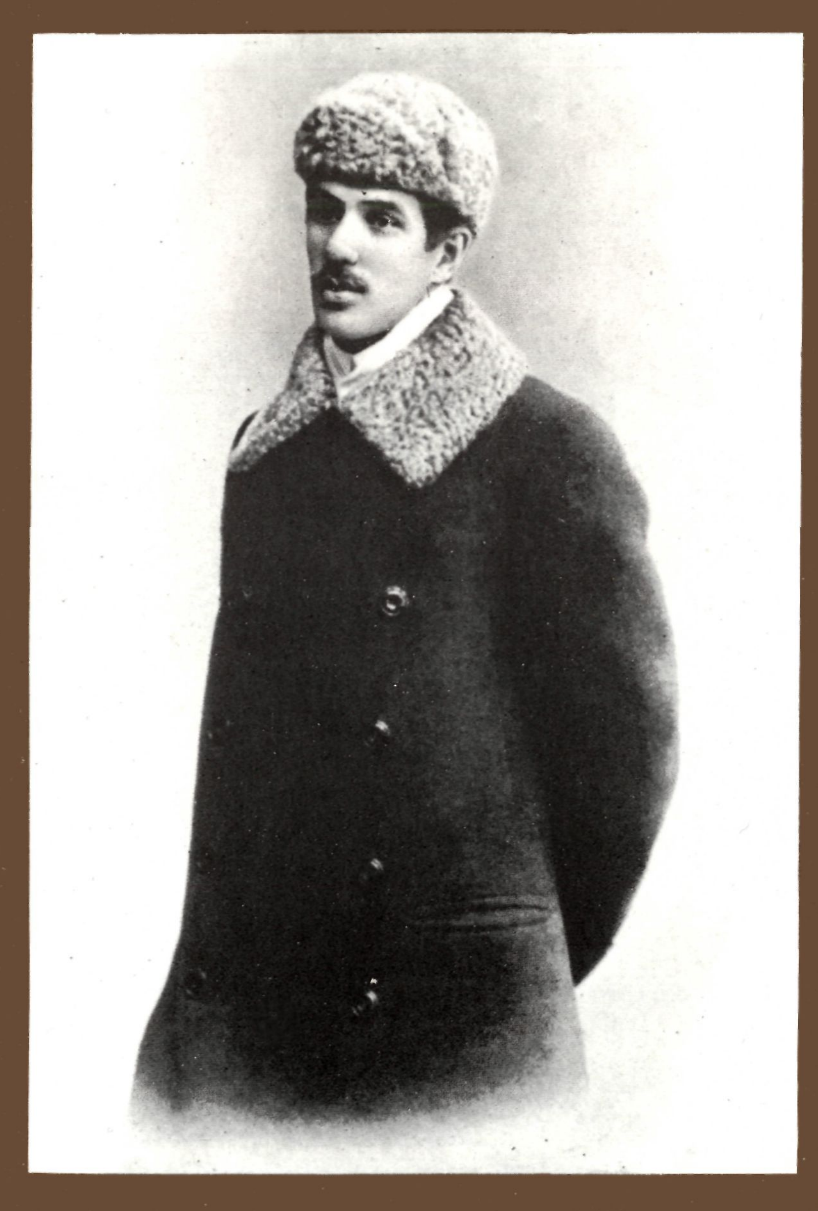




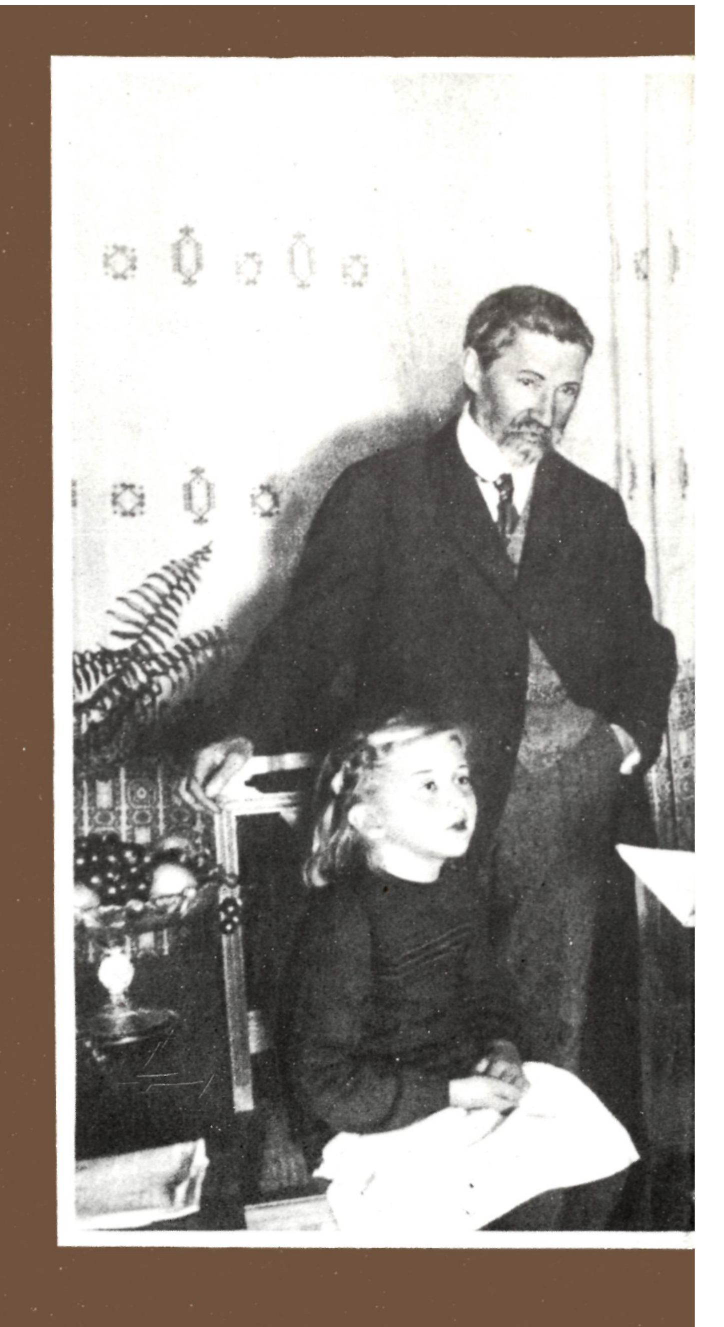

Загадочная картинка.
Вот труда.
Куда девался
мой талант?



Лондон. 1903 (или 1904).
Печатается впервые

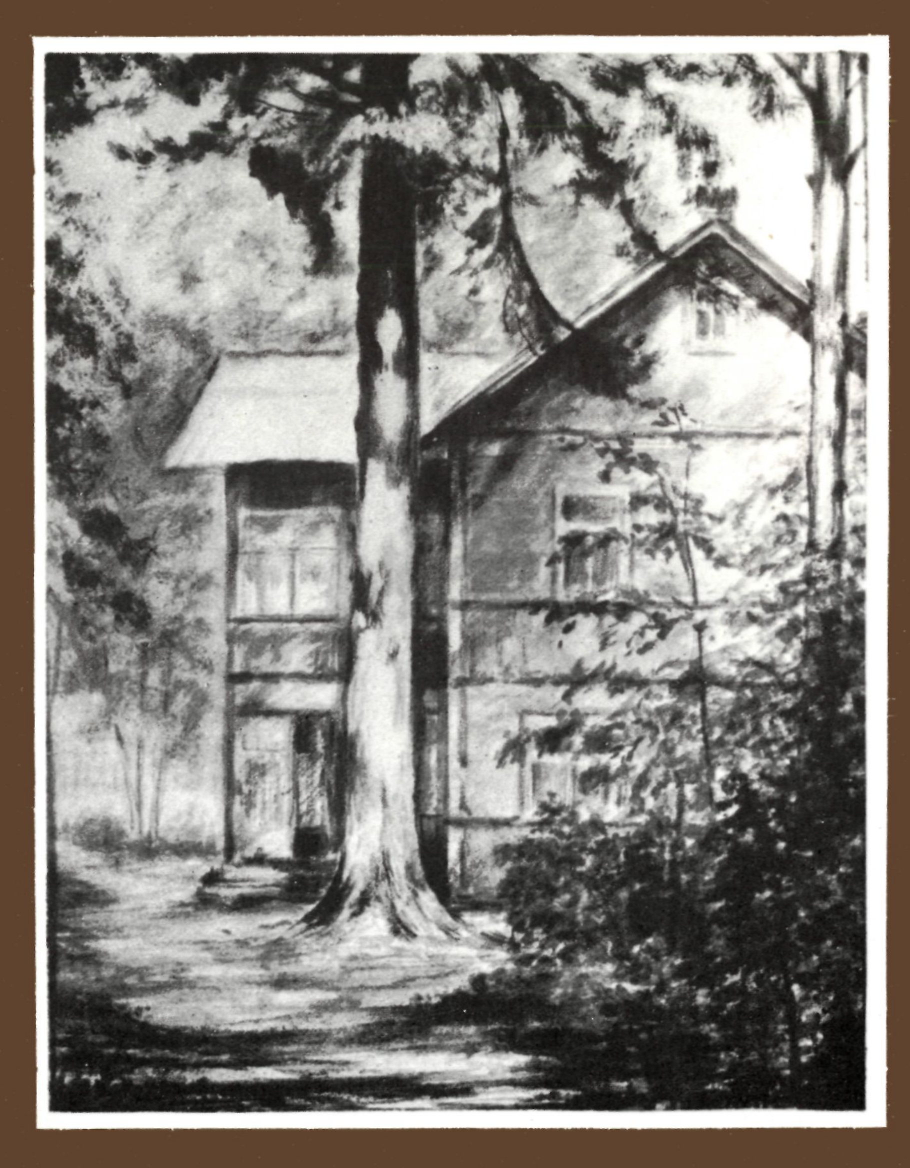


Петербург. 10-е годы.
Снимал Д. Здобнов

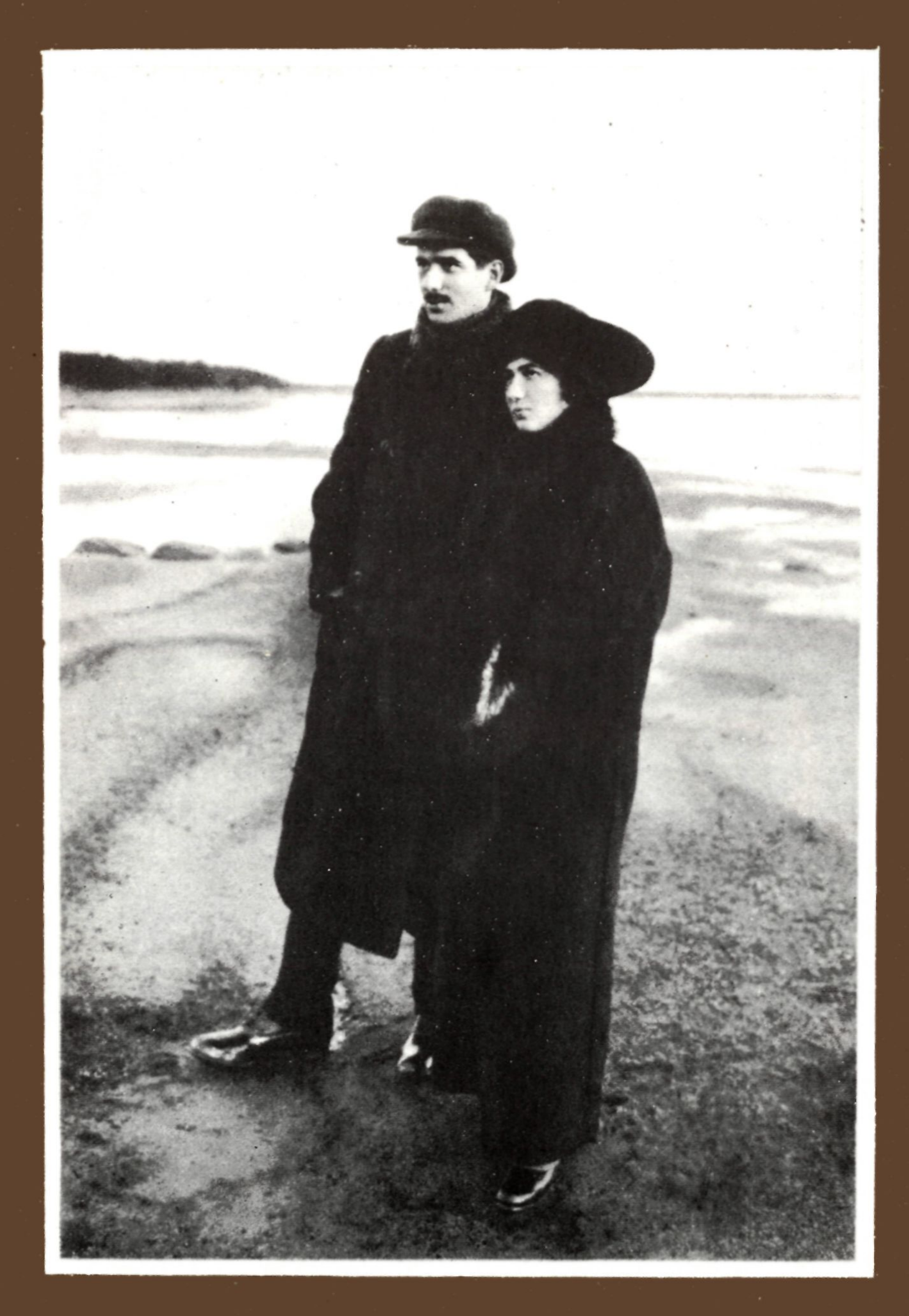




Репин в гостях у Чуковского.
На диване: Мария Борисовна, Наталья Борисовна Нордман-Северова (жена Репина), Корней Иванович, Коля. Слева: Илья Ефимович и Лида. Куоккала. Около 1913 г.



Дача Чуковского в Куоккале.
Рисунок В. Н. Бокариуса

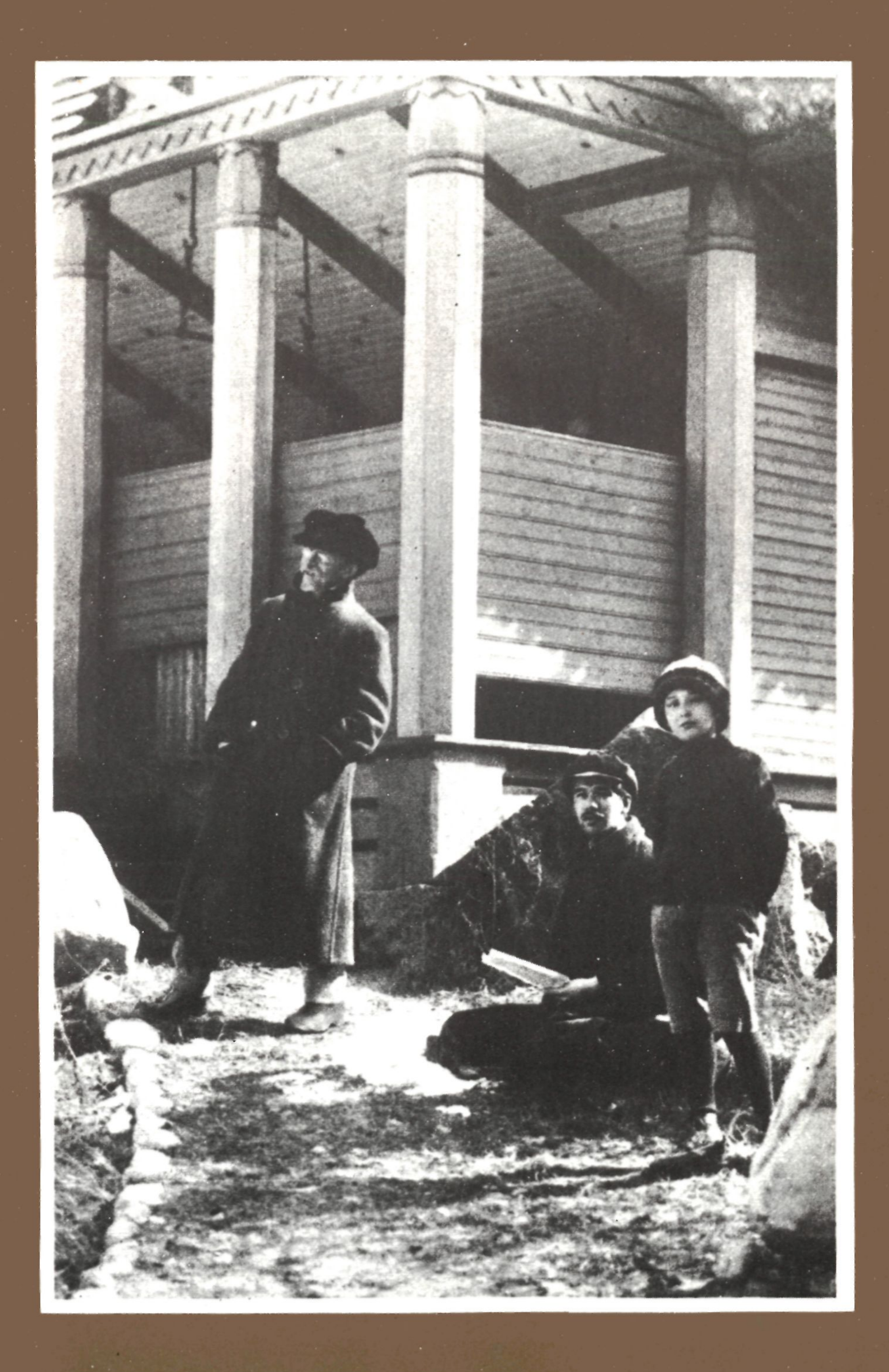


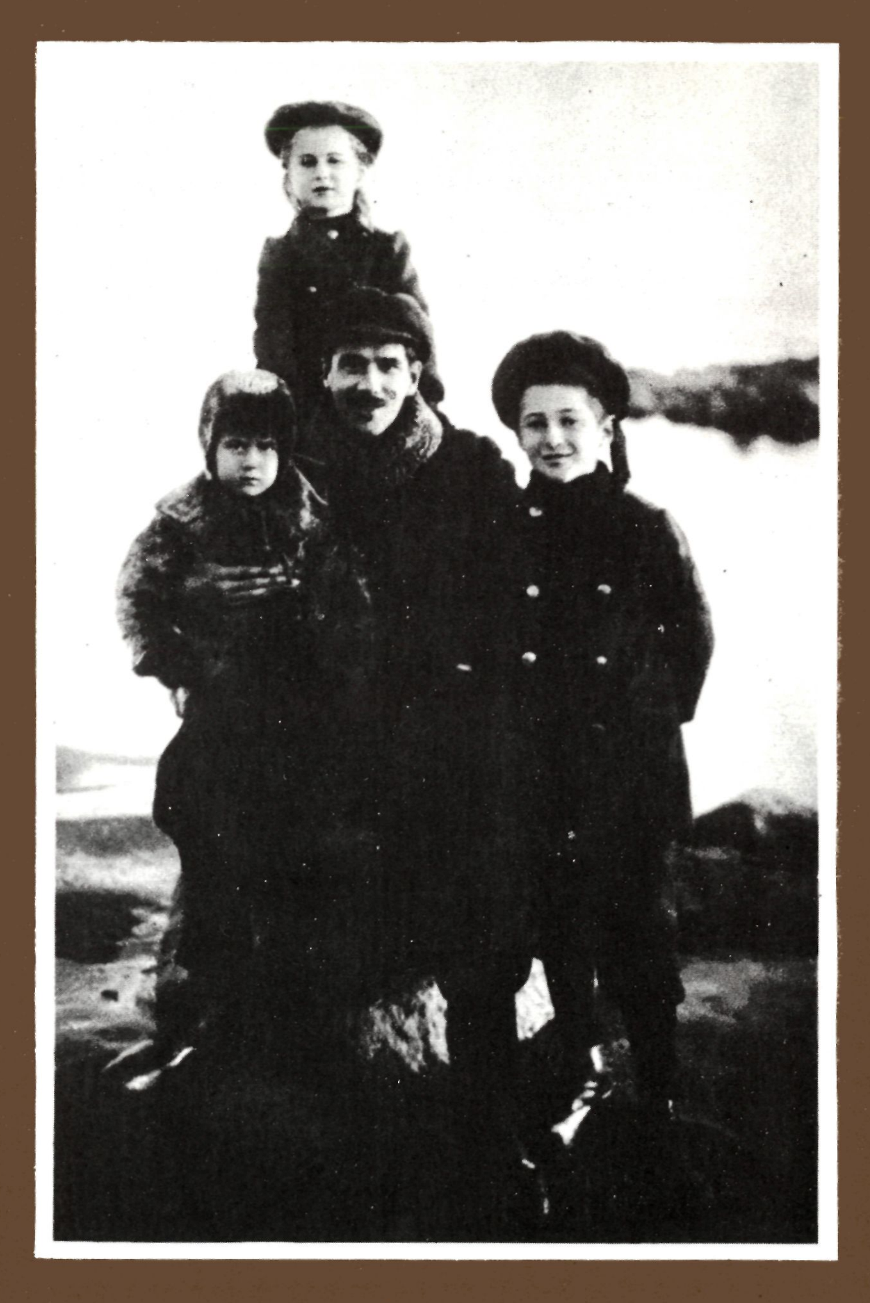
Корней Иванович с женой, Марией Борисовной.
Куоккала. 10-е годы



Семья за обедом. Куоккала. 1912 г.

И. Е. Репин и К. И. Чуковский с сыном Николаем у беседки ▶
«Храм Озириса и Изиды» в «Пенатах».
Куоккала. 1912 г.

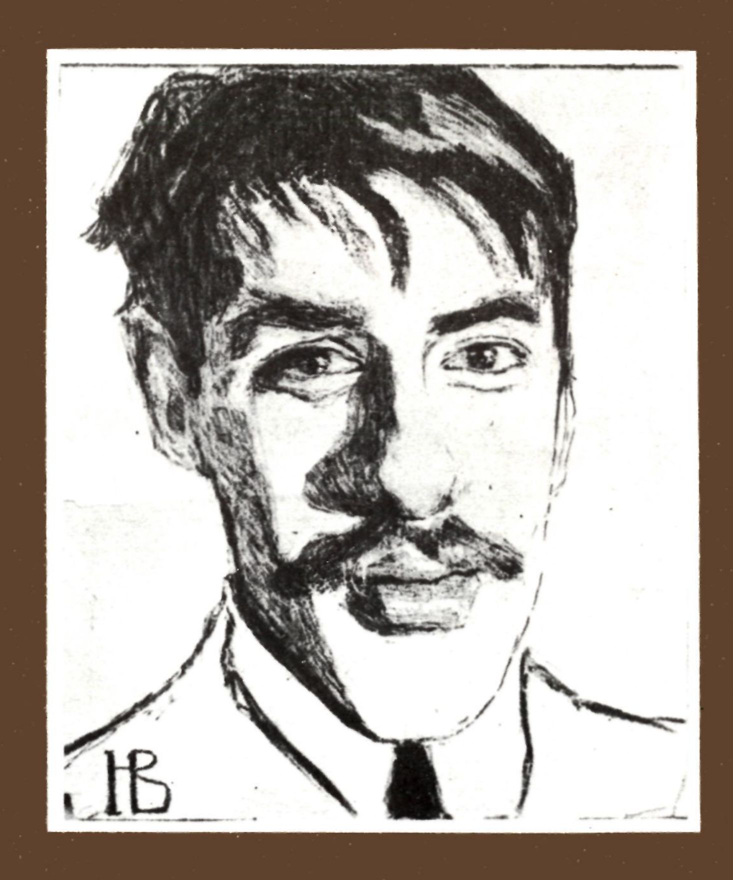




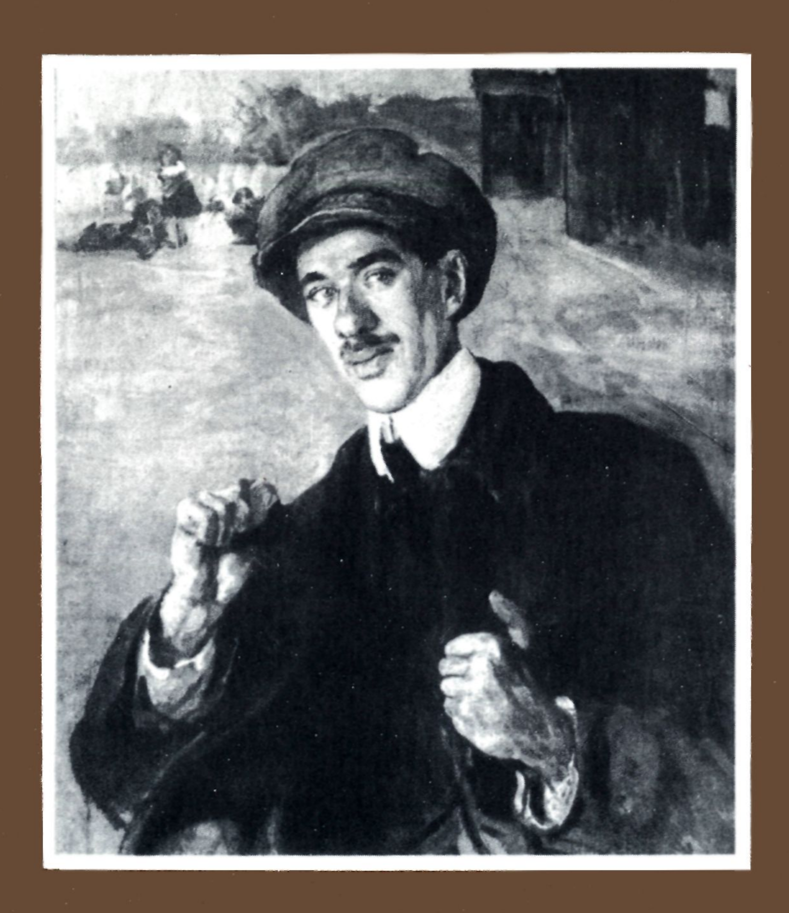
Корней Иванович — и Боба, Лида, Коля. Куккокала.
Около 1912 г.



Куоккала. Лето 1913 (?)



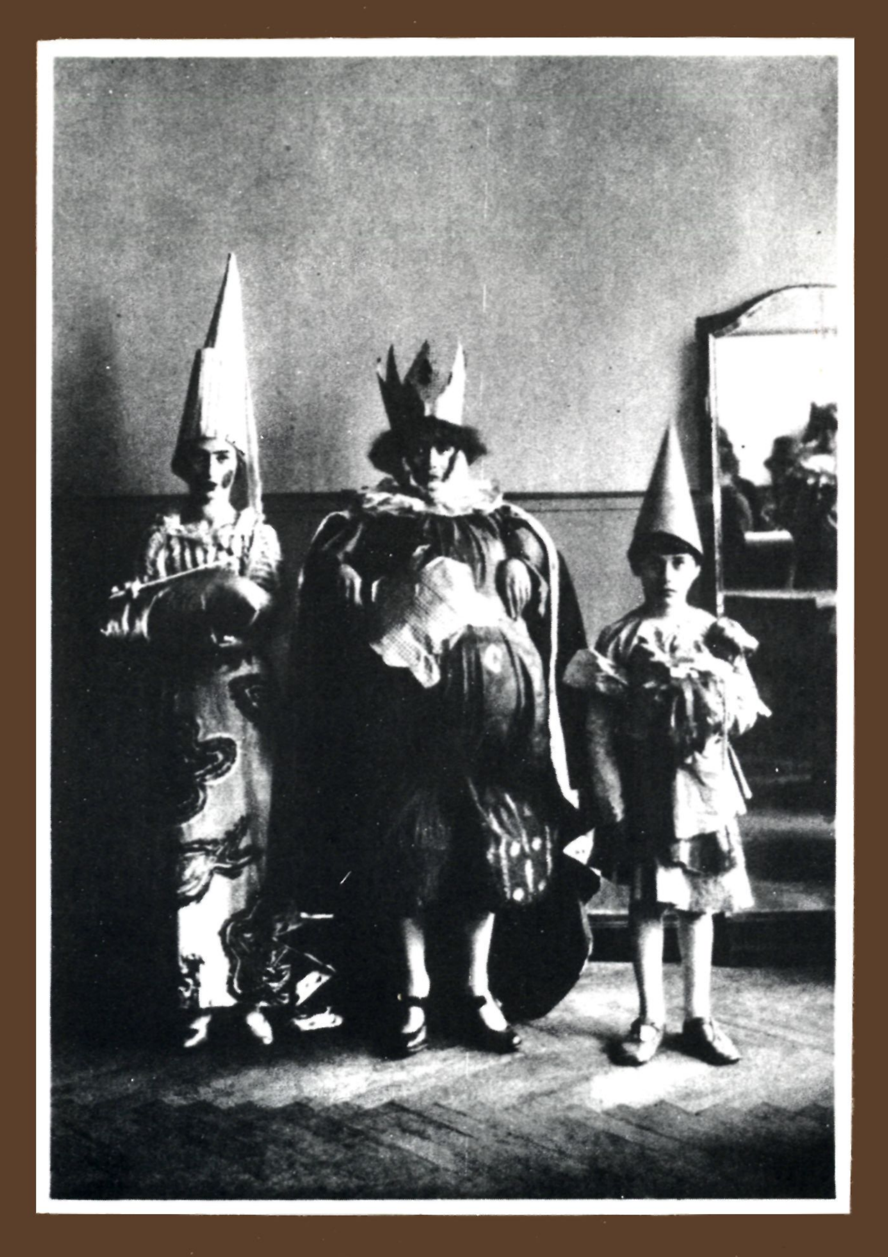
Портрет работы Н. Войтинской. 1909 г.



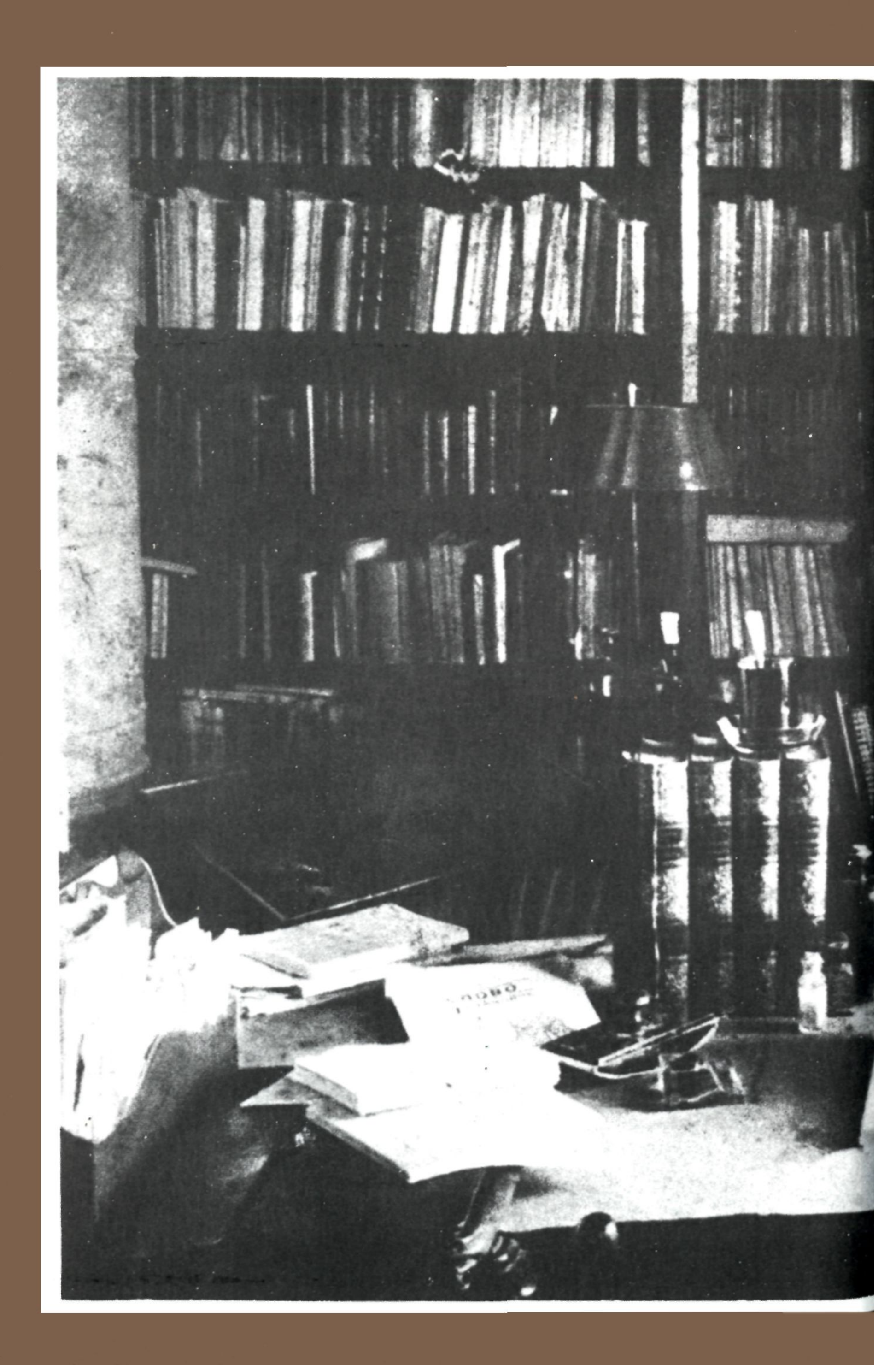
Портрет работы И. Бродского. 1915 г.

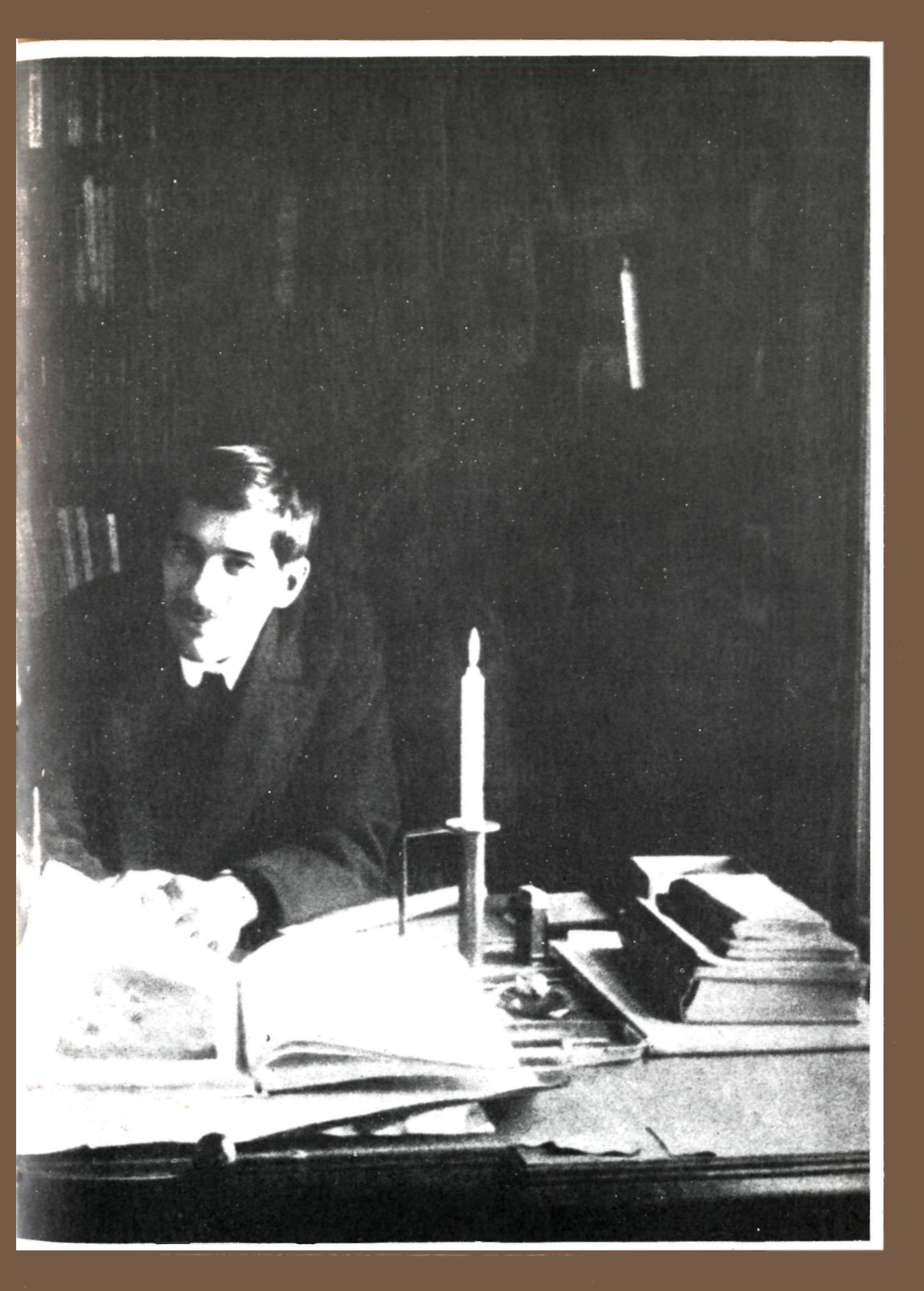


1917 г. Печатается впервые



Постановка пьесы «Царь Пузан» в Куоккале. Лето 1917 года. В ролях дети К. Чуковского: Лида — хранительница королевской зубочистки, Коля — царь Пузан, Боба — паж. Печатается впервые





К. Чуковский в своем куоккальском кабинете.
Около 1915 г.





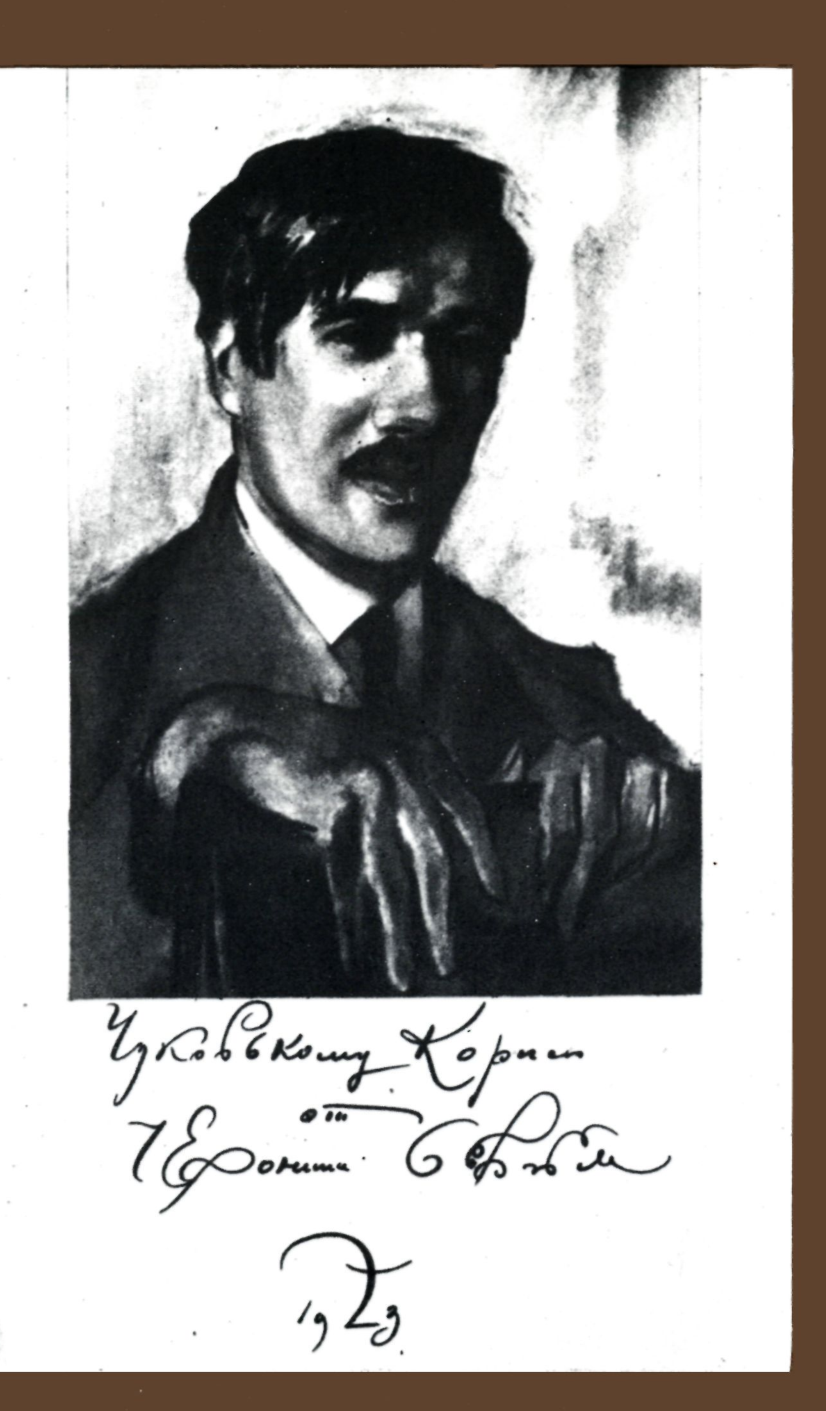
После спектакля «Дюймовочка» в зале Тенишевского училища. Сидят (слева направо): Ю. Анненков, Валя Галатова, Таня Ткаченко (Дюймовочка), Нина Вейтбрехт, К. Чуковский. Стоят: Катя Чеснокова, Женя Лунц (ласточка), Валя Денисова, Ира Каминская, Люся Ваганова, Люба Бруни (рядом с К. Чуковским), Лида Алексеева (медведь). Справа — Лида Чуковская в роли лягушки. 1918 (1919) год.

Печатается впервые

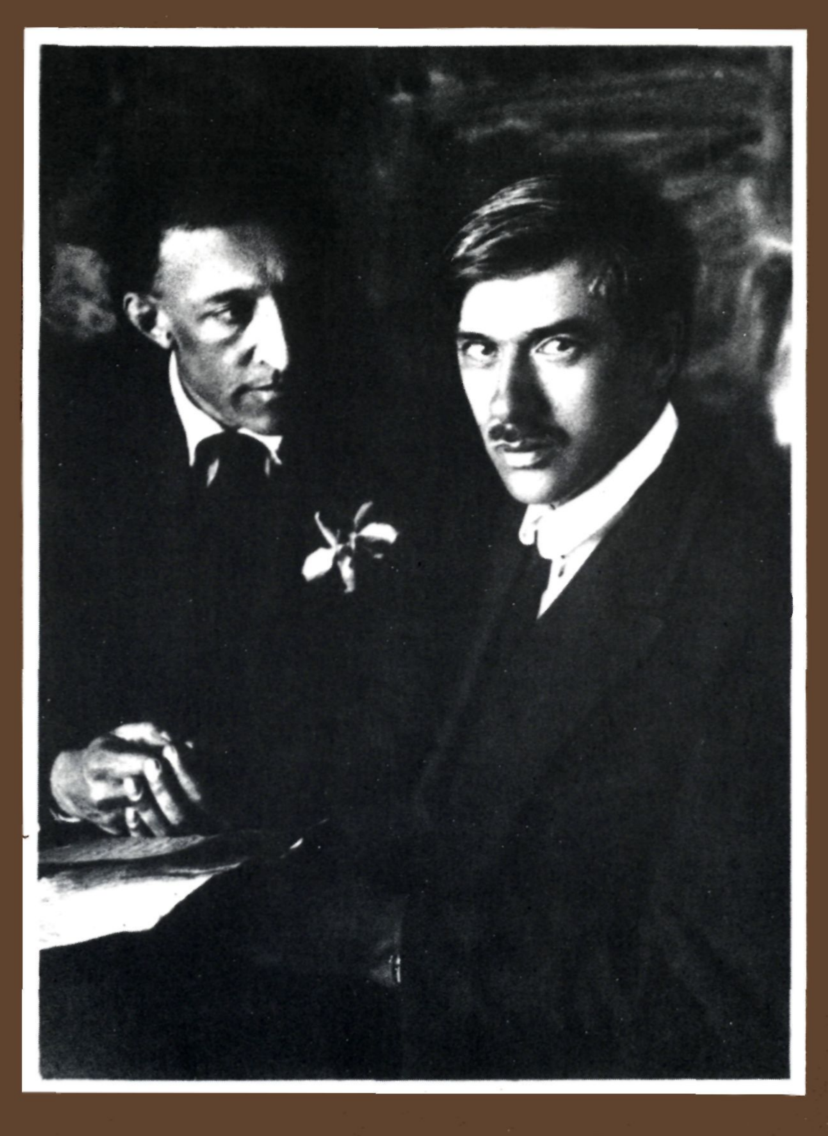


Чествование М. Горького по случаю его 50-летия в издательстве «Всемирная литература». 30 марта 1919 г. Фрагмент фотографии: М. Горький — в центре. Перед ним на коврике сидят дети К. Чуковского — Лида, Боба, Коля. Среди присутствующих — справа: А. Блок, рядом с ним З. Гржебин, затем Н. Гумилев; слева: К. Чуковский с «Чукоккалой» в руках, рядом с ним А. Л. Волынский





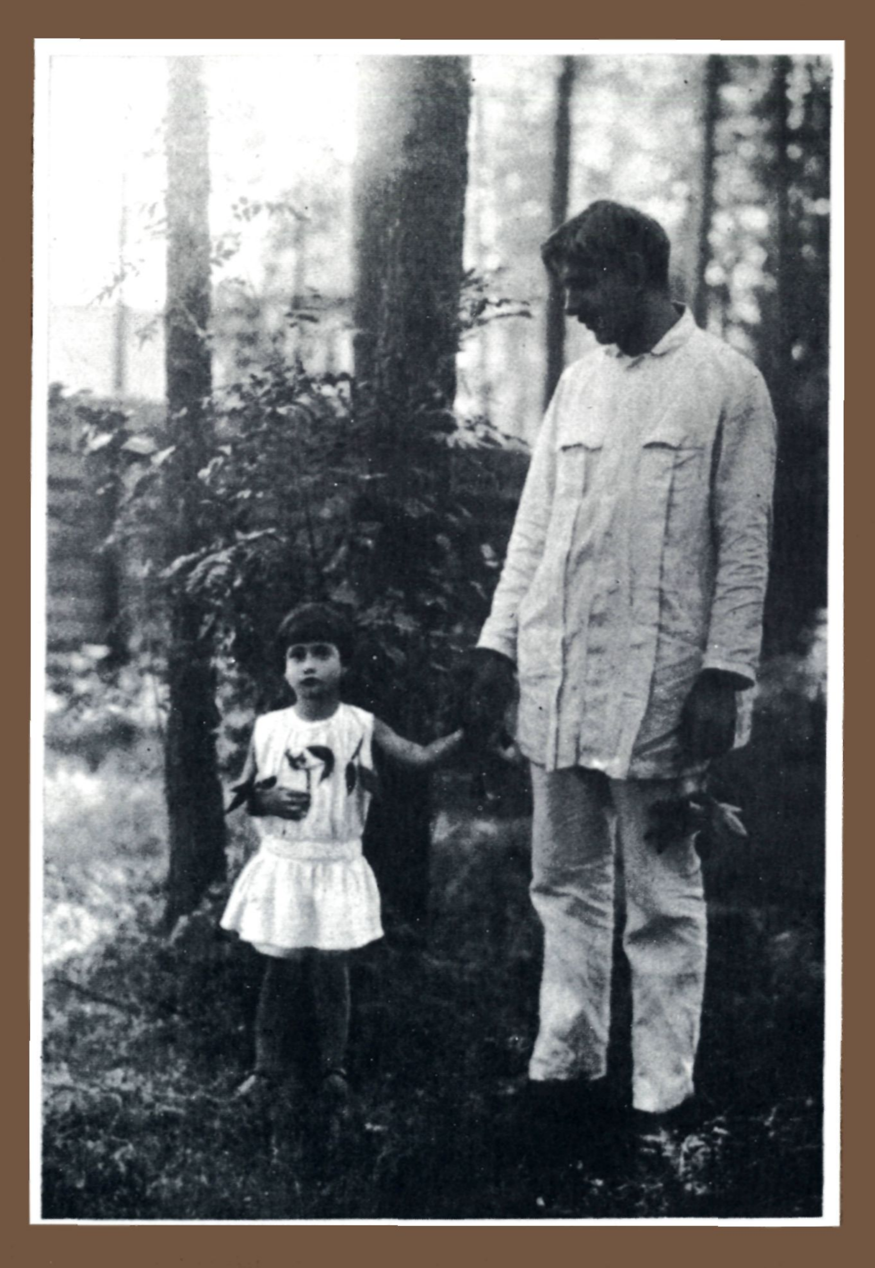
Портрет работы С. Чехонина. 1923 г.



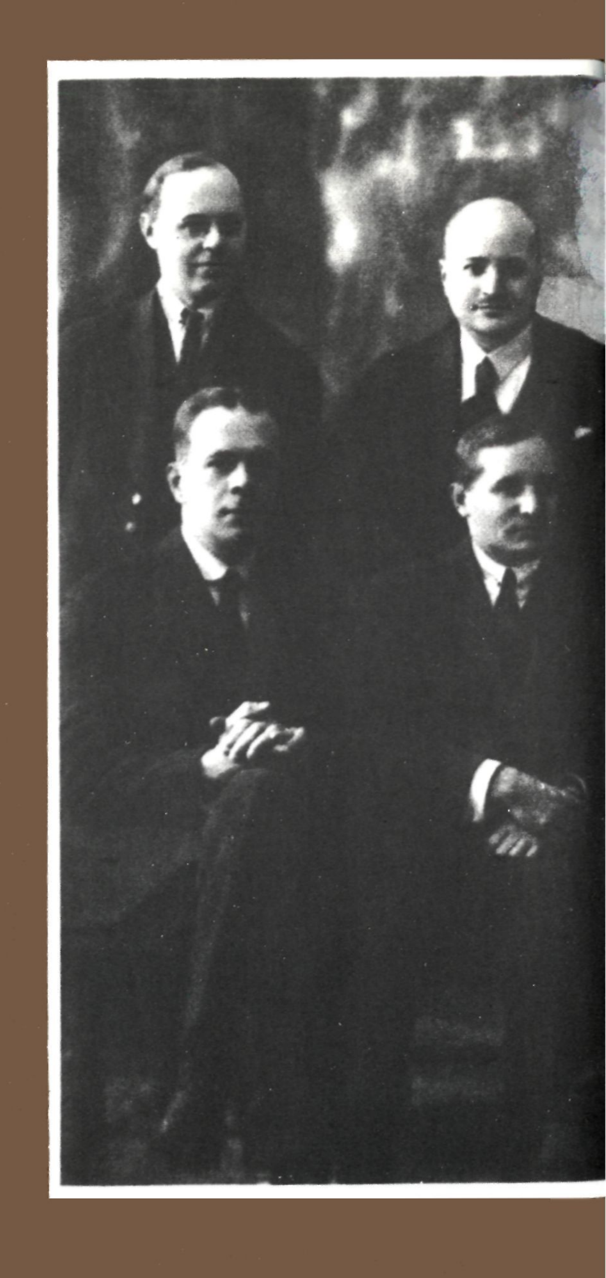
Александр Блок и Корней Чуковский на вечере Блока в Большом Драматическом театре.
Петроград. 25 апреля 1921 г.
Снимал М. С. Наппельбаум



Картинка Вл. Конашевича из «Муркиной книги». На рисунке — Корней Иванович с дочерью Мурой у Чудо-дерева. 1924 г.

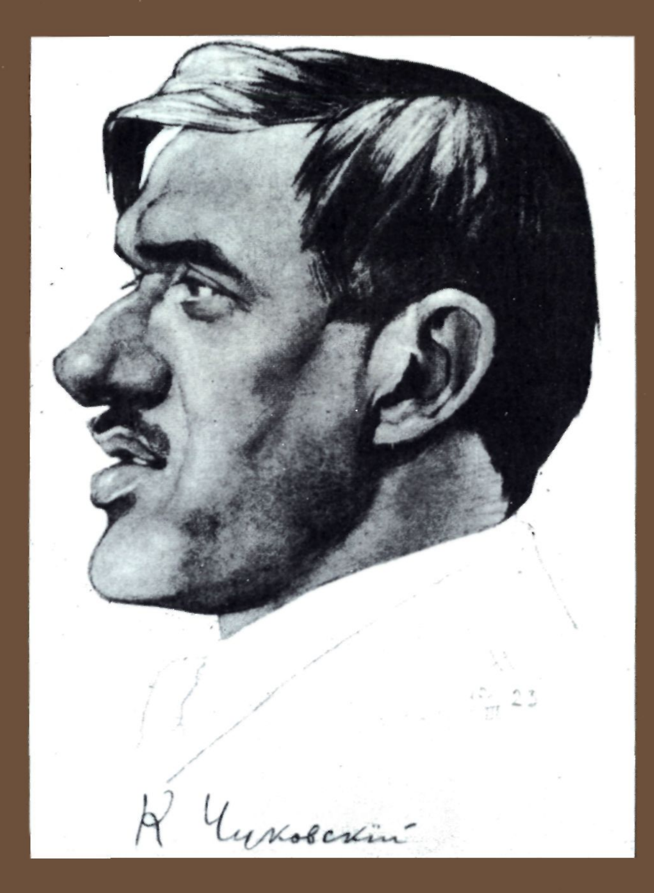


Корней Иванович с дочерью Мурой (Марией).
Сестрорецк. 1924 г.





Члены коллегии «Всемирной литературы» в дни разгрома издательства. На первом плане В. А. Сутугина-Кюнер и К. И. Чуковский. Сидят (слева направо): М. Л. Лозинский, А. Н. Тихонов (Серебров), А. Л. Волынский, И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург, Е. И. Замятин. Стоят: А. А. Смирнов, В. М. Алексеев, Н. О. Лернер, Б. Я. Владимирцов. Ленинград. 15 января 1925 г. Снимал М. С. Наппельбаум.



Портрет работы Н. Андреева. 1923 г.